

АЛЕКСАНДР
ГАЛИЧ

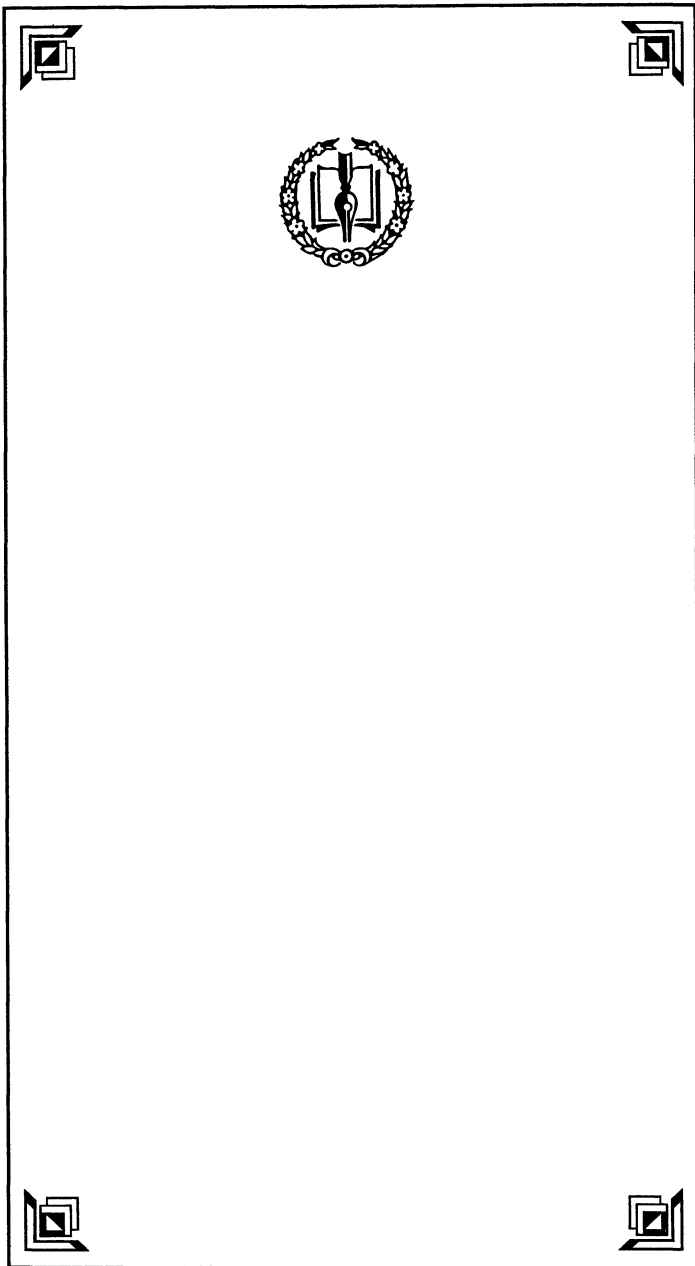
*Матросская
тишина*



АЛЕКСАНДР
ГАЛИЧ









АЛЕКСАНДР
ГАЛИЧ

Матеросская пинжина

Москва

ЭКСМО

2005



УДК 82-31
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Г 15

Г 15 **Галич А. А.**
Матросская тишина: Пьесы, проза, выступления /
Вступ. ст. А. М. Зверева. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. —
640 с. — (Русская классика XX в.).

ISBN 5-699-11862-4

В книгу Александра Галича (1918—1977) — драматурга, сценариста, поэта и автора-исполнителя широко известных песен-новелл — вошли пьесы, прозаические произведения, а также радиовыступления, относящиеся к периоду эмиграции.

УДК 82-31
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-699-11862-4

© А. А. Галич. Наследники, 2005
© Вступ. ст. А. М. Зверев. Наследники, 2005
© ООО «Издательство «Эксмо», 2005

«...Это время в нас ввинчено штопором»

О Галиче невозможно писать с чувством непричастности. Пока невозможно. Когда-нибудь наверняка появятся монографии, в которых будет сказано все нужное о его творческом пути, темах, мотивах, поэтике, образности. Но эти книги создадут люди другого поколения. А для нашего, для тех, кто был современниками Галича — не важно, старшими или младшими, — он никогда не станет просто литературным явлением в ряду остальных, более или менее с ним сопоставимых. Его песни, его личность, его драма — все это накрепко вплетено в нашу судьбу.

Поэтому мне очень трудно добиться, чтобы получилась статья о Галиче, а не объяснение в любви к нему. Я никогда не видел его на сцене, а кто видел? Легальных концертов ведь практически и не бывало, за исключением того знаменитого, в новосибирском Академгородке, когда он спел «Памяти Пастернака» и двухтысячный зал поднялся в молчании — отдавая дань любви Борису Леонидовичу, отдавая должное мужеству Галича, открыто сказавшему то, что говорить категорически запрещалось. Было это в марте 1968 года. Галич знал, что сжигает за собой корабли.

Пел он часто и помногу — на квартирах у друзей, у знакомых и полужнакомых, не смущаясь тем, что почти без сомнения среди слушателей попадались и такие, кто докладывал о его репертуаре куда следует. Несколько раз и меня звали на эти импровизационные его выступления; не могу себе простить, что из-за какой-то застенчивости, а может, из страха, что ему не понравится присутствие неизвестных лиц, я отказывался. Так или иначе,

Галич как актер — и, говорят, замечательный — остался для меня тайной. Но не Галич-певец.

Певца Галича я услышал на последнем курсе университета, стало быть, осенью 1962 года, когда взлет его только начинался. В факультетской курилке кто-то, перебирая слова и от хохота захлебываясь нехитрой мелодией, исполнял балладу о Милиционерше, сделавшейся шахиней Эл. Потаповой после того, как покончил с папой ее нежданно-негаданно свалившийся царственный супруг. Это была «Леночка», первая песня Галича, уже облетевшая весь Союз. Галич? Для нас тогда это имя было совершенно новым. Оно не связывалось со стоявшим в афише популярной комедии «Вас вызывает Таймыр» и значившимся в титрах еще более популярного фильма «Верные друзья».

В ту осень занималась его слава. Все это и сейчас видится так ясно, словно было вчера: битком набитая комната в коммуналке, сваленные на шкафу куртки и шапки, пепельницы, переполненные окурками, тяжеленная, как кованый сундук, «Яуза» с бобинами величиной в суповую тарелку — и просевший от курения, то ироничный, то гневный голос, что-то ерническое, трагическое, высокое, насмешливое, горькое, что-то неслыханное по дерзости, непримиримости и прямоте:

Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!

Этой песней — «Старательский вальсок», — пригвоздившей молчальников, которые вышли в начальники, Галич открыл свою книгу «Поколение обреченных». Книга вышла в эмиграции. Нечего было и думать напечатать ее на родине, хотя бы в самом урезанном виде.

Мне рассказывали, что «Старательский вальсок» прокрутили на заседании секретариата, исключавшего Галича из Союза писателей. Как вещественное доказательство его неблагонадежности.

Благонадежными считались в ту пору одни лизоблюды и эти — правда, уже с определенной натяжкой — молчавшие.

* * *

Отродясь не имел он ничего общего со старателями, твердо знающими, что молчание — золото, и овладевшими искусством молчать «не против, конечно, а за!». Но к крикунам, к начальникам тоже смолоду не принадлежал. Как всем в его поколении обреченных, Галичу была оставлена одна возможность — существовать незаметно. «Молчи, скрывайся и таи...» Не умевшие этого либо сгинули в ГУЛАГе, либо — хуже — непоправимо запятнали себя.

Судьба уберегла Галича и от того, и от другого. Он жил, «не изведав бесчестья чинов и милость сановных наград». Впрочем, говоря о тех, кто не бряцал «ни гневом, ни порицаньем», он подразумевает и себя. Подобно большинству, он просто жил, запретив себе желанную свободу быть самим собой.

Как он потом будет себя казнить за эти годы, проведенные «в сонности», за «непротивление совести — удобнейшее из чудачеств»! По самым разным поводам возникает в его песнях эта тема. И «мы», наиболее частая форма его повествования, безусловно, включает в себя авторское «я».

А случается, и прямо от первого лица сказано им о том же самом — о том, до чего противно оглядываться на прожитое, до чего тягостна память давних лет. Особенно настойчиво звучит этот мотив в песнях, которые Галич писал накануне своей вынужденной эмиграции. Например, в «Черновике эпитафии»:

Дуралеи спешат смеяться,
Чистоплюи воротят морду...
Как легко мне было сломаться,
И сорваться, и спиться к черту!

Или в «Опыте ностальгии», где ни малейшей умиленности не вызывают даже образы детства:

Я не вспомню, клянусь, я и первые годы
не вспомню,
Севастопольский берег,
Почти небывалая быль.
И таинственный спуск в Херсонесскую
каменоломню.
И на детской матроске —
Эллады певучая пыль.
Я не вспомню, клянусь!

Вспоминается совсем другое: усмешка «на гадком чиновном лице», и собственные неуклюжие старания к чиновным понятиям приладиться, и «жалкая ярость в конце». Галич беспощаден к эпохе, но и к себе тоже. Хотя казнить все-таки надлежало бы в первую очередь время, заставившее выучиться науке компромиссов.

Мне нет необходимости подробно излагать биографию Александра Аркадьевича. Он сделал это сам в «Генеральной репетиции», своей исповеди, написанной еще в России. «Я ни о чем не жалею, — сказано там. — Я не имею на это права. У меня есть иное право — судить себя и свои ошибки, свое проклятое и спасительное легкомыслие, свое долгое и трусливое желание верить в благие намерения тех, кто уже давно и определенно доказал свою неспособность не только совершать благо, а просто даже понимать, что это такое — благо и добро!»

Прибавить к этому нечего: Галич был не из тех, кто легко кается (ни к чему себя этим не обязывая) или, наоборот, самодовольно любит себя каждым своим поступком, не ведая сомнений. Самого себя он неизменно воспринимал в потоке своего времени, разделяющим все его горести, и все иллюзии, и всю наивность, за которую приходилось дорого платить. Искус гордыни, побуждающий вознестись на котурны, сурово бичуя современников за их малодушие и близорукую веру в «благие намерения», был органически ему чужд. Этим многое объясняется в его искусстве. И в судьбе.

Я люблю вас — глаза ваши, губы и волосы,
Вас, усталых, что стали до времени старыми,
Вас, убогих, которых газетные полосы
Что ни день, то бесстыдными славят фанфарами.

И пускай это время в нас ввинчено штопором,
Пусть мы сами почти до предела заверчены,
Но оставьте, пожалуйста, бдительность «операм»!
Я люблю вас, люди,
Будьте доверчивы!

«Вас» — касается очень многих: отнести к себе это признание вправе не только генеральская дочь, вспоминающая в Караганде расстрелянных родителей и «камень с Медным всадником», но и Егор Петрович Мальцев, и ставший бессмертным Клим Петрович Коломийцев. Мертвые, лежащие где-то на солдатском кладбище под Нарвой, но и везучая Леночка тоже. Уезжающие «от анкет и ночных тревог». Спивающийся старый лагерник, который и на свободе завидует облакам, вольным без амнистии.

Не нравилось ему многое и многие, и все-таки почти для всех он старался найти что-то смягчающее, извинительное. Ну разве что за вычетом вчерашних вертухаев да задубелых сталинистов. Да еще тех, ржущих над анекдотом, когда распинают гения, или кушающих шашлык за семью запорами под охраной топтунов.

Таков Галич.

Доверчивость не покинула его, сколько бы ни пришлось повстречать в жизни тех, кто, вроде стариков и старух из санатория Облсовпрофа, распускал о нем обличительные слухи. Сколько бы ни напарывался он на свидетельства низости, шкурной психологии, глубоко въевшегося страха, который склонял к предательству.

И если бы не эта доверчивость, совсем другими были бы его песни. Они лишились бы самого главного — доброты и понимания, пробивающихся через весь их сарказм, через весь необходимый скепсис.

А время — оно в Галича действительно «ввинчено штопором», оттого и напоминает о себе буквально каждой его строкой. Созданное им — памятник времени: посталенинскому, с недолгой, чтобы не сказать миражной, оттепелью, с новыми заморозками, с удушливостью и мертвой зыбью наших семидесятых. По-своему этот памятник уникален.

Теперь, когда Галич стал признанным классиком авторской песни, почти не вспоминают ни его пьесы, ни фильмы. Если же вспоминают, то единственно вот для чего: был благоденствующий автор-комедиограф, которого допускали на престижные академические сцены, писал вполне профессионально, даже очень неплохие водевили и сценарии, ничего одиозного не сочинил, оставался равен своему дарованию, пусть скромному, но несомненному. Какая сила заставила его отказаться от этого комфортного существования? Сознал ли он, записывая на магнитофон «Леночку», что вступает в конфликт с властью и с самим собой, каким был до этого шага? А если сознал, что его побудило к такому выбору?

Мне кажется, эти вопросы, обычные в разговорах о Галиче, некорректно поставлены.

Задающие их убеждены, что Галич, пока он не взял в руки гитару, был обыкновенным конформистом, переродившимся стремительно и непостижимо. Они вспоминают пустыньские его сочинения — «Будни и праздники», «Походный марш», идиллических «Верных друзей», но не вспоминают другое — «Август» и «Матросскую Тишину», которые были запрещены. Оба эти рассказа для театра, конечно, рядом с песнями меркнут, и сам Галич их вовсе не переоценивал, назвав ту же «Матросскую Тишину» пьесой «почти наивно-патриотической». Но приспособленец, конъюнктурщик ничего хотя бы отдаленно их напоминающего написать не мог.

Не о мимикрии тут бы надо вести речь, а о психологии и о взгляде на жизнь целого поколения — тех, кому исполнилось по десять — двенадцать лет в первую пятилетку и о ком в «Матросской Тишине» сказано, что трудностями быта они не тяготились: «Мы, мальчишки, были патриотами, барабанщиками, мечтателями и спорщиками...»

Юрий Нагибин, друживший с Галичем много лет, отмечает «его самообладание и умение без потерь прини-

мать уродливые неизбежности жизни». Тут сказывались свойства не только характера, но и поколения. Жизнь лупцевала и мытарилась немилосердно, а все-таки не превратила в скопище мизантропов и циников, сохранила в этом поколении что-то романтическое, какой-то упрямый оптимизм, резкой чертой отмежеванный от казенного жизнелюбия и предписанного сверху восторга.

Он был вовсе не официозен, этот оптимизм. «Мы жили молодостью, — пишет Нагибин, — которая из-за войны чудно растянулась и довела нас до пятьдесят третьего года с неиссякаемыми надеждами». Людям другого исторического опыта очень трудно понять, на что можно было надеяться среди бесправия, рабодепия, доношительства и страха, день за днем соприкасаясь со всем, что творилось на российских просторах в тридцатые, в сороковые годы. Но надежда — пусть вопреки всему — сохранялась. И была формой духовного спасения.

Не ощутив этого, очень легко с порога отвергнуть все, что Галич писал первые пятнадцать лет после войны. А тогда его творчество распадается на две сферы, не то что неравные, просто несопоставимые. Даже одна с другой не связанные, как будто песни созданы кем-то еще.

Но у настоящих писателей так не бывает. Могут быть очень глубокие творческие сдвиги, однако перерождения невозможны.

И поэтому не спешите укорять Галича тем, что он не относил к самому себе горькие слова о друзьях, которые уходят на первой странице, где печатались в ту пору одни только идеологически выдержанные — комар носа не подточит — статьи. Такое мне приходилось о нем слышать: зря считает лишь «потери по соседству», лучше бы оглянулся на себя. И, дескать, не ему бы вспоминать в другой своей песне старое, как мир: «Не судите, да не судимы» — с негодующим комментарием:

Нет, презренна по самой сути
Эта формула бытия!
Те, кто выбраны, те и судьи?!
Я не выбран, но я судья!

Право судить у Галича было, потому что честностью он не поступался. Я понимаю, многим это заявление покажется натяжкой, когда они прочтут хотя бы такую пьесу, как «Пути, которые мы выбираем». Да, слабая пьеса — с картонными персонажами, с натужными конфликтами, развивающимися в жесткой рамке: от сих до сих, и ни на сантиметр дальше.

Но по тому времени — 1953 год — появление на сцене крупного руководителя, который оказался жуликом и обиралой, кое-что значило. Разве может случиться такое, чтобы аферист шел в гору, попирая честного труженика? У нас ничего подобного не бывает. Самая передовая в мире советская эстетика раз навсегда доказала, что в нашей замечательной стране есть только хорошее и еще более хорошее. Вот и вся допустимая коллизия. И какие выдающиеся произведения на ней построены! Эпохальный фильм «Кубанские казаки». Эпохальный роман «Кавалер Золотой Звезды».

Вы думаете, я преувеличиваю? Ничуть. Любопытства ради полистайте тогдашнюю «Литературную газету» — вам покажется, что вы перенеслись в неандертальскую эпоху, но это было даже на памяти моего, не самого старшего поколения. Был и скандал вокруг тогда же, в 1953 году, напечатанной статьи В. Померанцева «Об искренности в литературе». При чем тут искренность? Литератору надлежит оберегать чистоту наших идей. И подтягивать «хорошее» до лучшего на свете.

Но для Галича искренность всегда была первым условием творчества. Ею не обязательно восторгаться, к ней примешивалось странное, по нашим меркам, стремление не до конца считаться с истиной, даже инстинктивно ею пренебрегать, как будто от этого она станет не настолько печальной. Наверное, гнетущая атмосфера тех лет требовала веры хоть во что-то. Не в сияющее будущее, разумеется, просто в обыкновенную порядочность. Она должна была, она была обязана оказаться сильнее большой лжи, царившей вокруг. Потому что если и она капитулирует перед ложью, в самом деле останется только «сорваться и спиться к черту».

И вот эту искренность, которая кому-то может теперь показаться смешной, уполномоченные управлять искусством распознавали в пьесах Галича лучше нас с вами, оттого и ставили ему барьер за барьером. Отчего, например, был не разрешен к постановке «Август»? Ведь автор вроде бы заплатил требуемую дань соцреализму. Налицо положительный герой. Он работает в газете, отвечает за материалы, информирующие о подвигах ставропольских хлеборобов и прочих трудовых победах. Чего же еще?

Недреманное око углядело, однако, что герой не без изъяна. Разговаривает по-человечески, а не одними лозунгами. И вообще что-то не очень полыхает энтузиазмом. Да еще отправляется с незнакомыми девицами в «Арагви», а между прочим, семейный человек.

Ах, автор хотел сказать, что у всех выдаются минуты кризиса, сомнений, душевной маеты? Но разве это взволнует нашего зрителя? Он, зритель, охвачен исключительно мыслью о новых великих свершениях. Он спит и видит, когда же родному предприятию вручат переходящее Красное знамя.

Соколовы-Соловьевы, ответственные товарищи, не пропустившие «Матросскую Тишину», которой должен был открыться новый московский театр «Современник», верней всего, знали цену всей этой запретительской демагогии, которую Оруэлл назвал «новоязом». Но ни говорить, ни думать иначе, чем на «новоязе», они не умели. Во всяком случае, не хотели. Приличия ради могли что-то промямливать о просчетах в драматургии, но в действительности забота у них была одна — пресечь любую попытку искреннего разговора со сцены. Галич устроить их никак не мог.

Он написал о том, каким бедствием была война и какой она вызвала патриотический подъем, — для объясняющихся на «новоязе» его пьеса означала провокационное возвеличивание евреев. Он сказал о своем поколении, самоотверженном до жестокости к себе и близким, прямолинейном, наивном, столько вынесшем на своих плечах; «новояз» интерпретировал — много рефлексий, мало героики. Он выразил витавшее в воздухе после

XX съезда чувство перемен: люди возвращаются из лагерей, как из небытия, и настала пора задавать вопросы о нашем недавнем прошлом, о нашем будущем. «Новояз» не признавал вопросительных интонаций. На все вопросы имелись соответствующие постановления.

Так она и не увидела света рампы, «Матросская Тишина», о которой Москва была уже наслышана и за которую отчаянно бился начинающий режиссер Олег Ефремов вместе со своими молодыми студийцами. Пьеса, где так явственно отзывается Чехов, прежде всего «Три сестры». Где атмосфера времени передана с непосредственностью, доступной только участнику, а не постороннему свидетелю. И где все подчинено лейтмотиву — паровозный гудок, перестук колес на стыках. Тульчинский вокзал, откуда для героев начинается дорога в большой и тревожный мир. Сгоревшие станции, мимо которых тянется состав с ранеными и умирающими. Северные, сибирские поезда, их пассажиры, которых годы, десятилетия назад увозили под конвоем...

Если присмотреться, здесь, в «Матросской Тишине», завязаны сюжеты песен, которые вскоре будет слушать вся Россия, переписывая с кассеты на кассету. И «Поезда», посвященного Михоэлсу. И «Песни про острова». И «Песни про велосипед». И вот этой, для Галича едва ли не программной:

Спрашивайте, как и почему?
Спрашивайте, как и почему?
Как, и отчего, и почему?
Спрашивайте, мальчики, отцов!

.....
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте!
Спрашивайте!!!

* * *

А все-таки настоящий театр Галича — это написанное им не для сцены, а для гитары. Я не оговорился: именно театр, не в переносном, а в самом буквальном смысле понятия. Театр одного актера, бесконечно перевоплощающегося, словно ему это ничего не стоит сделать.

В мгновение ока из столичного интеллигента он становится забулдыгой-маляром, понимающим толк в «Жигулевском» и в «дубняке», или отставником, подавшимся в ВОХРу. Зятем большого начальника, получившим, чего добивался, — дом полной чашей, холуев у ворот, «а по праздникам кино с Целиковскою». Милиционершей-регулирующей, день напролет ругающейся с шоферюгами. Среднестатистическим гражданином, который ошалел от свалившегося на него заграничного наследства, хотя до того по части идеологической борьбы никому не давал спуска.

Этих масок, созданных с отменным знанием всевозможных человеческих типов, у Галича не счесть. В его поэзии заговорила о себе текущая по улице толпа, население коммуналок и задворок, завсегдаи шалманов и забегаловок, где случайно забредший писатель Зощенко удивляет буфетчицу Тамарку, спросив вместо портвейна невиданный здесь боржом. С Галичем в литературу прорвался специфический жаргон рядового советского обывателя, говорок мещанина — не суть важно, крутит ли он баранку, просиживает ли штаны в канцелярии, или, выйдя на пенсию, вздыхает по золотым сталинским временам, — шершавая речь тех, кто «двадцать лет протрубил по лагерям», и «новояз» охранников в генеральских, в сержантских погонах, намертво приросших к их именам.

Называя Галича Гомером наших будней, а каждую его песню «Одиссеей», «путешествием по лабиринтам души советского человека», Владимир Буковский, думая, преувеличил, но главное в подобной оценке уловлено точно. Ведь и вправду песни Галича, если хотите, род современного эпоса, охватившего самые разные грани нашей действительности.

В этом смысле Галич, конечно, прямой предшественник Владимира Высоцкого и до какой-то степени антагонист чистейшего лирика Булата Окуджавы. Впрочем, мне кажется, не следует слишком уж увлекаться противопоставлениями такого рода. Окуджава и Галич появились почти одновременно и были очень разными поэта-

ми, что только естественно, — оба наделены сильной, яркой индивидуальностью, а она неповторима. Но дело они делали общее, расшатывая задубелые стереотипы мышления, вторгаясь в сферы, куда подцензурной лире вход был закрыт, и выражая чувства, которые, по казенным представлениям, нашему соотечественнику глубоко чужды, хотя ими-то, этими чувствами, он как раз жил день за днем. В условиях тогдашней полунемоты они сумели выразить время, убедив, что оно действительно «в нас ввинчено штопором» — накрепко, неотторжимо, хотим мы того или нет.

Вот эта способность, не оглядываясь на запреты, говорить о времени впрямую, без ретуши, без лести, без утаек, была знаменательна в авторской песне, пока жанр не выродился, не стал вполне признанным, получив для себя лужниковский вместительный зал и первую телевизионную программу, — сколько угодно воспевай счастье трудных дорог, поездки за туманом и за запахом тайги да истрепанную романтику костров под полярными звездами.

В шестидесятые все обстояло иначе: ни Лужников, ни телевидения, одни разносные статьи, за которыми следовали оргвыводы в виде грозных предостережений властей.

Зато была в авторской песне тех лет поэзия первооткрытия самых мучительных тем, прикосновения к самым больным точкам нашей жизни. И оттого был безнадежно ею теперь утраченный престиж. В ней безошибочно чувствовали правду, замалчиваемую и теснимую. В ней находили истинную литературу о современности. Об этом сказано у Галича:

Время сеет ветер, мечет молнии,
Создает советы и комиссии,
Что ни день — фанфарное безмолвие
Славит многодумное безмыслие.
Бродит Кривда с полосы на полосу,
Делится с соседской Кривдой опытом,
Но гремит напетое вполголоса,
Но гудит прочитанное шепотом...

Что же, в определенном смысле они на самом деле были «не хуже Горация», барды шестидесятых годов. Не притязая на лавры, они точно так же, как римский генерал, выполняли свой долг перед поэзией, давая имена множеству явлений, официально не существующих или, как это формулировалось на тогдашнем «новоязе», «отодвинутых в прошлое в результате работы, проделанной по искоренению культа личности и его последствий».

Галич отбросил язык осторожных полунамеков, расплывчатых иносказаний и предельно зашифрованных обличений. Откровенно и жестко декларировал он истины, может быть, азбучные, но самые необходимые во все времена, а в то, послесталинское, особенно. Что нет в мире ценности выше, чем человеческая свобода. Что достоинство личности важнее любых государственных надобностей. Что наше общество задавлено страхом, оплетено паутиной диких понятий и предрассудков, стиснуто удавками нетерпимости, подозрительности, насильственного единодушия, придавлено всевластием богов аппарата с их бесчисленной челядью. Что постоянная ложь означает каждодневный духовный разврат и что мы только начинаем пробуждаться от морального оцепенения, с ужасом удостоверяясь, в какую пропасть скатились за годы сталинизма.

Для Галича это прошлое не было преодоленным. Он предполагал возможность рецидивов и, как удостоверено временем, не ошибся. Мы с тех пор насмотрелись на шутовскую процессию вослед усопшему генералиссимусу, мы знаем, что не фантазмагорией, не скверным сном, а провидением реальности была картина, нарисованная в «Ночном дозоре»:

Одинокий шагает памятник,
Повторенный тысячекратно,
То он в бронзе, а то он в мраморе,
То он с трубкой, а то без трубки,
И за ним, как барашки на море,
Чешут гипсовые обрубки.

Эту песню Галич написал в пору расцвета либеральных надежд, вызванных хрущевскими послаблениями. Многим казалось, что кошмары остались для советского общества позади и наконец-то восторжествуют элементарный разум, элементарная справедливость.

Галич не разделял таких упований. Сбываться они начали только через два десятилетия, ему же казалось, что не сбудутся никогда. Пусть его осудят за этот пессимизм пережившие застой без особенно серьезных утрат для себя и даже без особого дискомфорта. А он оплатил свою горечь, свое неверие собственной судьбой.

Посмотрите на дату под «Петербуржским романсом». 21 августа 1968 года советские танки вошли в Прагу. День спустя на Красной площади шесть наших сограждан, бросая вызов системе, подняли плакат со словами протеста. Их, этих безумцев, ожидали психушки, пересылки и тюрьмы. Им, осмелившимся высказаться, когда у других хватило мужества разве что уклониться от одобрения «братской, бескорыстной помощи» на митингах в поддержку, Галич посвятил песню, которая останется документом истории.

Дело даже не в конкретном поводе, которым эта песня вызвана. Не в напрашивающихся аналогиях с декабристами. Не в том, что «повторяем следы». Самое поразительное — неслыханная прямота, с какой «Петербуржским романсом» поставлена коллизия, в той или иной форме знакомая из непосредственного, личного опыта всем, пережившим времена «реального социализма». Нельзя от каждого требовать самопожертвования и укорять за то, что недостало душевных сил открыто выразить несогласие. Но требовать честности хотя бы перед самим собой — справедливо.

А этим-то все тогда и поверялось в человеке — способностью отвергнуть ложь или по крайней мере ее не умножать, не впадать из трусости в конформизм, не поддаваться искушению благополучием в обмен на независимость мысли и поступка. Ведь Галич был прав:

...все так же, не проще,
Век наш пробует нас —
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!

И выходили — или, отыскав тысячи недостойных оправданий, увертывались; остаться в стороне не удавалось никому. Воистину «такой по столетию ветер гудит», что от него не спрячешься.

Так что напрасно уговаривал себя автор: «Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть». Этого Галич просто не умел. Зато и доставалось ему больше других бардов. Над ними издевались в газетах, не давали выступать, но, в общем-то, терпели. С Галичем начальство не успокоилось, пока буквально не вытолкало в эмиграцию, полностью прекрыв ему кислород.

А ведь не так уж у него и много песен, напрямую затрагивающих политику. «Петербургский романс», конечно, знали в любой интеллигентской компании, и разговор в ресторане из «Поэмы о Сталине» тоже, и «Я выбираю Свободу», и цикл с посвящениями нашим замученным, оплеванным писателям — Мандельштаму, Хармсу, Ахматовой, Пастернаку. Но вот и все, пожалуй. Правда, для гонителей Галича этого криминала хватило с избытком.

Галич раздражал их не только своими темами — может быть, даже еще сильнее своей стилистикой, интонацией, своим излюбленным жанром. Слово «романс» в заглавии знаменитой его песни вовсе не случайное. Как поэт Галич всего более обязан фольклору, а конкретнее — городскому романсу, который напрасно считают низкопробным искусством, презрительно добавляя: «мещанское». Из городского романса в русской поэзии росли блоковское «Под насыпью, во рву некошеном...» и метафоры Заболоцкого периода «Столбцов». Не настолько убога гитарная лирика, если отзывалась такими литературными версиями.

В песнях Галича соединены блоковский щемящий

надрыв и убийственный сарказм Заболоцкого, но питательной их почвой остались низовые, почти лубочные вирши, которые с давних времен сочиняли, распевая под гитару, анонимные авторы из приказчиков и канцеляристов. Как свидетельство поверий, пристрастий, понятий этой среды, как ее трагифарсовая исповедь они незаменимы, и Галич нашел в них художественный ход, позволивший говорить об эпохе языком внятным ей и вполне ее достойным. Он понял, что такой язык необыкновенно пластичен, ибо подходит для патетики и шаржа, для высокой гражданственности и ситуаций, граничащих с абсурдом, но в особенности — для монолога героя, любимого его героя, маленького человека наших дней. И вот эти монологи, эти баллады, в которых общество, смеясь, досадуя и плача, узнавало самое себя, сделались центром поэтического мира Галича. Если хотите, его фирменным знаком.

Они требовали не только мастерства имитации, не только безукоризненного слуха: сфальшивить хотя бы единым словом значило убить весь эффект. Прежде всего, они требовали абсолютно точного понимания социальной психологии, сформированной временем. Глубоко заблуждались те, кто видел в Галиче насмешника или только сатирика. Ему куда органичнее была, по-старинному выражаясь, роль живописца нравов. Другое дело, что он никогда не бывал беспристрастным.

Чем он восхищается, что ненавидит — этого не понадобится растолковывать никому. Позиция Галича не знает внутренних противоречий. Все договорено до конца, иной раз даже с чрезмерным нажимом.

Но так — лишь в его песенной публицистике. В балладах, в городских романсах все куда сложнее. Там прихотливый спектр оттенков и полутонов, законченные характеры, которые, согласно законам драматургии, обладают собственной логикой развития, фабула, всегда отмеченная жизненной достоверностью, хотя ситуации чаще всего анекдотичны. Сам автор в движение фабулы не вмешивается, не навязывает персонажам собственных взглядов и оценок. Он незаметен. Его присутствие, как в

рассказах Зоценко, выдает только манера повествования.

Ее точнее всего назвать ироничным сказом. В таких случаях необходим взгляд изнутри героя, а не извне — на него. Взгляд извне обладает рядом преимуществ, но и недостатков тоже, легко впасть в дидактику, в обличительность. Этого Галич старался избегать всеми силами. Он хотел понять и выразить время. И твердо рассчитывал, что если отойти в сторону, дав слово персонажу, то персонаж — наследник тетушки из Фингалии или супруг товарища Парамоновой, угодивший в красный треугольник, — прекрасно его выразит сам, без авторской подсказки. А уж тем более Клим Петрович Коломийцев, мастер цеха, член бюро и кавалер многих орденов.

Даже если все написанное Галичем забудут, Клим Петрович, я уверен, останется, потому что это редкий пример, когда эпоха нашла своего настоящего героя. Он ведь из самой городской толщи, незадачливый этот оратор и борец за своеобразно понятую социальную справедливость, отмечающий запоями собственные неудачи в начальственных кабинетах. Для властей предрержащих он, разумеется, марионетка, образцово показательный пролетарий, которого таскают по митингам с приготовленной референтом выдающейся речью, а в награду за труды удостоивают чести с делегацией ЦК профсоюза посетить дружественный Алжир. И, до подкормки пропитавшись «новоязом», он добросовестно требует к ответу израильскую военщину, долдонит про юбилейную вахту и про «продукцию на весь наш соцлагерь». Словом, он «партийный человек, а не зюзя», — могли бы лишний раз ему об этом и не напоминать в обкоме.

Но в том-то и фокус, что не просто «партийный человек» Клим Петрович. Как его ни воспитывали, как ни обтесывали да обстругивали, до конца вытравить в нем человека природного — достаточно сметливого, чтобы сообразить, что к чему, — не получилось. И вот он прямо у нас на глазах раздваивается: есть функция, которую Коломийцев старательно выполняет, и есть подлинная его жизнь, с этой функцией не соприкасающаяся ни в

общем, ни в частности. Функция требует, чтобы он по шпаргалке боролся за мир во всем мире, поучал интеллигентов мыслить, как «лично — вы знаете кто», и крыл НАТО на встречах с алжирцами. А жизнь — это совсем другое: это принять с утра сто граммов «для почину», попариться в баньке. Запастись, улетая за рубеж, консервированной салакой, чтобы по пустякам не тратить пусть маломощную, но валюту. Выбить попримичнее жилплощадь, посолиднее получку.

С функцией бывают накладки. Перепутали бумаги, и вот ораторствует наш Клим Петрович от имени матери-героини. Но это совершенно все равно — ритуал есть ритуал, главное, чтобы машина крутилась без остановок, и зря Коломийцев заколебался, не сойти ли с трибуны:

В зале вроде ни смешочков, ни вою...
Первый тоже, вижу, рожи не корчит,
А кивает мне своей головою!

Так с функцией. А с жизнью? С нею непорядок по-серьезнее, поскольку вся она к тому одному и сводится, чтобы, исполнив функцию, кое-что урвать для себя — и еще хорошо, если не делая другим гадостей. Она замусорена лишними малейшего смысла лозунгами и клише, которые от бесконечного повторения приобрели вид абсолютных истин и властвуют над сознанием. Она деформирована настолько, что люди, ею живущие, всерьез воспринимают водевиль как драму, а в собственном ничтожестве усматривают неоспоримое достоинство. В ней все перевернуто с ног на голову, все напоминает увешанную кривыми зеркалами комнату смеха, где почему-то совсем не смешно, а тянет запустить в первого попавшегося заборным словом да развеять тоску исконным российским способом.

Примириться с такой действительностью Галич не мог. Еще меньше мог хоть что-то в ней исправить. Но своим бессилием не утешался. Не признавал дешевого отчаяния, как и очень в ту пору распространившейся висельной иронии, которая освобождала от всех тревог: не нами, мол, заведено, и не на нас кончится.

Галич думал по-другому:

Люди мне простят от равнодушия,
Я им — равнодушным — не прощу!

Для него это было кредо.

* * *

Среди проработчиков нашлись такие, у кого повернулся язык корить Галича нелюбовью к России. В шестидесятые, правда, подобные приемы расправы с неудобными еще были не очень в ходу, но уже начали к ним примериваться. И на Галиче их опробовали. Трудно представить себе более злонамеренную тенденциозность.

Это он не любил Россию? Прочтите «Песню исхода», написанную накануне исключения из Союза писателей, когда решилось для Галича все последующее. Она посвящена Галине и Виктору Некрасовым, которых поставили в условия, сделавшие жизнь на родине невозможной. И Галич их менее всего осуждал, зная, что терпение не беспредельно, а продолжать борьбу за право остаться киевлянами и быть свободными уже нет смысла. «Улетайте — и дай вам Бог!» Но для себя Галич решил твердо: «Я останусь». Не мог иначе:

Разве есть земля богоданной,
Чем безбожная эта земля?!

Обстоятельства, однако, оказались сильнее его желаний, его упорства. Вскоре уезжать пришлось и ему.

Не все пишущие воспринимают эмиграцию как несчастье. Случается, люди там находят себя, устраивают свою жизнь и ни о чем не жалеют. Для кого-то отъезд стал если не благом, то шансом вырваться из литературного небытия, осуществиться в качестве писателя. У Галича вышло иначе.

Внешне его дела складывались неплохо. Он, отовсюду изгнанный, снова стал печататься. С концертами много ездил по свету. Критики из русского зарубежья были к нему щедры.

Но все это не так уж много значило рядом с другим: на чужбине Галичу стало трудно писать. Не знаю, казалось ли тут психологическое потрясение от вынужденной разлуки с Россией, семейные сложности или еще что-то, но убежден, что как поэт он не мог миновать кризиса, начавшегося с переселением на Запад. Такие пересадки сравнительно легко переносят писатели, тяготеющие к умозрению, философичности, к аллегориям и притчам, но для тех, чье творчество питает живая реальность, они губительны. А какой же Галич без нашей фантастической повседневной жизни?

В разреженном воздухе эмиграции ему скверно дышалось. Он остро чувствовал нехватку речевой стихии русских улиц, ему недоставало новых сюжетов, новых типажей, которые родная будничность рождала в таком обилии. Эмоциональная память, видимо, не была ему присуща в той степени, как Бунину или Шмелеву, которым ее одной хватало, чтобы создавать шедевры. Галич тоже писал, черпая из воспоминаний. Но удача ему не сопутствовала.

На мой взгляд, и повесть «Блошиный рынок», и поэма «Вечерние прогулки» — обе написаны в последние, эмигрантские годы — не лучшее, что им создано. Не хочу сказать, что они просто не получились, это не так. Есть и в повести, и в поэме штрихи, выдающие руку Галича, и ничью иную, есть его характерные мотивы — мытарства Семена Таратуты по милицейским инстанциям, например, или чудесное превращение учителя физики в «завбуфетом в цвете лет». Есть мотив непредсказуемости поворотов судьбы, которая вертит и крутит человеком по собственной прихоти, благо человеку не опереться ни на законы, ни на права. Есть атмосфера заплеванного шалмана, одесской толкучки — метафоры всего жизнеустройства в тогдашнюю пору.

Словом, есть многое. Но только не то мгновенно возникающее чувство нового слова о действительности, которое пробуждали лучшие песни Галича.

Нелепую его смерть, конечно, надо бы считать трагической случайностью. Но в биографиях поэтов случай-

ность всегда таит в себе нечто преудказанное. Никелированный «Грундиг» новейшей марки, который Галич приобрел себе на погибель, был для него свершением давней мечты. Раньше приходилось довольствоваться аппаратурой поскромнее, а то и вовсе отечественными изделиями, далекими от мировых стандартов. На «Яузе» рвалась пленка и сгорал предохранитель. Но «Яуза» Галича не убила. Наоборот, помогла ему найти свое настоящее призвание.

Говорят, на его концерты в эмиграции собирались тысячи людей. Не берусь судить, не присутствовал. Видел только запись одного его выступления, показанную на наших телеэкранах. Какая-то ярмарка не то в Германии, не то в Швеции. Карусели, балаганы, праздная толпа. Усталый, погрубевший человек с набрякшими веками поет на эстраде под тентом, окруженный десятком-другим зевак. Взгляд поющего устремлен вверх их голов, он не с ними, он весь в себе, словно и поет только для себя. Два здоровяка, посмеиваясь, кусают мороженое...

Галич пел «Когда я вернусь», лучшую из своих песен. Пел об оставленном там, дома, тепле и ночлеге, о городе, «которым казнюсь и клянусь». О февральском снеге на московских мостовых, о птичьем зове с московских деревьев, о том, как, вернувшись,

Я пойду в тот единственный дом,
Где с куполом синим не властно соперничать небо,
И ладана запах, как запах приютского хлеба,
Ударит в меня и заплещется в сердце моем —
Когда я вернусь.

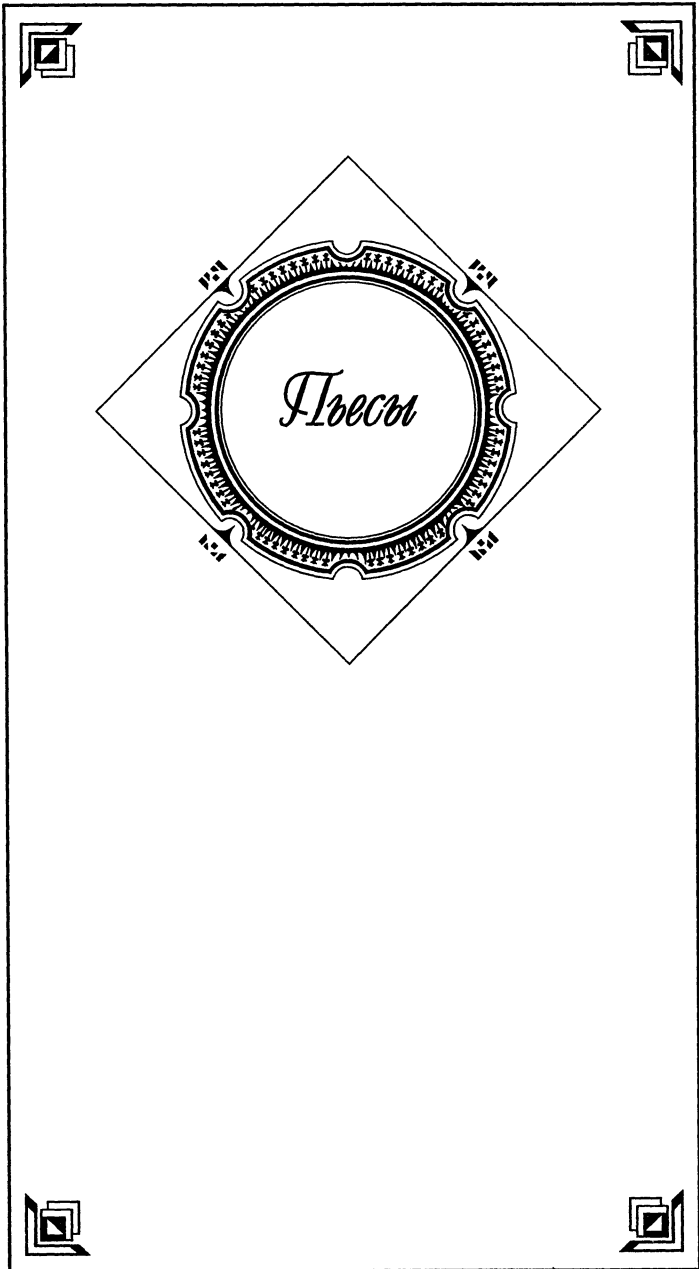
Его похоронили на русском кладбище неподалеку от Парижа. Прошло десять лет; в нью-йоркской газете «Новое русское слово» довелось мне с горечью и недоумением прочесть следующее: «Я очень прошу Вас, Александр Галич! Не возвращайтесь — Вы будете чужеземцем в Вашей родной России».

Бог весть, кто он — автор этого потустороннего обращения. Знаю одно: уж не говоря о странности такого

рода жестов, оно бессмысленно по сути. Галича пытались оторвать от России и заставили уехать, но он с нами оставался все те годы, что жил вдалеке. Галича пытаются теперь не впускать обратно, но он с нами, как бы это кого-то ни удручало.

Он вернулся, хотя, если говорить честно, никогда он нас и не покидал. И не покинет, потому что он слишком нужен нам всем.

А. ЗВЕРЕВ



Вас вызывает Таймыр

КОМЕДИЯ-ШУТКА В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Товарищ Дюжиков — приезжий с Таймыра.
Иван Иванович Кирпичников —
директор Черноморской филармонии.
Дедушка Бабурин.
Андрей Николаевич Гришко — геолог.
Дуня Бабурина.
Люба Попова.
Елизавета Михайловна Кирпичникова.

В ЭПИЗОДАХ ЗАНЯТЫ:

Певица.
Аккомпаниатор.
Дежурная по тринадцатому этажу.
Мать Любы Поповой.
Ашот Мисьян — радист первого класса.
Человек в клетчатом пальто.
Тетя Гали Савельевой.
Муж своей жены.
Человек из гардероба.
Человек с бородой.
Узбек.
Моряк.
Милиционер.
Профессор Синицын —
маг и волшебник из Министерства народного хозяйства.
Некая Галя Савельева.
Радист Федорченко.
Тенор Юнаковский.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Негромкая музыка. Перед закрытым занавесом, с совком и метелкой в руках, появляется Д е ж у р н а я. Она смотрит в зрительный зал, улыбается, произносит шепотом:

Начинаем, начинаем, пора!
Но пока еще смеяться нельзя...
Тише, тише. Люди спят.
Семь утра.
Не шумите в коридорах, друзья!..

Приложив палец к губам, Д е ж у р н а я уходит.

Открывается занавес.

Гостиница «Москва». Тринадцатый этаж. Нелепый общий номер, который, вероятно, был приемной или гостиной, а теперь, на время летней горячки, стал общежитием на четыре кровати. Письменный стол. Рояль. Огромная ваза, разрисованная оранжевыми драконами. Закутавшись с головой в одеяла, спят четыре человека. На письменном столе — телефон, папки с делами, свертки, пакеты в газетной бумаге.

Семь часов утра. Тишина. Только где-то поблизости, очевидно, в коридоре, передают по радио утреннюю зарядку.

Продолжительный телефонный звонок. Над кроватями приподнимаются четыре встрепанные головы. Телефон продолжает звонить. Долгая пауза, и наконец Д ю ж и к о в, приезжий с Таймыра, высокий широкоплечий парень, прыгает на пол и, кутаясь в одеяло, шлепает босыми ногами к письменному столу.

Д ю ж и к о в. Вас слушают... Междугородная? Да, Москва... Да, гостиница... Кто? Таймыр? Нет?.. Не понимаю, повторите по буквам... Ага! (*С сожалением положил трубку на стол, обернулся к соседям.*) Товарищи, кого тут могут из Черноморска вызывать, а?

Медленно поднимается Иван Иванович Кирпичников, полный пожилой человек в полосатой пижаме, в круглых роговых очках на румяном детском лице, тяжело вздохнув, подходит к телефону, берет трубку.

Кирпичников. Да... Я... Жду... Да, да!

Тишина. Дюжиков ложится и мгновенно засыпает. Кирпичников зевает, зябко ежится, переминается с ноги на ногу.

Да... Ну, слушаю... Лизанька? Здравствуй, Лизанька... Сегодня ночью... Ничего... Я хорошо доехал... Не слышишь? Я хорошо доехал. Опять не слышишь? Я хорошо до-е-хал... Лизанька, я не могу громче, я не один в номере... Что — начинается? Ну, родная моя, ну, как тебе, ей-богу, не стыдно... Да... Со мной три товарища — мужчины, мужчины... Я еще не успел с ними познакомиться... Мне не холодно — я сплю в пижаме... Клянусь тебе, что я сплю в пижаме... Лизанька... Хорошо... Сейчас я кого-нибудь позову — тебе скажут! Сейчас! (*Прикрывая рукой телефонную трубку.*) Товарищи... Большая просьба... товарищи...

Тишина. Из-под одеяла доносится мирное посвистывание.

Лизанька, они спят... Что? Лизанька... Подожди, Лизанька. Лизанька... Алло... алло... (*Сокрушенно повесил трубку на рычаг, покачал головой.*) Плохо! (*Ложится, закрывает голову подушкой, засыпает.*)

Тишина. Диктор по радио объявляет: «Начинаем бег на месте! И-и — раз». Музыка играет галоп. В дверь осторожно просовывается голова Дежурной по 13-му этажу.

Дежурная (*шепотом.*). Вы спите, граждане?

Снова поднимаются над кроватями четыре встрепанные головы.

Кирпичников. Что такое? А?

Дежурная. Уборочку у вас рано еще производить?

Кирпичников (*натягивая на себя одеяло*). Рано — это не то слово!

Гришко, человек с загорелым лицом и белой шеей, подымает голову и шурит близорукие глаза.

Гришко. А к-который с-сейчас час?
Дежурная. Восьмой. (*Уходит.*)

Несколько мгновений — тишина. Потом Гришко встает, подходит к телефону, оглядывается, решительно снимает трубку, набирает номер и, не дождавшись соединения, быстро кладет трубку на рычаг. Стоит у телефона в мучительном раздумье. В дверь тихонько стучат. Гришко на цыпочках подходит к двери, приоткрывает. В коридоре стоит Дуня.

Дуня (*тихо и растерянно*). Простите... Я... Это тринадцатый этаж?

Гришко (*шепотом*). Да.

Дуня. Общий номер?

Гришко. Да.

Дуня. Тут, понимаете, должен быть мой дедушка. Бабурин. Он просил, чтоб я его разбудила, — боялся опоздать на конференцию. Вы скажите ему, что пора. И потом, я еще коржиков ему принесла, пускай он чаю попьет. Хорошо?

Гришко. Хорошо.

Дуня. Вы разбудите его?

Гришко. Разбужу. Он где спит?

Дуня. Здесь.

Гришко. Я п-понимаю, что здесь, а на какой кровати?

Дуня. Не знаю. Мы с ним сегодня ночью приехали, отдельных номеров не было, меня временно вниз поместили, а его сюда. Неужели вы не заметили?

Гришко. К с-сожалению, нет. Я, очевидно, приехал еще позже. Здесь уже все спали... И вдобавок у меня страшная неприятность, я забыл где-то свои очки.

Дуня. Наверное, он спит у окна! Он и дома у окна любит, и здесь, наверное.

Гришко. У окна? Х-хорошо! (*Подходит к кровати, стоящей у окна, наклоняется, трясет спящего за плечо.*)

Дюжиков (*вскакивает*). Что? В чем дело?

Гришко. Внучка пришла.

Дюжиков. Какая внучка? Дайте спать, граждане! Спать дайте...

Гришко (*сконфуженный, отходит*). И-извините.

Дуня. Ну?

Гришко. Нет, это не бабушка!

Дуня (*соображая*). У вас в номере одно окно?

Гришко (*оглянувшись*). Два.

Дуня. Значит, очень просто, он спит у второго окна.

Гришко. Ну, конечно, вы совершенно правы! (*Решительно подходит к кровати, на которой спит Кирпичников.*) Вставайте!

Кирпичников (*испуганно*). Зачем?

Гришко. Вам пора на конференцию.

Кирпичников. На какую конференцию?

Дуня (*шепотом*). На конференцию передовиков сельского хозяйства.

Гришко. Вам пора на конференцию передовиков сельского хозяйства!

Кирпичников (*все еще ничего не соображая со сна*). Я не пойду.

Гришко. А я вам говорю — вставайте! (*Пытается сдернуть с Кирпичникова одеяло.*) Вставайте, товарищ, внучка пришла...

Кирпичников. Какая внучка?

Гришко. В-ваша.

Кирпичников. Послушайте, молодой человек...

Гришко. Уверю вас, к вам действительно пришла внучка.

Кирпичников (*разозлился*). Ах, действительно?! Тогда пошлите ее ко всем чертям! (*Заворачивается в одеяло.*)

Гришко (*очень огорченный, возвращается к двери*). Он сказал — ко всем ч-чертям!

Дуня. Кого?

Гришко (*помолчав*). Может быть, конференцию! А может быть, извините, в-вас...

Дуня. Меня? Он так не мог сказать.

Гришко. Мне просто у-ужасно неприятно, но он сказал именно так!

Дуня (*вспыхнула*). Я не думала... Я вас просила помочь... А вы... Очень с вашей стороны глупо и неостроумно! (*Рассерженная, быстро уходит.*)

Гришко посмотрел ей вслед, пожал плечами и направился в ванную. Слышно, как он там возится и насвистывает. С шумом полилась вода. Кирпичников и Дюжиков разом приподнялись на своих кроватях, сели, с интересом уставились друг на друга.

Дюжиков. С добрым утром.

Кирпичников (*разглядывая Дюжикова*). Здравствуйте, товарищ! Удивительно знакомое у вас лицо. Вы случайно не с берегов Черного моря?

Дюжиков (*весело*). Нет. Я с берегов моря Лаптевых.

Проснулся дедушка Бабурин, прислушался к разговору.

Кирпичников. С моря — каких?

Дюжиков. Лаптевых.

Кирпичников. Любопытно! Давайте знакомиться — Иван Иванович Кирпичников.

Дюжиков. Моя фамилия — Дюжиков.

Дедушка (*решил вмешаться*). Доброго здоровья, товарищи!

Кирпичников. Спасибо. С кем имею честь?

Дедушка (*коротко*). Бабурин.

Кирпичников (*припоминая*). Бабурин, Бабурин... Вы из Киева?

Дедушка. Нет. Мы тамбовские.

Кирпичников. Так. Любопытно. Иван Иванович Кирпичников — не слышали?

Дедушка (*вежливо*). Слыхать вроде слышал... А может, и нет, не помню.

Кирпичников. Я из Черноморска. Директор филармонии.

Дедушка (*заулыбался, предвкушая удовольствие*). Артист?

Кирпичников (*с тяжелым вздохом*). Начальник.

Дедушка. Вот как? Приятно. Кстати сказать, тут внучка моя не навевалась еще?

Кирпичников. Так это была ваша внучка?

Дедушка. А что? Никак она заходила уже?

Кирпичников. Да. Заходила. И требовала почему-то, чтобы разбудили меня.

Дедушка. Вас?

Кирпичников. Меня.

Дедушка (*горестно*). Ясно! Как это все сразу углядела, товарищ Кирпичников, прямо я даже не понимаю?!

Гришко (*выходит из ванной комнаты*). Товарищи, ванна свободна, кто следующий?..

Дюжиков, обмотавшись полотенцем, скрывается в ванной. Гришко снимает телефонную трубку, набирает номер и сразу же вешает трубку на рычаг.

Дедушка (*задумчиво*). Ох, товарищ Кирпичников, дойдет она вас теперь!

Кирпичников. Кто именно?

Дедушка. Внучка.

Кирпичников. Да? Зачем?

Дедушка (*уклончиво*). Так... Молодая еще!

Кирпичников (*заинтересовался*). Нет, нет, вы уж объясните, будьте добры. Это же просто любопытно. Зачем?

Дедушка (*зловещим шепотом*). Петь желает учиться — вот какое будет объяснение. У человека специальность в руках, а он вздор всякий выдумывает. В Москву со мной увязалась. Я ей говорю — нечего тебе в Москве делать, сиди дома, а она — в слезы. Тебя, дескать, посылают, и я с тобой. А я ей опять же говорю — мне семьдесят лет, я известная личность, ученый-пчеловод и прочее, меня, говорю, как передовика посылают, а ты кто такая? А она слушать ничего не хочет, вещи укладывает. Желает, говорит, ехать в Москву и выяснить со специалистами насчет своих способностей... А у нее, товарищ Кирпичников, к пчелам способности, и ни к чему больше... у нее, откровенно вам говорю, голос резкий и не-симпатичный... Так вот, если она к вам привяжется, вы как — примете ее или нет?

Кирпичников. Могу прослушать.

Дедушка (*обрадовался*). Вот-вот, прослушайте, значит, и отвергните! Втолкните ей, одним словом, чтоб она это бросила, ладно?

Кирпичников. С удовольствием! Должен вам

признаться, что я вообще не люблю, когда люди поют. Нормальный человек должен разговаривать, а не петь.

Д е д у ш к а. Правильно.

Гришко по-прежнему производит какие-то странные манипуляции с телефоном.

Д е д у ш к а. Товарищ, дорогой, занято у вас? Дозвольте мне тогда протелефонировать.

Г р и ш к о. Пожалуйста.

Д е д у ш к а (*снимая трубку, старательно дует в нее, затем произносит неестественно напряженным голосом*). Сто пятнадцатый номер прошу... Это сто пятнадцатый номер? Дуню Бабурину прошу. Это Дуня Бабурина? Это дедушка говорит. Дуня, ты сейчас как чаю попьешь, так подымись ко мне... Это что такое значит — не хочешь? А я говорю — подымись... А я говорю — не спорь, подымись! Тут человек один желает прослушать тебя... Ну да... Отбой прошу! (*Повесил трубку, усмехнулся.*) Сейчас прибежит!

Гришко снова принялся колдовать у телефона.

К и р п и ч н и к о в. Все еще занято у вас?

Г р и ш к о (*нехотя*). Нет... н-наоборот.

К и р п и ч н и к о в. Как — наоборот?

Г р и ш к о. Н-не занято.

К и р п и ч н и к о в. Телефон испорчен?

Г р и ш к о. Н-нет, телефон в порядке.

К и р п и ч н и к о в. Любопытно!

Д е д у ш к а (*с видом знатока*). Это, конечно, бывает иногда, что телефон нормальный, а гудки — не то.

Г р и ш к о. Нет, гудки обыкновенные, длинные.

К и р п и ч н и к о в. Очень любопытно, очень.

Г р и ш к о (*решительно*). З-знаете что — я-сейчас н-наберу номер...

К и р п и ч н и к о в (*с вежливой иронией*). А потом повесите трубку, так?

Г р и ш к о. Нет, нет! (*Хватает трубку, набирает номер, секунду колеблется и хочет положить трубку на рычаг.*)

Кирпичников. Стойте! (*Подбежал, выхватил у Гришко из рук трубку.*)

Гришко (*умоляюще*). Положите... положите... положите т-трубку!

Кирпичников (*протянул трубку Гришко*). Тогда говорите сами.

Гришко. Я н-не б-буду...

Кирпичников. Да говорите же, несчастный вы человек, там подошли уже...

Гришко. Кто п-подошел?

Кирпичников. Я не знаю.

Гришко (*в отчаянии*). Спросите... с-спросите Л-любу... Но если это она сама — ради бога, повесьте трубку!

Кирпичников. Сейчас мы выясним точно — кто это?! Алло... Кто со мной говорит?.. Люба? Отлично. А фамилия?.. Попова? Прекрасно! Очень рад, товарищ Люба Попова... Одну минуточку... (*Шепотом, к Гришко.*) Ну, живей, кто такая эта Люба Попова и что я ей должен сказать?

Гришко (*торопливо и сбивчиво*). Это... одна девушка... геолог... я в прошлый раз, когда приезжал в Москву, год назад, читал у них в институте сообщение — о работе нашей разведывательной партии... А потом она ко мне подошла и спросила — не знаю ли я такого Сергея Семушкина? А Семушкин был как раз у меня коллектором, и я ей сказал, что я его знаю...

Кирпичников (*иронически*). Превосходно сказал! (*В трубку.*) Минуточку, товарищ Люба Попова, сейчас мы с вами поговорим... (*К Гришко.*) Скорей, что было дальше?

Гришко. А потом как-то так само собой получилось, что я пошел ее провожать... А потом мы условились в-встре-титься и не встретились...

Дедушка. Почему?

Гришко. Потому что мне пришлось срочно у-улететь в район Гудермеса... Но я ей писал... честно... Правда, не про главное, а про... вообще...

Кирпичников. Все ясно! (*В трубку.*) Так вот, слушайте меня внимательно, товарищ Люба Попова. Вы

сейчас наденете самое красивое платье и приедете сюда: гостиница «Москва», тринадцатый этаж, общий номер... вам покажут... Кто говорит? Иван Иванович Кирпичников... Кир-пич-ников... Близкий друг... (*Шепотом, к Гришко.*) Как вас зовут?

Гришко. Андрей Николаевич... Но т-только...

Кирпичников (*перебил*). Близкий друг известного вам Андрея Николаевича! Да, он приехал... Почему говорю я? А вот вы придете, и мы вам все объясним! Да! Спешите! Я не прощаюсь. (*Вешает трубку и торжествующе смотрит на Гришко.*)

Гришко (*в ужасе*). Что вы наделали?!

Кирпичников (*гордо*). Нет, нет, не благодарите меня! Каждый раз, когда я уезжаю в командировку, я даю слово жене, что не буду вмешиваться в чужие дела... Но скажите — могу ли я оставаться спокойным, когда я вижу, как рядом со мной гибнет человек, потому что он тряпка? Нет, нет, нет... Ведь это же надо додуматься: сам уехал в Гудермес, а девушку оставил в Москве... В Москве, вы понимаете! В Москве, где по каждой улице толпами ходят красавцы! Где на каждом шагу стоят красавцы, и держат в руках букеты цветов, и дожидаются вашу Любу Попову.

Гришко (*в отчаянии*). Что вы наделали?

Кирпичников. Не волнуйтесь — она скоро придет!

Гришко. Как же н-не в-волноваться, когда я должен бежать р-ровно через пятнадцать минут!

Кирпичников. Куда?

Гришко. На прием к начальнику управления.

Кирпичников (*чуть озадаченный*). Вот как? И нельзя отложить?

Гришко. Не-н-невозможно!

Из ванной, приплясывая и растирая голову полотенцем, выходит Дюжиков.

Дюжиков. Ох, хорошо! Дедушка, идите мойтесь.

Дедушка направляется в ванную. Дюжиков останавливается у окна, смотрит. Кирпичников подошел к подавленному Гришко, дружески положил ему руку на плечо.

Кирпичников (*ободряюще*). Не волнуйтесь, ничего страшного! Ваша Люба Попова вас подождет.

Гришко. Она не станет меня ждать.

Кирпичников. Нет, нет, это чудовищно, почему не станет?

Дюжиков. Как отсюда удобнее всего добраться до Крымской площади?

Кирпичников. На метро.

Дюжиков. Доходит?

Кирпичников. Да.

Дюжиков (*вытащил из чемодана толстую записную книжку, раскрыл ее, отчеркнул что-то карандашом*). Так... есть... благодарю!

Кирпичников (*тихо, к Гришко*). Почему она не станет вас ждать? Если уж вы надеялись, что она вас ждала целый год, то каких-нибудь два часа ровным счетом ничего не значат... А в крайнем случае, знаете что: любой из нас с удовольствием окажет вам дружескую услугу и все ей объяснит!

Гришко. Что вы н-наделали?!

Дюжиков. А к заводу имени Лихачева я попаду на метро?

Кирпичников. Попадете.

Дюжиков (*отмечая в книжке*). Так, благодарю!

Дедушка (*выходит из ванной*). Товарищ Кирпичников, идите.

Кирпичников. Иду! А вы не волнуйтесь, мой дорогой друг! Не волнуйтесь — все будет в полном порядке! (*Скрывается в ванной.*)

Дюжиков с трудом застегивает разбухший от бумаг и пакетов портфель, встает и направляется к выходу.

Дюжиков. Если меня будут спрашивать, скажите, что вернусь поздно вечером.

Дедушка. Уходите уже, товарищ?

Дюжиков (*улыбаясь*). Да, хочу, понимаете, до всех дел успеть пробежаться по Москве. Хочу наконец-то взглянуть на нее — какая она!

Дедушка. Вы что же, никак тут в первый раз?

Дюжиков. В том-то и штука, что самый первый раз! Родился я в Сибири, а учился в Свердловске... когда кончил, хотели всем выпуском в Москву ехать — на экскурсию... Ну а тут как раз комсомольский призыв — все на целину! Вот я и уехал вместо Москвы совсем в другую сторону... Четыре года там проработал, получил медаль, премию... Опять собрался в Москву, и опять — в газетах письмо дальстроевцев: нужны люди! (*Засмеялся.*) И опять я в другую сторону укатил — на Крайний Север. Так что Москву я до сих пор только на картинках видел да в кино!

Дедушка. Прямо чудно!

Дюжиков. Чудно, не спорю. А невтерпеж до того, что ночью еще хотел в город бежать, да уж больно в дороге замучился... Трое суток просидел на Енисее с вынужденной посадкой... Я уж, откровенно говоря, думал — опять у меня сорвалось! (*Тряхнул головой.*) Ну, будьте здоровы! (*Быстро идет к дверям.*)

Продолжительный междугородный звонок. Дюжиков останавливается.
Из ванной выбегает испуганный Кирпичников.

Кирпичников. Междугородный звонок... Это опять меня... Товарищи, возьмите кто-нибудь трубочку — у меня руки мокрые.

Дюжиков (*подбежал, снял трубку*). Слушаю. Ждать и не отходить от телефона? Кто вызывает? Таймыр? Предупреждение? Да я... хорошо... жду и не отхожу. (*Повесил трубку, мрачно посмотрел на своих сожителей, швырнул на стол портфель, сел.*)

Гришко. Это в-вас?

Дюжиков. Да... Вот тебе и пробежался по Москве! Черт побери, интересно: скоро они хоть меня соединят? Как вы думаете?

Кирпичников. Не хочется вас огорчать, но должен сказать откровенно, что это единственная вещь, которую не знает никто! Никто решительно. Вас могут соединить через пять минут. Через полчаса. Через двадцать четыре часа. Я, например, просидел однажды целые сутки...

Дю ж и к о в (*в ужасе*). Так ведь это же полная катастрофа, товарищи!

К и р п и ч н и к о в (*роясь в чемодане*). Очень может быть.

Дю ж и к о в. Я и так всего на два дня в Москву...

К и р п и ч н и к о в. Ну-ну-ну, голубчик! Все командированные говорят, что они приехали всего на два дня! Святая традиция!

Дю ж и к о в. Да, но я действительно всего на два дня.

К и р п и ч н и к о в. Задержитесь.

Дю ж и к о в. Легко сказать! Я-то задержаться могу, а вы попробуйте задержите навигацию! Ведь тут каждый час дорог! Опоздаешь с грузами на день, а потом торчи полгода на Большой земле. А люди будут ждать, волноваться, нервничать! Кого станут ругать на зимовках в полярную ночь? Дюжикова. На всех островах, от Малой до Большой гряды, будут ругать Дюжикова! Слушайте, товарищи, может, кто-нибудь из вас поговорит за меня? А то ведь я, честное слово, окончательно пропадаю! Они, главное, думают, наверно, что я все дела уже сделать успел, а я, как дурак, торчал на Енисее с этой вынужденной посадкой... Правда, товарищи, может, кто поговорит за меня? А?

Молчание.

К и р п и ч н и к о в. Видите ли, голубчик, во-первых, они же вызывают вас, а не нас. Им, как я догадываюсь, интересно с вами поговорить, а не с нами! Это — во-первых! Во-вторых, голубчик, каждый из нас тоже приехал в Москву всего на два дня. И приехал не развлекаться. И у каждого тоже сто тысяч дел... Нет, нет, нет, кто же это в состоянии сидеть до ночи у телефона?

Д е д у ш к а. Да-а, положеньице!

Дю ж и к о в (*с робкой надеждой*). А вы, бабушка?

Д е д у ш к а. Конференция у меня, молодой человек, конференция.

Дю ж и к о в (*со спокойствием отчаяния*). Вопрос ясен.

Г р и ш к о. А вы попытайтесь отменить разговор.

Дюжигов (*грубовато*). Да что они, по-вашему, доброго утра мне хотят пожелать, что ли? Таймыру связаться с Москвой — это, как говорится, не ближний свет! Раз уж вызывают, значит, важные новости...

Мрачное молчание. Гришко нервно встал, быстро надел пальто и снова сел. Кирпичников, сердито посапывая, вывернул на кровать все содержимое своего чемодана.

Кирпичников. Ничего не понимаю! Куда могла деваться моя пижама?

Гришко. Вы поверх нее надели пиджак... Товарищи!

Дедушка. Это вы нам?

Гришко. Да, товарищи, мне кажется, что мы все-таки обязаны что-то придумать... Ведь Таймыр же!

Дюжигов (*умоляюще*). Таймыр, товарищи, а?

Кирпичников (*резко, к Гришко*). Вы можете остаться?

Гришко. Нет, я просто никак.

Кирпичников. Я тоже не могу.

Дедушка. А у меня конференция.

Кирпичников. Так что, как это ни грустно, но остаться в номере не может никто. Понятно?

Дюжигов. Чего уж понятнее!

Кирпичников (*задумчиво запел*). Не может никто... Не может никто... Не может... ах, не может решительно никто!.. А вообще-то, конечно, что-нибудь придумать надо.

Дюжигов. Надо! Ей-богу, надо, товарищи! Я ведь не для себя прошу. Ну, Дюжигов, черт с ним, опять не посмотрит Москву. В другой раз посмотрит. Но Таймыр-то ведь ждет. Люди ждут. Полиметаллический комбинат ждет. Будущий город ждет! Замечательный будущий город, честное слово!

Кирпичников. Можете нам не давать честного слова! Мы сами знаем, что замечательный.

Дюжигов (*пылко*). Ах, какой это будет город, товарищи! О нем песни петь надо! Вот вы приезжайте к нам, посмотрите — что за край! У нас все есть! Руды, нефть, зверье, птицы, рыба. А ночь! Знаете ли вы, товарищи,

полярную ночь? Нет, черт возьми, вы не знаете полярной ночи. Северное сияние горит, по снегу дикий олень бежит, песец, волк, медведь! А в реках стерлядь плывет, омуль, сиг, муксус, нельма, осетр...

Дедушка. Ай-яй-яй...

Кирпичников (*после паузы*). Нет, нет, нет, — я чувствую, что должен вмешаться. Какие у вас дела намечены на сегодня?

Дюжиков (*раскрыл записную книжку, читает*). Стаькконструкция. Главлес. Северопроект. Главное управление портов. Отдел кадров Геолого-разведочного управления. Архитектурный комитет. Министерство народного хозяйства. Центральная бухгалтерия Главсевморпути... И все!

Кирпичников. Да, любопытный списочек. Песня. Боевая — командировочная. Так вот что я вам хочу предложить. Сидеть у телефона я, разумеется, не могу. Но между двенадцатью и половиной второго у меня в делах «окно». И ежели вам угодно, то в какой-нибудь этакий Северопроект я с удовольствием забегу и сделаю все, что вам там от них нужно.

Дюжиков (*хмуро*). Да нет, спасибо. Один Северопроект меня все равно не спасет.

Гришко (*с внезапным энтузиазмом*). Почему не спасет? Вы в Геолого-разведочное управление с-со-бирались?

Дюжиков. Да, собирался.

Гришко. Так ведь я там знаю буквально всех и каждого. Буду говорить в отделе кадров за себя — могу и на счет вас поговорить.

Кирпичников. Товарищи, это гениальная идея!

Дедушка (*меланхолично*). Я полагаю, что конференция моя часов, скажем, до трех. Стало быть, с половины четвертого вы очень даже свободно можете рассчитывать на меня. Скажите, куда пойти, — я пойду!

Кирпичников. Честное слово, это гениальная идея! Причем я считаю, товарищи, что каждый из нас должен взять по два объекта. Например, я могу отпра-

виться в Северопроект и в Министерство народного хозяйства.

Гришко. Я в-возьму на себя Геолого-разведочное управление и Центральную бухгалтерию Главсевморпути.

Кирпичников. Превосходно! Дедушке мы поручим Стальконструкцию и Главлес... Таким образом, вам на завтра останется сушая чепуха и вы великолепно уложитесь!

Дюжиков (*все еще недоверчиво*). Вы это серьезно?

Кирпичников. Совершенно серьезно.

Дюжиков. Как-то не верится!

Кирпичников (*рассердился*). Послушайте, голубчик, вы, кажется, считаете, что наш остров Таймыр...

Дюжиков. Полуостров...

Кирпичников. Тем более! Вы считаете, что наш полуостров Таймыр ваша личная собственность и никого, кроме вас, не может интересовать?

Дедушка (*грозно*). Как-то это прямо даже неудобно получается.

Дюжиков (*улыбнулся*). Извините!

Кирпичников. То-то! Давайте быстренько: с кем я должен увидеться и по какому вопросу?

Дюжиков (*растегнул портфель, вытащил папки с делами, положил на стол*). Глядите, вот эту докладную записку надо сдать в расчетный отдел Северопроекта и попросить их не позже чем к завтрашнему дню составить примерную смету...

Кирпичников. Будет исполнено. Что еще?

Дюжиков. У них там есть типовые проектные альбомы инженеров Яковлева и Полторацкого. Надо постараться выпросить у них комплектов десять-пятнадцать...

Кирпичников. Двадцать вынем! Что в Министерстве народного хозяйства?

Дюжиков (*начинает понемногу увлекаться*). Там есть некий Николай Николаевич Сеницын. Крупнейший специалист по морозоустойчивым культурам. Маг и волшебник. Его надо уговорить приехать к нам. Непременно! Хотя бы на полтора-два месяца...

Кирпичников. А на что брать?

Дюжиков. В каком смысле?

Кирпичников. Деньги или романтика?

Дюжиков. Романтика.

Кирпичников. Ладно. Попытаемся. Все?

Дюжиков. Все.

Кирпичников. Так. Товарищи, подходите, получите задание. Кто следующий?

Гришко. Я. П-пожалуйста. Я очень с-спешу...

Дюжиков (*просматривает бумаги*). Минуточку... Так... Ага... вот она! Эту бумажку вы вручите под расписку в Центральную бухгалтерию Главсевморпути. Ни в коем случае не забудьте взять расписку! Потом вам нужно будет узнать, когда переведены деньги по госдотации и номер авизо...

Гришко. Есть.

Дюжиков. У Геолого-разведочного управления постарайтесь вырвать двух человек.

Кирпичников. Просите трех!

Дюжиков. А зачем трех?

Кирпичников (*снисходительно улыбнулся*). Просить надо трех, а соглашаться на двух. Ясно?

Гришко. Ясно! А кого и-именно?

Дюжиков. Одного инженера-нефтяника и одного консультанта по черным рудам. Напомните, что они нам обещали. Передайте привет Полякову от Талалая.

Гришко. Все?

Дюжиков. Все.

Гришко. Ладно. Я, в таком случае, бегу... Да, кстати...

Дюжиков. Что такое?

Гришко (*взяв Дюжикова под руку, отвел в сторону*). Тут с-скоро зайдет одна моя знакомая... Люба Попова...

Дюжиков (*кивнул головой*). Так. И что же?

Гришко (*растерянно*). Она зайдет, а м-меня не б-будет... Впрочем, может быть, это и х-хорошо, что меня не б-будет! Вы п-понимаете, я н-не виделся с нею целый год... Только п-письма п-писал... Но зато я очень часто представлял себе, как мы встретимся с нею и я ей скажу... Ну, вы сами понимаете... о чем... скажу ей все, а она вдруг засмеется... Что тогда?

Дю ж и к о в. Тогда скверно.

Г р и ш к о. И вот я х-хочу в-вас просить — скажите ей! Скажите ей, что ее очень любит о-один человек. Можете не называть моего имени — она с-сама догадается... Скажите ей, что он, этот человек, постарается на этот раз остаться в Москве... Потому что она живет здесь, и он хочет быть... Ну, вы понимаете? Вы не с-серди-тесь н-на меня з-за эту идиотскую просьбу, но ведь мне больше н-некого...

Дю ж и к о в (*серьезно*). Все понимаю. Поговорю с нею обязательно. Счастливого вам пути, и не волнуйтесь! Товарищи, кто следующий?

Д е д у ш к а. Я.

Дю ж и к о в. У вас что?

Д е д у ш к а. У меня эти... как их... Главлес и Сталь-конструкции!

Г р и ш к о. Я ушел. До свидания, товарищи!

Дю ж и к о в. Не забудьте расписку!

Г р и ш к о. Не з-забуду... Вы тоже не забудете, да?

Дю ж и к о в. И я не забуду!

Г р и ш к о. До свидания. (*Уходит.*)

К и р п и ч н и к о в (*вздыхнул*). Нервничает! Любовь! Нет, нет, нет, он очень хороший человек! Кто следующий?

Д е д у ш к а. Я, что ли?

Дю ж и к о в (*командирским тоном*). Значит, с вами, товарищ!

Д е д у ш к а. Слушаю.

Дю ж и к о в. В Главлесе, в отделе заготовок, необходимо устроить скандал.

Д е д у ш к а (*записывает*). «Устроить скандал...»

Дю ж и к о в. Сможете?

Д е д у ш к а. А что ж тут такого особенного?

Дю ж и к о в. Сначала вы им заявите, что до тех пор, пока они нам не пришлют механизированных установок по сплотке, выгрузке и погрузке, — ни одного кубометра древесины сверх плана они от нас не получают! Заявите?

Д е д у ш к а. Будьте покойны! Ничего они от нас не получат.

Дюжиков. Ну, по плану-то получают.

Дедушка. А я говорю — ничего не получают! Ни по плану, ни сверх плана! Дальше.

Дюжиков. А дальше так: когда они начнут извиняться — вы им покажете это письмо...

Дедушка. Оно про что?

Дюжиков. Про то, что мы теперь сами освоили производство перегружателей и в их благодеяниях не нуждаемся!

Дедушка. Освоили! Молодцы, хвалю! Еще что?

Дюжиков. Самое важное — получить в Стаьлконструкции наряд на подшипники. Наряд дело нехитрое, чернильное — выписать его, и все! Но у них там путаница с очередями, и они бессовестно тянут...

Дедушка (*записывает*). «Бессовестно...» Все?

Дюжиков. Все. Учтите, что это не так просто.

Дедушка (*высокомерно*). Это смотря для кого! Дозвольте откланяться — побежал на конференцию! (*Уходит.*)

Кирпичников (*осторожно покашлял*). Между прочим, товарищ Дюжиков, у меня к вам тоже будет одна небольшая просьба...

Дюжиков. Пожалуйста! Все, что угодно!

Кирпичников. Видите ли, я обычно езжу в командировки с моим заместителем. Я хозяйственными вопросами занимаюсь, а переговоры с артистами ведет он... Я, знаете, не люблю, когда весь день поют... Не выдерживаю... Час или два — ничего, а больше не могу. В голове шумит, в глазах темнеет, и подташнивать начинает... А между прочим, артисты к нам так и рвутся! К сожалению, главным образом плохие! За хорошими мы сами бегаем, а плохие за нами бегают. Так вот, поскольку я сейчас ухожу по делам, а они уже наверняка разузнали, что я в Москве, и в скором времени начнут появляться, так вы им всем объясните, что прием артистов на этот раз крайне ограничен.

Дюжиков. Так они же все равно не поверят мне, станут дожидаться вас.

Кирпичников. Нет, нет, нет, почему не поверят?! Они меня в лицо не знают. Только по фамилии. Они

ведь с моим заместителем дело имели. Вы скажите им, что вы — Кирпичников, и точка!

Дюжиков (*засмеялся*). Ладно, попробую. Хоть бы не запутаться — что за кого говорить...

Кирпичников. Ничего, ничего, вы человек молодой, оперативный, разберетесь. Так, значит, условились?

Дюжиков. Условились.

Кирпичников. Желаю удачи!

Кирпичников уходит, и Дюжиков остается один. Долго покачивает головой и с ненавистью смотрит на телефон. Снизу, с улицы, доносится шум проснувшегося города. Снова появляется в дверях Дежурная горничная.

Дежурная. Уборочку у вас можно произвести?

Дюжиков. Пожалуйста. Я вам не помешаю?

Дежурная. Разве гость может помешать? (*Принимается за уборку номера, искоса с интересом поглядывая на Дюжикова.*) А что это вы — такой день замечательный, а вы в номере сидите? Не заболели случайно?

Дюжиков. Да нет, я телефонного звонка жду. Междугородного.

Дежурная. Издалека?

Дюжиков. С Таймыра.

Дежурная. Откуда?

Дюжиков. С Таймыра.

Дежурная (*неопределенно и сочувственно*). Да-а, это конечно... И вы что же, сами оттуда?

Дюжиков. Вот именно.

Дежурная. Нравится?

Дюжиков. Да. Очень!

Дежурная. Бывает... Вот, знаете, мне Кашкин Никодим Спиридонович тоже предлагал на подсобное хозяйство перейти. Потом еще меня в нижний буфет звали. А я отказалась. Из принципа. Я со своего этажа никуда не уйду. Про меня даже директор на общем собрании сказал: ну, товарищ Пуговкина, она энтузиастка тринадцатого этажа. Это правда! Я действительно энтузиастка. И работа мне нравится. По одним номерам пройдешь, и все равно как в путешествие съездила, честное слово! Вот вы, например, с Таймыра. А другой — из еще того

пуще. А третий такое скажет, что и не выговоришь. Два раза так вот зайдешь, а на третий тебя уж и в гости приезжать приглашают... Приезжайте к нам, товарищ Пуговкина, в Биюк-Кирасу, честное слово... А я потом иду с работы домой и думаю: а ведь, может, и вправду я когда-нибудь поеду в это самое Биюк-Кирасу. Нет, я очень за свой этаж болею душой...

В дверь стучат.

Дю ж и к о в. Прошу.

Входит Маленький человечек в клетчатом пальто и зеленой шляпе.

Человек в клетчатом пальто (*бойко*). Товарищу Кирпичникову — пламенный привет! Синтетический номер — икарийские игры с пением! Будете смотреть?

Дю ж и к о в (*испуганно*). Нет, нет, не надо!

Человек в клетчатом пальто. Как — не надо? Вы — Кирпичников?

Дю ж и к о в. Да.

Человек в клетчатом пальто. Вы Кирпичников и вам не нужны икарийские игры с пением? Смешно! А чем же вы разбавляете классику?

Дю ж и к о в. А я ее ничем не разбавляю.

Человек в клетчатом пальто (*опешил*). Вот как. Ну, хорошо! Мы будем работать характерный танец. Это почти классика. Я не прощаюсь! Привет! (*Поклонился и исчез.*)

Де жур н а я. Симпатичный... Вот, знаете, тут в номере, до вас, на прошлой неделе один молодой человек жил. Тоже очень симпатичный. Между прочим, на вас похожий... Верно, верно... Все крыжовником меня угощал... Как-то его было звать чудно... Не то Шпинатов... не то Салатов... Нет, не помню! Я в понедельник утром прихожу на работу, а на Ольге Николаевне прямо лица нет... Этот, говорит, который крыжовником угощал, так он, говорит, уехал и за номер не заплатил... Придется нам за него рассчитываться! Так я даже заплакала, честное слово! Мне не денег жалко, а мне обидно, что на наш этаж такое пятно...

В дверь просовывается голова Кирпичникова.

Кирпичников (*шепотом*). Внимание!

Дюжиков. Что такое?

Кирпичников. По коридору идет Люба Попова!

Дюжиков. Кто?

Кирпичников. Люба Попова! Девушка нашего... этого — из Гудермеса! Я ее сразу узнал. Не забудьте ей сказать, что он ее полюбил с первого взгляда... Приготовьтесь! Желаю удачи! Прощайте! (*Исчезает.*)

Пауза.

Дежурная. Симпатичный! Ну, теперь у вас чисто — сидите себе на здоровье.

Дюжиков. Спасибо.

Дежурная. Так откуда, значит, вы приехали?

Дюжиков. С Таймыра.

Дежурная (*запоминая*). С Тай-мыра.

В дверь стучат.

Дюжиков. Да?

Дежурная. Не беспокойтесь — я отворю. (*Открывает дверь, пропускает в номер Дуню Бабурину и выходит.*)

Дуня. Здравствуйте.

Дюжиков (*внимательно смотрит на Дуню*). Здравствуйте. Входите, пожалуйста.

Дуня (*нервно*). Спасибо... Мне звонили от вас... Скажи, что я могу зайти...

Дюжиков. Да, да. Совершенно верно...

Телефонный звонок. Дюжиков хватается трубку.

Алло?.. Сижу, сижу... Сижу и не отхожу... Когда вы соедините меня? Алло... Алло... Ах, будьте вы там неладны. (*Положил трубку и снова внимательно посмотрел на Дуню.*)

Пауза.

Дуня (*смутилась*). Ну, что вы так смотрите на меня?

Дюжиков (*тоже смутился*). Извините...

Дуня. Ой, нет, что вы! Это вы извините...

Дю ж и к о в. Нам тут рассказывали про вас.

Д у н я. Ругали, наверное?

Дю ж и к о в. Нет, наоборот.

Д у н я (*усмехнулась*). Странно.

Дю ж и к о в. Ну, почему — странно? А за что вас ругать?

Д у н я (*махнула рукой*). Меня-то? Ох, меня есть за что! Я сама иногда так ругаю... Впрочем, это не важно!

Дю ж и к о в. Да, конечно. Так, значит, я вам должен сказать...

Д у н я. Да, непременно. Только честно скажите, ладно? Да или нет? Если — нет, плюну на все и уеду!

Дю ж и к о в. Хорошо. Садитесь.

Д у н я. Спасибо... Я ужасно волнуюсь, так что уж лучше сразу! Хорошо?

Дю ж и к о в. Хорошо.

Дюжиков приготовился говорить, но, к его великому удивлению, Дуня быстро подходит к роялю, поднимает крышку и придвигает стул.

Д у н я. Что вам спеть?

Дю ж и к о в (*очень удивленно*). Спеть?

Д у н я. Да.

Дю ж и к о в (*робко*). А, собственно, зачем?

Д у н я (*теперь она удивилась*). Вы разве не хотите, чтоб я вам спела?

Дю ж и к о в (*в замешательстве*). Нет... почему же... Я с большим удовольствием. Пожалуйста!

Д у н я (*волнуясь*). Так вот, я вам спою песенку про поезда... можно?

Дю ж и к о в. Конечно.

Дуня садится к роялю, берет несколько вступительных аккордов. Счастые, что она не видит горестного и восторженного лица Дюжикова.

ПЕСЕНКА ПРО ПОЕЗДА

...Прогремят мимо тихих станций,
Повстречают гудком рассвет,
Днем и ночью из дальних странствий
Мчат и мчат поезда к Москве!

И везут хлопкоробы хлопок,
Шлет Урал боевых гонцов,
Едут парни с Амурских сопок,
Едут гости со всех концов!

Сколько дальних перегонов, перегонов,
перегонов...

Под вагонами колеса — стук да стук!
Сколько было у вагонов, у вагонов, у вагонов,
Сколько было у вагонов ожиданий и разлук.

Оседают дыма клочья
На песок, на листву!
Мчится поезд днем и ночью
На Москву, на Москву!

Приглядятся сосед к соседу,
Отведут для порядка взгляд,
И начнут не спеша беседу
Этак суток на семь подряд!

Вам ли дружба, друзья, в обузу?!
По стаканам вино разлей!
Поезда по всему Союзу
Закадычных везут друзей!

Сколько дальних перегонов, перегонов,
перегонов.

Под вагонами колеса — стук да стук!
Сколько было у вагонов, у вагонов, у вагонов,
Сколько было у вагонов ожиданий и разлук!

Оседают дыма клочья
На песок, на листву.
Мчится поезд днем и ночью
На Москву, на Москву!

По Москве, вдоль московских улиц
Нам бродить до утра не лень.
Слышишь, птицы уже проснулись.
Скоро шумный наступит день.

Так шагай же, шагай прилежней!
Слушай птиц перелетных клич.
Выше голову, друг приезжий!
В это утро и ты — москвич!

Сколько дальних перегонов, перегонов,
перегонов...

Под вагонами колеса — стук да стук!

Сколько было у вагонов, у вагонов, у вагонов,
Сколько было у вагонов ожиданий и разлук!

Оседают дыма ключья
На песок, на листву.
Мчится поезд днем и ночью
На Москву, на Москву.

Пауза.

Дю ж и к о в (*искренне*). Замечательно! Просто великолепно!

Д у н я. Вам нравится? Правда?

Дю ж и к о в (*неожиданно хмуро*). Очень! У вас чудесный голос, и вы превосходно поете... Короче, вот что я вам должен сказать. Вас любит один человек... Черт побери, я думал, это шутка — насчет любви с первого взгляда, но теперь я понял... Я хочу сказать, что я понял, что он мог полюбить вас с первого взгляда... Это немудрено... И он решил остаться в Москве, чтобы только быть вместе с вами! Вы понимаете?

Д у н я (*тихо*). Не понимаю... То есть понимаю... Нет, не знаю!

Дю ж и к о в (*не глядя на Дуню*). Идите к себе... Идите и ждите его — он к вам придет... Идите!

Д у н я (*встает*). Хорошо... Странно как, честное слово. (*Нерешительно направляется к двери, оглядывается на Дюжикова.*)

Стучат.

Дю ж и к о в. Кто там?

Входит Муж своей жены, останавливается на пороге, смотрит в упор на Дюжикова.

Муж своей жены. Это вы — Фортунатов?

Дю ж и к о в. Кто?

Муж своей жены. Фортунатов?

Дю ж и к о в (*мучительно припоминая*). Кажется, я.

Муж своей жены (*иронически*). Мне тоже кажется, что это вы. И номер, и приметы сходятся! С вас тридцать рублей, гражданин Фортунатов!

Дюжиков. Каких тридцать рублей?
Муж своей жены. Обыкновенных. Советских. НО-
ВЫХ!

Пауза.

Дуня (*чуть слышно*). Так я, пожалуй, пойду, да?

Дюжиков. Да... Идите, идите!

Дуня. До свидания. (*Растерянная и подавленная, уходит.*)

Дюжиков. Простите, а когда Фортунатов... То есть я хочу сказать — когда я одалживал у вас эти тридцать рублей?

Муж своей жены. Не у меня одалживали. У жены. Она в гостинице, в вестибюле работает. На прошлой неделе. Обещались через полчаса вернуть, и вот — до сих пор...

Дюжиков (*радостно*). На прошлой неделе? В таком случае — это ошибка! Мы все приехали только сегодня ночью...

Муж своей жены. Значит, отказываетесь?

Дюжиков. Наотрез!

Муж своей жены. Понятно! Это мы предвидели, гражданин Фортунатов!

Дюжиков. Да я вовсе не Фортунатов! Я просто думал, что это кто-нибудь из наших.

Муж своей жены (*усмехнулся*). Понятно, понятно! Ладно, гражданин Фортунатов, не прощаюсь! (*Снова внимательно взглянул на Дюжикова, пошел к двери, обернулся. С нескрываемым презрением.*) Жулик! Ну с какой стороны ни взгляни — жулик и точка!..

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Музыка.

Перед занавесом — Дежурная. Она улыбается, говорит:

Обойти наш этаж — недолог путь,
Но пройдешь — и перед тобою целый мир.
Может, вправду я, друзья, когда-нибудь
Попаду на этот самый Таймыр?

Дежурная разводит руками и уходит. Занавес открывается. Тот же номер. Четыре часа дня. Приближаются прославленные московские «часы пик». Шум за окнами с каждой минутой становится все громче и громче. В кресле, за маленьким столиком, с покаянным и опущенным видом сидит Ашот Мисьян — радист, могучий парень со сросшимися бровями, в великолепных белых штанах. У рояля, нервно теребя свернутые в трубку ноты, стоит Певица. Аккомпаниатор, рыженький мальчик, надменный и равнодушный, читает поставленный на попирт журнал.

Дюжиков (*стоит у телефона, взволнованно прижимая к уху телефонную трубку.*) Аллю... Да... Что, Таймыр? Нет?.. Ждать и не отходить от телефона? Так... Вы не пробовали подсчитать, сколько уж раз за сегодняшний день вы меня об этом предупреждаете?.. Ах, вы только что приняли смену?! Понятно... Вам повезло... Я, например, не отхожу от телефона, и смены у меня нет! Ладно! Есть! (*Повесил трубку, подошел к Мисьяну, сел, вытащил из кармана платок, с тяжелым вздохом вытер вспотевший лоб.*)

Мисьян. Ну?

Дюжиков (*мрачно*). Все то же.

Мисьян. Зазимовал, дорогой?!

Дюжиков. Выходит, что так!

Певица (*нервно*). Товарищ Кирпичников...

Дюжиков. Да?

Певица. Извините, пожалуйста. Вы понимаете, я хотела дождаться моего партнера... Тенора Юнаковского... Но его все нет и нет. И я решила попробовать слетать соло...

Дюжиков. Очень приятно.

Певица. Но только я хочу, чтобы Леонид Михайлович проверил партию рояля... Еще пять минут... Мы вас не очень задерживаем?

Дюжиков. Да нет, ничего.

Певица. Спасибо!

Мисьян (*негромко*). Страшное ты дело взял на себя, дорогой! Не знаю этого товарища Кирпичникова, но полагаю, что он — железный человек!

Дюжиков. Он оказал мне огромную товарищескую услугу.

М и с ь я н (*бросая мрачный взгляд на певицу*). Тогда молчу! Если друг — то жизни не жалко!

П е в и ц а (*аккомпаниатору*). Леонид Михайлович, пожалуйста.

Аккомпаниатор, нехотя оторвавшись от чтения, берет первый попавшийся под руку аккорд.

Д ю ж и к о в (*обернулся к Мисьяну*). Ну, так я слушаю вас, товарищ Мисьян.

М и с ь я н (*виновато*). Дюжиков, дорогой, ну зачем ты мне говоришь «вы»? Я даю тебе честное слово, что это был просто несчастный случай. Ты же сам знаешь, как это получается! В один прекрасный день тебе вдруг приходит в голову, что уже целых три года ты не надевал белые брюки и не нюхал персидскую сирень...

Д ю ж и к о в (*грубовато*). Это все лирика, Мисьян! Чего ты конкретно хочешь?

М и с ь я н. Хочу ехать с тобой обратно.

Д ю ж и к о в. Много хочешь!

М и с ь я н. Прошу тебя, дорогой, не говорить со мной как с чужим человеком. Лучше дай мне по морде! Я нанюхался этой сирени и понял, что для взрослого человека это еще не самое главное.

Д ю ж и к о в (*горячо*). В том-то и беда, Ашот, что ни черта ты не понял! Нам было стыдно, а не тебе! Нам было смертельно стыдно, когда приехала маленькая, худенькая девчущка из Ворошиловска, и пришла к Васе Федорченко, и сказала, что ее прислали вместо радиста Мисьяна...

Молчание. Рыженький мальчик бушует над клавиатурой.

П е в и ц а (*робко*). Леонид Михайлович, извините... Здесь я делаю паузу.

А к к о м п а н и а т о р (*не глядя*). Здесь нет паузы.

П е в и ц а. Да, но я...

А к к о м п а н и а т о р. Здесь нет паузы!

Отыгрыш рояля. Дюжиков быстро взглянул на сконфуженное лицо Мисьяна, усмехнулся.

Дю ж и к о в. Ты в Дальстрое говорил с кем-нибудь?

М и с ь я н (*хмуро*). Говорил, с Ивановским говорил.

Дю ж и к о в. Ну и что он тебе ответил?

М и с ь я н. Ответил, что надо дожидаться тебя! Он лично не возражает... Слушай, дорогой, я же все-таки радист первого класса!

Дю ж и к о в. Это мне известно.

М и с ь я н. Ты когда едешь?

Дю ж и к о в. Хочу завтра. Конец навигации на носу, а я с грузами зашиваюсь!

М и с ь я н (*почувствовал, что интонация меняется, ожил*). Надо, надо, дорогой, торопиться!

Дю ж и к о в. То-то и оно!

П е в и ц а. Товарищ Кирпичников...

Дю ж и к о в. Да?

М и с ь я н (*тихо*). Этот псевдоним меня убивает!

П е в и ц а. Мы, кажется, готовы, товарищ Кирпичников!

Дю ж и к о в. Готовы? Очень хорошо — давайте!

М и с ь я н (*торопливо поднимаясь*). Я пойду. Потом к тебе загляну, попозже...

Дю ж и к о в. Сиди, сиди!

П е в и ц а (*становится в позу*). «Я тебе ничего не скажу...»

Дю ж и к о в (*вежливо*). Простите, это вы мне?

П е в и ц а. Нет-нет. Это такой романс. На слова поэта Фета.

Дю ж и к о в. А-а-а! Ну, давайте, давайте!

П е в и ц а (*делает шаг вперед и прижимает ноты к груди*). Я тебе ничего не скажу.

Аkkомпаниатор играет вступление.

(*Поет.*)

Я тебе ничего не скажу,

Я тебя...

(*Замолчала и жалобно взглянула на аккомпаниатора. Тихо.*) Леонид Михайлович, но ведь здесь фермата!

Аkkомпаниатор (*равнодушно*). Я в этом не уверен.

П е в и ц а. Уверю вас, что здесь фермата...

Певица и Аккомпаниатор о чем-то тихо и горячо заспорили. Дюжиков поглядел на них, покачал головой, быстро вырвал из блокнота лист бумаги, написал записку, засунул ее в конверт, заклеил, протянул Мисьяну.

Дюжиков. Держи!

Мисьян. Что это?

Дюжиков. Передашь Ивановскому. Скажешь, что я к нему завтра зайду.

Мисьян. А как же будет со мной, а?

Дюжиков. Я пишу здесь. Прошу, чтоб он тебя оформил.

Мисьян (*очень взволнованно*). Дорогой, слушай... Ой, дорогой... Нет, я сейчас тебя не буду благодарить!

Дюжиков. И не надо.

Мисьян. Когда мы с тобой приедем домой — я в первый день соберу всех ребят и скажу им речь. Она будет называться — «Плач полярника, или Долой белые брюки!» На слова поэта Фета...

Дюжиков (*фыркнул*). Потихе!

Без стука распахивается дверь. Быстро входит Гришко.

Гришко (*в дверях*). Все с-сидите?

Дюжиков (*развел руками*). Сижу! А что у вас?

Гришко. Вот расписка Центральной бухгалтерии Главсевморпути. Деньги по госдотации переведены пятнадцатого прошлого месяца. Номер авизо я здесь з-записал.

Дюжиков. Большущее вам спасибо! Что в управлении Геологоразведки?

Гришко. Там х-хуже. Все опытные инженеры-практики уже з-законтрактованы. Речь может идти только о молодежи...

Певица. Товарищ Кирпичников...

Дюжиков. Извините, минуточку...

Гришко (*удивленно*). Г-где Кирпичников?

Дюжиков (*тихо*). Да это я... А молодежь — это очень хорошо! Край у нас молодой, и работники нам нужны молодые. У нас для стариков неподходящая параллель.

Гришко. Так я и условился. Они обещали кое с кем переговорить и направить к вам сюда, в гостиницу. Я объяснил.

Дюжиков. Превосходно! Теперь вот что. Была у меня ваша знакомая...

Гришко. Б-была?

Дюжиков. Да.

Гришко (*после паузы*). Ну?

Дюжиков (*сдержанно*). Я все ей сказал. И о том, что вы любите ее. И о том, что вы остаетесь в Москве.

Гришко. Она не с-смеялась?

Дюжиков. Нет. Напротив, она была очень серьезна и даже, как мне показалось, взволнована и удивлена!

Гришко. А куда она пошла?

Дюжиков. Домой. Я ей велел сидеть дома и ждать вас.

Гришко (*тихо*). Спасибо... А вот о том, чтобы остаться в Москве, у меня, кажется, ничего не выходит! Предлагают ряд мест, но только не Москву... Впрочем, мы еще повоюем!

Дюжиков (*хмуро*). Воюйте, воюйте.

Гришко. А что она о-ответила вам?

Дюжиков (*грустно*). Ответила, что будет вас ждать.

Гришко. Да? Ну, так я побегу тогда... Большое вам спасибо! За все!

Дюжиков. Торопитесь и кланяйтесь ей, счастливый человек!

Гришко (*решительно*). Х-хорошо! И-иду! (*Поклонившись, быстро уходит.*)

Дюжиков (*задумчиво*). Та-а-ак!.. Ашот!

Мисьян. Да, дорогой!

Дюжиков. Ты, пожалуйста, не теряй времени — иди. Кстати, загляни по дороге в Главсевморпуть, узнай насчет сметы. Толкни их еще разок. Лишний раз — не помешает. Сделаешь?

Мисьян (*протягивает руку*). Сделаю, дорогой. Значит, друзья?

Дюжиков (*пожал протянутую руку*). Друзья. Ты собрататься-то успеешь?

М и с ь я н. А что мне собираться?! Я уже полгода назад упаковал чемодан! (*Вздыхнув с облегчением, уходит.*)

Но в это время распахивается дверь, и в номер, гневно потрясая кулаками, вбегает д е д у ш к а Б а б у р и н. Сталкивается с Мисьяном и даже не замечает этого. Тот пожимает плечами, подмигивает Дюжикову, показывает на голову и выходит.

Д е д у ш к а. Что же это получается, товарищи, а? Форменные надсмешки?!

Д ю ж и к о в. Что случилось?

Д е д у ш к а. Прихожу в Главлес. Иду в отдел заготовок, стыжу их, а они отвечают — некогда. Я их ругаю, маленько ногами на них топаю, а они отвечают — некогда! Я к ним по-сурьезному, на совесть беру, доказываю, что у меня навигация кончается, а они...

Д ю ж и к о в. Вы письмо им отдали?

Д е д у ш к а. Нет.

Д ю ж и к о в. Как — нет?

Д е д у ш к а (*азартно*). А вот так — нет, и все тут! Не стану я им письмо отдавать. Я теперь из них душу выну...

Д ю ж и к о в. Погодите, но ведь мы же условились, что вы им отдадите письмо.

Д е д у ш к а. Мало ли чего мы условились! Я к шести часам к самому начальнику Главка на прием записался. Вот пускай он ответит мне — правильно они поступают или неправильно?! Вы не сомневайтесь — я эти безобразия на чистую воду выведу. Я из этого Главлеса главщепок понаделаю...

Д ю ж и к о в. Ох, честное слово, зря вы все это затеяли.

Д е д у ш к а. Как зря? Это вам тут сидя так легко рассуждать. А что люди на Таймыре ждут не дождутся — вы об этом подумали или как? Вы меня, молодой человек, не разубеждайте! Кто он ему, Главлесу этому, Таймыр? Чужой, что ли?..

Д ю ж и к о в (*внимательно посмотрел на дедушку, встал*). Спасибо вам.

Д е д у ш к а (*остывая*). Ладно, ладно. Я не за спасибо... Я за правду.

П е в и ц а. Товарищ Кирпичников...

Д ю ж и к о в. Простите, сейчас.

Дедушка. Где Кирпичников?

Дюжиков (*тихо*). Я, я.

Дедушка. Вот как? Замещаете? Мы — туда, а вы — сюда! Внучка-то моя прослушивалась уже?

Дюжиков. Какая внучка?

Дедушка (*усмехнулся*). Робеет! Вот публика! Ничего, сейчас я ее к вам подошлю.

Дюжиков. Для чего?

Дедушка. Пускай она вам исполнит чего полагается. А вы, значит, отругаете ее и велите ей ехать в Тамбов. Чтоб людям голову не морочила! Сейчас я ее подошлю.

Дюжиков (*безнадежно*). Может быть, попозже?

Дедушка. А что ж тянуть? Отругайте — и с плеч долой! (*Энергично топая, уходит.*)

Секундное молчание.

Дюжиков (*к певице*). Так на чем же мы с вами остановились?

Певица. Я все-таки хотела попробовать спеть соло. Можно?

Дюжиков. Да, да, да. Прошу.

Певица (*становится в позу*). «Я тебе ничего не скажу».

Отыгрыш рояля.

(*Поет.*)

Я тебе ничего не скажу,
Я тебя не встревожу ничуть.
И о том...

Сильный стук в дверь.

Дюжиков. Простите... Кто там?

Входит Дежурная. В руках у нее метелка и совок.

Дежурная. Граждане, что это вы тут с телефончиком делаете? Все занят он у вас да занят!

Дюжиков. Он не занят. Он включен на междугородную линию.

Дежурная. Вон что! То-то, я гляжу, к нам в нишу звонить начали. Один сейчас прямо криком кричит. По-

давайте мне, говорит, этого, который с Таймыра! Я, говорит, везу ему... а чего везу, я так и не разобрала! Вы уж ему ответьте, гражданин, а то он обижается!

Дю ж и к о в. Я не могу уйти из номера. — меня каждую секунду могут соединить.

Де жур н а я. Да ведь она рядом, ниша-то! Вы ступайте, а я покараулю пока... Ступайте!

Дю ж и к о в (*подумав*). Ладно. Извините, сейчас! (*Быстро уходит.*)

Дежурная, опершись на метелку, с интересом разглядывает певицу.

Де жур н а я. Поете?

Пе ви ца. Да. Пою.

Де жур н а я. Хорошее дело. А вы сами откуда будете?

Пе ви ца. Я из филармонии.

Де жур н а я. Откуда?

Пе ви ца. Из филармонии.

Де жур н а я (*с сочувствием*). Да-с, это бывает! И нравится?

Пе ви ца. Ничего.

Де жур н а я. Это конечно. Человек, он ко всему привыкает! Вот знаете, мне тоже предлагали на подсобное хозяйство перейти. Потом еще меня в нижний буфет звали...

Возвращается Дю ж и к о в.

Дю ж и к о в (*в дверях*). Не было звонка?

Де жур н а я. Нет. А вы поговорили уже?

Дю ж и к о в. Разъединили нас. Слушайте, товарищ дежурная, у меня к вам огромная просьба: покараульте у телефона, и если мне позвонят, спросите: кто везет и кого везут?! Есть?

Де жур н а я (*растерялась*). Ой, да как же это?.. Да ведь у меня и времени нет... И в трех номерах еще не убрано... Вы лучше администратора попросите, он скоро придет...

Дю ж и к о в (*с жаром*). Администратор придет — мы для него тоже дело найдем, вы не беспокойтесь! Вы же мне сами говорили, что вы энтузиаст тринадцатого этажа!

Дежурная. Я и не отказываюсь.

Дюжиков (*постучал себя кулаком в грудь*). А кому везут — мне! Одним словом, Таймыру везут! А где Таймыр? Вот он — Таймыр! У вас на тринадцатом этаже! Так сражайтесь же за него, если вы энтузиастка!

Дежурная (*нерешительно*). Попробовать разве?

Дюжиков. Конечно.

Дежурная (*с сомнением покачала головой*). Ох, ладно... Попробую. (*Уходит.*)

Дюжиков захлопнул за ней дверь, тяжело перевел дух, обернулся к Певице.

Дюжиков (*искренно и смущенно*). Еще раз — мои извинения! Мы вас перебили...

Певица. Да нет, нет, ничего... Просто не понимаю, куда мог пропасть мой партнер — тенор Юнаковский! Просто не понимаю. И потом, Леонид Михайлович не хочет делать фермато...

Дюжиков. А вы попробуйте без фермато, а?

Певица. Так ведь сейчас к вам все равно придет девушка, которую вы должны прослушать и отправить в Тамбов...

Дюжиков (*схватился за голову*). Совершенно верно! Дедушкина внучка! Я про нее совсем забыл... Впрочем, я думаю, мы успеем до ее прихода. Пока она соберется, пока что...

Певица. Хорошо, товарищ Кирпичников.

Дюжиков. Пойте. Я вас слушаю.

Певица (*становится в позу*). «Я тебе ничего не скажу».

Аккомпаниатор играет вступление.

(*Поет.*)

Я тебе ничего не скажу,
Я тебя...

(*Остановилась, посмотрела на Дюжикова.*)

Дюжиков. Что такое?

Певица (*удивленно и радостно*). Вы совершенно правы, товарищ Кирпичников, здесь действительно можно обойтись без фермато... Сейчас мы повторим!

В дверь стучат.

Дюжиков (*в отчаянии всплеснул руками*). Честное слово, можно сойти с ума.

Певица. Это, наверно, она!

Дюжиков. Да!

Входит Люба Попова, нерешительно останавливается на пороге.

Люба. Извините... я помешала, кажется?

Дюжиков (*свирепо*). Да уж заходите, заходите! Помешала, но что ж теперь поделаешь — заходите!

Люба. Здравствуйте. Очевидно, вы и есть товарищ Кирпичников?

Дюжиков. Да! Только, пожалуйста, давайте быстро, у меня решительно ни одной свободной минуты... Пойте!

Люба (*удивленно*). Что?

Дюжиков. Что-нибудь. Мне все равно. Что покороче.

Люба (*помолчав*). Извините, но я не понимаю.

Дюжиков. А вот когда споете, тогда и поймете. Давайте! Пойте!

Люба хочет что-то возразить, но в это мгновение, запыхавшись и размахивая руками, вбегает раскрасневшийся Кирпичников.

Кирпичников. Скорей! Он сидит у меня внизу, в машине!

Дюжиков. Кто?

Кирпичников. Профессор Синицын! Из Министерства народного хозяйства. Я два часа вожу его по городу — уговариваю... Скорей, он хочет повидаться с вами!

Дюжиков. Он согласен?

Кирпичников. Не знаю. Насчет согласия пока туманно...

Дюжиков. Так это вы звонили мне в нишу?

Кирпичников. Да, да. Бегите, я здесь подежурю... (*Шепотом.*) Это что за женщины?

Дюжиков (*шепотом*). Постарше — это певица, к

вам. А молодая — дедушкина внучка. Пришла прослушаться. Постарайтесь ее побыстрее спровадить.

К и р п и ч н и к о в. Хорошо, хорошо, бегите!

Д ю ж и к о в. Бегу. (*Убегает.*)

К и р п и ч н и к о в (*приятно улыбаясь, обращается к Любе*). Здравствуйте.

Л ю б а. Здравствуйте.

К и р п и ч н и к о в. Так чем же вы нас порадуете, а?

Л ю б а. Я?.. Я не понимаю...

К и р п и ч н и к о в. Мне товарищ... этот... товарищ Кирпичников поручил вас прослушать.

Л ю б а. Меня?

К и р п и ч н и к о в. Да, да... Что вы будете петь?

Л ю б а. Зачем петь? Товарищ Кирпичников обещал мне сказать...

К и р п и ч н и к о в. Вы чудачка! Какая вам разница, кто вам скажет — он или я? Важно ведь не кто, а что?! Правда?

Л ю б а. Да...

К и р п и ч н и к о в. Ну, ну, вот и пойте.

Л ю б а (*в отчаянии*). Ничего не понимаю! Я ведь не певица, не артистка...

К и р п и ч н и к о в (*язвительно перебил*). Это нам, дорогой товарищ, прекрасно известно!

Л ю б а. Я пришла...

К и р п и ч н и к о в (*внезапно*). Он уже, наверное, внизу. (*Не слушая Любу, подбежал к открытому окну, лег животом на подоконник, свесился вниз.*)

П е в и ц а (*вскрикнула*). Осторожно!

К и р п и ч н и к о в. Где же они, а? Ага, так, так, знакомятся... Очень хорошо... Правильно... Взял под руку... Говорит... Очень хорошо... Правильно... Давай, давай, милый друг, давай!

Л ю б а. Вы упадете!

К и р п и ч н и к о в (*обернулся, задумчиво спросил*). Вы думаете? Нет, нет, нет, зачем же я буду падать?! Это же все-таки тринадцатый этаж!

Л ю б а. Я вам хотела сказать...

К и р п и ч н и к о в (*слезая с подоконника*). Голубушка, сначала спойте, потом поговорим. Условились?

Люба (*дрожащим голосом*). Я не буду петь.

Кирпичников. Не будете?

Люба. Не буду.

Кирпичников (*обиделся*). Как угодно! В таком случае не смею вас задерживать.

Люба. До свидания.

Кирпичников. Странно вы себя ведете, голубушка! Мы к вам по-дружески, а вы...

Люба (*гневно, со слезами в голосе*). Вы... по-дружески? И это вы называете по-дружески? Это отвратительно, а не по-дружески. Я со всех ног бежала сюда, а вы устраиваете какую-то дурацкую комедию! Как вам не стыдно? Как вам... (*Неожиданно отвернулась, закрыла лицо руками, плечи ее вздрогнули.*)

Кирпичников (*растерянно*). Ну вот, как нехорошо... Сами заупрямились, накричали на меня, а теперь...

Врывается Дюжиков.

Дюжиков (*задыхаясь*). Таймыр не звонил?

Кирпичников. Нет. А вы с Синицыным договорились?

Дюжиков. Не совсем. Его надо еще немного покатаать. Идите, он ждет. А что с ней?

Кирпичников (*виновато*). Плачет.

Дюжиков (*почесал голову*). Бедняга! Ладно, я сам займусь. Идите. Желаю успеха.

Кирпичников. Благодарю. (*Убегает.*)

Дюжиков подходит к Любе, неловко и сокрушенно потоптался на месте.

Дюжиков (*сочувственно*). Не плачьте... Честное слово, не нужно расстраиваться! Ведь вы еще очень молоды, у вас все образуется, поверьте мне!

Люба (*всхлипывая*). Я сейчас... уйду...

Дюжиков. Да я вас вовсе не гоню! Я просто хочу, чтобы вы поняли: лучше сразу узнать правду и отказаться, раз и навсегда, чем всю жизнь себя обманывать!

От этих слов Люба расплакалась еще горше.

Люба (*сквозь слезы*). Это он... это он просил мне так сказать?

Д ю ж и к о в. Мы все так считаем!.. Ну, успокойтесь, пожалуйста... Уверяю вас, что не пройдет и полугодя, как вы сами будете смеяться над этим своим увлечением! Поедете в Тамбов...

Л ю б а. Куда?

Д ю ж и к о в. В Тамбов.

Л ю б а. А зачем в Тамбов?

Д ю ж и к о в. Ну, знаете, это, по-моему, само собой разумеется!

Л ю б а (*встала, решительно вытерла слезы*). Какая чепуха! Я не хочу ехать в Тамбов! Зачем я должна ехать в какой-то Тамбов?!

Д ю ж и к о в. А вы что же, рассчитываете остаться в Москве?

Л ю б а. Нет. Мне давали путевку в Ишим, но я сначала не соглашалась, потому что думала... Теперь завтра же поеду оформляться.

Д ю ж и к о в. Ну, это совсем уже глупо! Чем Ишим лучше Тамбова?

Л ю б а. Там есть нефть...

Д ю ж и к о в. Нефть? А зачем вам нефть?

Л ю б а. Как — зачем? Я инженер-нефтяник! Честное слово, мне кажется, что я сплю и вижу все это во сне... До свидания... Извините, закатила истерику, как девчонка!

Д ю ж и к о в (*ошеломленно*). Стойте, стойте! Вы инженер-нефтяник?

Л ю б а. Да.

Д ю ж и к о в. Вы не шутите?

Л ю б а. Нет, конечно.

Д ю ж и к о в. И у вас есть диплом?

Л ю б а (*усмехнулась*). Есть. Даже с отличием. Должна была в будущем году кончать, а подогнала и кончила в этом!

Д ю ж и к о в. У кого вы учились?

Л ю б а. У профессора Старицкого.

П е в и ц а. Товарищ Кирпичников...

Д ю ж и к о в. Минуточку... Черт побери, действительно получается сплошная ерунда! Старик все напутал! Вы совершенно правы, зачем вам ехать в Тамбов! Стало быть, вы не давали еще пока согласия на Ишим?

Люба. Пока нет.

Дюжиков. В таком случае у меня к вам будет вполне конкретное деловое предложение... (*Быстро вытащил из своего чемодана большую географическую карту, положил ее на стол, развернул.*)

Люба (*разглядывает карту*). Что это?

Дюжиков. Заполярье. Помните, как у Некрасова:

Да, страшный край!
Оттуда прочь
Бежит и зверь лесной,
Когда стосуточная ночь
Нависнет над страной...

Страшно, правда? Но это, так сказать, дела давно минувших дней. А вот теперь глядите сюда. Вот — между Енисейским и Хатангским заливами находится полуостров Таймыр. Если вас будут уверять, что это самое гиблое место на земле, — не верьте! Конечно, это, может быть, и не Гагры, но я знаю не одну сотню людей, которые никогда в жизни не променяют этот край на какие-нибудь Гагры! Да оно и понятно! Стоит один только раз увидеть, чтобы навсегда влюбиться в эту тишину, в эту ночь, в северное сияние, в удивительный необъятный простор... А когда после этой самой пресловутой стосуточной ночи появляется солнце и видишь при белом свете все, что сделано тобою и твоими товарищами за эту самую стосуточную ночь, то, клянусь вам... Впрочем, об этом и не расскажешь! И только одна беда — мало людей! Вернее, людей много, да все не хватает. Вот, понимаете, нашли в районе реки Хатанги нефть. А специалистов — раз, два и обчелся... Простите, как вас зовут?

Люба. Люба.

Дюжиков. Люба? Мне сегодня везло на это имя... Так вот, Люба, надеюсь, вам ясно, к чему я клоню?

Люба. Ясно.

Пауза. Аккомпаниатор дочитал журнал, засунул его в карман пиджака, с огромным стуком захлопнул крышку рояля и встал.

Аккомпаниатор (*холодно*). Хватит!

Певица (*испугалась*). Что с вами, Леонид Михайлович?

Аккомпаниатор. Хватит! Из-за того, что у вас нет артистического самолюбия, я не желаю пропускать концертмейстерские занятия! Я ушел! Прощайте!

Певица. Подождите, Леонид Михайлович, подождите, я с вами! До свидания, товарищ Кирпичников.

Дюжиков. До свидания. Извините, что все так получилось...

Певица: Вы не виноваты... Но я хочу сказать вам, товарищ Кирпичников, что я к вам не поеду в Черноморск.

Дюжиков. Да?

Певица. Да. Теперь я знаю, куда я поеду. До свидания, товарищ Кирпичников. Леонид Михайлович, идемте!

Певица и Аккомпаниатор уходят. Дюжиков недоуменно посмотрел им вслед, усмехнулся.

Дюжиков. Странные люди... Так вот, Люба, что вы мне можете на все это сказать?

Люба. А что я должна вам сказать?

Дюжиков. Конечно, на ходу такие вопросы обычно не решаются, это я понимаю. Но вся беда в том, что завтра я должен улетать обратно. В управлении Геологоразведки моя заявка есть, так что с их стороны возражений не будет и все дело только за вами. Соглашайтесь, а? Даю вам слово — не пожалеете! Сегодня же вас оформят в отделе кадров, и вместе полетим! А?

Люба. Куда? В Черноморск?

Дюжиков. Да нет, я же с Таймыра!

Люба. А почему она...

Дюжиков (*перебил*). Недоразумение!.. Понимаете, Люба, для начала мы, скажем, законтрактуем вас всего на год, и если вам что-нибудь не понравится... хотя я совершенно убежден в том, что через год вы сами заболете Таймыром, не хуже нас, грешных!

Люба (*задумчиво*). Так, значит, на Таймыр?

Дюжиков. Ага!

Люба (*решительно тряхнула головой*). Ну что же! Мне теперь все равно... А Таймыр — это даже заманчиво!

Дюжиков (*недоверчиво*). Вы согласны?

Люба. Согласна.

Дюжиков (после паузы). Знаете что, подумайте еще три минуты. Пусть вам потом не кажется, что я вам просто не дал опомниться. Я засекаю время...

Люба. Не надо. Я согласна.

Дюжиков. Слово?

Люба. Слово.

Дюжиков. Вашу руку!... А может быть, вы все-таки подумаете?

Люба. Нет. Я решила уже.

Дюжиков. Вы молодчина! Я сразу понял, что вы настоящая молодчина! Недаром вас зовут Люба.

Люба (улыбнулась). Разве это какое-нибудь особое имя?

Дюжиков. Мне оно нравится...

Открывается дверь, и быстро входит очень взволнованная Дуня.

(Радостно.) А вот и еще одна Люба!

Дуня (гневно и торопливо). Происходит какое-то непонятное недоразумение...

Дюжиков. Что случилось?

Дуня. Скажите мне честно: я у вас была?

Дюжиков. Были.

Дуня. Вы говорили со мной?

Дюжиков. Говорил.

Дуня. Я так и знала! Нет, вы понимаете, какой вредный, пускается теперь на всякие хитрости, чтоб только заставить меня ехать с ним! А я не поеду! Все равно не поеду! Я так и сказала ему...

В дверь просовывается голова Дежурной.

Дежурная. Гражданин...

Дюжиков. Да?

Дежурная. Опять звонит этот... Ну, который профессора возит...

Дюжиков (мгновенно забывая обо всем на свете). Что у него?

Дежурная. Не пойму... Вы сами с ним потолкуйте — он ждет!

Дюжиков. Ждет? Ладно, бегу... Девушки, вы не уходите никуда, я скоро вернусь!

Люба (*помолчав*). Какой он странный, этот Кирпичников, правда?

Дуня (*хмуро*). Он не Кирпичников.

Люба. Как — не Кирпичников? А кто же он?

Дуня. Фортунагов. Я сама сначала думала, что Кирпичников, а потом выяснилось, что он Фортунагов. Наверное, это его псевдоним.

Люба. Почему — псевдоним? Разве он артист?

Дуня. Да... А в общем, я сама толком не знаю! До того все непонятно, что прямо хоть садись да реви!

Люба (*усмехнулась*). А я уже наревелась!

Дуня (*участливо*). У вас беда какая-нибудь?

Люба. Да... Не знаю... Нет, не беда! Просто была душой, верила, надеялась на что-то и ждала напрасно...

Дуня (*сурово*). Я тоже напрасно ждала. Три часа.

Люба. Я целый год.

Дуня. Целый год. Ой-ой-ой! Ну а он?

Люба. Он? Он со мною и встретиться не захотел. Попросил своих друзей поговорить...

Дуня (*возмущенно*). Неужели друзей попросил?

Люба. Да. Они мне все сказали. Сказали, чтобы я перестала себя обманывать...

Дуня. Подлец!

Люба. Нет, он не подлец. Он, в конце концов, ни при чем. Это я сама выдумала бог знает что, вот и каюсь!.. Не хочу больше об этом... Вас зовут Люба?

Дуня. Нет, Дуня.

Люба. А мне показалось, что он вас назвал Любой... У вас, Дунечка, тоже неприятности, да?

Дуня. Да... Только сначала я не думала, что это неприятности. Сначала я думала, что это наоборот... А потом все стали со мной хитрить, путать... Ну и все равно... все равно я не поеду в Тамбов!

Люба. Куда?

Дуня. В Тамбов.

Люба. И вы тоже?

Дуня. Что?

Люба (*яростно*). Ну что это за глупый, что это за от-

вратительный розыгрыш! Ну почему они все хотят, чтобы мы ехали в Тамбов!

Дуня (*всхлипнула*). Я не знаю...

Люба (*всхлипнула*). И я не знаю... Вы только не плачьте, Дуня.

Дуня. Не буду.

Люба. Не плачьте, не плачьте. Погодите, сейчас мы сообща найдем и для вас какой-нибудь выход.

Дуня. А для себя вы нашли?

Люба. Нашла. Собственно, не я нашла, а Кирпичников...

Дуня (*поправляет*). Ну да, да, Фортунатов!

Люба. Он предложил мне ехать работать на Таймыр...

Дуня. Куда?

Люба. На Таймыр.

Дуня. Ой, это ведь очень-далеко?

Люба. И пускай далеко! Вот и хорошо, что далеко! Но мне чем дальше, тем лучше!

Дуня. А он?.. Он тоже едет?!

Люба. Конечно.

Дуня (*помолчав, упавшим голосом*). А сперва сказал... Когда он едет?

Люба. Завтра.

Дуня (*едва не вскрикнула*). Завтра?

Молчание. Люба встает, подходит к Дуне, старается заглянуть ей в лицо. Дуня отворачивается.

Люба (*тихо*). Дунечка...

Дуня молчит.

Дунечка, ну хотите, сейчас он вернется, я с ним поговорю, чтобы всем вместе.

Дуня (*резко*). Ни за что!

В номер вбегает Дюжиков.

Дюжиков. Можете себе представить — он согласен!

Люба. Кто?

Дюжиков. Профессор Синицын! Таймыр не звонил?

Люба. Нет.

Дюжиков (*подошел к Любе, взял ее за руку*). Идемте!

Люба. Куда?

Дюжиков (*оглядел номер*). Куда? На балкон! Нам надо еще поговорить, а здесь мы будем мешать!

Люба (*пожимая плечами*). Ладно.

Дуня. А я...

Дюжиков (*значительно*). А вы сидите, пожалуйста, и ждите! (*Берет два стула, папку с делами и, еще раз значительно и загадочно кивнув Дуне, уходит с Любой на балкон.*)

Пауза. Входит Гришко. Близоруко всматривается, узнает Дуню и останавливается перед ней в полном недоумении.

Гришко. Это в-вы?

Дуня. Да, я.

Гришко (*растерянно*). Очень п-приятно... Очевидно, я не так п-понял...

Дуня (*сердито*). Очевидно.

Гришко. Я з-задержался... дозванивался из вестибюля одной з-знакомой, а он наскочил на меня и з-заставил идти сюда... Впрочем, я понимаю! Вероятно, он хотел, чтобы я перед вами извинился... Да, конечно!

Дуня. Кто хотел? За что извинились?

Гришко. Ну, за то, что произошло утром, когда вы приходили будить дедушку. Действительно, вы совершенно правы: я все напутал, вел себя недопустимо развязно, и мне до сих пор стыдно... Я вполне разделяю его в-возмущение... Вполне!

Дуня. Чье возмущение?

Гришко. Дюжикова.

Дуня. Понятия не имею, о чем вы толкуете. Если вы насчет утра, так я про это уж и думать забыла...

Гришко. Правда?

Дуня. Правда, правда.

В дверь стучат.

Гришко. Да-да!

Входит пожилая женщина — Тетя Гали Савельевой.

Вам к-кого?

Тетя Гали Савельевой. Мне нужно повидать гражданина Фортунатова.

Дуня. Он здесь. Подождите.

Тетя Гали Савельевой. Хорошо. (*Садится в кресло, в углу. Застывает в позе напряженного ожидания.*)

Гришко (*Дуне*). Какой это Фортунатов? Г-где он?

Дуня. На балконе.

Гришко (*ничего не поняв, на всякий случай кивнул головой*). Ага! А вы почему такая с-сердитая? Кто вас обидел?

Дуня. Никто.

Гришко. А все-таки?

Дуня. Никто меня не обидел.

Гришко (*улыбаясь*). Никто не обидел, а сердится! З-зна-чит, просто характер плохой, да?

Дуня (*злость придает ей решимость*). Ну при чем здесь мой характер? Вот вы сами рассудите: обидно это или нет?! Сперва человек говорит... Говорит, что решил остаться из-за меня... А на самом деле — все неправда! На самом деле — он уезжает на Таймыр...

Гришко. Вот как? Он вам это все сказал?

Дуня. Да.

Гришко. Не может быть!

Дуня (*серьезно*). Я не вру.

Гришко. Слушайте, так ведь это ж з-замеча-тельно! Ведь он же вам тоже нравится, да? П-при-знавайтесь!

Дуня. Не понимаю, чему вы радуетесь?

С балкона выглянул Дюжиков. Дуня быстро отвернулась.

Дюжиков (*с видом заговорщика*). Ну как? Не кончили еще?

Гришко. Нет, кончили. Можно вас на одну с-секунду?

Дюжиков. Слушаю.

Гришко (*отвел Дюжикова в сторону, тихо*). Поглядите на эту девушку...

Дюжиков (*угрюмо*). Я уже глядел.

Гришко (*шепотом*). Я, правда, не очень хорошо

разбираюсь в подобных делах, но, по-моему, вы ей нравитесь... И даже, может быть, больше чем нравитесь!

Дюжиков (*в ужасе*). Что?

Гришко. Да, да, да!

Дюжиков. Я? А вы?

Гришко. Я?..

Дюжиков внимательно посмотрел на Гришко, внезапно резко повернулся, подошел к окну, несколько секунд постоял молча.

Тетя Гали Савельевой (*тихо, Дуне*). Это и есть Фортунатов?

Дуня. Да.

Гришко. Так я пойду.

Дюжиков (*протянул руку Гришко, взволнованно сказал*). Вы настоящий человек. Я сейчас никак не могу собраться с мыслями, это все так неожиданно и... Но вы настоящий человек!.. Понимаю, как вам должно быть горько... Извините...

Гришко. Н-ничего! Желаю счастья... Кстати, кто это сидит с вами на балконе?

Дюжиков (*рассеянно*). Один товарищ. По делу.

Гришко (*кивает на тетю Савельевой*). Его, кажется, ждут. Еще раз желаю счастья! До свидания! (*Вежливо поклонившись, быстро уходит.*)

Дюжиков продолжает стоять у окна, словно не решаясь взглянуть на Дуню.

Тетя Гали Савельевой (*Дуне*). Вы давно знакомы с этим Фортунатовым?

Дуня. Нет.

Тетя Гали Савельевой (*взволнованно*). Вам не следует здесь оставаться, вы понимаете? Вам ни в коем случае не следует здесь оставаться!

Дуня. Почему?

Дюжиков (*наконец решившись, обернулся к Дуне*). Вот как все получилось! Вы ушли, а я все время о вас думал... И злился на себя за то, что я думаю! И не мог... Вернее, не хотел понять...

Тетя Гали Савельевой (*встала*). Извините, пожалуйста...

Дюжиков. Что такое?

Тетя Гали Савельевой. Я хочу узнать... Меня просили узнать... В общем, вам известна такая Галя Савельева?

Дюжиков. В первый раз слышу!

Тетя Гали Савельевой. В первый раз слышите? А как же... Нет, это вы говорите неправду! Я тетя Гали Савельевой, и она... Я все знаю... Она со мною всегда советуется, и я... Она просила меня... Вот, возьмите, гражданин Фортунатов, ваши письма... Все!.. *(Швырнула под ноги Дюжикову пачку смятых писем и быстро ушла.)*

Молчание.

Дюжиков *(растерянно)*. Вот чудачка. Вы знаете, Люба...

Дуня *(тихо)*. Я не Люба! И я не Галя Савельева. Вы ошиблись, гражданин Фортунатов! Прощайте! *(Быстро уходит.)*

Дюжиков. Люба! Подождите, Люба!.. Все сошли с ума... Люба!

С балкона быстро выходит Люба.

Люба. Вы звали меня?

Дюжиков. Вас? Нет... Нет, не звал...

Люба. А мне послышалось. Что с вами?

Дюжиков. Ничего... Не знаю... Подождите! *(Размашисто наливает из графина воду, жадно пьет.)*

Люба в недоумении смотрит на него.

(С трудом.) Вот что, вы сейчас отправляйтесь в Геолого-разведочное управление, в отдел кадров... Скажите, что мы с вами договорились и что больше ко мне никого посылать не надо. Пусть они вас оформят. Не возражаете?

Люба. Хорошо, товарищ Фортунатов.

Дюжиков *(яростно)*. Я не Фортунатов. Не смейте меня называть Фортунатовым!

Люба. Извините. Я сама думала, что это ошибка. Хорошо, товарищ Кирпичников!

Дюжиков. Я не Кирпичников! И я не Фортунатов!

Я... этот, как его... Я — Дюжиков, черт возьми, Дю-жиков. Ясно?

В номер без стука входит Муж своей жены. Рядом с ним чрезвычайно угрюмого вида Человек из гардероба.

Муж своей жены (*указывая на Дюжикова*). Он?

Человек из гардероба неопределенно пожимает плечами.

Дюжиков (*резко*). В чем дело?

Муж своей жены. Уличить вас, гражданин Фортунатов, пришли! Вот, человек в гардеробе работает, видел, как вы у жены тридцать рублей брали!..

Дюжиков. Послушайте...

Муж своей жены. А нам вас, гражданин Фортунатов, слушать неинтересно! Нам, гражданин Фортунатов, деньги нужны!..

Распахивается дверь, и в номер бойко вбегает Человек в клетчатом пальто.

Человек в клетчатом пальто. Товарищу Кирпичникову привет еще раз!

Дюжиков. Что?

Человек в клетчатом пальто. Я говорю: приветствую вас еще раз, дорогой товарищ Кирпичников! Вы хотели иметь классику, будьте любезны, мы работаем классику. Внимание!

Человек в клетчатом пальто высовывается в коридор, и оттуда по его зову в номер вливается странная компания — два гитариста, старая женщина с бубном, вихрастый паренек в голубой косоворотке и в смазанных сапогах. Люба в испуге медленно пятится к дверям.

Цыганская-концертная! Чавелы, друзья мои, поехали!

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Музыка.

Перед закрытым занавесом проходит Дежурная, останавливается, произносит негромко и загадочно:

— Дальше было... А впрочем, увидите сами! Только очень прошу соблюдать тишину!.. (*Взглянула на часы, вздохнула.*) До чего ж неохота расставаться с друзьями, может, смену еще отдежурить одну?.. (*Уходит.*)

Открывается занавес.

Ранние сумерки. Дю ж и к о в задумчиво стоит у открытого настежь окна и слушает шум вечернего города. В дверь стучат, Дюжиков молчит. Снова стучат. Дюжиков осторожно, бесшумно подходит к дверям, спрашивает нарочито тонким голосом.

Дю ж и к о в. Кто там?

За дверью слышен голос бабушки Бабурина.

Д е д у ш к а. Да ну я это! Я! Открывайте!

Дюжиков отпирает дверь.

Д е д у ш к а (*входя*). Это вы от кого же тут прячетесь, а? Дю ж и к о в (*мрачно*). Да так... Замучили... Что у вас?

Д е д у ш к а (*торжественно*). У меня — пошла писать губерния! Я начальнику Главлеса пожаловался, он совещание созвал, распушил их всех! За бесчувственное, говорит, отношение к Таймыру! Прощения у меня просили... Ну смех, и только!

Дю ж и к о в. Письма вы им отдали?

Д е д у ш к а. Отдал. Не хотелось, да уж, думаю, ладно. А вот с подшипниками у нас тью-тью!

Дю ж и к о в. Как — тью-тью! Наряда не дают?

Д е д у ш к а. Наряд-то дают, да на будущий месяц! У них на август лимит исчерпан. Я им говорю: мне, говорю, будущий месяц не подходит. У меня навигация кончается. Не убедил! Может, Кирпичников чего-нибудь там добьется?

Дю ж и к о в. А он как туда попал?

Д е д у ш к а. Я по ноль девять позвонил, узнал номерок филармонии и вызвал товарища Кирпичникова на подмогу! Подшипники же нужны!

Дю ж и к о в (*задумчиво*). Да, неприятно.

Д е д у ш к а. Подождем, товарищ Дюжиков, Кирпичникова.

Дюжиков. Подождем Кирпичникова.

Дедушка (*тяжело вздохнул*). Ох-хо-хо! Беспокоюсь я за этот участок... Да, к слову, товарищ Дюжиков, за внучку — нижайшая вам моя благодарность!

Дюжиков. А что?

Дедушка. Все в порядке. Лежит у себя в номере, плачет, на вопросы не отвечает.

Дюжиков. Погодите, как — лежит у себя в номере и плачет? Мы с ней договорились, что она идет оформляться.

Дедушка. Куда оформляться? Ей в Тамбов оформляться не надо. Она и так самая что ни на есть коренная тамбовская.

Дюжиков. Не понимаю я вашего упорства, ей-богу!

Дедушка. В каком смысле?

Дюжиков. В самом прямом! У вашей внучки золотая специальность...

Дедушка. Правильно.

Дюжиков. А что ей делать в Тамбове?

Дедушка. По специальности и работать.

Дюжиков. Убейте — не понимаю! Да откуда взялась в Тамбове нефть?

Дедушка (*подозрительно*). Нефть? Не знаю, откуда она взялась.

Дюжиков. А если нету нефти, то за каким лешим вы принуждаете специалиста-геолога ехать в Тамбов?

Дедушка. Это какого еще геолога?

Дюжиков. Внучку.

Дедушка. Чью внучку? Мою, что ли?

Дюжиков. Вашу.

Дедушка. А кто вам сказал, извините, что она геолог?

Дюжиков. Да она сама. Только недавно.

Дедушка. Свят, свят, свят! Ведь вот предупреждал я ее: нечего тебе в Москву ездить! Москва — город шумный, беспокойный, тут у старых людей глаза разбегаются... Вы уж не сердитесь на нее, товарищ Дюжиков, мало ли чего в жару наболтаешь?! Ох, побегу, может, к ней доктора звать надо...

В дверь стучат.

Дюжиков (*вздыхнул*). Войдите.

Входит толстая, веселая, еще не старая женщина — Мать Любы Поповой — Елена Николаевна Попова. Она останавливается в дверях и с интересом смотрит на Дюжикова.

Попова. Здравствуйте, мне нужен товарищ Кирпичников.

Дюжиков (*скорбно*). Это я.

Попова. Вы?

Дюжиков. Да, я.

Дедушка. Так я побежал, товарищ Дюжиков!

Дюжиков (*неестественно засмеялся, грозно посмотрел на дедушку*). Шутите, дедушка... Что это вы меня все Дюжиковым да Дюжиковым дразните?

Дедушка сконфузился, искося быстро взглянул на Попову и вышел.

Дюжиков (*Поповой*). Садитесь. Вы по какому вопросу?

Попова. Я — Елена Николаевна Попова. Мать Любы.

Дюжиков (*тихо*). Вы?

Попова. Да. Может показаться странным то, что я пришла к вам. Но вы должны меня понять... У нас с Любой никогда не было тайн друг от друга! И сейчас я тоже все знаю... Знаю, что она прибежала сюда повидаться с Андреем Николаевичем... Знаю, что говорили с нею вы, и знаю, что она приняла решение ехать с вами на Таймыр...

Дюжиков. На Таймыр?

Попова. Нет, нет, вы только не поймите меня неверно! Я ведь не против того, чтобы она ехала... Меня просто взволновала и, честно вам скажу, немножко испугала та внезапность, с которой это все произошло... (*Улыбнулась*.) Очевидно, вы были настолько убедительны...

Дюжиков (*медленно*). Я с нею не говорил о Таймыре.

Попова. Вот как?

Дюжиков. Да. Я говорил об этом с другой Любой, но не с ней. Решила ехать она сама. И вы первая, от кого

я это слышу... Я ужасно рад тому, что вы сюда пришли, Елена Николаевна!

Попова (*после паузы*). Почему?

Дюжиков (*просто*). Я люблю Любу.

Попова (*с шутливой серьезностью*). И давно?

Дюжиков. Очевидно, с самой первой минуты нашего знакомства.

Попова. А когда это приключилось?

Дюжиков. Только сегодня. Не смейтесь! Я понимаю, что это звучит нелепо и я, вероятно, кажусь мальчишкой и чудачком, но это действительно так... Поверьте, я вовсе не из той породы людей, которые, что ни день, теряют голову... На Севере, в долгие зимние ночи, когда ребята рассказывали о своих невестах и женах, они часто приставали ко мне, чтобы я рассказал тоже! А я молчал! У меня никогда не было ни жены, ни невесты... Я только представлял себе — какой бы я хотел ее видеть! А словами я об этом сказать не мог!

Попова. А теперь можете?

Дюжиков (*подумав*). Нет, пожалуй, и теперь не могу. Но теперь я знаю хоть — какая она. И теперь, после того как она решила ехать вместе со мной, я уже не боюсь в этом признаться! Впрочем, она оказалась отважней меня... Ох, как это удивительно хорошо, Елена Николаевна, то, что Люба едет к нам на Таймыр!

Попова. И вы думаете, ей не придется об этом жалеть?

Дюжиков (*твердо*). Нет. Никогда.

Попова (*задумчиво улыбаясь, смотрит на Дюжикова*). Да... удивительно! Когда Люба позвонила мне на работу, я уже по одному ее тону понял, что случилось нечто необычное... А впрочем, и со мною когда-то все произошло примерно так. Любишь сразу. И не любишь тоже сразу. А вы, по-моему, славный... Я, кажется, понимаю Любу... Правда, немножко сумасшедший!

Дюжиков. Это плохо, что сумасшедший?

Попова. Нет. Ничего. Мне даже нравится.

В дверь просовывается голова Человека в клетчатом пальто.

Человек в клетчатом пальто. Товарищ Кирпичников...

Дюжиков (*коротко*). Уйдите, пожалуйста!

Человек в клетчатом пальто (*не обижаясь*). Хорошо, Иван Иванович! Я в коридоре буду! (*Исчезает.*)

Попова. Вы свободны сегодня вечером?

Дюжиков (*злобно кивнул на телефон*). Да вот, жду телефонного звонка. Если меня наконец соединят — буду свободен.

Попова. Приходите к нам. Приходите, посидим за-просто, поговорим. Записывайте адрес... Ведь вы, разумеется, не знаете нашего адреса?

Дюжиков (*смеется*). Не знаю.

Попова. Так я и предполагала! Записывайте!

В дверь стучат.

Дюжиков. Пожалуйста.

Входит еще одна Женщина — маленькая, решительная, в пенсне. В руках у нее кожаный докторский чемоданчик.

Женщина. Здравствуйте! Мне сказал порттье, что Иван Иванович Кирпичников находится в этом номере...

Дюжиков. Да.

Женщина. Где он?

Дюжиков (*после паузы*). Сейчас...

Женщина. Что — сейчас?

Дюжиков. Сейчас.

Попова. Так вы пишете, Иван Иванович.

Дюжиков. Да, да.

Попова (*диктует*). Метростроевская улица...

Женщина. Где Иван Иванович?

Дюжиков (*от растерянности приятно улыбаясь и подмигивая женщине*). Сейчас, сейчас...

Женщина (*рассердилась*). Что вы мне подмигиваете? Я требую, чтоб вы немедленно мне ответили: где Иван Иванович Кирпичников?

Дюжиков. Ну, я, я, я Кирпичников!

Женщина. Вы?

Дюжиков. Да.

Ж е н щ и н а. Иван Иванович Кирпичников?

Д ю ж и к о в. Да.

Ж е н щ и н а. Директор Черноморской филармонии?

Д ю ж и к о в. Да. У вас что, простите, сопрано или что-нибудь другое?

Ж е н щ и н а (с загадочной и зловещей улыбкой). У меня другое. Совсем другое. Дело в том, дорогой Иван Иванович Кирпичников, что я ваша жена!

Д ю ж и к о в (остолбенев). Кто?

Ж е н щ и н а. Жена.

Попова с интересом и удивлением смотрит то на Дюжикова, то на Кирпичникову.

Д ю ж и к о в (заплетающимся языком). Какая?

К и р п и ч н и к о в а. Законная! Мы с вами, Иван Иванович, уже двадцать пять лет состоим в законном зарегистрированном браке. Вы какого года рождения?

Д ю ж и к о в. Двадцать девятого.

К и р п и ч н и к о в а (меланхолично). Значит, вы женились на мне десяти лет от роду. Рано!

Д ю ж и к о в. Товарищ Кирпичникова!

К и р п и ч н и к о в а. Ну а теперь шутки в сторону, и извольте отвечать: что здесь происходит? Где Ваня?

Д ю ж и к о в. Сейчас я вам все расскажу... Дайте мне только...

К и р п и ч н и к о в а (великодушно). Пожалуйста.

П о п о в а. Да, да... Мне тоже будет интересно послушать!

Дюжиков вытер платком вспотевший лоб, налил в стакан воды, выпил.

Д ю ж и к о в. Уже! Видите ли, я весь день как проклятый сижу в этом номере и дожидаясь телефонного разговора с Таймыром... А у меня сто тысяч дел в городе, а меня вызывает Таймыр... И я не могу уйти. Понимаете?

К и р п и ч н и к о в а. Нет. (Поповой.) А вы?

П о п о в а. Я тоже нет.

Д ю ж и к о в (терпеливо). Меня вызывает Таймыр...

В номер врывается Д е д у ш к а, подступает к Дюжикову. Дедушка настроен воинственно.

Дедушка. Что же это получается такое, любезный друг? Выходит, что не она вам голову морочила, а вы ей голову морочили? Вот ведь какая история! Она мне все сейчас рассказала!

Дюжиков. Погодите... О чем вы?

Дедушка. А все о том же, любезный друг, все о том же! Интересуюсь, зачем вы внучку мою обманываете, это раз! Интересуюсь, кто такая Галя Савельева, которой вы письма писали, это два-с!..

Попова (*резко встала*). Ну, это уж слишком!

Дюжиков (*беспомощно*). Елена Николаевна... Я вам кланюсь — это какое-то дикое недоразумение...

Попова, не слушая Дюжикова и не прощаясь, уходит.

Дюжиков хочет броситься за нею вслед, но его останавливает телефонный звонок.

Дюжиков (*хватает трубку*). Алло... Да... Слушаю... Междугородная?.. Что, что?? Ждать и не отходить от телефона? Знаете что, междугородная, сейчас я приду к вам, на вашу междугородную, и... ладно! Жду и не отхожу! (*Безнадежно махнул рукой, повесил трубку, непонимающими глазами посмотрел на Кирпичникову и дедушку, потом, словно о чем-то вспомнив, стремительно побежал к дверям*.) Елена Николаевна!

Молчание. Раскланиваясь и улыбаясь, появляется Человек в клетчатом пальто.

Человек в клетчатом пальто. Вы меня, Иван Иванович?!

Дюжиков (*страшным голосом*). Уйдите!!!

Человек в клетчатом пальто исчезает. Молчание.

Дедушка (*горестно*). А я-то слушаю, я-то слушаю — про какую он мне нефть толкует?.. Понятно теперь, какая нефть!

Дюжиков. Даю вам честное слово...

Дедушка. Отрицаете, значит?

Дюжиков (*отчаянно*). Отрицаю... Стойте, вы же сами говорили, что у нее жар...

Дедушка. Я говорил, потому как я ей дедушка — мне можно! А вам, гражданин, я не позволю! Вот сейчас я схожу за ней, тогда поглядим. *(Уходит.)*

Молчание.

Кирпичникова. И все-таки мне бы очень хотелось узнать: где находится Иван Иванович?

Дюжиков. Он в Стальконструкции.

Кирпичникова. Да? Ну хорошо, если вам угодно начать все сначала — начнем. Значит, он в Стальконструкции. Бегает по чужим делам, вместо того чтобы заниматься своими. Это мне ясно. А вас вызывает Таймыр...

Дюжиков. Да.

Кирпичникова. Пока еще не улавливаю связи.

Дюжиков. Тут, в двух словах, такая история...

Кирпичникова. Ничего, ничего, не торопитесь. Я человек терпеливый — мы разберемся...

Входит Гришко. Угрюмо и молча, ни на кого не глядя, подходит к своей кровати, достает чемодан.

Дюжиков. Андрей Николаевич...

Гришко молчит.

Андрей Николаевич, вы не заходили больше в Геолого-разведочное управление?

Гришко. Заходил.

Дюжиков. Что с вами?

Гришко. Ничего.

Дюжиков. Да нет, я же вижу... Андрей Николаевич!

Гришко. Очень вас прошу не обращаться ко мне. Мне это н-неприятно...

Молчание. Гришко сумрачно и сосредоточенно занимается укладкой своего чемодана.

Дюжиков *(мягко)*. Слушай, Андрей Николаевич, дружище, пойми, что теперь никто из нас не в силах уже ни переделать, ни изменить того, что произошло... Разумеется, тебе тяжело, обидно, горько... Иначе и быть не может! Сейчас ко мне заходила Елена Николаевна...

Гришко (*насторожившись*). К-кто?

Дюжиков. Ну, Андрей Николаевич, ну, успокойся! Ты пойми, что для меня это тоже вовсе не так просто... Я, как мальчишка, полюбил ее с первого взгляда и...

Гришко (*не выдержал, крикнул*). К-кого, к-кого вы п-по-любил-ли?!

Дюжиков. Любу.

Гришко. Л-Любу?

Дюжиков. Да.

Гришко. А она?

Дюжиков (*сдержанно*). Об этом следует спросить у нее.

Молчание.

Кирпичникова. Молодые люди, прошу прощения, это гостиница «Москва»?

Дюжиков. Да. А что?

Кирпичникова (*пожала плечами*). Нет. Ничего. Знаете что, молодые люди, давайте сядем и попробуем спокойно разобраться — кто же кого любит...

Нагруженный кулками, свертками и пакетами, в номер вваливается
Кирпичников.

Кирпичников. Товарищ Дюжиков, наряда на подшипники не дают! Сейчас закусим и соберем военный совет...

Кирпичникова (*спокойно*). Здравствуй, Ваня!

Кирпичников (*роняя пакет*). Здравствуй, Лизочка!..

Кирпичникова. Чужало мое сердце, что нужно спешить.

Кирпичников. Как ты? Откуда ты?..

Кирпичникова. Меня взял на самолет один мой пациент. Директор завода. Это что, последняя московская мода — носить пижаму вместо рубашки?

Кирпичников (*сконфуженно оглядывает себя*). Нет, нет, нет... Ну почему вдруг — вместо рубашки?.. Да, действительно... Чудовищно!..

Кирпичникова (*покачала головой*). Ах, Ваня, Ваня! А зачем тебе понадобились подшипники?

Кирпичников. Не мне, Лизочка, Таймыру.

Кирпичникова. Кто он такой? Твой друг?

Кирпичников. Нет... полуостров.

Кирпичникова. Твой?

Кирпичников. Наш, Лизочка.

Кирпичникова. Я не знала.

Кирпичников. Это замечательный полуостров! Там есть все! Руда, нефть, зверье, птица... А ночь? Знаешь ли ты полярную ночь, Лизочка? Нет, нет, нет — это чудовищно, но ты не знаешь полярной ночи! Северное сияние горит, по снегу дикий олень бежит... Да, между прочим, товарищ Дюжиков, есть у меня для вас сюрприз.

Дюжиков. Какой?

Кирпичников. Был я Главконсерве, получал там для себя кое-что, замолвил и за вас словечко. Завтра забегите — они вам устроят. Превосходнейшая, знаете ли, продукция. Оленье рагу. Вот образец! *(Достал из портфеля какую-то банку, протянул Дюжикову.)*

Дюжиков *(повертел банку в руках, усмехнулся)*. Да, продукция превосходнейшая!

Кирпичников. Нравится? Нет, нет, не благодарите...

Дюжиков. А вы не поинтересовались, где изготавливается это рагу? На заводе «Северянин». А находится этот завод на Таймыре. И это мы, с вашего позволения, поставляем консервы всему Северу...

Кирпичников *(растерянно)*. Вот как? На Таймыре?

Кирпичникова *(неожиданно рассердилась)*. Знаете что, дорогие товарищи, мне, наконец, надоело слушать про ваше северное сияние! Да, да, да. Я прямо с аэродрома заехала в филармонию, и там тоже все кричат про северное сияние...

Кирпичников. Почему, Лизочка?

Кирпичникова. А потому, что туда приезжала какая-то певица Захарова и раскричала всем — какой ты замечательный, как ты удивительно рассказываешь про Таймыр и что теперь она поедет только на Север... Кажется, она еще сказала, что чуть ли не влюбилась в тебя... Не понимаю, что ей могло в тебе понравиться?

К и р п и ч н и к о в (*самодовольно*). А почему, Лизочка, я не могу ей понравиться?

Быстро входит Л ю б а, Гришко, увидев ее, вздрагивает и снова бросается к своему чемодану.

Л ю б а (*протягивает Дюжикову бумагу*). Вот. Все оформлено.

Д ю ж и к о в. Хорошо.

Л ю б а (*тихо и сдержанно*). А теперь я хочу узнать: кто же здесь все-таки товарищ Кирпичников? Вы?

Д ю ж и к о в. Да нет, я Дюжиков, Дюжиков я.

Л ю б а. А кто же Кирпичников?

Д ю ж и к о в (*показывает на Кирпичникова*). Вот.

Л ю б а. Вы?

К и р п и ч н и к о в. Да, я.

Л ю б а (*гневно*). Как вам не стыдно! Пожилой человек!

К и р п и ч н и к о в а. Позвольте, позвольте, это любопытно! Что такое?

Л ю б а. Ну, я допускаю, что у вас были основания смеяться надо мной и даже... не обо мне речь! Но маме... Смеяться над мамой вы не имели никакого права! Решительно никакого!

Д ю ж и к о в (*мучительно соображая*). Погодите...

Л ю б а (*не слушая*). Как вы ей смели говорить о том, что любите меня?

К и р п и ч н и к о в. Я?

Л ю б а. Вы! Вы! Да как вы смели шутить такими вещами? Как вы смели делать из нас обеих посмешище? Как вы смели...

К и р п и ч н и к о в а. Ваня!..

К и р п и ч н и к о в. Лизочка...

К и р п и ч н и к о в а. Молчи!

Д ю ж и к о в. Погодите, как зовут вашу маму?

Л ю б а (*по-прежнему не слушая*). Она очень чуткий человек! И она мне сразу так и сказала, что сначала вы ей понравились, а потом она возненавидела вас. Да, да, просто возненавидела! Потому что она поняла, что все это — издевательство и глупая шутка...

Дюжиков. Ее зовут Елена Николаевна?

Люба. Ну да!

Дюжиков (*схватился за голову*). Боже мой!

Отворяется дверь. Спиной входит Дедушка, старается втащить в номер Дуню.

Дедушка. Я тебе говорю — заходи... А я тебе говорю — не спорь, заходи... А я говорю — слушайся деда, заходи... Сейчас мы его — на чистую воду. (*Втаскивает Дуню, подходит к Дюжинову, который по-прежнему стоит схватившись руками за голову.*) (Дуне.) Он?

Дуня (*шепотом*). Он.

Дюжиков. Что?

Дедушка (*торжествующе*). Все!

Дюжиков (*кричит*). Кого вы привели?

Дедушка. Свят, свят, свят! Второй тронулся! Это ж внучка моя — Дуня.

Дюжиков (*обернулся к Любе*). А вы? Кто вы такая?

Люба. Я — Попова.

Дюжиков (*после паузы, безжизненным голосом*). Товарищи, все ясно!

Недоуменное молчание. Сильный стук в дверь. Все испуганно обернулись. Входит Милиционер. Рядом с ним Муж своей жены и Человек из гардероба. Воспользовавшись случаем, вместе с ними проскальзывает в номер Человек в клетчатом пальто.

Милиционер подходит прямо к Гришко.

Милиционер. Вы будете гражданин Фортунатов?

Гришко. Н-нет.

Муж своей жены (*указывая на Дюжинова*). Да вот же он, Фортунатов! Вот он, голубчик этот, гражданин милиционер! Собственной персоной!

Дуня. Он не Фортунатов!

Милиционер (*решительно подходит к Дюжинову*). Ваша фамилия?

Человек в клетчатом пальто раньше, чем кто-либо, успевает ответить, стремительно подскакивает к Дюжинову.

Человек в клетчатом пальто. Ах, это милиция! Фамилия этого товарища — Кирпичников. Иван

Иванович Кирпичников! Всем нам известный, уважаемый Иван Иванович Кирпичников!

Кирпичников. Минуточку...

Милиционер (*строго*). Попрошу посторонних граждан не вмешиваться и не скопляться. (*Дюжикову*.)
Ваша фамилия?

Дюжиков. Дюжиков моя фамилия. Дюжиков!

Дуня. Как — Дюжиков?!

Милиционер. Значит, кроме фамилии Фортунатов, имеются еще фамилии Кирпичников и Дюжиков...

Муж своей жены (*с восхищением*). Вот жулик!

Дюжиков. Позвольте, я объясню...

Милиционер. В районном отделении милиции объясните. Пожалуйста, гражданин.

Дюжиков. Я не могу... Я жду телефонного звонка. Поймите...

Милиционер. Все понимаю, гражданин, не в первый раз. Прошу.

Дюжиков. Я... Дуня. Дедушка, да что же это?

Дедушка. Милиция разберет.

Милиционер. Гражданин, культурно пойдете?

Дюжиков (*с неожиданной яростью*). Ну, вот что, да, черт побери, я пойду! Мне самому, черт побери, это все надоело. Мы еще посмотрим, кто из нас Фортунатов! Пошли!

Дюжиков, Милиционер, Муж своей жены и Человек из гардероба уходят.

Дюжиков (*задержался на пороге, обернулся*). И все равно, товарищи... Все равно, что вы — она, а она — вы... Но вы замечательно поете, Дуня... И еще, то, что я говорил вам, — это тоже правда... А вы, Люба Попова, вы не пожалеете, что решили ехать на Таймыр... Вот и все! Прощайте!

Дверь захлопнулась. Минута молчания.

Кирпичникова (*негромко*). Ваня, твой чемодан на месте?

Кирпичников. Да, Лизочка.

Кирпичникова. Проверь. Мало ли что! Живешь-

живешь в одном номере с таким Фортунатовым, а потом — чемодана-то и нет!

Дуня (*пылко*). Он не Фортунатов. Он...

Дедушка. Помолчи! А я тебе говорю — помолчи!

Гришко (*неловко подошел к Любе*). Здравствуйте, Люба.

Люба. Здравствуйте, Андрей Николаевич.

Гришко. З-значит, это все неправда? З-значит, вы его не любите?

Люба. Кого?

Кирпичникова. Цел чемодан?

Кирпичников. Цел.

Кирпичникова. Идем. Здесь жить нельзя! Эту ночь мы переночуем у Ладыжниковых, а там — поглядим. Идем!

Кирпичников. Нет, нет, Лизочка, нельзя! А Таймыр?

Дедушка (*мрачно*). Таймыр! Сомневаюсь я, граждане, есть ли он вообще, Таймыр этот? Может, его и не было вовсе!

Дуня (*горячо*). Есть! Полуостров! Я сама час тому назад в атласе его смотрела!

Дедушка. Смотрела, смотрела. В атласе-то он есть, а вот для кого мы сегодня старались — это неизвестно!

Люба (*растерянно*). Как же так, товарищи! Ведь я дала согласие ехать на Таймыр!!

Стук в дверь. Входит Дежурная с узелком в руках.

Дежурная. Граждане, тут ежели что кому понадобится, так вы прямо к администратору обращайтесь! А то я на час отпущенная. От имени всего нашего тринадцатого этажа несу передачу Фортунатову!

Общий крик.

Кирпичников. Как — Фортунатову?

Дедушка. Уже передачу?

Дежурная. Не уже, а давно надо было! Мы его тут ругаем, а он в больнице, оказывается, пятый день лежит.

Сперва без сознания был, а сейчас сестру прислал, чтоб она, значит, за номер рассчиталась!

Кирпичников. Пятый день?

Дедушка. Ай-яй-яй!

Дуня. Ага! Что я вам всем говорила?! (*Хватает Де-
журную за руку.*) Бежим... в милицию... Скорей!

Дежурная (*испуганно*). Зачем в милицию?

Дуня. Скорей.

Дедушка. Стой, оглашенная!

Дуня. Нет!

Дедушка. А я говорю — стой! Пусти гражданку!
Я говорю — пусти гражданку!

Кирпичников. Товарищи...

Кирпичникова. Что ты кричишь?

Кирпичников. Товарищи, прежде всего мы долж-
ны выяснить — есть Таймыр или нет Таймыра?

Дуня. Есть!

Дедушка. Сомневаюсь!

Гришко. Л-Люба, что вы н-наделали?

Пронзительный телефонный звонок.

Кирпичников (*хватает трубку*). Слушаю... Что?
(*Ужасным голосом.*) Граждане, Таймыр на проводе!

Немая сцена. Дуня, вскрикнув, хватая Дежурную за руку и убегает.
Дедушка бросился было след за ними, но передумал, остановился и
только безнадежно махнул рукой. Напряженное молчание.

Кирпичникова (*взволнованно*). Ну, что там, Ваня?

Кирпичников. Алло... Алло... Да, да... Слушаю...
Девушка, вы кто?.. Междугородная? А, Таймыр? Алло...
Алло... Алло!

Дедушка. Что мы отвечать им будем, вот ведь во-
прос.

Кирпичников. То есть как — что отвечать? Мы
по порядку...

Кирпичникова. Ваня, не отвлекайся!

Кирпичников. Я не отвлекаюсь. (*Дедушке.*) Мы
им по порядку рапортуем все, что сделано. Очень просто!

Дедушка. А о том, извиняюсь, что не сделано,
Иван Иванович, как быть? Где наряд на подшипники, а?

Кирпичников (*сердито*). Подшипники — это ваш участок, товарищ Бабурин.

Дедушка (*горячится*). Я и не отказываюсь! Однако, товарищ Кирпичников, вы тоже...

Крик Человека в клетчатом пальто заставляет всех вздрогнуть и обернуться.

Человек в клетчатом пальто. Так я и знал! Это вы — товарищ Кирпичников! Это вы — настоящий Иван Иванович Кирпичников? Я зову партнеров, да?

Кирпичникова (*спокойно и равнодушно*). Замолчите, гражданин, и не мелькайте перед глазами. Что за история с подшипниками, товарищ, а?

Дедушка (*горестно*). Не дают наряда, вот и вся история!

Кирпичникова. Совсем не дают?

Дедушка. Обещают через месяц.

Кирпичникова. А нас это не устраивает?

Дедушка. Нет. У нас навигация кончается. Прямо я не знаю, как мы этому Таймыру в глаза глядеть будем...

Кирпичников. Вот, Лизочка!

Кирпичникова. Что — вот? Есть постановление о порядке первоочередной отгрузки... Так?

Дедушка. Так.

Кирпичникова. Мы первоочередники?

Кирпичников. Первоочередники. Но они говорят...

Кирпичникова (*одним движением руки нахлобучивает шляпку, поправляет пенсне*). А мне решительно все равно, что говорят они! Важно, что я им скажу! (*Похлопала дедушку по плечу*.) Не беспокойтесь, молодые люди, у вас будут подшипники. Куда надо идти?

Дедушка (*заискивающе*). Тут рядом. Из окна видно. Называется «Стальконструкция»!

Кирпичникова величественно идет к двери.

Человек в клетчатом пальто. Товарищ Кирпичников, партнеров звать?

Кирпичникова (*обернулась, подошла к Человеку в*

клетчатом пальто, сказала спокойно и тихо). Идемте со мной!

Человек в клетчатом пальто. Куда? Я пришел, чтобы исполнить редчайший номер!

Кирпичникова. Вы мне его исполните по дороге. Я прослушиваю все номера. Я зубной врач — я привыкла к крикам! (*Уходит и уводит Человека в клетчатом пальто, который покорно идет за ней.*)

Кирпичников (*прочувствованно*). Великая женщина. Нет, нет, нет, не спорьте — она великая женщина!

Дедушка. Мне главное, чтобы подшипники были.

Кирпичников. Весьма вероятно, что она... Алло... алло... Слушаю! Слушаю! Да, да, да... Совершенно верно... Гостиница «Москва»... Нет, к сожалению, не товарищ Дюжиков... Одну минуточку, всем время дорого... Слушайте внимательно! С кем имеем? Федорченко?

Дедушка (*неустовым шепотом*). Привет ему передайте... Привет!

Кирпичников. Товарищу Федорченко пламенный привет с Большой земли! Слушайте наш доклад... Это долго рассказывать... Товарищ Дюжиков... Его повезли по делу... в милицию... А я вас очень хорошо слышу... Алло! Значит, так, записывайте! Значит, так, ориентировочная смета в Северопроектé утверждена... Утверждена! Не «не утверждена», а «утверждена»... Алло! Утверждена! Вы не поняли? Не «не», а «у»... Поняли? Утка, тучка... Да, да, утверждена! Не за что! Главк портов посылает «Красного полярника». Восемь тысяч тонн. Да. Ведет капитан Шишкин... не «ти», а «ши»... Нет. Штучка, игрушка... Да. Альбом мы вырвали. Двадцать комплектов... Зачем так много? Ничего, пригодятся!.. Да, да... типовые... Нет, ти-по-вые... Теперь наоборот, не «ши», а «ти»... да... Тучка, игрушка... Да, да! Кроме того, в части кадров — к вам вылетает в ближайшие дни крупнейший специалист по морозоустойчивым культурам профессор Синицын. Нет, нет... Не «ши», а «си»... Спица, игрушка.

Дедушка (*он крайне возбужден*). Завтра, завтра он вылетает, а не на днях...

Кирпичников. Алло... алло... Завтра он вылетает, а не на днях... Да! Об остальных кадрах еще не знаю... Сейчас вам доложит товарищ, который ими занимался... (*Прикрывает рукой трубку, шипит в сторону Гришко.*) Слушайте, Гудермес, что вы там застыли? Идите докладывать!

Гришко (*растерянно*). А-а?

Дедушка (*толкает Гришко в бок*). К аппарату вас, товарищ геолог! Таймыр ждет! Ай-яй-яй!

Люба (*нервно*). Идите... идите, Андрей Николаевич.

Гришко (*машинально берет наконец трубку*). А? Я слышу... Что? Что?.. (*С отчаянием.*) Не слышу... Что?.. (*Еще отчаяннее.*) Я ничего не слышу...

Кирпичников (*вырывает у него трубку*). Алло... Да, да, я вас прекрасно слышу... Да, товарищ, который должен был докладывать насчет кадров, в тяжелом состоянии... Что? Геологов? Тут у нас полно геологов... (*Любе.*) Может быть, вы подойдете? (*В трубку.*) Сию минуту... Сейчас передаю трубку.

Люба берет трубку.

Люба. Говорит геолог Попова! Да... Не могу вам сказать... По нефти? Да... Спасибо, да, еду... Вероятно, завтра!

Гришко издает какое-то нечленораздельное восклицание.

Как? По черным рудам? Консультанта? Не знаю... Одну минуту... (*Кирпичникову.*) Вы не знаете, консультант по черным рудам едет?

Кирпичников. Это он должен знать!

Дедушка (*снова толкает Гришко в бок*). Ну!

Гришко. А? П-простите?

Кирпичников (*яростно*). Слушайте, Гудермес, вы консультанта по черным рудам сделали?

Гришко (*слегка оживляясь*). Консультанта по черным рудам нет... Пока нет... Люба, значит, вы едете?

Кирпичников (*кричит*). Есть консультант или нет консультанта?!

Гришко (*тоже кричит*). Нет!

Кирпичников. Позор! (*Любе.*) Скажите им...

Люба (*гневно взглянула на Гришко*). Алло? Вы слушаете? Консультанта по черным рудам, к сожалению...

Гришко (*внезапно осененный*). Стойте!.. Скажите им, что есть к-консультант... Едет!

Люба (*поперхнулась*). Алло! Алло!..

Кирпичников. Говорите сразу... Сразу, пока он не передумал!

Люба. Алло! Едет консультант... Едет... Нет, «к сожалению» я сказала нечаянно... Да... сейчас передам трубку... Этого я не знаю!

Дедушка (*он давно уже танцует от нетерпения у телефона; хватает трубку и с силой дует в нее*). Доброго здоровья, товарищ Федорченко! Бабурин говорит... Бабу-рин... Ба-ба... Потом бу-бу... Да что вы путаете? Вы меня слушайте!.. Главлес? Ну, я им там задал жару... Да... Будет! Бабурин слово дает — обязательно будет... Насчет подшипников знаю... Тут разговор длинный. (*Дует в трубку.*) Да вы не погоняйте меня... Я говорю, не погоняйте...

В дверь влетает Человек в клетчатом пальто. Шляпа у него съехала на затылок, галстук сбит на сторону.

Человек в клетчатом пальто (*одним духом*). Меня Елизавета Михайловна послала сказать, что подшипники будут. Она в Стаьконструкции. Сидит и не уходит. Она им сказала, что не уйдет, пока они наряд не выпишут. Будет сидеть хоть до утра. Велела принести ей бутерброды... Пламенный привет — бегу! (*Убегает.*)

Кирпичников. Что такое артист без темперамента — нуль! Нет, нет, нет, он очень хороший человек!

Дедушка. Алло! Так вот, значит, какое дело — есть подшипники... Да... Нет, не так это просто, дорогой товарищ... Сейчас я вам обстоятельно... Что? Слушать вас?.. Так... Сей момент запишем... Говорите... понятно... Пишу... «По данным метеосводок, навигация продлится до десятого числа...» Ну, неужели правда, товарищ Федорченко?.. Ладно, ладно, пишу... «Можете еще неделю задержаться в Москве...» Это кто может задержаться? Дюжиков, что ли?.. Понятно...

К и р п и ч н и к о в. Целая неделя, вы понимаете?!

Д е д у ш к а. Алло... Да, да... «Постарайтесь получить в Строительном управлении образцы прокладочных материалов...» Ну, за неделю-то это мы получим... Так... Кто подписал?.. «Начальник строительства — Воронин». Понятно... Передайте ему привет и благодарность... Да... Ну а теперь я вам насчет подшипников... Алло! Барышня... Алло! Алло!.. Как — кончен разговор?.. Как — истекло? Сей же момент Таймыр мне давайте... Что значит — не могу? А я говорю — давайте!.. А я говорю... *(Дует в трубку и гневно бросает ее на рычаг.)*

К и р п и ч н и к о в. Что?

Д е д у ш к а. Безобразница какая! Завтра я к ихнему министру связи пойду!

Люба и Гришко стоят и молча смотрят друг на друга.

К и р п и ч н и к о в. Ну, конечно! Голубчики, должен вам сказать, что я мокрый, как будто эти подшипники везли на мне от гостиницы до самого Таймыра... Что ж, теперь мы, очевидно, должны идти выручать Дюжикова...

Д е д у ш к а. Там Дуня воюет! Вы за нее, Иван Иванович, не сомневайтесь! У нее характер мой — с таким характером да не выручить!

Занавес закрывается. На просцениуме вдвоем остаются Гришко и Люба.

Л ю б а *(тихо)*. Андрей Николаевич...

Г р и ш к о. Д-да?

Л ю б а. Вы действительно твердо решили ехать?

Г р и ш к о. Твердо! Я не с-сдамся... Не х-хочу... Я слишком много думал о вас, и я не сдамся! Я б-буду б-бороться.

Л ю б а *(улыбаясь)*. Бороться? Да за кого же бороться, Андрей Николаевич?

Г р и ш к о. Зав-вас! Зав-вас и за в-вашу... Да, да, до-вольню!.. За в-вас и за в-вашу...

Молчание. Люба неожиданно решительно подходит к Гришко, целует его и убегает.

(Дико вскрикнул.) Люб-ба! (Убегает следом за ней.)

Занавес открывается. Тот же номер. Полузакрытые шторы. Свертки и портфели на столе. Три человека, завернутые с головою в одеяло, лежат на кроватях. Мирный сон. С оглушительным грохотом распахивается дверь. На пороге стоит сияющий Дюжиков. Руки у него заняты свертками, из которых подозрительно торчат горлышки бутылок. За его спиной видно веселое лицо Дуня.

Дюжиков (громким голосом). Друзья! Вставайте! Побудка! Подъем! Сейчас мы, черт побери, выпьем с вами за ваше здоровье, за наше здоровье, за здоровье всех тех в нашей стране, для кого не существует чужого дела, чужой радости, чужой беды!.. Дунечка, давайте за этот стол!

С кровати поднимаются три головы с всклокоченными от сна волосами. Три незнакомых человека смотрят на хлопочущего Дюжикова.

Человек с бородой. Граждане, что этому сумасшедшему здесь надо?

Дуня. Ой! (Быстро становится лицом к стене.)

Дюжиков (вглядываясь). Фу ты... Не в тот номер попали? (Озирается.) Нет, вроде тот... Что же это такое?

Моряк. Вот именно, что это такое? Приехал в командировку, хотел отдохнуть перед деловым днем, и вдруг — на тебе...

Узбек (широко улыбается). Еще с женой пришел... Ну, садись, гостем будешь!

Дюжиков (бормочет). Извините, товарищи. Здесь наши друзья жили...

Человек с бородой. Ну и что?

Дюжиков (оживляясь). А ничего! Правда, ничего такого особенного не случилось! Понимаете, еще вчера я с ними даже не был знаком, а уже сегодня они целый день работали для Таймыра...

Моряк. Для чего?

Дюжиков. Для Таймыра. Полуострова. Для стройки, которую мы...

Человек с бородой. Ну и что?

Дюжиков. Ну и сделали все, что надо.

Моряк. Правильно. А чего ж шум поднимать?

Дюжиков. Да я с ними выпить хотел на прощание. Друзья ведь.

Человек с бородой. Ну и выпей.

Дюжиков. Так их нет.

Моряк. Что ж ты хочешь от нас, чудак? Их нет, давай в таком случае пей с нами.

Человек с бородой. Граждане, это правильная идея... А?

Моряк. А чего ж? Они были — они помогли, мы были бы — мы бы помогли, о чем речь?

Узбек. А у меня урюк есть...

Человек с бородой. Подъем!!!

Все поднимаются на кроватях, завернутые в одеяла.

Дюжиков (*радостно*). Дунечка, давайте, можно смотреть — они завернутые.

Дуня оборачивается, хохочет. К ее смеху присоединяются остальные. Летят пробки из бутылок. Распахивается дверь, и появляется шумная и возбужденная компания: Кирпичников с женой, Дедушка Бабурин, Люба Попова, Гришко и Дежурная.

Кирпичников. Нет, нет, нет, это чудовищно! Мы его ждем, волнуемся, ищем по всем отделениям милиции, а он, изволите ли видеть, кутеж здесь устраивает! А? Хорошо хоть нам товарищ дежурная сказала, что вы явились уже...

Дюжиков (*радостно*). Товарищи... Товарищи дорогие! Входите, знакомьтесь — это мои новые друзья... А это мои старые друзья... А мы с Дуней ничего понять не могли: куда все подевались?

Дежурная. Согласно обещанию, администрация тринадцатого этажа предоставила всем гражданам, проживавшим в общежитии, отдельные номера!

Дюжиков. Вон что?!

Дедушка. Значит, товарищ Дюжиков, разрешите доложить...

Дюжиков. Потом! Все доклады потом... сначала выпьем! А вы, Дунечка, вы вместо тоста спойте нам ту, дорожную... И давайте, друзья мои, за нас, за друзей!

(Поднимает стаканчик из пластмассы, который служит обычно командированному для всех его нужд.)

Д у н я (запевает).

Нам ли дружба, друзья, в обузу?
По стаканам вино разлей!
Поезда по всему Союзу
Закадычных везут друзей!

Так шагай же, шагай прилежней,
Слушай птиц перелетных клич.
Выше голову, друг приезжий,
В это утро и ты — москвич!

Все подхватывают припев.

Сколько дальних перегонов, перегонов,
перегонов...

Под вагонами колеса — стук да стук!
Сколько было у вагонов, у вагонов, у вагонов,
Сколько было у вагонов ожиданий и разлук!

Оседают дыма клочья
На песок, на листву.
Мчится поезд днем и ночью
На Москву, на Москву!

Занавес.

Пути, которые мы выбираем

(ПЕРВОЕ ДЕЛО)

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

Действующие лица:

Варя Воробьева — адвокат.

Юрий Борисович Хмара — адвокат.

Алексей Владимирович Жильцов — директор
подмосковного завода.

Тамара Жильцова — его жена.

Максим Медников — инженер.

Иван Ильич Кондрашин — инженер.

Нина Кондрашина — его жена.

Евгений Аполлонович Бубнов — профессор.

Катя Богачева — секретарь юридической консультации.

Васенька Пустовойтов.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

В ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

У одной из московских застав, в переулке, неподалеку от линии железной дороги, стоит большой некрасивый дом. В полуподвальном этаже этого дома помещается юридическая консультация.

В тесной и неуютной комнате, отделенной от узкого коридора матовой застекленной перегородкой, стоят вплотную друг подле друга несколько столиков — с неизменными школьными чернильницами-невывайками, с круглыми пластмассовыми пепельницами и маленькими настольными лампами под бумажными абажурами. На стенах висит великое множество самых разных плакатов и объявлений, начиная с объявления о порядке оплаты и о стоимости услуг работников консультации в каждом отдельном случае и кончая плакатом с призывом вступать в ряды добровольного спортивного общества «Наука». Хмурый зимний день. В консультации тихо и пусто. Только Катя Богачева, секретарь консультации, сердито и сосредоточенно стучит на пишущей машинке, а за самым крайним столиком, у запорошенного снегом окна, сидит, склонившись над какими-то бумагами, дежурный адвокат — Варя Воробьева.

К а т я (с треском перевела каретку). Варвара Сергеевна, вы извините, но я что-то не понимаю — тут у вас в одном случае написано «комитет», а в другом «комитент»... Так и печатать?

В а р я (рассеянно). Да, да, так и печатайте.

К а т я (пожала плечами). Пожалуйста. Только вы уж потом не ахайте и не говорите, что у меня на каждой странице по сто тысяч ошибок! Вы сказали и забыли, а мне — неприятности!

В а р я (подняла глаза). Что за вздор, Катя? Когда у вас были из-за меня неприятности?

К а т я. Не были, так будут.

В а р я. Странно! (*Отодвинула бумаги, встала, подошла к Кате, проговорила негромко и сердито.*) Странно вы со

мною разговариваете, честное слово! Почему? Что я вам сделала? За что вы так невзлюбили меня?

К а т я (*медленно*). За что невзлюбила? (*Усмехнулась, прищурилась.*) А за что, собственно, я должна вас любить, Варвара Сергеевна? Люди мы разные — вам двадцать пять, мне тридцать шесть... Улавливаете разницу? И вы счастливчик — у вас папа и мама, вы недавно кончили институт, полгода походили в стажерах и уже — член Московской коллегии адвокатов. А я как была секретаршей, так секретаршей и останусь... И вы будете называть меня Катей, а я вас Варварой Сергеевной... Вот и подумайте — за что мне вас любить?

Варя растерянно молчит. Из коридора, отряхиваясь от снега, в шубе нараспашку входит Ю р и й Б о р и с о в и ч Х м а р а. Несмотря на вполне благообразную внешность, на бритое мятое лицо старого провинциального актера и крупную красивую голову, есть в нем что-то бульдожье — надменность, ум и равнодушная злость. В руках у Хмары какие-то разноцветные пакеты и свертки.

Х м а р а (*торжественно*). Привет тебе, прият мой трудов! Здравствуйтесь, сердце мое, Катенька! Здравствуйтесь, Варвара Сергеевна!

В а р я. Здравствуйтесь, Юрий Борисович. Откуда вы такой веселый?

Х м а р а. Из суда. У меня слушалось дело — хозяйственная классика, Указ от четвертого июня! (*Снял шубу, повесил ее на вешалку, взлохматил волосы и с полупоклоном протянул Кате коробку конфет.*) Катенька, сердце мое, прошу — клюква в сахаре!

К а т я. Юрий Борисович, не надо, что вы?!.

Х м а р а. Не благодарите. Я нынче богатый и щедрый. Ну-с, а что у нас? Все тихо? Ни убийств, ни поджогов, ни краж со взломом?

К а т я. Все тихо.

Х м а р а (*горестно покачал головой*). Да-а, друзья мои, я бы дорого дал тому, кто укажет мне такую обитель, такую золотую консультацию, куда все еще забегают на огонек последние могикане, ветераны, так сказать, уголовного кодекса — сто седьмая... Вы еще не забыли, Ка-

тенька, за отсутствием практики, что означает сто седьмая статья?

К а т я. Спекуляция.

Х м а р а. А сто девятая?

К а т я. Злоупотребление властью.

Х м а р а. А сто шестнадцатая?

К а т я. Растрата.

Х м а р а. Bravo! (*Взглянул на Варю и улыбнулся.*) Почему вы смотрите на меня, коллега, такими недоумевающими глазами?

В а р я. Я все еще не научилась понимать, когда вы шутите, а когда говорите серьезно.

Х м а р а. Серьезно я говорю только за деньги. (*Помолчав.*) Да поймите же, голубушка моя Варвара Сергеевна, — мы с вами представители на редкость несовременной, я бы даже сказал — вымирающей профессии! Да, да, уверяю вас — пройдет еще каких-нибудь десять-пятнадцать лет и всех нас выбросят за ненадобностью на свалку! Многие уже сегодня не понимают, что это за странная должность — защитник, и спрашивают, за чью футбольную команду я играю и какой я защитник — правый или левый!.. А ведь еще совсем недавно, еще в начале века сословие адвокатов составляло красу и гордость российской интеллигенции! Карабчевский, Плевако, Спасович, Андреевский, Холева — одни имена чего стоят. А теперь? Ну вы сами посудите — что нам защищать? Кого и от чего защищать? Где она, эта загадочная женщина под темным вуалем, указывая на которую адвокат восклицал: кто без греха, пусть первым бросит в нее камень! Где она? Кто вместо нее? Продавщица из продуктовой палатки, обвесившая покупателя на двести граммов чайной колбасы?.. Кто же мы с вами, Варвара Сергеевна, сегодня — мы, вчерашние защитники прав человеческой личности? Покровители указников — так, что ли?! Да-а, черт побери, дернула же меня когда-то нелегкая посвятить себя адвокатской практике! А все из-за чего? А все из-за мальчишеского тщеславия! Хотелось, видите ли, венков и оваций, благодарных слез и студенческого обо-

жания, хотелось, как острили в университете, переплюнуть самого Плевако...

В а р я. А теперь вам всего этого уже не хочется?

Х м а р а (*резко*). Нет! (*Прошел по комнате, улыбнулся*.) Теперь мне хочется чаю... Катенька, сердце мое, соорудите мне стаканчик чаю. Покрепче и погорячее!

Катя молча достает из ящика письменного стола чайную чашку, полотенце, маленький чайник для заварки, электрический шнур и выходит в коридор.

В а р я (*после паузы*). Кстати, Юрий Борисович, не ловко вам надоедать, но...

Х м а р а (*перебил*). Вы насчет статьи? Напишу, напишу. Я ее уже почти кончил. Когда выходит наша популярная стенная газета «Красный защитник»?

В а р я. На будущей неделе. Называется она, между прочим, просто — «Защитник»... А о чем будет статья? О том, что всех нас пора на свалку?

Х м а р а (*поглядел на Варю и шутливо раскланялся*). Мы квиты, коллега!..

В дверях, с шапкой в руках, появляется Максим Медников. Он молодой, примерно одних лет с Варей, синеглазый, румяный, в кожаном пальто с каракулевым воротником и высоких белых бурках.

М а к с и м. Здравствуйте! А я только что звонил к вам домой, Варвара Сергеевна, и мне сказали, что вы дежурите в консультации... К вам можно?

В а р я (*радостно и торопливо поднялась ему навстречу*). Максим?! Вот уж не думала...

М а к с и м. Можно к вам?

В а р я. Ну конечно, конечно — можно! (*Протянула руку*.) Здравствуйте, Максим.

М а к с и м. Здравствуйте, Варвара Сергеевна!

В а р я. А я еще вчера ждала вашего звонка. Вчера, и позавчера, и третьего дня!

М а к с и м (*развел руками*). Конец месяца! В конце месяца у нас на заводе — сумасшедший дом!

Из коридора слышен голос Кати: «Юрий Борисович, к вам тут гражданин».

Х м а р а (*взглянул на Варю и Максима, едва заметно поморщился, встал*). Попросите гражданина, Катенька, пройти в соседнюю комнату. И принесите туда же чай. (*Обернулся к Вале.*) Варвара Сергеевна, если меня будут спрашивать — я по соседству!

Х м а р а выходит в соседнюю комнату.

М а к с и м. Понимаете, Варвара Сергеевна...

В а р я (*перебила*). А мне вас тоже надо называть Максимом Петровичем?

М а к с и м (*смутился*). Нет, разумеется! Я просто полагал, Варенька, поскольку вы на работе...

В а р я (*усмехнулась*). Считайте, что я не на работе! (*Внимательно, сдвинув брови, поглядела на Максима.*) А вот вы действительно даже похудели!

М а к с и м. Даем план!

В а р я. Счастливый! А как же вам сегодня удалось так рано вырваться?

М а к с и м. Сегодня я получил ответственнейшее задание — повидаться с Варварой Сергеевной Воробьевой... Нет, совершенно серьезно, вы не смейтесь: утром меня вызвал Жильцов и попросил, чтоб я непременно к вам заехал.

В а р я (*очень удивленно*). Жильцов?!

М а к с и м. Ну да — наш директор. Я не помню, Варенька, я вам что-нибудь рассказывал про него?

В а р я (*смешливо*). Что-нибудь?! Да мы, по-моему, когда видимся, только про Жильцова и разговариваем — про то, какой он замечательный, талантливый, знаменитый, умный...

М а к с и м (*добродушно*). Смейтесь, смейтесь... Вот он сейчас придет сюда, и вы сами увидите, что он за человек!

В а р я. Куда придет?

М а к с и м. К вам сюда, в консультацию. Он обещал быть ровно к половине четвертого... Скажите, Варенька, ведь вы сейчас не очень заняты?

В а р я. Не очень? (*Усмехнулась.*) Я совсем не занята! Совсем, понимаете?! Настоящие, интересные дела у других, а у меня — справочная работа, редколлегия стенной

газеты, дежурства... Ах, господи, до чего же это все не то! И до чего же я завидую вам, Максим! Сразу после института попасть к такому человеку, как Жильцов, и... А зачем он приедет сюда?

Максим. К вам, Варенька. Он хочет, чтоб вы вели его дело.

Варя (*радостно и недоверчиво*). Вела дело? Вы шутите! Честное слово?

Максим. Причем для меня это тоже очень важно. Очень... Произошла глупейшая история... Короче, он вам сам все расскажет!

Варя (*весело*). Если расскажет! А вдруг он посмотрит на меня и решит, что ему нужен кто-нибудь посерьезнее и посолиднее... Такие случаи уже были! (*Помолчала, пошарила в кармане, засмеялась.*) Хорошо хоть, что я сегодня очки взяла! Можно будет надеть для важности, правда?

Максим. Вот как вредно читать до трех часов ночи!

Варя (*быстро взглянула на Максима*). А откуда вы знаете, что я читаю до трех часов ночи?

Максим. Знаю.

Варя. Ну откуда? Откуда?

Максим (*с улыбкой*). Вчера у нас было совещание, я вернулся в Москву последней электричкой, метро уже не работало, пришлось идти пешком... И как раз по пути, когда я шел мимо вашего дома, я обратил внимание, что в вашем окне горит свет.

Варя. По пути?! Странною дорогой вы шли домой!

Максим (*смутился*). Ну, свернул немножко. Чуть-чуть.

Варя (*помолчав*). В общем, эту историю вы, конечно, придумали! Но мне все равно приятно!..

Максим хочет что-то сказать, но его перебивает негромкий и мягкий тенорок:

— Мне сюда, Медников?

Варя и Максим оборачиваются — в дверях стоит Жильцов. Он высокий, полнолицый, большой и в то же время какой-то удивительно собранный и подтянутый. На нем почти совершенно такие же, как на Максиме, белые бурки и кожаное пальто с каракулевым воротником, словно это военное обмундирование, полученное с одного вещевого склада, но только на Жильцове все это поновее, подобротнее и подороже.

Максим (*вскочил*). Алексей Владимирович!

Жильцов. Разрешите?

Варя. Пожалуйста.

Максим. Знакомьтесь... Знакомьтесь, Варенька, — это и есть Алексей Владимирович Жильцов.

Варя (*протянула руку*). Здравствуйте.

Максим. А это — Варвара Сергеевна Воробьева.

Жильцов. Очень приятно! Вы тут ругаете меня, верно, за опоздание?

Максим. Что вы, Алексей Владимирович! Вы же обещали быть к половине четвертого.

Жильцов. А сейчас уже — без четверти. Меня Кузьмич, шофер мой, не на ту улицу завез, техник-механик! (*Неожиданно круто обернулся к Максиму.*) Да, Медников, насчет техучебы... Надо будет заняться тебе с молодежью. Вы завтра договоритесь с Полонским — что и как. Есть? (*Рассеянно потер ладонью подбородок, дружелюбно улыбнулся Варе.*) Вы уж извините нас, Варвара...

Варя. Сергеевна.

Максим (*нерешительно*). Так я думаю, что можно бы просто — Варя...

Варя удивленно подняла глаза на Максима, Жильцов перехватил ее взгляд и улыбнулся.

Жильцов. Зачем же?! «Варвара Сергеевна» — тоже достаточно просто. А то есть у нас любители щеголять тем, что цифры они помнят назубок, а имена-отчества путают! Такой, знаете, особый руководящий шик!

Входит Хмара со стаканом чаю в руках. Он проходит к своему столику, с интересом поглядывая на Жильцова.

Хмара. Здравствуйте.

Жильцов (*не глядя*). Привет! Так вот, Варвара Сергеевна... Вам Медников уже рассказал, в чем дело?

Варя. Нет.

Максим. Вы же не велели рассказывать, Алексей Владимирович!

Жильцов (*засмеялся*). Правильно, не велел. Это я проверяю — умеешь ты держать язык за зубами или не

умеешь. Так вот, Варвара Сергеевна, какая со мной приключилась история — подали на меня в суд...

В а р я. На вас?

Ж и л ь ц о в. На меня! (*Помолчал, расстегнул пальто, уселся поплотнее и поудобнее.*) У нас на заводе, в проектном отделе, инженером работал некий Иван Ильич Кондрашин. Во время оно, до войны еще, считались мы с ним вроде даже приятелями... Ну, не так, собственно, мы, как жены наши! Потом, конечно, развело нас в разные стороны, дело житейское! Назначили меня директором, а хозяйство у нас большое, людей много... И я ведь, знаете ли, не верю в поговорку, что друзья познаются в беде! Посочувствовать да поахать — это всякому лестно. И стоит недорого! А вот порадоваться чужой удаче, не позавидовать, а порадоваться — может только истинный друг... Ну да, впрочем, это все так — к слову!.. А с Кондрашиным — что ж? Ссориться мы с ним не ссорились, а просто разными людьми оказались! (*Добродушно улыбнулся.*) Я, как видите, из мужиков. А он из небожителей. Из тех, знаете, которым по грешной земле ходить скучно, которых все больше в эмпирии заносит... То он с каким-нибудь немислимым предложением выступит, то переругается со всеми в отделе, то статейку сочинит в многотиражку на манер Жюля Верна... Научный фантаст, одним словом! Я понятно рассказываю, Варвара Сергеевна?

В а р я. Вполне.

Ж и л ь ц о в. Тогда поехали дальше. Некоторое время тому назад получили мы предписание министерства сократить в проектном отделе одну штатную единицу. Грешен, хотел было я по старой дружбе отвести удар от Кондрашина: хоть и бьют нас теперь за приятельские отношения — и правильно, между прочим, бьют, — но хотел я вступиться, да не вышло! Очень уж многих в руководстве он против себя восстановил! Так что пришлось нам с ним расстаться...

В а р я. А теперь он через суд требует восстановления?

Ж и л ь ц о в. Нет, этим занимается обком союза. Тут другое... Вы уж разрешите, Варвара Сергеевна, я по порядку!

В а р я. Слушаю вас.

Ж и л ь ц о в. Значит, расстались мы с Кондрашиным. Живем, трудимся, план даем... А я так даже ухитрился еще и книжку написать — по вопросам автоматике! Присвоили мне за эту книжку ученую степень... Одним словом, все хорошо, все честь честью! И вдруг позавчера повестка — вызывают в суд! Я в тот же день, по дороге на завод — мы ведь за городом находимся, на станции Чернополе, — ну вот, я по дороге и заехал в суд: в чем, дескать, дело?.. Оказывается — Кондрашин! И обвиняет он меня в том, что будто бы некую его, Кондрашина, неопубликованную работу я переписал от корки до корки и выдал за свое сочинение! Попросту говоря — обокрал, да еще звание получил за это! Некрасиво, Варвара Сергеевна, как по-вашему?

В а р я (*пожала плечами*). Некрасиво.

Ж и л ь ц о в (*засмеялся*). Вот и я тоже считаю, что некрасиво! Нехорошо поступил товарищ Жильцов! (*Помолчал, стиснул зубы, проговорил сухо и сдержанно.*) Но только принять я этого обвинения не могу! Все — вздор, игра обиженного воображения! (*Улыбнулся Варю.*) Вот я и хотел просить вас, Варвара Сергеевна, заняться этим глупейшим делом! А то мне по всяким вашим инстанциям бегать некогда, да и, честно вам признаюсь, противно! За всю свою жизнь ни разу выговора не имел, а тут — суд... Вот, значит, так! (*Поглядел на Варю.*) Что скажет высокая Договаривающаяся сторона?

Несколько секунд длится молчание.

М а к с и м. Варенька!

В а р я (*смущенно и взволнованно*). Я очень рада... То есть, не рада, конечно, а я хочу сказать, Алексей Владимирович, что я с удовольствием возьму ваше дело. И я очень благодарна вам за доверие, Алексей Владимирович, очень... Но помнится, Максим Петрович говорил мне, что у вас на заводе юрисконсульт работает Брянский Михаил Михайлович. Я с ним знакома — он член Коллегии, опытный адвокат... А я ведь только недавно из стажеров, я еще по-настоящему и не выступала само-

стоятельно... И может быть, это неудобно, что вы поручаете дело не ему, а мне?

Жильцов (*махнул рукой*). Ну какой он там адвокат?! Старый старичок! Из тридцати букв русского алфавита не выговаривает тридцати трех! И вообще, Варвара Сергеевна, если мы с вами подружимся, то, я думаю, что и в дальнейшем... Короче, по этому поводу вы не тревожьтесь! Какие вам нужны от меня документы и сведения?

Варя. Повестка у вас при себе?

Жильцов (*достал из кармана повестку*). Повестка — вот. (*Растегнул портфель, вытащил толстую, переплетенную в коленкор рукопись, положил ее на стол.*) Это моя работа, и там же, внутри, отзывы членов ученого совета, две рецензии и свидетельство о присвоении степени... Все?

Варя (*надела очки*). Нет, не все. Вам должны были вручить копию заявления этого Кондрашина.

Жильцов (*пошарил в портфеле, похлопал себя по карманам*). Копия заявления, копия заявления... Тьфу ты, будь она трижды неладна, забыл! Приготовил ее дома на столе и забыл! (*Обернулся к Максиму.*) Медников, дорогой, прояви оперативность — машина моя тут, у подъезда, — смотайся ко мне домой, возьми на письменном столе заявление Кондрашина и привези сюда. Мигом, есть? Одно колесо — тут, другое — там!

Максим (*поднялся*). Хорошо, Алексей Владимирович!

Жильцов. Минутку! (*Встал, взял Максима под руку, проговорил, понизив голос.*) Ты жене про суд не говори. Понял? У нее и так за двести давление, не надо ее волновать.

Максим. А если она спросит, зачем я приехал?

Жильцов (*усмехнулся*). Не спросит. Ей до моих дел... (*Выразительно покачал головой.*) Ну, а если вдруг спросит — выдумай что-нибудь. Учить тебя?! Скажи — Бальзака, что ли, новый том выдают — за квитанцией заезжал.

Максим (*шутливо*). Есть, товарищ начальник!

Максим исчезает — мгновенно, точно его сдуло ветром, а Жильцов возвращается к столику и садится напротив Вари.

Жильцов. Золотой у вас друг, Варвара Сергеевна! Золотой! Я его все равно как брата полюбил, честное слово!

Варя. А он в вас влюблен, Алексей Владимирович.

Жильцов (*весело*). Есть такой грех! И что он, чудак, во мне нашел?! Смотрит на меня, как девица на гармониста! А я ж человек простой, без затей...

Смеркается. На улице уже зажгли фонари, и переплет окна косым отражением расплывается по стене. Хмара встает и включает свет.

Варя. Разумно. Спасибо, Юрий Борисович! (*Перелистала рукопись Жильцова.*) Скажите, Алексей Владимирович, а что вы думаете насчет экспертизы?

Жильцов. Насчет экспертизы, Варвара Сергеевна, я имею следующее предложение — у нас в министерстве, в научном отделе, есть такой профессор Бубнов Евгений Аполлонович. Я слышал, что он ученый солидный, знающий, честный... Попробуйте связаться с ним!

Варя (*записала на листке бумаги*). Евгений Аполлонович Бубнов... Хорошо, завтра же его разыщу.

Входит Катя с полотенцем через плечо, останавливается в дверях и насмешливо смотрит на Варю.

Катя. Варвара Сергеевна, вас к телефону. Мама. Беспокойтесь, что вы шерстяных носков не надели... Вы подойдете?

Варя мучительно вспыхивает, встает, растерянно смотрит на Жильцова и снова садится.

Жильцов (*добродушно*). Ступайте, ступайте, Варвара Сергеевна. И скажите вашей маме, чтоб она не волновалась, — у меня машина и я вас довезу до самого дома.

Варя (*тихо*). Спасибо, но у нас вечером лекция... (*Встала, пошла к дверям, на ходу едва слышно сказала Кате.*) Неужели это нужно было — при всех?!

Варя уходит. Катя усмехается, подходит к своему столику, прячет полотенце и накрывает машинку чехлом.

Жильцов (*поглядел на Катю и брезгливо оттопырил губу*). А вы здесь, гражданочка, кем работаете, ежели не секрет?

К а т я. Секретарем.

Ж и л ь ц о в (*резко и грубо*). Громче, не слышу! Кем, вы сказали?

К а т я. Секретарем.

Ж и л ь ц о в. А почему же вы, секретарь, позволяете себе смешки, когда разговариваете со старшим, ответственным работником консультации?! Да еще во время приема! Откуда у вас тут такой стилек панибратский?!

К а т я (*растерялась*). Простите...

К а т я, наклонив голову, торопливо выходит. Молчание.

Х м а р а (*осторожно покашляв*). У вас, Алексей Владимирович, есть какие-нибудь особые причины не узнавать меня?

Ж и л ь ц о в. Вас? А разве ж... Позвольте, позвольте...

Х м а р а. Мы встречались как-то у Евгения Аполлоновича Бубнова.

Ж и л ь ц о в (*равнодушно*). А-а, совершенно верно. Теперь вспомнил. Вы с ним родичи, кажется?

Х м а р а. Отнюдь. Старые друзья всего-навсего! (*Придвинулся вместе со стулом поближе к Жильцову.*) Вы извините, Алексей Владимирович, я слышал краем уха вашу историю. И я обеспокоен. Несмотря на то что мой юридический стаж на немного — только на двадцать пять лет — выше, чем юридический стаж очаровательной Варвары Сергеевны, мне ваше дело совсем не представляется таким уж бесспорным и очевидным.

Ж и л ь ц о в. Почему?

Х м а р а. Ну, это разговор долгий... Тут многое настаживает... Впрочем, если экспертом будет наш общий друг — Евгений Аполлонович Бубнов, — то это, разумеется, несколько облегчит ведение дела.

Ж и л ь ц о в (*грозно привстал*). Послушайте, вы!..

Х м а р а (*мягко*). Успокойтесь, Алексей Владимирович. Поверьте, что я далек от желания вас обидеть. Я просто хочу, чтоб вы поняли — одну и ту же картинку можно раскрасить разными красками. Раскрасим белой — будет зима, желтой — осень, зеленой — весна. И меня беспокоит, что вы поручаете ведение вашего дела адвокату, не имеющему опыта в деликатных вопросах авторского пра-

ва, не знающему всех тонкостей, всех, как говорится, ходов и выходов судопроизводства...

Жильцов (*зло*). Все хитрости да тонкости! Привыкли вы тут, как я погляжу, иметь дело с жуликами! А если отбросить дипломатию, то понимать вас, уважаемый, очевидно, следует так — напрасно я обратился к Варваре Сергеевне и не обратился к вам. Так?

Хмара (*со смешком*). Ну, не совсем так, но — примерно.

Жильцов (*тоже засмеялся*). Ловко! Да-а, не сомневаюсь, что уж вы-то во всех этих хитростях и тонкостях плаваете, как рыба в воде! Вы только об одном забыли — опыт, знаете ли, приобретается практикой, а где ее молодежь возьмет, если мы с вами будем становиться им поперец дороги?

Торопливо возвращается Варя.

Варя. Извините, Алексей Владимирович!

Жильцов. Ничего, ничего, мы тут беседуем.

Варя. Я хотела бы записать...

Без шапки, в расстегнутом пальто врывается Максим.

Жильцов. Уже?

Максим (*достал из бокового кармана заявление, с трудом отдышался*). А мы, Алексей Владимирович, как «Скорая помощь» — мимо всех светофоров.

Жильцов. Молодцы! (*Взял у Максима заявление, передал Варю.*) Прошу, Варвара Сергеевна.

Входит Катя, боязливо покосившись на Жильцова, садится за пишущую машинку.

Варя (*проглядела заявление Кондрашина, покачала головой*). Странное заявление! Этот Кондрашин будто нарочно сам себе усложняет дело. Он пишет зачем-то, что работа его отпечатана всего в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Кондрашина дома, второй — в архиве научно-исследовательского института вашего министерства. Из архива работа Кондрашина никому на руки не выдавалась... Спрашивается — каким же образом могла кто-то воспользоваться?

Жильцов (*весело*). То-то и оно! С ходу, Варвара Сергеевна, с ходу ухватили главное, браво! Который час, Медников?

Максим. Половина пятого.

Жильцов. Батюшки! (*Положил Варё руку на плечо.*) Варвара Сергеевна, вы, стало быть, занимайтесь, а мы бежим! Не сердитесь. Я вам записываю свои телефоны — служебный и домашний. Если что-нибудь понадобится — звоните. Хорошо?

Варя. Непременно.

Жильцов. Значит, спасибо вам большое, очень рад был познакомиться, жду звонка... Поехали, поехали, Медников!

Максим (*негромко*). Варенька, я постараюсь к вам зайти вечером. Можно?

Варя. А вы сможете?

Жильцов. Сможет, сможет. До свиданья, Варвара Сергеевна.

Варя. До свиданья.

Хмара. Желаю всех благ!

Жильцов (*мельком взглянул на Хмару и остановился*). Да, Варвара Сергеевна! Если профессор Бубнов откажется или вам не удастся его разыскать — пускай это вас не огорчает. Договоритесь тогда с кем-нибудь другим. Мне решительно все равно с кем!

Жильцов снова кланяется, обнимает за плечи и уводит Максима, который в дверях пытается еще что-то знаками объяснить Варё. Несколько мгновений длится молчание. Потом за окном раздается автомобильный гудок.

Катя (*поглядела в окно*). Интересный мужчина! Он кто такой?

Варя. Директор завода.

Катя (*вздыхнула*). Сразу видно — фигура!

Хмара (*небрежно*). А вы меня сегодня удивили, Варвара Сергеевна! Разве вам не известно, что, договорившись с клиентом, вы обязаны пройти с ним к заведующему консультацией, сообщить, что вами принято дело?

Варя (*всплеснула руками*). Ох, Юрий Борисович, милый, боже мой, — я забыла! Я так разволновалась и обра-

довалась — наконец-то у меня дело, — что все на свете забыла!

Х м а р а. У нас не лавочка. Не частное предприятие. И мы не модные доктора, которым суют деньги в руку после визита...

В а р я. Я знаю, знаю, вы правы... Ну, я просто забыла. Я ему позвоню, он придет и сделает все, как надо. Ну неужели вы могли подумать?!

Х м а р а. Я только отмечаю факт. Я не делаю пока никаких выводов. Я не вспоминаю о печальной практике старой адвокатуры — о дополнительных гонорарах «микстах», о всевозможных ценных подарках...

В а р я (*тихо*). Я не желаю вас слушать! Как вам не стыдно?! (*Возмущенно вздернув плечи, забирает папку с делом Жильцова и уходит в соседнюю комнату.*)

Х м а р а (*покачался на носках*). Тэк-с! Катенька, сердце мое, вы свободны? Я хотел бы кончить эту статью для стенной газеты... Найдите, на чем мы остановились! Нашли? Прочтите последний абзац!

К а т я (*читает*). «...Некоторые горе-теоретики пытались утверждать, что в ряду исчезающих профессий обречена на умирание и профессия адвоката. Но сама жизнь разбила эти досужие домыслы!...»

Х м а р а (*засмеялся*). И вы уверены, что это писал я?

К а т я. Представьте себе! Будем продолжать?

Х м а р а (*помолчав*). Нет, не будем. Можете все это выкинуть в мусорную корзинку! (*Прошелся по комнате, остановился, решительно проговорил.*) Мы начнем снова. И на другую тему. Пишите заголовок — «О моральном облике советского адвоката»!

Стучит пишущая машинка.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ДОМА У ЖИЛЬЦОВА

Улица Горького, корпус Б. В одном из парадных подъездов этого огромного, занимающего целый квартал, многоэтажного дома на шестом этаже находится квартира Алексея Владимировича Жильцова. Большая

комната — гостиная — с книжными полками, коврами, мягкой мебелью, невразумительными картинами в золоченых рамах и огромным концертным роялем, на крышке которого стоит ваза с букетом искусственных цветов. Три двери — дверь в прихожую, дверь в столовую, за которой виден парадно накрытый стол, и дверь в кабинет Жильцова, откуда на ковер падает узкая полоска света от настольной лампы и доносятся по временам треньканье телефона и негромкий раздраженный голос самого Алексея Владимировича.

Вечер. У окна, освещенного снаружи быстрыми и яркими огнями улицы, стоят Варя и Максим.

Максим. Вы хотите уйти?

Варя. Не знаю... Глупейшее положение — и уйти неудобно, и остаться я не могу! Я убедительно вас прошу на будущее — всегда говорите мне заранее, к кому и куда мы идем! Поймите, что я просто не имею права выступать днем по делу Жильцова в суде, а вечером как ни в чем не бывало являться к нему в гости!

Максим (*примирительно*). Ну не сердитесь, Варенька! Не надо сердиться в такой торжественный день! Сегодня вы блестяще выиграли дело! Начали, так сказать, славный путь!

На пороге своего кабинета, встрепанный, с потухшею папирсой в зубах, появляется Жильцов.

Жильцов. Сейчас, сейчас... Не велите казнить, Варвара Сергеевна, велите помиловать! Сейчас меня с главком соединят, и точка... Машина не возвращалась?

Максим. Нет.

Жильцов (*в комическом недоумении развел руками*). Ну что вы скажете, а?! Жена пропала! В шесть часов, говорят, вышла из парикмахерской, от парикмахерской до дома три шага — и вот до сих пор ее нет!

Максим. А куда же вы послали машину?

Жильцов. Послал по городу — в объезд всех знакомых. Ничего, найдем! Медников, ты, я надеюсь, не даешь скучать Варваре Сергеевне?

Максим. Стараюсь, Алексей Владимирович.

Жильцов (*шутливо погрозил пальцем*). Смотри у меня! (*Снова уходит к себе в кабинет.*)

В а р я (негромко). А чем занимается жена Алексея Владимировича? Она кто?

М а к с и м. Жена? (Поглядел исподлобья на Варю, помолчал, нерешительно проговорил.) Послушайте, Варенька, я все никак не соберусь с духом, а мне... Вы только, пожалуйста, не обижайтесь... У вас сегодня праздник. А я как раз вчера, совершенно неожиданно, получил премиальные. И мне ужасно захотелось сделать вам какой-нибудь подарок. Не обижайтесь, пожалуйста, ладно? (Торопливо и неловко вытащил из бокового кармана какую-то коробочку, протянул Варе.) Взгляните, вам нравится?

В а р я (открыла коробочку, охнула, проговорила шепотом). Вы сошли с ума!

М а к с и м. Вам нравится?

В а р я (неожиданно серьезно). Ну что вы спрашиваете чепуху, честное слово! Как это может не нравиться?! (Секунду подумала и вернула коробочку обратно Максиму.) Нет, милый, большое вам спасибо, но вы же сами понимаете, что такого подарка я принять не могу!

М а к с и м (упавшим голосом). Ну, Варенька!

В а р я. Нет, нет! Я очень тронута — кольцо чудесное, и оно мне очень, очень нравится, и вы, наверное, истратили на него целую кучу денег... Но!.. (Почти насильно вложила коробочку с кольцом обратно в руку Максиму.) Возьмите, милый, и спрячьте. Не обижайте меня. Возьмите!

М а к с и м (окончательно растерялся). А куда же я теперь с ним?

В а р я. Не знаю.

М а к с и м. Ведь я хотел... Я думал, чтобы это кольцо... (Замолчал, зачем-то прислонился лбом к оконному стеклу, проговорил угрюмо, не оборачиваясь.) Послушайте, Варя, выходите за меня замуж! (Обернулся, увидел Варины смеющиеся глаза и разозлился.) Ну чего вы смеетесь? Что вы нашли смешного?!

В а р я (с трудом сдерживая смех). Я не смеюсь! Но если бы вы видели... Если бы вы только видели, милый, какое у вас было сейчас лицо! Как будто вы собирались сказать мне что-то совсем другое...

Максим. Я и собирался. Вот что, Варя, для работников министерства строится дом. Первая секция, которую отдадут нашему заводу, будет готова к весне. Там, знаете, замечательные квартиры — с газом, с ванной, с телефоном... Ну, и мне твердо обещал Алексей Владимирович, что к маю получу двухкомнатную квартиру. Понимаете?

Варя (*неожиданно грустно*). Понимаю. Теперь понимаю. Солидный человек — премиальные, двухкомнатная квартира — можно и жениться... И это все, что вы хотели мне сказать?

Максим. Нет, не все, но это главное.

Варя. Ах, это главное?! А я-то думала, что главные слова другие. Не знаю какие, но другие. И я ждала их... А вы, верно, решили, что уж если есть газ, ванная и личный телефон — то ничего говорить не нужно? (*В упор, сдвинув брови, поглядела на Максима.*) Как все странно, Максим! Помните, когда нас познакомили, — уже через час мне стало казаться, что мы с вами знаем друг друга тысячу лет! А сегодня я смотрю на вас и думаю — а разве мы знакомы? Вот вы сейчас говорили... Как будто читали объявление из газеты «Вечерняя Москва» — а я смотрела на вас и вспоминала, как мы ходили на лыжах, и заблудились в лесу, и стояли вдвоем в снегу, взявшись за руки, а где-то далеко гудел поезд... Что с вами случилось, Максим? А ведь что-то случилось, правда?

Максим угрюмо молчит. Из передней, без стука, поправляя на ходу галстук, выходит профессор Бубнов. Он длинноногий и длиннолицый, с грустно прищуренными глазами старого пьяницы и пушистым серебряным венчиком вокруг лысой головы.

Бубнов (*весело*). Легкомысленнейший дом! Двери на лестницу настежь — входи кто хочет! Я захотел и вошел!

Варя (*очень удивленно*). Товарищ Бубнов?

Бубнов (*с полупоклоном*). Он самый. Только прошу вас, деточка, не называйте меня так официально! Называйте меня как-нибудь попроще. Например, «дядя Женя». Или даже «дядя Женечка!» (*Огляделся.*) А где же хозяйева?

Максим (*сухо*). Тамары Николаевны дома нет. А Алексей Владимирович у себя в кабинете.

Бубнов. Занимается государственными делами? Благоговею! Не будем мешать! (*Заглянул в столовую, поднял брови, улыбнулся.*) Э-э, да я, оказывается, попал к званому ужину. Вот это удачно! (*Быстро прошел в столовую и тут же вернулся — с бутылкою коньяку, рюмкой и маленькой тарелочкой, на которой лежит нарезанный кружочками лимон.*) Прошу извинить — одну только рюмочку коньяку с лечебными целями! (*Выпил, сел в кресло, вытянул ноги.*) Сегодня в суде, Варвара Сергеевна, вы пронзили мое сердце, и я умоляю вас — обратите на меня свое благосклонное внимание...

Отворяется дверь кабинета, и Жильцов с порога быстро и озабоченно спрашивает.

Жильцов. Медников, скоренько... (*Внезапно заметил Бубнова и нахмурился.*) Профессор?

Бубнов (*шутовски*). Шел, понимаешь, мимо. И зашел на огонек. Надеюсь, не прогонишь?

Жильцов (*пожал плечами*). Да уж сиди, коли пришел!.. Медников, скоренько — какого числа посылали мы в главк запрос насчет новогодних фондов?

Максим. Пятого, Алексей Владимирович.

Жильцов. Точно? А сегодня у нас — двадцать второе? (*Засмеялся.*) Сейчас я им, голубчикам, шерсть подпалю! Ах, ловкачи, хотели меня с планом прижать, а сами... (*Не договорив, снова скрывается.*)

Бубнов (*поднял над головой указательный палец*). Государственный ум! Скажите, Варвара Сергеевна, он прислал вам корзину сирени с ценным подарком?

Варя. Алексей Владимирович? Нет, конечно. А почему он должен присылать мне корзину сирени?

Бубнов. Потому что должен! Потому что нарушать традиции — неблагородно! Потому что мы с вами сегодня, не щадя живота своего, ходили по самому краю истины, спасая Алешкину честь, — а он нарушает традиции!

Варя. Что это значит?

Максим (*очень резко*). Вы меня извините, профессор, но вам, очевидно, вредно пить коньяк! Даже с лечебными целями! Поверьте, что честь Алексея Владимировича Жильцова не нуждается в том, чтобы ее кто-то

спасал! (*Встал, подошел к роялю, поднял крышку.*) Варенька, сыграйте что-нибудь, а?

В а р я. Что это вдруг?

Б у б н о в. Вы играете, Варвара Сергеевна?

В а р я. Очень плохо. И я даже не понимаю — почему Максим Петрович об этом вспомнил?

М а к с и м (*натянуто*). Я просто подумал, что так сидеть скучно. И попросил вас сыграть. Но если вам не хочется...

В а р я (*после паузы*). Ну, хорошо. (*Садится к роялю, пробегает пальцами по клавишам и, секунду подумав, начинает играть.*)

Бубнов и Максим сначала слушают молча, а потом Бубнов принимается негромко подпевать:

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей...

Из дверей кабинета выходит Ж и л ь ц о в, останавливается, улыбается.

Ж и л ь ц о в. А я-то слушаю и никак понять не могу — откуда у меня в доме музыка?

В а р я (*обернулась*). Это я, Алексей Владимирович, извините.

Ж и л ь ц о в. Играйте, играйте. А то ж ерунда получается — рояль есть, а играть на нем никому! Думал я поучиться при случае, да все времени нет!

Б у б н о в. Зачем же ты его покупал, друг мой?

Ж и л ь ц о в (*со смешком*). Понравился! Да ты погляди, что это за машина! Это ж зверь, а не рояль... Концертный, дьявол! Фирма — Отто Дидерихс, понимаешь, и сыновья!

Б у б н о в (*захлопал в ладоши*). Великолепно! Если уж не иметь комнаты в Москве, то не иметь ее в центре и со всеми удобствами! Если уж не играть на рояле, то не играть на рояле фирмы Отто Дидерихс и сыновья...

В прихожей раздается звонок.

Ж и л ь ц о в. Тамара!

Б у б н о в. Ура! (*Обнял Жильцова за плечи.*) Пошли встретим хозяйку дома!

Бубнов и Жильцов выходят в переднюю. Варя торопливо поднимается из-за рояля.

Варя (*негромко и беспокойно*). Что происходит, Максим? Я совсем уже ничего не понимаю! Почему он заявил, что мы сегодня в суде ходили по краю истины? Почему он вообще явился и ведет себя так, словно он свой человек в доме? А ведь мне Жильцов сказал, что он едва знаком с Бубновым! Что все это значит? (*Взяла Максима об руку.*) Максим, милый, пожалуйста, давайте уйдем!

Максим (*растерянно*). Это неудобно, Варенька. Алексей Владимирович обидится. Я понимаю, что вам... Но я прошу вас — ну, еще хоть полчаса!

Варя (*тяжело вздохнула*). Ох, Максим!..

Возвращаются Бубнов и Жильцов.

Бубнов. Вернулась машина, а хозяйки нет!

Жильцов. Куда-нибудь зашла, очевидно, заговорилась и... Ничего, скоро будет! (*Через силу улыбнулся.*) Предлагаю, чтобы скрасить ожидание, выпить по предварительной, а?! Возражений нет? Принято единогласно! Медников, не смотри такими грустными глазами на Варвару Сергеевну, пошли — похлопочем. Евгений Аполлонович, покиньте ваше кресло...

Варя (*быстро*). Нет уж, Евгения Аполлоновича вы оставьте мне. Женщины и мудрецы не должны принимать участия в суете.

Жильцов. Профессор, можешь остаться!

Жильцов и Максим уходят в столовую.

Бубнов (*приложил руку к сердцу*). Благодарю, Варвара Сергеевна! Но так как вы — и женщина, и мудрец, то непонятно, в каком же качестве остался я? Разве что — осел мудреца!

Варя. Ну, какой я мудрец! Я еще слишком многого не понимаю. И кстати, Евгений Аполлонович, может быть, кое-что из этого многого сумеете мне объяснить вы?

Бубнов. К вашим услугам, Варвара Сергеевна!

Варя (*медленно, как бы размышляя вслух*). Сегодня в суде нам с вами удалось доказать, что работа Алексея

Владимировича Жильцова есть работа самостоятельная. Что просто он и Кондрашин занимались одной и той же темой, пришли в итоге к одним и тем же выводам, и поэтому вполне естественно, что и в той, и в другой работе имеются некоторые совпадения. Так?

Бубнов. Совершенно справедливо. А чего же вы не понимаете?

Варя. А не понимаю я — почему же одна работа пылится в архиве научно-исследовательского института, а вторая немедленно принимается к печати и всячески поднимается на щит? Есть тут все-таки какая-то несправедливость, честное слово, есть! И может быть, поэтому вы сказали, что мы сегодня ходили по самому краю истины?

Бубнов (*едва заметно улыбнулся*). Ну что вы, Варвара Сергеевна! Это был просто неудачный ораторский прием, фигура преувеличения! (*Серьезно.*) Видите ли, и работники института, и мы — научный отдел министерства, занимаемся не отвлеченными забавами, не наукою для науки...

Варя (*перебила*). Скажите, Евгений Аполлонович, а вы в министерстве знакомитесь со всеми работами, поступающими в институт?

Бубнов. Как правило — со всеми.

Варя (*быстро взглянула на Бубнова и опустила глаза*). Простите, я вас перебила!

Бубнов (*продолжая*). Что такое была работа Кондрашина? Взгляд в нечто, отвлеченные рассуждения на частную тему, не поддержанные производственными интересами! А когда в апреле этого года чернопольцы с легкой руки Жильцова занялись проблемами автоматики, мы тут же пришли им на помощь! И я лично сам набросал предварительный конспект в пятнадцать-двадцать страниц, который Алеша потом использовал для своей книги.

Варя (*даже приподнялась*). Вы набросали предварительный конспект?! Погодите, погодите, это что-то совсем новое! Вы набросали конспект — но ведь вы-то уже

были знакомы с работой Кондрашина? Вы же сами сказали, что вам из института присылали все...

Бубнов (*в замешательстве*). Нет! Нет, нет, пожалуйста, вы не так меня поняли! Нам посылали все, что заслуживало внимания...

Варя (*упрямо*). А работа Кондрашина? Она у вас в отделе была?

Бубнов. Господи, Варвара Сергеевна, ну какое это имеет значение?!

Варя (*помолчав, тихо*). Огромное! Для меня — огромное!

Максим из столовой вкатывает в гостиную квадратный столик на колесиках, уставленный всевозможными винами и закусками. Сзади, заложив руки за спину, с довольным видом следует Жильцов.

Жильцов. Хозяин просит дорогих гостей!

Варя сидит молча и неподвижно. Максим устраивается рядом с ней. Бубнов разливает вино, и Жильцов поднимается.

Вино есть у всех? Ну-с, так за что же мы выпьем первую?

Максим. Я могу предложить...

Жильцов. Предлагать буду я.

Максим (*после неловкой паузы*). Прошу извинить, я не понял.

Жильцов (*как ни в чем не бывало*). Я предлагаю выпить за хороших людей. За друзей. Я поднимаю этот тост за вас, Варвара Сергеевна, и за вас — Евгений Аполлонович и Максим Петрович!

Максим. Спасибо.

Бубнов. Ура! Можно пить?

Жильцов. Погоди! (*Усмехнулся*.) Сказать откровенно, не очень-то меня беспокоил исход сегодняшнего громкого процесса «Кондрашин против Жильцова»! Но мне приятно и радостно, что молодой советский юрист, комсомолка... Ведь вы комсомолка, Варвара Сергеевна?

Варя (*сухо*). Я кандидат партии.

Жильцов. Молодой кандидат в члены партии, выступая по этому делу, получила свое боевое крещение и добилась серьезного и заслуженного успеха! Так пожалуйста же мне, дорогие мои друзья, поднять этот тост за

вас и за все ваши настоящие и будущие удачи! А удач вам, знаю, предстоит много...

Из прихожей быстро входит Тама ра Жильцо ва. Она высокая, красивая, крупная. Сильно подкрашенные и хитроумно уложенные в модной парикмахерской волосы совсем не идут к ее широкому и простому лицу. Она, ни с кем не здороваясь, молча останавливается в дверях.

Максим. Тамара Николаевна!

Жильцов (*быстро обернулся*). Тамара! (*Встал.*) Ну как же так можно, Тamarочка?! А я уж просто не знал, что и подумать! Где ты была?

Тама ра (*негромко*). В парикмахерской.

Жильцов. Так долго? А почему же Кузьмичу сказали, что ты давно ушла?

Тама ра. Да, я пошла домой. И у самого дома неожиданно встретила Ваню Кондрашина...

Жильцов. Кого?

Тама ра. Ваню Кондрашина. С ним я и задержалась. Мы ходили по городу. Разговаривали! (*Усмехнулась.*) Я пыталась ему доказать, что мы с тобой совсем не такие уж плохие люди!

Жильцов (*опешил*). Да? И что же?

Тама ра (*после паузы*). Ничего, Алеша! Ни-че-го! (*Медленно, ни на кого не глядя, проходит в кабинет.*)

Бубнов (*с наигранным оживлением*). Тамара Николаевна! Тamarочка!..

Жильцов (*угрюмо*). Оставь!

Бубнов. Да ведь я хочу...

Жильцов. А я тебе говорю — оставь! Мне, знаешь, эти бабьи сантименты... Простите, Варвара Сергеевна. (*Привычным движением потер ладонью подбородок, поднял рюмку.*) Так давайте же, друзья мои, выпьем.

Никто не пьет. Все сидят молча, с напряженными лицами, стараясь не встречаться глазами.

Варя (*тихо*). Максим! Принесите мне, пожалуйста, из передней мое пальто. Я накину. Мне почему-то вдруг стало зябко...

Максим поднимается, открывает дверь в переднюю.

Жильцов (*нервно*). Куда?

Максим. Я сейчас. (*Выходит в переднюю, через сунду возвращается и набрасывает Варе на плечи пальто.*)

Варя. Спасибо.

И снова наступает молчание.

Бубнов (*вздыхнул*). Да-а, когда жена на вопрос «Что с тобой?» этак раздельно отвечает: «Ни-че-го!» — это значит, что барометр предвещает бурю!

Жильцов (*передернул плечами*). Подумаешь!

Бубнов. Ты, милый друг, не хорохорься! Есть только две породы мужей — те, которые боятся своих жен, и те, которые скрывают, что они их боятся! Правило без исключений!

Жильцов. Правило, правило... Какого черта, в конце концов! (*Встал, со злостью отшвырнул ногой стул и, поспывая, большими шагами зашагал по комнате.*) Подумаешь — встретила Ваньку Кондрашина, он ей поплакал в жилетку — и пожалуйста, готово — расстроилась, пожалела... Мне, может, самому жалко Ивана, но ведь у меня завод на плечах! И не какой-нибудь там захудаленький, а по нашему району из первых! А знаете вы, что это значит — быть первым в районе? Это значит, что все районное начальство одним тобой только и руководит. Об отстающих они на отчетных собраниях вспоминают, когда каяться надо, а руководит весь год — мною! Сегодня меня в райком тянут, завтра на коллегия в министерство, послезавтра Госконтроль заявляется — голова кругом идет! А тут еще Ванька Кондрашин со своими фантазиями — заниженные планы, неиспользованные ресурсы... Вот и бегай потом доказывай, что все это он сдуру мелет...

В дверях кабинета молча появляется Тамара.

Бубнов (*предостерегающе*). Алеша!

Жильцов (*не обращая внимания*). А Тамаре жалеть легко! Что ей? У нее только и забот что сидеть дома да ездить по врачам, магазинам и парикмахерским...

Тамара (*спокойно*). Все правильно, Алеша. Я только

не пойму — с чего ты вдруг расшумелся? Ведь я тебе ничего обидного не сказала. (*Подошла к столу, потерла озябшие руки.*) Добрый вечер, товарищи!

Жильцов (*запальчиво*). Нет, погоди!

Тамара (*тихо*). Не надо, Алеша. Пожалуйста, не надо. Мы после поговорим.

Жильцов. А почему — после? Мне тут стыдиться некого! Я простым слесарьком был, когда мы поженились! А теперь...

Тамара. Перестань, Алеша.

Жильцов. Все эти годы, все эти годы я по двадцать четыре часа в сутки работал, света божьего не видел, а считай: получил институтский диплом, получил звание инженера, получил ученую степень кандидата наук...

Тамара (*невесело улыбнулась*). Получать ты умеешь. Что-что, а где получать — там ты первый!

Жильцов (*рвкнул*). Так я ж не чужое брал! Я брал, что положено!

Тамара (*подошла к Жильцову, проговорила совсем тихо, все с той же невеселой улыбкой*). Положено тебе было много, это верно. А много ли было, Алеша, заслужено?

Жильцов (*злым шепотом*). Ну, а уж это и вовсе не твоего ума дело!

Тамара (*кивнула*). Правильно. Моего ума дело: когда плохо — жалеть, когда хорошо — молчать, улыбаться, принимать нужных людей... Ах, сколько я с этими нужными людьми водки выпила! И как давно уже не сидели за этим столом *просто люди* — Нина, Ваня Кондрашин... Кстати, Ваня ведь, он тоже из слесарей, а каким инженером талантливым стал!

Жильцов. Ну?

Тамара. Вот и все. Ничего больше. После поговорим, Алеша. Неудобно шептаться при людях. (*Усмехнулась.*) При нужных людях! (*Пододвинула кресло к столу и села.*) Извините, товарищи. Давайте ужинать, что ли. Есть хочется. Налейте мне, пожалуйста, водки.

Жильцов. Тебе нельзя водки, Тамара.

Тамара. Сегодня можно. Налейте.

Бубнов. Прошу. Уже давно замечено, что у женщин после хорошей ссоры необычайно разыгрывается аппетит.

Тамара (*прищурилась*). А разве я с кем-нибудь ссорилась, профессор? Я еще только собираюсь поссориться...

Бубнов. Например — с кем?

Тамара. Например — с вами.

Бубнов. За что же, помилуйте?!

Тамара (*любезно*). Ну, хотя бы за то, что вы меня сегодня не пригласили в суд. Не дали мне насладиться вашим выступлением. Представляю, каким вы соловьем заливались!.. Что ж, долг платежом красен!

Бубнов. Что вы имеете в виду?

Тамара. Я просто вспомнила, как в прошлом году, когда вас хотели уволить, Алеша хлопотал, суетился, писал куда-то письма... И я сама отвозила эти письма, потому что вы человек — нужный... Да, Алеша, а верно мне сказал Иван, что у вас на будущей неделе перевыборы партбюро?

Жильцов. Верно.

Тамара. Волнуешься?

Жильцов. Это еще почему?

Тамара. Не знаю. Я бы волновалась. Всякое бывает. А вдруг прокатят тебя?

Жильцов (*стиснул кулаки, но сдержался*). Ты есть хотела, Тамарочка, — ешь!

Бубнов. Ешьте, Тамара Николаевна! Оставьте в покое Алексея Владимировича и обратите внимание на лососину — обещает, как говорят, долголетие и успокаивает нервы!

Тамара (*засмеялась*). Оставить в покое Алексея Владимировича? Слышишь, Алеша, что мне советует профессор? Мне, значит, обратить внимание на лососину, а Жильцовым будете заниматься вы?! Нет уж — хватит, пожалуй... Да, жаль, жаль, что не знала я про суд... Хотелось бы мне взглянуть, как профессор держал речь!

Бубнов (*поежился*). Ну что вы, Тамарочка, все обо мне да обо мне! Я ведь лицо эпизодическое. В суде у нас первым номером выступала Варвара Сергеевна.

Т а м а р а (*мельком взглянула на Варю и равнодушно отвернулась*). Варвара Сергеевна человек подневольный. Ее наняли выступать — она и выступала.

В а р я (*встала, проговорила очень резко и звонко, дрожащим от обиды голосом*). Вы меня извините, Тамара Николаевна! Вы старше меня, и вы хозяйка дома, не мне делать вам замечания... Но все это по меньшей мере странно, честное слово! Ведь мы у вас в гостях... И мы не сами пришли, не с улицы... Ну почему мы должны выслушивать ваши оскорбления?! Если вы поссорились с Алексеем Владимировичем, если вы на него за что-то в обиде — то почему же вы на нас срываете свое настроение?!

И снова наступает за столом напряженное и неловкое молчание.

Т а м а р а (*теперь уже внимательно поглядела на Варю и улыбнулась*). Что ж, замечание справедливое. Принимаю. Не обижайтесь, Варвара Сергеевна. Мы с профессором как вместе сойдемся, так у нас всегда — ключья летят... Цепная реакция! (*Потянулась с рюмкой к Варе.*) Ваше здоровье, Варвара Сергеевна!

В а р я. Благодарю.

М а к с и м. Вы все чокаетесь, а рюмка полная.

В а р я. Так ведь я думала, что Алексей Владимирович не закончил еще своего тоста.

Т а м а р а. А ты за что предлагал тост, Алеша?

Ж и л ь ц о в (*угрюмо*). За друзей предлагал тост. За друзей и за удачу! (*Увидел, как Тамара поморщилась, и деланно засмеялся.*) И это тебе не нравится? Ну скажите на милость — ничем я сегодня не могу жене угодить! Даже тост мой — и тот ей не нравится!

Т а м а р а (*пожала плечами*). Тост как тост. Я не люблю слова «удача». Не люблю и не понимаю. Люди живут на белом свете, горюют, радуются, терпят поражения, одерживают победы. А удача — это что-то вроде везенья. Что-то сделанное не своими руками, а случайное, со стороны. Одному — повезло, другому — не повезло, один — удачник, другой — неудачник... И что все это значит и

как в этом разобраться? Взять, например, Алешу и того же Ваню Кондрашина! Кто из них — удачник?

В а р я (с интересом). А по-вашему?

Т а м а р а (подумав). А по-моему, так тот человек, который нашел в жизни свое место и не боится, что какой-нибудь мальчишка, как в сказке, крикнет про него, что король голый... Тот человек, что не должен шуметь на всех перекрестках о своих достоинствах и заслугах, потому что его работа, даже ошибки его, — сами за себя говорят... И если он пишет книгу, то пишет ее сам, и не чужая подсказка, а любовь, ненависть, гнев, радость водят его рукой... Вот такой человек и есть, как мне кажется, по-настоящему удачливый и счастливый!

Ж и л ь ц о в. Правильно!

В а р я. Да, конечно, правильно. Но вы не ответили на вопрос, Тамара Николаевна, вы сами предложили взять для сравнения Алексея Владимировича и Кондрашина...

М а к с и м. Да неужели же вам не ясно, Варенька?

В а р я (резко повернулась к Максиму). А вам ясно, Максим Петрович?

Ж и л ь ц о в. Давай, давай, Медников, выскажись. Выскажись, а мы послушаем.

М а к с и м (встал). Пожалуйста, я скажу. Тут так... Конечно, Кондрашин инженер неплохой, способный инженер. Но ведь даже нельзя сравнивать — Кондрашина и Алексея Владимировича...

Неожиданно гаснет свет.

В а р я. Что такое?

Ж и л ь ц о в (после паузы). Опять, должно быть, пробки перегорели, что у нас случается. (Крикнул.) Кузьмич! Кузьмич, где ты там? Организуй нам свет, быстренько!

Из прихожей, где уже мелькает огонек электрического фонарика, хрипловатый тенорок отвечает: «Сей момент, Алексей Владимирович!»

Б у б н о в (со смешком). Очень сгустилась атмосфера — пробки и те не выдержали! (Внезапно охнул.) Ох, дьявольщина! Я встал и на что-то наткнулся... Ага, понял — это наши старые приятели Отто Дидерихс и сыновья!

Молчание. Затем в темноте кто-то громко и уверенно проигрывает на рояле несколько тактов блестящего концертного вальса.

Максим. Кто там? Это вы, Варенька?

Бубнов. Нет, это я.

Тамара (*очень удивленно*). Вы?!

Бубнов (*усмехнувшись*). Давненько я не играл! (*Пробежал пальцами по клавишам в виртуозном пассаже.*) Так вот — о родившихся под счастливой звездой, об удачниках. Не так-то все просто, Тамара Николаевна! По-разному складываются человеческие судьбы и не так-то все просто!

Жильцов (*басом, иронически*). Ну, это, знаешь, все философия!

Бубнов (*почти крикнул*). Слушай, когда-то я был молод, здоров, почти недурен, считался восходящим научным светилом и твердо верил в свое великое будущее! Так почему же все кончилось так бесславно и глупо? Почему не суетятся вокруг меня благодарные ученики? Почему сердитая женщина — Тамара Николаевна — называет меня циником и лентяем, а я отмалчиваюсь или отшучиваюсь?

Тамара. А вы разве можете мне возразить? Разве сплетни и шутовское благодушие — не единственные радости, которые вы для себя выбрали в жизни?

Бубнов (*со злым смешком*). Ну, Тамарочка! Вам-то я бы мог возразить. Ведь и вы не ищете, мятежная, бури. А роль «домашнего обличителя на всем готовом» — это скорее комедийная роль, чем трагическая! И пока Алексей Владимирович занимается вопросами преуспевания...

Тамара (*перебила*). Что-о? (*Помолчав, холодно.*) Надеюсь, вы понимаете, что вам придется сейчас или извиниться, или уйти? Можете все, что угодно, говорить обо мне, но об Алексее Владимировиче...

Бубнов. Но вы же сами, Тамарочка, пятнадцать минут тому назад...

Тамара. А вы полагаете, что наши права равны?

Жильцов (*примирительно*). Ну будет вам, будет —

Тамара, Евгений Аполлонович! Что с вами нынче? Вы бы хоть Варвару Сергеевну пожалели. Человек в первый раз у нас в доме, а вы...

Зажигается свет.

Максим. Варенька!.. Позвольте, а где же Варвара Сергеевна?

И только теперь все замечают, что в комнате действительно нет Вари. Максим вскакивает, заглядывает в кабинет, в столовую, отворяет дверь в прихожую.

Бубнов. Варвара Сергеевна!

Максим. Нет, она, очевидно, ушла совсем — в прихожей ни ботишков ее, ни платка...

Жильцов (*налил себе вина, выпил, отфыркнулся*). Ушла, а?! Так! Зелен виноград!.. Погоди, Медников, а кольцо ты ей отдал?

Тамара (*насторожилась*). Что за кольцо?

Жильцов. Ювелирное. За труды. Все-таки старалась девушка, речь держала. Деньги ей сверх того, что им по таксе положено, предлагать мне было неудобно...

Максим. Алексей Владимирович, что вы?!

Тамара. Деньги неудобно, а кольцо?

Жильцов (*улыбнулся*). Кольцо Максим Петрович купил и дарил. Психологическая тонкость! Выдал я ему на это дело, как бы в долг, некую сумму...

Максим (*ошеломленно*). Алексей Владимирович, господи, да что вы говорите такое?! Я... я не понимаю, Алексей Владимирович... Почему «как бы в долг», Алексей Владимирович? Нет, именно, именно в долг! Мы же с вами условились... И вы еще сами сказали, что в конце месяца я получу премиальные и смогу вам отдать...

Жильцов (*почти добродушно*). А за что тебе, голубь мой, премиальные? За какие такие выдающиеся заслуги, а?!

Максим (*у него запрыгали губы*). Алексей Владимирович! Я хочу думать, что это шутка, но даже вам я не могу позволить... Даже вам! (*Неловко вытащил из кармана*

коробочку с кольцом, положил на стол.) И вот — пожалуй-ста... Вот это кольцо... Варвара Сергеевна его не взяла. И я теперь очень рад.

Жильцов (*после паузы, серьезно*). Что ж, и я очень рад! Молодчина она, Медников, настоящая молодчина! (*Поглядел на Бубнова, который, сидя за роялем, все еще перебирает пальцами клавиши.*) Ну что ты там чушь какую-то играешь, профессор? Сыграй веселое! Жаль, Варвара Сергеевна ушла, а то бы мы сплясали...

Т а м а р а (*тихо*). А почему все-таки она ушла?

Б у б н о в (*засмеялся*). А может быть, и не было никакой Варвары Сергеевны? Может быть, друзья мои, она вам просто приснилась? Вы не находите? (*Обернулся к Жильцову.*) Так, значит, сыграть тебе что-нибудь веселое, друг мой, Алексей Владимирович? А что ты называешь веселым?!. (*Смотрит на Жильцова и, секунду помедлив, снова опускает руки на клавиши рояля.*)

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЗА ГОРОДОМ У КОНДРАШИНА

Электричка, даже со всеми остановками, идет из Москвы полчаса, а от станции до Центрального поселка, где живут Кондрашины, десять минут самым медленным шагом. Но вечером в декабре, когда подмораживает и пронзительный ветер завивает над сугробами снежную пыль, когда круглый фонарь в конце платформы со звоном и скрежетом пляшет на высоком столбе, когда молчат собаки, а темные, точно присевшие на корточки, заснеженные ели покряхтывают по-стариковски, — в такой вечер живущим на даче кажется, что кругом дичь, глушь, и не то что до Москвы, а до ближайшего поселка не меньше суток пути. Занимают Кондрашины в самом обыкновенном дачном доме всего одну комнату — с низким бревенчатым потолком и некрашеным полом, с двумя окнами, выходящими в сад, и полутемным чуланом-кухней. Поэтому с первого взгляда довольно трудно понять, как на таком сравнительно небольшом пространстве разместилось такое количество самых разных вещей — и книжные шкапы, и чертежный стол, и обеденный стол, и широкий низкий диван с ситцевыми подушками, и пианино, и замысловатого устройства печка, сложенная из грубого кирпича, покрытого глазурью.

Вечер. За окном ветер и снег, а в комнате тепло, светло, поет, закипая, чайник, постреливают в печке поленья. Варя, взволнованная и раскрасневшаяся, в шубе и шапочке, сидит на краешке стула и, зажав в коленях руки, глядит в окно. На диване, на клетчатом одеяле, лежит груда мужских носков, которую сосредоточенно разбирает Нина Кондрашина — спокойная темноглазая женщина.

Нина (*с добродушной ворчливостью*). Говорят, говорят про Кондрашина, что он и такой, и сякой, и немазанный... А вот никто почему-то не скажет, что вещи на этом Кондрашине горят совершенно как на мальчишке! Каждую неделю, верите ли, Варвара Сергеевна, каждую неделю по дюжине носков ему штопаю, и никогда ни одной целой пары! (*Прислушалась к резким порывам ветра за окном, поежилась.*) А ветер-то, ветер развоевался!

Варя. Да, на улице ужас что делается, метель! А у вас славно — тепло, светло, поет чайник, трещит печка...

Нина (*откусила нитку*). Ох уж эта печка! Ее сам Кондрашин сложил. Он ведь у меня мастер на все руки от скуки. Хвастался, когда складывал ее, невозможно! Сын у нас в Ленинграде учился, в нахимовском. Приезжал домой в отпуск, так и ему Кондрашин покоя не дал — заставил глину месить! Ну, а потом, конечно, оказалось, что дымоход они куда-то не туда вывели... Я уж Ивану Ильичу и не говорю об этом, а то расстроится!.. А у вас дома, в Москве, центральное отопление?

Варя. Центральное.

Нина (*вздыхнула*). Хорошо! Да-а, надеялись и мы к весне комнату получить. Со всеми удобствами. Завод для работников дом строит — ну и Ваня надеялся, что ему тоже дадут комнату... Теперь, конечно, об этом и думать нечего! Говорила я ему — не мечтай, сглазишь. Вот и сглазил! (*И вдруг, точно испугавшись, что Варя примет ее слова как жалобу, торопливо проговорила.*) Нет, нет, вы только не подумайте, что я жалуясь. У нас тут очень неплохо, очень. Особенно летом. И природа хорошая, и вообще... Электричкой до Москвы полчаса, а до завода и совсем близко. Кондрашин по шоссе ходил ровно тридцать минут. И поликлиника моя рядом... Ну, я-то хотя везде устроюсь — хирургическая сестра со стажем, шутка ли! (*Снова вздохнула и улыбнулась Варя.*) Кстати, Варвара

Сергеевна, вы извините, то ли я прослушала, то ли не поняла... Но вам зачем нужен Иван Ильич? Вы его откуда знаете?

В а р я (*сдержанно*). Я его не знаю, Нина Михайловна. Я только видела его. Один раз. В суде.

Н и н а (*резко отшвырнула в сторону заштопанные носки, встала, тихо переспросила*). В суде? Тогда — с Жильцовым?

В а р я. Да.

Н и н а. И вы приехали, чтобы говорить с ним об этом?

В а р я. Да.

Н и н а (*быстро*). Это невозможно! Нет, нет, Варвара Сергеевна, это решительно невозможно... Я прошу вас... Боже мой, надо было видеть, с каким лицом он в тот день приехал, каким он был оскорбленным и измученным! И я взяла с него слово — никогда, никогда не вспоминать об этой истории, не огорчаться, не подавать на обжалование... Не хочу! Руки у нас есть, головы есть — проживем! И я прошу вас, Варвара Сергеевна, — давайте мы скоренько придумаем, зачем еще вы могли бы приехать к Кондрашину! Ну, думайте, думайте — зачем?

В а р я (*с трудом*). Это ни к чему, Нина Михайловна. Поймите, что я не случайно встретила с Кондрашиным в суде. Я адвокат и работаю в консультации. Мой жених, Максим Медников...

Н и н а. Что?!

В а р я (*заторопилась*). Да, да, мой жених, Максим Медников, познакомил меня с Жильцовым. И я взялась вести его дело. Я выступала в суде против Ивана Ильича...

Н и н а (*после паузы*). Это правда?

В а р я. Правда.

Н и н а (*с внезапным гневом*). Как же вы посмели... Как же у вас, девчонка, хватило совести приехать к нам в дом?! Убирайтесь вон, немедленно! Убирайтесь вон, слышите?!

В а р я (*встала*). Хорошо. Я дождусь Ивана Ильича на улице. Я понимаю вас. Я прекрасно вас понимаю, но все

равно я должна его повидать! (*По-детски вздохнула, за-матывает шарф и идет к двери.*)

Н и н а. Подождите... Ну, куда же вы пойдете?

Молчание. В дверь осторожно стучат. Нина спрашивает:

— Кто там?

Курносое мальчишеское лицо заглядывает в комнату:

— Это я, Нина Михайловна, здравствуйте. Вася Пустовойтов с завода, не узнали? К Ивану Ильичу можно?

Н и н а. Васенька? А Иван Ильич уехал в Москву. Ты проходи, раздевайся, он должен скоро вернуться. Прходи.

В а с е н ь к а (*очень вежливо*). Благодарю вас, но я тут не один. (*Сделал неопределенный жест рукой.*) И не могу ждать... А Ивану Ильичу вы просто передайте, пожалуйста, следующее: заходил, мол, Василий Пустовойтов по поводу техучебы, он знает. Поскольку с Медниковым мы заниматься отказались наотрез, то комсомольская организация договорилась с партийным бюро, и с дирекцией даже, что объединенным общезаводским молодежным кружком будет по-прежнему руководить товарищ Кондрашин... Но возникли, Нина Михайловна, некоторые осложнения... А именно — в лице начфина!

Н и н а. Что такое?

В а с е н ь к а (*сбился с тона*). А ну его, бюрократ чертов, кредит-дебет! Отказывается платить!

Н и н а. Не понимаю. Кому платить? Разве К о н д р а ш и н а не бесплатно руководил вашим кружком?

В а с е н ь к а. Раньше. Но теперь, пока Иван Ильич не добился еще восстановления, мы считали...

Н и н а (*сердито и смущенно*). Глупости вы считали!

В а р я (*осторожно*). Простите, товарищ, вы не скажете — а почему вы отказались заниматься с Максимом Петровичем?

В а с е н ь к а. Это с Медниковым-то? Да мы с ним не то чтобы заниматься — здороваться не желаем! Мы, знаете, в курсе, из-за кого Ивана Ильича с завода уволили!

Н и н а (*резко*). Сплетни, Вася!

В а с е н ь к а. Нет, не сплетни, Нина Михайловна.

Н и н а. А я говорю — сплетни. И вредные сплетни. И не стоило бы тебе, комсомольцу, повторять их! Кондрашина уволили потому, что было предписание сократить в отделе штатную единицу...

В а с е н ь к а (*стукнул себя в грудь кулаком*). Единицу! Единицу, а не Кондрашина!..

За окном звонкие девичьи голоса раздельно кричат: «Вась, Вась, мы уходим, Вася-а-а!»

Н и н а. Тебя?

В а с е н ь к а (*с виноватой улыбкой*). В общем, меня.

Н и н а. Ну, беги, беги. Я Кондрашину все скажу. Заходи завтра.

В а с е н ь к а надвигает на самые брови шапку-ушанку, туго завязывает под подбородком тесемки, кланяется и уходит. Нина снимает с огня закипевший чайник и, покосившись на Варю, снова садится на диван.

Вы не тревожьтесь. Это все чепуха, дурацкая сплетня!

В а р я (*усмехнулась*). Вы меня утешаете?

Н и н а (*холодно*). И не думаю. Я только хочу быть справедливой. А я твердо знаю, что к увольнению Ивана Ильича Медников не имеет ни малейшего отношения.

В а р я. Но ведь кем-то она пущена в ход, эта сплетня!

Н и н а. Неужели вы не понимаете — кем?

В а р я (*не сразу*). Вы думаете...

Н и н а (*перебила*). Уверена! Это называется у него «умением руководить»! Разделяй и властвуй! Выбери себе на время некое доверенное лицо, носись с ним, выдвигай, а потом, в нужную минуту, — подставь под удар! Жильцов надеялся, что избавится от Кондрашина тихо и незаметно. А тут и в райкоме этим делом заинтересовались, и в министерстве, и на заводе пошли нехорошие разговоры... Кроме того, на будущей неделе перевыборы партбюро. Вот он и заторопился — подготовить общественное мнение...

Без стука распаивается дверь, и на пороге появляется И в а н И л ь и ч К о н д р а ш и н. Он среднего роста, плотный, широкоплечий, с веселыми голубыми глазами и воинственным седым хохолком, по-мальчишески упрямо торчащим на макушке. В руках у Кондрашина картонный футляр для чертежей.

К о н д р а ш и н (*таинственно*). Приехали на грузовике какие-то люди...

Н и н а (*вздрыгнула от неожиданности*). Иван? Господи, ну кто же так врывается?! Добрый вечер! Кто там приехал?

К о н д р а ш и н. Приехали на грузовике какие-то люди и разыскивают Нину Михайловну Кондрашину! (*Сурово поглядел на Нину и вдруг, не выдержав, улыбнулся.*) Испугалась? Эх ты, а еще туда же — конспирацию разве-ла! (*Расстегнул пальто, достал из кармана какую-то бумажку и протянул Нине.*) На, спрячь!

Н и н а (*смущенно*). Что это?

К о н д р а ш и н. Квитанция. «Получено от гражданки Кондрашиной двадцать пять рублей за перевозку и доставку принадлежащего ей пианино со станции Чернополье в скупочный магазин...» И так далее! Короче, квитанцию я у них отобрал, перевозку и доставку отменил, а двадцать пять рублей так и пропали! (*Обнял Нину за плечи, привлек к себе, тихо спросил.*) Ах ты, Нина, Нина! Как же тебе не стыдно?

Нина покачала головой.

Не стыдно?

Н и н а. Нет. Ничуть. Мне так хотелось тебе помочь... И я не могла больше видеть, как ты сидишь, и сидишь, и сидишь над этими проклятыми леспромхозовскими чертежами... И я ни капельки не стыдилась — я даже радовалась, что так хорошо придумала — продать пианино!

К о н д р а ш и н (*передразнил*). «Придумала!» А я, может быть, только из-за этого пианино на тебе и женился, а ты... (*Помолчал, проговорил серьезно и сдержанно.*) Ничего, Нинушка, ничего! (*Улыбнулся.*) Ведь это я сам, вздорный человек, заупрямился! Мне сегодня в министерстве предложили на выбор целых три места. А я опять отказался. Я хочу добиться восстановления, и я... (*Внезапно заметил Варю и спросил шепотом.*) Стой, погоди, а кто это у нас? Ко мне? Кто такая? Как зовут?

Н и н а (*хмуро*). Зовут Варвара Сергеевна.

Васенька. Отлично! (*Громко и весело.*) Здравствуйте, Варвара Сергеевна!

Варя. Здравствуйте, товарищ Кондрашин.

Молчание. Нина забирает пальто и шапку Кондрашина и уносит все это в чулан.

Кондрашин (*узнал Варю и растерялся*). Вот, оказывается, какое явление! Любопытно! Не ждал... Вы, простите, зачем?

Варя. Я приехала, чтобы узнать — прошло, товарищ Кондрашин, уже четыре дня, а вы до сих пор не подали жалобу на решение народного суда...

Кондрашин (*насмешливо*). Жильцов волнуется? Напрасно! Я не собираюсь подавать на обжалование.

Варя. Почему?

Кондрашин. Надеюсь, я не обязан вам докладывать?

Варя (*помолчав*). Я понимаю, товарищ Кондрашин, что вам неприятно мое присутствие. Я скоро уйду, не беспокойтесь. Но до этого я непременно, непременно должна с вами поговорить!

Кондрашин (*заложил руки за спину, прошелся по комнате, покосился на взволнованную Варю, хмыкнул*). Поговорить? Да-а, тоже, между прочим, работенка у вас! Что же это вас в такую погоду пригнали? Да еще на ночь глядя! Не могли до утра потерпеть?

Варя. Меня никто не гнал. Я приехала сама.

Кондрашин. Ах, сами! Так, так. И давно вы меня ждете?

Варя. Часа полтора.

Кондрашин. Понятно! (*Подышал на оконное стекло, спросил, не глядя на Варю.*) А чаем вас поили? (*И, не дожидаясь ответа, закричал страшным голосом.*) Нина! Нина, ты поила... эту гражданку чаем?

Из чулана спокойно отвечает Нина: «Еще нет».

Ну и свинство! Приехал человек из Москвы, по делу, в такую метель, а ему даже чашки чаю никто не предложит!

Входит Н и н а — в платке, в высоких ботиках, в тулупчике.

Н и н а (*очень мирно*). Что ты кричишь, крикун? Через полчаса я вернусь и будем пить чай. Ты не умрешь от голода?

К о н д р а ш и н (*замялся*). Нет, нет. Мне вообще почему-то не хочется пока есть.

Н и н а (*негромко*). Почему-то? (*Покачала головой*.) Слушай, сколько уже раз ты мне давал слово, что не будешь наедаться в электричке мороженым?! Ведь ты пожилой, седой человек, тебе сорок с лишним лет, и...

К о н д р а ш и н (*сердито и смущенно*). Ну, хорошо, хорошо! Какое отношение имеет возраст к мороженому, что за чушь! Куда ты собралась?

Н и н а. Мне надо в магазин — у нас кончился сахар. И потом я хотела забежать в поликлинику.

К о н д р а ш и н (*нахмурился*). А это зачем? Дежурит новый хирург? Покоритель сердец?..

Н и н а (*оборвала*). Постыдитесь! (*Уходит*.)

Сконфуженный Кондрашин провожает ее до самых дверей и, подождя секунду, пока в коридоре затихнут ее шаги, оборачивается к Варя.

К о н д р а ш и н. Так что же вам от меня нужно? Зачем вы приехали?

В а р я. Могу объяснить. Я с этого начала — прошло уже четыре дня, а вы до сих пор не подали жалобу на решение народного суда.

К о н д р а ш и н. А я вам ответил, что не собираюсь ее подавать.

В а р я. Не собираетесь? Значит, вы не уверены в своей правоте?

К о н д р а ш и н (*возмущился*). Не уверен?! (*Развел руками*.) Ну, знаете ли...

В а р я (*горячо*). А если уверены — так почему же вы сдались и сложили оружие? Почему не обжаловали решение суда? Почему еще раньше, до суда, не поговорили в райкоме партии и не написали в газету? Что с вами, Иван Ильич? Ведь это так все на вас не похоже!

К о н д р а ш и н. А вы уже знаете, что похоже на меня и что не похоже?

В а р я. Знаю.

К о н д р а ш и н. Однако! Смотрите, какая дотошная! (*Неожиданно улыбнулся.*) А вам не кажется, Варвара Сергеевна, что для защитника Жильцова вы занимаете несколько... Ну, скажем, двусмысленную позицию?

В а р я. Нет, не кажется. У меня, конечно, совсем мало опыта. Но я не защитник Жильцова в том смысле, как вы об этом сказали. Я не продавала ему ни знаний своих, ни совести. Это в старину говорили — «аблокат — нанятая совесть»! А я советский защитник! И всюду, всегда я защищаю единственно советский закон! Именно это перед вашим приходом я собиралась объяснить Нине Михайловне...

К о н д р а ш и н (*весело*). Ах, так с Ниной у вас тоже было сражение?

В а р я. Скорее, разведка боем.

К о н д р а ш и н (*расхохотался*). Хорошенькая семейка! Муж и жена по очереди стараются выставить гостя на мороз!

В а р я (*сдержанно*). Поверьте, что мне совсем не весело. И не потому, что вы так меня приняли. Я и не надеялась, что вы примете меня иначе... Во всей этой истории, как ни грустно, в самом глупом и самом трудном положении оказалась я... Конечно, я виновата — но ведь сначала я была совершенно, совершенно уверена, что правда на стороне Жильцова! Посудите сами — ну какие у меня были основания сомневаться? Имелось заключение комиссии, отзыв членов ученого совета, мнение эксперта Бубнова... А что я могла знать? Ну скажите?

К о н д р а ш и н. Продолжайте, продолжайте. Я пока, с вашего разрешения, от замечаний воздержусь.

В а р я (*все возбужденнее*). И уже только потом мне стало ясно, что я помогла ввести в заблуждение суд, что я защищала неправоное дело... Я поняла, что все обстоит совсем не так...

К о н д р а ш и н. А именно?

В а р я. Я поняла, что Алексей Владимирович Жильцов, и профессор Бубнов, и Максим Медников — совсем не такие безупречные герои...

К он д р а ш и н (*насмешливо поклонился*). Здравсьте! А Медников тут к чему?

В а р я. Очень даже к чему! Если хотите знать, так Медников даже хуже всех! Это он наговорил мне всякой всячины про Жильцова, это он привел Алексея Владимировича к нам в консультацию... Он хуже, хуже, хуже всех!

К он д р а ш и н (*пристально поглядел на Варю, улыбнулся, тихо и серьезно спросил*). Вы любите его? Да?

Варя, не отвечая Кондрашину, всхлипнула.

Э-э, а вот это уже ни к чему! Совсем ни к чему! Зачем же плакать, Варвара Сергеевна? (*Сел рядом с Варей, дружески положил ей руку на плечо.*) Не плачьте, и давайте попробуем спокойно во всем разобраться. Вы сказали, что поначалу были совершенно уверены в том, что Жильцов прав... Так?

В а р я (*сквозь слезы кивнула*). Так.

К он д р а ш и н. Вы, значит, обманулись? А почему же не мог обмануться Максим Петрович? Ему, как говорится, сам бог велел быть обманутым! Молодой парень, без отца-матери, приехал из Сибири в Москву учиться... Окончил институт, получил путевку к нам на завод... Положение известное — ходит человек как потерянный, и кажется ему, что он последняя спица в колеснице... И вдруг Жильцов, сам Жильцов приближает его к себе, советуется с ним, выдвигает, на технических совещаниях сажает от себя по правую руку... Кому не лестно! Ну, а Максим Петрович вдобавок человек молодой, увлекающийся, он все что ни делает — очертя голову! (*Покосился на Варю.*) Ну, перестаньте же плакать, Варвара Сергеевна, как вам не стыдно!

В а р я. Я сейчас... Я сейчас уже ухожу...

К он д р а ш и н. Да никто вас не гонит, чудачка вы такая! И куда вы поедете такая зареванная? Что шури-тесь? Хотите умыться?

В а р я. А можно?

К он д р а ш и н. Нужно! (*Достал с полки мыло, полотенце, поглядел на Варю и засмеялся.*) Видик! А каким вы

тогда, на суде, Аникой-воином... (*Увидел, что Варя нахмурилась, и весело махнул рукой.*) Ладно, ладно, не буду! Так зачем же все-таки вы приехали, не пойму! А, Варвара Сергеевна? Хотите, чтоб я подал на вас жалобу?

В а р я (*угрюмо*). Не на меня, а на решение суда. Правда на вашей стороне, и вы обязаны драться за нее до конца!

К о н д р а ш и н. Обсудим! (*Протянул Вале полотенце и мыло.*) Ладно, идите мойтесь. А я, кстати, тем временем переоденусь... Так что вы, матушка, не входите, пока я вам не скажу — можно!..

Варя, повесив полотенце через плечо, уходит в чулан. Кондрашин переносит лампу на чертежный стол, снимает пиджак, вытаскивает из какого-то ящика старенькую пижамную куртку с короткими рукавами, облачается в нее, достает почти обязательную у каждого мужчины большую коробку с отвертками, шурупами и прочей мелкой железной дрянью, ставит ее на чертежный стол, роется в ней. И все это он проделывает, не переставая говорить.

А когда вернется Нина, мы устроим торжественное чаепитие... И даже проводим вас на поезд... А то еще заблудитесь тут, в снегах, отвечай за вас потом!

За окном — резкий порыв ветра и глухой стук наружного ставня.

В а р я (*из чулана*). Кто там?

К о н д р а ш и н (*продолжая рыться в шкапулке*).

Буйный ветер в окна бьет!
Ставни с петель буйно рвет!

В а р я. Это Блок?

К о н д р а ш и н (*одобрительно*). Блок, Блок. Как это вы догадались? А я думал, что вы — нынешние — насчет стихов не очень-то!

В а р я (*отфыркиваясь*). Мы — нынешние... А вы что же — прошлый?

К о н д р а ш и н (*хитро и довольно*). Я — будущий! Ладно, ладно, не болтайте, пожалуйста, воды в рот наберете — захлебнетесь!

В а р я (*невнятно*). Уже набрала!

Несколько мгновений длится молчание. Потом в дверь стучат.

К о н д р а ш и н (*негромко*). Кто там?

Входит Жильцов и, шурясь от света, останавливается на пороге.

Жильцов. К тебе можно? Ты дома, Иван?

К о н д р а ш и н (*не сразу*). Здравствуй, Алексей. Да, я дома.

Жильцов. А Нина?

К о н д р а ш и н. А Нины нет дома.

Жильцов (*снял свое кожаное пальто, сел в кресло, положил пальто на колени*). Жаль! Хотелось мне вас вместе, разом, порадовать. Затем и приехал — потолковать по душам и порадоваться! Такой уж я человек — зла не помню. Вы меня, черти, обидели, а я и помнить про это не хочу!

К о н д р а ш и н. Мы тебя обидели?

Жильцов. А нет? Может, это я сам на себя в суд подавал? Ведь, наверно, еще и на пересмотр дела меня потащишь! Не так ли? (*Засмеялся.*) Шучу, шучу! В общем, Иван, нажимал я, нажимал и сегодня наконец добился у министерства разрешения взять тебя обратно. Доволен?

К о н д р а ш и н (*сдержанно*). Доволен. Я только не пойму — зачем же ты у министерства добивался этого разрешения? Ты же сам и составил и подписал приказ о моем увольнении...

Жильцов (*перебил*). Нет, брат, ты комик! Неужели тебя так никогда и не научат, с какой стороны хлеб маслом мазать? Я подписал приказ! А знаешь ли ты, сколько месяцев подряд из того же самого министерства капали мне на голову, чтоб я его подписал?!

К о н д р а ш и н (*насмешливо*). За что же они так на меня?

Жильцов (*доверительно*). Об этом у Медникова спроси. У Максима свет Петровича! И что он с тобой не поделил, аллах его ведает!

К о н д р а ш и н (*гневно поглядел на Жильцова, встал, подошел к двери, спокойно сказал*). Уходи. Не хочу я с тобой толковать по душам. Противно. Да и не за этим ты приехал, хитришь! Тебе нужно было узнать, не собираюсь ли я подавать на обжалование? (*Кивнул.*) Собираюсь! Не буду ли я выступать на перевыборах партбюро и крыть

тебя? *(Снова кивнул.)* Буду! Что еще? *(Усмехнулся.)* Нехитрые хитрости! А ведь в своем директорском кабинете, в центре вселенной, в окружении телефонов и секретарш, ты мне почему-то казался умнее... Впрочем, тут, очевидно, все дело в кабинете, а не в тебе!

Жильцов *(неожиданно искренне и горячо)*. Вот, вот, вот! Все дело в кабинете, правильно! Вот мы наконец и добрались до сути, Иван! Все дело в моем директорском кабинете! Не можешь ты мне его простить! Уже четыре года, с того самого дня, когда ты узнал, что меня назначают директором, с того самого дня не можешь простить! Как так? Вместе росли, вместе слесарили, вместе в партию подавали, вместе в институте на заочном учились, вместе получали диплом... А теперь — один директор, а другой — рядовой инженер! Обидно! Только прямо ты этого сказать, конечно, не можешь — вот и ругаешь меня за что ни попало! Что ж, ругай, ругай! Нынче такая мода пошла — директоров ругать!

Кондрашин. Чушь! Я об отношении к жизни говорю, а ты о должности! Будь кем хочешь — директором, слесарем, счетоводом, — какое это имеет значение?! Слышали мы разговорчики: ходил в рабочих — был хорошим, назначили директором — стал плохим... Да откуда же берутся, если так, превосходнейшие наши директора, главные инженеры, начальники цехов? Нет, извини за дурную шутку, но думается мне, что не место портит человека, а человек место!

Жильцов *(со смешком)*. Ты, часом, не в «Крокодиле» работаешь?

Кондрашин *(остановился, отчеканил)*. Я нигде не работаю! Пока! *(Снова заходил по комнате.)* Ты вспомнил сейчас институт! А почему же ты не вспоминаешь, сколько людей тебе помогало, когда мы готовили диплом, — один подбирал материал, другой чертил чертежи, третий писал пояснительную записку... И где-то здесь началось! Где-то здесь ты понял, что можно легко и ловко прожить на всем готовом, пользуясь чужими руками и чужим умом! Ты и заводом руководишь именно так — всеми правдами и неправдами, за счет других, отстающих, получаешь для себя все самое лучшее...

Жильцов (*перебил*). Был бы я плох — меня бы уже давно сняли!

Кондрашин. И снимут. Не волнуйся, обязательно снимут. Величие твое — это просто случайный попутный ветер удачи! А твое падение — это как раз то, может быть, единственное, что ты сделаешь в жизни своими собственными руками! И никакого Максима Медникова нельзя будет винить — только самого себя...

Молчание. Из чулана раздается спокойный голос Вари: «Иван Ильич, я могу наконец войти?»

Жильцов (*вскочил*). Кто это? Нина?

Кондрашин. Пожалуйста, Варвара Сергеевна. (*Включает верхний свет.*)

Из чулана, с полотенцем через плечо, выходит Варя.

Жильцов. Варвара Сергеевна?

Варя. Добрый вечер.

Жильцов (*помолчав, развязно*). Здравствуйте, здравствуйте. А вы прямо как в цирке — исчезаете с улицы Горького и появляетесь на станции Чернополье!

Варя (*улыбнулась Кондрашину*). Вы, наверное, забыли про меня? А мне ужасно захотелось принять участие в разговоре...

Жильцов (*надел пальто*). А разговор, собственно, кончен.

Кондрашин (*подошел к Жильцову, проговорил тихо и грозно*). Нет, разговор не кончен! Мы еще продолжим его! И ты не вздумай, кстати, обозлившись, пытаться задерживать мое возвращение — я все равно приду! Ты можешь издавать обо мне приказы и на какое-то недолгое время торжествовать победу, можешь высокомерно не замечать меня и говорить гадости обо мне за моей спиной, можешь мешать мне работать и трепать нервы, — но я твердо знаю, да и ты это знаешь, что я все равно вернусь на завод!..

Жильцов, не отвечая, с каменным лицом идет к дверям. И вдруг, уже у самого порога, он останавливается, словно осененный внезапной мыслью, смотрит на Варю, ухмыляется и подмигивает Кондрашину.

Жильцов. А Нины-то, значит, дома нет? Порядок! *(Снова ухмыляется, толкает кожаным плечом дверь и уходит.)*

Варя *(встревоженно)*. Что он сказал?

Кондрашин *(чистосердечно)*. Я не понял... Какую-то гадость, кажется... Бог с ним! Почистили перышки, Варвара Сергеевна?

Варя. Почистила! *(Подошла к зеркалу, поправила волосы, скорчила сама себе гримасу и испуганно — не заметили? — обернулась к Кондрашину.)* В общем, большое вам спасибо, Иван Ильич, и...

Распахивается дверь, и стремительно входит Нина.

Нина *(еще с порога)*. Иван, слушай...

Кондрашин. Что? Что случилось?

Нина *(улыбнулась)*. Ничего не случилось! Просто я встретила сейчас заводских — Лодыженских, Павлова... Они нас пригласили... Сегодня в Доме культуры кино... Пойдем?

Кондрашин *(медленно)*. В кино? Ну что ж, можно сегодня и в кино! *(После паузы.)* Понимаешь, Нинка, был здесь сейчас Алексей Жильцов.

Нина *(ахнула, прижала руки к груди, села, тихо спросила)*. Ну?

Кондрашин. Ты не пугайся, все хорошо! Через несколько дней будет подписан приказ о моем восстановлении!

Молчание. И вдруг за окном — долгий, глухой и протяжный гудок.

Варя *(прислушалась)*. Это завод?

Кондрашин. Завод, Варвара Сергеевна! *(Тоже прислушался, улыбнулся, зачем-то повторил.)* Завод! *(Подошел к Нине, взял ее за руку, заглянул в глаза.)* Ах ты Нина, Нина! Ну что же ты плачешь? Что же ты плачешь, глупая? Что же ты плачешь, когда все так хорошо?..

Громко и протяжно гудит за окном заводской гудок.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

СНОВА В ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

Здесь на первый взгляд все по-прежнему — то же запорошенное снегом окно, те же настольные лампочки под бумажными абажурами и школьные чернильницы-невыливайки. Впрочем, после недавнего ремонта комната стала словно светлее, просторнее и выше. У шкафа, забытое, стоит ведро с толстыми малярными кистями, а проходу в соседнюю комнату мешает закапанная известкой лестница-стремянка. Конец дня. Юрий Борисович Хмара, потирая озябшие руки, ходит по комнате из угла в угол и негромко диктует Катю, которая сидит, не поднимая глаз, низко наклонившись над пишущей машинкой.

Хмара (*диктует*). «...И уже только потом, после того как попытка договориться с клиентом помимо консультации и получить с него «микст» в виде вышеупомянутого ювелирного кольца стоимостью в семьсот пятьдесят восемь рублей сорвалась, — адвокат Воробьева воспылала внезапной симпатией к истцу гражданину К. Возможно, впрочем, что они и ранее находились в близких отношениях...»

Катя (*умышленно громко повторяет последнюю фразу*). «Возможно, впрочем, что они и ранее находились в близких отношениях...»

Хмара (*замахал руками*). Тише, Катенька, тише! Вы напечатали?

Катя. Нет.

Хмара. Почему? Я слишком быстро диктую?

Катя (*спокойно*). Нет, не поэтому. Но я ведь не обязана, Юрий Борисович, в свое служебное время печатать доносы!

Хмара. Что-о-о?! (*Онемев на мгновение, уставился на Катю, потом скривил губы в подобие улыбки, проговорил торопливо, чуть заикаясь.*) Катенька, сердце мое, что с вами? Вы сошли с ума!.. Это же шутка, шутка... Вы не так меня поняли... Это же только личные мои размышления, и я...

Катя. Личные размышления, адресованные в прези-

диум Московской коллегии адвокатов? А что, если и я по тому же адресу пошлю свои личные размышления?!

Хмара. О чем, господи?!

Катя. Об адвокате Юрии Борисовиче Хмаре! (*Невесело засмеялась.*) А ведь я могла бы многое написать! Вы настолько уверены в том, что я в вас по уши влюблена, что в последнее время вовсе перестали меня стесняться! И я могла бы написать про то, как адвокат Хмара отбивал и перехватывал клиентов у других работников консультации, как он издевался над молодым стажером, как он не брезговал, помимо законного гонорара, никакими подачками — от крупных денежных сумм до карандашиков и перочинных ножичков!

Хмара (*умоляюще*). Катенька, Катенька, что вы говорите! Это чудовищно! Поверьте, поверьте — я ничуть не думал, что вы в меня влюблены, но я всегда знал...

Катя (*резко*). Что вы знали? Хотя ваша правда, вы тоже многое знали обо мне! Вы знали о том, что у меня умер муж, и о том, что мне очень трудно одной растить и воспитывать дочь! Вы знали о моем скверном характере и о том, что я действительно хотела бы выйти замуж... И только одного вы не сумели понять — того, что я честный человек! Я всего-навсего секретарша, невелика птица... Но ведь это же не позор — быть секретаршей, правда? И все верно — у меня сквернейший характер, я бываю часто грубой и несправедливой... Но я честный человек!

Хмара. Ну конечно! Ну конечно, Катенька!..

Катя (*брезгливо*). Послушайте, какая я вам Катенька?!

Входит Бубнов. Он слегка навеселе — небрежно засунутый в карман белый шелковый шарф свисает до полу, шляпа сдвинута на затылок, пальто растегнуто.

Бубнов. Здравствуйте, друг мой, Юрий Борисович! Здравствуйте, мой дорогой и бесценный друг!

Хмара (*сухо*). Здравствуйте!

Катя накрывает машинку чехлом, поднимается и идет к двери.

Бубнов. А вы покидаете нас?

Катя (*остановилась*). Я нужна вам?

Бубнов. Нужны. Я бы хотел, чтобы мой друг Юрий Борисович представил меня вам...

Катя (*тихо*). А у меня, извините, нет такого желания! (*Уходит.*)

Бубнов (*посмотрел ей вслед и засмеялся*). Злюка. Люблю злюк. Досадно, что она убежала!

Хмара. Не огорчайтесь! Вспомните, у старого поэта Омара Хайяма есть такое четверостишие:

Развеселись! В плен не поймать ручья?
Зато ласкает беглая струя.
Нет в женщинах и в мире постоянства?
Зато бывает очередь моя!

Бубнов. Я рад, что вы помните этот стишок. Лет пятнадцать тому назад вы его впервые услышали от меня! (*Протянул Хмаре какую-то бумажку.*) Я заехал к вам, друг мой, чтобы выяснить — что сей сон означает?

Хмара. Повестка в суд.

Бубнов. Настолько я грамотен. Я даже сумел прочесть, что вызываюсь свидетелем по делу Жильцова о нарушении авторского права. Но почему — все снова?

Хмара (*взорвался*). Вы еще спрашиваете у меня — почему все снова?! Вы не знаете?! Вы, как всегда, ни при чем?! Вам достаточно выпить рюмку коньяку и увидеть смазливое личико, как вы забываете обо всем на свете, распускаете павлиний хвост и готовы кому угодно наговорить сорок бочек арестантов! (*Сдержался, помолчал, спросил спокойно и сухо.*) Вы сказали Воробьевой, что составляли предварительный конспект для книги Жильцова?

Бубнов. Сказал.

Хмара. Ну, а она, не будь дурой, отправилась в научно-исследовательский институт. И получила там справку, что работа Кондрашина посылалась на консультацию в министерство. И что некий профессор Бубнов дал об этой работе неблагоприятный отзыв...

Бубнов (*улыбнулся*). Устно. Я никогда не даю письменных отзывов.

Хмара. Ничего, найдутся люди, которые слышали! И я не сомневаюсь, что вас за ложную экспертизу при первом рассмотрении дела непременно привлекут к уго-

ловной ответственности! Предупреждаю, что я сам буду об этом ходатайствовать!

Бубнов. Вы? А почему — вы?

Хмара. Потому, что теперь я буду защищать Жильцова!

Бубнов (*весело*). Вот оно что! Поздравляю, вам везет! Будете, значит, защищать Жильцова и постараетесь все свалить на меня? Логично! (*Встал.*) Что ж, желаю удачи! (*Помолчав.*) Но знаете, Юрий Борисович, хочу вас предупредить по старой приязни — не торопитесь! Дождитесь хотя бы завтрашнего дня, а уж потом решайте!

Хмара (*насторожился*). А что должно произойти завтра?

Бубнов. Завтра на Чернопольском заводе пере выборы партийного бюро. И есть такой слух, что уважаемый Алексей Владимирович Жильцов может и не... Одним словом — судьба играет человеком и она, так сказать, изменчива всегда...

Хмара (*помолчав*). Что вам известно?

Бубнов. Ничего. Решительно ничего. Одни только предположения.

Хмара. Я прошу вас, Евгений Аполлонович...

С улицы входят Жильцов и Максим.

Бубнов. Ба, знакомые все лица!

Жильцов (*Бубнову, грубо*). Вы здесь зачем?

Бубнов. У меня было дело. И оно кончено.

Жильцов. Вот и прекрасно!

Бубнов (*усмехнулся*). Это в смысле — атанде? Ухожу, ухожу! (*Поглядел на Хмару, прищурился.*) Кстати, Юрий Борисович, у старого поэта Омара Хайяма есть и такое четверостишие:

Друзей — поменьше. Сам, день ото дня,

Туши пустые искорки огня.

И думай о руке, что пожимаешь, —

Ох, замахнутся ею на меня!

Запомнили? Лет через пятнадцать я к вам зайду, и вы мне его, я надеюсь, продекламируете! (*Насмешливо кланяется и уходит.*)

Жильцов (*вслед*). Недолго ему веселиться! Провод! Воробьева тут?

Хмара. Она в суде, на дежурстве.

Жильцов. Жива, стало быть, и здорова? (*Поглядел на Максима.*) Убедился? (*Подмигнул Хмаре.*) Он, понимаете, ей позвонил, а она бросила трубку! Ну, и точка! Будь мужчиною, Медников! Где твоя гордость?! (*Вытащил папиросы.*) Поезжай-ка сейчас в министерство, зайди в научный отдел и попробуй осторожненько...

Максим (*тихо*). Я еду домой.

Жильцов. Ты едешь не домой, а в министерство...

Максим. Я еду домой.

Жильцов (*с угрозой в голосе*). Ой смотри, Медников, поаккуратнее!

Максим (*выкрикнул*). Я еду домой! (*Резко поворачивается и, не попрощавшись, уходит.*)

Жильцов (*покачал головой*). Кругом неврастеники! (*Закурил, придвинул стул, сел, спросил вполголоса.*) Вы послали письмо насчет Воробьевой?

Хмара. Н-нет.

Жильцов. А чего вы ждете?! Послушайте, уважаемый, я уже дал вам помимо тех денег, которые я внес в консультацию, тысячу рублей...

Хмара (*торопливым шепотом*). Я верну их, Алексей Владимирович, верну!

Жильцов. Как это — верну?

Хмара (*пожевал губами, помолчал, проговорил, не глядя на Жильцова*). Вы должны меня извинить, товарищ Жильцов, но так все получилось, что я, очевидно, к моему глубокому сожалению, не смогу вести ваше дело! Вы не обижайтесь, но поймите, что я не могу иначе... И вам тоже лучше всего обратиться в другую консультацию... Поймите — у нас вокруг этой истории накипело столько страстей и вздора... Я не могу иначе!

Жильцов (*растегнул пальто, разматал шарф, бросил в пепельницу папиросу*). Такие дела.

Хмара. Не обижайтесь на меня, Алексей Владимирович!

Жильцов (*с грубоватой насмешкой*). А я не обижа-

юсь. Вот если вы мне, уважаемый, денег не вернете — тогда я на вас обижусь. А так — вольному воля. Каждый сам себе госконтроль!

Из соседней комнаты стучат в стенку и кто-то кричит: «Хмара, к телефону!»

Хмара. Вы позволите? До свидания, Алексей Владимирович...

Жильцов (*не подавая руки*). Ступайте.

Хмара, секунду помедлив, уходит, и Жильцов остается один. Он сидит, едва различимый в темноте, привалившись головой к косяку книжного шкафа, и непонятно — то ли он о чем-то думает, то ли дремлет. Из коридора с папкой в руках входит Варя. Не замечая Жильцова, она снимает пальто, отряхивает от снега шапочку, садится за свой столик, зажигает настольную лампочку, раскрывает папку и вдруг встревоженно поднимает голову.

Варя (*беспокойно*). Тут кто-то есть? Кто? Не молчите — кто тут?

Жильцов (*не сразу*). Это я.

Варя. Кто?

Жильцов (*встал, подошел к свету*). Алексей Владимирович Жильцов. Слышали о таком? Испугались, Варвара Сергеевна?

Варя (*просто*). Испугалась... Я была уверена, что здесь никого нет, и вдруг...

Жильцов. Бывает. Как поживаете, Варвара Сергеевна?

Варя. Спасибо, хорошо.

Жильцов (*усмехнулся*). А я плохо. И надо бы хуже, да нельзя! А почему — знаете? А потому, что слишком я, дурак, доверял всем и каждому. Теперь-то я хорошо это понял!

Варя. Не много же вы поняли, Алексей Владимирович!

Жильцов (*почти искренне*). Послушайте, две недели тому назад я пришел с чистой душой в этот ваш полуподвал и доверил вам, школьнице, извините меня за резкость, ведение своего дела. Я мог нанять любого опытного адвоката, но я понадеялся на вас...

В а р я. Понадеялись?! А может быть, вам и нужна была именно школьница? Может быть, на этом и строился весь расчет? Школьница, да притом почти свой человек — невеста Медникова...

Ж и л ь ц о в (*грубо*). Какой расчет? Бросьте вы глупости! Откуда же я мог знать, что этот мерзавец Бубнов подsunул мне чужую работу?!

В а р я (*кинула*). Чужая работа, чужая голова, чужие слова и чужие руки! А ведь рано или поздно они должны были вас подвести, не могли не подвести!

Ж и л ь ц о в (*яростно*). Вы не учите меня! Не учите! Молоды еще меня учить! Карьеру решили на мне сделать? Ох, обожжетесь, не по чину берете!

В а р я (*снова придвинула к себе папку с бумагами, надела очки, холодно сказала*). Извините, но я не имею времени вести этот напрасный разговор... Да еще в таком тоне!

Из соседней комнаты возвращается Х м а р а, и наступает молчание.

Ж и л ь ц о в (*сдержался, улыбнулся, проговорил добродушно и укоризненно*). Эх, молодежь! Перед вами, можно сказать, все дороги открыты, а вы... Не тем, братцы, занимаетесь! Не тем! (*Не спеша надевает шапку, застегивает пальто и молча, ни на кого не глядя, уходит.*)

Х м а р а (*после паузы, заискивающе*). Добрый вечер, Варенька, — мы еще сегодня не виделись.

В а р я. Добрый вечер.

Х м а р а. Вы знаете, а ведь я отказался вести дело Жильцова.

В а р я. Вот как?

Х м а р а. Отказался, отказался. И не потому, кстати, что не нахожу в этом деле материалов для защиты. Просто не хочу быть неэтичным по отношению к вам! Я, быть может, несколько старомоден, но привык придерживаться законов адвокатской этики!

В а р я. А разве есть такие законы?

Х м а р а. Варенька, милая Варенька! Я старше вас...

В а р я. Ну и что? (*Усмехнулась.*) Вы, конечно, старше меня. Но мой профессор, Борис Михайлович Покровский, был намного старше вас. А он нас учил, что нет и не

может быть никакой особой адвокатской этики, а есть советская этика, советская нравственность и мораль, общая и обязательная для всех. Да, да, я знаю — я натворила кучу ошибок... И если мне вынесут выговор — это будет правильно! Но вы... Вы помните, что вы мне сказали в тот вечер, когда я поняла, что защищала неправоное дело, и, зареванная, прибежала к вам за помощью и советом? Вы сказали мне: успокойтесь, забудьте, это не ваша забота, пойдите и купите на свой первый гонорар билет на «Лебединое озеро»!..

Х м а р а. Но ведь мы же защитники, Варенька! А защитники должны защищать. Для выяснения виновности государство не нуждается в наших услугах. Есть прокуратура, следственные органы, суд... А нам поручено — защищать!

В а р я. Мы и будем защищать! И нас не пора на свалку, как вы говорили когда-то... В новом Уставе Коммунистической партии Советского Союза сказано, что член партии не смеет допускать сокрытия и искажения правды... Вы обратите внимание на эти слова — сокрытие и искажение правды! Так что же, вы считаете, что к защитникам они отношения не имеют?!

Из коридора входит К а т я.

К а т я. Товарищ Хмара, к заведующему.

Х м а р а (*обернулся, вздрогнул*). Меня? А что такое? Зачем?

К а т я (*усмехнулась*). Не знаю.

Х м а р а поднимается и быстро уходит. Катя садится на свое обычное место, за машинку.

В а р я (*помолчав*). Скажите, Катерина Ивановна, пока я была в суде, тут никто ко мне не приходил и не звонил?

К а т я. Нет, Варвара Сергеевна, никто.

В а р я. Я имею в виду — не по делу, а...

К а т я (*участливо*). Я понимаю. Нет, Варвара Сергеевна, никто не звонил и не приходил!..

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

НА ЗАВОДЕ

Проходная. За высоким окном в глубине виден угол заводского двора — с темною горою не то угля, не то шлака, присыпанной снегом, с переплетами кранов и ярко освещенными окнами здания цеха. Чуть пониже площадки, где выдают пропуска, за деревянными колоннами проходит неширокий коридор. По обе его стороны друг против друга расположены две двери — дверь на улицу и дверь на заводской двор.

Вечер. У окошечка с надписью «Выдача пропусков» на садовой скамейке, изрезанной инициалами и пронзенными сердцами, сидит Нина Кондрашина. Подперев кулаками подбородок, она смотрит на Тамару Жильцову, которая говорит по внутреннему телефону.

Тамара (*негромко*). Вы думаете, что уже кончили? Так... Нет, нет, я не из Москвы. Я здесь, у вас на заводе, в проходной... Спасибо, пропуска мне не надо. Когда Алексей Владимирович зайдет, вы просто скажите ему, что я жду его внизу, в проходной, — пусть он спустится. (*Медленно вешает телефонную трубку и подходит к Нине.*)

Нина. Ну?

Тамара. Собрание, кажется, кончено... Но она, правда, не знает — ни что, ни как! А может быть, и знает, да только не хочет мне говорить!

Нина. Почему?

Тамара (*задумчиво*). Видишь ли, я ведь почти уверена, что Алексей не пройдет в члены бюро! (*Села рядом с Ниной, откинулась на спинку скамейки.*) Господи, до чего же я рада, Нинка, что встретила тебя здесь сегодня! Сколько лет мы уже не виделись — знаешь?

Нина. Нет, я не считала.

Тамара. А я считала. Два года. А прошлым летом, помнишь, я посылала тебе телеграмму — просила, чтоб ты приехала. А ты не приехала, не захотела.

Нина (*тихо*). Я приезжала.

Тамара. Когда?

Нина. В тот самый день. Мы даже с тобою встретились, но ты не заметила меня. Как раз когда я подходила к вашему дому, ты вылезла из машины, сказала шоферу,

что он может быть до утра свободен, и прошла прямо перед моим носом в парадное...

Т а м а р а. Почему же ты меня не окликнула?

Н и н а (*усмехнулась*). А мне расхотелось к тебе идти. Ты была такая красивая, самоуверенная, благополучная. И все оглядывались на тебя. Особенно женщины. Знаешь эту жалкую бабью растерянность, когда вдруг сама себе начинаешь казаться старой, неумытой, усталой, когда внезапно обнаруживаешь, что платье на тебе мятое и туфли стоптанные... И это не зависть, нет, нет, я не позавидовала тебе! Я просто подумала: а почему я должна, бросив все дела, мчаться из-за города в Москву, трястись в электричке, в метро и троллейбусе — и все это только затем, чтобы ты могла отвести душу! Почему, если я так уж тебе нужна, ты сама не приехала к нам? Боялась нарушить субординацию?

Т а м а р а (*тихо*). Это очень жестоко — то, что ты сейчас говоришь!

Н и н а (*резко*). Все эти годы ты жила с Жильцовым под одной крышей, ела за одним столом, спала в одной постели, ездила на одной машине, и ты не могла не видеть раньше других, как он теряет старых друзей, как он становится барином и вельможей, как начинают вертеться вокруг него всякие проходимцы, вроде этого вашего профессора Бубнова... Почему же ты молчала?

Т а м а р а. Почему? Да потому что думала, что это и есть любовь... А ведь я до сих пор люблю его. Я его так люблю, Нинка! Он сейчас сходит с ума... Боится, верно; что я собираюсь бросать его... А я не могу... Да и не имею права... Любовь — это ведь не только, когда все хорошо, а чуть стало плохо — и спасайся, кто может! И знаешь, чем хуже будет теперь — тем лучше! Чем хуже, тем скорее я смогу до него достучаться, заставить его услышать меня, тебя, Ивана... Так я надеюсь! (*Поглядела на Нину и неожиданно засмеялась*.) Ах, Нинка, ну до чего же мне тебя не хватало! Ты прическу переменяла? Вот и я тоже — все меняю, меняю, и ничего что-то не получается! Стареем, черт побери! А помнишь, Нинка, как здесь же, в этой же самой проходной, мы с тобою по вечерам поджидали

Ивана и Алексея? Какие мы веселые были, а, Нинка?! Какие мы с тобой песни пели! *(Прислонилась головой к Ниному плечу и негромко пропела.)*

Стоит белая береза над зеленою рекой,
Ой, зачем меня ты бросил, мой залетка дорогой?

Н и н а *(тоже засмеялась)*. Сумасшедшая! Сейчас придет охранник, и нас с тобой выведут!

Т а м а р а *(с озорством)*. Не выведут! Я же все-таки жена директора!

С заводского двора озабоченно выходит К о н д р а ш и н.

Н и н а *(негромко окликнула)*. Иван!

К о н д р а ш и н *(остановился, заметил Тамару и Нину, удивленно присвистнул)*. Здравствуйте, красавицы! *(Улыбнулся Нине.)* Кого караулишь, а? *(И тут же, нахмурившись, поглядел на Тамару.)* Ты уже была у Алексея или только идешь?

Т а м а р а. Жду. Собрание кончено?

К о н д р а ш и н. Кончено. *(Помолчав.)* Ты не огорчайся, Тамара, но тут такая история...

Т а м а р а *(усмехнулась)*. Все ясно, можешь не продолжать. Он сейчас у себя?

К о н д р а ш и н. Вероятно.

Тамара встает, снова подходит к телефону, снимает трубку.

Т а м а р а. Кабинет Жильцова... Зоя Ивановна, это опять Тамара Николаевна. Спасибо. Алеша?... Да, я приехала... Я тебя жду внизу, в проходной... Что? *(Растерянно поглядела на Нину и Кондрашина, прикрыла трубку рукой.)* Он просит, чтобы я поднялась к нему! *(В телефон.)* А ты не мог бы... Ну хорошо, я сейчас поднимусь. Позвони в охрану, чтобы меня пропустили. *(Вешает трубку, секунду помедлив, достает из сумочки зеркальце и губную помаду, быстро подкрашивает губы и оборачивается к Нине и Кондрашину.)* До свиданья, милые мои! Мы скоро увидимся! Я иду! Пожелайте мне... Нет, ничего не надо желать! Я иду! *(Уходит.)*

К о н д р а ш и н (*поглядел вслед, вздохнул*). Да-а, трудно ей будет!

Н и н а. Не труднее, чем было. Может быть, даже легче.

К о н д р а ш и н. Так. Ну-с, а теперь, Нина Михайловна, потрудитесь мне все-таки объяснить — кого вы тут караулите? Нет, честное слово, ты, очевидно, считаешь, что я маленький мальчик, которого надо поджидать после школы и провожать домой! После целого рабочего дня, вместо того чтобы полежать, почитать, отдохнуть, ты тащишься в такой мороз на завод... Что за чепуха!

Н и н а (*спокойно*). Все сказал? Пошарь-ка, пожалуйста, по карманам — куда ты задевал ключ от комнаты?

К о н д р а ш и н (*охнул*). Нина! Неужели я забыл оставить ключ?! (*Торопливо растегнул пальто, залез рукою в карман пиджака, вытащил ключ; виновато и растерянно засмеялся.*) Действительно, забыл! Ниночка, прости меня, я негодяй!

Н и н а. Прощаю. Могу тебе признаться, — если бы ты и не забыл оставить ключ, я бы все равно пришла.

К о н д р а ш и н. Да? Ну, тогда и я могу признаться — я ужасно, ужасно счастлив, что ты здесь. Мне было бы очень трудно идти сейчас домой одному... Я даже сговорился с Медниковым, что подожду его. Понимаешь, сначала Алексей злился, и мне не было его жалко. А потом у него вдруг стали такие растерянные глаза...

С улицы, с трудом переводя дыхание, вбегает Варя.

Н и н а. Варвара Сергеевна?

В а р я (*остановилась*). Ох, добрый вечер! Я так бежала... Я была дома у Максима... у Медникова... И мне сказали, что он на заводе, что идет собрание... И я поехала... Я только боялась, что мы можем разминуться... Но я не опоздала, нет?

К о н д р а ш и н. Нет. Он должен сейчас выйти. Что-то случилось, Варвара Сергеевна?

В а р я. Ничего... Скажите, а он не может выйти каким-нибудь другим путем? Я видела — там многие выходят через ворота.

Н и н а. Нет, нет, он пойдет проходной... И кстати, передайте Максиму Петровичу, что Кондрашин не сумел его дожидаться, потому что его увела домой жена!

В а р я (*улыбнулась*). Хорошо, передам. А чем кончилось собрание, Иван Ильич?

К о н д р а ш и н. Много было всякого... Ваш Максим — молодец! Он сам расскажет! (*Протянул Варе руку.*) До свиданья, Варвара Сергеевна. В будущий четверг — вы знаете? — снова слушается наше дело.

В а р я. Я знаю. Я буду в зале. До свиданья. До свиданья, Нина Михайловна.

Н и н а. Приезжайте к нам, Варвара Сергеевна. Приезжайте в гости, ладно?

В а р я. Непременно. Спасибо.

Н и н а и К о н д р а ш и н уходят. И вдруг, уже от самых дверей, К о н д р а ш и н, бросив Нину, почти бегом возвращается к Варе.

К о н д р а ш и н (*быстрым шепотом*). А вот такие стихи вам известны?

В а р я. Какие?

К о н д р а ш и н (*торжественно*).

Звезды ночи и солнечный свет!
Дней кипучих исход и начало!
Проживи я хоть тысячу лет,
Все равно мне покажется — мало!

В а р я. Нет, такие стихи мне не известны.

К о н д р а ш и н. Хорошие?

В а р я. Плохие.

К о н д р а ш и н. Ну и свинство! Ничего вы не понимаете!

В а р я. А чьи они?

В а с е н ь к а. Мои!.. (*Шутливо салютует и опрометью бросается вдогонку за Ниной.*)

Варя остается одна. Она садится на ту же скамейку, на которой сидели Тамара и Нина, ждет. Тишина. Потом раздаются громкие голоса, открывается дверь, и с заводского двора в сопровождении В а с е н ь к и Пустовойтова выходит очень возбужденный и усталый М а к с и м.

Васенька. Так что, Максим Петрович, я вам от лица всех наших ребят говорю — мы вам решили оказать поддержку! Выступили вы, конечно, толково... но ведь выступить — одно, а доказать — другое... И тут очень может пригодиться поддержка, правда?

Максим (без улыбки). Правда.

Васенька. Ну, вот мы и решили вам ее оказать.

С улицы звонкие девичьи голоса кричат: «Вась, а Вась, мы уходим. Вася-а-а!»

Максим. Твои?

Васенька (смущенно). В общем — мои! До скорого, Максим Петрович! (*Крепко жмет Максиму руку и убегает.*)

Варя. Максим!

Максим (обернулся, увидел Варю, нахмурился и тихо спросил). Варя?! Вы откуда?..

Варя (после неловкой паузы). А Кондрашин велел вам передать, что его Нина Михайловна увела домой.

Максим. Жаль! Я с ним хотел... Погодите, зачем вы приехали? К кому?

Варя. К вам.

Максим (махнул рукой, проговорил устало и жестко). Напрасно! Незачем было приезжать! Ничего нового вы мне не скажете... Я все сам знаю... Я знаю, что вы не можете любить такого, как я... И правильно. Сегодня у меня... Ну да ладно — пусть уж все сразу! (*Потер варежкой лоб.*) Что-то я устал! Можно мне посидеть минутку рядом с вами?

Варя. А мы не опоздаем на последнюю электричку?

Максим. Нет, нет. (*Сел на скамейку рядом с Варей, закрыл глаза, тихо проговорил.*) Ох, какое счастье, что вы приехали! А ведь я был уверен, что уже никогда... Я позвонил вам — а вы бросили трубку...

Варя (с хитрецей). А вы бы позвонили еще раз! Вам пятнадцать копеек стало жалко, да? (*Побренчала в кармане мелочью.*) Я припасла для вас целую кучу мелочи, чтоб вы мне теперь звонили по сто раз в день. Хорошо?

Максим. Варенька!

Варя (помолчав). Очень было тяжело сегодня?

Максим. Очень.

Варя. А Жильцов?

Максим. Ну, он не вошел, конечно, в состав нового бюро. Но боюсь, что это еще не все! (*Стиснул кулаки, сказал с прежним ожесточением.*) Не ждал я такого... Честно вам скажу — не ждал! Я же за ним, как собака, по пятам ходил, подражал ему во всем — даже бурки эти дурацкие нацепил, каждому его слову верил... И когда я помогал ему в работе над книгой...

Варя (*насторожилась*). Как это — помогал?

Максим. Жильцов, по сути, дал ведь только основную идею. Он меня вызвал к себе — на этом и началась наша, если так можно выразиться, недолгая дружба, — вызвал меня, показал мне написанные им конспективный и тематический планы книги, пожаловался на то, что он, дескать, очень занят, и попросил ему помочь...

Варя (*расхохоталась*). И вы помогли?

Максим. Почему вы смеетесь?

Варя. Стойте, стойте, я хочу разобраться! Жильцов показал вам план всей книги. Так? Занимал этот план, вероятно, страниц пятнадцать-двадцать...

Максим. Совершенно верно — ровно двадцать страниц.

Варя. А остальное доделали вы, верно? (*Снова расхохоталась.*) Круг замкнулся, король оказался голым! (*Неожиданно сердито и грустно поглядела на Максима.*) Впрочем, милый, и вы в этой сказке играли не слишком красивую роль!

Максим (*честно*). Пожалуй. Но знаете, он удивительно ловко умел давать понять, что то, что я делаю для него, — такая сущая безделица... И он приходил и давал какой-нибудь совет... У него же все-таки голова, черт его побери! И меня совершенно искренне возмутил Кондрашин, заявивший внезапно свои права!

Варя (*задумчиво*). Вот как все сложно...

Максим. Да, сложно! (*Улыбнулся.*) Помните, когда мы кончали школу, мы твердо верили, что нам суждена безупречная и необыкновенная жизнь, в которой ни еди-

ного дня нельзя будет ни вычеркнуть, ни изменить. А сколько мы уже натворили ошибок!

Варя (*тихо*). Что ж, а нам ведь и вправду суждена необыкновенная жизнь. Но мы ее получаем не в наследство, не за красивые глаза, не за чужие заслуги... Мы должны доказать, что имеем на нее право, — мужеством доказать, честностью, добротой, упорством... И пусть в этой жизни будет все — поражения и победы, ненависть и любовь, разочарования и надежды! (*Прогудел вдалеке поезд, и Варя прислушалась.*) Вот и это, должно быть, — дальние дороги! Чтобы стучали колеса и разносили чай в стаканах с большими подстаканниками... (*Улыбнулась и протянула Максиму руку.*) Ну что ж, пойдете, Максим?

Максим (*встал*). Пойдемте, Варенька!..

Далеко гудит поезд, и ему отвечает громкий и протяжный заводской гудок.

Занавес

(1953)

Август

РАССКАЗ ДЛЯ ТЕАТРА В ДВУХ ЧАСТЯХ

Ангелине Галич

...И водитель сквозь сонные веки
Вдруг заметил два странных лица,
Обращенных друг к другу навеки
И забывших себя до конца!
Два туманные легкие света
Исходили из них, и вокруг
Красота уходящего лета
Обнимала их сотнею рук!

Николай Заболоцкий

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Наташа.

Любочка.

Владимир Васильевич Глебов — журналист.

Таня — его жена.

Машка — их дочь.

Николай Сергеевич Пинегин — фотокорреспондент.

Александра Анатольевна — стенографистка
и секретарь.

Настенька — курьер.

Пожилой официант в ресторане «Арагви».

Время действия — начало августа 1958 года.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

В жизни каждого человека, вероятно, случается такой день и час, когда вдруг, остановившись, ты оглядываешься в раздумье на все прожитое, пройденное, сделанное тобой.

И совсем не так уж важно, что именно заставило тебя остановиться и оглянуться, но уже, остановившись и оглянувшись, ты не можешь не задать себе, как в юности, пристрастный вопрос: «Зачем я пришел на землю и что сделаю я на земле?»

...Была суббота, второе августа 1958 года.

В этот день, как обычно, как и во все прочие дни, рано утром по радио были переданы последние известия, а чуть позже почтовые отделения начали доставку газет, и люди смогли услышать, прочесть и узнать обо всем, что происходит в этот день в мире.

Люди прочли сообщение о тружениках Ставропольского края, давших стране сто миллионов пудов хлеба, и телеграмму о том, что вооруженная интервенция США на острове Куба продолжается, и известие о том, что период обращения третьего искусственного спутника Земли уменьшился в этот день со 105,95 минуты до 105,02 минуты и что вчера, в пятницу, ушел с Казанского вокзала комсомольский эшелон в Западную Сибирь на строительство металлургического комбината.

И за всеми этими сообщениями, посланиями, телеграммами, за всеми этими событиями — большими и малыми — плотью их и кровью была обычная земная человеческая жизнь с ее огорчениями и радостями, с любовью и изменами, с надеждами и разочарованиями, с историями — простыми, а подчас и весьма любопытными.

Одну из таких историй я хочу рассказать. Мне она кажется и очень простой и весьма любопытной одновременно. Вот она — эта история.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Суббота, утро, семь часов пятнадцать минут.

Дачное Подмосковье. Скамейка в саду, окруженная обильно разросшимися кустами боярышника и давно отцветшей сирени. На скамейке рядом сидят Глебов и Машка.

Глебову сорок лет. Он высокий, широкоплечий, синеглазый, с проседью в светлых волосах, которая, как ни странно, ничуть не старит его. Одет он по-городскому, даже при галстукке. В руке — кожаная папка на «молнии». А Машка — в линялом сарафанчике, босиком, с торчащими косицами и такими же пронзительно-синими, как у отца, глазами.

Тишина. Несколько мгновений Глебов и Машка сидят молча, напряженно о чем-то думают. Высоко, в необыкновенно прозрачном, почти белом, небе, слышно, как гудит самолет.

Машка (*закинув голову, басом*). Вот летит самолет.

Глебов. И что же?

Машка. Это первая строчка.

Глебов. А-а, извини, не понял. Я думал — ты просто так сказала. Значит, первая строчка — «Вот летит самолет»?

Машка. Угу. Теперь твоя очередь.

Глебов (*подумав*).

Вот летит самолет,
Он летит и гудит...

Машка. Вот летит самолет...

Глебов. Опять?! Машка, жульничаешь!

Машка. Это повторение.

Глебов. Это, милая моя, не повторение, а жульничество! (*Покосился на дочь.*) Чего ты хихикаешь? Я, понимаешь, должен всякий раз придумывать новую строчку да еще и рифму, а ты будешь повторять все одну и ту же, ишь ты!

Машка. А в песнях всегда повторяют.

Г л е б о в. Кто это тебе сказал?

М а ш к а (*серьезно*). Всегда.

Г л е б о в (*развел руками*). Убедила! (*Помолчав.*) Так как же там у нас с тобой получилось?

М а ш к а.

Вот летит самолет,
Он летит и гудит.
Вот летит самолет...

Г л е б о в. А куда ж он летит?

М а ш к а. Он летит далеко...

Г л е б о в. Неизвестно — куда!

М а ш к а. А когда прилетит?

Г л е б о в. Неизвестно — когда!

Молчание. Глебов и Машка с веселым изумлением поглядели друг на друга.

М а ш к а (*тихо*). Папа, знаешь, по-моему, у нас получилась прекрасная песня!

Г л е б о в. Ты находишь?

М а ш к а. Это прекрасная песня, папа!

Г л е б о в (*снижительно*). Да, оно, пожалуй, вышло неплохо! Конечно, «куда» и «когда» — это не самые лучшие рифмы на свете. Но бывают и похуже. Например: знамя — пламя, папаша — мамаша! (*Засмеялся.*) Нет, Марья, мы с тобой молодцы — мы сочинили действительно отличную песню!

М а ш к а. А ты запомнил ее?

Г л е б о в. Конечно.

М а ш к а. Давай повторим?

Г л е б о в. Давай.

И снова, поглядев друг на друга, Глебов и Машка начинают петь, размахивая руками, с увлечением, все громче и громче:

Вот летит самолет,
Он летит и гудит.
Вот летит самолет,
А куда он летит?
Он летит далеко,
Неизвестно — куда!
А когда прилетит?
Неизвестно — когда!..

Допевая последние строчки, Глебов и Машка даже встают, и в это мгновение, со страдальческим и гневным лицом, в развевающемся халатике, быстро входит Таня.

Таня. Неужели, неужели вам непременно нужно устраивать галдеж под самыми окнами?!

Глебов (*весело*). С добрым утром, Танечка, не сердись.

Машка. С добрым утром, мама.

Глебов. Мы, понимаешь, увлеклись и...

Таня (*ожесточенно*). Увлеклись! Вы всегда думаете только о себе — о своем покое, о своих увлечениях, отдыхе, делишках! А на мой покой, на мой отдых, на мое здоровье — всем вам решительно наплевать!

Глебов (*хмуро*). Кому это — всем?

Таня. Я вам нужна только затем, чтобы нянчиться с вами, убирать, готовить. Домой ты приезжаешь есть и спать. Про твои дела я должна узнавать от общих знакомых! Вчера, например, ты приехал в половине одиннадцатого, а уже в одиннадцать лег спать.

Глебов. Я очень устал в редакции.

Таня. Да? Я не устаю, по-твоему? Ты лег спать в одиннадцать, а ведь я еще до глубокой ночи убирала за вами, мыла посуду, чинила белье! В четыре утра я приняла две таблетки снотворного, в пять еле-еле уснула, а уже в семь вы устраиваете галдеж! (*Усмехнулась.*) Отдых называется! Вывез семью на дачу! Это же надо было — забраться в такую крошечную глушь...

Глебов (*тоже начиная злиться*). Тут уж я ни при чем. Не я выбирал место для поселка!

Таня. А почему вообще, хотелось бы знать, мы должны жить в поселке сотрудников нашей редакции? Почему?

Глебов. Почему, черт побери?! (*Заорал.*) Да потому, черт побери, что здесь мы имеем бесплатную дачу, бесплатный участок, бесплатный уголь, понятно тебе, черт побери?!

Таня (*с внезапным великолепным хладнокровием*). Не кричи и не ругайся. Потрудись вести себя прилично. Здесь ребенок.

Г л е б о в (*схватился за голову*). Ой, Машка, бога ради, ступай куда-нибудь. Иди погуляй!

М а ш к а (*упрямо*). А я здесь играю. (*И в продолжение всего дальнейшего разговора старательно делает вид, что все ее внимание поглощено каким-то колесиком.*)

Т а н я (*иронически*). Бесплатная дача!

Г л е б о в. Да, бесплатная.

Т а н я. Лично мне твоя бесплатная дача обходится слишком дорого! Это ты здесь хозяин, а я здесь работница! Попробуй поноси-ка воду из колодца, потопи печи твоим бесплатным углем, потаскайся на рынок с кошелками, за три километра по жаре и пылище...

Г л е б о в. У тебя есть машина.

Т а н я. Это у тебя есть машина.

Г л е б о в. Не могу же я с двумя пересадками ездить в Москву на работу?! Когда машина здесь — ею пользуешься ты!

Т а н я. Ах, ну конечно! Теперь ты уже попрекаешь меня тем, что я пользуюсь твоей машиной! Я ждала этого. Спасибо, Владимир Васильевич, большое спасибо!

Г л е б о в (*сжав кулаки*). Если ты немедленно, черт побери...

Т а н я (*строго*). Перестань чертыхаться! Раз и навсегда отучись от этой безобразной привычки! (*Помолчав.*) Ладно, пойдем — я приготовлю тебе завтрак.

Г л е б о в. Я не буду завтракать.

Т а н я. Объявляешь голодовку?

Г л е б о в. Нет, просто мне пора ехать! (*Взглянув на часы.*) Сейчас уже почти восемь, а я к десяти, не позже, должен быть в редакции.

Т а н я. Почему так рано?

Г л е б о в. Я назначил к десяти телефонный разговор с нашими корреспондентами.

Т а н я. С какими?

Г л е б о в. По Казахстану и по Дальнему Востоку, если тебе это так важно!

Т а н я (*невинно*). Между прочим, Федосеев добирается до Москвы почему-то всего за час.

Г л е б о в. У Федосеевых «Волга», а у нас «Москвич».

И резину мы уже черт знает сколько времени не меняли. Доберись-ка за час до города на лысой резине!

Таня. Очевидно, и этим следует заняться мне? (*После паузы насмешливо протянула.*) Да-а, хотела бы я взглянуть, для чего понадобился тебе этот выкроенный, так сказать, свободный час!

Глебов. Поедем со мной — посмотришь.

Таня. А Машенька останется одна? (*Махнула рукой.*) Нет уж, поезжай, поезжай, не бойся. Я за тобой слезку устраивать не собираюсь. Просто смешно, когда старый человек ведет себя, как мальчишка.

Глебов. Старый человек?

Таня. Поезжай, поезжай, встретишься там со своим дружкой Колей Пинегиным...

Глебов. Он вовсе не мой дружок.

Таня. Но ведь ты приводил его к нам домой? Люди прямо изумляются, как можешь ты — с твоим мнением и твоей репутацией — встречаться и обниматься с таким подонком!

Глебов. Я с ним не обнимаюсь. А что мы встречаемся, это неудивительно — мы работаем в одной редакции. Когда-то ездили вместе в командировки... И знаешь, что я тебе скажу: Коля Пинегин — человек нескладный, одинокий, с неудавшейся, в общем, жизнью. Но презирать его за это нечего! Да, он бывает иногда пошловат, любит приврать, не отдает мелких долгов, но я не могу забыть, как в бухте Находка, когда я свалился с тяжелейшим воспалением, Коля Пинегин несколько ночей, не смыкая глаз, просидел у моей постели и поил меня с ложечки какими-то снадобьями!..

Таня. Несколько ночей! А о том, как я сидела над тобой годы, годы, годы, об этом ты позабыл?!

Глебов (*усмехнулся*). Я вроде не так уж часто болею. Ну, потреплет иногда малярия — делов!

Таня. Да?! (*Тихо и горько.*) А две похоронные за войну? А экспедиция Бабочкина? А самолет, пропавший во льдах? А книга твоя, над которой ты бьешься, бьешься и все не можешь закончить, — это кто с тобой выстрадал? Тоже Коля Пинегин?

Глебов (с внезапным раскаянием). Ну, Танечка...
(Делает шаг к Тане, протягивает руки ей навстречу, но она неприязненно и резко отталкивает его.)

Таня. Оставь!

Глебов (помолчав). Ладно. Как знаешь. Мне пора, до свиданья.

Таня. Без чая я тебя не пущу.

Глебов. Я опаздываю.

Таня. Без чая я тебя не пущу.

Глебов (устало). Ну, хорошо, принеси мне стакан чаю.

Таня. Пожалуйста.

Глебов (не понял). Что?

Таня. Я вспомнила, как ты вчера вечером учил Машеньку говорить слово «пожалуйста».

Глебов. Очень прошу тебя, принеси мне, пожалуйста, стакан чаю.

Таня. Сию минуту.

Таня уходит. Молчание.

Глебов (невольно улыбнулся). Да-а, вот, брат Машка, какие дела!

Машка. А какие дела?

Глебов. Средние. Очень, доложу я тебе, средние дела.

Машка. А почему?

Глебов (задумчиво).

...Они меня истерзали
И сделали смерти бледней,
Одни — своею враждою,
Другие — любовью своей!

Машка. А это что? Это тоже песенка?

Глебов. Почти.

Возвращается Таня — приносит термос и пакетик с бутербродами.

Таня. Если тебе действительно так срочно нужно ехать, как ты говоришь, вот, возьми, я налила тебе в термос черного кофе. А здесь — бутерброды. Деньги у тебя есть?

Глебов. Есть.

Таня (*усмехнулась*). Еще бы, наивный вопрос! Конечно, у тебя есть деньги...

Глебов. Но я же тебе сказал, что у меня осталось от...

Таня (*перебила*). Не надо передо мной отчитываться! Деньги твои, ты сам их зарабатываешь и сам волен решать, сколько давать в дом и сколько оставлять себе. Пообедай в редакции. Или походи в ВТО — там все-таки лучше кормят. Только не пей!

Глебов. В такую жару?!

Таня. Ну, если подвернется Коля Пинегин... Ты ночевать будешь в Москве?

Глебов. Возможно. Не знаю.

Таня. А кто знает? У кого я должна об этом спросить?

Глебов (*с трудом сдерживаясь*). Если ты, черт возьми, не прекратишь издеваться...

Таня (*с искренним удивлением*). Ах, так это я над тобой издеваюсь?!

Глебов. Я вернусь на дачу.

Таня. А я, наоборот, хотела тебя просить, чтоб ты остался в Москве. И привез маму. Вечером она дежурит, а завтра, в воскресенье, у нее свободный день. И я буду тебе благодарна, если ты ее привезешь. Она давно к нам собирается — не заставлять же ее тащиться в поезде.

Глебов. Хорошо. Я с ней созвонюсь и заеду за ней утром.

Таня (*внимательно посмотрела на Глебова*). Ишь, как ты обрадовался!

Глебов. Чему?

Таня. Тому, что ты с полным правом можешь остаться ночевать в Москве! Я сама попросила тебя об этом!

Глебов (*стиснув зубы*). Ох, Таня, Таня!

Таня. Что?

Глебов. Ничего! (*Снова взглянул на часы*.) Батюшки, я уже опоздал! До свиданья!

Машка (*укоризненно*). А я, папа?

Глебов. Марьюшка! (*Схватил Машку в охапку, расцеловал*.) Нет уж, мышонок, ты сегодня заводите мне машину не помогай, сегодня мне некогда! До свиданья, Машка, до свиданья, дружок!

М а ш к а. Приезжай поскорей. Привези мне чего-нибудь.

Г л е б о в. Ладно, чего-нибудь привезу! (*Поклонился Тане.*) До свиданья, не беспокойся — я заеду за мамой! (*Уходит.*)

Машка все-таки рванулась вслед за отцом, но Таня удержала ее за руку, и Машка, покосившись на мать, покорно уселась с ней рядом. Они сидят молча, прислушиваясь к тому, как скрипят отворяемые ворота, как выезжает машина, останавливается и снова скрипят ворота.

Т а н я (*вскочила*). Володя... Володенька, подожди!

Машина уезжает. Тишина. Только где-то поблизости, опоздав спросонья, заходится лаем собака.

М а ш к а. Он уехал уже.

Т а н я. Уехал!.. (*Смотрит на машину, закрывает лицо руками, всхлипывает.*)

М а ш к а (*уже готова тоже зареветь*). Мама, что ты?! Ну что ты, мама?!

Т а н я (*всхлипывает*). Он не знает... Он не знает, как я люблю его, он не знает... Он одно знает, как я его мучаю, а как люблю — он не знает... А ведь я потому и мучаю, что люблю! Как в первый день, как будто сейчас увидела! Конечно, я стала нервная, я устала... Но ведь я за него нервничаю, за его работу, за то, чтоб он был здоров! Я пристаю к нему со всякими глупостями, подозреваю его, а он злится... И он прав, он конечно же прав, что злится! И вот сегодня... Ты понимаешь, я просто очень крепко спала, а вы меня разбудили, и у меня сразу ужасно голова заболела! А он прав, что рассердился! Он же ради нас, ради меня, чтоб я не сходила с ума, перестал ездить в эти свои немислимые поездки и пошел в штат, в отдел «внутренней жизни»... А я... Как я могла! (*Вытерла кулаками глаза, решительно встала.*) Вот что я сделаю... Машенька, золотко, я тебя до обеда сведу к Федосеевым, ладно?

М а ш к а. Ой, не хочу! А зачем?

Т а н я. Я на почту схожу.

М а ш к а. На почту? Ой, мама, это же жутко далеко! Это как до рынка, а потом еще как до рынка и еще...

Т а н я (*пренебрежительно*). Подумаешь, далеко! Че-
пуха какая! Мы, знаешь, когда-то с папой, сразу после
войны...

М а ш к а (*деловито*). Меня еще не было?

Т а н я. Тебя еще не было. Так вот, мы с папой ходили
в туристский поход по Кавказу. И бывало так, очень
даже часто так бывало, что все наши мужчины к концу
дня уставали, а я шла — и хоть бы что!

М а ш к а. А зачем тебе нужно на почту?

Т а н я Я позвоню папе. В Москву, в редакцию. И я
скажу ему, что мы его очень ждем. Чтоб он не удержи-
вался и приезжал поскорей. И еще я скажу ему... я как-то
все не решалась, но теперь я скажу — самое важное. Ска-
жу, и пусть он поступает как хочет! (*Просительно.*) Побу-
дешь у Федосеевых?

М а ш к а (*со вздохом*). Побуду уж.

Т а н я (*после паузы*). А что вы тут за песенку сочини-
ли с папой?

М а ш к а. Хорошую.

Т а н я. Спой. Споешь?

М а ш к а (*подумав*). Я не спою — я скажу.

Т а н я (*кивнула головой*). Ну скажи.

М а ш к а (*медленно*).

Вот летит самолет,
Он летит и гудит.
Вот летит самолет,
А куда он летит?
Он летит далеко,
Неизвестно — куда!
А когда прилетит?
Неизвестно — когда!..

Т а н я (*очень серьезно*). Какая хорошая песенка!..

Перемена

Музыка. Свет. Это — автомобильные фары, вспыхнувшие на мгнове-
ние в темном провале туннеля, это — перекличка утренних поездов,
начинающийся рабочий день и жаркая суতোлка шумного московского
лета.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Суббота, день, шестнадцать часов двадцать минут.

Глебов в редакции. Он стоит у окна, потрясая номером сегодняшней газеты, взволнованный и растрепанный, в помятом пиджаке и съехавшем набок галстуке. И рядом с ним как-то особенно подтянуто и даже чопорно выглядит пожилая стенографистка Александра Анатольевна, которая, слегка прищулив глаза и не глядя на клавиатуру пишущей машинки, с невероятной быстротой печатает расшифровку стенограммы. Где-то близко, в соседних комнатах, хлопают двери, дребезжат телефонные звонки, гудят голоса — спорят, кричат, смеются. А за огромным окном — жаркий и словно оцепенелый, несмотря на уличный грохот, московский день.

Глебов (*потрясая газетой*). Ставропольцы дали сто миллионов пудов хлеба! Сто миллионов пудов, а?! Нравится это вам, Александра Анатольевна?

Александра Анатольевна. Нравится.

Глебов. А мне не нравится.

Александра Анатольевна (*ничему не удивляясь*). Нет?

Глебов. Хлеб мне нравится! Сто миллионов пудов! И ставропольцы мне нравятся! Но мне не нравится этот сукин сын Мельников, эта чертова балаболка и лодырь...

Александра Анатольевна. Владимир Васильевич! Я неоднократно просила вас не ругаться в моем присутствии.

Глебов. А я не могу не ругаться, когда я говорю об этом проходимце! Собственный корреспондент по Ставропольскому краю, хорош! Заваливает газету бездарными стишками, а такое событие проворонил!

Александра Анатольевна (*закладывая в машинку новый лист*). А мне нравится, как пишет Мельников.

Глебов (*возмущенно*). Что же тут может нравиться?!

Александра Анатольевна (*проявляя неожиданное упрямство*). Не знаю, мне нравится. У него стихи такие душевные, такие теплые...

Глебов. Дорогая моя Александра Анатольевна! Разрешите вам заметить, что стихи теплыми не бывают. Теплым бывает исключительно жидкий чай. А если этот...

Александра Анатольевна (*предостерегающе*).
Владимир Васильевич!

Телефонный звонок.

Глебов (*снял трубку*). Да! Здравствуй. Что-о? Милый мой, ты, видать, от жары совсем с ума спятил! Я ведь «внутренней жизнью» занимаюсь, а международный отдел... Ах, с Будапештом говорят, а у тебя времени нет?! А у меня время, по-твоему, есть? Секретарю ты позвонить не мог? (*Засмеялся*.) Ладно, давай, цени мою доброту! (*С внезапным испугом*.) Эй-эй, погоди, а это у тебя не корреспонденция Горбачева?! Нет, я ничего не имею против, но ведь он меньше чем в два подвала не укладывается, а я... Пять строчек? Дорогой мой, это верх благородства, давай! (*Кивнул Александре Анатольевне*.) Александра Анатольевна, внимание! (*Слушает и диктует*.) «Заголовок. Развал Федерации Иордании и Ирака. Абзац. Лондон, второго августа. ТАСС. Точка. Как сообщает корреспондент агентства Рейтер из Аммана, запятая, король Хуссейн объявил в своем декрете о прекращении существования Федерации Иордании и Ирака. Точка...» И все? Чрезвычайно благородно с вашей стороны, мы вам этого никогда не забудем! (*Повесил трубку, поглядел на Александру Анатольевну*.) Готово, Александра Анатольевна?

Александра Анатольевна. Что именно?

Глебов. Ну, эта телеграмма.

Александра Анатольевна (*со смешком*). Бог мой, я уж про нее и забыла. Я давно печатаю расшифровку стенограммы.

Глебов (*восхитился*). Александра Анатольевна, вы чудо! (*После паузы*.) И тем не менее сейчас я устрою вашему любимейшему Мельникову-Печерскому такую баню, что он надолго забудет все свои дактили и анапесты! (*Снова снял трубку*.) Галенька, междугородную!.. Скорей, скорей, дружок, некогда!.. Междугородная? Мне нужен Ставрополь. Да, сейчас. Счет сорок пять, двадцать шесть. Пароль — Енисей. В Ставрополе — гостиница «Южная», номер седьмой. Мельникова Сергея Константиновича.

Говорить буду отсюда, из редакции, добавочный — два, тридцать восемь... Нет, нет, не ограничивайте! Хорошо, спасибо, жду! *(Вешает трубку, придвигает к себе длинные полоски гранок, принимается просматривать их и править.)*

Дожевывая на ходу печенье, в комнату влетает Настенька — редакционный курьер.

Настенька *(на одном дыхании)*. Здравсьте, товарищи, жарко очень, Владимир Васильевич, матерьял есть?

Глебов. Сейчас, Настенька, сейчас! Можешь погодить три минутки?

Настенька. Три минуты могу! *(Присела на краешек стула, обмахнулась платочком, проговорила с нарочитой небрежностью.)* А знаете, товарищи, между прочим, ведь я на будущей неделе ухожу от вас!

Александра Анатольевна *(печатает)*. В отпуск, Настенька? Или учиться?

Настенька. Уезжаю.

Александра Анатольевна. Куда? Далеко?

Настенька *(скромно, с трудом сдерживая ликование)*. Далеко, отсюда не видно. В Бомбей.

Глебов *(поднял голову)*. Куда-а-а?!

Настенька *(чуть запнулась, не слишком уверенная, что она правильно произносит это слово)*. В Бом-бей, Владимир Васильевич!

Александра Анатольевна *(всплеснула руками)*. Бог мой, это невероятно! В туристическую поездку?

Настенька. Нет, насовсем... Ну, не насовсем, а на два года. Мой папа, Владимир Васильевич, он — доктор...

Александра Анатольевна *(строго)*. Ваш папа ветеринар.

Настенька *(с обидой)*. А ветеринар — не доктор, по-вашему? Еще какой доктор! *(Отвернулась от Александры Анатольевны и все дальнейшее говорит, обращаясь только к Глебову.)* Понимаете, Владимир Васильевич, мой папа — он доктор, и он изобрел такую сыворотку, чтоб животных лечить. И вот теперь его посылают на полтора

года в Бомбей, чтоб он там научил ихних докторов, как эту сыворотку применять. А папа сказал, что он на полтора года без семьи не поедет. А ему сказали: «Поезжайте с семьей». А он сказал, что у него семья — он и я! Ну, вот меня и оформили!

Глебов (*продолжая заниматься гранками*). Очень рад за вас, Настенька! А не боитесь? Ведь там, говорят, в Бомбее, — тьма-тьмущая крокодилов! Вы крокодилов-то не боитесь?

Настенька. А чего их бояться? (*Погрозил кулачком.*) Ка-а-ак дам — и нет!

Глебов (*протянул Настеньке гранки*). Вот, прошу! А эту телеграмму передайте в международный отдел — Федосееву! (*Улыбнулся.*) Так, значит, в Бомбей?

Настенька (*ликующим голосом*). В Бомбей, Владимир Васильевич, в Бомбей! (*Убегает.*)

Александра Анатольевна (*бросив работу, взволнованно*). Нет, вы только вообразите — Настенька Чуркина едет в Бомбей! Всю жизнь прожила в Москве, где-то там в Сокольниках, а теперь вдруг Бомбей, крокодилы, Европа...

Глебов (*склонившись над бумагами*). Все наоборот, Александра Анатольевна! Москва, Сокольники — это Европа, а Бомбей и крокодилы — это как раз Азия.

Александра Анатольевна (*с красными пятнами на щеках*). Вы подходите к вопросу с точки зрения глубоко географической!

Глебов. А с какой же еще точки зрения можно подходить к этому вопросу?

Александра Анатольевна. Ах, вы не понимаете!

Продолжительный телефонный звонок. Глебов берет трубку.

Глебов. Слушаю. Да, да, да, да — заказывал. Мельникова нет? А если поискать? В районе? Это хуже! Да, тогда снимайте разговор... Только вот что, девушка, пускай они там запишут, что Мельников должен сегодня же, непременно сегодня же, позвонить в редакцию! Да, да, как только он появится в городе! Хорошо, есть!.. (*Вешает трубку.*)

Александра Анатольевна (*глядя куда-то в одну точку*). А вот я уже никогда в жизни не поеду в Бомбей!

Глебов. И вы жалеете об этом?

Александра Анатольевна. Да, жалею. Может быть, это единственное, о чем я жалею по-настоящему, когда вспоминаю, как много мне лет!

Глебов (*поглядел на Александру Анатольевну*). Ну, если это настолько серьезно, Александра Анатольевна, можно будет поговорить в местное — пусть они похлопочут о туристской путевке для вас.

Александра Анатольевна (*снова разволновалась*). Нет, нет, нет, Владимир Васильевич, умоляю вас — не надо. Теперь мне уже в Бомбей ехать поздно! (*Со слабым смешком.*) И кроме того, в отличие от Настеньки, я ужасно боюсь крокодилов!

Распахивается дверь, и в комнату с неизменным фотоаппаратом, подпрыгивающим на круглом животике, торопливо входит Николай Сергеевич Пинегин. Он значительно старше Глебова, но держится еще молодцом, этакий смуглолицый толстячок-красавчик с румяными щеками и бархатными глазками бабника и любителя выпить.

Пинегин (*возбужденно*). Привет, привет обители трудов! Добрый день, многоуважаемая Александра Анатольевна!

Александра Анатольевна (*сухо*). Добрый день, товарищ Пинегин.

Пинегин. Здорово, старик! Все сеешь разумное, доброе, вечное?

Глебов. Сею помаленьку.

Пинегин. Сей, сей! Спасибо тебе, Володечка, скажет сердечное русский народ. Понял, нет?! (*Хлопнул Глебова по плечу.*) А ты хорошо выглядишь — загорел, посвежел. Нет, братцы мои, это великая вещь — жить на свежем воздухе!

Глебов (*угрюмо*). Ненавижу дачу! Если б не Машка, ни за что не стал бы мучиться и...

Пинегин (*перебил*). Все ненавидят дачу! Но мучить-

ся в городской духотище и мучиться на свежем воздухе — это, как говорят в Одессе, две большие разницы! (*Покрутил головой.*) Фу, жара! Шел сейчас по улице, по теневой стороне, поглядел на градусник — тридцать пять!

Глебов. А ты не ходи по теневой стороне! (*Выглянул в окно, где укреплен термометр.*) Тем более что на солнце, как видишь, всего тридцать!

Пинегин. Поэзия и проза! Эх, Володечка, нет в тебе этакое умения поэтически осмыслить действительность, воспарить душой над грубыми фактами! Как был ты, старик, прозаиком, так прозаиком и останешься!

Глебов. А ты поэт?

Пинегин (*хохотнул*). А я поэт! (*Оглянулся на Александру Анатольевну, подсел к Глебову, проговорил значительно, понизив голос.*) Есть дело, старик!

Глебов. Полсотни до понедельника?

Пинегин. Не остри. Серьезное дело.

Глебов. Сто рублей?

Пинегин. Слушай, за кого ты меня принимаешь?! Я богат! Третьего дня в издательстве заполнил в ведомости у кассы заветную графу — «сумма прописью». (*Спохватившись, поспешно.*) Ну, порастряс уже, конечно, но сотня-другая осталась! Нет, нет, старина, дело совсем особого, деликатного свойства! (*Неожиданно.*) Скажи, Володечка, ты не знаешь случайно, кто такой Юкава?

Глебов (*удивленно*). Юкава! Это японский физик, кажется. Или химик. Точно не помню. А зачем он тебе?

Пинегин. А черт его знает зачем! Спросил, и все. Просто так спросил. Вертится у меня в голове почему-то со вчерашнего дня эта фамилия. Юкава и Юкава. Я и спросил. Из чистого любопытства. Повышаю, Володечка, свой культурный уровень. Понял, нет?!

Глебов. Это и есть твое серьезное дело?

Пинегин. Смейся, смейся.

Глебов. А что случилось?

Пинегин (*беспокойно и нетерпеливо оглядываясь на Александру Анатольевну*). Скажу, скажу. Все тебе сейчас скажу, старина.

Александра Анатольевна (*встала*). Товарищу

Пинегину мешает, очевидно, мое присутствие. Я уйду на десять минут. Вы позволите, Владимир Васильевич?

Глебов. Пожалуйста.

Пинегин (*фальшиво*). Ну что вы, Александра Анатольевна, помилуйте!

Александра Анатольевна. Надеюсь, что товарищ Пинегин уложится в десять минут! (*Накрыв машинку чехлом, величественно выходит из кабинета.*)

Пинегин (*высунул ей вслед язык*). Бэ-э, старая перечница! Как ты можешь сидеть в одной комнате с таким страшилом, удивляюсь.

Глебов. Что у тебя за дело?

Пинегин. Сейчас, погоди, скажу! (*Внезапно подбегает к окну и, увидев кого-то на улице, влезает на подоконник, машет рукой, посылает воздушный поцелуй.*)

Глебов (*раздраженно*). Кого ты там увидел? Балерина! Слушай, слезай, рассказывай, что случилось, или уходи отсюда ко всем свиньям и не мешай!

Пинегин (*слез с подоконника*). Не видят! (*Снова подсел к Глебову, подмигнул.*) Короче, старик, дело такое — недавно, совсем недавно, я познакомился с одной прелестнейшей девушкой! Первый класс, понял, черт?! Первый класс, уж насчет этого ты мне можешь поверить!

Глебов. Верю. Поздравляю. А я при чем?

Пинегин. Так она, понимаешь, старик, не одна.

Глебов (*не отрываясь от бумаг*). А с кем же? С мамой? С мужем? С грудным младенцем?

Пинегин (*значительно*). С подругой.

Глебов. Пошел вон!

Пинегин. Старик, дорогой, ты даже не можешь себе представить, что за подруга! Божество! Уж моя-то хороша, но эта, твоя...

Глебов (*усмехнулся*). Знаешь, Коля, порой меня чрезвычайно удивляет то обстоятельство, что ты ходишь по земле на двух ногах!

Пинегин (*опешил*). А как же мне еще ходить?

Глебов. На четвереньках. На четвереньках тебе было бы гораздо удобнее! (*Вспыхнул.*) Мерзавец ты, черт тебя побери, и больше никто! Ты же бываешь в моем

доме, играешь с Машкой и любезничаешь с Таней, а потом ты приходишь...

Пинегин (*тоже разозлился*). Ну, брось, брось! Не разыгрывай из себя, пожалуйста, младенца, оскорбленную невинность, Иосифа Прекрасного! Подумаешь! Я ж тебе ничего такого особенного не предлагаю! Обычное дело — лето, субботний вечер и две очень прелестные девушки, которые не прочь провести время в обществе двух вполне интеллигентных мужчин...

Глебов. Мужчин? Какой же ты мужчина? Ты павиан!

Пинегин (*поморщился*). Старик, это пошло!

Глебов (*пауза*). И давно ты их знаешь, твоих прекрасных дам?

Пинегин. Минут сорок.

Глебов. Естественно, я так и думал! А где ты с ними познакомился?

Пинегин. У гостиницы «Метрополь».

Глебов. Где? Где?

Пинегин (*слегка смутился*). Ну, у гостиницы «Метрополь»... А что?

Глебов. Какая прелесть! Гостиница «Метрополь». Отличнейшее место для знакомства с дамами! (*Насмешливо.*) Они что же, проживают в этой гостинице?

Пинегин. Нет вроде. Они москвички. Так я, во всяком случае, понял! (*Заторопился.*) Даже определенно, определенно — москвички. Я сейчас припоминаю, был разговор на эту тему!

Глебов (*помолчал, со злостью*). А тебе не кажется, голубчик, что твои прекрасные дамы — это просто-напросто две самые обыкновенные потаскушки?!

Пинегин. Володечка, ты меня обижаешь! (*Схватил Глебова за руку, потащил к окну.*) Взгляни-ка сюда — вон они.

Глебов и Пинегин стоят у окна, смотрят на улицу. Несколько мгновений проходят в молчании.

Глебов. Что они здесь делают?

Пинегин. Ждут. Я велел им обождать в сквере, пока приведу тебя.

Г л е б о в. Боюсь, что им придется ждать очень долго!

П и н е г и н (*взмолился*). Старик, не разбивай компании, будь человеком! Я им такого о тебе и твоих подвигах нарасказывал, что они просто жаждут поглядеть на тебя! Хотя бы поглядеть!

Г л е б о в. Если ты станешь меня уверять, что они читают, перечитывают и заучивают наизусть мои статьи, — я тебя немедленно выгоню! И навсегда, учти!

П и н е г и н (*с ехидным смешком*). Нет, дружок, этого я не скажу. Чего нет — того нет! Вряд ли, знаешь, они заучивают наизусть, как стихи, твои статьи о беспорядках в совнархозе и отчеты об уборке сахарной свеклы!

Г л е б о в (*с неожиданной наивной обидой*). Ну что ты завираешь опять?! Как будто я только про свеклу пишу!

П и н е г и н. Шучу, старина, шучу, не обижайся! (*Льстиво.*) Мне же обидно, Володечка, что ты, именно ты, человек героической биографии, орел, — засел, как чиновник, в отделе и размениваешься на мелочи! Плачу об этом день и ночь! Горючими слезами плачу! Вот такими слезами — двадцать четыре на тридцать! (*С напором.*) И я же вижу, что ты сам, сам еле сдерживаешь себя! Я же помню, не забыл, что за стихи ты читал в бреду, всю ночь повторял там, в экспедиции, когда свалился... Понял, нет?!

Г л е б о в (*недоверчиво*). Что за стихи?

П и н е г и н (*с чувством*).

Они меня истерзали
И сделали смерти бледней,
Одни — своею враждою,
Другие — любовью своей!..

Г л е б о в (*смутился*). Это из Гейне... Что ж тут такого? Почему это тебя поразило? Мало ли что лезет в голову человеку, когда он в бреду!

П и н е г и н (*запальчиво*). Нет, милый мой, не мало ли что. По науке доказано, что совсем не мало ли что! Есть такая статья научная, я ее сам читал, где все это подробно и натурально описано! Твоя жена умная женщина, но...

Г л е б о в (*резко*). Мою жену ты оставь!

П и н е г и н. Я ж ничего худого не хочу про нее ска-

зять. Напротив. Уважаю ее и ценю. Это ты, пожалуйста, хорошо запомни — уважаю и ценю. И что любит она тебя — ценю, и что боится за тебя, потерять тебя боится — прекрасно это все понимаю! (*Проникновенно.*) Но ведь тебе-то, старик, тебе другие просторы нужны, тебе рано еще сдаваться! Понял?! Я вот сейчас, по дороге сюда, рассказывал девчонкам про наш полярный поход и про то, как ты в пургу один отправился на поиски пропавшего самолета и сам чуть не погиб, — так у них, веришь ли, глазки прямо так и разгорелись, воображение разыгралось, страсть!

Г л е б о в (*не глядя на Пинегина*). Ну, а что еще ты им рассказывал?

П и н е г и н. Рассказывал про то, как ты на Гавайских островах был.

Г л е б о в (*помолчав*). Наврал, одним словом, с полный короб!

П и н е г и н. Исключительно для пользы дела, старик! Выдал им весь набор по Джеку Лондону — прибор Канаки, Уайкики, укулеле... Даже Юкаву приплел! По созвучию. Думал, что он из той же серии. Библиотека фантастики и приключений. А он, подлец, ученый, оказывается, вот незадача!

Г л е б о в (*с улыбкой*). Будем надеяться, что дамы вряд ли заметили эту ошибку.

П и н е г и н. Не заметили, дорогой мой, конечно же, не заметили! Что им какой-то Юкава? Им про Глебова интересно! Про того Володьку Глебова, которого называли когда-то «Глебов — нынче здесь, завтра там». Вот им про что интересно.

Молчание.

Г л е б о в (*снова поглядел на них в окно*). Ждут.

П и н е г и н. Ждут, Володечка.

Г л е б о в (*медленно*). Не понимаю. Ничего не понимаю. Ведь молодые ж девчонки... Зачем они ждут?! Зачем ты им нужен и зачем я им нужен?! Кто они такие? Чем они живут, чем дышат? (*После паузы.*) Как ты с ними познакомился?

Пинегин (*с жестикуляцией*). Иду, смотрю, вижу — стоят у гостиницы «Метрополь» две красотки. Ну, такие красотки, Володечка, что я прямо аж задрожал от волнения! Как подойти? Проблема! (*Хлопнул ладонью по футляру фотоаппарата.*) Вспоминаю, по счастью, что со мной камера. Приближаюсь, навожу объектив, предупреждаю — сейчас, мол, гражданочки, вылетит птичка. Они, понятно, смеются. Я представляюсь. Ну, а уж дальнейшее, как говорят шахматисты, дело чистой техники! (*После паузы.*) Так как же будет, старик? Девушки ждут, неудобно!

Глебов (*прищурился*). Змий-искуситель.

Пинегин. Да, я змий-искуситель.

Глебов. Но я не Ева!

Пинегин (*меланхолично*). Все мы, старик, немножечко Евы! Надо только знать — для кого какое яблоко выбрать! Для кого — шафран, а для кого — белый налив, понял, нет?! Так как же будет? Идем, Володечка, а?

Глебов. Иди.

Пинегин. А ты?

Глебов (*отвернулся от Пинегина*). Я тоже выйду. Чуть позже. Вы подождите меня!

Пинегин (*восторженно*). Старик, дорогой!

Глебов. Не ори. И не очень-то на меня рассчитывай. Выйти я выйду, но потом...

Пинегин. Ты ночуешь в Москве?

Глебов. В Москве.

Пинегин. А твои на даче? Квартира пустая?

Глебов (*гневно*). Уходи, пока я не швырнул в тебя чем-нибудь, что потяжелей! Убирайся к дьяволу!

Пинегин (*заговорщицким шепотом*). Ждем, старик!

Глебов. Постой! А как их зовут — ты хоть это-то знаешь?

Пинегин. Мою зовут Любочка! (*На секунду заппнулся.*) А твою — вроде Наташа... А может, Нина... Нет, Наташа!

Глебов. Убирайся!

Пинегин. Ждем! (*Поспешно уходит, сталкиваясь в дверях с Александрой Анатольевной.*)

Александра Анатольевна. Я не рано?

Но Пинегина уже нет. Александра Анатольевна проходит к своему месту, садится за машинку, снимает с нее чехол, вопросительно смотрит на Глебова.

Г л е б о в (*покашлял*). Так, так, так!.. Если я не ошибаюсь, Александра Анатольевна, на сегодня у нас, собственно, все?

А л е к с а н д р а А н а т о л ь е в н а. Как угодно, Владимир Васильевич. А эта стенограмма — совещание животноводов Тамбовской области?

Г л е б о в (*быстро*). Мы доправим и посмотрим ее в понедельник. Она вообще-то вряд ли пойдет, так что срочности нет никакой! (*Внезапно стукнул кулаком по столу*.) Да, если все-таки отыщется этот...

А л е к с а н д р а А н а т о л ь е в н а. Владимир Васильевич!

Г л е б о в. Я говорю — если отыщется этот Мельников, а вы еще будете в редакции, то скажите ему — пусть дозванивается ко мне домой! Вечером, ночью, на рассвете, когда угодно, но пусть дозванивается!

А л е к с а н д р а А н а т о л ь е в н а. А вы уходите?

Г л е б о в (*небрежно*). Да, есть дела в городе. До свиданья, Александра Анатольевна!

А л е к с а н д р а А н а т о л ь е в н а. До свиданья, Владимир Васильевич! Передайте, пожалуйста, мой самый сердечный привет вашей прелестной Танечке! Будь я мужчиной, я непременно увезла бы ее у вас!

Г л е б о в. Какое счастье, что вы не мужчина! До свиданья, Александра Анатольевна. Желаю вам весело провести воскресенье! (*Уходит*.)

Александра Анатольевна одна. Шум города за окнами с каждым мгновением становится все нестерпимей — это наступают знаменитые московские так называемые «пик» часы. Александра Анатольевна захлопывает фрамугу окна, снова садится за машинку, вытаскивает из ящика стола какую-то явно постороннюю рукопись, перелистывает ее.

А л е к с а н д р а А н а т о л ь е в н а (*с тяжелым вздохом*). Бог мой, о чем они только пишут! (*Читает*.) «Новообразования в червеобразном отростке у хищных млекопитающих из породы кошачьих». На соискание ученой степени кандидата биологических наук! (*Сердито*.) Ты

будешь душой, Саня, ты будешь самой последней душой, если не возьмешь с него за эти отrostки по полтора рубля за страницу! (*Помолчала, усмехнулась.*) И не возьмешь! Начнешь мямлить, краснеть, смущаться! А вот Настенька Чуркина едет в Бомбей!

Продолжительный телефонный звонок. Александра Анатольевна снимает трубку.

Алло! Ставрополь? Какой Загорск? Да, это Александра Анатольевна, а... Ах, боже мой, это вы, Татьяна Андреевна? Здравствуйте, моя дорогая, очень рада слышать ваш голос! Что случилось? Нет, Владимир Васильевич ушел. Что ж вы так поздно? Сидели на почте — не было связи? Ах, какая досада! Не знаю, куда-то в город, по редакционным делам. Что-нибудь надо передать? Нет, но если что-нибудь очень срочное, так я могу его поискать... А может быть, он еще и вернется в редакцию... Просто передать, что вы его очень ждете? Хорошо, дорогая моя, если увижу — обязательно передам. Нет, он не очень много курил, нет, нет! А как ваша доченька? Я спрашиваю — как ваша доченька? Почему вы перебиваете, барышня? Время кончать? Безобразие! (*Вешает трубку, делает несколько шагов по комнате, останавливается и в горестном недоумении разводит руками.*) Нет, я прошу вас, нет, вы только вообразите — а Настенька Чуркина едет в Бомбей!

Перемена

Музыка. Свет. Это закатное солнце, отраженное в бесчисленных окнах, это шум города и насмешливая флейточка, насвистывающая занятную мелодию, которая звучит по временам то как походный марш, то как озорная уличная песенка.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Суббота, день, шестнадцать часов пятьдесят минут. Сквер. Фонтан, изнемогающий от жары. Чугунный, под старину, фонарь. У фонаря стоят две девушки — Люб о ч к а и Н а т а ш а. Обе они очень разные и ничем решительно — ни внешностью, ни повадкой, ни манерой одеваться и говорить — не походят друг на друга. Любочка — маленькая, круглолицая, светловолосая, одета нарядно, броско, с чуть легкомысленным и

даже дешевым шиком. Наташа — высокая, темноглазая, одета попроще и поскромней. И только прозрачные плащи-дождевики — один голубой, а другой оранжевый — явно куплены девушками в одном магазине, да еще в руках у них две совершенно одинаковые темно-зеленые сумочки на длинных и широких ремнях. *(На эти сумочки следует обратить особое внимание, потому что в дальнейшем ходе истории они будут играть немаловажную роль.)* Итак, суббота, шестнадцать часов пятьдесят минут, девушки стоят в сквере у чугунного фонаря и о чем-то оживленно спорят.

Любочка. Ты думаешь, он наврал?

Наташа *(нервно)*. Конечно, наврал! Может быть, он и знает Глебова, но уж, во всяком случае, никакой ему не друг!

Любочка. А почему — нет?

Наташа. А потому что — то Глебов, а то... И вообще он трепло, этот фотограф! Вот увидишь, если он придет — в чем я, кстати, сомневаюсь, — но если он придет, то придет или один, или с кем-нибудь другим, но только не с Глебовым. *(Помолчала, тряхнула головой.)* Знаешь что, Любаша, давай пойдем, а?! Будем считать, что наша затея сорвалась! Ну, глупо же, глупо — стоим тут на солнцепеке, у всех на виду, ждем чего-то, неизвестно чего, теряем время... Пойдем?..

Любочка *(нерешительно)*. Ну, давай подождем еще семь минут. Ровно до пяти часов, ладно? *(Задумчиво оттопырила губы.)* Нет, а он вообще смешной. Рассказывает смешно...

Наташа. Особенно — про Юкаву.

Любочка. Ну, он, вероятно, перепутал! А возможно, даже и... *(Внезапно топнула ногой, крикнула.)* Перестань усмехаться! Ох, до чего ж я ненавижу эту твою усмешечку!

Наташа *(лениво)*. Поссоримся для разнообразия? Давно не ссорились! А ведь это, между прочим, тоже превосходнейший способ убить время! Давай?

Любочка *(всхлипнула, порывисто обняла подругу)*. Ах, Наташка!..

Вбегает Пинегин. Он доволен и весел до чрезвычайности, сияет, приплясывает, ходит ходуном.

Пинегин (*размахивая руками*). Детки, детки, остановитесь, не то делаете! Надо знать — как, когда и с кем обниматься, все еще впереди! Я долго?

Наташа. Нет, быстро.

Любочка. Наташа уверяла меня, что вы вообще не придете!

Пинегин (*наморщил лоб*). Наташа? Ах, да, Наташа! (*Погрозил Наташе пальцем*.) Наташенька! (*Торжественно*.) Усталый, смертельно больной — все равно Коля Пинегин приполз бы, деточки, к вашим ногам! (*Вытащил из кармана горсть карамелек, протянул девушкам*.) Карамельки употребляете?

Любочка. Можно и карамельку.

Наташа. Можно, но не нужно.

Любочка. Почему? (*Спохватилась*.) Я забыла, ты права! Спасибо, Николай Сергеевич, не нужно!

Пинегин. Что так?

Любочка (*важно*). У нас есть план.

Пинегин. План? Любопытно! И этим планом карамельки не предусмотрены?

Наташа. Нет. Скажите, Николай Семенович...

Любочка (*поправляет*). Сергеевич.

Пинегин. Просто — Коля, Наташенька, просто — Коля.

Наташа. Скажите, Николай Сергеевич, вы, разумеется, не застали вашего знаменитого друга?

Пинегин (*с поклоном*). Застал.

Наташа. Но прийти он, к великому сожалению, не может?

Пинегин. Может. Сейчас придет! (*Ухмыльнулся*.) А вы злюка, Наташенька! Почему вы такая злюка? Любушка-голубушка, почему наша Наташа такая злюка?

Любочка. Она нервничает.

Наташа. Вздор какой!

Любочка. Нервничаешь, нервничаешь. И я тоже, конечно, нервничаю. Вы не обращайтесь на нас внимания, Николай Сергеевич!

Пинегин. Не обращать на вас внимания?! Детки, требуйте от Коли Пинегина всего, но не требуйте от

Коли Пинегина невозможного! Поняли, нет?! Если бы час тому назад я не обратил бы на вас внимания...

Наташа (*перебила*). Скажите, Николай Сергеевич, а ваш друг Глебов не привез, случайно, из Гонолулу гавайской рубашки?

Пинегин. Не знаю. А зачем вам гавайская рубашка, Наташенька?

Наташа. Интересно взглянуть.

Пинегин. Не знаю, может быть, и привез! (*Помахал рукой.*) А вот мы его сейчас самого об этом и спросим!

Наташа (*насторожилась*). Он идет?

Пинегин. Вот он — переходит дорогу.

Любочка. Который?

Пинегин. Высокий, в светлом костюме, смотрит сюда.

Любочка (*тихо, Наташе*). Это он?

Наташа. Да. Он. Я когда-то видела его фотографию в «Огоньке».

Любочка. Вот он какой!

Пинегин (*игриво*). Нравится?

Наташа (*медленно, с усмешкой*). Что ж, ничего! Могло быть и хуже!

Любочка (*возмущенно*). Наташа!..

Входит Глебов, коротко, почти не глядя на девушек, кивает головой.

Глебов. Здравствуйте.

Пинегин (*суетливо потирая руки*). Ну вот, ну вот, друзья мои, наконец-то все в сборе! Знакомьтесь: Любушка-голубушка, Наташа и Владимир Васильевич Глебов, именуемый в дальнейшем Володечка. Поняли, нет?!

Любочка. Поняли.

Наташа. Но не запомнили.

Пинегин. Кстати, Володечка, тут вот девушки интересовались, не привез ли ты случайно из Гонолулу рубашки?

Глебов (*сухо*). Нет, не привез.

Наташа. А укулеле?

Пинегин. Наташенька, бог с вами, укулеле — это же танец! Знаменитые гавайские танцы — укулеле и юкава!

Г л е б о в (*негромко*). Ну что ты несешь, опомнись! (*Наташе*.) Укулеле, Наташа, это такой музыкальный инструмент...

Н а т а ш а. Я знаю.

Г л е б о в. Но его я тоже не привез. Вам, очевидно, Николай Сергеевич не рассказал, почему и каким образом я оказался в Гонолулу...

П и н е г и н. Потом, потом расскажешь, Володечка, потом! Сейчас у нас есть дела поважнее. (*Позвонил в воображаемый колокольчик*.) Дорогие товарищи! Объявляю открытым пятиминутное совещание на тему — что будем делать?

Девушки смеются.

Л ю б о ч к а. Похоже.

П и н е г и н. Слово для доклада предоставляется товарищу Пинегину. (*Поправил воображаемые очки, забубнил*.) Товарищи, я коротенько...

Девушки смеются.

Л ю б о ч к а. Очень похоже.

П и н е г и н. Имеется предложение: пойти в кафе-мороженое! Кто за? (*Поднял руку*.) Остальные — против? Или воздержались? Ты воздержался, Володечка?

Г л е б о в. Воздержался.

Н а т а ш а. А мы — против.

П и н е г и н. Подчиняюсь большинству! (*Снова позвонил в воображаемый колокольчик*.) Имеется предложение — отвести предыдущее предложение! (*Просто*.) А почему вы против, девушки?

Н а т а ш а. Мы уже были сегодня в кафе. Днем. А теперь мы проголодались и хотим пойти в какой-нибудь ресторан.

П и н е г и н (*хмыкнул*). В ресторан? Так, так! (*Переглянулся с Глебовым*.) А в какой же, деточка, ресторан?

Л ю б о ч к а. В хороший.

Г л е б о в (*с ледяной улыбкой*). Простите, а что вы называете хорошим?

Любочка. Ну, первого разряда ресторан! Чтоб хорошо готовили, чтоб было красиво, чтоб играла музыка.

Пинегин. Ясно! (*Подумав, решительно.*) В Химки, что ли, махнуть?

Глебов (*пожав плечами*). Как угодно.

Наташа. В Химки — далеко.

Глебов. У меня есть машина.

Наташа. Все равно далеко. Мы можем не успеть к семи тридцати обратно.

Пинегин. А зачем вам торопиться к семи тридцати обратно?

Любочка. Затем, что у нас билеты в Большой театр на «Лебединое озеро».

Пинегин (*опешил*). Интересная новость! Кошмар! Караул! Что ж это получается, детки? Нет, нет, это невозможно, это окончательно невозможно! Неужели вы ради какого-то «Лебединого озера» покинете нас в этот летний субботний вечер?

Любочка. А вы не хотели бы пойти вместе с нами?

Пинегин. Как? Где же мы возьмем билеты?

Любочка (*с улыбкой*). У нас есть. Так получилось — и Наташа и я по секрету друг от друга купили на сегодня билеты в Большой...

Пинегин (*просиял*). И у вас их четыре?

Любочка. Да, у нас четыре билета.

И девушки, почти одновременно и одинаковыми движениями, раскрывают свои новые темно-зеленые сумочки и торжественно показывают Глебову и Пинегину билеты в театр.

Пинегин (*в восторге*). Колоссально! Детки, это неслыханно и колоссально! Начинаю себя чувствовать богатым и глупым международным туристом! Классический маршрут «Прима А»! Эсквайр Пинегин и сопровождающие его лица, пообедав в ресторане «Арагви», посетили затем балет «Лебединое озеро» в Государственном академическом Большом театре Союза ССР, а перед ужином осмотрели величественное здание Московского университета на Ленинских горах...

Любочка (*задумчиво*). «Арагви»?.. А правда, товарищи, а что, если нам пойти в «Арагви»?

Пинегин. Прекраснейшая мысль, Любушка!

Глебов (*тихо, сквозь стиснутые зубы*). Ты сошел с ума! Не хватает только, чтоб завтра по всей Москве пошел звон о том, как Пинегин и Глебов обедали в ресторане «Арагви» с двумя весьма подозрительными девицами!

Пинегин. Не горячись, Володечка!

Наташа. Владимир Васильевич опять воздержался? Или возражает?

Пинегин. Сейчас, детки, сейчас — улаживаем небольшие формальности! Сейчас! (*Глебову, торопливым шепотом.*) Что ты горячишься, чудак?! Ты погляди, что за люди! А время — пять часов. Обеды уже подходят к концу, для ужинов еще рано. Возьмем отдельный кабинет, как в сберкассе — полная тайна вкладов! Понял?!

Глебов (*помолчал, махнул рукой*). А-а, делай, в общем, как знаешь!

Любочка. Так мы идем в «Арагви», товарищи?

Пинегин. Идем, идем. Непременно идем.

Глебов. Ладно. Подождите минутку. Стойте здесь, а я выведу машину из гаража и заберу вас.

Наташа. Ну, это слишком шикарно! Зачем машина? Здесь и пешком — рукой подать.

Глебов. Не все ли равно? Тогда мне придется потом возвращаться за машиной! Нет уж, погодите, я мигом... (*Быстро уходит.*)

Пинегин (*с торжеством поглядел на девушек*). Ну, каков?

Наташа (*пожав плечами*). Я сказала уже.

Пинегин. Что именно?

Наташа (*медленно, со смешком*). Могло быть и хуже!

Перемена

Музыка. Свет. Это высокое небо, это зеленые, желтые, красные огоньки светофоров, тягучая мелодия старой грузинской песни и все та же насмешливая флейта, насвистывающая по временам то суровый походный марш, то озорную уличную песенку.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Суббота, вечер, восемнадцать часов пятнадцать минут. Ресторан «Араги». Отдельный кабинет. Низкое окно, выходящее в глухой каменный двор. Невнятные полинялые фрески на стенах. Старенькое пианино. Глебов и Пинегин с очень злыми и хмурыми лицами сидят за уже накрытым к обеду столом и молча смотрят, как в углу на круглом маленьком столике пожилой Официант-грузин в очках бесшумно и ловко раскладывает по тарелкам чурек и закуски. Девушек нет. Только на вешалке висят их прозрачные дождевики — оранжевый и голубой. Из общего зала доносятся голоса, смех, звон посуды, тягучая мелодия старой грузинской песни.

Пинегин (*внезапно, словно проснувшись*). Эй, отец, погоди-ка, ты что ж это, нам в самом деле «Юбилейный» коньяк принес?

Официант. «Юбилейный». Как заказывали.

Пинегин. Кто заказывал?

Официант. Дамы заказывали.

Пинегин (*со злостью*). Дамы, дамы! Может, они тут у вас с заказов коммиссионные получают, эти дамы, почему я знаю?! (*Помолчав.*) Слушай, отец, оставь, как говорится, угрозы, принеси ты нам нормальные три звездочки, а этот «Юбилейный» спрячь куда-нибудь подальше! Понял, нет?!

Официант. Нельзя, дорогой товарищ.

Пинегин. Как — нельзя? Почему — нельзя?!

Официант. Открыта уже бутылка, у меня ее буфет не примет теперь! (*Переводя разговор.*) Прошу простить, вам горяченькое сразу нести или обождать?

Пинегин (*после паузы, с жестом отчаяния*). Давай сразу, давай уже все сразу, отец! И корми и губи — все сразу давай!

Официант (*с неодобрением*). Веселый гость, а! Я скажу тогда на кухне — пускай готовят горяченькое! (*Уходит.*)

Молчание.

Пинегин (*тревожно поглядел на Глебова*). Горим, старик! Горим синим светом! У тебя сколько денег с собой?

Глебов. Рублей сто с мелочью.

Пинегин. И у меня столько же. А тут один «Юбилейный» коньячок потянет так, что будь здоров! (*Взволнованно.*) Ну и ну! Попались, как мальчишки, Володечка! Как самые последние щенки и пижоны!

Глебов (*усмехнулся*). Да-а, отравил ты меня в историю!

Пинегин. Откуда же я мог знать?! Такие, понимаешь, приличные на вид девушки... Почему ты не дал мне ее остановить, когда она заказывать начала?

Глебов. А как бы ты ее остановил? Вырвал бы из рук карточку? (*Неожиданно засмеялся.*) Ладно, не хнычь! Теперь уже поздно хныкать! А если мы и вправду не обойдемся — сбегашь в общий зал, поищешь знакомых, перехватишь у кого-нибудь сотню, тебе не впервой! Ну, в крайнем случае оставим документы до понедельника. Уж как-нибудь нам поверят! (*Взглянул на Пинегина и снова засмеялся.*) Вот, Коля, теперь будешь знать, как знакомиться с девушками у гостиницы «Метрополь»!

Пинегин. Красивенькая история! (*Встал, прошелся по кабинету, остановился.*) И девиц что-то нет! Сбежали?!

Глебов. А плащи?

Пинегин. Плащи — тьфу, плащам — три копейки цена! Я тебе расскажу, как в Архангельске Борька Малышев — ну, этот, из «Огонька» — попал в переплет с одной...

Отворяется дверь, и входят Любочка и Наташа, они привели себя в порядок, причесались, чуть подкрасили губы и как-то сразу и притом необычно похорошели. У них весело и возбужденно блестят глаза, и даже походка стала какой-то другой — быстрой, легкой, словно танцующей.

Любочка. Вот и мы! Заждались?

Глебов. Заждались.

Любочка. Знаете, отчего мы так долго? Мы не в тот кабинет попали! Вошли, а там какая-то большая и шумная компания. Мы напугались и бежать, а они за нами: «Куда же вы, девушки, заходите, милости просим!..»

Пинегин. И конечно, уговорили?

Наташа (*поглядела на Пинегина, проговорила медленно и лениво*). Нет, не уговорили! Вам, Николай Сергее-

вич, это, возможно, покажется странным, но поверьте, что нас не так уж легко уговорить! (*Обернулась к Глебову.*) Почему вы такие сердитые, товарищи? Что-нибудь случилось?

Г л е б о в (*пытаясь быть любезным*). Ничего не случилось — мы ждем вас.

Л ю б о ч к а (*весело*). А мы пришли! (*Поправила волосы.*) Знаете, товарищи, это, наверное, ужасно неприлично, но я смертельно хочу есть!

П и н е г и н (*чуть оживившись*). За чем же дело стало?! «К буфету, черный кучер!»

Г л е б о в (*пододвинул стул*). Прошу вас, Наташа.

Н а т а ш а (*сердито*). Спасибо.

Л ю б о ч к а (*устраиваясь рядом с Пинегиным*). Нет, что ни говорите, а мне нравится здесь, в «Арагви»! Здесь интересно. А тебе, Наташка, нравится?

Н а т а ш а. Нравится.

Г л е б о в. Неужели вы ни разу не бывали прежде в «Арагви»?

Н а т а ш а. Нет.

Л ю б о ч к а. Ни разу. Как-то так получилось. В «Национале» мы бывали — помнишь, Наташка? — потом в «Метрополе», в «Праге», в «Пекине», а вот в «Арагви» — ни разу.

П и н е г и н (*со смешком*). И тем не менее, Любушка-голубушка, вы весьма ловко справились с заказом, весьма ловко!

Л ю б о ч к а (*очень довольная*). А я по особому способу заказывала. Знаете как? Я на левую сторону меню, где названия, даже и не смотрела — я там все равно ничего бы не поняла! Я смотрела только на правую сторону, где цены, — и выбирала все, что подороже.

Г л е б о в (*переглянулся с Пинегиным*). Отличнейший способ, Любочка! Надо будет непременно его запомнить! (*Вытащил из кармана пачку сигарет.*) Надеюсь, дамы не станут возражать, если я закурю?

П и н е г и н. Станут возражать. И я стану возражать. Все голодные, все устали, все хотят есть, пить, наслаждаться жизнью, смотреть друг на друга, а ты начинаешь

нам тут дымовые завесы устраивать! Потерпи, Володечка! Понял, нет?!

Г л е б о в. Понял.

П и н е г и н (*потянулся к бутылке с коньяком*). Итак, начнем, благословясь.

Н а т а ш а. Мне полрюмки.

Л ю б о ч к а. И мне тоже. А то я буду совсем пьяная...

П и н е г и н. И прекрасно!

Л ю б о ч к а. Ничего не прекрасно. Когда я пьяная, я очень скучная! (*Оглядела стол, спросила громким шепотом.*) Николай Сергеевич, скажите, а где же здесь то, что заказали вы, с таким интересным названием — лоби?

Г л е б о в (*передав тарелку с лоби*). Вот, пожалуйста.

Л ю б о ч к а (*разочарованно*). Это и есть лоби?! Простая фасоль! Ой, а я-то думала!

П и н е г и н. Детки, детки, дисциплина, разговорчики в строю! (*Постучал ножом по краю тарелки.*) Ну-с, дорогие мои, так за что же мы выпьем первую?

Г л е б о в. Первую рюмку, если я правильно помню, полагается пить за здоровье прекрасных дам.

П и н е г и н. Это в Гонолулу! Там они, брат, еще дикари, отсталая культура, а у нас двадцатый век, цивилизация! Мы должны придумать что-нибудь похитрей! За что же мы выпьем, девушки?

Л ю б о ч к а. За что угодно. Мне все равно.

Н а т а ш а. Давайте выпьем за сегодняшний день.

П и н е г и н. За сегодняшний день?! (*Восхитился.*) Умница! Золотая умница! Володя, дорогой, ты заметил, какая у нас Наташенька золотая умница?

Г л е б о в. Заметил.

Быстро с подносом в руках входит О ф и ц и а н т.

О ф и ц и а н т. Цыплятки табака, пожалуйста! Прикажете обслужить?

П и н е г и н (*присвистнул*). Обслужи и — фью!

О ф и ц и а н т (*орудуя с тарелками и приборами*). Понимаю, дорогой товарищ! Больше пока ничего не требуется?

П и н е г и н. Что-нибудь из денег, отец!

Официант. Веселый гость, а! (*Уходит.*)

Пинегин (*поднял рюмку*). Итак, пьем, детки, за сегодняшний день... Умница, Наташа! Пьем за сегодняшний день, за счастливые встречи и легкие расставания, за вас, дорогих и любимых — Наташеньку, Володеньку, Любочку, Колечку, ура!

Все чокаются, глядя друг другу в глаза, пьют.

Любочка (*зажмурилась*). Ой-ей-ей, до чего ж крепкий!

Пинегин. «Юбилейный»! Ешьте, друзья, закусывайте и давайте сюда ваши рюмки — между первым и вторым тостом перерывов делать не полагается!

Наташа. Нет, спасибо, я больше пить не буду.

Любочка. И я тоже.

Пинегин. Почему?

Наташа. Нам достаточно.

Любочка (*приветливо*). А вы пейте, пейте, вы нас не стесняйтесь. Ведь вам, наверное, ничего?

Пинегин. Нам ничего! Как, Володечка? Нам с тобой — ничего?

Глебов. Мне нельзя, я за рулем. У меня уж и так голова кружится.

Пинегин. Захмелел с одной рюмки?

Глебов (*грубо*). Не болтай!

Молчание.

Пинегин. Ну, как хотите, а я выпью. И вот вторую рюмку я действительно выпью за здоровье наших прекрасных дам! (*Поднял рюмку*). За вас, детки!

Любочка. Спасибо.

Молчание.

Глебов (*неожиданно*). А теперь и я хотел бы внести предложение — не познакомиться ли нам наконец? (*С насмешливым полупоклоном.*) Меня зовут Владимир Васильевич Глебов!

Наташа. А меня зовут Наташа.

Любочка. Меня — Люба.

Пинегин (*подхватил игру*). А меня — дядя Коля. Первый пункт анкеты заполнен. Дальше, извиняюсь за выражение, пол, ну, тут все ясно — женский, женский, мужской, мужской. Сомнений, надеюсь, нет. Дальше — возраст... Хотя, погодите-ка, возраст я определяю сам! (*Торжественно.*) Протяните мне, Любушка, вашу прелестную ручку!

Любочка. Какую?

Пинегин. Левую, конечно. Левую, которая ближе к сердцу.

Любочка (*с интересом*). Пожалуйста.

Пинегин (*разглядывая Любочкину руку*). А это что ж за шрам?

Любочка (*почему-то смутилась*). Так. Порезала.

Глебов (*сдвинул брови*). Вот, вот, вот! Почему так нелепо устроено, почему всякая беда, самая малая, самая ничтожная, самая глупая, непременно оставляет следы: шрамы, ожоги, морщины, седые волосы! И почему же счастье, даже самое большое, не оставляет следов?

Наташа (*осторожно и легко положила руку на руку Глебова*). Зачем вы так говорите, Владимир Васильевич? Вы же так не думаете и...

Глебов (*перебил*). Милая вы девушка, Наташа, что вы понимаете, черт побери?! Почему вы думаете, что я так не думаю? (*Потер рукой лоб.*) И что вы вообще можете знать о том, чего я хочу, что думаю, о чем мечтаю?!

Наташа (*после паузы*). У вас очень сильно кружится голова?

Глебов. Нет.

Любочка. Так сколько же мне лет, дядя Коля?

Пинегин. Сейчас, сейчас: у вас, Любушка, какая-то невероятно запутанная линия жизни. (*Наобум.*) Двадцать два!

Любочка. Нет.

Пинегин. Двадцать три.

Любочка. Нет.

Пинегин. Двадцать один.

Любочка. Не мучайтесь, Николай Сергеевич, На -

таша родилась в тридцать третьем году, а я — в тридцать четвертом. Сумеете сосчитать, сколько это выходит?

Пинегин. Все ясно! Вам, Любушка, двадцать пять, а Наташеньке двадцать шесть...

Глебов. Чудеса кибернетики! Ты, милый мой, отлично мог бы выступать в цирке с мировым аттракционом — «Человек — счетная машина!» Наташе не двадцать шесть, а двадцать пять...

Любочка. А мне не двадцать пять, а двадцать четыре! И довольно, Николай Сергеевич, отдайте мне мою руку!

Пинегин. Ну, Любушка!

Любочка. Я хочу есть.

Пинегин. Тогда подчиняюсь.

Глебов (*снова вытащил из кармана пачку сигарет*). Еще раз прошу у дам разрешения закурить.

Наташа. Пожалуйста. Пожалуйста, курите, Владимир Васильевич. Угостите, кстати, и меня тоже.

Глебов (*удивленно*). Вы курите?

Наташа. Иногда. Несколько лет назад мы с Любочкой работали в одном таком весьма малоприятном месте, где очень трудно было не закурить.

Глебов (*протянул Наташе сигареты*). Прошу! (*Щелкнул зажигалкой, дал прикурить Наташе, закурил сам.*) А где вы работали, Наташа? В каком таком малоприятном месте? Чем вы занимаетесь в жизни? Что делаете?

Наташа. Обедаем.

Любочка. В ресторане «Арагви».

Наташа. С Владимиром Васильевичем Глебовым и Николаем Сергеевичем Пинегиным.

Глебов (*упрямо*). Чем вы занимаетесь? Я спрашиваю серьезно.

Наташа (*с уже знакомой ленцой*). А если мне не хочется говорить серьезно, Владимир Васильевич? Для серьезных разговоров будет другой час и другое место. А сейчас мне хочется веселиться.

Любочка. Жаль, что музыки здесь почти не слышно, правда?

Пинегин (*вскочил*). Музыки?! Музыка будет! Я же,

деточки, вам сказал: Коля Пинегин расшибется в лепешку, но Коля Пинегин сделает для вас решительно все! Поняли, нет?! Сейчас будет музыка! (*Подбегает к пианино, сел, поднял крышку, не без щегольства проиграл несколько бурных и стремительных пассажей.*)

Любочка (*захлопала в ладоши*). Ах, как здорово!

Пинегин (*поет*).

В именье своем великолепном
Жил Лев Николаевич Толстой,
Не ел ничего он мясного,
Ходил он по саду босой...

Любочка. Я знаю, знаю эту песню — очень смешная! Спойте!

Наташа (*резко*). А я ее не люблю!

Пинегин. Почему? Забавная же песня, Наташенька! Пародийная, так сказать! Или у вас с нею связаны какие-нибудь особенные воспоминания?

Наташа. Особенности? Нет! (*Покачала головой.*) Просто мне представляется настоящая Ясная Поляна, понимаете? Ну, та, где могила Толстого, дом, библиотека, каретный сарай, и... и мне почему-то становится стыдно, когда я слышу, как поют эту песню! Спойте лучше другое что-нибудь, ладно?

Пинегин. Слушаю и повинуюсь!

Любочка (*сердито*). Ты назло мне. Нарочно.

Глебов (*кивнул Наташе*). Молодчина!

Наташа (*удивленно*). Что вы, Владимир Васильевич?!

Пинегин (*подумав, берет несколько громких аккордов и снова начинает петь*).

Подари на прощанье мне билет
На поезд куда-нибудь!
А мне все равно, куда он пойдет,
Лишь бы отправиться в путь!
Ах, мне все равно, куда он пойдет,
Лишь бы отправиться в путь!

Глебов (*сбоку, чуть наклонив голову, внимательно разглядывает Наташу*). Странная вы девушка, Наташа!

Наташа. Чем же, Владимир Васильевич? Самая обыкновенная, поверьте!

Г л е б о в. Может быть. Может быть, тем и странная, что самая обыкновенная!

П и н е г и н (*поет*).

Ты скажи на прощанье, как всегда,
Мне несколько милых фраз.
А мне все равно, о чем и зачем,
Лишь бы в последний раз!
Да, мне все равно, о чем и зачем,
Лишь бы в последний раз!..

Н а т а ш а (*Глебову, тихо*). А вот вас я и вправду представляла себе совсем-совсем другим... Я думала, что вы старый...

Г л е б о в. А разве я молодой?

Н а т а ш а. Молодой.

Г л е б о в (*усмехнулся*). Это забавно! Не далее как сегодня утром меня убеждали в том, что я старик.

П и н е г и н (*поет*).

Мне б не помнить ни губ твоих, ни рук,
Не знать твоего лица...
А мне все равно — что север, что юг,
Ведь этому нет конца!
Ах, мне все равно — что север, что юг,
Ведь этому нет конца!..

Молчание.

Л ю б о ч к а. Хорошая песня. Грустная.

П и н е г и н. Пробирает?

Л ю б о ч к а. Я люблю, когда поют грустное.

П и н е г и н (*хвастливо и шумно*). То-то! Собственного сочинения, деточка, песня! Может, значит, еще старик Пинегин, а? Не высох порох в пороховницах? Жжем глаголом сердца людей!

Г л е б о в. Ну что ты все врешь да хвастаешь! И вовсе это не твоя песня. Мелодию ты украл, первые строчки украл...

П и н е г и н. Не украл, Володечка, а позаимствовал и творчески переработал! Понял, нет?! Не умеешь ты, старина, выразаться дипломатически. Сразу видно, что ты

не в международном отделе работаешь, а во «внутренней жизни»! (*Девушкам.*) А теперь, деточки, я вам исполню...

Л ю б о ч к а. Николай Сергеевич, миленький, вы извините, но вы знаете, который час? Уже без четверти семь, нам пора. Надо ведь еще билеты поменять, чтобы сидеть всем вместе... Будем собираться, хорошо? Пора!

П и н е г и н (*бросил выразительный взгляд на Глебова*). Пора? Что ж, пора так пора! Пришла пора — она влюбилась! (*Встал, приотворил дверь в коридор, позвал.*) Эй, отец!

На пороге кабинета мгновенно появляется О ф и ц и а н т.

О ф и ц и а н т. Что прикажете?

П и н е г и н (*со вздохом*). Счет готовь. Опись убытков, как говорится!

О ф и ц и а н т (*вытащил из нагрудного кармашка густо исписанный листок*). А счетик у меня готов уже для вас! Прошу!

П и н е г и н (*проглядел счет, хмыкнул*). Так-с! Выразительно! Все ты нам припомнил, отец! А вот о боге ты забыл! Забыл ты, отец, о боге!

Г л е б о в (*с беспокойством*). Что там?

П и н е г и н. На, полюбопытствуй! (*Официанту.*) Ты погоди немножко, отец, погуляй пока, а мы тут сейчас...

Н а т а ш а (*громко*). Будьте добры, Владимир Васильевич, покажите мне счет!

Г л е б о в. А зачем, Наташа? Вы не беспокойтесь, мы все уладим и...

Н а т а ш а (*настойчиво*). Дайте мне счет, Владимир Васильевич! Ну, я вас очень прошу — покажите мне счет!

Г л е б о в (*от растерянности все еще ничего не понимая*). Пожалуйста.

Н а т а ш а (*бегло просмотрела счет*). Здесь все правильно?

О ф и ц и а н т. Все, гражданочка, копейка в копейку! Мы лично ошибок не делаем! Нам лично они ни к чему! Все копейка в копейку!

Г л е б о в (*тихо*). Что происходит?

Н а т а ш а (*Официанту*). Хорошо, товарищ! (*Кивнула Любочке.*) Любаша!

И девушки, о чем-то коротко пошептавшись, опять одинаковым движением раскрывают свои темно-зеленые сумочки, достают деньги и расплачиваются с официантом.

Любочка (*важно*). Получите, товарищ!

Глебов (*резко*). Что происходит?

Официант. Душевно благодарю, душевно благодарю, милости просим, захаживайте... (*Быстро уходит.*)

Глебов. Что происходит, я спрашиваю?

Наташа (*пытаясь его успокоить*). Ну, Владимир Васильевич...

Глебов (*усмехнулся*). Да за кого же вы нас, черт вас побери, принимаете?! За подонков? За шпану?! За мальчишек, которых вы подобрали на улице?! Что с вами? Кто дал вам право, милые вы мои, так оскорблять нас?..

Наташа (*смущенно*). Ну не сердитесь, Владимир Васильевич... Ну, пожалуйста... Почему вы сердитесь?

Глебов. А вы не понимаете?

Наташа. Нет. Ведь не вы же пригласили нас в «Арагви», ведь правда? Вы звали нас в кафе-мороженое, а пойти в «Арагви» придумали мы. И обед мы заказывали...

Любочка. Самые дорогие блюда выбирали!

Наташа. Что же тут такого? Вы считали бы вполне естественным заплатить, а почему же не можем заплатить мы? Почему это кажется вам обидным и оскорбительным? Не понимаю.

Глебов (*сдерживая себя*). Очень жаль, что не понимаете! Объяснить этого, увы, нельзя — это можно только понять! (*Кивнул на счет, который держит Наташа.*) Сколько там было всего?

Наташа (*протянула Глебову счет*). Здесь записано.

Глебов (*вытащил из кармана деньги, положил на стол*). Отлично! Вот, прошу, тут моя доля!

Любочка (*у нее задрожали губы*). Владимир Васильевич!

Глебов. Ну, а засим, как принято говорить, спасибо за компанию, разрешите откланяться!

Любочка (*едва не плачет*). Владимир Васильевич!

Пинегин (*после того как выяснилось, что платить по счету не нужно, он снова необычайно оживился*). Нет,

нет, нет, старик, дорогой, так не годится! Что значит — разрешите откланяться? Почему — разрешите откланяться?! Так не годится! Не разрешаем откланяться! А Большой театр? А Московский университет?

Н а т а ш а (*строго*). Погодите, Николай Сергеевич. У Владимира Васильевича есть, вероятно, дела! (*Взглянула на Глебова*.) Вам действительно необходимо идти, Владимир Васильевич?

Г л е б о в (*усмехнулся*). Какой знакомый вопрос! (*После долгой паузы, сухо и сдержанно*.) В котором часу начинается «Лебединое»?

Л ю б о ч к а. В семь тридцать.

Г л е б о в. Тогда нам, очевидно, пора?

П и н е г и н (*во весь голос*). Старик, дорогой, виват, дай я тебя поцелую! Ты человек, старик! (*Бросился к вешалке, подал девушкам их дождевики*.) В путь, дети мои, в путь, вперед! Путешествие продолжается! Эсквайр Пинегин и сопровождающие его лица, отобедав в ресторане «Арагви», направляются в Государственный академический Большой театр Союза ССР на балет «Лебединое озеро», музыка П. И. Чайковского! В путь, детки мои, вперед, путешествие продолжается! Поняли, нет?!

Занавес

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

Наступил вечер.

Еще горит отблеск заката в окнах верхних этажей домов и на шпилях высотных зданий, а внизу, на улицах, уже засияли вечерние огни, осветились витрины магазинов, побежали рекламы над подъездами кинотеатров, вспыхнула цепочка фонарей вдоль набережных Москвы-реки — и невольно начинает казаться, что город за каких-нибудь полчаса стал словно красивей и чище, деревья зеленее, улицы просторнее, прохожие нарядней и веселее.

Отчего это происходит?

Может быть, оттого, что уже мчатся по улицам города парочки друг другу навстречу; и толпятся влюбленные у выходов из метро, у памятников и у Центрального телеграфа; и прохожие бойко раскупают у лукавых и нахальных молдаванок — неведомо откуда взявшихся, днем их почти никогда не видно — махровые гвоздики, розы и первые астры — предвестники близкой осени?

А может быть, это происходит оттого, что уже спешат к вокзалам шумные компании с рюкзаками, гитарами и рыболовными доспехами и с азартом штурмуют вагоны дачных электропоездов; и стекаются зрители к ярко освещенным подъездам театров и кино; и заиграла музыка в парках, и, услыша эту музыку, люди не могут не подчиняться ее волшебной власти, — чеканному ритму и плавному кружению вальсов?

Начинается летний субботний вечер — пора заслуженного отдыха, чаепитий на дачных верандах, прогулок по театральным фойе, неторопливых дружеских бесед,

быстрого любовного лепета, треньканья гитар, песен, веселья.

Но только ли одного веселья? Не подводится ли в эти вечерние часы некий итог всему, что сделано, и может ли каждый положить руку на сердце твердо сказать, что день этот был им прожит как должно, как следовало его прожить, как хотелось ему прожить?

Давайте посмотрим — я продолжаю рассказ.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Суббота, вечер, двадцать один час.

Большой театр. Ложа бенуара. Только что начался антракт между вторым и третьим действиями балета «Лебединое озеро», мужчины ушли в фойе — покурить, и девушки одни. Они сидят, опершись локтями на бархатный барьер ложи, грызут карамельки и с детским любопытством разглядывают публику в зрительном зале.

Любочка (*весело*). Наташа, знаешь, та кривляка, в первом ряду, которая с лорнетом, — она сейчас посмотрела на меня, а я ей язык показала!

Наташа. Она пожалуется билетеру, и тебя выведут.

Любочка. Не выведут! (*Тряхнула головой, рассмеялась.*) Нет, по-моему, все получилось необыкновенно удачно — и знакомство, и обед, и театр. И с билетами все тоже здорово вышло. И как хорошо, что Владимир Васильевич поехал с нами... Он интересный, верно?

Наташа (*равнодушно*). Интересный.

Любочка. Он очень интересный, очень! Я даже могла бы влюбиться в него, честное слово!

Наташа. Только этого не хватало! Ты шутишь, надеюсь?

Любочка. Нет.

Наташа. Только этого не хватало! (*Сердито посмотрела на Любочку.*) Если ты не шутишь, то мы сейчас же, немедленно отсюда уйдем!

Любочка. Почему? А «Лебединое озеро»? Нет уж, как хочешь, а я досмотрю до конца! (*Передернула плечами.*) Чего ты раскипятилась? Что я такого сказала? А ты сама не могла бы в него влюбиться?

Наташа (*честно*). Могла бы. Но не влюблюсь. Не имею права. И ты не имеешь права.

Любочка (*поддразнивая*). Ну немножко-то можно. Чуть-чуть. На один сегодняшний вечер.

Наташа. И на один вечер нельзя.

Любочка. Глупости.

Наташа (*обняла Любочку, певуче проговорила*). Любаша ты Любаша, дорогая ты моя подружка! Если б ты знала, как мне за тебя боязно!

Любочка. А за себя тебе не боязно?

Наташа (*сурово*). Нет. Я сильнее тебя. Я умею, если нужно, быть грубой. Я не боюсь остаться одна. Я не жду праздников. И не хочу праздников. А ты девчонка! Ты, как в детстве, все выглядываешь в окошко — не спешит ли за тобой фея-крестная в золоченой карете, в которой ты поедешь к принцу на бал! (*Помолчав*.) Может быть, все будет хорошо. Даже наверное будет хорошо. Обязательно будет хорошо. Должно быть хорошо!.. Но полагаться на это нельзя!

Любочка. Мы ведь решили, Наташа, что сегодня говорить об этом не будем.

Наташа. Прости.

Любочка (*после паузы*). А как ты думаешь — они догадываются?

Наташа. Вряд ли.

Любочка (*снова развеселившись*). Здорово! Слушай, ты раньше когда-нибудь в ложе бенуара сидела?

Наташа. Нет.

Любочка. Нам сегодня определенно везет! (*Смешно наморщила нос*.) Из партера, конечно, смотреть удобнее, но очень уж красиво звучит — ложа бенуара! Вроде как мы по-французски разговариваем! (*Тонм манерной светской беседы*.) «Скажите, Любовь Васильевна, где вы были в прошлую субботу?» — «В прошлую субботу мы были в Большом театре на балете «Лебединое озеро» и сидели в ложе бенуара...»

Наташа (*засмеялась*). Дурочка!..

Сзади отворяется дверь, и в ложу входят Глебов и Пинегин. В руках у них по коробке конфет и по огромному букету цветов.

Любочка. Покурили? (*Заметила цветы.*) Ой, а это откуда?

Глебов. Это вам, Наташа.

Наташа. Спасибо.

Пинегин. И вам, Любочка.

Любочка. Астры! Смотри, Наташка, первые астры! Неужели осень уже скоро?

Глебов. Август, ничего не поделаешь!

Любочка. И гвоздики! (*Уткнулась носом в цветы.*) Гвоздики, мои любимые! И как пахнут! Где вы достали такую прелесть?

Пинегин (*шумно*). Достали, детки, достали! Для таких людей и цветов не достать?! По особому заказу достали! Крикнули клич, и все лучшие цветочники города Москвы сбежались под колоннаду Большого театра...

Наташа. Тогда еще раз — спасибо.

Глебов. А теперь за что?

Наташа. Ну, хотя бы за то, что вы умеете вовремя кликнуть клич!

Глебов (*хмуро*). Мы уже знаем о том, что вы умная. А глупой вы бываете когда-нибудь?

Наташа. Часто. И даже — главным образом. Преимущественно! Неужели вы, Владимир Васильевич, такой знаменитый журналист, до сих пор еще не успели это заметить?

Глебов (*усмехнулся*). Я уже давным-давно не знаменитый журналист. И не был, кстати, им никогда. Просто — мне везло. Сидел я после фронта в отделе писем, томился, скучал, а тут вдруг Вадим Соколов, который должен был ехать с полярной экспедицией Бабочкина, в самую последнюю минуту по каким-то семейным обстоятельствам вынужден был остаться, меня за час буквально оформили — и я поехал вместо него! И все в этом роде! Например, спасатели искали Лужина на трассе, а я, как мальчишка, сбился с пути, попал в пургу, сам чуть не погиб и случайно, просто совершенно случайно, наткнулся на лужинский самолет!..

Пинегин (*подмигнул девушкам*). И совершенно случайно получил орден! Поняли, нет?!

Г л е б о в. Не остри! (*Задумчиво.*) Или возьмите историю, как я попал на Гавайи!.. Послали меня в поездку — писать о людях одного нашего танкера. Рейс был далекий, но очень простой, сто тысяч раз хоженный! Так надо ж было нам врезаться в какой-то невероятнейший для тех широт шторм, едва не пойти на дно и затем недели две с лишним отстаиваться в Гонолулу — чиниться и приводить себя в порядок!

Н а т а ш а (*удивленно*). Так это правда, что вы были в Гонолулу?

Г л е б о в. Был! (*С улыбкой.*) А вы не поверили? Вот почему вы интересовались гавайской рубашкой!

Н а т а ш а. Нет, нет, совсем не поэтому.

Г л е б о в. А почему?

П и н е г и н. Верьте, деточки, дяде Коле Пинегину! Каждое слово, которое произносит дядя Коля Пинегин, может быть, как скрижали и заповеди, высечено на мраморе! Каждое слово — вот Володечка не даст мне соврать! (*Придвинулся вместе со стулом поближе к Любочке.*) Ну-с, хорошо, дорогие мои, все это прекрасно и восхитительно, но поскольку руководство сегодняшним вечером возложено на меня, а руководить — это значит предвидеть, то я и хотел бы знать — что будет потом?

Л ю б о ч к а. Сейчас будет третье действие балета «Лебединое озеро»...

П и н е г и н. Музыка Чайковского! А потом?

Л ю б о ч к а. А потом будет четвертое действие.

П и н е г и н (*в ужасе*). Как?! Еще и четвертое?!

Л ю б о ч к а. Непременно.

П и н е г и н. Ты слышишь, Володечка?! А я-то, наивный человек, жил хрупкой надеждой, что действий всего три! Четыре, Любочка? Это точно?

Л ю б о ч к а. Точно.

П и н е г и н (*с тяжелым вздохом*). Да-а, вот уж, как говорится, плясали не гуляли! (*После паузы.*) Ну хорошо, а потом? Что будет после четвертого действия?

Л ю б о ч к а. Конец.

П и н е г и н. Вздор! Кончится спектакль, умрет злой волшебник, разгримируются феи, разойдутся зрители,

но мы-то с вами останемся! Что же мы с вами будем делать потом?

Любочка. Поедем на Ленинские горы — осматривать Московский университет.

Пинегин. Куда? Ты слышишь, Володечка?

Наташа. Все по плану, Николай Сергеевич. Вы сами его наметили — сначала «Арагви», потом «Лебединое озеро», потом Московский университет...

Пинегин. Наташенька, душенька, но нельзя же так...

Наташа. Почему — нельзя? Все шло до сих пор отлично. Все сбывалось. (*Обернулась к Глебову.*) Владимир Васильевич, вы поедете с нами на Ленинские горы?

Глебов. Поеду.

Пинегин. Так гибнут лучшие люди! (*Махнул рукой.*) Ладно, подчиняюсь большинству, едем — позадираем головы возле университета... А потом?

Наташа. А вы внесите какое-нибудь предложение, Николай Сергеевич, мы обсудим.

Пинегин (*небрежно*). Я думаю так: а почему бы нам, детки, не махнуть в гости к Володечке, в его новую квартиру на Боровском шоссе, и не выпить у него по чашке кофе?

Наташа. Вряд ли это удобно. Будет уже поздно и...

Пинегин. Поздно?! Кто сказал — поздно?! Посидим у Володечки в культурной обстановке, выпьем по чашечке кофе, послушаем Ива Монтана, посмотрим фотографии, поболтаем! (*Хлопнул Глебова по плечу.*) Что ж ты молчишь, старик? Я за тебя стараюсь, из кожи вон лезу, а ты молчишь! Приглашай гостей, Володечка, вымолви слово!

Глебов. Я ждал, пока иссякнет поток твоего красноречия.

Пинегин. В таком случае ты ждал напрасно! Поток моего красноречия иссякнуть не может!

В зале медленно гаснет свет.

Любочка (*усаживаясь поудобнее*). Начинается. Сейчас будем плакать. Всегда плачу во время третьего действия.

Г л е б о в. Приготовить запасной платок?

Л ю б о ч к а. Я буду плакать в цветы.

Н а т а ш а (*Глебову, тихо*). А вы тоже хотите, Владимир Васильевич, чтобы после Ленинских гор мы поехали к вам выпить по чашечке кофе?

Г л е б о в (*уклончиво*). Я буду очень рад, Наташа, видеть вас у себя в гостях.

Н а т а ш а. Это удобно?

Г л е б о в. Вполне.

Л ю б о ч к а. Тише, тише, товарищи, — начинается!

Вспыхивает таинственный свет рампы, вступает оркестр.

Н а т а ш а (*медленно, шепотом*). Хорошо, Владимир Васильевич. Мы согласны, мы поедem к вам выпить по чашечке кофе.

Г л е б о в (*прищурившись, взглянул на Наташу*). Вы смелая!

Н а т а ш а (*удивленно*). Смелая? Почему? Я верю вам. И потом, мне ужасно хочется поглядеть и понять, как вы живете.

Л ю б о ч к а (*сердито*). Тише, тише, товарищи, — начали!..

Перемена

Музыка. Свет. Это пролетающие мимо окон машины, гирлянды фонарей вдоль набережных Москвы-реки, это прожектор, прочертивший ночное небо, негромкий разговор под гитару и насмешливая флейточка, которая, неожиданно загрустив, принялась насвистывать какой-то немудреный вальс.

КАРТИНА ВТОРАЯ

В пути незаметно кончилась суббота и началось воскресенье.

Воскресенье, третье августа, ноль часов сорок минут. Набережная на Ленинских горах, напротив Московского государственного университета. Гранитные перила над обрывистым берегом Москвы-реки. Чуть в стороне — стеклянная будка телефона-автомата с настежь раскрытой дверью. Уже по-ночному пустынно и тихо. Наташа, Любочка, Глебов и Пинегин стоят, облокотившись на перила, смотрят вниз — на огни Москвы.

Любочка (*поежилась*). А ночь-то прохладная.

Глебов. Август, август, переменчивая пора, лето поворачивает на осень.

Пинегин. Ну, до осени еще далеко.

Наташа. Как кому.

Пинегин (*с внезапной обидой*). Это кого же вы, деточка, имеете в виду? Меня?

Наташа. Нет, нет, Николай Сергеевич, нет. Я имела в виду самое нехитрое соображение — у нас еще лето, а в иных краях уже осень и даже зима. Только и всего!..

Молчание.

Глебов (*негромко*). Есть что-то странно-тревожное в ночных огнях города, правда? Вон — осветилось окно, а вот — еще и еще... Чужое освещенное окно! Мне с детства всегда хотелось узнать: а кто там живет, за этим чужим освещенным окном? Может быть, там живут твои будущие друзья, может быть — враги, может быть — любовь... Вы где живете, Наташа?

Наташа. На Метростроевской улице. Ее отсюда, пожалуй, не видно. Хотя не знаю... Возможно, что те огни — Метростроевская!

Глебов. Возможно. А вы, Любочка?

Любочка (*хмуро*). Я живу далеко. От Автозавода еще две остановки троллейбусом. Так что отсюда, Владимир Васильевич, никто и никогда не увидит, как светится мое окно.

Пинегин. Детки мои, лирика лирикой, но кофе пить к Володечке мы, наконец, поедем? Время позднее, машину мы поставили, где нельзя...

Глебов. Не ври. Машину мы поставили, где можно.

Пинегин. Я хочу кофе!

Глебов. Вот надоел!

Пинегин. Я хочу кофе. И я требую слова. Не могу молчать. Поняли? Желаю высказаться — точка!

Наташа. Мы слушаем вас, Николай Сергеевич.

Пинегин. Я не понимаю, во-первых, почему, если мы приехали осматривать Университет, мы все время стоим к нему спиной? Невежливо и нелогично! Но это

еще полбеды! Я не понимаю, во-вторых, зачем мы болтаемся здесь на ветру, рискуя получить насморк, вместо того чтобы ехать к Володечке в культурную обстановку и пользоваться всеми благами цивилизации — ванной, газом, теплоцентралю...

Г л е б о в (*потер рукой лоб*). Ох, милый мой, до чего же ты надоел!

П и н е г и н. Я хочу кофе.

Молчание. Пинегин с обиженным видом засунул руки в карманы и принялся насвистывать какой-то немудреный вальс.

Л ю б о ч к а (*покосилась на Пинегина, вздохнула*). А верно, поздно уже.

П и н е г и н (*встрепенувшись*). Ну конечно, поздно! Конечно, Любушка-голубушка, поздно!! Поедем, товарищи, а?

Л ю б о ч к а (*негромко*). Поедем, Наташа?

Н а т а ш а. Мы обещали.

Л ю б о ч к а (*подумав*). Хорошо. Но только сперва я должна позвонить маме, а то она будет беспокоиться.

П и н е г и н. А вот — автомат. Пятнадцать копеек есть?

Л ю б о ч к а. Есть, спасибо.

Любочка заходит в будку телефона-автомата и, не закрывая двери, снимает трубку, набирает номер.

Г л е б о в. А о вас, Наташа, никто беспокоиться не будет?

Н а т а ш а. Нет, я живу одна.

Г л е б о в. А ваши родные?

Н а т а ш а (*сухо*). Я одна. Мои родные умерли еще в войну. Была тетка, но она года три назад вышла замуж и уехала с мужем в Казань. Обо мне беспокоиться, к счастью, никому.

Г л е б о в. Почему — к счастью?

П и н е г и н (*со смешком*). Почему? Не тебе, старик, об этом спрашивать, не тебе!

Г л е б о в. Не понимаю.

П и н е г и н (*подмигнул*).

Они меня истерзали
И сделали смерти бледней...

Г л е б о в (*медленно, с холодной злостью*). Ты очень хочешь, как я погляжу, чтобы сегодняшним вечером закончилось наше знакомство!

Л ю б о ч к а (*в телефон*). Мама? Ой, мамочка, милая, ты извини, что я так поздно! Я разбудила тебя? Ждешь? А мы с Наташей гуляем... Просто — гуляем. Мамочка, ты не сердись, но мы очень далеко, и я, наверное, останусь у нее ночевать. У Наташи. Утром буду.

П и н е г и н (*в полном восторге толкнул Глебова локтем в бок*). Что я тебе говорил, старик?! Настоящие люди! Настоящие люди, старик, понял, нет?!

Л ю б о ч к а (*в телефон*). Ну какая разница! Какая разница — сегодня или вчера! Сколько можно нервничать и сходить с ума! Мамочка, милая, очень тебя прошу — не сердись, ложись спать, спи спокойно, утром я буду. Целую тебя, не сердись, пожалуйста, спокойной ночи!..

П и н е г и н. Умница! И Наташенька умница, и Любочка умница! Ну что за компания — ученый совет!..

Л ю б о ч к а вешает трубку, проверяет пальцем, не запала ли монетка, и с хмурым лицом решительно выходит из будки телефона-автомата.

Л ю б о ч к а (*быстро и коротко*). Можем ехать.

Г л е б о в. Как вы необычно сказали, Любочка, — сегодня или вчера.

Л ю б о ч к а. Необычно? А что тут необычного?

Г л е б о в. Ну, принято говорить — сегодня или завтра.

Л ю б о ч к а (*нервно*). Разве? Не знаю. Я не обратила внимания. Сказала первое, что пришло в голову. Едем?

Н а т а ш а (*наблюдая за Глебовым*). А может быть, это все-таки неудобно?

Г л е б о в. Что именно?

Н а т а ш а. Ехать к вам. Мы не обидимся, Владимир Васильевич, вы скажите нам прямо — это удобно? Мы не поставим вас в неловкое положение?

П и н е г и н. Что за чепуха, что за вздор?! Можно подумать, что Володечка не хозяин в своем одиноком доме! (*Глебову, свистящим шепотом.*) Да не молчи же, старик!

Г л е б о в (*негромко*). Все удобно, Наташенька. Все аб-

солютно и решительно удобно. У меня просто опять почему-то начала гудеть и кружиться голова — потому, наверное, я и не спешил забираться в машину!

Наташа (*подняла руку, тыльной стороной ладони прикоснулась ко лбу Глебова*). У вас жар, Владимир Васильевич.

Глебов. Нет, нет. У меня нет жара.

Наташа. Определенно — жар.

Глебов. Ну, может быть. Небольшой. По временам у меня случаются этакие довольно странные приступы. Похожи на малярию, но продолжаются часа два-три, не дольше! (*Через силу улыбнулся*.) Будем надеяться, что сегодня все обойдется!

Наташа (*деловито*). Акрихин у вас дома есть?

Глебов. Имеется, надо полагать! (*Снова улыбнулся, кивнул головой*.) Смотрите-ка, а окна гаснут уже понемногу.

Любочка (*тихо*). Гаснут. Пусть гаснут. Спокойной вам ночи, добрые люди.

Пинегин (*приплясывая на месте*). В путь, деточки, в путь! Путешествие продолжается! (*Подтолкнул Глебова*.) Заводи машину, старик!

Глебов. Сейчас поедем.

Молчание.

Любочка. Тихо как!

Глебов. Вы когда-нибудь слышали, девушки, сказку про дом с золотыми окнами?

Любочка. Нет. Расскажите.

Пинегин. В машине, в машине. Не забывайте, деточки, что живем мы в двадцатом веке и Шехерезаде полагается сидеть за баранкой... А что? А? Неплохой сюжет, Володечка?! Могу уступить по дружбе! Шехерезада работает у калифа шофером и свои истории рассказывает по спидометру: на один километр — одна история.

Любочка. Не перебивайте, Николай Сергеевич! (*Глебову*.) Мы слушаем.

Глебов (*помолчав, выдохнул воздух*). Значит, дом с золотыми окнами... Высоко в горах, далеко от людей,

жил пастушонок. Он там и родился — высоко в горах, там и вырос, научился пасти коз, играть на дудочке и ни разу в жизни не спускался вниз в долину, где на берегу зеленой реки стоял город. По вечерам, когда козы ложились спать, пастушонок подходил к краю обрыва и смотрел на этот город, и он ему очень нравился — красивый, чистый, с прямыми улицами и нарядными домами под красными черепичными крышами. Но особенно нравился пастушонку один маленький дом, стоявший на берегу реки. Окна в этом доме были сделаны из самого настоящего, самого чистого золота! (*Снова потер рукой лоб.*) И так они горели, эти окна, и такое милое личико выглядывало из-за золотых ставен, что пастушонок сложил обо всем этом песенку и пел ее козам, которые уныло жевали траву и ничего, разумеется, не понимали...

Наташа (*внезапно*). Владимир Васильевич, вы извините, но я предлагаю ехать. Вы доскажете вашу сказку в машине.

Пинегин (*восхищенно*). Человек! Личность! Поняли, нет?!

Глебов (*с удивлением и обидой*). Что с вами, Наташа?

Наташа (*глядя куда-то в сторону*). Очень пересохло в горле. Очень хочется выпить по чашечке кофе.

Глебов. Как вам будет угодно!

Пинегин. Личность!.. Поехали!

Любочка. Жаль! Но вы доскажете вашу сказку, Владимир Васильевич?

Глебов (*сухо*). Нет. Я отстал, очевидно, от века и еще не научился за рулем рассказывать сказки!

Наташа. Надо ехать.

Любочка. Очень жаль!

Глебов. Ничего, Любочка, как-нибудь в другой раз доскажу!

Глебов закуривает. Любочка и Наташа, положив цветы и коробки с конфетами на перила, надевают дождевики.

Любочка (*тихо*). Как тебе не стыдно! Что с тобой?

Наташа. Дурочка!

Любочка. Что случилось?

Н а т а ш а. У него же приступ, дурочка! Он же из последних сил держится.

П и н е г и н (*громко*). Поторапливайтесь, детки!..

Молчание. Издалека, с Красной площади, ясный и чистый звон кремлевских курантов.

Л ю б о ч к а (*вздрыгнула, схватила Наташу за руку*), Ты слышишь, Наташка?

Н а т а ш а. Слышу!..

Молчание.

Г л е б о в (*сдержанно*). Что ж, товарищи, можем ехать. Н а т а ш а. Хорошо. Мы готовы.

П и н е г и н. Поехали, детки мои, поехали! Вперед, путешествие продолжается!..

Перемена

Музыка. Свет. Это летящие во тьму автомобильные фары, это огоньки самолета, идущего на посадку, флейточка, засвистевшая снова свою озорную уличную песенку, и негромкие позывные московской радиостанции.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Воскресенье, утро, шесть часов тридцать минут.

У Глебова в новом доме на Боровском шоссе. Большая комната, которая служит хозяевам и кабинетом и спальней. Много книг. Но сейчас в этой комнате, строго и хорошо обставленной, присутствует странный, отчетливо ощутимый отпечаток чистоты и вместе с тем заброшенности, свойственный всем городским квартирам в летнюю пору, когда хозяева в отъезде или на даче.

За окнами уже рассвело, но утро хмурое, небо в плотной пелене туч. Г л е б о в с головой, туго обвязанной мокрым полотенцем, сидит на валике дивана и, с интересом прищурившись, смотрит на П и н е г и н а, как-то сразу и явно постаревшего и неожиданно маленького в огромном кожаном кресле, в которое его усадили.

Около Пинегина хлопочут девушки — Л ю б о ч к а и Н а т а ш а.

Н а т а ш а. Йодом надо, Николай Сергеевич, обязательно надо йодом!

П и н е г и н (*сварливо, прижимая к щеке носовой платок*). Не надо йодом. Зачем?

Н а т а ш а (*усмехнулась*). Ногти не стерильны.

П и н е г и н (*сердито взглянул на Любочку*). Придумала тоже моду — царапаться! Что это за манера такая — царапаться?!

Л ю б о ч к а. Я же не нарочно, Николай Сергеевич. Вы сами виноваты. Вы начали глупости всякие говорить, приставать, а я хотела только руку вашу отвести — и случайно задела.

П и н е г и н. Я с ней — как с человеком, как с нормальным взрослым человеком, а она... Девчонка! (*Заорал*.) Не мажьте меня йодом, я вам говорю!

Г л е б о в. Ты скажи спасибо, что с тобой еще возятся! А ты вопишь, как свинья!

П и н е г и н (*плаксиво*). Теперь у меня будет сердечный припадок.

Г л е б о в. С чего это вдруг?

П и н е г и н. Обязательно, вот увидите! (*Обхватил руками голову*.) Боже мой! И зачем мне все это было нужно? Зачем?! Зачем я потащился в этот идиотский ресторан, в этот бессмысленный театр, зачем вообще мне были нужны, как говорится, эти танцы перед обедом?! А теперь, пожалуйста, получайте сердечный припадок!

Г л е б о в (*насмешливо*). Уже начался?

П и н е г и н. Скоро начнется, я чувствую! (*Оттолкнул Наташину руку*.) Нет у меня никакого пульса, не проверяйте!

Г л е б о в (*неожиданно засмеялся*). Ну и ну, веселенькая была ночка! Главное, девушки, кавалеры у вас хороши, отменнейшие кавалеры! Один — с расцарапанной физиономией и возможным в недалеком будущем сердечным припадком... А другой... Про другого я даже и говорить не хочу! Замучились вы со мной?

Н а т а ш а. Вам легче?

Г л е б о в. Легче.

Наташа. А голова?

Глебов. Кружится немного. Я всегда после этих приступов чуть-чуть шалый.

Наташа. Зачем же вы поднялись, Владимир Васильевич? Вам надо лежать.

Глебов. Не хочется.

Пинегин (*заерзал в кресле*). Полежи, старик, полежи, а? Закроем, понимаешь, шторы, чтобы свет глаз не резал, Наташенька с тобой побудет, а мы с Любушкой-голубушкой на кухню пойдем — сварим вам кофейку...

Глебов. Ты все еще не угомонился? А как же твой сердечный припадок?

Пинегин. Можно по просьбе уважаемой публики отменить. В том случае, если Любушка-голубушка пойдет варить со мной кофе.

Глебов. Ты в зеркало на себя посмотри!

Любочка (*хмуро*). Я не пойду с вами больше варить кофе, вы пристааете! (*Зевнула, похлопала себя ладошкой по губам.*) Будем собираться, Наталья? Который час?

Наташа. Половина седьмого. Какое-то время неопределенное — ни туда ни сюда.

Молчание. Любочка, не зная, чем ей заняться, обходит комнату, разглядывает книги, останавливается у окна.

Любочка. Рассвело совсем уже, а небо в тучах! (*С испугом.*) Наташка, что же мы делать-то будем? Ты посмотри — все небо в тучах.

Наташа. Разойдутся.

Любочка. А если не разойдутся?

Наташа. Пускай тогда это беспокоит не нас.

Глебов. В чем дело, девушки? Что за бюро прогноза?

Пинегин. Они синоптики, Володечка, вот они кто, понял?! Синоптики-электрики! (*Запел на мотив из «Сильвы».*) Синоптик-электрик, синоптик молодой...

Глебов. Любочка, будьте добры, заткните ему рот носовым платком!

Любочка. Он задохнется.

Глебов. Вот и хорошо.

Пинегин. Бессердечные люди!

Глебов. Мы бессердечные люди? Мы, мой милый, образец кротости и доброты... Другие давным бы давно выставили тебя отсюда за все твои номера, а мы терпим.

Молчание. Тишина. Только очень громко тикают большие, стоящие на столе часы.

Любочка (*снова принялась бродить по комнате*). Ах ах-ах! (*Остановилась*.) Владимир Васильевич, а помните, вы обещали показать альбом с фотографиями... Где они?.. Можно поглядеть?

Глебов. Ну, разумеется! (*Выдвинул ящик письменного стола, достал несколько альбомов с фотографиями, подал Любочке*.) Пожалуйста!

Пинегин (*сонным голосом*). Там и я есть.

Глебов. Там тебя нет.

Пинегин. Выбросил?

Глебов. Сегодня выброшу.

Любочка (*устраиваясь с альбомом на диване*). Наташка, иди смотреть.

Наташа. Ты погляди, а потом я! (*Подошла к окну*.) Я воздухом подышу.

Глебов (*негромко*). Очень замучились? Простите, Наташенька! До чего же глупо все вышло!

Наташа. Глупо? (*Покачала головой*.) Нет, Владимир Васильевич, что вы, — все вышло отлично!

Глебов. Не понимаю. Вы же говорили, что хотите веселиться, слушать музыку, танцевать, а вместо этого вам чуть не полночи пришлось возиться со мной — ставить мне компрессы и отпаивать акрихином... Кстати, откуда вы это все умеете? Вы медсестра? Врач? (*Не дождавись ответа*.) Почему вы молчите?

Пинегин. Наши дамы полны тайн, как сундук товарища Кю!

Глебов. Сам придумал?

Пинегин. Сам, сам, честное слово — сам.

Глебов. Оно и видно. Очень жаль, что Любочка не послушалась меня и не заткнула тебе рот платком! (*Снова в упор взглянул на Наташу*.) Почему вы молчите, Ната-

шенька? Или все еще не наступило время для серьезного разговора?

Наташа (*поежилась*). Не смотрите на меня так, Владимир Васильевич!

Глебов (*тихо*). Как — так? Почему не посмотреть?

Наташа. Ну, была все-таки бессонная ночь. Я, вероятно, очень страшная сейчас, некрасивая, трепаная!..

Глебов. Нет, вы красивая. Вам бессонная ночь к лицу. В юности все к лицу — даже бессонные ночи! (*Очень тихо и медленно.*) Волосы пепельные, и лицо усталое, да, но кожа тонкая-тонкая, почти прозрачная, и глаза большие, огромные — не то зеленые, не то серые... Какого цвета у вас глаза, Наташа?

Наташа. Не знаю. Всякого.

Глебов (*усмехнулся*). Напрашивается пошлейшее сравнение — как море! Сравнение пошлейшее, а точней не придумаешь!

Пинегин. Я бы придумал.

Глебов (*не оборачиваясь*). Замолчи, убью!

Любочка (*перелистывая альбом, нараспев*). Интересно как!

Глебов (*все так же в упор глядя на Наташу*). Значит, вам, Наташенька, двадцать пять лет. Двадцать пять. А мне сорок. Это много — сорок, верно?

Наташа. Нет.

Глебов. Нет, много. А вам всего-навсего — двадцать пять. И волосы у вас пепельные. И глаза у вас — не то зеленые, не то серые! (*Положил руки Наташе на плечи.*) Так какого же цвета у вас глаза, Наташенька?

Наташа (*тихо, не двигаясь*). Не нужно, Владимир Васильевич!

Глебов. Почему?

Наташа. Не нужно.

Глебов. Почему, Наташенька?

Наташа. Не нужно.

Глебов. Почему?

Наташа (*резко*). Я не хочу! И вам же самому будет неприятно, если я рассержусь и мы поссоримся... Ну вот все равно как Любочка с Николаем Сергеевичем!

Г л е б о в. Ах, так?! Как Любочка с Николаем Сергеевичем?! (*Со смешком.*) Да-а, надо признать, что и это сравнение тоже не из удачных! (*Прищурился.*) Вы милая и прелестная девушка, Наташа! И вам всего двадцать пять лет! Но вы тем не менее взрослый человек! Вы не девчонка и не школьница! О чем вы думали, когда согласились поехать ко мне...

Н а т а ш а (*перебила*). Вы считаете, Владимир Васильевич, что, согласившись поехать к вам, мы с Любашей взяли на себя некоторые обязательства и дали вам некоторые права... Так, что ли?

Г л е б о в (*отрывисто*). У меня есть дочь Машка. Она еще малыш. Я ее бесконечно люблю. Но при всей моей любви, если я когда-нибудь узнаю, что она провела ночь в обществе мало знакомого ей мужчины, была с ним в ресторане, в театре, поехала к нему на квартиру, — вряд ли я ей поверю, что она...

Н а т а ш а (*снова перебила, резко*). У вас есть дочь Машка. А у меня нет отца! Меня некому подозревать. И бранить некому. Но ведь меня и не за что бранить! Разве я дурно себя вела? Разве я в чем-то провинилась? Почему человек, с которым я познакомилась на улице, должен непременно оказаться дурным человеком? Почему сразу и заранее я должна подозревать его в грязных мыслях и нечистых намерениях? Вон Любочка знала своего бывшего мужа с детства, а вышла за него замуж — и через полгода сбежала.

П и н е г и н (*хохотнул*). Не понравилось?

Л ю б о ч к а (*коротко и равнодушно*). Подлец оказался.

П и н е г и н. Пойдемте кофе варить, Любушка-голубушка.

Л ю б о ч к а. Не пойду.

Н а т а ш а. Тем более что вы, Владимир Васильевич, вовсе не были для меня таким уж совсем незнакомым человеком! (*Улыбнулась.*) Я даже писала о вас когда-то...

Г л е б о в. Писали? Обо мне? Где?

Н а т а ш а. В школьном сочинении. Нам задали сочинение на тему «Кем я хочу быть». А в ту пору как раз печатались ваши очерки об экспедиции Бабочкина. Вот я и

написала о летчике Лужине, о радисте Быстрове, об академике Бабочкине и о журналисте Глебове!

Г л е б о в. Тот Глебов был лучше?

Н а т а ш а (*жестко*). Лучше. Тот Глебов был проще. Спокойней. А этот Глебов почему-то весь напряжен. И нервничает. И сам не очень-то хорошо знает, кем ему быть — добрым или циничным, насмешливым или простым...

Г л е б о в (*с усмешкой*). Мне уже глупо хотеть быть кем-то. Мне уже надо быть тем, что я есть.

Н а т а ш а. Почему же не быть Глебовым, Владимир Васильевич? Разве этого мало?

Молчание. Неожиданно раздается негромкий, но отчетливый храп. Это уснул Пинегин, свернувшись клубочком в своем огромном кожаном кресле.

Г л е б о в (*обернулся*). Что такое?! (*Сердито*.) Растолкайте его, Любочка, что он тут, в самом деле!

Л ю б о ч к а (*простодушно*). Да пускай себе спит. Он же, поглядите, он старенький совсем, сморился, устал... Пускай спит! (*Встала, набросила на ноги Пинегину плед*.) Неудобно ему только, небось в кресле жестко.

Г л е б о в. Настоящий газетчик должен уметь засыпать мгновенно, в любом положении и при любых обстоятельствах! (*Махнул рукой*.) Ладно, пускай спит!

Л ю б о ч к а. А нам не время еще, Наташа?

Н а т а ш а. У меня часы остановились.

Г л е б о в (*поглядел на замолчавшие часы на столе*). Все часы остановились. Во всем доме остановились часы! Сейчас мы включим радио. (*Включает радио*.)

Слышен голос диктора: «...Иордании и Ирака. Лондон, второго августа. Как сообщает корреспондент агентства Рейтер из Аммана, король Хусейн объявил в своем декрете о прекращении существования Федерации Иордании и Ирака...»

Э-э, старый приятель!..

Женский голос: «Мы передавали утренний выпуск последних известий. Через полминуты, в семь часов двадцать минут по московскому времени, — легкая инструментальная музыка». Глебов выключает радио, заводит часы, переставляет стрелки.

Наташа. Ну вот, теперь уж нам и впрямь пора собираться.

Любочка. Погоди, я альбом досмотрю — тут немного осталось.

Наташа. Интересно?

Любочка. Интересно так, что оторваться невозможно! Тут, знаешь, и Северный полюс, и Китай, и Канада, и Гонолулу... Ах, какой вы счастливый, Владимир Васильевич! А почему вы теперь больше не ездите?

Глебов (*нахмурился*). Я и теперь езжу.

Любочка. Куда?

Глебов. В разные места! (*Засмеялся*.) Но чаще всего — на дачу.

Наташа. Ваша семья живет на даче?

Глебов. Да.

Наташа (*после паузы*). Скажите, Владимир Васильевич, когда мы только пришли — вы спрятали в стол какую-то фотографию... Это была фотография вашей жены?

Глебов (*смутился*). Да.

Наташа. А зачем вы ее спрятали?

Глебов (*начиная злиться*). Так. Просто так.

Наташа. Она красивая — ваша жена?

Глебов (*с вызовом*). Да, очень!

Наташа. И вы ее любите?

Глебов. Очень люблю!

Наташа. Вы давно вместе?

Глебов. С войны. С первого года войны.

Наташа. Покажите мне ее фотографию.

Глебов. Нет.

Наташа. Почему?

Глебов (*грубо*). Я не хочу, чтобы вы на нее смотрели!

Наташа. Но ведь я ни в чем перед нею не виновата! (*Стремительно.*) Видите, видите, Владимир Васильевич, как подло и стыдно все могло быть, как уже сегодня к вечеру, вероятно, вы стали бы презирать и себя, и меня, и...

Глебов. Слова, слова, милая моя Наташа! Подло, стыдно, презирать — слова, слова, слова! (*Насмешливо.*) Наши мужья не изменяют женам, наши девушки не

влюбляются в женатых мужчин; наших детей приносят наши аисты! (*Пожал плечами.*) Все вздор! Жизнь есть жизнь...

Н а т а ш а (*перебила*). Жизнь может быть всякой. Может быть чистой, а может быть в крапинку. И, наверное, будущее, Владимир Васильевич, оно не только в изобилии и достатке... Оно в чем-то еще ином, может быть, не менее важном!

Г л е б о в. В чем же?

Н а т а ш а. Ну, хотя бы в том, чтобы знать, чтобы совершенно твердо быть уверенной, что тебя никто не обидит и не оскорбит, что защитят тебя от дурного не личные твои добродетели, а нравственность всей твоей страны! Понимаете?

Г л е б о в (*прищурившись*). Велика ли доблесть в доброте, ставшей нормой?

Н а т а ш а (*быстро*). Господи, да кому же нужна добродетель как доблесть?!

Г л е б о в (*снова вспыхнул*). Черт побери вашу рассудительную голову! Можно ли в двадцать пять лет быть такой рассудительной? Жизнь есть жизнь, поймите вы это! И она не в крапинку — она полосатая. В ней случается всякое. В ней случается такое негаданно-нежданное, что за один день, за один час может заставить позабыть все умные рассуждения и вывернуть человека наизнанку.

Н а т а ш а (*не скрывая насмешки*). И такое случилось с вами сегодня?

Г л е б о в. Я не хочу лгать. Не случилось. Но может случиться. Может!

Н а т а ш а. Нет. Не может. И не случится. (*Обернулась к Любочке.*) Любаша, собирайся, нам время ехать.

Л ю б о ч к а (*поглощена разглядыванием альбома*). Сейчас, сейчас, минутку.

Г л е б о в (*тихо*). И вы — вот так и уйдете?

Н а т а ш а (*покачала головой*). Никогда.

Г л е б о в (*раздраженно*). Что за глупое, дурацкое, идиотское слово — никогда! Как вам не стыдно?! Опять слова — никогда, навсегда! (*Точно передразнивая кого-то.*) «Мы никогда с вами не увидимся!» А уже через день

мчатся друг другу навстречу. «Я полюбил тебя навсегда!» А длится это «навсегда» месяц. Или год в лучшем случае. Поймите же, как на редкость непрочны эти «навсегда» и «никогда!» (*Помедлив.*) Сегодня я еду на дачу. Но завтра, в понедельник, я буду в Москве, в редакции. Можно мне завтра вам позвонить?

Н а т а ш а. Нет.

Г л е б о в. У вас нет телефона?

Н а т а ш а. Есть.

Г л е б о в. Когда мы увидимся?

Н а т а ш а (*с легкой улыбкой*). Никогда.

Г л е б о в. Вы, голубчик, упрямы, но я поупрямее вас, поверьте! Когда мы увидимся?

Н а т а ш а. Никогда.

Г л е б о в. Хорошо. Завтра вы, допустим, не можете. А во вторник? В среду? В будущую субботу? Когда мы увидимся?

Н а т а ш а. Никогда, Владимир Васильевич.

Г л е б о в. Ах, послушайте, бросьте вы твердить это свое дурацкое «невермор»! Вы же не ворон, черт побери! (*Со злостью.*) И вообще, если уж на то пошло, так объясните же мне, черт вас побери совсем, объясните же мне в таком случае и в конце концов, что все это было? Вот это все — вечер, ночь, ресторан, театр, ваши загадочные улыбки и таинственное молчание, ваша глупейшая выходка со счетом в ресторане — что это было? Скука? Любопытство? Наивное желание поинтриговать и развлечься? Что это было?

Н а т а ш а. Что это было? Вы хотите знать? Хорошо, мы вам сейчас объясним. Все совсем и удивительно просто! (*Взглянула на подругу.*) Ты слышишь, Любаша, о чем спрашивает Владимир Васильевич?

Л ю б о ч к а. Слышу.

Н а т а ш а. Объясним?

Л ю б о ч к а. Объясним, теперь можно.

И опять, с улыбкой поглядев друг на друга, девушки раскрывают свои темно-зеленые сумочки и достают два пестрых конверта.

Г л е б о в. Что это?

Л ю б о ч к а. Билеты на самолет. Сегодня мы улетаем с Наташей. В пять часов вечера, на «Ту-104».

Г л е б о в. Куда вы летите?

Л ю б о ч к а. В Хабаровск.

Н а т а ш а. Вместе до Хабаровска. А там, к сожалению, расстаемся. Любочка — за Хабаровск, в район. А у меня пересадка на другой самолет — и дальше. Много дальше.

Г л е б о в. Надолго вы улетаєте?

Н а т а ш а. На шесть лет.

Г л е б о в. На шесть лет?!

Л ю б о ч к а. Я на пять.

Н а т а ш а. Да, ты на пять. А я на шесть! (*Улыбнулась Глебову.*) Мы окончили этой весной институт, Владимир Васильевич, медицинский институт. Мы врачи. Сдали государственные экзамены, прошли комиссию по распределению, получили назначение, получили деньги на выезд...

Л ю б о ч к а. И вот — улетаем!

Н а т а ш а. Вещи мы свои давным-давно все сложили, собрали, все предотъездные дела сделали, все покупки купили, со всеми простились...

Л ю б о ч к а (*печально улыбнулась*). Мы, например, с моей мамой уже два месяца подряд прощаемся — я просто не могу больше!

Н а т а ш а. А ребята с нашего курса разъехались раньше нас, мы последние...

Л ю б о ч к а. А других знакомых у нас мало. Да и лето — почти все в отъезде, кто где...

Девушки говорят наперебой, и только теперь, впервые за эти сутки, они, такие разные, внезапно становятся удивительно друг на друга похожи.

Н а т а ш а. И все-таки до самого вчерашнего дня мы никак не могли по-настоящему поверить в то, что мы действительно улетаем! А вчера днем мы пошли в «Метрополь»...

Л ю б о ч к а. Не в гостиницу, конечно, а там внизу, знаете, там есть авиационное агентство... И там экспеди-

тор из министерства оставил для нас наши билеты... Видите, как все просто?

Г л е б о в (*усмехнулся*). Да, просто. Ну-ну, рассказывайте...

Н а т а ш а. И вот мы получили наши билеты, сунули их в наши новые сумочки, где уже лежали документы, справки, деньги; вышли на улицу, остановились у входа в гостиницу — и, пожалуй, именно в это мгновение поняли наконец, что мы и вправду улетаем, что кончилось наше детство, юность, годы ученья, что мы расстаемся с Москвой и расстаемся надолго, что начинается новая жизнь — взрослая, трудная, интересная. И вот мы стояли...

Л ю б о ч к а. А впереди у нас еще были целые сутки!

Н а т а ш а. Целые сутки, вы представляете?! А вещи были давным-давно собраны, покупки давным-давно сделаны. А впереди были целые сутки. Последние сутки в Москве!

Л ю б о ч к а. И нам ужасно захотелось, Владимир Васильевич, провести эти сутки как-нибудь по-особенному, не так, как всегда! Нам захотелось пойти напоследок в какой-нибудь хороший ресторан, в театр, послушать музыку, повеселиться, познакомиться с интересными людьми...

Н а т а ш а. Нам захотелось негаданно-нежданно, как вы сказали, Владимир Васильевич!

Л ю б о ч к а. И только мы с Наташей об этом подумали — вдруг появился Николай Сергеевич, подошел к нам, заговорил, начал шутить, смеяться...

Г л е б о в. И вы решили, что это и есть ваше негаданное-нежданное?

Н а т а ш а (*внимательно посмотрела на Глебова*). Хотите правду, Владимир Васильевич?

Г л е б о в. Да.

Н а т а ш а. Мы бы очень быстро простились с вашим другом, с Николаем Сергеевичем Пинегиным. Но он заговорил о Владимире Васильевиче Глебове — нам стало интересно, и мы остались. Нам показалось, что это будет очень здорово, если именно вы как бы проводите нас в дорогу!

Г л е б о в (*смущенно*). Вот как!

Л ю б о ч к а. А ты помнишь, Наташа, как мы нервничали, когда поджидали Владимира Васильевича у редакции?

Г л е б о в. Нервничали? Почему?

Н а т а ш а (*с улыбкой*). Да все из-за этой истории — из-за вашей поездки в Гонолулу! Николай Сергеевич так ее почему-то расписывал, что мы, когда вас ждали, вдруг представили себе — вот сейчас выйдет этакий франт в гавайской рубашке, разрисованной пальмами, приборами...

Г л е б о в (*все еще с чувством неловкости*). Значит, кое в чем Глебов оказался все-таки лучше?

Н а т а ш а (*суровато*). Кое в чем — да.

Молчание. Где-то по соседству заиграла музыка. Это по радио начали передавать утреннюю зарядку.

Л ю б о ч к а (*взглянула на часы, ахнула*). Наташка, мы должны мчаться! Тебе-то ничего, а меня мама просто убьет!

Н а т а ш а (*взяла свой дождевичок, перекинутый через спинку стула*). Пошли!

Г л е б о в. Пора?

Н а т а ш а. Пора, Владимир Васильевич.

Г л е б о в (*поглядел на Наташу, на Любочку, неожиданно рассмеялся*). Так что же мне делать, дорогие мои, черт побери! Прощенья у вас, что ли, просить? Не поможет! Каким слепцом я был в эти ваши последние прощальные сутки, как ничего не увидел, не понял, не догадался! Шел рядом с вами через ваши прощальные сутки, шел, как собака, которая обращает внимание только на то, что движется. (*Кивнув на спящего Пинегина*.) Он-то хоть знал, зачем и ради чего! (*Усмехнулся, вытащил из кармана смятую пачку сигарет*.) Ну ладно! Выкурим по одной сигаретке, по разгонной, и — в путь!

Л ю б о ч к а. Дайте и мне, пожалуйста.

Н а т а ш а (*строго*). Любаша!

Л ю б о ч к а. Я немножко.

Г л е б о в. Малоприятное место, где вы научились курить, — это, конечно, анатомичка?

Любочка. Конечно. Только мы не научились. Так — балуемся иногда. (*Оглянулась.*) А где мой дождевик?

Наташа. Ты его в прихожей повесила.

Любочка с неумело зажатой в зубах сигаретой выходит в прихожую.

Глебов. Наташа, куда вы летите? Дайте ваш адрес.

Наташа. А зачем?

Глебов. Ну, может быть, я вам когда-нибудь напишу.

Наташа (*впервые у нее чуть-чуть дрогнул голос*). Может быть! Как-нибудь! А если не напишете, Владимир Васильевич? Забудете? Потеряете адрес? А я буду очень ждать писем, особенно в первое время... Нет, не от вас специально, а вообще! Буду ждать, нервничать... А мне там нельзя нервничать! Я ведь еду в чужие края на довольно ответственную и трудную работу! (*Покачала головой.*) Нет уж, лучше думать, что вы не пишете мне потому, что просто не знаете моего адреса, лучше вспоминать о вас изредка, чем попусту ждать ваших писем... Разве я не права?

Глебов (*со странной улыбкой*). Правы. Опять правы. Трудно вам будет жить, Наташа!

Наташа. Вероятно.

Глебов. Но вы держитесь!

Наташа (*весело*). Да уж постараюсь!

Возвращается Любочка с цветами в руках.

Любочка. А цветы-то наши в ванной комнате были, хорошо я вспомнила. Поехали?

Глебов. Сейчас разбудим эту спящую красавицу!

Любочка (*пренебрежительно*). Не надо. Нет, нет, не будите его, Владимир Васильевич! Просто, когда он проснется, передайте ему от нас привет!

Наташа (*протянула Глебову руку*). Ну, до свиданья, Владимир Васильевич...

Глебов. Как это — до свиданья?! Я с вами. Развезу вас по домам на машине...

Наташа. Зачем, Владимир Васильевич? Вам надо лежать, и это все ни к чему!..

Резкий и продолжительный телефонный звонок.

Любочка (*вздрыгнула и тут же засмеялась*). Ой, я напугалась!

Глебов (*снял трубку*). Да? Ну, Глебов, правильно... Кто вызывает? Ах, Ставрополь, Мельников! Отыскался след Тарасов. И надо же, в самую неподходящую минуту! (*Растерянно оглянулся на Любочку и Наташу.*) Что же делать? Вам надо очень спешить?

Наташа. Очень, Владимир Васильевич! Но вы не беспокойтесь — я видела здесь, почти у самого вашего дома, стоянку такси. Вы не беспокойтесь, мы доедем. Прощайте, Владимир Васильевич! Спасибо вам!

Глебов. Вам спасибо.

Наташа. Голова перестала кружиться? Акрихина больше не принимайте. Легче вам?

Глебов. Легче.

Наташа. Акрихина больше не принимайте.

Любочка (*с улыбкой*). Прощайте, Владимир Васильевич!

Глебов. Счастливый вам путь, дорогие! Счастливый путь! (*Тряхнул головой.*) И знаете что — постарайтесь, если сможете, не очень уж плохо думать о нас! Понимаете... (*В телефон.*) Да, да, Глебов! Ах, это ты, голубчик! Сейчас, сейчас, сейчас мы с тобой побеседуем! (*Любочке и Наташе.*) Девушки, дорогие, до свиданья! (*В трубку.*) Я не тебе, не ори! Двенадцать минут заказал, а материалу на пятнадцать? А я тебе нянька? Ты где раньше был — вот что меня интересует!..

Наташа (*переглянулась с Любочкой*). До свиданья, Владимир Васильевич, прощайте, счастливо вам оставаться, спасибо за все, до свиданья, мы убежали!..

Наташа и Любочка поспешно, чуть не бегом, уходят. Хлопает в прихожей входная дверь.

Глебов (*с трубкой в руках*). Ушли! (*В трубку.*) Я не тебе! Ты где все это время пропадал, хотел бы я знать! Фитиль приготовил? Я тебе такой фитиль покажу, что ты у меня не поймешь, с какого конца его зажигать! Ну-ну, ладно, читай, слушаю! (*Неожиданно.*) Погоди-ка! (*Выгля-*

нул в окно.) Все! (В трубку.) Я не тебе, читай! (Слушает, неожиданно ухмыляется.) Не врешь? Это материалец, Серега, это и вправду фитиль! Молодец, черт тебя побери! А ну-ка, ну-ка, повтори еще разок цифрочки, я запишу! (Придвигает к себе лист бумаги, берет карандаш.) Давай диктуй!

Пинегин (заворочался в кресле, зевнул, открыл глаза). Что ты кричишь, старик?! (Оглянулся.) А где же детки? Любушка-голубушка, Наташенька, дядя Коля проснулся, ау, где вы?! Я хочу кофе, поняли, нет?!

Глебов (слушает, записывает). «...Красногвардейский район — 7,4 миллиона пудов зерна, Ипатовский — 6,6 миллиона...» Ну и ну, ловко!

Звонок в прихожей.

Пинегин (испугался). Это еще кто?

Глебов. Не знаю. (В трубку.) Обожди, Мельников, сейчас мы продолжим! (Прикрыл трубку рукой.) Пойди отвори. И если это вдруг Таня...

Пинегин (торопливо). Если это Таня, я скажу так: «Забрел к тебе вечером на огонек, мы заговорились, и я остался ночевать».

Глебов. А насчет наших гостей...

Пинегин. Что я, психический? (Выбегает в прихожую.)

Глебов (в трубку). Давай, Мельников, продолжай, записываю! (Слушает, пишет.) «Петровский район — 6,1 миллиона...» Так, это понятно... Ага, вот важно! (Пишет и повторяет вслух.) «Намного больше, чем в прошлые годы... десять миллионов пудов хлеба сдали и продали государству колхозы и совхозы Советской Калмыкии...»

Возвращается Пинегин, приносит газету и журналы «Огонек» и «Мурзилку».

Пинегин. Почта! А ты, понимаешь, — Таня! От таких предположений, Володечка, человек на всю жизнь может зайкой остаться! Понял? (Огляделся.) А где девушки? Куда ты их дел? Где Наташенька и Любочка?

Глебов (сердито махнул рукой). Нет девушек! Нет

Любочки и Наташеньки! Нет их, нет и не будет, не мешай, убирайся! (*В трубку.*) Давай, Мельников, давай, давай, дорогой, слушаю, записываю — давай!..

Перемена

Музыка. Свет. Это автомобильные фары, снова нырнувшие в темный провал туннеля, это солнечная рябь на прозрачной речной воде, перекличка поездов, детские голоса и негромкое треньканье дачной гитары.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Воскресенье, третье августа, день, семнадцать часов десять минут.

Дачное Подмоскowie. Кончается эта история там же, где она и началась, — на скамейке в саду, окруженной обильно разросшимися кустами боярышника и отцветшей сирени.

На этой скамейке рядом сидят Т а н я и Г л е б о в — жмурятся, подставив лица вечернему солнцу. А в стороне, с неизменной своей просто-душно-плутоватой улыбкой, возится М а ш к а и делает вид, что она поглощена какими-то колесиками и прутиками. Валются в траве давно уже прочитанные журналы «Огонек» и «Мурзилка».

Т а н я (*вздыхнула*). Все-таки жаль, что ты не сумел уговорить маму к нам приехать.

Г л е б о в. Я три часа ее уговаривал. Охрип даже. Она, видишь ли, обещала какой-то своей стариннейшей подруге Агнии Константиновне показать сегодня Сельскохозяйственную выставку.

Т а н я. А собиралась к нам.

Г л е б о в. Это у вас семейное — семь пятниц на неделе.

М а ш к а (*заинтересованно повернула голову*). А бывает?

Г л е б о в. Что?

М а ш к а. Семь пятниц.

Г л е б о в. У твоей мамы бывает.

Т а н я. Можно подумать, что ты из себя являешь образец постоянства! Ты сам...

Г л е б о в. А вот ссориться мы с тобой не будем. Мы же уговорились.

Т а н я. Я и не ссорюсь! Но меня возмущает, когда...

Глебов (укоризненно). Татьяна!

Таня. Я не ссорюсь! (Помолчав.) Вы чаю, граждане, не хотите еще?

Глебов. Хотим. С пирогами.

Машка. И с вареньем хотим.

Таня (засмеялась). Ладно, саранча, я сейчас соберу!

Глебов. Погоди!

Таня. Что?

Глебов (обнял Таню за плечи). Погоди, посиди, успеешь! (После паузы.) Слушай, ты помнишь сказку про дом с золотыми окнами?

Таня. Помню.

Машка. И я помню. Это про то, как пастух думал, что в доме золотые окна, а их просто так солнце освещало, да? А потом он увидел, что не в этом доме золотые окна, а в другом, а потом еще в другом, и все шел, и шел, и шел... И стал старым, и все шел... и все ему казалось, что впереди дом с золотыми окнами. Эта сказка, да?

Глебов. Эта.

Таня. А почему ты ее вспомнил?

Глебов (неопределенно). Так. Когда-нибудь расскажу.

Таня (сухо). Я не люблю историй, которые рассказывают женам когда-нибудь при случае, спустя много лет. Это плохие истории! (Встала.) Я пойду!

Глебов. Погоди! (Медленно.) Понимаешь, Танечка, я кое-что надумал сегодня — возьму-ка я с десятого числа отпуск, мне полагается, засяду с вами на даче и попытаюсь наконец дописать книжку — ту самую, что я забросил когда-то в дальний ящик стола!.. Примете меня в свою компанию?

Таня (не сразу). Смешно! А я как раз и вчера и сегодня думала совсем о другом... Даже звонила тебе об этом в редакцию!

Глебов. О чем же?

Таня (волнуясь). Я хотела тебе предложить, чтобы ты поговорил в секретариате и поехал бы в какую-нибудь интересную, далекую, трудную поездку... Ты ведь никогда не любил долго сидеть на одном месте. Ты был «Глебов — нынче здесь, завтра там!». И я же знаю, знаю, ми-

луй, что это из-за нас ты пошел работать в штат. Из-за нас. Из-за меня. И мне показалось, что ты в последнее время стал беспокойным и растерянным, что тебе нужно вырваться, побродить по свету, подышать соленым ветром, повидать новое, напиться этим новым, наполниться им и успокоиться.

Г л е б о в (*покачал головой.*) Нет, Танечка, всему свой черед! (*Подумав.*) Ты читала вчера в газете сообщение о том, что ставропольцы дали сто миллионов пудов хлеба досрочно?

Т а н я. Читала.

Г л е б о в. Но ведь для того чтобы собрать в августе эти сто миллионов — надо было посеять их в апреле и в мае! Такая уж это пора — август, время жатвы и уборки! И если душа твоя пуста, поля не засеяны, виноградники не обработаны — то каких ты можешь ждать плодов? И стоит ли тогда гоняться по белу свету за собственной тенью и надеяться, что вот кого-то ты встретишь, о чем-то узнаешь, что-то случится! (*Снова покачал головой.*) Нет, Танечка, всему свой черед. Будут, будут еще поездки, дальние края и необыкновенные встречи... Но сейчас я хотел бы стоять, ну, вот хотя бы как это дерево — раскинуть ветки и вбирать все, что проходит мимо меня, — времена, события, тучи, ветры! (*Улыбнулся.*) Ты заметила, между прочим, люди на всех языках подыскивали для ветра самые красивые слова!

М а ш к а. Какие?

Г л е б о в. Ну, например, сиверко, моряна, баргузин, мистраль, трамонтана, сирокко...

М а ш к а (*подумав*). Красивые, правда.

Т а н я. Это женщины придумали. Уверю тебя. Женщины. Матери, жены и невесты тех, что с ветром уплывали от них и с ветром к ним возвращались!

Г л е б о в (*почесал в затылке*). Занятно! Эту идейку я, пожалуй, у тебя украду.

Т а н я. Кради, кради. Мне — зачем?

Г л е б о в. Как — зачем тебе?! Для меня.

Т а н я (*серьезно*). Спасибо! (*Почему-то стремительно*

поднялась.) Ну ладно. Вы тут с Машкой пока побеседуйте, вам, наверное, есть о чем побеседовать, а я пойду чай соберу!.. (*Уходит в дом.*)

А Машка, немедленно побросав все свои колесики и прутики, подбегает к скамейке и садится рядом с отцом.

М а ш к а. Побеседуем?

Г л е б о в. А нам действительно есть о чем?

М а ш к а. А как же! Конечно. (*Подумав.*) Как дела на работе?

Г л е б о в. Ничего. Спасибо.

М а ш к а. Это ты писал про Калининский совнархоз?

Г л е б о в. Я. А ты читала? Тебе понравилось?

М а ш к а. Мы с мамой читали. Нам понравилось.

Г л е б о в. Я очень рад.

Молчание. Высоко, в уже вечеряющем небе, слышно, как гудит самолет.

М а ш к а. Вот летит самолет!

Г л е б о в. Вспомнила?

М а ш к а. Я просто так сказала! (*Задрала голову к небу.*)

Слышишь?

Г л е б о в. Слышу.

М а ш к а. Это какой? Пассажирский? «Ту-104»?

Г л е б о в. Кажется.

М а ш к а (*помахала рукой*). Лети, лети! Счастливый тебе путь! (*После паузы.*) Ведь, может, там и знакомые кто-нибудь, да, папа?

Г л е б о в (*медленно, с улыбкой*). Может быть. Счастливый путь всем — и знакомым и незнакомым. И старости, что летит на покой, и юности, что отправляется в поход. И пусть, когда пойдет она по нашему следу, встретятся ей не окурки, пустые бутылки и консервные банки — приметы небрежной и неряшливой жизни, — а труды наши, свершения и надежды! (*Покосился на Машку.*) Поняла?

М а ш к а (*честно*). Нет.

Г л е б о в (*засмеялся*). Ну и правильно!

М а ш к а. А ты не забыл нашу песенку, папа?

Г л е б о в. Не забыл.
М а ш к а. Споем?
Г л е б о в. Споем!

Из дома, с веранды, громко зовет Таня: «Чай пить, компания!»

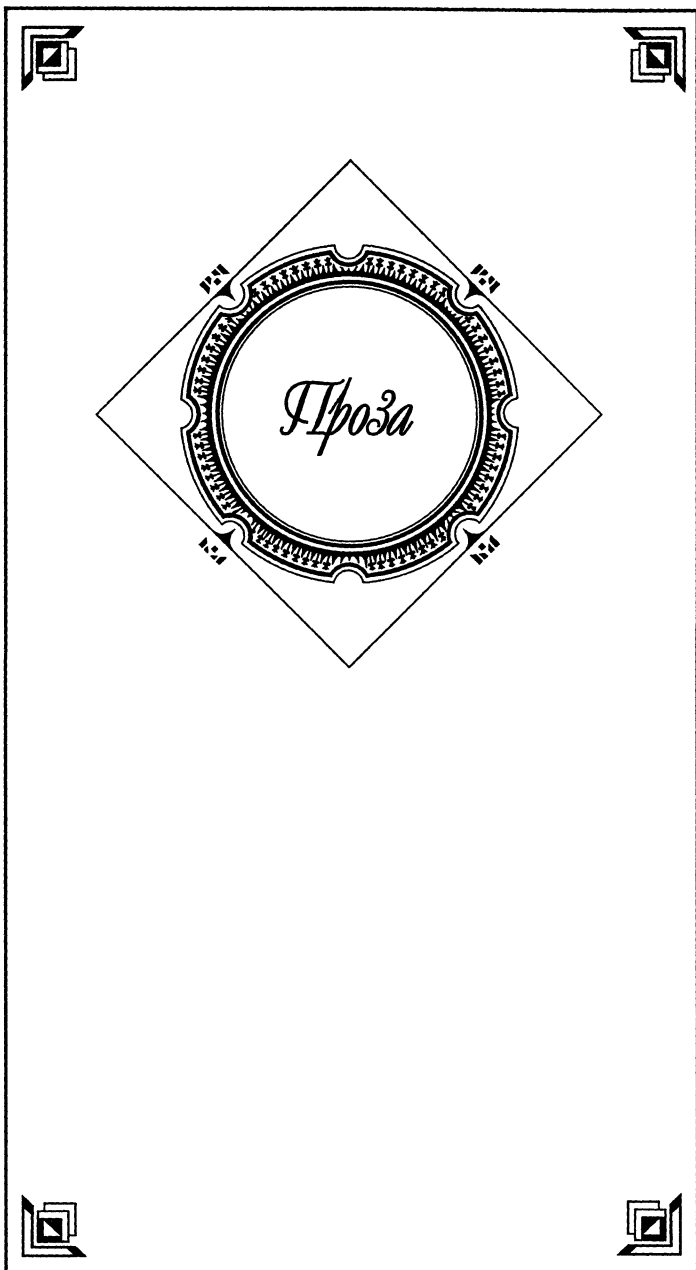
М а ш к а. Пошли!

И Глебов с Машкой отправляются пить чай, взявшись за руки и распевая на ходу сочиненную ими песенку:

Вот летит самолет,
Он летит и гудит.
Вот летит самолет,
А куда он летит?
Он летит далеко,
Неизвестно — куда!
А когда прилетит?
Неизвестно — когда!

З а н а в е с

(1958)



ИПОЗА

Генеральная репетиция

ИСТОРИЯ В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ И ПЯТИ ГЛАВАХ

...Дай мне неспешно и нелживо
Поведать пред Лицом Твоим
О том, что мы в себе таим,
О том, что в здешнем мире живо.
О том, как зреет гнев в сердцах...

Александр Блок. Возмездие

ПЕРВАЯ ГЛАВА

...Земля была пустыней — выжженной, вытопанной, залитой кровью. Жаркий ветер, сметая пепел и прах, по-свистывал в черных развалинах. И мимо этих развалин, что еще недавно хвастливо и гордо называли себя «столицей мира» — городом Карфагеном, — бесстрастно шагали римские легионеры и мерными движениями, как сеятели, разбрасывали соль.

Пусть во веки веков на этой земле, опозоренной грехом и гордыней, не вырастет, не пробьется к свету ни одна былинка.

Горе тебе, Карфаген!

...В ту мокрую снежную зиму, когда произошли события, о которых я собираюсь здесь рассказать, в Москве, возможно, были перебои с песком (в Москве всегда с чем-нибудь перебои), а возможно, и по какой-нибудь другой причине, но уже не римские легионеры, а самые обыкновенные московские дворники посыпали проходящую часть улицы крупной серой солью, оставившей на обуви несмываемые противные белесые разводы.

— Горе тебе, Карфаген! — негромко сказал я жене, когда мы вылезли из такси и через улицу, заваленную сугробами, перешли на другую сторону, к подъезду Дворца культуры комбината «Правда».

Здесь в это утро очередная студия Художественного

театра — впоследствии она будет называться Театр-студия «Современник» — показывала генеральную репетицию моей пьесы «Матросская Тишина».

Впрочем, и студийцам, и мне — автору, и многим другим заинтересованным лицам было известно, что пьеса уже запрещена, но при этом запрещена как-то странно.

Официально она запрещена не была, у нее — у пьесы — даже оставался так называемый разрешительный номер Главлита, что означало право любого театра пьесу эту ставить, — но уже зазвенели в чиновных кабинетах телефонные звоночки, уже зарокотали, минуя пишущие машинки секретарш, приглушенные начальственные голоса, уже некое весьма ответственное и таинственное лицо — таинственное настолько, что не имело ни имени, ни фамилии, — вызвало к себе директора Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и приказало прекратить репетиции «Матросской Тишины».

— Но позвольте, — растерялся директор, — спектакль уже на выходе, что же я скажу актерам?!

Таинственное лицо пренебрежительно усмехнулось:

— Что хотите, то и скажите! Можете сказать, что автор сам запретил постановку своей пьесы!..

Нечто подобное происходило и в других городах, где репетировалась «Матросская Тишина». И нигде никто ничего не говорил прямо — а, так сказать, не советовали, не рекомендовали, предлагали одуматься!

И вот — перестали сколачивать декорации, прекратили шить костюмы, помрежи отобрали у актеров тетрадки с ролями, режиссеры-постановщики спрятали экземпляры пьесы в ящики письменных столов.

Когда-нибудь на досуге они перечитают пьесу, вздохнут и помечтают о том, какой спектакль они бы поставили, если бы...

И только маленькая студия — еще не театр, не организация с бланками и печатью — упорно продолжала на что-то надеяться.

То ли на высокое покровительство Московского Художественного театра, то ли на малопонятную упрямую поддержку пьесы партторгом ЦК при МХАТе, неким Са-

петовым, поддержку, за которую он впоследствии схлопочет «строгача» — строгий выговор с предупреждением за потерю бдительности и политическую близорукость.

Но, быть может, самой главной основой надежды, основой основ, было то, что никто из нас — ни я, ни студийцы — не мог понять, за что, по каким причинам наложен запрет на эту почти наивно-патриотическую пьесу. В ней никто не разоблачался, не бичевались никакие пороки, совсем напротив: она прославляла — правда, не партию и правительство, а народ, победивший фашизм и сумевший осознать себя как единое целое.

Я начал писать эту пьесу весной сорок пятого года.

Это была воистину удивительная весна! Приближался День Победы, незнакомые люди на улицах улыбались, обнимали и поздравляли друг друга, я был смертельно и счастливо влюблен в свою будущую жену, покончил навсегда с опостылевшим мне актерством и решил заняться драматургией.

Казалось, что вот теперь-то и вправду начнется та новая, безмятежная и прекрасная жизнь, о которой все мы столько лет мечтали; казалось — а может быть, так оно и было на самом деле, — в первый раз, в самый первый и единственный раз, которому уже никогда больше не суждено было повториться ни в нашей судьбе, ни в судьбе страны, в те дни везде и повсюду возникло в людях радостное чувство общности, единства, причастности к великим событиям и самому дыханию истории.

И мы не знали — не хотели знать, а потому и не знали, — что уже тащатся, отстаиваясь днями на запасных путях, тащатся в Воркуту, в Магадан, в Тайшет арестантские эшелоны, битком набитые теми самыми героями войны, о которых мы — вольные — распевали такие прекрасные и задушевные песни; что распухают в восстановленных архивах НКВД папки с делами бывших и будущих зэков; что совсем скоро выйдут постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» и вываляют в грязи, ошельмуют великих русских писателей Ахматову и Зощенко; что бездарнейший Жданов, причастный к

культуре только тем, что умел с грехом пополам играть на рояле «Сентиментальный вальс» Чайковского, будет с высокомерием невежды обучать Прокофьева и Шостаковича правилам, сути и смыслу музыки.

А еще чуть позже начнется и вовсе страшное — дело Вознесенского, убийство Михоэлса, физическое уничтожение Еврейского театра и Еврейского антифашистского комитета, борьба с космополитизмом, унижительная в своей ничтожности «борьба за приоритет», знаменитая сессия ВАСХНИЛа, на которой лысенковцы навсегда — так они думали — покончат с «лженаукой» генетикой.

Так вот, повторяю, могли ли мы знать в ту удивительную и прекрасную весну сорок пятого года, какой кровавый шабаш, какая непристойность безумия и преступлений ожидают нас в ближайшие годы?!

Еще несколько лет назад я, не задумываясь, ответил бы — нет, не могли знать!

Но теперь —

...На этом горьком рубеже.
Когда отрублены канаты
И сходни убраны уже...

теперь, сейчас, когда я — да и не один я, многие с пристрастием допрашиваем сами себя и поверяем сегодняшним отчаянием и завтрашними надеждами всю нашу прошлую жизнь, имею ли я право с той же определенностью сказать — нет, ничего мы знать не могли!

Как же так?! Ведь знали же мы, знали, прекраснейшим образом знали, какой унижительной проверке — а подчас и не только проверке — подвергаются и старики, и малыши, жившие «под немцем», или, как деликатно писали в газетах, «оказавшиеся на временно оккупированной территории»!

Знали мы и о том, какая участь ждала офицеров и солдат, попавших в плен, сумевших выжить в лагерном аду и освобожденных «родными советскими войсками»! Знали о судьбе немцев Поволжья, крымских татар, чеченцев и ингушей, кабардино-балкарцев! Знали, но...

Прошивали вечерние небеса разноцветные стежки

салютов, гремели торжественные залпы, пели и танцевали на Красной площади, строгий голос диктора Левитана сообщал по радио о начале штурма Берлина — и по-детски пронзительная вера в чудеса, вера в то, что все будет хорошо и удивительно, что вот сейчас, вон за тем углом, за тем поворотом вдруг откроется и заплещется море, которому здесь отродясь быть не положено, — эта счастливая и в глубине своей трусливая вера заставляла нас не слышать, не думать, не видеть и не помнить обо всем, что могло хоть на мгновение помешать или омрачить нашу общую радость.

В те дни я начал писать эту пьесу. Потом по вполне естественным причинам я ее отложил в сторону, стал — без особых, между прочим, угрызений совести — сочинять водевили и романтическую муру вроде «Вас вызывает Таймыр» и «Походного марша» и вернулся к «Матросской Тишине» только много лет спустя, после Двадцатого съезда КПСС и разоблачений Хрущевым преступлений Сталина, вернулся в ту пору, которая с легкого пера Ильи Эренбурга получила название «оттепели».

Название это, кстати, при всей своей пошлости довольно точно отражает эту насморочно-хлипкую кутерьму, ту восторженно-потную неразбериху, которая эту пору отличала.

И опять мы поверили! Опять мы, как бараны, радостно заблеяли и ринулись на зеленую травку, которая оказалась вонючей топью!

Я дописал пьесу, отпечатал ее в четырех экземплярах, прочитал нескольким друзьям. Никакому театру я ее почему-то — хотя и был в те годы вполне преуспевающим драматургом — не предложил.

И вот однажды без предварительного звонка ко мне пришли актер Михаил Козаков (когда он работал в Театре имени Маяковского, он играл в моей пьесе «Походный марш» главную роль) и актер Центрального детского театра Олег Ефремов — один из основателей Театра-студии «Современник», а ныне главный режиссер Московского Художественного театра.

Они сказали, что достали у кого-то из моих друзей экземпляр пьесы, прочли ее на труппе, пьеса понравилась, и теперь они просят меня разрешить им начать репетиции с тем, чтобы Студия открылась как театр двумя премьерами: пьесой В. Розова «Вечно живые» и «Матросской Тишиной».

Так начался год нашей дружбы, веселой, увлекательной работы — которая в это зимнее утро должна была завершиться никак не ожидаемым нами финалом.

...Небольшая толпа, состоявшая в основном из молодежи — друзья студийцев, знакомые, родственники, — томилась у подъезда Дворца культуры.

Как выяснилось, Александр Васильевич Солодовников, тогдашний директор Художественного театра, не только распорядился строжайшим образом не пускать на «генералку» никого, кроме лиц, поименованных в особом списке, но и вызвал на подмогу беспечным сторожам Дворца культуры мхатовских билетеров, вымуштрованных наподобие кремлевской охраны.

Вальяжный, как все работники МХАТа, белолицый администратор стоял рядом с билетерами и держал в руке составленный Солодовниковым список.

Увидев меня с женой, он приветливо, хотя и несколько печально улыбнулся, кивнул и сказал билетерам:

— Пропустите!

В толпе, томившейся у входа, раздались недовольные голоса:

— Почему это одних пускают, а других...

— Это АВТОР!

— Ну и что же?! — хрипло сказала какая-то девчушка.

И она была, разумеется, права! Что есть автор для театральных чиновников, как не докучливый недотепа, доставляющий лишние хлопоты начальству, обремененному и без того высокими, даже высочайшими государственными заботами?! А тут на тебе — читай пьесу или того пуще — трать драгоценное время, смотри спектакль и придумывай формулировки, на основании каких следует этот спектакль запретить!

Так при чем же, спрашивается, автор? Решительно ни при чем!

...Несколько лет спустя мы с одним приятелем сочинили шуточную песню:

Мы поехали за город,
А за городом дожди,
А за городом заборы,
За заборами вожди!

Там — трава несмятая,
Дышится легко!
Там — конфеты мятные,
Птичье молоко!

За семью заборами,
За семью запорами,
Там — конфеты мятные,
Птичье молоко!

О упоение — величайшее из величайших! О, непреходящая страсть и забота партийно-правительственных чиновников — создание и узаконение всякого рода неравенств и предпочтений, воздвигание заборов и навешивание табличек с надписью:

Посторонним вход воспрещен!
Посторонним вход строго воспрещен!
Посторонним вход строжайше воспрещен!

Я видел такую табличку, повешенную дирекцией какого-то военного санатория на воротах знаменитого парка в Гурзуфе. Я смотрел на эту табличку и с грустью думал, что Александр Сергеевич Пушкин, который, как известно, числился за гражданским ведомством, не мог бы гулять в наши дни по дорожкам своего любимого парка и, возможно, не знали бы мы с вами строк:

...Там некогда и я,
Сердечной муки полный...

...Итак, мы отдали с женою наши пальто унылому гардеробщику, привели себя в порядок перед зеркалом — все-таки генеральная репетиция — и направились в зал.

Я никогда не забуду того сиротливо-тоскливого чувства, которое охватило меня, как только я переступил

порог дверей, ведущих в зрительный зал. Верхняя люстра не горела, и в огромном помещении, рассчитанном тысячи на полторы мест, сидели человек пятнадцать, не больше. И еще, усиливая ощущение сиротливости, стоял в зале какой-то непонятный и неприятный запах, словно в нем долго сушили плохо постиранное белье и курили скверный табак.

Этот запах будет еще долго меня преследовать и даже иногда сниться. Мне вообще снятся запахи:

Я усну, и мне приснятся запахи
Мокрой шерсти, снега и огня!..

...Запахи Севастополя — первого города, живущего в моей памяти, — были летними: мокрые и теплые камушки, соленая морская вода в нефтяных разводах и гниющие на берегу водоросли, сладковатый запах пыльной акации, которая росла на нашем дворе. А в знаменитой панораме «Оборона Севастополя» пахло совсем замечательно — скипидаром, лаком и деревом, нагретым солнцем.

Мы медленно шли с мамой по круглой галерее панорамы — мимо окон, за которыми расстилались форпосты береговой обороны и виднелись окутанные дымом корабли с распущенными парусами.

Но, как ни странно, корабли меня заинтересовали не слишком. Мы жили недалеко от Графской пристани, большую часть дня я проводил на берегу и кораблей — и военных, и торговых, и парусников — навиделся предостаточно.

А вот у окна, выходящего на четвертый бастион, я застрял. И застрял надолго. Здесь все было замечательно: и реюший в дымном тумане андреевский флаг, и раскаленные жерла пушек, и суесящиеся возле этих пушек орудийные расчеты, и храпящие, мчащиеся неведомо куда боевые кони.

А совсем рядом со мной, внизу, лежал на земле беззвучно кричащий раненый морячок, и молоденькая сестра милосердия, встав около него на колени, бинтовала ему окровавленную грудь.

Я смотрел и смотрел, а потом даже высунулся из от-

крытого окна, чтобы разглядеть еще лучше — куда именно ранен морячок и почему у него так странно подвернута нога, я высунулся, наклонился, и с головы моей слетела матросская шапочка и упала на руки сестре милосердия.

И тут я не то чтобы испугался — я просто-напросто окаменел.

Я понял, что сейчас должно произойти нечто ужасное — гром, молния, божья кара!

Но ничего не произошло.

Появился хромой сторож, мама попросила его достать мою шапку, сторож улыбнулся и снова куда-то исчез. А потом — и это уже было совсем невероятно и ни на что не похоже — хромой сторож оказался там, на поле боя. Как ни в чем не бывало, постукивая деревяшкой протеза, он подошел к раненому морячку и сестре милосердия, наклонился, поднял с земли — а вернее сказать, с пола — мою матросскую шапочку и, отряхнув, протянул ее — оттуда! — нам.

— Спасибо, — сказала мама, — большое спасибо!

— Не об чем говорить, мадам! — весело, с певучей южной интонацией ответил сторож.

...А запахи Москвы были зимними. Удивительно, но я совершенно не могу себе представить Москву моего детства весною и летом. Может, и впрямь — есть летние города и зимние города?! Я отчетливо помню запах снега на Чистых прудах, запах крови во рту (какой-то великовозрастный болван уговорил меня в лютый мороз попробовать на вкус висевший на воротах железный замок), запах мокрой кожи и шерсти — это сушились на голландской печке мои вываленные в снегу ботинки и ненавистные рейтузы, которые перед каждой прогулкой со скандалом натягивала на меня мама.

...Я усну, и мне приснятся запахи
Мокрой шерсти, снега и огня!..

...В зрительном зале Дворца культуры наиболее многочисленной — человек десять — была группа административных работников Художественного театра и каких-то незначительных чиновников из Управления культуры. Сапетов — наш защитник и друг — на репетицию не при-

шел, и возглавлял эту группу важный, в хорошо сшитом костюме Александр Васильевич Солодовников. Человек неглупый, но решительно ничтожный, он, говорят, имел какое-то родственное отношение к знаменитой купеческой династии Солодовниковых и во искупление своего подмоченного социального происхождения прислуживал власть имущим с таким старанием, что постоянно пересаливал, совершал какие-нибудь промахи — и тогда на некоторое время он исчезал, словно проваливался в небытие, из которого снова возникал в очередном кресле очередного директорского кабинета — Художественного театра, Большого театра, Малого театра, Комитета по делам искусств, Министерства культуры и так далее и тому подобное.

Если Барон в пьесе Горького «На дне» говорит, что он всю жизнь только и делал, что переодевался, то Солодовников всю жизнь пересаживался из одного кресла в другое. А табличку со скромной и лаконичной надписью «Директор А.В. Солодовников» он, верно, носил в портфеле — сам привинчивал ее к дверям, сам отвинчивал.

...В стороне, совершенно отдельно от всех, закинув голову и что-то внимательно изучая на потолке, сидел Георгий Александрович Товстоногов — художественный руководитель Ленинградского Большого драматического театра имени Горького. Решительно непонятно — как и зачем он попал на эту генеральную репетицию, хотя именно ему суждено будет сказать роковую фразу, которой воспользуется Солодовников, когда после окончания спектакля возникнет долгая и неловкая пауза.

Человек по-настоящему талантливый, Товстоногов добился ведущего положения в театральном мире благодаря своему дарованию, энергии, даже некоторой смелости.

Но одно дело — пробиться наверх. И совсем другое — на этом верху удержаться.

Тут уж никакой творческий дар, никакая энергия и уж тем более смелость помочь не могут. И начинается позорный путь компромиссов, сделок с собственной совестью, рассуждений вроде — ну ладно, поставлю к такому-

то юбилею или торжественной дате эту дерьмовую пьесу, но уж зато потом...

Но и потом будет юбилей и очередная торжественная дата — в нашей стране они следуют друг за другом непрерывно чередой — и: «Все мастера культуры, все художники театра и кино должны откликнуться, обязаны осветить, отобразить, увековечить, прославить!..»

И откликаются, освещают, отображают, увековечивают, прославляют!

И не наступит, никогда уже не наступит это заветное «потом» — вянет талант, иссякает энергия и навсегда исчезает из словаря даже само слово «смелость».

...Когда мы с женою вошли в зал и заняли места — где-то примерно ряду в пятнадцатом, — все головы обернулись к нам и на всех лицах изобразилось этакое печально-сочувственное выражение — таким выражением обычно встречают на похоронах не слишком близких родственников усопшего.

А Солодовников посмотрел на меня особо. Солодовников посмотрел на меня так, что я, сам того не желая, усмехнулся.

Я хорошо, на всю жизнь, запомнил подобный взгляд.

...После того как мы переехали из Севастополя в Москву, мы поселились в Кривоколенном переулке, в доме номер четыре, который в незапамятные времена — сто с лишним лет тому назад — принадлежал семье поэта Дмитрия Веневитинова. Осенью тысяча восемьсот двадцать шестого года во время короткого наезда в Москву Александр Сергеевич Пушкин читал здесь друзьям свою только что законченную трагедию «Борис Годунов».

В зале, где происходило чтение, мы и жили. Жили, конечно, не одни. При помощи весьма непрочных, вечно грозящих обрушиться перегородок зал был разделен на целые четыре квартиры — две по правую сторону, если смотреть от входа, окнами во двор, две по левую — окнами в переулок, и между ними длинный и темный коридор, в котором постоянно, и днем и ночью, горела под

потолком висевшая на голом шнуре тусклая электрическая лампочка.

Окна нашей квартиры выходили во двор. Вернее, даже не во двор, а на какой-то удивительно нелепый и необыкновенно широкий балкон, описанный в воспоминаниях Погодина о чтении Пушкиным «Бориса Годунова».

А во дворе в одноэтажном выбеленном сараеобразном доме, который все по старинке называли «службами», жил дворник Захар.

Был он добрейшей души человек, но горький пьяница. В конце концов он допился до белой горячки и умер.

Жена Захара решила после похорон и поминок уехать домой, в деревню. Собралась она быстро, а перед отъездом вроде бы на прощание устроила распродажу оставшихся после Захара и не нужных ей в деревне вещей.

Прямо во дворе на деревянном столе, очищенном от снега и застеленном газетами, было разложено для всеобщего обозрения какое-то немислимое шмотье — все, что попадалось Захару в те недавние смутные годы, когда в веневетиновском доме чуть не каждый месяц — а то и чаще — сменялись жильцы. Одни уезжали — неведомо куда, другие переезжали — неведомо откуда. И все они что-нибудь бросали, оставляли. А Захар подбирал. И теперь это брошенное и подобранное лежало на деревянном столе, под открытым небом, на желтых газетах — и некрупный снежок падал на рваную одежду и разрозненную обувь, на искалеченные люстры, на чемоданы и кофры с продранными боками и оторванными ручками, на всевозможнейшие деревяшки и железки неизвестного назначения.

А совсем с краю, уже даже и не на газете, как вещь воистину и в полном смысле этого слова бесполезная и пустая, лежал альбом с марками.

Альбом был очень толстый и очень замурзанный. Марки в него были вклеены как попало — неряшливо и небрежно, иные прямо обратной стороной к бумаге. Наклеивал их, видно, какой-то совершеннейший дурак и невежда. Но альбом, повторяю, был очень толстый. И ма-

рок в нем было очень много. И когда я спросил у жены Захара, сколько она за него хочет, она — не взглянув в мою сторону и даже, кажется, не разобрав, к чему именно я прицениваюсь, — равнодушно ответила:

— Пять гривен.

Я понимал, что пятьдесят копеек — это большие деньги, но я все-таки выпросил их у отца. И я купил этот альбом.

Несколько дней подряд я, как скупой рыцарь, подсчитывал количество неиспорченных («небракованных» — так полагалось говорить) марок в «альбоме Захара». Их оказалось что-то около двух с половиной тысяч штук. В основном это были русские дореволюционные марки.

Как большинство начинающих, я мечтал о «треуголках» с далекого острова Борнео, о черных лебедях Тасмании и Новой Зеландии, о красочных марках Бельгийского Конго. А тут все были какие-то двуглавые орлы и унылые портреты государей-императоров.

Но я не огорчился. Я знал, что есть чудаки, которые собирают именно старые русские марки, что можно совершить обмен — но для этого полагалось, по всем законам, определить хотя бы приблизительную ценность марок в «альбоме Захара». Нужен был каталог.

А каталог, даже плохонький (я уж не говорю о знаменитом французском каталоге Ивера), стоил так дорого, что я и заикнуться не смел, чтобы мне его купили.

Но и тут отыскался выход.

Недалеко от нашего дома, у Мясницких (Кировских) ворот, находился Главный почтамт. И ежедневно часов с двух и до позднего вечера в здании Почтамта у окошечка, за которым красномордый старик продавал открытки и марки, собирались филателисты и нумизматы со всей Москвы.

Не было тогда, наверное, ни клуба, ни филателистического общества, и поэтому все охотники за марками и старинными монетами толпились здесь, на этом неприятном и шумном пятачке.

Прелюбопытнейшее это было зрелище — азартные

мальчишки, вроде меня, мал мала меньше, и почтенные седобородые старцы, пожилые мужчины этакого профессорского обличья — в пенсне и старомодных глубоких калошах, — и мятые юркие личности неопределенного возраста, общественного положения и даже пола. И у всех, не исключая самых седых и почтенных, были прозвища. Так, например, глава всего этого сборища, непререкаемый авторитет по любым вопросам филателии и нумизматики, длинный худой старик с козлиной бородкой и противным скрипучим голосом назывался Дядя Меша, или Мешок.

Здесь можно было купить, продать, совершить обмен, получить справку и консультацию, и, что самое главное, у красномордого «дедушки в окошке» был каталог Ивера, в который он разрешал заглядывать всем желающим.

И вот я отправился на Главный почтамт. Для начала я взял с собой только одну марку — ту, которую я по неизвестным причинам особенно невлюбил. Марка эта и вправду была какая-то ужасно скучная: большая, квадратная, с невыразительным рисунком и надписью «Русский телеграф».

...В ответ на мою робкую просьбу «дедушка в окошке» взял со стола вождеденный, в синем матерчатом переплете каталог Ивера и, еще не давая его мне, коротко спросил:

— Какая страна?

— Россия.

«Дедушка в окошке» перелистал каталог, нашел нужную страницу, заложил ее бумажной полоской и протянул наконец каталог мне.

Я взглянул на заложенную страницу и обомлел.

Некрасивая, большая, почти квадратная марка с невыразительным рисунком и надписью «Русский телеграф», словом, та самая марка, которая — запрятанная в пакетик — лежала сейчас у меня в нагрудном кармане, открывала раздел марок России. Она была отмечена тремя звездочками, что, кажется, означало крайнюю сте-

пень редкости, и стояла, если мне не изменяет память, не то двадцать пять, не то тридцать пять тысяч франков.

— Ну, давай каталог! — проворчал «дедушка в окошке» и, увидев на моем лице выражение идиотского восторга, граничащего с испугом, поинтересовался: — Ты чего?

Я молча показал ему марку.

«Дедушка в окошке» издал горлом какой-то булькающий странный звук, и окошко внезапно закрылось. Через мгновение (случай небывалый!) дедушка вышел из стеклянной двери в перегородке и напрямиком направился к дяде Меше. Я уж и не знаю, что он ему там сказал, но только дядя Меша, мгновенно прервав беседу с каким-то чрезвычайно франтоватым молодым человеком, обернулся, поглядел на меня и, не здороваясь, протянул длинную худую руку:

— Покажите! Это ваша марка? — спросил он меня через секунду и, не дожидаясь ответа, вытащил из кармана бумажник и бережно спрятал в него конвертик с маркой. — Вот что, — сказал дядя Меша, — я сегодня покажу эту марку экспертам... Завтра ровно в три часа я буду здесь! Если ваша марка не подделка, не «фальшак», то я предложу вам за нее чрезвычайно интересный и выгодный для вас обмен!.. Будьте здоровы!..

...Но назавтра — ни в три, ни в четыре, ни в пять — дядя Меша на Почтамт не пришел. Он явился только на третий день, и, когда еще издали я увидел, как он проталкивается сквозь тяжелую вращающуюся дверь, я, не помня себя от радости, со всех ног бросился к нему:

— Здравствуйте!

— Мое почтение?! — удивленно, холодно и небрежно ответил дядя Меша.

— Ну, как моя марка? — спросил я, глупо улыбаясь. Лохматые брови дяди Меша полезли вверх.

— Ваша марка? Какая ваша марка?

— Ну как же?! — залепетал я, уже чувствуя, что происходит что-то ужасное и непоправимое. — Ну, вы же помните... Вы взяли у меня марку... «Русский телеграф»...

— «Русский телеграф»?!

Дядя Меша скорчил презрительную усмешку.

— Милостивый государь! — сказал он, добивая меня окончательно, поскольку ни до, ни после никто не называл меня «милостивым государем». — Я занимаюсь филателией больше сорока лет... Только недавно мне впервые удалось достать «Русский телеграф», и то в довольно плохой сохранности! Я знаю коллекционеров — настоящих коллекционеров, которым за всю жизнь так и не повезло достать этот раритет...

Что такое «раритет», я не знал, но мне уже было все равно.

Несколько мятых личностей обступили нас, с мрачным интересом прислушиваясь к нашему разговору.

Усмешка на губах дяди Меши стала еще язвительнее.

— Позвольте, позвольте... Теперь я припоминаю... Да, действительно, вы дали мне на обмен марку, но она оказалась такой бессовестной, такой грубой подделкой, что я ее просто-напросто выбросил!..

...Вот так же точно, как дядя Меша, посмотрел на меня Александр Васильевич Солодовников. И хоть он и не назвал меня «милостивым государем», но то же язвительно-скучное осуждение читалось в его взгляде — зачем, мол, ты, братец, подсовываешь нам, занятым людям, какую-то грубую подделку, какой-то фальшак?!

Великое правило «черного рынка», первейшая заповедь всех и всяческих шулеров и мошенников — обманутого следует объявить обманщиком!

...Весь год ни валко и ни шатко,
Все то же в новом январе.
И каждый день горела шапка,
Горела шапка на воре!
А вор белье тащил с забора,
Снимал с прохожего пальто
И так вопил:
«Держите вора!» —
Что даже верил кое-кто!

...И только две дамочки, сидевшие в первом ряду, не проявили к нашему появлению ни малейшего интереса и, не обернувшись, продолжали шушукаться о чем-то своем.

Как выяснилось, эти дамочки-то и были самыми главными, это для них устраивалась генеральная репетиция, это от них ждали окончательного и решающего слова.

...Я довольно хорошо запоминаю лица людей, которых встречал даже мельком, но сегодня, как я ни бьюсь, я не могу восстановить в памяти светлый облик этих ответственных дамочек.

Помню только, что они были почти пугающе похожи друг на друга, как две рельсы одной колеи. Одинаковые бесцветные жидкие волосы, собранные на затылке в одинаковые фиги, одинаковые тускло-серые глазки, носы — пуговкой, тонкогубые рты. И даже фамилии (честное слово, я ничего не придумываю!) у них были одинаково птичьи: дамочка из ЦК звалась Соколовой, а дамочка из МК — Соловьевой.

Причем как-то так получилось по сложнейшей системе партийно-чиновной иерархии, что дамочка из МК (в платье кирпичного цвета) была почему-то главнее дамочки из ЦК (в платье бутылочного цвета), и, как говорили, они далеко не всегда и не во всем ладили.

Но сегодня они были заранее заодно и мирно шушукались, не обращая ни на кого ни малейшего внимания. В довершение пугающего сходства у обеих дамочек был насморк, и они время от времени почти одинаковыми движениями вытирали покрасневшие носы-пуговики и чинно запихивали платочки в рукава бутылочного и кирпичного платьев.

О чем они шушукались, кто знает!

Уж наверняка не о студии, не о пьесе, не о спектакле. Даже (я допускаю и это!) не о государственных делах, а скорее всего — о чем-нибудь уютном, мирном, домашнем: о здоровье, о детях, о том, как готовить капустные котлеты — с яйцом или без.

Есть три раза в день хотят все, даже палачи.

...Когда-то, в тысяча девятьсот сорок девятом году, я, как молодой кинематографист, был приглашен на торжественное собрание в Дом кино, посвященное избению космополитов от кинематографа.

Принцип единообразия действовал с железной последовательностью: если были поначалу обнаружены космополиты в театре, теперь, естественно, следовало их обнаружить и разоблачить в кинематографе, в музыке, в живописи, в науке.

Среди тех, кого собирались побивать камнями на этом торжище, были и мои тогдашние друзья — драматург Блейман, критики Отген, Коварский.

Именно это обстоятельство заставило меня пойти в Дом кино и даже сесть вместе с ними в первом ряду — они все сидели в первом ряду для того, чтобы выступавшие могли обрушивать с трибуны свой пламенный гнев не куда-нибудь в пространство, а прямо в лицо изгоям, безродным космополитам, Иванам и Абрамам, не помнящим родства!..

А вел собрание, председательствовал на нем, управлял им Михаил Эдишеревич Чиаурели — любимый режиссер и неперемный застольный шут гения всех времен и народов, вождя и учителя, отца родного, товарища Сталина.

Зычным и ясным голосом Чиаурели объявлял фамилию очередного оратора, что-то задумчиво чертил в блокноте, поворачивал к говорившему свой медальный — как у Остапа Бендера — профиль, то хмурился, то язвительно усмеялся, то неодобрительно поджимал губы.

Он негодовал, он скорбел, он переживал.

И вдруг, поглядев в зал, он увидел меня, и что-то изменилось в его лице. Он даже чуть приподнял руку и, встретившись со мной взглядом, несколько раз призывно покивал мне головой.

Я похолодел. Я понял, что после уже объявленного перерыва Чиаурели хочет, чтобы выступил я и от имени молодых заклеил, кого положено заклеить, и заверил, кого положено заверить, в том, что уж мы-то, молодые, не подведем, не подкачаем, не посраим!

«Надо смываться!» — решил я.

А Чиаурели все продолжал призывно кивать мне головой, и я мысленно обругал своего ни в чем не повинного младшего брата, на свадьбе которого я и познакомился с Михаилом Эдишеревичем.

Когда объявили перерыв, я ринулся к выходу, но меня почти мгновенно перехватил администратор Дома кино:

— Вас просил задержаться товарищ Чиаурели, он хочет с вами поговорить!..

Чиаурели спустился со сцены в зал, подошел, взял меня дружески под руку, отвел в угол.

Задумчиво, как бы изучающе глядя мне в лицо, он негромко спросил:

— Слушай, это правда, что у тебя больное сердце?

— Правда, правда, Михаил Эдишеревич, — заторопился я, надеясь, что это обстоятельство поможет мне отказаться от выступления, — правда!

Но уже следующий вопрос Чиаурели меня буквально ошелолил:

— Слушай, а сколько раз ты не боишься?

Я ничего не понял:

— Как это — «сколько раз»?

— Ну, ты понимаешь... — Чиаурели повертел пуговицу на моем пиджаке и печально улыбнулся. — У меня тут, в Москве, одна очень прекрасная девочка... Цветочек! Но когда я ее... — Он употребил, как нечто совершенно естественное, грубое непечатное слово. — Больше двух раз, у меня начинает болеть сердце! А сколько раз ты не боишься?..

Так вот о чем он думал, этот почтенный председательствующий на торжественном аутодафе, вот какая мысль томила его и не давала ему покоя, вот о чем он размышлял, делая вид, что с глубоким вниманием прислушивается к истерическим выкрикам Всеволода Пудовкина и хрипению Марка Донского.

Теперь я знаю, что означали покачивание головой, поджимание губ, саркастическая усмешка!

А вот о чем шушукались бутылочная и кирпичная, я не узнаю уже никогда. Тем более что и сами они давным-давно позабыли и эту генеральную репетицию, и мою пьесу. Столько их было потом — других театральных залов, других спектаклей, других пьес, которые по той или иной причине следовало запретить.

...Когда мы с женой заняли свои места, Солодовников встал. Он подошел к первому ряду и что-то почтительно спросил у ответственных дамочек.

Кирпичная кивнула.

— Олег Николаевич! — позвал Солодовников.

В проеме занавеса в ту же секунду появилось испуганное лицо Олега Ефремова.

— Олег Николаевич, — сказал Солодовников и посмотрел на часы, — я думаю, будем начинать!.. А то товарищи, — значительно указал он на бутылочную и кирпичную, — торопятся!

— Хорошо, Александр Васильевич!..

Ефремов скрылся и через мгновение, когда в зале погас свет, снова появился на авансцене в луче бокового софита и начал — он исполнял в моей пьесе роль Чернышева и одновременно рассказчика — читать вступительную ремарку:

— Детство. Город Тульчин. Первая пятилетка. Август одна тысяча девятьсот двадцать девятого года. Очереди у хлебных магазинов. Вечерами по Рыбаковой балке слоняются пьяные. Они жалобно матерятся, поют дурацкие песни и, запрокинув головы, с грустным недоверием разглядывают звездное небо. Следом за пьяными почтительными стайками ходим мы, мальчишки.

В ту пору нам было по десять-двенадцать лет. Мы не очень-то сетовали на трудную жизнь и с удивлением слушали ворчливые разговоры взрослых о торговле, которая пришла в упадок, и о продуктах, которых невозможно достать даже на рынке. Мы, мальчишки, были патриотами, барабанщиками, мечтателями и спорщиками...

Шварцы жили в нашем дворе. Вдвоем — отец, Абрам Ильич, и Давид — они занимали большую полуподвальную комнату. Вещи в этой комнате были расставлены самым причудливым образом. Казалось — их только что сгрузили с телеги старьевщика и еще не успели водворить на места. Прямо напротив двери висел большой портрет. На портрете была изображена старуха в черной наколке, с тонкими, иронически поджатыми губами. Старуха неодобрительно смотрела на входящих...

...Двинулся занавес. Так как спектакль уже перестали финансировать, то декорации были сооружены из так называемого подбора — кое-что удалось смастерить самим, кое-что выпросить в постановочной части Художественного театра.

...Ефремов медленно, спиной к зрительному залу — словно разглядывая внимательно то, что происходит на сцене, — перешел из левой кулисы в правую, остановился и вполоборота к залу договорил слова вступления:

— Вечер. Абрам Ильич Шварц (актер Е. Евстигнеев), маленький пожилой человек, похожий на плешивую обезьянку, сняв пиджак, разложил перед собой на столе скучные деловые бумаги, исчерканные красным карандашом. Давид (актер И. Кваша) стоит у окна. Ему двенадцать лет. У него светлые рыжеватые вихры, слегка вздернутый нос и оттопыренные уши. Он играет на скрипке, время от времени умоляющими глазами поглядывая на круглые стенные часы-ходики.

У дверей, развалившись в продранном кресле, сидит толстый и веселый человек — кладовщик Митя Жучков (актер И. Пастухов).

Ефремов, слегка понизив голос:

— Сухо пощелкивают костяшки на счетах. Упражнения Ауэра утомительны и тревожны, как вечерний разговор с богом. За окном равнодушный женский голос протяжно кричит на одной ноте:

— Сереньку-у-у-у!..

...Ефремов скрылся в кулисе, и сцена, до тех пор неподвижная, ожила: запиликала скрипка, защелками костяшки на счетах, где-то далеко протяжно прокричал женский голос:

— Сереньку-у-у-у!..

НАЧАЛОСЬ ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Шварц (*бормочет*). ...Вчера, семнадцатого августа одна тысяча девятьсот двадцать девятого года, было отправлено в Херсон шесть вагонов и еще девять вагонов в Одессу... Так, пишем!

Д а в и д. Раз, и два, и три!.. Раз, и два, и три, и!..

М и т я. Гуревичи уже сложились... Чистый цирк, честное слово! Вот объясните мне, Абрам Ильич, почему это у евреев так барахла завсегда много?

Ш в а р ц (*уткнувшись в бумаги*). Семейные люди, очень просто!

Д а в и д. Раз, и два, и три, и... Раз, и два, и три, и...

М и т я (*усмехнулся, помотал головой*). Нет, я на Розу Борисовну прямо-таки удивляюсь. Это надо же — с малыми дитями, с больным мужем — и на такое отчаянное дело подняться! Прямо не старуха, а Махно какая-то, честное слово!

Д а в и д (*опустил скрипку*). Папа, девятый час!

Ш в а р ц (*равнодушно*). Ну и что?

Д а в и д. Я устал.

Ш в а р ц. Устал?! (*Хмыкнул, покосился на Митю*.) Он устал — как вам это понравится, Митя?! (*Резко обернулся к Давиду*.) Между прочим, я целый божий день стою больными ногами на холодном цементном полу. И целый божий день мне морочат голову. И на вечер я еще беру работу домой... Так почему же я никому не жалуясь, что я устал? Что?

Д а в и д. Я не знаю.

Ш в а р ц (*подумав*). Сыграй Венявского и можешь отправляться на двор. (*Усмехнулся*.) Ему, видите ли, Митя, с отцом скучно! Ему нужны его голь, шмоль и компания... Сыграй Венявского, ну!

Д а в и д (*после паузы*). Хорошо.

Давид снова поднимает скрипку. Печальная и церемонная музыка Венявского. Абрам Ильич слушает, чуть наклонив набок голову и почесывая в затылке карандашом.

Ш в а р ц (*шепотом, с торжеством*). Ну, что вы скажете? А, Митя?!

М и т я (*развел руками*). Талант!

Ш в а р ц (*Давиду*). А теперь еще разок упражнения Ауэра.

Д а в и д (*возмущенно*). Папа!..

Ш в а р ц (*неумолимо*). Упражнения Ауэра, и тогда пойдешь!

Давид, помедлив, с ожесточением принимается за очередное упражнение. Шварц снова уткнулся в бумаги. Равнодушно кричит женщина:
«Сереньку-у-у!..»

М и т я (*словоохотливо*). Уезжают, значит, от нас Гуревичи. В Москву едут, к братцу. Братец ихний, Сема, агентом работает — жуликов ловит... Слышите, Абрам Ильич, чего говорю? Сема Гуревич, говорю, жуликов ловит! Мелкоту небось, вроде нас с вами, Абрам Ильич, верно?

Ш в а р ц (*зашипел*). Откройте дверь! Откройте дверь, чтобы слышал весь двор, сумасшедший!

М и т я (*счастливо захохотал*). От нас Москва далеко, Абрам Ильич, нас не поймают!

Д а в и д. Раз, и два, и три, и!.. Раз, и два, и три, и!..

Ш в а р ц. И еще десять вагонов в Николаев. Всего это будет двадцать пять вагонов... Так, пишем!

М и т я (*поерзал в кресле, вздохнул*). Да-а, поехал бы я в Москву, Абрам Ильич. Поехал бы — и знаете, чего перво-наперво сделал? В магазин бы пошел, в продовольственный магазин, честное слово! Купил бы себе булку французскую, франзоль! Я ее, сволочь такую, сперва бы маслом намазал, а потом... А потом я бы — ах ты, братцы мои, — потом я съел бы ту булку. Всю!

Д а в и д. Папа, уже девять часов.

Ш в а р ц. Меня интересует — ты играешь на скрипке или ты смотришь на часы?

М и т я (*добродушно*). Да ладно, Абрам Ильич, отпустите вы его, пускай человек побегает...

Ш в а р ц (*со смешком*). Вот как? Вы меня извините, Митя, я вас очень уважаю как хорошего кладовщика и всякое такое... Но если я не ошибаюсь — я имею в виду музыку, — так профессор Столярский — это не ваша фамилия?!

М и т я (*неожиданно обиделся*). Моя фамилия Жучков, это все знают! А что я цельную кучу братьев своими руками поднял, так это тоже все знают!

Ш в а р ц (*высокомерно*). Ну, и кем же они стали, ваши братья, позвольте спросить? Они закончили консерваторию? Они адвокаты? Врачи? (*Снова усмехнулся.*) Каждому свое, Митя! Давайте лучше займемся делами...

М и т я (*показал глазами на Давида*). Давайте, только...

Ш в а р ц. А-а, да-да! Давид, можешь отправляться на двор.

Д а в и д. Хорошо.

Давид аккуратно укладывает скрипку в футляр. Ставит футляр на полку.

Ш в а р ц. Упадет. Поставь глубже.

Д а в и д. Хорошо... Теперь я могу идти?

Ш в а р ц. Иди, сынок.

Д а в и д уходит.

М и т я (*поглядел вслед*). Замучили вы паренька, Абрам Ильич!

Ш в а р ц (*резко*). Митя, это не ваше дело! (*Помолчав*). Знаете, о чем я мечтаю? Когда-нибудь я получу отпуск и премию. И тогда я возьму Давида и поеду с ним к морю. В Крым. Мы будем жить, как цари, в белом дворце, и по утрам горничная в крахмальном фартуке прямо в постель будет приносить нам яичницу с колбасой из четырех яиц и кофе с кренделями... Что?

М и т я. Чудак вы, Абрам Ильич! В прошлом году вы на Турксиб собирались, теперь в Крым...

Ш в а р ц. Да, я чудак... Займемся делами! В субботу я вам дал ящик мыла. Сто кусков, за которые я сам заплатил по три рубля. Что вы сумели с ними сделать?

М и т я. Есть один человек. Из Херсона. Дает три сотни и еще тридцать бумажек. Говорит — через неделю мы и этого не получим. Вам решать, Абрам Ильич.

Ш в а р ц. Триста тридцать рублей?! Кошмар! За удовольствие заниматься коммерцией мы, кажется, скоро будем докладывать из собственного кармана! Триста тридцать рублей! Это же просто грабеж! Что?.. Ну, а с вельветом?

М и т я. Вельвет берут. Тут получается такая история...

В дверь стучат.

Ш в а р ц. Тихо!.. Кто там?

Входит человек в мохнатой шляпе, в светлом заграничном костюме.

В руках трость, плащ и маленький чемодан. Это Мейер Вольф (актер М. Зимин). Он высок и широкоплеч.

Вольф. Добрый вечер! Как поживаете, Абрам?

Шварц (*растерянно*). Простите... Но я не...

Вольф. Может быть, вам нужна моя визитная карточка?

Шварц (*приглядываясь*). Боже мой!..

Вольф. Ну же!

Шварц (*остолбенело*). Мейер!.. Мейер Вольф!

Вольф. Ну, наконец-то! Здравствуйте, Абрам!

Шварц (*в волнении*). Мейер Вольф!.. Подождите! Подождите, дайте мне вас потрогать! Чудеса! Когда вы приехали?

Вольф. Час тому назад.

Шварц. Почему? Зачем? На какой предмет?

Вольф. Я расскажу.

Шварц. Только давайте сядем, а то у меня ноги дрожат.

Митя (*поднялся*). Я, Абрам Ильич, другим часом зайду.

Шварц (*отмахнулся*). Да, да, да... Конечно!

Митя торопливо уходит.

Вольф (*огляделся*). А где Давид?

Шварц. Где-нибудь бегают... Слушайте, Мейер... Нет, я все еще никак не могу поверить в то, что это действительно вы! Последняя ваша открытка была из Рош-Пина...

Вольф. Вы получили ее?

Шварц. Получил, получил. Это было год... Или полгода назад, не помню.

Вольф (*сел*). Ну-с, так как же вы тут живете?

Шварц. Какой об нас разговор?! Человек приехал из Палестины, и он еще спрашивает — как мы тут живем! Или вы не знаете Тульчина? Не знаете, как тут можно жить?!

Вольф. Знал. Когда-то. Но теперь, если верить газетам, многое переменялось — строительство, индустриализация...

Шварц (*иронически*). В Тульчине? Наша индустриа-

лизация — это паточный завод имени Розы Люксембург, бывший «Арон Сукеник и сыновья». (*Засмеялся.*) Ну, хорошо! Я считаю, что по случаю вашего приезда мы имеем полное право выпить рюмку-другую... Как вы?

В о л ь ф. Не возражаю.

Шварц лезет в шкаф, достает бутылку водки, два граненых стакана, хлеб, помидоры. Кладет все это на стол, на газету, разливает водку в стаканы.

Ш в а р ц. Лехаим! Будем живы-здоровы! С приездом. Ешьте помидоры... Так зачем же вы вернулись, Мейер?

В о л ь ф. Просто так.

Ш в а р ц (*насмешливо*). Ах, просто так? Ладно, можете не говорить, это ваша забота. (*Понизив голос.*) Я хочу знать одно — не политика?

В о л ь ф. Упаси бог!

Ш в а р ц (*с облегчением*). Правильно! Политика — это занятие для англичан и поляков... Слушайте, Мейер, так вы действительно своими глазами видели Иерусалим, и Стену плача, и Средиземное море?

В о л ь ф. Да, конечно.

Ш в а р ц. Можно сойти с ума! Сидит разодетый, как граф, и спокойно говорит — да, конечно! Ну, за Средиземное море!

В о л ь ф. Мне довольно.

Ш в а р ц. Как хотите. А я, с вашего разрешения, повторю. Будем живы-здоровы!

В о л ь ф. А что слышно у Гуревичей? Яша все лежит?

Ш в а р ц. Лежит. Старуха увозит его и детей в Москву! Завтра едут! Можете себе представить?

В о л ь ф (*задумчиво*). Вот как? А ведь и вы когда-то тоже собирались в Москву, Абрам!..

Ш в а р ц (*он уже захмелел*). Собирался! Чего только я не собирался сделать! Я всю жизнь безвыездно живу в этом городе. И всю жизнь, сколько я себя помню, я хочу отсюда уехать. (*Помотал головой.*) Нет, Мейер, нет, никуда я уже теперь не уеду и ничего не увижу! Ничего, кроме пьяных мужиков на Рыбаковой балке, и моего товарного склада, и поездов — скорых, курьерских, почтовых... Всяких...

Вольф. Вы все еще ходите по вечерам на станцию?

Шварц. Случается. Иногда. Помните ту красавицу из скорого, что попросила нас сбежать за кипятком?

Вольф. Ирину?

Шварц. Да, Ирину... То есть нет, не Ирину... Это мы уже сами потом придумали, что ее звали Ириной! Впрочем, это не важно. Тогда мы еще были вполне приличными кавалерами... Что?

Вольф. Хоть куда.

Шварц (*поднимает стакан*). Ну, за Ирину!

Быстро вбегает высокая крупная женщина со страдальческим и вдохновенным лицом, растрепанная, с хитрыми молодыми глазами. Это старуха Гуревич (актриса Г. Волчек).

Старуха Гуревич (*торжественно*). Еще два дня таких сборов, и меня повезут... Но только не в Москву, а на еврейское кладбище! У вас есть шпагат?

Шварц. Поищем.

Вольф. А «здравствуйте» вы не умеете говорить?

Старуха Гуревич (*равнодушно*). Здравствуйте.

Шварц (*засмеялся*). Смотрите — она не узнала! Это же Мейер Вольф.

Старуха Гуревич. Какой Мейер Вольф? (*Вздрыгнула, вскинула голову*.) Бросьте шутить! Мейер Вольф?! Это вы?

Вольф. Я.

Старуха Гуревич. Оттуда?

Вольф. Да.

Старуха Гуревич. Насовсем?

Вольф. Да.

Старуха Гуревич. Крупное дело?

Вольф (*неуверенно*). Как вам сказать...

Старуха Гуревич (*почти угрожающе*). Ну-ну-ну!

Вольф (*пожал плечами*). Допустим.

Старуха Гуревич. Он хочет меня обмануть. (*Усмехнулась*.) Имейте в виду — мужчин я вижу насквозь. (*Неожиданно всхлипнув*.) А Яшенька все лежит, знаете? Лежит, не встает. Доктор Ковальчик, этот умник, говорит — везите его на грязи! Так я его спрашиваю, этого умника, — зачем нам куда-то ехать и тратить деньги, ко-

гда грязь — это как раз то единственное, что мы всю жизнь имеем дома! И притом совершенно бесплатно! (*Снова всхлинула, засмеялась, двумя пальцами благоговейно ухватила Вольфа за рукав пиджака.*) А костюмчик тоже оттуда? Пустяки — выделка. А про меня вы уже слышали, Мейер? Везу своих в Москву. Великий путешественник! Колумб!.. Абрам, вы мне наконец найдете шпагат?

Шварц. Держите.

Старуха Гуревич. Спасибо... Знаете что? Приходите к нам. Через полчаса, когда мы поужинаем. Посмотрите наши железнодорожные билеты, сделаете с Яшенькой немножко лехаим на дорогу. Ну, а потом вы нам, Мейер, про все расскажете... Хорошо?

Вольф. Можно.

Старуха Гуревич. Так я за вами зайду!

Старуха Гуревич убегает. В дверях задерживается, оборачивается, видимо, собирается что-то спросить, затем, передумав, машет рукой и исчезает.

Шварц (*помолчав*). Полное впечатление, что она действительно едет открывать Америку — она так шумит.

Вольф. Да, кстати, Абрам, а как поживает ваше собрание почтовых открыток?

Шварц (*церемонно и гордо*). Благодарю вас, мое собрание поживает неплохо. У меня уже две с половиной тысячи штук! (*С надеждой.*) Может, хотите взглянуть?

Вольф. С удовольствием.

Шварц вынимает из ящика стола толстый, переплетенный в кожу альбом, осторожно кладет его на колени.

Шварц (*шепотом*). Здесь у меня Европа... Вот объясните мне, Мейер, почему такое: когда я вижу нарисованную картину «Лес шумит» или там, я знаю, «Море волнуется», так я поглядел на нее один раз, и мне довольно, клянусь вам! А вот — простая фотография, и под ней подписано «Пляс де ля Конкорд», и ходят люди, и всякое такое — так на эту фотографию я могу смотреть целые сутки, и мне не скучно.

Вольф вытаскивает из кармана несколько почтовых открыток, протягивает их Абраму Ильичу.

Вольф. А такие у вас есть?
Шварц (*всплеснул руками*). Мейер!

Шварц бережно разложил открытки на столе.

Вольф. Есть такие?

Шварц. Нет, таких у меня нет... Ни одной такой нет... Вот это что?

Вольф. Берлин, Аллея Победы... Видите, вон в углу газетный киоск? Там я, между прочим, и купил эту открытку.

Шварц. Вы были в Берлине?

Вольф. Проездом.

Шварц (*восторженно*). Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете! Это же сон — еврей из Тульчина идет по Берлину, по Аллее Победы!

Вольф (*улыбнулся*). А как вам нравится Испания?

Шварц (*тряхнул головой*). Про Испанию я даже говорить не хочу!.. Сокровище, Мейер! Они очень странные люди, эти испанцы. Обычно они снимают одну Альгамбру! Какую открытку ни возьми — Альгамбра, и снова Альгамбра, и нох-а-мул Альгамбра... А тут Барселона, Кордова — сокровище! (*Шварц перелистывает альбом, останавливается, вскрикивает.*) Боже мой!

Вольф. Что случилось?

Шварц. Булонский лес пропал... Вот здесь он был, видите, и вот он пропал!.. Ой, и Марселя тоже нет... Двух открыток Марселя...

Вольф. Может быть, вы их вырвали?

Шварц (*медленно*). Нет, Мейер, я их не вырвал! (*Шварц встает, неверными шагами подходит к дверям, кричит.*) Давид!

Вольф. Не горячитесь, Абрам!

Шварц. Хорошо, хорошо... Д а в и д!

В дверях появляется Д а в и д.

Д а в и д. Что?

Шварц. Ты мой альбом брал?

Давид (замялся). Н-нет!

Шварц. Тебе кто позволил брать мой альбом?

Давид. Я не брал.

Шварц. Не брал? Значит, ты еще и врешь? Воруешь и врешь, босяк! (*Шварц в ярости шагнул к Давиду, схватил его за ворот рубахи, встряхнул, ударил ладонью по лицу.*) Я тебя отучу воровать и врать! Я у тебя вышибу из головы эту манеру — воровать и врать!

Давид молча с ненавистью смотрит на отца. Рот у него в крови.

Давид. Я не брал.

Шварц. Куда ты дел Булонский лес и Марсель?

Давид. Я не брал.

Шварц. Так, значит, это я взял? Да? Это я — вор?..

Давид. Не знаю.

Гулко хлопает дверь. Вбегает Митя.

Митя (задыхаясь). Абрам Ильич!

Шварц (медленно повернул голову, холодно спросил). Ну? В чем дело? Почему вы кричите?

Митя. Абрам Ильич, Филимонов вас требует... Ревизия! Эта... Ну, как ее, будь она неладна, — легкая кавалерия!

Шварц (помолчав). Вот как? Интересно! А зачем же кричать? (*Усмехнулся.*) Запомните, Митя, хорошенько, — когда человек честный, так ему нечего бояться. (*Поднял палец.*) Вы меня поняли? Идемте! Подождите меня, Мейер, я скоро вернусь!

Шварц берет со стола початую бутылку водки, сует ее в карман, кивает Мите, и они вдвоем быстро уходят. Молчание. Вольф встает.

Вольф (Давиду). У тебя кровь... Возьми платок — вытри.

Давид. Черт проклятый!

Вольф. Это отец?

Давид (сквозь слезы). Отец, отец... Убить его надо, к черту, и все!

Вольф (помолчав, спокойно). Ну что же, убить — это правильно.

Д а в и д. Что?

В о л ь ф. Я говорю, что это ты правильно придумал — убить. А пистолет или ножик у тебя есть?

Д а в и д (*растерянно*). Нет...

В о л ь ф. Чем же ты его тогда убьешь? Впрочем, пожалуй, мальчик из Тульчина может обойтись без ножика и без пистолета. Мальчик из Тульчина должен убить папу так: нужно взять обыкновенную пустую бутылку и насыпать в нее вишневых косточек. Можно и песок, но вишневые косточки лучше. И вот когда папа возвращается с работы домой и садится к столу ужинать, ты должен подойти к нему сзади и ударить его этой бутылкой...

Д а в и д (*испуганно, не отрывая взгляда от лица Вольфа*). Что вы говорите?

В о л ь ф (*резко*). А ты что говоришь?! Глупости болтаешь — убить, убить... Умный мальчик, а болтаешь глупости! Садись-ка, братец, лучше сюда — рядом. Вот так. Ты помнишь меня?

Д а в и д. Да. Вы — дядя Мейер.

В о л ь ф (*кивнул*). Правильно! (*Помолчав.*) Вот и все. Как будто я и не уезжал никуда. Все, как прежде, вечер, мы сидим с тобой рядом, и я рассказываю тебе сказку...

Темнеет. Протяжно кричит за окном женщина: «Сереньку-у-у!...»

Д а в и д (*хмыкнул*). Опять Серезжку Соколова мать ищет.

В о л ь ф. Да-а... Ты знаешь, сколько лет кричит эта женщина? На моей памяти она кричит уже сорок с лишним лет! Ищет своего Сереньку, Петьку, Мишку...

Снова на пороге появляется Старуха Гуревич.

С т а р у х а Г у р е в и ч. Я за вами, вы готовы? А где Абрам?

В о л ь ф. Его вызвали на склад. Он скоро придет.

С т а р у х а Г у р е в и ч (*после паузы*). Вот что, Мейер, между нами, как старые друзья... Я же сразу поняла, что при Абраме вы не хотите всего говорить! Помилуй бог, я ничего не имею против него, но ведь это же всем из-

вестно, какой у него язык, когда он напьется... Вы зате-
ваете большое дело, да?

Вольф. Нет. Уверяю вас, нет, Роза.

Старуха Гуревич (*не слушая Вольфа, задумчиво*).
Может быть, я делаю глупость, что увожу своих в Моск-
ву? Все не вовремя! Так всегда — это еще говорил мой
папа, — когда евреи становятся прапорщиками, так пе-
рестают отдавать честь! Мы уезжаем в Москву, а вы воз-
вращаетесь, чтобы начать тут большое дело...

Вольф. Я же вам говорю — нет!

Старуха Гуревич. А-а, толкуйте, что я, малень-
кая?! (*Прищелкнула пальцами.*) Ладно, пошли. Все ждут
вас. К нам все-таки не каждый день приезжают гости из
Палестины.

Вольф. Сейчас я приду. Еще десять минут.

Старуха Гуревич. Мы ждем.

Старуха Гуревич уходит. Молчание.

Вольф (*негромко, без улыбки*). Завтра с утра по всей
Рыбаковой балке будут говорить о том, что Мейер Вольф
собирается рыть нефтяные скважины, или продавать
пальмы, или промывать золотой песок... Что-нибудь в
этом роде.

Давид. А разве нет?

Вольф. Нет.

Давид (*разочарованно*). А зачем же вы приехали?

Вольф. Я приехал домой. Я просто приехал домой.
Неужели это так непонятно?¹

Давид. А в вашей квартире Сычевы теперь живут.

Вольф (*заходил по комнате*). Чепуха! Найдем, где
жить. Не в комнате счастье. Я уехал с маленьким чемода-
ном и вернулся с маленьким чемоданом. И этот костюм,

¹ Да, Мейер Миронович, непонятно! Теперь непонятно! А осенью сорок пятого года, когда писались эти слова, — они казались такими естественными, разумными, справедливыми! Еще кружило нам головы опьянение победной весны, еще не было на синем глобусе государства Израиль, а была Палестина — непонятная, чужая, ставшая в русском языке синонимом дальности и заброшенности — «как занесло вас в наши Палестины?». Если бы я писал эту пьесу сейчас, Мейер Вольф, я не позволил бы вам сказать эти слова, но тогда...

который на мне, — это мой единственный костюм. И никакие квитанции на получение груза не лежат у меня в кармане! (*Остановился.*) Когда я был таким, как ты, Давид, мой отец торговал перчатками, сумками, пуговицами, поясами. Мы ездили с ним в Польшу, в Галицию, на Украину... Тысячи тысяч местечек. И в каждом местечке новое горе, новые заботы и старый разговор: «В будущем году в Иерусалиме». И в каждом местечке имелся свой праведник, который на старости лет отправлялся умирать на святую землю. «Четыре шага по святой земле, и вы очиститесь от всех земных грехов» — так было обещано в старых книгах! И вот с той поры всю жизнь я мечтал накопить денег и поехать туда — в Иерусалим...

Д а в и д. Так оно и вышло.

В о л ь ф (*покачал головой*). Нет, милый, совсем не так. Может быть, даже наверное, я не праведник, но мне показалось, что Стена плача — это просто грязная старая стена. И что приехал я не на родину, а в чужую страну, где можно только плакать и умирать. И что люди там — чужие мне люди! Что мне Сион и что Сиону переплетчик Вольф из русского города Тульчина?! Ты понимаешь меня?

Д а в и д. Не очень.

В о л ь ф (*улыбнулся*). Вот и хорошо. Тебе и не нужно этого понимать! (*Вздыхнул.*) Да-а, а небо там действительно очень синее. И песок очень желтый. И по вечерам все плачут и молятся. А я, видишь ли, привык, чтобы в тот час, перед сном, когда я кончил работу, вымыл руки и сел у окна, я привык слышать, как женщина зовет своего Сереньку, а мальчишки играют в казаки-разбойники и где-нибудь идут девушки и поют песню... И я знаю слова этой песни... И вот тогда я снова взял в руки свой чемодан.

Бьют часы.

Д а в и д. Половина десятого.

В о л ь ф. Ладно, я пойду. Скажешь папе, что я у Гуревичей.

Д а в и д. Да.

В о л ь ф. Будь умником, Давид.

Д а в и д. Да.

Вольф встал, пошел к двери, неожиданно обернулся. Говорит медленно, с растерянной и странной улыбкой.

В о л ь ф. Самое нелепое... Вот — я вернулся домой... Прошло каких-нибудь полтора часа, и мне уже начинает казаться, что, может быть, я снова ошибся, а? Может быть, я был совсем не в том Иерусалиме и видел не ту Стену плача?! (*Помедлил, махнул рукой.*) Ну да, впрочем, этого ты уж и вовсе не поймешь! Спокойной ночи, Давид!

В о л ь ф уходит. Тишина. Давид отломил ломоть черного хлеба, густо посыпал солью. Уселся на стол, жует. В окне появляются две головы — темная и светлая, две смеющиеся рожицы. Это Т а н ь к а (*актриса Л. Толмачева*) и Х а н а (*актриса А. Голубева*).

Т а н ь к а. Маугли, братец! Доброй охоты! Мы одной крови, ты и я!

Х а н а. Додька!

Молчание.

Т а н ь к а. Месяц скрылся за тучи... Доброй охоты, братец! Мы одной крови: ты и я!

Д а в и д (*грубо*). Чего надо?

Т а н ь к а. Играть выйдешь?

Д а в и д. Нет.

Т а н ь к а. Почему?

Д а в и д. Потому что... Одним словом, это мое дело — почему!

Т а н ь к а. Что ешь?

Д а в и д. Хлеб.

Т а н ь к а. С чем? С вареньем?

Д а в и д. Нет, просто хлеб с солью.

Т а н ь к а. Тю! А у нас сегодня мать пироги с капустой пекла. Я вот такущих четыре куска съела!

Д а в и д. Я не люблю пирогов с капустой.

Т а н ь к а (*иронически*). Черный хлеб вкуснее?

Д а в и д. Да.

Т а н ь к а. Все ты нарочно говоришь? Ты пойдешь с нами в Маугли играть?

Д а в и д. Нет, не пойду.

Т а н ь к а. А в Буденного?

Д а в и д. И в Буденного не пойду!

Т а н ь к а (*наконец обиделась*). Ну и не надо, подумаешь. Упрашивать его еще... Мы лучше Вовку Павлова позовем — он и рычать умеет, и не задается, как некоторые, и все...

Д а в и д. Вот и валяй. Вот и зови Вовку Павлова.

Т а н ь к а. И позову!

Д а в и д. Зови, зови.

Т а н ь к а (*чуть не плача*). И позову!

Т а н ь к а исчезает.

Д а в и д (*соскочил со стола*). Танька!

Х а н а. Она убежала уже.

Д а в и д (*после паузы*). Ну и пусть!

Х а н а. А я к тебе прощаться пришла. Мы ведь завтра рано уедем — ты еще спать будешь.

Д а в и д. Вы сорок третьим, почтовым?

Х а н а. Да.

Д а в и д. Плохой поезд... Что ж, до свидания, Хана.

Х а н а (*протянула нараспев*). До свидания! Ты так говоришь, как будто мы через неделю опять встретимся. А мы, может, и не встретимся никогда больше.

Д а в и д. Встретимся. Думаешь, я тут торчать буду?! Я тоже в Москву приеду. Учиться, в консерваторию. Кончу школу и приеду.

Х а н а. Правда?! (*Задумчиво улыбнулась*.) Ты приедешь, а я тебя встречу... Ты мне письмо пришли, ладно? И я тебя встречу... Запиши мой адрес.

Д а в и д. Говори, я запомню.

Х а н а (*торжественно*). Москва, Матросская Тишина, дом десять, квартира пять. Гуревичу, для Ханы... Повтори.

Д а в и д. Москва, Матросская Тишина... Погоди, а что такое — Матросская Тишина?

Х а н а. Не знаю. Улица, наверное.

Д а в и д (*медленно повторил, с интересом прислушиваясь к странному звучанию слов*). Матросская Тишина! Здорово! Ведь вот — не назовут у нас так... Только это, конечно, не улица. Это гавань, понимаешь? Кладбище кораблей. Там стоят всякие шхуны, парусники...

Х а н а. В Москве же нет моря...

Д а в и д (*увлеченно*). Ну, залив, наверное, какой-нибудь есть... или река. Это все равно, чудачка. И там, понимаешь, стоят всякие шхуны, парусники, а на берегу в маленьких домиках живут старые моряки. Такие моряки, которые уже не плавают, а только вспоминают и рассказывают...

Слышен голос старухи Гуревич: «Хана-а-а!»

Х а н а. Мне пора. Мама зовет... Давид, ты скоро приедешь?

Д а в и д. Не знаю.

Х а н а (*робко*). Слушай, ты подари мне на память чего-нибудь, ладно?

Д а в и д. У меня нет ничего! (*Подумав.*) Вот, возьми, что ли?

Давид протягивает Хане в окно листок бумаги. Хана смотрит, хмурится, затем решительным жестом возвращает листок обратно.

Х а н а. Не надо мне!

Д а в и д. Ты что?

Х а н а (*взволнованно*). Танька не уезжает, а ты ей целых три открытки подарил! А я уезжаю, так ты мне какую-то картинку вырезанную даешь!

Д а в и д. Зато на ней корабль нарисован. Я сам эту картинку над своим столом повесить хотел.

Голос старухи Гуревич: «Хана-а-а!»

Х а н а. Бегу. До свидания.

Д а в и д. До свидания, Хана.

Хана. Адрес не позабудь.
Давид. Да, да.
Хана. Пиши непременно.
Давид. Ладно.
Хана. До свидания, Давид!
Давид. До свидания, Хана!

Хана убегает. Давид один. Он садится в кресло, вытирает рот платком. Тикают часы. Прогрохотал поезд. Стало совсем темно. Где-то далеко, на соседнем дворе, наверное, захрипела шарманка:

По разным странам я бродил,
И мой сурок со мною,
И весел я, и счастлив был,
И мой сурок со мною!
И мой всегда, и мой везде,
И мой сурок со мною.

Шарманка захлебнулась и умолкла. Внезапно с грохотом открывается дверь, на пороге появляется маленькая, нелепая, растерзанная фигура Шварца.

Шварц (*он еле ворочает языком*). Додик!
Давид (*не двигаясь*). Явился!
Шварц. Почему здесь так темно, а?
Давид. Я лампу зажгу.
Шварц. Ой, не надо! Я лягу спать... Я сейчас лягу спать. Ты раздеться мне помоги...
Давид. Еще чего!
Шварц (*пытаясь быть строгим*). Давид!
Давид. Что?.. Испугался один такой! Проспишься, все равно ни черта помнить не будешь!..
Шварц. Раздеться мне помоги...
Давид. Сам разденешься.
Шварц. Ботинки... Ботинки с меняними... Додик...
Давид. погоди, я свет зажгу.
Шварц. Не надо.
Давид. А я говорю — надо!

Давид подходит к столу. Возится с настольной лампой. Шварц уселся на пол.

Шварц. Ботинки с меняними...

Д а в и д. Успеется...

Давид зажег наконец лампу. Поставил ее на пол рядом со Шварцем.

Ш в а р ц (*испугался*). Ты что это, а?.. Ты чего? Ты спалить меня хочешь?

Д а в и д. Нужен ты мне!

Ш в а р ц (*его совсем развезло*). Ты погоди... А ты — кто?.. Я извиняюсь, а вы кто?.. Вы по какому праву?..

Д а в и д. Да помолчи ты, честное слово.

Шварц неожиданно с трудом привстал на колени и заплакал.

Ш в а р ц. Ваше благородие, не погубите! Не для себя... Клянусь вам, не для себя!.. Жена у меня от родов, а я... Не погубите, ваше благородие!

Давид подошел к бочке у двери. Зачерпнул ковшом воды, выплеснул на Шварца. Шварц ткнулся ничком в пол, забормотал что-то невнятное.

Молчание.

Д а в и д. Ну!

Ш в а р ц (*почти трезво*). Додик, помоги мне раздеться.

Давид поднял Шварца, усадил в кресло. Перенес лампу на стол.

Д а в и д. Сейчас.

Ш в а р ц. А что с лицом у тебя? Почему губа распухла?

Д а в и д. А ты не помнишь?

Ш в а р ц. Нет... Это — я?

Д а в и д. Ты!

Ш в а р ц (*вскрикнул*). Нет!

Д а в и д. Да.

Ш в а р ц (*после паузы, горестно*). Додик, милый!.. Ну, ударь теперь ты меня!.. Ну, хочешь — ударь теперь ты меня!

Д а в и д. Папа!

Шварц порывисто обнял Давида, зашептал.

Ш в а р ц. Ничего, Додик, ничего, мальчик! Ты не сердись на меня... Мы с тобой вдвоем... Только мы вдвоем...

Больше нет у нас никого! Я ведь знаю — и что жуликом меня называют, и мучителем, и... А-а, да пусть их! Верно? Пусть! Я же целый день, как белка в колесе, верчусь на своем товарном складе — вешаю гвозди и отпускаю гвозди, принимаю мыло и отпускаю мыло, и выписываю накладные, и ругаюсь с поставщиками... Но в голове у меня не мыло, и не гвозди, и не поставщики! Я выписываю накладные и думаю... Знаешь, о чем? (*Взмахнул руками.*) Большой, большой зал... Горит свет, и сидят всякие красивые женщины и мужчины, и смотрят на сцену... И вот объявляют — Давид Шварц, и ты выходишь и начинаешь играть! Ты играешь им мазурку Венявского, и еще, и еще, и еще... И они все хлопают и кричат: «Браво, Давид Шварц!» — и посылают тебе цветы, и просят, чтобы ты играл снова, опять и опять! И вот тогда ты вспомнишь про меня! Тогда ты непременно вспомнишь про меня! И ты скажешь этим людям: это мой папа сделал из меня то, что я есть! Мой папа из маленького города Тульчина! Он был пьяница и жулик, мой папа, но он хотел, чтобы кровь его, чтобы его сын — узнал, с чем кушают счастье! Сегодня они устроили ревизию! Ха, чудачки!.. Натё — ищите!.. (*Загудел поезд.*) А тебя я сделаю человеком... Понял? Чего бы мне это ни стоило, но я тебя заставлю быть человеком!.. (*Гудит поезд.*) Вот этого я слышать не могу — поезда, поезда... Приезжают, уезжают... Не могу этого слышать! (*Гудит поезд.*) Да что он, взбесился, что ли?

Шварц встает. В руках у него керосиновая лампа. Стоит на середине комнаты, маленький, страшный, взъерошенный, покачиваясь и угрожающе глядя в окно.

Д а в и д. Папа! Что ты, папа?!

Все протяжнее и надрывнее гудит поезд.

Ш в а р ц (*в окно, смешным, тонким голосом*). Замолчи!.. Замолчи!.. Немедленно замолчи!..

Равнодушно кричит женщина: «Сереньку-у-у!» Гудит поезд.

З а н а в е с

ВТОРАЯ ГЛАВА

Закончилось первое действие. В зале снова зажегся тоскливый и тусклый боковой свет.

Ответственные дамочки разом встали и твердыми шагами командора направились в туалет, сохраняя на безликих лицах выражение этакой начальственной отрешенности. Отрешенность эта должна была, очевидно, означать — хоть мы и идем в туалет, но мы слишком ответственные работники, чтобы кто-нибудь посмел подумать, что мы идем в туалет!

Поравнявшись с Солодовниковым и встретив его вопросительный взгляд, кирпичная сказала сокрушенно и очень громко — в пустом зале голос ее прозвучал как-то особенно громко и гулко:

— Никакой драматургии... Ну, совершенно, совершенно никакой драматургии!..

Солодовников понимающе кивнул.

Моя жена, точно окаменев, сидела, вцепившись руками в подлокотники кресла.

В этом первом антракте мы оба — заядлые курильщики — даже не вышли в фойе покурить.

Белолицый администратор, почтительно проводив ответственных дамочек до выхода и тут же вернувшись, вдруг быстро подошел ко мне, наклонился и со вздохом шепотом проговорил:

— Дали бы мне этот спектакль месяца на три — на четыре... Я бы им закатил таких сто аншлагов, что...

Он поцокал языком и так же быстро отошел. А я сидел и нетерпеливо ждал начала второго действия. Я прекрасно — даже и тогда — понимал все его недостатки, но с этим вторым действием у меня были какие-то свои, тайные и особые отношения.

Дело в том, что я никогда не жил и даже не бывал в Тульчине. Я его придумал, вообразил, «вычислил» — как принято теперь говорить.

Детство свое я провел в Севастополе, в Ростове, в Баку — в разных больших и малых городах, куда забрасывало неугомонное время моих неугомонных родителей.

А в Тульчине я не бывал.

Уже в середине двадцатых годов семья моя навсегда поселилась в Москве, я очень быстро стал московским мальчиком и в Трифоновский студенческий городок, где жили многие мои иногородние друзья, ездил чуть ли не ежедневно — именно в том самом тридцать седьмом году, именно в тот самый Трифоновский студенческий городок, где и происходит второе действие.

Тут уж я ничего не воображал и не придумывал — тут я помнил.

...В тысяча девятьсот тридцать пятом году, окончив девять классов десятиклассной средней школы, которая обрыдла мне до ломоты в скулах, я нахально решил поступить в Литературный институт.

Как ни странно, меня приняли на поэтическое отделение необыкновенно легко и даже почти без экзаменов. Сыграла свою роль, наверное, заметка Эдуарда Багрицкого в газете «Комсомольская правда», которую он написал незадолго до своей смерти и где он в чрезвычайно лестных тонах упоминал мое имя.

Но, уже поступив в Литературный институт и болтаясь по Москве в ожидании начала занятий — дело происходило летом, — я вдруг узнал, что на улице Горького (тогда она еще называлась Тверской), в доме номер двадцать два, где помещалась ранее Малая сцена Художественного театра, открывается новая театральная Школа-студия под руководством самого Константина Сергеевича Станиславского, в какую студию и производится набор лиц обоего пола в возрасте от семнадцати до тридцати пяти лет!

Я затрепетал и заметался!

...Передо мной на столе лежат пожелтевшая от времени программа и пригласительный билет на закрытое заседание Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности, посвященное столетней годовщине чтения Пушкиным «Бориса Годунова» у Веневитиновых.

Программки были отпечатаны тиражом всего в ше-

стьдесят экземпляров. И то это было много, потому что торжественное заседание происходило не где-нибудь, а в нашей квартире — в одной из тех четырех квартир, что были выгорожены из зала веневетиновского дома. И хотя квартира наша состояла из целых трех комнат, комнаты были очень маленькими, и как разместились в них шестьдесят человек — я до сих пор ума не приложу.

Все, однако же, каким-то непостижимым образом разместились.

В воскресенье двадцать четвертого октября (двенадцатого по старому стилю) тысяча девятьсот двадцать шестого года состоялся этот, незабываемый для меня, вечер.

Съезд приглашенных ожидался к восьми часам, но еще с утра, еще в первой половине дня началось волшебное преобразование нашего дома.

У моих родителей довольно часто бывали гости, и я прекрасно знал, что это значит, когда в наших комнатах натирают полы, накрывают стол парадной скатертью, когда на кухне — которая помещалась в темном коридоре за занавеской — что-то шипит и жарится и отец, священнодействуя, настаивает водку на лимонных корочках.

Но теперь все было совсем по-другому. Преобразование не имело внешних примет, а шло как бы изнутри. Преображалась самая суть нашего дома — воздух его, звуки, запахи, настроение. Дом ожидал чуда — и все это понимали, а я, как мне казалось, понимал с особенной, страстной отчетливостью.

Первым, часам к шести, приехал старший брат моего отца — профессор Московского университета, пушкинист, один из организаторов этого вечера. Он рассеянно бродил по комнатам, теребил мягкую седую бородку, бесцельно переставлял стулья с места на место, и вообще по всему было видно, что он очень волнуется.

И вот наконец пробило восемь и начали появляться приглашенные. Они здоровались с дядюшкой и отцом, целовали руку маме, улыбались мне — но все это еще не было чудом, я знал, чудо было впереди.

Открыл вечер председатель Общества любителей рос-

сийской словесности профессор Сакулин. Потом с короткими сообщениями выступили профессор Цявловский и дядюшка, а потом, после недолгого перерыва, началось чудо. В программе чудо это называлось так:

«Чтение отрывков из «Бориса Годунова» артистами Московского Художественного театра. Сцену «Келья в Чудовом монастыре» исполнят Качалов и Сеницын, сцену «Царские палаты» — Вишневский, сцену «Корчма на литовской границе» — Лужский, сцену «Ночь, сад, фонтан» — Гоголева и Сеницын и отрывок из воспоминаний Погодина о чтении Пушкиным «Бориса Годунова» у Веневитиновых исполнит Леонидов...»

Чудо произошло мгновенно и незаметно — просто Василий Иванович Качалов сел в глубокое кожаное кресло (которое отец по случаю приобрел где-то на распродаже), а у ног Качалова на низкой скамеечке, моей скамеечке, устроился Сеницын.

И вдруг стало зябко и сумрачно, и окно нашей столовой вытянулось и сузилось, и на нем появилась решетка, и кожаное кресло превратилось в деревянное, и зазвучал несравненный голос Качалова — Пимена:

— Еще одно последнее сказанье,
И летопись окончена моя!..

Само собой разумеется, что с этого вечера я стал бредить театром. Я выучил наизусть чуть ли не всего «Бориса Годунова» и, вышагивая по нашему темному коридору, декламировал, безуспешно подражая качаловским интонациям:

— Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне, грешному!

Как же я мог теперь, увидев объявление о наборе учеников в студию Константина Сергеевича Станиславского, удержаться и не подать заявления о приеме?! Правда, мне еще не исполнилось семнадцати лет, но меня это смущало не слишком, тем более что заявление у меня приняли и даже назначили день, когда я должен явиться на первый экзамен.

Если в Литературный институт, как уже было сказано

выше, я попал сравнительно легко, то на экзаменах в студию пришлось натерпеться и волнения, и страхов.

Конкурс был невысказанный — сто человек на одно место. Приемные испытания проводились в четыре тура, причем с каждым новым туром экзаменаторы были все более знаменитыми и все более строгими.

На предпоследнем, третьем, туре председательствовал Леонид Миронович Леонидов, великий театральный актер и педагог, прославленный Митя Карамазов.

На этом экзамене я показывал с партнершей, назначенной мне на втором туре — до сих пор помню, что звали ее Верочкой Поповой, — сцену из «Романтиков» Ростана.

Мы поставили один на другой два шатких стола, что должно было означать сцену, влезли наверх и принялись, по выражению старых провинциальных актеров, «рвать страсть в клочки», изображая несчастных влюбленных.

Как выяснилось потом, экзаменационная комиссия во главе с Леонидовым смотрела на наши безумства стоя, ибо мы каждую секунду грозили свалиться с нашей верхотуры им на головы.

На следующий день я с совершенно искренним удивлением узнал, что допущен к четвертому туру — то есть, в сущности, принят в студию, так как четвертый тур заключался в показе самому Константину Сергеевичу Станиславскому уже отобранных будущих учеников.

...Я очень плохо помню тот день. Все мы волновались — до заикания, до дрожи в коленях, до слез в глазах.

«Театральный роман» Булгакова еще не был напечатан, и я не мог оценить ту насмешливую точность, с которой в главе «Сивцев Вражек» описаны двор дома Станиславского, и знаменитая деревянная лестница, ведущая на второй этаж, и прихожая с беленькими колоннами и черной-пречерной печкой.

Впрочем, в тот день я не сумел бы оценить Булгакова, даже если бы и читал роман. Я был в беспамятстве.

...И вот я стою в зальце, где такие же, как в прихожей, беленькие колонны, и прямо передо мною сидит Станиславский, а рядом с ним Леонидов, и еще кто-то, и еще кто-то — десятки лиц, сливающихся в одно зыбкое пятно.

Надсадным голосом я читаю Пушкина: «Графа Нулина» и «Погасло дневное светило».

Потом я вижу, как Станиславский приподнимает большую белую руку — помню, что я еще тогда сразу поразился величине, белизне и необыкновенно выразительной пластичности этой руки, — и подзывает меня.

Я подхожу. Я вижу совсем рядом лицо Станиславского, седую голову и по-прежнему темные брови, слышу горьковатый запах одеколона и негромкий голос:

— Скажите, а монолог вы какой-нибудь приготовили?

— Монолог «Скупого рыцаря»! — с готовностью выпаливаю я.

Леонидов почему-то фыркает, как будто он поперхнулся. И вокруг тоже раздаются смешки.

Станиславский улыбается и совсем тихо — мне приходится к нему наклониться — спрашивает:

— Голубчик, а поскромней у вас чего-нибудь нет? Вам сколько лет?

— Семнадцать, — отвечаю я.

— Семнадцать?! — переспрашивает Станиславский и вдруг, откинувшись назад, начинает весело и по-детски заразительно смеяться.

Через несколько дней после этого показа нам торжественно вручили удостоверения, в которых черным по белому было написано, что мы являемся студийцами первого курса Оперно-драматической студии народного артиста СССР Константина Сергеевича Станиславского.

Начались занятия. Все очень старались — боялись отсева. Всем было трудно, а мне труднее, чем остальным.

Целый учебный год, с осени до весны, я метался, как заяц, из Литературного института в студию, а потом снова в институт и снова в студию — благо хоть находились они недалеко друг от друга.

Перед весенними экзаменами меня остановил Павел Иванович Новицкий, литературовед и театральный критик, который и в институте, и в студии читал историю русского театра, и характерным своим ворчливым тоном сказал:

— На тебя, братец, смотреть противно — кожа да кос-

ти! Так нельзя... Ты уж выбирай что-нибудь одно... — Помолчав, он еще более ворчливо добавил: — Если будешь писать — будешь писать... А тут все-таки Леонидов, Станиславский — смотри на них, пока они живы!

И я бросил институт и выбрал студию.

Не пройдет, между прочим, и месяца, как я в первый раз — а впоследствии не однажды — пожалею об этом решении.

Теперь, когда мне уже не надо было мчаться с лекций в институте на занятия в студию, у меня неожиданно образовалось свободное время, и я мог спокойно, не торопясь, совершать обходы букинистических магазинчиков, которых в ту пору было на Тверской превеликое множество.

Однажды в дверях одного из таких магазинчиков я столкнулся с Леонидом Мироновичем Леонидовым.

Устремив на меня свой знаменитый прищуренный — «пулевидный» — правый глаз, он зловеще сказал:

— Ага, так, так! Книжечками интересуешься?

— Да, — виновато признался я.

— Прекрасно! — сказал Леонид Миронович и взял меня под руку. — Здесь сегодня ничего хорошего нет, а вот, говорят, напротив, у Кузьмича...

Леонидов был страстным книжником и знал по имени-отчеству всех букинистов Москвы. Он собирал издания «Академии» и книги по театру, а я поэзию. Мы, так сказать, не были конкурентами (да и возможности у нас были, разумеется, разные), и после занятий — а Леонид Миронович репетировал с нами «Плоды просвещения», где я исполнял роль гипнотизера Гроссмана, — он иногда, если был в хорошем настроении, предлагал мне:

— Пройдемся, Саня, по книжкам?

Один из таких походов я запомнил особенно хорошо — этот пронзительный весенний день с холодным ветром и ярким солнцем. Только что на занятиях Леонидов похвалил меня за какой-то этюд, и теперь я шагал рядом с ним возбужденный, радостный и без умолку трещал о ролях, которые я мечтаю сыграть.

Я не слишком утруждал свою фантазию, а просто

почти без изменений повторял репертуар легендарного провинциального актера на амплуа «неврастеников» Павла Орленева, мемуарами которого мы все тогда зачитывались: Треплев в «Чайке», Освальд в «Привидениях» Ибсена, «Орленок» Ростана.

Леонидов шагал, посмеиваясь — большой, грузный, — постукивал палкой. А потом он вдруг остановился, положил руку мне на плечо и сказал:

— Вот что... Ты теперь уже взрослый, на второй курс переходишь... Можешь попросить завтра в канцелярии — скажи, что я разрешил, — свое заявление о приеме и мою на нем резолюцию! Почитай!..

...Я держал в руках свое заявление, я читал и перечитывал надпись, сделанную Леонидовым — красным карандашом, крупным, угловатым, каким-то готическим почерком: «ЭТОГО принять обязательно! Актера не выйдет, но что-нибудь получится! Л.М.».

Сердце мое было разбито. На несколько дней. Свойственное мне до седых волос легкомыслие и вера в то, что все еще как-то обернется к лучшему, заставили меня усомниться в справедливости слов Леонидова.

Я пробыл в студии еще целых три года.

Странное это было заведение — последняя студия гениального мастера, последнее детище величайшего актера и режиссера, одного из основателей Московского Художественного театра, создателя прославленной и изучаемой во всем мире «Системы Станиславского».

Странное это было заведение, очень странное!

Ну, например, едва ли не треть педагогов студии состояла из близких и не очень близких родственников Константина Сергеевича Станиславского. Предмет «мастерство художественного чтения» вела Зинаида Сергеевна Соколова — несостоявшаяся актриса, родная сестра Станиславского. Брат — милейший старик — Владимир Сергеевич Алексеев занимался с нами и вовсе загадочной дисциплиной — правилами истинно московского произношения.

Был Владимир Сергеевич рассеян до чрезвычайно-

сти. Однажды мы поднимались с ним вместе из гардероба на второй этаж, где находились учебные классы студии.

И вот, пройдя несколько ступенек, Владимир Сергеевич, с которым я уже здоровался в гардеробе, остановился, поглядел в мою сторону, мило улыбнулся и протянул руку:

— Здравствуйте, голубчик, здравствуйте! Как поживаете?

— Спасибо, Владимир Сергеевич, здравствуйте, хорошо! — Пока мы успели подняться наверх, эта процедура здорования повторилась раз пять, не меньше.

Была еще в студии какая-то сгорбленная и скрюченная старушенция, уже из дальних родственников, которая обучала нас пластике движения. Была и другая старушка — шепелявая, картавая и злая, — она занималась с нами постановкой голоса.

Уроки эти мы ненавидели страстно — в течение часа старуха негнушима пальцами выдалбливала на рояле простейшие трезвучия, а мы должны были с разной степенью громкости тянуть за нею:

— Ми-ма-мо!.. Ми-ма-мо!..

Но, конечно же, конечно — были и Станиславский, Леонидов, Подгорный, Книппер-Чехова, были опытнейшие педагоги и воспитатели Раевский и Карев, были студийные вечера, на которых мы совсем рядом могли видеть и слышать великих актеров Москвина, Качалова, Тарханова...

И тем более многие, причастные к студии — и я в том числе, — не раз задумывались над таким простейшим вопросом: как случилось, как могло случиться, что из тридцати человек, отобранных из трех тысяч (потом еще было два набора, и всего на драматическом отделении — а существовало еще и оперное — занимались человек пятьдесят), что из этих избраннейших из избранных, из этих счастливых, которым завидовали студенты всех театральных школ, — как случилось, что из них не вышло ни одного, ни единого сколько-нибудь значительного актера, за исключением разве что Михаила Кузнецова,

который сразу же по окончании студии ушел работать в кино.

Ответ, как я теперь думаю, прост: никого по-настоящему и не интересовало — станут студийцы актерами или не станут. Нам преподавали актерское мастерство — как же иначе! — но были мы, в сущности, деревянными фигурками на шахматной доске, именуемой пышно «Театром — Храмом», мы были подопытными кроликами, на которых Константин Сергеевич Станиславский проверял свою последнюю теорию — «теорию физических действий».

Писалось об этой теории достаточно много, а в двух словах сводилась она к следующему: правильные физические действия должны привести исполнителя к правильному поведению, правильное поведение — вызвать правильное состояние, правильное состояние — помочь обрести правильные слова.

Я сам каждую неделю принимал участие в репетициях «Гамлета» под руководством Константина Сергеевича.

Распределение ролей никакого значения не имело: роль Гамлета была почему-то поручена девушке, Ирине Розановой, я — восемнадцатилетний, худющий как щепка — изображал короля Клавдия.

Заучивать шекспировский текст нам было строжайшим образом запрещено. Предполагалось, что если мы будем правильно действовать, в соответствии с сюжетом пьесы, то и найдем в конце концов правильные слова.

Разумеется, многие из нас жульничали. И я жульничал чаще других.

Пользуясь своей хорошей памятью, я время от времени вставлял в эту чудовищную ахиною, которую мы все несли, подлинные, хотя и слегка ритмически измененные шекспировские слова, и тогда Константин Сергеевич радостно улыбался, хлопал в ладоши и с глубоким удовлетворением говорил:

— Вот видите: Саня правильно действовал — и он нашел почти правильные слова.

Много лет спустя, когда я наконец прочту удивительный «Театральный роман» Булгакова, я узнаю и этот

особняк в Леонтьевском переулке, и фойе-прихожую с вечно раскаленной печкой, и маленький домашний театральный зал, и кабинет Константина Сергеевича, где проходили наши репетиции.

Но если в годы действия «Театрального романа» еще возможно было такое чудо, как приезд Ивана Васильевича (то бишь Константина Сергеевича) на репетицию в театр, то в годы последней студии Станиславский никуда и никогда из дома не выходил.

Запершись в своем особняке, отгородившись от всего света, он жил в иллюзорном, совершенно нереальном мире, где единственной святыней, началом всех начал и смыслом всех смыслов было некое «Театральное Искусство» с большой буквы, которому он истово продолжал служить до глубокой старости, тогда как «там»...

Презрительная усмешка и великолепный жест большой выхоленной руки давали нам понять, что под словом «там» подразумевается нынешний Художественный театр, которым заправляет единолично Владимир Иванович Немирович-Данченко и где ставятся какие-то немислимые современные пьесы, названия которых и запомнить-то невозможно.

У нас в студии подобные глупости не допускались. Если художественное чтение — то «Семейное счастье» Толстого, или, на худой конец, «Герой нашего времени», или «Стихотворения в прозе» Тургенева.

Если пьесы, то «Три сестры», «Плоды просвещения», «Гамлет» и «Ромео и Джульетта».

И, покоренные великим талантом нашего великого учителя, завороченные его неслыханным обаянием, величием его имени и человеческой мужской красотой, — мы тоже жили в придуманном, нереальном, иллюзорном мире. Нет, конечно же, у нас бывали комсомольские собрания, мы читали газеты — Константин Сергеевич газет не читал, — мы слушали радио и смотрели кино. Но все это делалось как-то мельком, мимоходом, все это было не главным. Сокрушительные события этих страшных лет не имели, казалось, к нам, студийцам, ни малейшего отношения.

Многие из нас — многие, если не большинство, — жестоко поплатятся за эти, словно лишенные зрения и слуха годы юности. Поплатятся разочарованием и утратой таланта, неверием в собственные силы, горестным ощущением непоименованных потерь и почти звериной ненавистью ко всем и вся за то, что собственная судьба так и не состоялась.

Я не кощунствую!

Я пишу о себе и пытаюсь разобраться в том, почему так странно и нелепо сложилась моя жизнь, почему так поздно пришло ко мне — не прозрение, нет, прозрение — это слишком высокое и ответственное слово, а просто хотя бы понимание элементарнейших истин и почему понимание это далось мне с таким трудом и такой великой ценой, в то время как мои более молодые друзья обрели и мужество, и зрелость естественно, как дыхание.

Станиславский умер седьмого августа тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Мы — несколько студийцев, случайно оказавшихся в Москве (остальные разъехались на каникулы, а Художественный театр был где-то на гастролях), — до глубокой ночи помогали приводить в порядок дом: завешивали зеркала, перевивали черным крепом колонны в прихожей и в зале, расставляли цветы.

Утром мы пришли снова, но уже не поднялись наверх, а остались во дворе. Мы сидели на лавочке, молчали, курили.

Было жарко, и душно, и как-то нестерпимо жестоко светло, будто на свете вовсе перестала существовать тень.

Мы услышали, как к воротам подъехала машина, хлопнула дверца, и во двор быстро вошел Качалов. Он был без шляпы, в темном — а тогда мне показалось, да и по сей день кажется, в черном, — костюме.

Мы встали.

Качалов еще издали, глазами, спросил нас — правда ли?

И мы тоже молча ответили — да, правда.

И тогда Качалов, как-то нелепо, боком прислонившись к белой стене дома, заплакал. Он плакал открыто, в голос, страшно. И страшней всего было то, что сам Ка-

чалов как бы исчез, его не было — был только черный костюм, распластанный на ослепительно белой стене.

После того как умер Константин Сергеевич и тяжело заболел Леонидов, из студии и вовсе словно выпустили воздух, и я совершил очередной отчаянный шаг: не окончив учебного курса, перешел в другую студию — Московскую театральную студию, которой руководили режиссер Валентин Плучек и драматург Алексей Арбузов.

О, в этой новой студии не только не шарахались от современности — здесь жили современностью, дышали современностью, клялись современностью.

Она и создавалась-то, эта студия, на общественных началах: мы сами, за свои деньги (большую часть давал Арбузов) снимали помещение школы на улице Герцена, напротив консерватории, и в этой школе по вечерам репетировали пьесу «Город на заре» — о строительстве Комсомольска.

Мы все делали сами: сами эту пьесу писали (под редакцией Арбузова), сами режиссировали (под руководством Плучека), сами сочиняли к ней песни и музыку, рисовали эскизы декораций.

Жить делами и мыслями сегодняшнего дня — вот лозунг, который мы свято исповедовали!

Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что занимались мы чистейшим самообманом: мы только думали, что живем современностью, а мы ею вовсе не жили, мы ее конструировали, точно разыгрывали в лицах разбитые на реплики и ремарки передовые из «Комсомольской правды».

С одержимостью фанатиков мы сами ни на единую секунду не позволяли себе усомниться в том, что вся та ходульная романтика и чудовищная ложь, которую мы городили, есть доподлинная истина.

Впрочем, нам — двадцатилетним — нужно было, наверное, как-то для самих себя оправдать все то непонятное и страшное, что происходило в мире. Возможно, если, размышляя и раздумывая, мы прозрели бы уже в те годы, мы бы задохнулись и не смогли жить!

Да и в самой какой-то слегка «вечериночной», взвин-

ченной атмосфере студии была, видимо, особая притягательная сила — в группу так называемых друзей студии входили и многие уже известные писатели, и студенты из ИФЛИ и Литературного института, и даже знаменитый боксер Николай Королев.

Пятого февраля 1941 года спектаклем «Город на заре» студия открылась и стала существовать как театр.

У меня до сих пор хранится наша первая афиша, на которой авторами пьесы и спектакля были названы в алфавитном порядке все студийцы.

Честно говоря, я просто не помню другой подобной премьеры: толпы студенческой молодежи, жаждущей попасть на спектакль, буквально осаждали театр, в зрительном зале люди стеною стояли в проходах, сидели вдоль рампы на полу.

Так было на первом, на втором и на третьем спектакле. А на четвертом — толпа поредела. А последующие спектакли мы играли уже и вовсе при полупустом зале.

Что же произошло? Вероятно, рядовому зрителю было наплевать на наши формальные изыски — введение хора, использование приемов японского театра и комедии дель арте, — а сама пьеса про очередное строительство и очередное вредительство его, рядового зрителя, привлечь не могла.

Двадцать второго июня, в день начала войны, студия как-то сразу перестала существовать. Большинство студийцев — не только мужчины, но и женщины — уйдут на фронт, и многие, среди них и сын поэта Эдуарда Багрицкого — Всеволод, погибнут. Вместе с Севой и другим студийцем, впоследствии известным драматургом Исаем Кузнецовым, мы написали пьесу «Дуэль», которую студия репетировала до самого последнего дня своего существования.

А меня в армию не взяли. Уже первые врачи — терапевт, глазник и невропатолог — на медицинской комиссии в райвоенкомате признали меня по всем основным статьям негодным к отбыванию воинской повинности.

Тогда, чтобы хоть что-то делать, я устроился коллек-

тором в геологическую экспедицию, уезжающую на Северный Кавказ.

Но доехали мы только до города Грозного — дальше нас не пустили.

Возвращаться в Москву казалось мне бессмысленным — там в эту пору не было ни близких, ни друзей.

Из грязной и шумной, похожей на огромное бестолковое общежитие гостиницы «Грознефть» я перебрался на частную квартиру — в маленькую комнатенку в маленьком домике, стоявшем в саду на спокойной окраинной улице Алхан-Юртовской.

Как-то неожиданно легко я устроился завлитом в городской Драматический театр имени Лермонтова, начал переводить чеченских поэтов — и с некоторыми из них подружился, организовал с группой актеров и режиссером Борщевским Театр политической сатиры.

Я писал для спектаклей этого театра песни и интермедии. Песни были лирические, интермедии идиотские. В некоторых из них я сам играл.

...Испуганный помреж вбежал в мою актерскую уборную, где я сидел перед зеркалом и с отвращением отклеивал рыжие усы — я только что изображал какого-то немецкого полковника.

— Александыр! — больше, чем обычно, коверкая слова, задыхаясь, проговорил помреж. — Иди... Скорей иди... Тебя в правительственную ложу зовут.

«Правительственной» называлась у нас в театре ложа, где на премьерах и парадных спектаклях сидели ответственные чины из обкома партии и горсовета.

— Брось разыгрывать! — сказал я помрежу. — Я же смотрел со сцены — там сегодня никого нет!

— Там есть! — трагическим шепотом выдохнул помреж и схватился за голову. — Там Юля Дочаева... Иди скорей!

Знаменитую грозненскую красавицу, жену одного из секретарей обкома партии Юлию Дочаеву я до этого вечера видел только один раз: на коне, в мужском седле, она лихо промчалась по центральной улице, провожае-

мая восторженным цоканьем мужчин и осуждающим шепотом женщин.

Она была худенькой, темноглазой и темноволосой. У нее был низкий, тихий и очень спокойный голос.

— Здравствуй! — сказала она и протянула руку. — Ты из Москвы?

— Да, — сказал я, с первой же секунды отчаянно влюбляясь в нее.

— Я тоже из Москвы, — сказала Юля, — училась на медицинском, собиралась врачом на Сахалин, а мой дикарь приехал на какой-то пленум и похитил меня... — Она засмеялась. — А тебе сколько лет?

— Двадцать два. Завтра, девятнадцатого октября, в день годовщины открытия Пушкинского лицея, мне исполняется двадцать два!

Я проговорил эту тираду слегка хвастливо, так как всю жизнь почему-то чрезвычайно гордился этим случайным совпадением.

А Юля снова засмеялась, потом сказала быстро и тихо:

— Я приду тебя поздравить, хочешь? Ты где живешь?

— Алхан-Юртовская, сто десять.

Юля кивнула.

— Я приду. У меня завтра ночное дежурство в больнице, но часов в двенадцать я постараюсь сбежать... Ты меня жди!

...Я начал ее ждать с утра.

Мне удалось путем неслыханной лести и еще более неслыханных посулов выпросить у администратора театра бутылку спирта, потом, пользуясь все той же лестью и посулами, я уговорил мою хозяйку испечь ее коронное блюдо — тыквенный пирог. Потом я отправился на базар — купил яблок, слив и цветов.

Базар был в этот день как-то странно и подозрительно малолюден, но я не обратил на это внимания.

Уже приготовив все для вечернего пира, я принялся просто слоняться по городу — думал о Юле и влюблялся в нее все больше и больше.

А между прочим, вокруг меня в этот день происходи-

ли события, на которые, будь я в здравом уме, следовало бы обратить внимание: куда-то за черту города тянулся поток стариков и детей, проезжали телеги с убогим скарбом, плелись навьюченные ослики и к обычному запаху грозненской пыли примешивался сладковатый и ядовитый запах дыма — во время одного из разведывательных налетов немцы бросили зажигательную бомбу в нефтяной резервуар, и вот уже третьи сутки над городом и днем и ночью стояло невысокое радужное зарево.

Вечером пошел дождь. Лаяли собаки — безостановочно и надсадно.

В сотый раз я оглядел свою комнату: в центре стола красовался тыквенный пирог, цветы я расставил по всем углам и зажег свечи.

Тогда еще не было написано замечательное стихотворение Пастернака, еще не пришла мода ужинать при свечах — просто свет в городе вырубали в девять часов вечера, а керосиновая лампа стояла на рынке целое состояние.

Я ходил по комнате и сочинял для Юли стихи.

В тот первый военный год я написал довольно много стихов, но черновики я растерял, стихи позабыл, а вот эти две альбомные строфы почему-то запомнил:

Лают азиатские собаки,
Гром ночной играет вдалеке...
Мне б ходить в черкеске и папахе,
А не в этом глупом пиджаке!

Мне б кинжал у талии осиной
И коня — земную благодать,
Чтоб с тобою, с самую красивой,
На скаку желанье загадать!..

Еще задолго до двенадцати я услышал быстрый и тихий стук.

Как во многих южных домах, дверь моей комнаты открывалась прямо на улицу. Сначала в дождливой темноте, которую не подсвечивало даже зарево пожара, я вовсе ничего не мог различить. Потом, взглядевшись, я увидел странное зрелище — двух оседланных лошадей.

— Что такое? — спросил я. — Кто?

— Тихо! — проговорил кто-то шепотом, невысокая фигура в бурке отделилась от лошадей, и я узнал своего приятеля, поэта Арби Мамакаева, которого за буйный нрав называли «чеченским Есениным». — Собирайся, Александр, поехали!

— Куда? — изумился я.

Арби притянул меня к себе за плечи и зашептал мне в самое лицо:

— У нас точные сведения... Немцы будут в Грозном через неделю... Ты чужой, ты еврей, ты дурацкие спектакли играл — тебя сразу повесят! А в горах мы тебя спрячем! Поскакали!..

А я никуда не мог ехать — я ждал Юлю!

— Я не поеду, Арби, — сказал я.

— Ты совсем дурак? — грозно спросил меня Арби.

— Слушай, — попытался я найти компромисс, — вот что — приезжай за мной утром.

— Ты совсем дурак! — уже утвердительно повторил Арби. — Я сейчас еле проехал... Патрули всюду... Ты поедешь?

— Нет, — сказал я.

Арби молча сплунул, повернулся ко мне спиной и медленно, тихо увел лошадей в темноту.

А Юля не пришла. А я под утро свалился в приступе жесточайшей лихорадки — у меня время от времени бывают такие непонятные приступы, которые не сумел разгадать еще ни один врач.

Дня через два меня пришли проведать актеры нашего театра.

Они рассказали мне, что в ночь с девятнадцатого на двадцатое октября — в ту самую ночь — муж Юли, Идрыс Дочаев, в начале двенадцатого застрелился в своем служебном кабинете.

Командование Северо-Кавказского военного округа отдало распоряжение — прочесать горные аулы и выловить всех, уклоняющихся от воинской службы. Ответственным за эту операцию был по неизвестным причинам назначен штатский человек Идрыс Дочаев. Снова, в который раз, проявила себя во всем блеске «мудрая» на-

циональная политика Вождя народов: поручить чеченцу возглавить карательный рейд по чеченским аулам — большее оскорбление и унижение трудно было придумать.

А немцы до Грозного так и не дошли.

Когда Отец родной повелел выслать чеченцев и ингушей в отдаленные районы Казахстана, Юля, русская Юля, уже не жена чеченца, уехала вместе со всеми. Попала она куда-то под Караганду и меньше чем за полгода сторела от туберкулеза.

Многие говорили, что ей повезло!

...Через Баку и Красноводск я добрался до города Чирчика, где собрались во главе с Валентином Плучеком остатки студии. В немыслимо короткий срок мы подготовили два спектакля и несколько концертных программ, написали письмо в Политуправление Советской Армии с просьбой оформить нас как фронтовой театр, получили это разрешение и всю войну проездили по армейским частям, играя спектакли и концерты.

С концом войны театр распался.

Людам, как бы ни менялись они с годами, трудно отделаться от сентиментально-снисходительного отношения к собственной юности: еще в конце сороковых и начале пятидесятых годов мы — уцелевшие участники спектакля «Город на заре» — созванивались, а порою и встречались в день пятого февраля, день премьеры.

Когда в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году драматург Алексей Арбузов опубликовал эту пьесу под одной своей фамилией, он не только в самом прямом значении этого слова обокрал павших и живых.

Это бы еще полбеды!

Отвратительнее другое — он осквернил память павших, оскорбил и унизил живых!

Уже зная все то, что знали мы в эти годы, он снова позволил себе вытащить на сцену, попытаться выдать за истину ходульную романтику и чудовищную ложь: снова появился на театральных подмостках троцкист и демагог Борщаговский, снова кулацкий сынок Зорин соблазнил честную комсомолку Белку Корневу, а потом дезертиро-

вал со стройки, а другой кулацкий сынок, Башкатов, совершал вредительство и диверсию.

Политическое и нравственное невежество нашей молодости стало теперь откровенной подлостью.

В разговоре с одним из бывших студийцев я высказал как-то все эти соображения. Слова мои, очевидно, дошли до Арбузова — и пятнадцать лет спустя, на заседании секретариата, на котором меня исключат из членов Союза советских писателей, Арбузов отыграется, Арбузов возьмет реванш и назовет меня мародером.

В доказательство он процитирует строчки из песни «Облака»:

Я подковой вмерз в санный след,
В лед, что я кайлом ковырял...
Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям!..

— Но я же знаю Галича с сорокового года! — патетически воскликнет Арбузов. — Я же прекрасно знаю, что он никогда не сидел!..

Правильно, Алексей Николаевич, не сидел! Вот если бы сидел и мстил — это вашему пониманию было бы еще доступно! А вот так, просто взваливать на себя чужую боль, класть «живот за други своя» — что за чушь!

Потом голосом, исполненным боли и горечи, Арбузов скажет еще несколько прочувствованных слов о том, как потрясен он глубиной моего падения, как не спал всю ночь, готовясь к этому сегодняшнему судилищу.

Он будет так убедительно скорбеть, что все выступающие после него, словно позабыв, на какой предмет они здесь собрались, станут говорить не столько обо мне и моих прегрешениях, сколько о том, как потрясла и взволновала их речь Арбузова, будут сочувствовать ему и стараться помочь.

Не медведи, не львы, не лисы,
Не кикимора и сова —
Были лица — почти как лица
И почти как слова — слова.

За квадратным столом по кругу
(В ореоле моей вины!)
Все твердили они друг другу,
Что друг другу они верны!..

Так завершится мое очень долгое, затянувшееся больше чем на четверть века прощание с театром! От резолюции Леонида Мироновича Леонидова до заседания секретариата!

Бросив в конце войны актерство и занявшись драматургией, я все равно как бы оставался в мире театра.

Потом я начну прощаться и с драматургией — это будет после того, как подряд запретят мои пьесы: «Матросскую Тишину» и «Август», — а последнюю точку, как ни странно, поставит Арбузов. Он так прямо и скажет:

— Галич был способным драматургом, но ему захотелось еще славы поэта — и тут он кончился!

Ну что ж, кончился так кончился. Я ни о чем не жалею. Я не имею на это права. У меня есть иное право — судить себя и свои ошибки, свое проклятое и спасительное легкомыслие, свое долгое и трусливое желание верить в благие намерения тех, кто уже давно и определенно доказал свою неспособность не только совершать благо, а просто даже понимать, что это такое — благо и добро! Я ни о чем не жалею. Это раньше я бессмысленно и часто сокрушался по разным поводам.

Пути господни неисповедимы, но не случайны.

Не случайна была та бессонная ночь в вагоне поезда «Москва — Ленинград», когда я написал свою первую песню «Леночка».

Нет, я и до этого писал песни, но «Леночка» была началом — не концом, как полагал Арбузов, — а началом моего истинного, трудного и счастливого пути.

И нет во мне ни смирения, ни гордыни, а есть спокойное и радостное сознание того, что впервые в своей долгой и запутанной жизни я делаю то, что положено было мне сделать на этой земле.

Это гордыня? Не знаю. Надеюсь, что нет!

...Бутылочная и кирпичная с просветленными лицами вернулись в зал и, сморкаясь, заняли свои места в первом ряду.

И тотчас же, словно кто-то подсматривал в глазок занавеса (впрочем, так оно, наверное, и было), в зале погас свет и в луче бокового софита снова появился Олег Ефремов.

Прислушиваясь к звукам далекого марша, он медленно начал слова вступления ко второму действию:

— Юность. Москва. Май тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Строительные леса на улице Горького. Открытые бежевые «Линкольны» возят по городу иностранных туристов. Туристы вежливо улыбаются, вежливо восхищаются, вежливо задают двусмысленные вопросы — главным образом, об исчезающих за ночь портретах — и с некоторой опаской поглядывают на девушек-переводчиц.

...Марш зазвучал громче.

Ефремов, не двигаясь, продолжал:

— По вечерам не протолкаться на танцевальных площадках, в цветочных киосках продают нарасхват ландыши и сирень, а на площади Пушкина, у фотовитрины «Известий», с утра и до ночи толпится народ, разглядывая фотографии далекой Испании, где фашистам все еще не удалось отрезать от Мадрида Университетский городок.

В тот год мы окончательно стали москвичами. Еще совсем недавно — робкие провинциалы — мы впервые, разинув рты, бродили по набережным, почтительно следовали правилам уличного движения, ездили, восхищаясь, в метро и писали длинные, восторженные и подробные письма домой...

Ефремов улыбнулся.

— Потом письма стали короче. Всего несколько слов — о том, что мы здоровы, об институтских отметках и о том, что нам опять очень нужны деньги. Мы научились торопиться. Мы были одержимы, влюблены, восторжены и упрямы... Нам исполнилось девятнадцать лет!

...Пошел занавес. Ефремов стал к залу вполоборота и сказал, указывая рукою на декорацию и действующие лица:

— Вечер. Комната в общежитии студентов Москов-

ской консерватории. Две кровати, два стула, две тумбочки и большой стол, у которого табурет заменяет отломанную ножку. На стене пыльная гипсовая маска Бетховена.

Давид в тапочках, в теплой байковой куртке, с завязанным горлом расхаживает по комнате. Он играет на скрипке, зажав в зубах докуренную до мундштука папиросу. Таня — тоненькая, ясноглазая — караулит у электрической плитки закипающее молоко...

Ефремов незаметно скрылся в кулисе.

НАЧАЛОСЬ ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Д а в и д. ...Раз, и два, и три, и!.. Раз, и два, и три, и! (Со злостью опускает скрипку.) Нет, ни черта не выходит сегодня.

Т а н я. В чем дело?

Д а в и д (оттопырил губы). Иногда, знаешь, я слышу все: как стоит стол, слышу, как ты улыбаешься, как Славка думает... А иногда — вот как сегодня — наступает вдруг какая-то полнейшая и совершеннейшая глухота... Который час?

Т а н я. Половина девятого. Температуру мерить пора.

Д а в и д. А ты все-таки уходишь?

Т а н я. Я вернусь. Получу новое платье и вернусь! (Заломила руки.) О боже, какая я буду красивая в новом платье.

Д а в и д (ворчливо). Ты и так очень красивая. Даже, я бы сказал, чересчур! Где градусник?

Давид прячет скрипку в футляр, садится на кровать, засовывает градусник под мышку. Таня, выключив плитку, снимает молоко.

Т а н я. Надо же ухитриться — заболеть ангиной в мае месяце.

Д а в и д. А я все могу. Я человек, как известно, необыкновенный.

Т а н я. Ты необыкновенный хвастун, вот ты кто!

Д а в и д. Старо! Хвастун, хвастун — а почему я хвастун? Персональную стипендию я получаю, и в «Комсо-

молке» про меня уже два раза писали, ты дала мне слово, что выйдешь за меня замуж... Вот и попробуй тут не расхвастайся!..

В комнату без стука входит очень худая и высокая, остриженная по-мужски и с мужскими ухватками, длинноногая и длиннорукая девица. Это — Людмила Шугова из Литинститута (актриса Л. Иванова).

Людмила. Привет!

Давид. Слушай, Людмила, ты почему не стучишь?

Людмила. Я потом постучу. На обратном пути. Шварц, ну-ка давай быстро — в каком году был Второй съезд партии?

Давид. В девятьсот третьем.

Людмила. Так. Нормально. А где?

Давид. Сначала в Брюсселе, а потом в Лондоне.

Людмила. Так. А закурить нету?

Давид. Нет.

Людмила. И Славка Лебедев отсутствует! Судьба! Хотите, стихи прочту новые? Ге-ни-аль-ные!

Давид. Твои?

Людмила. Мои, конечно!

Давид. Не надо, будь здорова.

Людмила подходит к столу, берет стакан с молоком, отпивает глоток, неодобрительно морщится и ставит стакан обратно.

Людмила. Теплое!

Таня (*возмутилась*). Послушайте!.. Ну что это...

Людмила (*не обращая на Таню ни малейшего внимания*).

Мы пьем молоко и пьем вино,
И мы с тобою не ждем беды,
И мы не знаем, что нам суждено
Просить, как счастья, глоток воды!

Людмила раскланивается и уходит — не забывая в коридоре постучать в дверь.

Давид. Психическая! (*Вытащил градусник.*) Тридцать семь и семь.

Таня. Ого! Ну-ка, ложись немедленно!

Давид. Ложусь. А ты не уходи.

Давид скинул тапочки, ложится поверх одеяла. Тишина. Тикает будильник. Далеко гудит поезд.

Т а н я (*тихо*). Поезд гудит... Вот и лето скоро! Кажется, уж на что большой город Москва, а поезда, совсем как в Тульчине, гудят рядом... Помнишь?

Д а в и д (*с неожиданной злостью*). Нет. Не помню и не хочу помнить. И я тебе уже говорил — для меня все началось два года назад, на площади у Киевского вокзала! Вот — слез с поезда, вышел на площадь у Киевского вокзала, спросил у милиционера, как проехать в Трифоновский студенческий городок, — и с этого дня себя помню... Хана злится, что я к ним в гости не прихожу, а я не могу! Понимаешь?

Т а н я. Почему?

Д а в и д. Не могу! Местечковые радости! Хана, Ханина мама, Ханин папа. Детям дадут по рюмке вишневки, а потом начнут поить чаем с черносливом и домашними коржиками... Смертная тоска, не могу!

Т а н я. И ты ни разу не был у них?

Д а в и д. Ни разу. (*Усмехнулся.*) Смешно! Столько лет я мечтал побывать на улице Матросская Тишина... Я когда-то придумал, что это кладбище кораблей, где стоят шхуны и парусники, а в маленьких домиках на берегу живут старые моряки... А там на самом деле живут Ханины родственники! И мне не хочется ехать к ним на улицу Матросская Тишина!

Молчание. Гудит поезд.

Т а н я. А зимою поездов почти не слышно, ты заметил? И осенью, когда дожди... А летом и особенно весной по вечерам они так гудят... Почему это?

Д а в и д. Не знаю.

Т а н я. А хочется уехать, верно?

Д а в и д. Куда?

Т а н я. Куда-нибудь. Просто — сесть в поезд и уехать. Чтобы — чай в стаканах с большими подстаканниками и сухари в пакетиках... А на остановке — яблоки, помидоры, огурцы... И бежать по платформе в тапочках на босу ногу... А утро раннее-раннее, и холодно чуть-чуть... А по-

том я вернусь в вагон, а ты проснешься и спросишь — что это была за станция? А я отвечу — Матросская Тишина. Будет так?

Д а в и д. Будет. Непременно.

Т а н я. Я стала очень жадная, Додька! Хочу, чтобы все исполнилось. Самая малая малость. Ничего не желаю уступать. Вот кончим, и тогда...

Быстро входит сосед Давида — Слава Лебедев (актер Олег Табаков). Он коренастый, косолапый, у него открытое мальчишеское лицо и большие, солидные роговые очки.

Л е б е д е в. Добрый вечер. Тебе письмо, Давид.

Лебедев через стол перебросил Давиду письмо. Сел на свою кровать, закрыл руками лицо.

Т а н я. Что с вами?

Л е б е д е в. Голова болит.

Т а н я. Честное слово, у вас прямо не общежитие, а лазарет!

Д а в и д. Славка, а что в газетах?

Л е б е д е в. Все то же. Продолжаются бои на подступах к Мадриду.

Давид вскрыл конверт, быстро пробежал глазами письмо.

Т а н я. Откуда?

Д а в и д. Из Тульчина. Целый месяц шло.

Давид встал, со злостью разорвал письмо, бросил в пепельницу.

Т а н я. Что такое?

Д а в и д. А какого черта он денег не шлет?!

Т а н я. Кто? Ладно, мне пора, я ухожу... Через час вернусь. Хотите, Слава, я пирамидона вам принесу?

Л е б е д е в. Спасибо, у меня есть. Большое спасибо.

Т а н я (*вдруг быстро наклоняясь к Лебедеву*). Славочка, вы очень хороший человек! Правда, правда! И вы не сердитесь — но я вам буду говорить «ты»! Хорошо? (*Засмеялась*.) Мальчики, приказ такой — сидите и ждите! Я скоро вернусь, и мы что-нибудь вместе придумаем... Давид, пей молоко!

Т а н я снова засмеялась, перекружилась на каблуках и исчезла. Долгое молчание.

Лебедев. Никто не спрашивал меня?

Д а в и д. Нет, никто.

Лебедев. Голова смертельно болит. А Таня откуда знает? Ты ей сказал?

Д а в и д. Да.

Лебедев. Ну, правильно. Я ведь и не скрываю... Черт, голова как болит! Весь день сегодня прошатался по городу, все думал, думал.

Д а в и д. О чем?

Лебедев. Об отце. Ты пойми, ведь я не просто любил его, я им всегда гордился! И всегда помнил о нем! Даже на зачете, когда Брамса играл, — помнил о нем. О том, какой он могучий и смелый... О том, что это он научил меня говорить, читать, запускать змея, переплывать Волгу...

Д а в и д (*сквозь сжатые зубы*). Перестань!

Лебедев. Что ты?

Д а в и д (*помолчав*). Ничего. Глупости. Извини.

Лебедев. А теперь мне говорят — он враг... И в газетах пишут... И что же — я должен этому верить?!

Д а в и д. Должен.

Лебедев. Почему?

Д а в и д (*неловко*). Потому что ты комсомолец...

Лебедев. А я не комсомолец!

Д а в и д (*опешил*). Что-о?

Лебедев. Меня исключили сегодня. И со стипендии сняли. Вот, брат, какие дела!

Д а в и д (*недоверчиво*). Врешь? (*Поглядел на Лебедева, стиснул кулаки.*) Ну, это уж слишком! Это ерунда, Славка!

Лебедев (*взорвался*). Да? А что не слишком? На каких это весах меряют, что слишком, а что не слишком?! (*Поморщился.*) Черт, как болит голова! А в общем, Додька, тяжело! Очень тяжело. Из консерватории придется, конечно, уйти!

Д а в и д. Ты шутишь?

Лебедев (*усмехнулся*). Разве похоже? Нет, не шучу.

У меня в Кинешме мать, сестренка маленькая — мне помогать им теперь надо... Уйду в какое-нибудь кино...

Д а в и д. В какое еще кино?

Л е б е д е в. Ну, в оркестр, который перед сеансами играет... Что я, «Кукарачу», что ли, сыграть не смогу?!

В дверь стучат.

Д а в и д. Кто там?

Входит, чуть прихрамывая, высокий русоголовый человек в гимнастерке и сапогах. Это секретарь партийного бюро консерватории — И в а н Кузь м и ч Чернышев (Олег Ефремов). Ему лет сорок, не больше, но и Давиду и Славе он, разумеется, кажется стариком. В руке у Чернышева полевая сумка, чем-то туго набитая, повидавшая виды.

Ч е р н ы ш е в. Добрый вечер! К вам можно?

Д а в и д (удивленно). Иван Кузьмич? Здравствуйте. Вот уж... Конечно, конечно, можно.

Л е б е д е в. Здравствуйте.

Чернышев неторопливо придвигает стул к постели Давида, вытирает лицо платком.

Ч е р н ы ш е в. Жарко. Как здоровье, Давид?

Д а в и д. Ничего... Только температура.

Ч е р н ы ш е в (улыбнулся.) Ты давай-ка, поправляйся скорей, дела есть.

Д а в и д (посмотрел на Чернышева, на Лебедева, снова на Чернышева, прищурил глаза). Иван Кузьмич, это очень хорошо, что вы пришли! Это просто очень хорошо. Я ведь уже дней десять не был в консерватории, а мне сейчас Славка сказал...

Л е б е д е в. Давид!.. Давид, я прошу тебя, перестань!

Отворяется дверь, и снова появляется Людмила Шутова.

Л ю д м и л а. Шварц!

Д а в и д (резко). Людмила, к нам сейчас нельзя!

Л ю д м и л а. Ничего, ничего, мне можно! Шварц, а какой основной вопрос стоял на Втором съезде?

Д а в и д. До чего же ты мне надоела! Программа партии.

Людмила. Так. Нормально. А закурить нет, Славка? Лебедев. Нет.

Чернышев (*развел руками*). И я не курю.

Людмила (*весело*). Жалеете! Все у вас, ребята, есть — только совести у вас, ребята, нет...

Давид. Людмила, уходи!

Людмила. Да, между прочим, Славка, держи тридцать рублей — я у тебя зимою брала. Не помнишь? Держи и не спорь! (*Легко положила руку Лебедеву на плечо*). И не горюй, Славка! Выше голову!

Мы еще побываем у полюса,
Об какой-нибудь айсберг уколемся.
И добратся — не красные ж девицы —
К Мысу Доброй Надежды надеемся!
И, желанье предвидев заранее,
Порезвимся на Мысе Желания!

Давид. Людмила, ты уйдешь?!

Людмила. Поэма не кончена, продолжение в следующем номере... Прощай, прощай и помни обо мне!

Людмила уходит. Молчание.

Чернышев (*засмеялся*). Занятная гражданочка! Это кто же такая?

Давид. Шутова Людмила. Из Литинститута. Она — не то гениальная, не то — ненормальная, не поймешь!

Лебедев (*с виноватой улыбкой спрятал деньги в карман пиджака*). Какой-то еще долг выдумала...

Молчание.

Давид (*волнуясь*). Вот, кстати, Иван Кузьмич, я начал говорить, а она перебила... Я хотел... Мне Славка сказал, что его сегодня исключили из комсомола и сняли со стипендии.

Чернышев (*негромко*). Ну, насчет комсомола — этот вопрос будет окончательно решать райком. А насчет стипендии — зайди в понедельник, Лебедев, в дирекцию к Фалалею, он тебе даст приказ почитать.

Лебедев. А я уже читал, спасибо.

Чернышев. Ты утренний приказ читал. А это другой — вечерний.

Давид. О чем?

Чернышев. Об отмене утреннего! (*С невеселым смешком.*) Как говорится — круговорот азота в природе. Вы проходили в школе такую штуковину?

Давид (*с торжеством*). Вот видишь, Славка?

Лебедев (*зачем-то снял очки, подышал на стекла, встал*). Вижу... Извините... До свидания...

Чернышев. погоди! Ты смотрел новое кино «Депутат Балтики»?

Лебедев. Нет.

Чернышев. И я не смотрел. А говорят, стоит! Хорошее, говорят, кино. Может, сбегаешь, если не лень, возьмешь билеты на девять тридцать?

Лебедев (*растерялся*). А кто пойдет?

Чернышев. А вот мы с тобою и пойдем... Или моя компания тебя не устраивает?!

Лебедев (*с вызовом*). А вас — моя?!

Чернышев (*нарочито спокойно*). Поговорим на эту тему!.. Возьми деньги.

Лебедев. Иван Кузьмич!

Чернышев. Бери, не выдумывай! Я ж не девица, что тебе за меня платить. Беги, а я тебя здесь обожду!..

Лебедев. Хорошо.

Лебедев быстро уходит. Чернышев усмехается, вытаскивает из полевой сумки бутерброды с колбасой, кладет их на стол, включает электрический чайник.

Чернышев. Ловко умел устраиваться Иван Кузьмич Чернышев — и чаю попою, и кино посмотрю, и с тобою успею кое-что обсудить.

Из уличного репродуктора загремел марш:

— Аванти, пололо! Аларис косса!
Баньдере росса, баньдере росса!..

Давид. Неужели все-таки возьмут Мадрид? Тогда это конец, да, Иван Кузьмич?

Чернышев. Боюсь, что возьмут. И боюсь, что это

совсем не конец, а только начало! (*Разломил бутерброд, протянул половину Давиду.*) Хочешь?

Д а в и д. Нет, спасибо!

Ч е р н ы ш е в. Дело хозяйское! (*С наслаждением принялся за еду.*) Проголодался!.. Так вот, Давид, ты насчет Всесоюзного конкурса скрипачей слышал что-нибудь?

Д а в и д (*насторожился*). Слышал.

Ч е р н ы ш е в. У нас по этому поводу в консерватории был нынче ученый совет. Решали — кого пошлем.

Д а в и д. Ну?

Ч е р н ы ш е в. До седьмого пота спорили. Каждому, конечно, хочется, чтобы его ученика послали, это вполне естественно. Ну, а я, как тебе известно, не музыкант, я в подобные дела обычно не вмешиваюсь, не позволяю себе... Но как-то так оно сегодня вышло, что предложил я твою кандидатуру...

Д а в и д (*восторженно*). Иван Кузьмич!

Ч е р н ы ш е в. Погоди! Предложил, знаешь, и сам не рад. Таковую на тебя критику навели, только держись — и молод еще, и кантилена рваная, и то, и другое... (*Поглядел на вытянувшееся лицо Давида и улыбнулся.*) Ты погоди огорчаться — включили тебя. (*Погрозил пальцем.*) Но только смотри! Насчет кантилены ты подзаймись! Ведь не зря люди говорят, что хромает она у тебя... Да я и сам вижу. Мне объяснили. Ты подумай об этом, Давид, подтянись!

Д а в и д (*с силой*). Я как зверь буду заниматься! И не уеду никуда, и летом буду заниматься, и осенью! (*После паузы.*) А еще кого наметили, Иван Кузьмич?

Ч е р н ы ш е в. Всего шесть человек.

Д а в и д. А Славку Лебедева?

Ч е р н ы ш е в (*нахмурился*). Нет... Насчет стипендии — это и профессор Гладков выступил, и я поддержал. А насчет конкурса...

Д а в и д. Нет? Но, Иван Кузьмич, вы поймите, надо же разобраться — ведь ничего же, в сущности, не известно...

Ч е р н ы ш е в (*сухо*). Разберутся...

Д а в и д. Кто? Когда?

Чернышев (*помолчав, со сдержанной горечью*). Видишь ли, Давид, я семнадцать лет в партии. Может быть, я не все понимаю, но я привык верить — все, что делала партия, все, что она делает, все, что она будет делать, — все это единственно разумно и единственно справедливо. И если когда-нибудь я усомнюсь в этом, то, наверно, пушу себе пулю в лоб! (*Снова помолчав.*) А я твою автобиографию смотрел — там написано, что твой отец служащий... А я думал — он у тебя тоже музыкант...

Давид (*растерялся*). А он и есть... Музыкант... Он служащий... В оркестре служащий... Он в оркестре играет... В кино, перед сеансами... (*Деланно засмеялся.*) Ну, всякую там «Кукарачу»! Знаете?

Чернышев (*кивнул*). Понятно.

Осторожный стук в дверь.

Давид. Да?.. Кто там?..

Входит худенькая смуглая девушка. Длинные черные косы заложены коронкой вокруг головы. Это — Хана Гуревич.

Хана. Можно?

Давид. Хана? (*Едва заметно поморщился.*) Здравствуй... Ну, чего ты стала в дверях? Входи.

Хана. Здравствуй. Добрый вечер.

Давид. Как ты нашла меня?

Хана (*пожала плечами*). Нашла. Ты ведь к нам не приходишь, вот мне и пришлось самой тебя искать. Ты нездоров?

Давид. Ангина. Поправлюсь — обязательно к вам приду... Через недельку, наверное...

Хана (*улыбнулась*). Что ж, приходи. Наши будут очень рады тебе.

Давид. А ты?

Хана. А я уеду уже.

Давид. Куда?

Хана. На Дальний Восток!

Давид. На каникулы?

Хана. Нет, работать... Помнишь — было в газетах письмо Хетагуровой? Вот я и еду.

Чернышев. Молодчина! (*Протянул руку.*) Здравствуйте! А ведь мы с вами, Хана, знакомы... И я даже был у вас дома — на Матросской Тишине. Я с вашим папой, с Яковом Исаевичем, у Буденного, в Первой Конной служил!..

Хана (*радостно всплеснула руками*). Ой, ну конечно же... Я вас не узнала... А папа мне про вас столько рассказывал... Вы — Ваня Чернышев, верно?

Чернышев (*улыбнулся*). Был Ваня. А теперь Иван Кузьмич... Здравствуйте, Хана! А вы, между прочим, похожи чем-то с Давидом... Вы не родственники, случайно?

Хана. Нет. Мы просто из одного города. С одного двора. Земляки.

Давид (*явно желая перевести разговор*). Да, да, земляки!.. Слушай, а как тебя мамаша твоя отпустила — вот чего я понять не могу!

Хана (*махнула рукой*). Досталось мне! Сперва она плакала, потом шумела, теперь опять плачет... А я рада! Так рада, даже пою целыми днями от радости! Представляешь — сесть в поезд и уехать... Красота!

Давид. Когда едешь?

Хана. Скоро. На днях. И снова мы с тобой прощаемся, Додька. Не видимся годами, а как увидимся — так прощаемся.

Давид. Придется мне к вам на Дальний Восток с концертами ехать.

Хана (*усмехнулась*). Правда? Ты пришли тогда телеграмму — и я тебя встречу.

Давид. Забавно получается — ты от меня, а я за тобой.

Хана. Да, а я от тебя! (*Облокотилась на подоконник.*) А как Танька живет? Ты встречаешь ее?

Давид (*уклончиво*). Встречаю. Иногда. Она ничего живет — учится на юридическом, переходит на второй курс.

Хана (*скрывая насмешку*). Ты кланяйся ей... Если увидишь. (*Быстро взглянула на Давида и засмеялась.*) А что из дома пишут?

Давид (*скривился*). Да ну!.. Пишут.

Хана. Скучаешь?

Давид. Нет.

Хана. А я скучаю. Очень хочется поехать туда... Не жить, нет! Мне бы только пройтись по Рыбаковой балке, под акацией нашей посидеть, поглядеть, какие все стали...

В дверь стучат.

Чернышев. Стучат, Давид!

Давид. Ну, кто там? Не заперто!

Отворяется дверь, и входит Абрам Ильич Шварц. Он в длинном черном пальто. В старомодной кастровой шляпе. В руках чемодан, картонки и пакеты. Он останавливается на пороге, взволнованно и чуть виновато улыбается.

Шварц. Здравствуйте, дети мои! Шолом алейхем!

Давид (*испуганно крикнул*). Кто?!

Хана. Абрам Ильич!

Давид. Папа!..

Шварц. Здравствуй, Давид, здравствуй, мальчик!

Шварц, роняя картонки и пакеты, подбежал к Давиду, обнял. Молчание.

Давид (*задыхаясь*). Как ты?! Откуда ты?..

Шварц (*тихо*). Ты не знаешь, куда я мог деть носовой платок? Дай мне свой... Извините меня, это от радости!..

Молчание. Шварц уселся на кровати рядом с Давидом, вытер глаза носовым платком, высморкался, внимательно оглядел комнату.

Шварц. А ты прилично устроился. Вполне прилично... А почему ты лежишь? Ты болен?

Давид (*все еще задыхаясь*). Нет... Послушай... Зачем ты приехал? Каким образом?

Шварц. Сел на поезд и приехал. Теперь, слава богу, никто от меня права на жительство не требует... Погодите-ка, вы, девушка, вы не Хана Гуревич?

Хана. Да. С приездом, Абрам Ильич.

Шварц. Благодарю!.. Ай, смотрите, какой она стала красавицей! Что?.. Как папочка?

Хана. Ничего.

Шварц. А мамочка?

Хана. Все в порядке.

Шварц. Вот и хорошо!.. Между прочим, я думал остановиться у вас, это можно?

Хана. Конечно. Пожалуйста.

Шварц. Ах, дети, дети! Вот я вас угощу! (*Шварц вытаскивает из кармана пакетик, осторожно высыпает содержимое на стол.*) Наш украинский чернослив. Кушайте, дети!

Давид. Слушай, зачем ты приехал?.. Ты надолго в Москву?

Шварц. На целый месяц. Я получил отпуск и премию... На, читай! (*Торжественно помахал перед носом Давида какой-то бумажкой.*) Выписка из приказа... Читай, а то у меня очки в чемодане!..

Давид (*читает*). «За ударную работу и...»

Молчание. Давид посмотрел на Чернышева; встретил удивленный и вопросительный взгляд, опустил голову.

Шварц. Ну?.. Ты неграмотный? Пусть, я наизусть помню. «За ударную работу и перевыполнение плана отгрузок в третьем-четвертом квартале премировать помощника начальника товарного склада Шварца Абрама Ильича...» Одним словом — стахановец! А ганцер — я тебе дам! Премировали путевкой в санаторий, в Крым... Что?.. Хорошо?

Хана. Так вы проездом?

Шварц. Нет. Мне предложили на выбор — или путевку в санаторий, или деньги. Я предпочел деньги. Для Крыма у меня нет белых штанов и купального халата. Мало шика и много лет!

Давид. Папа!..

Хана засмеялась.

Шварц (*весело*). Она смеется, ей смешно... Ну-с, так я взял деньги и приехал в Москву. А на складе меня замещает Митя Жучков... Ты помнишь, Давид, моего Митю?

Кладовщика? Того самого Митю, с которым мы когда-то занимались всякими комбинациями...

Д а в и д (*стиснув зубы*). Папа!

Ш в а р ц. Что? Это же было давно, милый. Мы крутились и комбинировали, крутились и комбинировали, а потом я его как-то вызвал и сказал — хватит!.. Кого мы обманываем? Самих себя! Зачем нам не спать ночей? Зачем нам прятать глаза? Попробуем жить так, чтобы наши дети нас не стыдились! Очень интересный был разговор, можете мне поверить... Почему вы не кушаете чернослив? Кушайте все... Это для всех поставлено. Кушайте, товарищ, простите, не знаю вашего имени-отчества.

Ч е р н ы ш е в. Иван Кузьмич Чернышев.

Ш в а р ц (*припоминая*). Чернышев, Чернышев... Где я слышал эту фамилию? Вы не из Херсона?

Д а в и д. Папа!

Ч е р н ы ш е в. Нет.

Ш в а р ц. Впрочем, там был не Чернышев, а этот...

Д а в и д (*яростно*). Папа!

Ш в а р ц. Погодите минутку — я все понял... Вы же тоже Шварц! Вы меня понимаете?! Чернышев — это Шварц!.. Вы приятель Давида?

Д а в и д. Иван Кузьмич — секретарь партийного бюро консерватории.

Ш в а р ц. Ах, вот как? (*Вскочил, протянул Чернышеву руку*.) Извините, будем знакомы — Шварц, Абрам Ильич... Папа Давида.

Ч е р н ы ш е в (*улыбнулся*). Об этом я уже догадался.

Ш в а р ц. Я очень рад с вами познакомиться, товарищ Чернышев. Очень рад. Что вы скажете про Давида? Как он учится?

Ч е р н ы ш е в. Хорошо учится.

Ш в а р ц. Да? И его ценят? К нему хорошее отношение?

Д а в и д. Папа, перестань!

Ш в а р ц. Почему! Почему я должен перестать? (*Почкачал головой*.) Нет, друзья мои, когда всю жизнь ты думаешь только о том, чтобы твой сын вышел в люди, так ты имеешь право спросить — стоило тебе думать, и рабо-

тать, и мучиться или не стоило? Пришла, как говорится, пора — собирать пожитки и кончать ярмарку. И вот я хочу знать — с пустыми руками я уезжаю или нет? Понимаете?

Чернышев. Понимаю.

Шварц (*взволнованно*). Нет, товарищ Чернышев, извините, конечно, но вы этого никогда не поймете как следует! Чтобы такое понять, нужно родиться в Тульчине, на Рыбаковой балке. И, как господа бога, бояться околоточного надзирателя. И ходить на вокзал смотреть на дальние поезда. И прятаться от погромов. Нужно влюбиться в музыку за чужим окном и в женский смех за чужим окном. Нужно купить на базаре копилку, глиняную копилку, на которой фантазер вроде тебя написал красивую цифру — миллион! И положить в эту копилку рваный рубль! На эти деньги ты когда-нибудь будешь учить сына, если Бог позволит тебе иметь детей!.. А-а-а! (*Махнул рукой.*) Можно, я поцелую тебя, Давид?

Давид (*грубо*). У меня насморк!

Хана. Давид!

Шварц. С насморком нельзя целовать девушек. Ханочку нельзя целовать с насморком, а папу можно. Ну, ничего, ничего... Кушайте чернослив. Я, наверно, очень много говорю, но это просто потому, что я взволнован. Я почти три года не видел Давида... И я, стыдно признаться, в первый раз в жизни в Москве.

Чернышев. Нравится?

Шварц. Не знаю... Понятно — нравится... Но я еще ничего не видел, прямо с вокзала — сюда. Завтра я пойду в Третьяковскую галерею, а потом в Мавзолей Ленина, а потом в Парк культуры... У меня записана вся программа! Да, в Большой театр трудно попасть?

Хана. Трудно.

Шварц. А что, если мы попросим товарища Чернышева? Вы не сумеете нам помочь, товарищ Чернышев?

Чернышев. Постараюсь.

Шварц. Большое спасибо! (*Внезапно нахмурился.*) Да, и потом, у меня есть еще одно дело... Вы понимаете, дети мои, посадили Мейера Вольфа!

Хана. Дядю Мейера? За что?

Шварц. Деточка моя, кто это может знать? «За что?» — это самый бессмысленный в жизни вопрос! (*Обернулся к Чернышеву.*) Понимаете, товарищ Чернышев, этот Вольф — он переплетчик, одинокий больной человек... Ну, и мы собрались — несколько его друзей — и написали письмо на имя заместителя народного комиссара товарища Белогуба Петра Александровича... Так вот, вы не знаете, куда мне отнести это письмо?

Чернышев (*сухо*). Не знаю. Пройдите на площадь Дзержинского — там вам скажут.

Шварц (*записал в книжечку*). На площадь имени товарища Дзержинского. Так, спасибо! (*Усмехнулся.*) Вам не кажется, что было бы лучше, если бы площадь называлась именем товарища Белогуба, а наше письмо прочел бы товарищ Дзержинский?

Вбегает Слава Лебедев.

Лебедев (*в дверях*). Иван Кузьмич!.. Здравствуйте!

Шварц (*радушно*). Здравствуйте, милости просим.

Лебедев. Иван Кузьмич, я достал... Только надо быстрее — там уже в зал пускать начинают!

Чернышев. Побежали.

Чернышев встал, застегнул полевую сумку.

Шварц. Вы уходите? Посидите, товарищ Чернышев, а?

Чернышев. Извините, Абрам Ильич, мы в кино... Всего вам хорошего, до свидания...

Шварц. До свидания. Вы не забудете — насчет Большого театра?

Чернышев. Нет, нет, не забуду.

Шварц. Давид вам напомнит.

Давид (*умоляющими глазами взглянул на Чернышева*). Иван Кузьмич, вы не думайте... Вы... Я не... Я вам потом объясню... Вы...

Чернышев. Ладно, ладно. Ты сперва поправляйся.

Бежим, Слава! Кланяйтесь вашим родным, Хана, скажите — я к ним заеду на днях.

Хана. Спасибо. До свидания!

Чернышев. Счастливого вам пути!

Чернышев и Лебедев быстро уходят. Молчание. Шварц внимательно посмотрел на Давида, осторожно прикоснулся к его руке.

Шварц. Чем ты расстроен, милый, ты мне можешь сказать?

Давид (*угрюмо*). Ничем... Ничем не расстроен.

Шварц. Я как-нибудь не так выразился? Или у тебя неприятности с этим Чернышевым?

Давид. Нет.

Шварц. А почему ты все время молчишь?

Давид (*со взрывом злости*). А что я должен делать, по-твоему? Петь? Плясать? Мало тебе того, что...

Шварц (*не дождавшись продолжения*). Чего?

Давид. Ничего! Ничего — и оставь меня в покое! Ничего!

Шварц еще раз внимательно посмотрел на Давида. Неожиданно легко и поспешно встал, зачем-то надел шляпу.

Шварц (*почти торжественно*). Давид, я знаю, почему ты расстроен! Ты недоволен тем, что я приехал! Да?

Давид (*уткнулся лицом в подушку*). Что ты наделал?! Если бы только мог понять, что ты наделал! Все теперь кончено, все! Все!

Хана (*возмущенно*). Давид!

Шварц (*строго*). Подождите, Ханочка! (*Помолчав.*) Ничего такого страшного не произошло, глупый! Все можно поправить. Всякое горе можно поправить. Поезда ходят не только сюда — обратно они тоже ходят... Ты хочешь, чтобы я уехал домой, да?

Давид (*с отчаянием*). Да! Но какая уже теперь разница!

Хана. Давид!

Шварц (*грустно*). Для меня разница есть.

Давид. Ну и...

Молчание. Шварц странными кругами заколесил по комнате. В одной руке у него чемодан, в другой пакетик с черносливом.

Х а н а. Немедленно извинись!

Давид молчит.

Ш в а р ц (*бормочет*). Я должен был это предвидеть. Я обязан был это предвидеть. У мальчика хорошие дела. Его навещают большие люди. И вдруг является старое чучело из Тульчина и говорит — здравствуйте, я ваш папа, кушайте чернослив... Идиот! Мне просто очень хотелось, Додик, посмотреть, как ты живешь и какой ты стал... И послушать, что о тебе говорят... И погордиться тобой... Мне хотелось сидеть в зале, когда ты играешь, — и чтобы все показывали на меня пальцем и шептали: это папа Давида Шварца! Кому это важно, чей я папа?.. Не сердись на меня, милый, я завтра уеду, обещаю тебе... Ну, так я не увижу Третьяковскую галерею... Вот — я оставляю, что привез...

Д а в и д. Не надо.

Ш в а р ц. Обязательно надо. Ты, наверное, удивлялся, почему я не присылаю тебе денег? А я хотел их сам привезти... Вот — я положил. Тут хватит надолго! (*Потер пальцами лоб, взглянул на Хану.*) Так мне можно пойти к вам, Ханочка?

Х а н а. Да, непременно.

Ш в а р ц. Хорошо. На одну ночь придется вам потесниться! (*Помолчав.*) Ну, пойдём.

Х а н а. Уже сейчас?

Ш в а р ц. Да. Я почему-то вдруг устал. И, вероятно, Давиду нужно заниматься... Пойдемте, Ханочка... Будь здоров, милый.

Шварц обнял Давида. Долгая пауза.

Д а в и д (*бессвязно*). Я не хотел обидеть тебя!.. Я не хотел. Честное слово, я не хотел обидеть тебя!

Ш в а р ц (*ласково*). Ну, конечно, конечно. Что я, не понимаю? Конечно, не хотел. Будь счастлив, родной. Я уеду завтра... В крайнем случае послезавтра — как достану билет. Ханочка тебе позвонит... Тут есть телефон?

Д а в и д. Есть.

Ш в а р ц. Ханочка позвонит. И, если ты сможешь, ты приедешь меня проводить. Правда?

Д а в и д. Да.

Ш в а р ц. Если сможешь.

Д а в и д. Папа!.. Папа!..

Ш в а р ц. Ну?! Ты прав, Додик, — зачем же ты плачешь?

Д а в и д. Папа!..

Ш в а р ц (*решительно*). Идемте, Хана! (*Шварц и Хана медленно идут к дверям, Абрам Ильич обернулся.*) Да, скажи товарищу Чернышеву, чтобы он не трудился напрасно. Скажи, что я не сумею пойти в Большой театр. Скажи, что мне расхотелось! (*Помедлив.*) Ну, бог с тобою, Давид!

Шварц и Хана уходят. Давид один. Он рванулся было вслед за ушедшими, но у самой двери остановился, постоял, вернулся назад и сел. Он сидит молча, неподвижно, опустив голову. Тикает будильник.

Бегом возвращается Хана.

Д а в и д (*испуганно*). Что? Плохо ему?

Х а н а. Я косынку забыла.

Д а в и д. Вот она. Возьми.

Х а н а. Ты отвратительно поступил... Подло... Мерзко...

Д а в и д. Я знаю.

Х а н а. Он чудесный старик, твой отец.

Д а в и д. Я знаю.

Х а н а. Все ты знаешь...

Закипел чайник.

Д а в и д. Выключи, будь добра.

Хана вытащила шнур, бросила на стол, остановилась перед Давидом.

Х а н а. Ничего ты не знаешь! Даже того, как сильно я тебя люблю, ты не знаешь! Такой простой вещи не знаешь!

Д а в и д. Хана!

Х а н а. Что? Теперь можно сказать, не стыдно. Больше мы все равно с тобой не увидимся! (*Печально улыбну-*

лась.) Я так ждала, когда ты приедешь. Так ждала... А ты не зашел даже... Все некогда было... Три года было некогда! А я и на это разозлиться не сумела. Узнавала о тебе... О тебе и о Таньке... На концерты ходила в консерваторию, надеялась — встречу... А на первомайском вечере ты даже и заметить меня не захотел...

Д а в и д. Ты была разве?

Х а н а. Была. В пятом ряду сидела. Громче всех тебе хлопала. Ты превосходно играл в тот вечер. Превосходно. Особенно Венявского. Ты будешь знаменитым скрипачом, Додька, и очень счастливым человеком. Я так загадала! Прощай!

Д а в и д (*растерянно*). Погоди, Хана!

Х а н а. Абрам Ильич ждет. Прощай!

Хана убегает. Давид снова один. Он бесцельно слоняется по комнате. Берет скрипку. Кладет ее обратно. Накрывает чайник подушкой. Входит Людмила ШUTOVA.

Л ю д м и л а. Шварц!

Давид обернулся и внезапно бросился с кулаками на Людмилу.

Д а в и д. Уходи отсюда ко всем чертям!.. Убирайся... Убирайся отсюда.

Молчание.

Л ю д м и л а (*тихо*). Зачем же ты лезешь на меня с кулаками, свинья! Я папиросы тебе принесла, а ты... На — кури, свинья!

Л ю д м и л а швырнула на кровать Давида пачку папирос и вышла. Тишина. Сумерки. Зажглись огни в доме напротив. Давид садится на подоконник. Хрипит и захлебывается уличный репродуктор: «...Сегодня, во время очередного массированного налета фашистской авиации на Мадрид, было сбито...»

Бесшумно отворяется дверь, и входит Т а н я. Она в новом нарядном платье, радостная и возбужденная.

Т а н я. Вот и я! Ну, гляди, я нравлюсь тебе в новом платье?

Д а в и д. Не вижу. Темно.

Т а н я. А ты зажги свет.

Д а в и д. Не хочу.

Т а н я. Что с тобой?

Д а в и д. Ничего.

Т а н я. Со Славкой поругались?

Д а в и д. Нет.

Т а н я (*после паузы*). Что случилось? Может быть, я напрасно пришла?

Д а в и д. Может быть.

Т а н я. Ах так?!

Таня постояла еще секунду, словно соображая, а затем решительно повернулась и пошла к дверям.

Д а в и д. Танька!

Т а н я (*звонко, дрожащим голосом*). Ты грубый, невоспитанный, наглый, самовлюбленный, нахальный...

Д а в и д (*насмешливо*). Ну, а еще?

Т а н я. И не приходи больше ко мне, и не звони, и...
Все!

Т а н я выбегает, оглушительно хлопнув дверью. Молчание. Давид перегнулся через подоконник, высунул на улицу, крикнул:

— Танька-а-а!

Тишина. Только по-прежнему хрипит и захлебывается репродуктор:

«...Боец интернациональной бригады батальона имени Эрнста Тельмана заявил...» Давид встал, прошелся по комнате, взял скрипку.

Д а в и д. Ну и хорошо... Очень хорошо! И пожалуйста! (*Он поднял скрипку, зашагал по комнате. Играет бесконечные периоды упражнений Ауэра, зажав в зубах незажженную папиросу.*) И раз, и два, и три, и!.. И раз, и два, и три, и!..

Загудел поезд. Давид играет все громче и ожесточеннее.

— И раз, и два, и три, и!.. И раз, и два, и три, и!..
И раз, и два, и три, и!..

З а н а в е с

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Во втором антракте мы с женой быстро и молча поднялись и пошли курить.

Мы стояли в курилке возле урны — с двух сторон, как часовые, — часто и с отвращением глотали дым.

— Во втором действии Евстигнеев был лучше, — сказала жена.

— Да, — сказал я, — а в третьем действии он будет еще лучше... Только это не имеет никакого значения!

— Да, — согласилась жена, — разумеется.

Помолчав, она спросила:

— Ты очень огорчен?

— Нет, — сказал я, — все давно ясно... Это ребята на что-то еще надеются!

И в ту же секунду, точно в подтверждение моих слов, в курилку вбежал, влетел, ворвался Олег Табаков — в белой рубашке, заправленной в ватные штаны, и в тапочках на босу ногу. Во втором действии он исполнял роль Славы Лебедева, а в третьем будет играть роль «сына полка» Женьки Жаворонкова. В ту пору основной состав студии насчитывал человек двадцать, и ряд актеров, занятых в моей пьесе, играли по две роли.

...Как странно мне бывает теперь — изредка, очень изредка — встречаться и церемонно раскланиваться с важным и представительным директором театра «Современник» Олегом Павловичем Табаковым!..

Милое мальчишеское лицо Табакова блестело от пота. Он подбежал ко мне и проговорил задыхающимся, плачущим голосом:

— Александр Аркадьевич, ребята просят... Ну, вы поговорите там с кем-нибудь!

— С кем, Олег? — изумился я.

— Ну, я не знаю... Ну, с этими — Соколовой, Соловьевой, черт их там разберет!

— О чем говорить? — спросил я. Откуда-то раздался отчаянный вопль:

— Табаков?! Давай по-быстрому!..

Олег махнул рукой и убежал.

Мы с женою переглянулись. Ничего еще, по сути, не было сказано, но тоскливое чувство обреченности, пред-решенности, безнадежности и бессмысленности всего, что происходит, — это чувство, так всевластно царившее в зале, уже перелетело по каким-то неведомым законам через рампу и дошло до исполнителей.

— Ну что ж, пойдём, — сказал я жене.

— Пойдём, — сказала она. — Может быть, ты хочешь зайти за кулисы? Посоветоваться? Может быть, действительно еще что-то можно предпринять?

— Нет, — сказал я.

Мы вернулись в зрительный зал, заняли свои места.

Товстоногов, по-прежнему сидевший в стороне, неожиданно обернулся и через несколько пустых рядов, разделявших нас, сказал мне негромко, но внятно, так что слова эти были хорошо слышны всем:

— Нет, не тянут ребята!.. Им эта пьеса пока еще не по зубам! Понимаете?!

Солодовников внимательно, слегка прищурившись, поглядел на Товстоногова.

На бесстрастно-начальственном лице изобразилось некое подобие мысли. Слово было найдено! Сам того не желая, Товстоногов подсказал спасительно обтекаемую формулировку.

Ничего не нужно объяснять, ничего не нужно запрещать, что касается автора, то он волен распоряжаться собственной пьесой по собственному усмотрению, что же касается студийцев, то это, в конце концов, неплохо, что они в учебном порядке поработали над таким чужеродным для них материалом, а теперь надо искать соответствующую, близкую по духу, жизнеутверждающую драматургию, — спасибо, товарищи! За работу, товарищи! Вперед и выше, товарищи!..

Все это Солодовников выпалит за кулисами после конца спектакля бодрой, слегка пришепетывающей скороговоркой. Потом он пожмет руку мне, пожмет руку Ефремову, еще раз — благодарно — улыбнется всем уча-

стникам спектакля и быстро, не допуская никаких вопросов, уйдет.

И все будет кончено!..

А из-за закрытого занавеса раздавались стук молотков, невнятные голоса, что-то грохотало, что-то падало.

Декорация третьего действия — учитывая отсутствие настоящих декораций — была наиболее сложной. Действие происходит в санитарном поезде, в так называемом кригеровском вагоне для тяжелораненых.

...Мне в подобном вагоне лежать не приходилось, а вот выступать в войну доводилось не раз. Чувствуя, как першит в горле от сладковатого запаха карболки, йода, запекшейся крови, я читал «Графа Нулина», пел под гитарный аккомпанемент частушки.

Я сочинял их обычно тут же, на ходу, после предварительного разговора с комиссаром или начальником поезда. Частушки эти были крайне незамысловатыми, но зато в них упоминались подлинные имена раненых и медицинского персонала, описывались подлинные события — чаще всего комедийные, и поэтому они пользовались неизменным, незаслуженно шумным успехом.

После концерта нас обычно вели в вагон-столовую — кормить ужином.

Санитарки-«хожалочки», всегда миловидные, в белых халатиках, перетянутых в талии, в кокетливо примятых белых шапочках, подавали нам еду в жестяных мисках, посмеивались и перемигивались.

А потом появлялся начальник поезда, садился во главе стола, делал выразительный жест большим пальцем правой руки — и все догадливо хихикали: артист — он, мол, и есть артист, ему без ста граммов никак невозможно!

Приносили бутылки со спиртом и большие кружки. Спирт наливали в граненые стаканы, а в кружки воду — запивать.

Тот же начальник, как правило, произносил первый тост — за родного, любимого, дорогого вождя и учителя,

гениального полководца всех времен и народов товарища Сталина, который ведет нас от победы к победе.

И мы все, стоя в торжественном молчании — а кое-кто и со слезами на глазах, — пили за этот тост.

Постукивали колеса поезда, проносились за окнами, не отпечатываясь в сознании, какие-то перелески и разбитые поселки, дребезжали на столе, покрытом клеенкой, миски, кружки, стаканы.

А мы пили спирт, и в груди у нас что-то теплело, мы смотрели друг на друга с участием и любовью — нам было хорошо! Ах, как нам было хорошо!

Мы все вместе — пусть каждый по-своему — делали одно великое общее дело: мы защищали нашу Родину, наше прекрасное прошлое и еще более прекрасное будущее, наши светлые коммунистические идеалы, нашу свободу, равенство, братство.

И почти с той же неизменностью, как первый тост, появлялась в разгаре ужина какая-нибудь санитарка или нянечка, подходила, смущаясь, к начальнику поезда, что-то негромко говорила ему.

И начальник смотрел на меня, ухмылялся.

— Извините, вас, товарищ артист, в кригеровский вагон просят... Очень хотят снова частушки прослушать!.. — Начальник ухмылялся еще шире. — Ну, насчет Дорофеева и других...

И я поднимался, выходил из-за стола, брал гитару и шел в кригеровский вагон для тяжелораненых — петь частушки про Дорофеева и других.

Кригеровский вагон для тяжелобольных! Санитарный поезд!

Пожалуй, это единственное лечебное заведение, в котором я только выступал, а не лежал сам. Я валялся в полевых походных и тыловых госпиталях — с ожогом второй степени, с флегмоной, с подозрением на бруцеллез.

После войны, когда у меня совершенно неожиданно обнаружилась тяжелая болезнь сердца, я не реже, чем раз в два года — а порою и значительно чаще, — попадал в какую-нибудь очередную больницу.

Я лежал, случалось, и в привилегированных отделениях, принадлежащих Санитарному управлению Кремля, — в отдельных палатах с собственным санузлом, где только на одно питание выделяется два рубля тридцать копеек в день на человека.

Отделения эти у простых смертных называются «отделениями для слуг народа».

И лежал я в отделениях «для народа»: в палатах по двадцать — двадцать пять человек, где, чтобы попасть в уборную, надо становиться в очередь, где дозваться нянечку или сестру можно только после получасового непрерывного крика — звонков нет — и где питание обходится в восемьдесят копеек.

Разумеется, я никогда не лежал в лечебницах для самых главных «слуг народа», для самых бескорыстных и беззаветных его слуг — в Кремлевке, в Барвихе, в Кунцеве.

О том, какие условия и какие яства подаются там, рассказывают только шепотом, недоверчиво покачивая головами и молитвенно закатывая глаза.

Впрочем, и условия и яства для больного человека — для действительно больного человека — все-таки дело второстепенное. Гораздо важнее другое — уход и лекарства. Так вот, с лекарствами в отделениях «для народа» особенная беда. Я уж не говорю о редких заграничных препаратах; аналгина и кодеина — и тех не допросишься!

У меня на глазах в отделении гнойной хирургии московской Боткинской больницы тридцатилетний прелестный парень Сергей Донцов — школьный учитель из-под Смоленска — в течение трех недель превратился из человека в животное, в жесточайшего и законченного наркомана.

Возвращаясь из школы домой, он попал в пургу, сбился с пути, обморозил ноги. В результате — тяжелейший эндартериит.

Боли адские, которые снимались только большими дозами аналгина.

Но в одной из главных больниц Москвы — в знаменитой Боткинской больнице, в отделении гнойной хирургии аналгин в необходимых количествах больным

выдавать не могут: слишком дорогое лекарство, целых тридцать две копейки пачка.

Значительно проще снять боль инъекцией морфия — ампула морфия стоит около двух копеек.

Сначала Донцову кололи морфий два раза в сутки, а в промежутках он потихоньку глотал анальгин, который приносила ему моя жена.

Но постепенно дозы морфия все увеличивались — три раза в сутки, четыре раза в сутки.

А когда я выписывался, милого, золотоголового, с белозубой улыбкой Сережу Донцова уже невозможно было узнать. Он сидел в постели, полузакрыв глаза, страшный, взлохмаченный, с какими-то черными запекшимися губами, качивался из стороны в сторону и непрерывно, на одной протяжной звериной ноте то выл, то матерился и требовал морфия.

А его жалели. И ему давали морфий. И врачи не виноваты. И сестры не виноваты. И вообще никто не виноват.

Да здравствует одно из величайших достижений советской власти — всеобщая бесплатная медицинская помощь!

...А начальник мой, а начальник,
Он в отдельной палате лежит.
Ему нянечка шторку повесила,
Создают персональный уют!
Возят к гаду еврея профессора...

Сколько их было в моей жизни — профессоров, врачей, сестер, нянечек! Сколько их было — умных и не слишком, опытных и еще совсем зеленых, добрых и сердитых, талантливых и просто «трудяг».

Я не каждого помню по имени, но всем им низко кланяюсь в ноги — спасибо вам, дорогие, спасибо вам за ваше терпение и усердие, за ваш благородный, каторжный, бескорыстный труд.

А бескорыстным он был в самом доподлинном смысле — до недавнего времени труд медицинских работников наравне с трудом учителей был в нашей стране по оплате одним из самых нищенских.

Потому-то в пятидесятые и шестидесятые годы так мало было среди врачей мужчин — только именитые старики, а в остальном все больше женщины.

Про одну из таких замечательных женщин, про хирурга Анну Ивановну Гошкину, я не могу, не имею права не рассказать!

Ночью в ленинградской гостинице я почувствовал, что у меня начинается приступ стенокардии. Принял нитроглицерин — не помогло. Тогда я попросил дежурную по этажу вызвать врача.

Приехала «неотложная помощь», врач сделал мне инъекцию, мне стало легче, и я уснул.

А наутро меня начал бить сумасшедший болевой озноб, температура поднялась до сорока с десятыми, рука на месте укола покраснела и вспухла.

Я позвонил друзьям. Они примчались в гостиницу и после долгих совещаний — совещания, даже дружеские, не бывают у нас короткими — решили перевезти меня на квартиру нашей общей знакомой, биолога-генетика Раисы Львовны Берг.

Несколько дней я пролежал у Раисы Львовны, не решаясь дать знать о своей болезни в Москву. А мне становилось все хуже. Температура не падала, домашние средства, которыми меня пытались лечить, не помогали.

Тогда я все-таки поднялся и, обливаясь потом, на подгибающихся, ватных ногах добрался до телефона и позвонил в Москву жене.

Уже через три часа после моего звонка она была в Ленинграде. Она почему-то прилетела в шубе, хотя стоял невероятно жаркий апрель, и в первые часы была совершенно растеряна и подавлена. Она тыкалась, как слепой щенок, из угла в угол — а углов в квартире Берг предостаточно — и соглашалась со всем, что ей говорили.

Говорили: его надо отправить в больницу — она соглашалась.

Говорили: надо лечить дома — она тоже соглашалась. Но на следующий день, проведя бессонную ночь на продавленной раскладушке, она взяла себя в руки — в труд-

ные минуты она всегда умеет взять себя в руки — и принялась действовать.

На счастье, мы с нею оба не вспомнили о Союзе писателей и Союзе кинематографистов — в ту пору я еще был членом и того и другого Союзов, — а просто нашли знакомых врачей, которые и устроили меня в самую обыкновенную городскую клиническую больницу имени Эрисмана, в отделение общей хирургии.

А позвони мы, между прочим, в один из Союзов — меня непременно, как московского гостя, устроили бы в Свердловку (ленинградский вариант Кремлевки), где бы я и отдал, как говорится в просторечии, концы!

Меня ввезли на каталке в огромную, человек на тридцать, палату. Все кровати у стен были заняты, и каталку оставили стоять посредине. На какое-то время я провалился в беспамятство — температура в это утро была уже сорок один градус.

Когда я очнулся, я увидел, что у моей каталки стоят двое: седой старик с морщинистым смуглым лицом и раскосыми глазами — это был профессор, заведующий отделением, и его хитроумную татарскую фамилию мне так ни разу и не удалось выговорить правильно, — и рядом с ним, тоже пожилая, женщина с широким, добрым и каким-то домашним — я не могу подобрать другого слова — лицом. И именно домашним, а не врачебным движением она положила ладонь мне на лоб, вздохнула и покачала головой.

Профессор наклонился ко мне:

— Сейчас вам сделают обезболивающий укол и отвезут в операционную... Вас будет оперировать наш ведущий хирург — Анна Ивановна Гошкина.

Анна Ивановна покивала мне.

— А почему так сразу? — спросил я.

— А потому что, голубчик, плохо дело, — чрезвычайно спокойно, как-то даже уютно сказала Анна Ивановна, — очень плохо дело!..

Как ни странно, эти ее слова ничуть не взволновали меня.

Анна Ивановна вообще не принадлежала к породе

тех врачей-оптимистов, которые, входя в палату, игриво тычут больного пальцем в живот и спрашивают:

— Ну-с, как поживает наш рачок?!

Напротив, еще много дней после первой, а потом и после второй операции Анна Ивановна, осматривая меня или делая мне перевязку, будет сокрушенно покачивать головой и повторять свое «Плохо дело, очень плохо дело!».

А дела мои, кстати, были и вправду довольно плохи.

Врач из «неотложной помощи» занесла мне, делая укол, тяжелейшую инфекцию — золотистый стафилококк. В результате — заражение крови, рожистое воспаление отечной формы и флегмона.

В первые недели моего пребывания в больнице большинство врачей считали, что самым благоприятным исходом будет ампутация руки. И только Анна Ивановна, не преминув сказать: «Плохо дело! — добавляла: — А руку мы ему все-таки попытаемся спасти!»

Уже старая женщина, она приходила в клинику раньше всех — всегда без четверти восемь утра.

А уходила, случалось, чуть не за полночь. Она не только оперировала, перевязывала и вела факультетские занятия со студентами — она с не меньшей охотой ассистировала другим хирургам, сама, не дожидаясь, пока это сделают сестры или санитарки, перевозила больных на каталке из перевязочной в палату. Она порою сама мыла своих больных.

В войну Анна Ивановна работала фронтовым хирургом.

Мне рассказывали, что однажды, когда она перевозила в санитарной машине раненых через Ладогу по знаменитой «Ледяной дороге», случайным шальным осколком убило шофера. Тогда Анна Ивановна, не имевшая ни малейшего понятия, как надо водить машину, села за руль и под обстрелом немецкой артиллерии благополучно доставила раненых на тот берег, в полевой госпиталь.

Когда я как-то в перевязочной спросил ее об этом, она лаконично ответила: пришлось.

...После первой операции меня перевели из огромной

палаты в маленькую комнатенку, изолятор для особо тяжелых больных, и разрешили, вернее, даже попросили мою жену круглосуточно дежурить возле меня.

Она и дежурила круглосуточно — спала, сидя на стуле около моей постели или в коридоре в кресле, или изредка, когда кто-нибудь умирал, ей удавалось полежать часок-другой на незастеленной койке.

За день на опухших от усталости ногах она проходила с добрый десяток километров по бесконечно длинным коридорам клиники: то на кухню сварить мне кофе или что-нибудь приготовить, то к сестре-хозяйке за чистой наволочкой или полотенцем — рана моя непрерывно кровоточила.

Я смутно помню эти дни. Мне становилось все хуже. Температура держалась, отек угрожающе поднимался все выше к плечу, не помогало ничто — ни бесконечные переливания крови, ни удвоенные дозы антибиотиков.

Я бредил, распевал какие-то песни без слов — жена потом смеялась, что хорошо, что без слов, — разговаривал с отсутствующими собеседниками.

В редкие минуты просветления я сочинял стихи. — читать я не мог.

...В первомайский вечер, когда над всем Ленинградом гремела веселая музыка и в почти светлом небе плясали лучи прожекторов, дежурный хирург, осмотрев меня, решительно сказал:

— Сейчас вас подготовят... Необходима — и немедленно — повторная операция!

Честно говоря, мне эта вторая операция улыбалась не слишком, и я попытался схитрить:

— Ну какая же операция — Первое мая! И потом, это даже как-то неудобно — моего хирурга, Анны Ивановны, нету сегодня...

Дежурный врач, не дослушав меня, быстро вышел из палаты.

Успокоенный, я задремал. Я дремал, как мне казалось, не больше пяти минут, а когда открыл глаза — возле моей кровати стояли профессор — заведующий отделением, Анна Ивановна, еще несколько врачей.

Из-под белых халатов выглядывала парадная, праздничная одежда.

— Ну, поехали! — мирно сказала Анна Ивановна, наклонилась, приподняла меня — откуда у нее только сила бралась?! — и с помощью сестры переложила на каталку.

Анна Ивановна! Милая моя, прекрасная Анна Ивановна!

Я вам обязан не только жизнью и не только тем, что у меня остались обе руки!

Знаете, когда я — в самую, казалось бы, неподходящую минуту — вспомнил о вас?

Сейчас я вам расскажу!

Происходило это, между прочим, все в том же семьдесят первом году, весной которого я лежал в вашей клинике.

Но только теперь уже был декабрь, самые последние дни декабря, веселая и оживленная предновогодняя суетня.

В здании Центрального Дома литераторов было шумно, людно.

В малом зале шла бойкая торговля — писателей снабжали всевозможной снедью к праздничному столу, в ресторане устанавливали огромную елку, развешивали цветочные и электрические гирлянды.

А наверху, на втором этаже, в комнате номер восемь, которую еще называют «дубовым залом», шло заседание секретариата Московского отделения Союза советских писателей, и вопрос на повестке дня стоял один-единственный: об исключении писателя Галича Александра Аркадьевича из членов Союза советских писателей за несоответствие его — Галича — высокому званию члена данного Союза.

Я сидел в удобном кресле, курил и с интересом слушал, что говорил обо мне Аркадий Васильев — тот самый, что выступал общественным обвинителем на процессе Синявского и Даниэля; что кричал обо мне некто Лесючевский, которого в конце пятидесятых годов чуть было тоже под горячую руку не исключили из Союза, ко-

гда была доказана его плодотворная деятельность в сталинские годы в качестве стукача и доносчика, но потом его, конечно, простили — такие люди всегда пригодятся — и даже назначили директором издательства «Советский писатель» и ввели в члены секретариата Московского отделения.

Мне было крайне интересно узнать, что думает обо мне неистовый человеконенавистник Николай Грибачев. А он думал обо мне, бедном, очень плохо. Он просто ужасно обо мне думал!

И знаете, Анна Ивановна, именно во время его гневной и пламенной речи я вдруг представил себе, что вот здесь, сейчас, на этом секретариате, сидите и вы, Анна Ивановна Гошкина, фронтовой хирург, врач, человек среди человекоподобных.

...Однажды в Дубовой ложе
Был поставлен я на правож —
И увидел такие рожи,
Пострашней балаганьих рож!..

Простите меня, Анна Ивановна, но я вовсе не тешу себя иллюзиями, я не сомневаюсь, что вы поверили бы всему, что говорилось обо мне на этом судилище: и о моих связях с сионистами, и о моей дружбе с антисемитами, и о моих заигрываниях с церковниками — поверили бы и Аркадию Васильеву, и Лесючевскому, и Грибачеву, и всем этим пузырям земли: лукониным, медниковым, стрехниным, тельпуговым.

Вы давно уже, Анна Ивановна, не то чтобы приняли, а равнодушно привыкли к правилам этой подлой игры, этого шаманства: вы читаете на ходу газеты, слушаете — не слушая — радио, сидите долгие часы на профсоюзных и партийных собраниях.

Смертельно усталая, вы голосуете за решения, смысл которых вам не очень-то понятен и уж вовсе не важен — куда важнее, начался ли отток гноя у больного А. и не подскочила ли опять температура у оперированной вчера Б. Вас закружили в этом шутовском хороводе, и у вас нет ни времени, ни сил выбраться из него, остановиться, встряхнуть головой, подумать.

Еще раз простите меня, Анна Ивановна, но я даже уверен, что, если бы вам на этом достопамятном секретариате предложили принять участие в голосовании, — вы, как и все, проголосовали бы за мое исключение. Это одно из правил игры в советскую демократию — решение должно быть, решение не может не быть единогласным. Но я не сомневаюсь и в другом: если бы на следующий день меня снова на скрипучей каталке ввезли в операционную вашей клиники — вы надели бы ваш клеенчатый фартук, и приказали бы хирургической сестре готовить инструменты, и бинты, и тампоны, и, позабыв обо всех моих смертных грехах, так же точно, как тогда, не обращая внимания на усталость и время, вступили бы в борьбу за мою жизнь.

Потому что здесь, на пороге операционной, перестают действовать правила той подлой игры, потому что здесь вы становитесь тем, кто вы есть, — человеком, цель и назначение которого приносить людям добро, облегчать страдания страждущих.

Бедная, счастливая, несчастная Анна Ивановна!

...Очнулся я после повторной операции уже под утро.

Откуда-то, очень издали, доносились протяжные поющие голоса — последние празднователи расходились по домам. Из окон на мою постель падал странноватый желто-молочный свет, и свет этот пронизывал тоненький луч солнца, высвечивая запеленутую бинтами и скованную лубком — лангеткою — руку и серебряную голову моей жены. Она спала на низком неудобном стуле, положив голову мне на ноги.

Почувствовав, что я очнулся, она слегка приоткрыла глаза:

— Тебе что-нибудь нужно?

— Нет, — сказал я, — мне лучше, Асенька?

— Нет, — сказала она и снова закрыла глаза, — тебе еще не лучше!

И я успокоился. Мне почему-то стало очень спокойно и даже радостно. И я сказал этому мгновению: оста-

новись, запомнись — ныне, присно и во веки веков!
Аминь!

Навсегда запомнись, это мгновение, и совсем не потому, что ты было прекрасно! Ты больше, чем просто прекрасно!

Ты мгновение, ты секунда того высшего душевного покоя, когда вдруг приходит к человеку понимание, что он на земле не один, что есть, существуют человеческие судьбы, связанные с его судьбой так же, как и он связан с ними, и связь эта нерасторжима и определена чем-то высшим, нежели обстоятельства или случай.

Будь благословенно это мгновение — молочно-желтый свет, пронизанный солнцем, легкое покалывание озноба, словно вспыхивающие в стакане минеральной воды пузырьки, и серебряная голова, лежащая у меня в ногах на больничном байковом одеяле.

И было еще в моей жизни.

Заснеженная платформа подмосковной станции Переделкино, гудок приближающейся электрички, спугнувшей галок с куполов Патриаршего подворья — бывшей вотчины Колычевых, — и внезапно пришедшие наконец строчки, ключевые строчки песни, посвященной памяти Пастернака:

Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!..

Будь благословенно это мгновение! Останься в памяти, не исчезни!..

И еще.

Зал Дома ученых в новосибирском Академгородке. Это был, как я теперь понимаю, мой первый и последний открытый концерт, на который даже продавались билеты.

Я только что исполнил как раз эту самую песню «Памяти Пастернака», и вот после заключительных слов случилось невероятное — зал, в котором в этот вечер находились две с лишним тысячи человек, встал и целое мгновение стоял молча, прежде чем раздались первые аплодисменты.

Будь же благословенным это мгновение!

И еще.

Я пишу эти главы в Серебряном Бору, под Москвою, в деревянном доме, стоящем над рекою. В этом доме скрипят полы и как-то особенно гулко хлопают двери. И все-таки я физически чувствую благословенную и тяжелую тишину. Я приехал в этот дом, когда на земле еще лежал снег, а потом, за одну ночь, началась удивительная весна.

...Было небо вымазано суриком,
Белую поземку гнал апрель.
Только вдруг, прислушиваясь к сумеркам,
Услыхал я первую капель!
И весна — священного священнее! —
Вырвалась внезапно из оков,
И простую тайну причащения
Угадал я в таянье снегов.
А когда в тумане, будто в мантии,
Поднялась над берегом вода,
Образок Казанской Божьей Матери
Подарила мне моя Беда!..

Будь благословенно это мгновение! Запомнись, не стинь, останься со мной навсегда!..

Шум за занавесом затих, погас без предупреждения свет, и в темном пустом зале снова зазвучал голос Олега Ефремова:

— ...Война! Октябрь тысяча девятьсот сорок четвертого года. Советская Армия движется с боями на Запад. В сумерки над осажденными городами стоит невысокое зарево пожаров. Медленно падают черные хлопья пепла, похожие на белые хлопья снега. Ветер гудит рваным листовым железом. Ахают дальнобойные. И немногие уцелевшие жители, забившись в погреба и подвалы, устало и нетерпеливо ждут... Жизнь и смерть начинаются одинаково — ударом приклада в дверь!..

В тот год мы возвращались в родные города, шагали по странно незнакомым улицам, терли кулаком слипающиеся глаза и внезапно в невысоком холме с лебедой и крапивой узнавали сказочную гору нашего детства, вспо-

минали первую пятилетку, шарманку на соседнем дворе, неподвижного голубя в синем небе и равнодушный женский голос, зовущий Сереньку...

Мы научились вспоминать. Мы стали взрослыми.

...Пошел занавес.

До сих пор не могу понять, как удалось ребятам из столов и скамеек соорудить такую сложную декорацию, — но это им удалось. Во всяком случае, я отчетливо помню, что у меня было полное ощущение и вагона, и движущегося поезда, и покачивающихся подвесных коек.

Ефремов продолжал, чуть понизив голос, точно боясь потревожить спящих:

— Санитарный поезд. Кригеровский вагон для тяжело раненых. По обе стороны вагона двойной ряд подвесных коек с узким проходом посередине. Верхний свет не горит, и в предутренних сумерках видны только первые от тамбура четыре койки — верхняя и нижняя, верхняя и нижняя.

И на одной из этих нижних коек, запрокинув голову на взбитую подушку, сжав запекшиеся губы и закрыв глаза, лежит старший лейтенант Давид Шварц.

Беспокойно и смутно спят раненые — мечутся, бредят, скрипят зубами, плачут и разговаривают во сне. Кто-то выкрикивает отрывисто и невнятно: «Первое орудие — к бою! Второе орудие — к бою! По фашистским гадам прямой наводкой — огонь!..»

Но никто не торопится выполнять приказание, не гремят орудия, не взлетает в дымное небо вопящая взорванная земля — мирно гудит поезд, постукивают колеса, и лишь по временам за окнами, как напоминание об огне, пролетают быстрые, мгновенно гаснущие искры от паровоза.

Возле койки Давида на низком табурете, положив на колени длинные усталые руки с пожелтевшими от йода пальцами, в белом халате и затейливой белой косынке медицинской сестры сидит Людмила Шутова, молча и тревожно поглядывает на Давида...

Олег Ефремов неторопливо ушел за кулисы.

НАЧАЛОСЬ ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

Д а в и д (*с закрытыми глазами, ровным, тусклым голосом*). Пить... Пить... Пить дайте... Пить...

Л ю д м и л а. Ну нельзя же тебе пить... Нельзя, милый! Ну, хочешь, я смочу тебе губы... Хочешь, Давид?

Д а в и д. Пить... Пить дайте... Пить...

На верхней койке, над годовой Давида, заворочался старшина О д и н ц о в — скуластый, с рыжеватой щетиной на небритых щеках, с веселыми от жара, возбужденно блестящими, очень синими глазами.

О д и н ц о в (*глядя в окно, хрипло, останавливаясь после каждого произнесенного слова*). Сестрица! Ты не знаешь, проехали мы Курск?

Л ю д м и л а. Час назад.

О д и н ц о в. Вон что! То-то я гляжу — места вроде знакомые. Скоро, значит, и Сосновка.

Д а в и д. Пить... Пить дайте... Пить...

О д и н ц о в. Переедем сперва мост через реку. Потом лесок будет. А за лесом перегон еще — и Сосновка... Водочка, склады дорожные, садочек при станции. А в садочке том — рынок... Родина моя, между прочим!

Л ю д м и л а. Много говоришь, Одинцов.

О д и н ц о в (*не то засмеялся, не то закашлялся*). Как поезд подойдет, так бабы, девчонки, огольцы — прямо в окна полезут. Кто с чем. Кто, понимаешь, с яблоками, кто с яичками калеными, кто с варенцом...

Чей-то голос в темноте, коверкая слова, мечтательно проговорил: «А у нас в Каласури шашлык продают! Шампур в окно подадут — ешь!» Напротив Одинцова — на верхней койке через проход — поднимает голову «сын полка» Ж е н ь к а Ж а в о р о н к о в, мальчишка лет семнадцати с красивым наглым лицом, с прищуренными глазами и темной родинкой над припухлой губой.

Ж е н ь к а (*с развязностью любимца публики*). Душа любезный шашлычка захотел! Эй, кацо, не горюй, тебе завтра ногу рубанут — вот мы шашлычок из нее и сготовим!

По вагону прокатился смешок:

— Ай, Женька!

— Женька скажет!..

Одинцов (*быстро и тихо*). Сколько я этих населенных пунктов в сорок первом оставил, сколько я их обратно отвоевал — сосчитать даже невысказано... Невысказано сосчитать... А Сосновки моей не увижу!

Людмила. Это почему же?

Одинцов (*спокойно*). Не дожить мне, сестрица. Никак не дожить.

Людмила (*сердитым шепотом*). Ну что ты, Одинцов, глупости болтаешь?!

Людмила поспешно встала, взяла руку Одинцова, сосчитала пульс.

Одинцов. Тяжко.

Людмила. Говоришь много, оттого и тяжело. У тебя легкое осколком задето, тебе молчать надо... Неужели не ясно? (*Позвала.*) Ариша!

Из темноты, бесшумно ступая в мягких войлочных тапках, появляется Санитарка, маленькая, круглолицая, в белой косынке, надвинутой на самые брови.

Санитарка. Да, Людмила Васильевна?

Людмила. Кислородную подушку.

Санитарка исчезает и тут же появляется снова с тугой кислородной подушкой в руках.

Санитарка. Вот, Людмила Васильевна.

Людмила (*кивнула*). Я сделаю укол, а ты сбегай разыщи доктора Смородина.

Санитарка. Сюда попросить? Хорошо, Людмила Васильевна!

Санитарка убегает. Людмила приставила раструб подушки к губам Одинцова, отвернула кран. Тонко зашипел кислород.

Одинцов. Не надо.

Людмила. Молчи, пожалуйста.

Людмила достала из стерилизатора шприц, разбила ампулу, наполнила шприц маслянистой жидкостью, сделала Одинцову укол.

Одинцов (*деревенеющими губами*). Не надо.

Людмила. Молчи. Сейчас тебе станет легче. Постарайся уснуть.

Одинцов откинулся на подушку. Тишина. Гудит поезд. Постукивают колеса.

Давид (*внезапно открыл глаза*). Людмила, Людмила, ты здесь?

Людмила. Здесь, милый, здесь. Тебе что-нибудь нужно?

Давид. Да. Пить. Нет, нельзя пить! (*После паузы.*) Я шел по Тульчину, по Рыбаковой балке... Я хотел найти... Я непременно хотел найти... А потом... Я присел на лавочку под акацией, и тут чем-то ударило сверху и... (*Скрипнул зубами.*) Уу-у-у...

Людмила. Додик!

Давид. Людмила, ты здесь?

Людмила. Здесь, милый.

Давид. Здесь. Все-таки удивительно, что ты здесь. И Чернышев. Только на войне бывает такое! Правда?! Ну, рассказывай.

Людмила. Про что, Додик?

Давид. Про Таню. Про то, как ты с ней встретила. И что она тебе сказала. И какой она была.

Людмила. Так ведь я уже рассказывала тебе об этом.

Давид. Расскажи еще. Пока со мной снова не началось. Только громче — а то я что-то совсем плохо слышу. И вижу плохо. Плохо вижу и совсем плохо слышу.

Людмила. Это контузия, Додик. Это пройдет.

Давид. Громче... Что?

Людмила (*медленно, нараспев, как рассказывают сказку*). Я говорю — это было в Москве, в сорок первом, шестнадцатого октября... Ровно три года назад... Рано утром меня разбудил Сережка Попов — из ИФЛИ, ты его, наверное, не помнишь — и сказал, что немцы в Истре. Я включила радио — передавали почему-то объявления треста ресторанов и столовых... И музыку... И тогда я ре-

шила ехать в военкомат — проситься на фронт... Ты слышишь, Давид?

Д а в и д. Слышу. Рассказывай. Что?

Л ю д м и л а. Я говорю — на улицах было полным-полно народу. И одни куда-то спешили — с вещами, с чемоданами, с подушками. А другие молча стояли у репродукторов и ждали. Ждали, что им хоть что-нибудь скажут... И вдруг объявили: «Передаем мазурку Венявского в исполнении лауреата Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей Давида Шварца...» И тут я увидела Таню. Она стояла под репродуктором — в белом платье, с красным букетиком астр. Очень нарядная. Очень красивая. И слушала, как ты играешь. Я подошла к ней, мы обнялись — все это как-то само собой получилось, ведь мы и знакомы толком не были — и стали вдвоем слушать, как ты играешь...

Д а в и д. Это была запись... Что?

Л ю д м и л а. Да, конечно, это была запись. Но доиграть тебе не пришлось. Началась воздушная тревога, и все побежали в убежище, в щели, в парадные. А мы с Таней пошли по улице Горького, и я ее спросила, где ты. А она ответила: «Мой муж на фронте...»

О д и н ц о в (*бормочет в забытье*). Мост переедем, лесок переедем, а там и Сосновка... Водокачка, склады дорожные, садочек у станции. Бабы с девчонками яблоками торгуют, яичками калеными, варенцом... Мост переедем, лесок проедем...

Ж е н ь к а (*раздраженно*). А он свое, он свое! Прямо как заведенный!

Д а в и д. Она так и сказала — мой муж? Ты хорошо это помнишь? Не Давид, а именно — муж?

Л ю д м и л а. Муж.

Д а в и д. Громче... Что?

Л ю д м и л а. Она сказала — мой муж.

Д а в и д (*слабо улыбнулся*). Милая моя! Ты знаешь, мы поженились в сороковом, в мае... Мне как раз после конкурса комнату дали. На Ленинградском шоссе. Там многие наши получили. И Чернышев, между прочим. Хорошая комната, двадцать метров. Мы из нее две сделали.

А Танька хотела... Погоди, так ты говоришь, что она была очень красивая в тот день? И не было заметно?

Людмила. Что?

Давид. Нет, ничего... Значит, она была очень красивой?

Людмила. Очень.

Давид. Правильно. Она всегда очень красивая. Но в какие-то минуты она бывает такой красивой, что просто сердце заходится...

Возвращается Санитарка.

Санитарка. Людмила Васильевна!

Людмила. Разбудила?

Санитарка. Он с товарищем Чернышевым в операционной. Сказал — кончит операцию и придет.

Женька (*громко*). Сестра! Эй, сестра!

Людмила (*обернулась*). Что ты кричишь, Женья? В чем дело?

Женька. Не в «чем дело», а койку мне надо поправить!

Людмила. Ариша, поправь.

Санитарка подходит к Жаворонкову, но Женька со злым лицом грубо отталкивает ее.

Женька. Уйди! У тебя руки кривые! Уйди ты к... Сестра!

Людмила (*встала*). Господи, наказание! (*Подойшла к Женьке*.) Что тебе? Ты же видишь — я возле тяжелых дежурю.

Женька (*со внезапно истерическими слезами в голосе*). А тут все тяжелые! Тут не с чирьями лежат! Вот погоди, я доложу начальнику, что ты со своим лейтенантом как не знаю с кем возишься! (*Передразнивая*.) «Додик, Додик»! И кислород ему, и пантопончик ему... А как другие у тебя пантопон попросят, так выкуси!

Людмила. Не дам я тебе пантопона.

Женька. А я знаю, что не дашь... Я же не еврей!

Людмила. Что-о-о? (*Помолчав, брезгливо и тихо*.) Какая гадость!

Женька. Почему это — гадость? (*Со смешком.*) Правильно майор Зубков в полку у нас говорил. «Евреи, — говорил он, — они свое дело знают! Они и на гражданке, и на войне ближе всех к пирогу садятся...» Это точно!

Он обернулся, ожидая, как обычно, смеха и возгласов одобрения. Но вагон молчит. И только нижний Женькин сосед — ефрейтор Лапшин, молодой человек с забинтованной головой, — отложил в сторону письмо, которое он читал при слабом свете синего ночника, и с любопытством снизу вверх посмотрел на Женьку.

Лапшин. Точно, говоришь?! (*Покачал головой.*) Ах, Женька ты, Женька! Сколько тебе годков?

Женька. А это к делу не касается! (*Разозлился.*) Брось, Лапшин, понял?! Всякий ефрейтор будет меня учить! Не нарвись я на эту мину чертову, я бы и сам к ноябрю ефрейтором стал! Мне майор Зубков так и сказал...

Лапшин. Опять майор Зубков?

Женька (*срываясь на крик*). Опять! Да, опять! Не нравится? Он мне вместо отца родного был, если желаешь знать! Он меня из горящего дома спас, он в полк меня записал, солдатом сделал, воевать научил...

Лапшин (*сердито*). Воевать он тебя, может, и научил. А думать не научил! Я вот вторую неделю с тобой еду, разговорчики твои слушаю — и просто диву даюсь! За тобою ухаживают, а ты хамишь... Женщины у тебя все — бабье, ППЖ... Кикнадзе — душа любезный, Каспарян — карапет и армяшка...

Женька (*чуть трусил*). Да это же я в шутку, чужак человек! Подумаешь, делов — карапетом назвал! Каспарян и не обижается... Верно, Каспарян? У нас в полку майор Зубков не такое откалывал и...

С другого конца вагона спокойный голос отчетливо и внушительно проговорил: «Он сукин сын, твой майор Зубков! Сукин сын и дурак!»

Женька (*он даже растерялся от ярости.*) Дурак?! Майор Зубков — дурак?! Это кто сказал?..

Спокойный голос. Это я сказал — подполковник Захаров... И довольно! Заткнись, Женька! Дай людям спать!..

Долгое молчание. Гудит поезд. Громыхают колеса.

Женька (*тихо*). Товарищ подполковник, вы не сердитесь! Ведь у меня ни отца, ни матери, товарищ подполковник!..

Молчание. Подавленный Женька натягивает на себя одеяло и отворачивается к стенке. Лапшин улыбается, берет письмо. Людмила снова садится на табурет возле койки Давида.

Одинцов (*все глуше и глуше*). Мост проедем, лесок проедем... А там и Сосновка... Стойте, остановите!.. Остановите поезд — дайте сойти!..

Людмила. Что ты, Одинцов? До Сосновки еще далеко... Ехать и ехать!

Одинцов. Мятою пахнет! Ах, как мятою пахнет! (*Чуть приподнимается.*) Девчоночки мои маленькие, парнишечки мои беленькие — здравия вам желаю!.. Ах ты Боже мой, до чего же мятой, мятой, мятой отчаянно пахнет!..

Давид. Пить... Людмила!.. Людмила, ты здесь?

Людмила. Здесь, милый.

Давид. Людмила! Слушай, а про что он там все говорит? Там, наверху... про что?

Людмила. Вспоминает. Родные места его проезжаем. Он и вспоминает.

Давид (*усмехается*). Матросская Тишина... У каждого непременно есть своя Матросская Тишина... И не бывает так, чтобы не было... Ни черта человек не стоит, если у него нет или не было... И сколько бы он ни прошел, сколько бы ни проехал — всегда у него есть такая заветная улочка — Матросская Тишина, на которой он еще не успел побывать... А я ходил по Тульчину, по Рыбаковой балке... Людмила, ты здесь?

Людмила. Здесь, Додик.

Давид. Я ходил по Тульчину, по Рыбаковой балке и хотел найти... Нет, не могу говорить!

Людмила. Как ты себя чувствуешь?

Давид. Не знаю. Очень пить хочется.

Людмила. Нельзя.

Д а в и д. Глоток... А я помню — у тебя стихи были про глоток воды, верно? Прочти мне.

Л ю д м и л а (*помедлив*).

Мы пьем молоко и пьем вино,
И мы с тобою не ждем беды,
И мы не знаем, что нам суждено
Просить, как счастья, глоток воды!

Д а в и д. Вот как все сходится... А еще? Прочти еще что-нибудь. Мне, когда ты читаешь, легче. Боль легче. И вообще мне с тобой спокойно. Ты спокойная... Быть бы тебе, Людка, врачом. Медиком. (*После паузы.*) Ну, прочти же мне что-нибудь!

Л ю д м и л а (*задумчиво и печально*). Я позабыла все свои стихи.

Гудит поезд. Громяхают колеса. За дребезжащими окнами вагона все те же серые предрассветные сумерки. Одинцов перестал бормотать и закашлялся. Он кашляет каким-то резким, лающим кашлем, сотрясаясь всем телом и разрывая черными пальцами рубашку на груди.

С а н и т а р к а (*испуганно*). Людмила Васильевна!

Л ю д м и л а. Одинцов! (*Растерянно оглянулась.*) Ну что же они там так долго?! Вот что, Ариша, ты побудь здесь, а я сбегаю потороплю.

С а н и т а р к а. Боюсь, Людмила Васильевна!

Л ю д м и л а (*прикрикнула*). Глупости!

Д а в и д. Людмила?.. Людмила, ты здесь?

Л ю д м и л а. Сейчас, Додик, сейчас я вернусь... Ариша, ты не уходи никуда, слышишь? Ни на минутку.

С а н и т а р к а. Хорошо, Людмила Васильевна.

Л ю д м и л а. Лейтенанту пить не давай. Губы смочи, если попросит. Сейчас я вернусь.

Л ю д м и л а поспешно уходит. Одинцов кашляет, рвет на груди рубашку. Санитарка смотрит на него расширенными от испуга глазами.

С а н и т а р к а. Миленький, потерпи!.. Потерпи!.. Сейчас!.. Миленький, потерпи!..

Одинцов захлебывается кашлем. Санитарка отворачивается, прижимается лбом к оконному стеклу.

Д а в и д. Пить. Пить дайте!.. Л ю д м и л а!
Г о л о с. Что тебе нужно, Додик?

Дрожащее и зыбкое пятно света — не то из окна, не то откуда-то сверху — падает на табурет, стоящий возле койки Давида.

Д а в и д. Кто это?.. Кто?.. Это ты, Людмила?

Г о л о с. Нет, это я, Додик.

Д а в и д. Папа?!

В зыбком пятне света возникает А б р а м И л ь и ч Ш в а р ц. Он сидит на табурете, наклонившись к Давиду, все в том же лучшем своем черном костюме, в котором он приезжал когда-то в Москву. И все та же старомодная касторовая шляпа лежит у него на коленях. И все тот же серебристый пушок вокруг головы. Он стал совсем прозрачным и легким, этот пушок, и только там, с левой стороны, где прошла пуля, виден черный след запекшейся крови. К рукаву пиджака пришпилена английской булавкой грязная повязка с желтой шестиконечной звездой и черной надписью «Юде».

Ш в а р ц. Здравствуй, мой дорогой! Шолом алейхем!

Д а в и д. Папа, ты?! Откуда ты?.. Почему ты здесь?..

Ты живой, папа?..

Ш в а р ц (*спокойно и грустно*). Нет, милый. Меня убили. Год тому назад. Ровно год тому назад. Я думал, что ты знаешь, милый, об этом.

Д а в и д. Да, я знаю, но мне показалось... (*Вскрикивает.*) Но ведь я вижу тебя! Почему же я вижу тебя?.. Ты чудишься мне, да?

Ш в а р ц. Возможно, Додик! (*Улыбнулся.*) Человек не таракан, ему всегда что-нибудь чудится. Женщинам чудятся неприятности, мужчинам — удачи. (*После паузы.*) И даже мне в тот самый последний день, когда нас вели под конвоем на Вокзальную площадь, — мне чудилось, что я иду встречать твой поезд.

Д а в и д (*строго*). Как это было, папа?

Ш в а р ц. Это было совсем просто, милый. В один прекрасный день по всему гетто развесили объявления, что нас отправляют на поселение в Польшу и что мы должны в воскресенье с вещами явиться на Вокзальную площадь...

Д а в и д. И ты понял?

Шварц. Разумеется. Впрочем, среди нас нашлись и такие, которые поверили... На одного умного всегда найдутся два с половиной дурака!..

Давид. А что было дальше?

Шварц. Ну, в воскресенье мы все собрались у выхода из нашего гетто, нас пересчитали, построили в колонну и повели! (*Усмехнулся.*) Это же все-таки Тульчин, а не Киев. В Киеве, говорят, для этого дела подавали автобусы... А нас повели... И мы шли — женщины, старики и дети... Был дождь и ветер... И мне помогали идти — этот каменщик из дома восемь, Наум Шехтели, и его жена Маша, сестра Филимонова... И вот мы шли, шли... И лил дождь, и лаяли собаки, и плакали дети... А на улицах было пусто... Совсем пусто... Все попрятались по домам, и только, когда мы проходили, шевелились занавески на окнах... И этому как раз я был рад!

Давид. Почему?

Шварц (*помолчав*). Понимаешь ли, милый, — я родился в Тульчине. И жил в Тульчине. И умер в Тульчине. Я почти всех знал в нашем городе, и мне не хотелось, чтобы старые мои знакомые, увидев меня в тот день, отворачивались и прятали глаза... Ну, и нас привели на Воззальную площадь. И снова пересчитали и приказали сдать вещи. А мне нечего было сдавать. Я ничего не взял. Только твою детскую скрипочку, твою половинку, на которой ты когда-то сыграл первое упражнение Ауэра. Только твою скрипочку и мой альбом с photographиями. А с немцами был Филимонов... Оказалось, между прочим, что его фамилия Филимон... И даже фон Филимон... Так, во всяком случае, он утверждал! И когда этот Филимон увидел у меня в руках скрипочку, он засмеялся и крикнул: «А ну-ка, пархатый черт, сыграй нам кадыш! Сыграй нам поминальную молитву, пархатый черт!»

Давид. Сволочь!

Шварц. А потом он заметил свою сестру Машу. И он сказал ей: «Зачем ты здесь?.. Ты же немка, дура, уходи!» Но она сказала: «Я русская», — и обняла своего Наума, и не ушла!.. Ах, Маша, Маша! Ты помнишь, какая она была красивая, Додик? Я как-то спросил у нее —

за что она любит своего рыжего Наума? А она засмеялась и ответила... Знаешь что? «Меня все называют Машей, — сказала она, — но никто, ни один человек на свете не умеет так говорить «Маша», как это умеет мой Наум». Ах, Маша...

Д а в и д (*сквозь сжатые зубы*). Дальше! Что было дальше?!

Ш в а р ц. Мы стояли. И лил дождь. И где-то далеко гудел поезд. А немцы, очевидно, кого-то ждали. Какого-то начальника. И тогда этот Филимон снова крикнул: «Ну, сыграй же нам кадыш, пархатый черт!» И знаешь, Додик, я вдруг ужасно рассердился... И на этого Филимона, и на немцев, и даже на самого себя! Ну почему я стою в грязи, с опущенной головой, и почему мне страшно, и почему у меня дрожат руки... И я поднял твою скрипочку, твою половинку, на которой ты учился играть упражнения Ауэра, и подбежал к господину Филимону, и ударил его этой скрипочкой по морде, и даже успел крикнуть: «Когда вернутся наши, они повесят тебя, как бешеную собаку!»

Д а в и д (*яростно*). А дальше? Что было дальше?

Ш в а р ц (*после паузы*). Это все. Для меня уже не было никакого «дальше». Дальше, милый, начинается твое «дальше».

Д а в и д (*сдержанно*). Да, пожалуй.

Ш в а р ц. Что же было дальше, Давид?

Д а в и д (*приподнялся*). Я расскажу тебе... Хорошо!.. Слушай, слушай, что было дальше! Мы взяли Тульчин после семи суток непрерывных сумасшедших боев...

Ш в а р ц. Вы пришли?

Д а в и д. Мы пришли, папа. Мы выбили фрицев, к дьяволовой бабушке, куда-то за Чукаринские болота, и на восьмые сутки под вечер вошли в Тульчин!.. Знаешь, я как-то не задумывался прежде над тем, что значат слова «земля отцов»! Но когда наша головная машина остановилась на площади Декабристов и я услышал запах Тульчина, увидел землю Тульчина, небо Тульчина и в небе не самолет, нет, и не следы трассирующих пуль — от края до края, — а сизый голубь, первый сизый голубь, которо-

го выпустил в нашу честь мальчишка с Рыбаковой балки... И когда мой шофер обернулся ко мне и сказал: «Вот вы и на родине, товарищ старший лейтенант...»

Шварц (*удивленно и радостно*). Ты старший лейтенант, Додик?

Давид. Да, папа.

Шварц. О-о-о, милый, поздравляю! Старший лейтенант — это большой чин! (*Усмехнулся.*) Прости, я тебя перебил... Что же было дальше?

Давид. А на следующее утро мои ребята привели господина Филимона... Мы уже кое-что слышали про его «подвиги» — он пытался скрыться, но мои ребята поймали его и привели в отдел...

Шварц. И ты его видел?

Давид. Видел.

Шварц. А он тебя видел?

Давид. Видел. Он только меня одного и видел. Он смотрел на меня во все глаза. Хотел узнать и не мог. Но я ему напомнил, кто я такой. Я сказал ему: «Да, да, это я — Давид Шварц, сын Абрама Ильича Шварца с Рыбаковой балки...»

Шварц. Додик! (*Помедлив.*) Ну, а потом?

Давид (*со злой улыбкой*). А потом все было точно так, как ты ему напророчил!

Шварц (*тихо*). Вы его...

Давид (*кивнул*). Да. На Вокзальной площади. И в тот вечер, когда все уже было кончено, ко мне пришла его сестра Маша.

Шварц. Она осталась жива?

Давид. Она осталась жива. Ее только ранило. Два дня и две ночи она пролежала там — с вами, во рву... А на третью ночь она выбралась и приползла домой... Ее прятали по очереди Митя Жучков и Танькины родные — Сычевы... И вот она пришла ко мне, и мы отправились с нею вдвоем за линию железной дороги, к разъезду...

Шварц (*мягко*). Не надо об этом, Додик!

Давид. Надо. (*Прищурив глаза.*) Мейер Вольф всю жизнь копил деньги, чтобы увидеть Стену плача. Он видел теперь ее, эту Стену. Она находится за линией желез-

ной дороги, на разъезде Тульчин-товарный. Это простая пожарная стена, кирпичный брандмауэр, шербатый от автоматных очередей. И к этой стене по вечерам приходит плакать русская женщина — сестра предателя, жена честного человека, — красавица Маша Филимонова.

Ш в а р ц. Дальше? Что было дальше, Давид?

Д а в и д. А потом, через день, меня контузило, папа. И ранило.

Ш в а р ц (*медленно, боясь услышать ответ*). Куда тебя ранило?

Д а в и д. В плечо. И в живот. Прости меня. Много раз я был перед тобой виноват. Особенно в тот вечер, когда ты приехал в Москву...

Ш в а р ц. Я забыл об этом, Давид...

Д а в и д (*крикнул*). Но я помню!

Ш в а р ц (*мягко, но настойчиво*). И ты тоже должен забыть! Мы оба виноваты. И я даже больше. Много больше. Потому что ведь это я когда-то заставил тебя поверить в то, что сначала — счастье, удача, а уже потом все остальное... Нет, Додик, нет! (*Покачал головой, улыбнулся*.) Знаешь, о ком я сейчас подумал? О моем внучке, о твоём маленьком сыне! Ах, как он будет гордиться тобой, Додик! И уж он-то обязательно скажет людям: «Это мой папа сделал из меня то, что я есть! Мой папа — Давид Шварц, старший лейтенант, участник Великой Отечественной войны, награжденный орденами и медалями...» И тебе тоже не нужно будет ни лгать, ни ловчить для того, чтобы твой маленький сын узнал, как выглядит счастье... Что? Разве не так?

Д а в и д. Да, папа, да.

Ш в а р ц. Кстати... Меня давно мучает один вопрос... Как-то раз из моего альбома пропали три открытки... И я не поверил тебе, когда ты сказал, что не брал их...

Д а в и д. Я солгал тебе. Я их взял.

Ш в а р ц (*помолчав, строго*). Надеюсь, что больше этого никогда не повторится! (*Прислушался к чему-то, что слышно только ему одному, встал*.) Ну, мне пора!

Д а в и д. Ты уходишь уже?

Ш в а р ц. Мне пора.

Д а в и д. Как скоро! Но ведь мы еще увидимся, правда?

Ш в а р ц. Нет, милый. Больше мы уже не увидимся. Оттуда не ходят поезда, не приносят писем и телеграмм. Мы не увидимся больше. Может быть, я тебе приснюсь... Впрочем, я не люблю, когда люди вспоминают и рассказывают свои сны... Мало ли что кому может присниться! Прощай, мой родной!..

Д а в и д. Папа!

Ш в а р ц. Прощай.

Д а в и д. Папа, погоди... Папа!..

Но Абрама Ильича уже нет. Исчезает и дрожащее, зыбкое пятно света, падавшее на табурет. Гудит поезд. Стук колес становится громче. Это санитары выносят в тамбур носилки, покрытые белой простыней. Людмила дрожащими руками торопливо прибирает опустевшую койку Одинцова, разглаживает одеяло, взбивает подушку. Захлопывается дверь в тамбур. Тишина. За окнами вагона понемногу начинает светать.

Людмила садится на табурет возле койки Давида.

Д а в и д. Папа!.. Папа, я хотел тебе сказать...

Л ю д м и л а. Что, Додик? Что ты?

Д а в и д. Я хотел тебе сказать... Нет... Это ты, Люда?

Л ю д м и л а. Да, милый.

Д а в и д. Громче. Я ничего не слышу. Что?.. Как долго!.. Что?.. Это ты, Люда?

Л ю д м и л а. Да. Все будет хорошо, милый.

Д а в и д. Громче... Что?

Л ю д м и л а (*тихо*). Все будет хорошо... Я тебя выхожу! Я выхожу тебя, мой любимый, ненаглядный мой. Ты будешь слышать. Ты будешь видеть. Ты встретишься с Таней... (*Сжала руки.*) Ах, какая простая беда приключилась со мной — я люблю тебя, а ты любишь свою красивую Таню...

Д а в и д. Громче.

Л ю д м и л а (*еще тише*). А ведь я все придумала, милый. Я не видела Таню в тот день, шестнадцатого октября. Я даже не знаю, где она была и что она делала. И это я одна стояла под репродуктором на площади Пушкина и слушала, как ты играешь мазурку Венявского. И ревела в три ручья, как самая последняя дура...

Сгорбив плечи и шмыгая носом, входит маленькая С а н и т а р к а.

Санитарка. Людмила Васильевна!

Людмила. Отнесли, Ариша?

Санитарка. Отнесли, Людмила Васильевна.

Санитарка еще раз шмыгает носом и отворачивается в сторону, к окну.

Давид. Люда!

Людмила. Что, милый?

Давид. Где мы сейчас едем, Люда?

Людмила. Подъезжаем к реке. Лодки качаются у причала. А на берегу стоит маленький домик. Совсем игрушечный. Поблескивают окна. Из трубы идет дым. Там, верно, живет бакенщик! (*Вздохнула.*) Если бы я могла, милый, — я остановила бы сейчас поезд, взяла тебя на руки, постучалась бы в двери этого домика... Многим, я думаю, многим и не один раз это приходило в голову! И еще никто и никогда не отважился почему-то на это!! А ведь как, казалось бы, просто — остановить поезд, соскочить вдвоем со ступенек вагона...

Давид (*неожиданно отчетливо и громко*). Земля!..
Большая моя земля!..

Людмила. Что ты говоришь, Додик? О чем ты?

Долгое молчание. Снова громче и резче застучали колеса, замелькали за окнами чугунные стропила моста.

Санитарка (*странным, сдавленным голосом*). Мост, Людмила Васильевна!

Людмила. Ну и что?

Санитарка. Одинцов говорил — помните?

Гудит поезд. Мелькают за окнами вагона стропила моста. Поскрипывает и покачивается на ремнях пустая койка над головой Давида. Тревожный шепот прокатывается по вагону:

— Мост проезжаем!

— Старшина-то все увидеть хотел!

— Мост!

— Мост!

Людмила (*прислушиваясь*). Проехали.

Санитарка. А теперь лесок будет!..

Тишина. Стучат колеса. Молчание.

Л ю д м и л а. Проехали лесок...
С а н и т а р к а. Водокачка... Склады дорожные...

И весь вагон повторяет вслед за нею:

— Водокачка!
— Склады дорожные!
— Водокачка!
С а н и т а р к а. Сосновка!

И едва только произносит она это слово, как в окна вагона врывается стремительный разнобой голосов:

— Яички каленые, яички!
— Варенец, варенец!
— Покупайте яблоки, братья и сестры! Давай нале-
тай, полтора рубля штука, на десять рублей...

Но поезд, не останавливаясь, пронесется мимо. Замирают вдалеке го-
лоса. Стучат колеса. Поскрипывает и покачивается на ремнях пустая
койка над головой Давида. Тишина. И вдруг кто-то закричал, задыха-
ясь и захлебываясь слезами: «А-а-а!.. Не хочу, не хочу!.. А-а-а!»

Л ю д м и л а (*поспешно встала, прошла в конец вагона*).
Что с вами, Каспарян?! Успокойтесь, успокойтесь, го-
лубчик, нельзя так! Ну, тише, тише, тише, успокойтесь!..

Рванув дверь тамбура, в вагон быстро входит И в а н К у з ь м и ч Ч е р-
н ы ш е в — в белом халате, туго обтягивающем квадратные плечи.

Ч е р н ы ш е в. Людмила Васильевна! У вас радио
включено?

Л ю д м и л а. Нет, товарищ начальник... А что? Пись-
ма из дома?

Ч е р н ы ш е в. Сообщение Информбюро. Сейчас
должны повторить. Я был в третьем вагоне, там точка в
неисправности — я не все расслышал! (*Положил руку*
Людмиле на плечо, тихо проговорил.) Держитесь, дружок,
на вас лица нет. Держитесь, прошу вас!

Л ю д м и л а. Стараюсь! (*Позвала.*) Ариша! Включи ра-
дио!

С а н и т а р к а. Письма из дома?

Л ю д м и л а. Сообщение Информбюро.

Санитарка включает репродуктор. Тишина. Стук метронома.

Чернышев. Как Давид?

Людмила. Плохо.

Чернышев (*наклонился к Давиду*). Здравствуй, братец. Здравствуй, Давид... Это я — Чернышев... Ты слышишь меня?

Людмила (*после паузы*). Он не слышит. Он совсем, совсем ничего не слышит!..

Молчание. Обрывается стук метронома, слышен голос диктора: «От Советского Информбюро. В последний час! Сегодня, шестнадцатого октября, наши войска, прорвав глубоко эшелонированную оборону противника, перешли границы Восточной Пруссии и овладели рядом крупных населенных пунктов, в том числе стратегически важными городами Гумбиннен и Гольдап... Наступление продолжается!..» Загремел торжественный марш.

Чернышев (*взмахнул рукой*). Товарищи! Вот... Вот... Вот что мы сделали! (*У него перехватило дыхание*.) Я поздравляю вас!.. Вот... Вот что мы с вами сделали, дорогие мои!

Гремит марш. Постукивают колеса. Протяжно гудит паровоз.

Занавес

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

В конце третьего действия что-то случилось с занавесом.

Он закрывался медленно, судорожными рывками, и в еще темном зале мне послышалось, что кто-то всхлипывает. Я помнил остроуту Генриха Гейне, что читателя или зрителя легче всего заставить плакать — для этого достаточно обыкновенной луковицы.

Но после того как в течение целых трех действий на лицах этих зрителей в этом зале не отразилось ровным счетом ничего, мысль о том, что кого-то из них все-таки прошибла слеза, доставила мне минутное горькое удовлетворение.

Впрочем, когда занавес наконец закрылся и в зале

включили свет, оказалось, что я ошибся. Никто и не думал плакать. Просто бутылочную начальницу окончательно расхватил насморк.

Отсморкавшись и с достоинством запихав платочек в рукав, она обернулась к Солодовникову и сказала с искренним огорчением:

— Как это все фальшиво!.. Ну ни слова правды, ни слова!..

И тут я не выдержал!

Бешенство залило меня, как озноб, и, уже не помня себя, я проговорил отчетливо и громко:

— Дура!

Жена вцепилась мне рукою в плечо.

Бутылочная и кирпичная внимательно, словно хорошенько запоминая на будущее, посмотрели на меня, кирпичная сокрушенно покачала головой, а бутылочная совершенно неожиданно улыбнулась.

Дней через десять мы будем сидеть с нею вдвоем в ее служебном кабинете на Старой площади, в здании ЦК КПСС.

Уступив настояниям Олега Ефремова, который бессмысленно продолжал надеяться, что еще можно что-то спасти, я позвонил бутылочной и попросил разрешения прийти к ней побеседовать.

Как ни странно, она чрезвычайно охотно согласилась на свидание. И даже без обычного чиновного «позвоните на будущей недельке». Нет, она сказала:

— Приходите, пожалуйста. Завтра вам удобно?

— Да.

— Ну, давайте завтра.

И вот мы сидим с нею вдвоем в ее служебном кабинете. Очень, как выражаются в пивных, культурно сидим. Соколова — за столом, в кресле, я — напротив на стуле. За окном — серенький зимний день. Бесшумно падает мелкий снежок. И вообще вокруг как-то удивительно, почти неправдоподобно тихо. Так уж положено в этом здании — говорить негромко, по коридорам ходить чуть ли не на цыпочках. Здесь не смеются и не балагурят, здесь даже телефонные звонки звенят настороженно-

приглушенно. Здесь сердце и мозг страны, здесь ее святая святых! И в этой святой святых я услышал такие слова — доверительно наклонившись ко мне через стол, округлив маленькие бесцветные глазки, Соколова сказала:

— Вы что же хотите, товарищ Галич, чтобы в центре Москвы, в молодом столичном театре шел спектакль, в котором рассказывается, как евреи войну выиграли?! Это еврей-то!

Я сделал неуверенный протестующий жест, но Соколова строго сказала:

— Нет, вы обождите, вы не перебивайте меня! Вы ведь ко мне пришли, чтобы мое мнение выслушать, верно? Вот я вам его и выскажу!

Она побарабанила пальцами по столу.

— Еврейский вопрос, Александр Арка-ди-е-вич... — Она необыкновенно тщательно, по слогам, выговаривала мое отчество. — Это очень сложный вопрос! К нему, знаете ли, с кондачка подходить нельзя. В двадцатые годы — так уж оно получилось, — когда русские люди зализывали, что называется, раны, боролись с разрухой, с голодом, представители еврейской национальности в буквальном смысле слова заполнили университеты, вузы, рабфаки...

Вот и получился перекосяк! Возьмите, товарищ Галич, к примеру, кино... — Она сделала паузу и, понизив голос, почти шепотом проговорила: — Ведь одни же евреи! — Она снова повысила голос и почти в упор спросила меня: — Должны мы выправить это положение?

И сама, не дождавшись моего ответа, твердо сказала:

— Должны! Обязаны выправить! Вот, говорят — я сама слышала, — будто мы, как при царском режиме, собираемся процентную норму вводить!.. Чепуха это, поверьте!.. Чепуха, если еще не хуже! Никакой процентной нормы мы вводить не собираемся, но... — Она погрозила пальцем какому-то незримому оппоненту. — Но, дорогие товарищи, предоставить коренному населению преимущественные права — это мы предоставим! Хотите, обижайтесь на нас, хотите, жалуйтесь, — но предоставим!..

Так впервые зимою 1958 года во вполне дикарском

изложении бутылочной Соколовой — инструктора Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза — я услышал о теории «национального выравнивания».

Впоследствии в целом ряде выступлений, статей и даже в докторской диссертации преподавателя Горьковского университета, некоего Мишина — напечатанной, кстати, отдельной книгой в семидесятом году под названием «Общественный прогресс», — теория эта получит свое вполне наукообразное оформление. Впрочем, от наукообразия дикарская суть этой теории не изменится. Это будет все то же вечное «Бей жидов, спасай Россию!», все то же стремление к созданию гетто — правда, нового типа, такого интеллектуального гетто, которое оградит наши больницы и институты, наши издательства и редакции, наши киностудии и театры от проникновения в них представителей сионистской пятой колонны.

После шестидневной войны и разрыва дипломатических отношений с Израилем обо всем этом заговорят, уже не стесняясь, в полный голос, открытым текстом...

...А Соколова, покончив с вводной частью, перешла наконец непосредственно к моей пьесе:

— Вот у вас, товарищ Галич, есть там сцена в санитарном поезде... Я сказала, что в ней все фальшиво, а вы меня за это «дурой» обругали!

Я снова попытался сделать не слишком искренний протестующий жест, и Соколова снова не дала мне возразить:

— Нет, нет, вы не подумайте, что я в обиде на вас! Бывает — вырвется слово, потом сам не рад, да уж поздно! Не в этом, Александр Ар-ка-ди-е-вич, дело! Давайте мы лучше разберем с вами эту сцену! Кто в ней главный герой? Скрипач этот ваш, Додик! И что же получается? Когда в конце диктор читает правительственное сообщение и комиссар говорит — вот, дескать, что мы с вами сделали, — то получается, что это Додик все сделал?! — Она горестно усмехнулась. — А с папашей у вас и вовсе полная путаница! То он жуликом был, то вдруг в герои вышел — ударил гестаповца скрипкою по лицу! Да не

было этого ничего, товарищ Галич, не было! Я признаю — еврейский народ очень пострадал в войну, это так!.. Но ведь, между прочим, и другие народы пострадали не меньше. Но только русские люди, украинцы, белорусы с оружием в руках защищали свою землю — не в регулярных частях, так в партизанских, — били фашистов, гнали их, уничтожали... И стар, понимаете, и мал! Возьмите хотя бы краснодонских героев! Дети, а каких делов понаделали! А евреи? Шли, как... Извините, товарищ Галич, но я даже слова приличного подобрать не могу, — шли покорно на убой — молодые люди, здоровые... Шли и не сопротивлялись! Трагедия? Да! Но для русского человека, Александр Ар-ка-ди-е-вич, есть в этой трагедии что-то глубоко унижительное, стыдное...

И тут со мною что-то случилось!

Соколова продолжала говорить, но я уже больше не слушал и не слышал ее слов, не видел ее лица.

Я увидел другое, прекрасное в своем трагическом уродстве, залитое слезами лицо великого мудреца и актера Соломона Михайловича Михоэлса. В своем театральном кабинете за день до отъезда в Минск, где его убили, Соломон Михайлович показывал мне полученные им из Польши материалы — документы и фотографии о восстании в Варшавском гетто.

...Всхлипывая, он все перекладывал и перекладывал эти бумажки и фотографии на своем огромном столе, все перекладывал и перекладывал их с места на место, словно пытаясь найти какую-то, ведомую только ему горестную гармонию.

Прощаясь, он задержал мою руку и тихо спросил:

— Ты не забудешь?

Я покачал головой.

— Не забывай, — настойчиво сказал Михоэлс, — никогда не забывай!

Я не забыл, Соломон Михайлович!

...Уходит наш поезд в Освенцим,
Наш поезд уходит в Освенцим —
Сегодня и ежедневно!

И другое лицо увидел я — зеленоглазое, слегка на-смешливое, необычайно красивое лицо поэта Переца Маркиша.

...Я стоял в дверях небольшого зала, где происходило очередное заседание еврейской секции Московского отделения Союза писателей (существовала когда-то такая секция!). После гибели Михоэлса я почему-то вбил себе в голову, что непременно — хоть и не знал даже языка — должен принять участие в работе этой секции. Я явился принаряженным, при галстукке (часть мужского туалета, которую я всю жизнь ненавижу лютой ненавистью) и где-то в глубине души чувствовал себя немножко героем, хотя и пытался не признаваться в этом даже себе самому.

И вдруг Маркиш, сидевший на председательском месте, увидел меня. Он нахмурился, как-то странно выпятил губы, прищурил глаза. Потом он резко встал, крупными шагами прошел через весь зал, остановился передо мною и проговорил нарочито громко и грубо:

— А вам что здесь надо? Вы зачем сюда явились? А ну-ка, убирайтесь отсюда вон! Вы здесь чужой, убирайтесь!..

Я опешил. Я ничего не мог понять. Еще накануне при встрече со мной Маркиш был приветлив, почти нежен. Что же случилось?

Я повернулся и вышел из зала, изо всех сил стараясь удержать слезы огорчения и обиды.

Недели через две почти все члены еврейской секции были арестованы, многие — и среди них Маркиш — физически уничтожены, а сама секция навсегда прекратила свое существование.

И теперь я знаю, что Маркиш — в ту секунду, когда он громогласно назвал меня чужим и выгнал с заседания, — просто спасал мне, мальчишке, жизнь.

Я этого не забыл, Перец, я этого никогда не забуду!

...Откуда-то из липкого тумана, из болотной хляби, мерзкий, словно его соскребли со стены привокзального сортира, прозвучал голос Соколовой:

— А можете ли вы, товарищ Галич, гарантировать, что на вашем спектакле — если бы он, конечно, состоял-

ся — не будут происходить всякие националистические эксцессы?! Не можете вы этого гарантировать! И что же получится? Получится, что мы сами, своими руками, как говорится, даем повод и для сионистских, и для антисемитских выходов...

Но я уже опять перестал слушать ее и слышать.

...Сначала заиграл духовой оркестр — песни Дунаевского и старинные вальсы. Потом зажглись круглые матовые фонари, заблестел лед, зазвенели коньки — и закружились, понеслись все быстрее и быстрее нарядные фигурки конькобежцев.

В начале тридцатых годов мы переехали из веневициновского дома на Малую Бронную, и моим миром стали Никитские ворота, Тверской бульвар, Большая и Малая Бронная и, конечно же, Патриаршие пруды: летом — зеленый сквер с прудом и лодочной станцией, а зимой — каток. Каток на Патриарших прудах! Как часто, с какой благодарностью и нежностью я вспоминаю тебя!

Вьюга листья на крыльцо намела,
Глупый ворон прилетел под окно
И выхаркивает мне номера
Телефонов, что умолкли давно!
Словно встретились во мгле полюса,
Прозвенели над огнем топоры —
Оживают в тишине голоса
Телефонов довоенной поры!
И внезапно, обретая черты,
Шепелявит в телефон шепоток:
— Пять — тринадцать — сорок три? Это ты?
Ровно в восемь приходи на каток!..

И, подхватив чемоданчик (а ходить на каток без чемоданчика считалось дурным тоном), как бы я ни устал или ни был занят, я мчался на Патриаршие пруды.

Это был не просто каток. Это был своего рода клуб, место, где мгновенно возникали и так же мгновенно кончались неистовые и стремительные юношеские романы, где выяснялись отношения и обсуждались планы на будущее.

И все это под шум, смех, звон коньков и похрипывание духового оркестра, повторявшего раза три в вечер свой коронный номер — вальс «На сопках Маньчжурии»:

Спит гаолян,
Сопки покрыты мглой...

В последнюю предвоенную зиму на нашем катке появилась новая девушка, которую никто не знал. Причем появилась она и как-то внезапно, и как-то очень определенно.

Мой приятель Яшка Лифшиц — в сорок девятом году он будет расстрелян в Лефортовской тюрьме как враг народа и не то японский, не то английский шпион — сказал про нее:

— Вот ее не было — и вот она есть!

Да, она была, она существовала — тоненькая, золото-волосая, с удивительными прозрачно-синими глазами. И одета она была тоже для тех лет необыкновенно: золотистые волосы перехвачены широкой белой лентой, белый свитер и короткая, торчком, похожая на балетную пачку белая юбка.

Через несколько дней после первого появления этой девушки на Патриарших прудах все тот же всеведущий Яшка сообщил нам в раздевалке катка все, что ему удалось узнать о ней:

— Зовут ее Лия... Фамилия — Канторович... Отец — еврей, наверное... А мать была немка, но мать умерла... Она много лет прожила в Австрии, отец ее там в торгпредстве работал... Они вон в том доме живут — напротив катка...

Это были и вправду чрезвычайно ценные сведения. И самым ценным было то, что Лия жила в доме, выходявшем окнами на Патриаршие пруды, и, стало быть, появление ее на нашем катке не было случайным — зачем ей ездить в Парк культуры или на Петровку, на каток «Динамо»?!

К этому катку на Петровке мы испытывали откровенное, давнее и стойкое недоброжелательство. Мы считали, что на этот каток ходят одни пижоны — с Кузнецкого моста и Столешникова переулка, и ходят не столько

кататься на коньках, сколько глазеть на знаменитых за-
всегдаев — актеров и спортсменов.

На нашем катке знаменитости не бывали — здесь мы
сами были знаменитостями.

В тот же день после Яшкиного сообщения мы позна-
комились с Лией. Мы просто подъехали всей компанией
к скамейке, на которой она отдыхала, остановились и хо-
ром сказали:

— Здравствуйте, Лия, мы хотим с вами познакомиться!

— Очень приятно, — серьезно ответила Лия, — а кто
вы такие?

Мы по очереди начали представляться, но Лия улыб-
нулась.

— Не надо, не надо! Я буду знакомиться постепенно!..

Так, естественно и спокойно — а она все делала есте-
ственно и спокойно, — Лия стала полноправным членом
нашей компании.

Мы звонили ей по телефону — сообщали время, ко-
гда придем на каток, иногда провожали ее все вместе до
дома, но никто из нас в нее почему-то не влюблялся.

Лия была Лией — самой красивой, самой, пожалуй,
умной из всех нас и немножко загадочной, и влюблялись
мы в девушек попроще и попонятнее.

Однажды — это было в январе сорок первого года —
еще задолго до закрытия катка Лия сказала мне:

— Знаешь, я что-то сегодня устала! Проводишь меня?

— Хорошо, — сказал я с некоторым недоумением,
так как обычно мы уходили с катка самыми последними,
когда оркестранты начинали запихивать в чехлы свои
тромбоны и трубы и один за другим гасли матовые ша-
ры-фонари. — Сейчас я скажу ребятам!

— Не надо, — сказала Лия, — проводи меня один.

...Мы медленно шли с нею по дорожкам сквера. Мы
шли, молчали, и веселые голоса, доносившиеся с катка,
звуки музыки словно подчеркивали тишину нашего мол-
чания и поскрипывание снега под ногами.

Неожиданно Лия спросила:

— Это правда, что ты пишешь стихи?

— Да.

— Прочти что-нибудь.

Я подумал и прочел стихи, которые когда-то хвалил Багрицкий, — стихи о тютчевской усадьбе в Муранове.

Стихи эти, как и большинство стихов той поры, у меня не сохранились, теперь я их уже и не помню, помню только одну строфу:

А здесь с головы и до самых пят
Чужой нежилой уют,
Здесь даже вещи не просто скрипят,
А словно псалмы поют!..

— Еще! — потребовала Лия.

Я прочел что-то еще.

— А зачем ты работаешь в театре? — спросила Лия.

Я пожал плечами.

— Интересно.

— Какая чушь! — вздохнула Лия.

Мы подошли к подъезду ее дома, остановились. Лия посмотрела на меня снизу вверх — я уже вымахал тогда все свои сто восемьдесят три сантиметра, и золотая Лиина голова едва доходила мне до плеча — и сказала:

— Мне понравились твои стихи... И вообще ты мне немножко нравишься! Но только ты как-то совершенно не умеешь думать!.. — Она усмехнулась. — Вот мне и придется хорошенько подумать — за тебя и за меня.

— О чем? — тупо спросил я.

Лия не ответила.

— Я позвоню тебе завтра, — сказал я.

— Нет, — сказала Лия, — ты не звони... Я сама тебе позвоню. Но, наверное, не скоро — когда все обдумаю.

Она оглянулась и неожиданно приказала:

— Поцелуй меня!

Являя собой вполне идиотское зрелище: в одной руке у меня был Лиин чемоданчик, а в другой руке — мой, я наклонился и поцеловал Лию в холодную щеку и краешек губ. Она снова снизу вверх посмотрела на меня, засмеялась, выхватила свой чемоданчик, показала мне язык и убежала.

И все-таки я позвонил ей первым — позвонил и пригласил ее на премьеру «Города на заре».

— Хорошо! — сказала Лия. — Мне не хочется, но я приду!

...Когда закончился спектакль, я быстро разгримировался, переоделся и вышел в фойе, где кипела возникшая стихийно дискуссия: что-то кричал, размахивая руками, поэт Павел Антокольский, что-то гудел драматург Александр Гладков, ребята из ИФЛИ пели хором песню из нашего спектакля:

У березки мы прощались,
Уезжал я далеко,
Говорила, что любила,
Что расстаться нелегко!..

А Лия стояла в стороне, совсем одна, опершись локтями на подоконник, какая-то неправдоподобно красивая и грустная, в темном платье, в туфельках на высоких каблуках.

— Лия, — задыхаясь, сказал я, — поедем с нами, хорошо?! Мы сейчас все к Севке Багрицкому собираемся... Поедем?

— Будете праздновать? — насмешливо спросила Лия.

— Да, — сказал я, — а что?

— А я не хочу с вами праздновать, — с необычной резкостью сказала Лия. — Мне не понравился ваш спектакль! Мне не понравилось, как ты играешь!

Я обиделся и, как всегда, не сумел этого скрыть. В спектакле «Город на заре» я играл одну из главных ролей — комсомольского вожака Борщаговского, которого железобетонный старый большевик Багров и другие «хорошие» комсомольцы разоблачают как скрытого троцкиста. В конце пьесы я уезжаю в Москву, где, совершенно очевидно, буду арестован.

— Вернее, мне не понравилось — что ты играешь! — сама себя поправила Лия, увидев мое обиженное лицо. — Как ты можешь — такое играть?! Я же говорила, что ты совершенно, совершенно не умеешь думать!.. И вот что еще — я поняла, что у нас ничего не получится! Ты мальчишка, а я женщина...

— Что значит — женщина?! — нетерпеливо спросил я. Я спешил: Севка с ребятами — и среди них девушка, ко-

торая мне очень нравилась, — уже ждали меня внизу, у меня не было ни времени, ни желания выяснять с Лией отношения.

— А ты не знаешь, что это значит? — усмехнулась Лия и с вызовом вскинула голову. — Я спала с женщиной, понятно тебе! Со взрослым женщиной!.. — Она легонько толкнула меня ладошкой в грудь. — Иди! Иди празднуй!..

И я ушел. И мы уже никогда больше не встречались.

Несколько раз я звонил Лии, но она была очень занята, готовилась к весенней сессии, да я и сам был очень занят — через день по вечерам мы играли спектакль, в первой половине дня с Исаем Кузнецовым и Севой дописывали пьесу «Дуэль», начинали репетиции «Рюи Блаза» Гюго.

...Недели через две после начала войны мама сказала, что ко мне заходила прощаться необыкновенно красивая девушка, просила передать мне привет и сказать, что ей очень жалко.

А почему и чего было жалко Лие, не понял ни я, ни тем более мама.

Лия ушла на фронт медсестрой. За свою недолгую военную службу она вынесла с поля боя больше пятидесяти раненых, а когда под Вязьмой был тяжело контужен командир роты, Лия оттащила его в медсанбат, вернулась на позицию и подняла бойцов в контратаку.

Я уверен, что она не кричала «За Родину, за Сталина!» или «Смерть немецким оккупантам!». Конечно же, нет! Она сказала что-нибудь очень простое, что-нибудь вроде того, что говорила обычно в те давние-давние времена, когда мы выходили из раздевалки на наши Патриаршие пруды и Лия, постукав коньком о лед, весело бросала нам:

— Ребята, за мной!..

Уже в сентябре сорок первого года Лия была убита.

Посмертно ей присвоили звание Героя Советского Союза.

...Снова возник голос Соколовой:

— Вот почему, товарищ Галич, я и сказала после третьего действия, что все это насквозь фальшиво!.. Всякая пьеса, Александр Ар-ка-ди-е-вич, какая бы она ни была — мне лично ваша пьеса кажется плохой пьесой, — но все равно всякая пьеса дает обобщенные типы... У вас они тоже обобщенные — но неправильно! Ну, насчет геройства и всего такого прочего!.. Неправильные обобщения!..

Она встала, давая понять, что на этом наша беседа с нею закончена.

— Мы, — сказала она, подчеркивая это «мы» и голосом, и интонацией, и даже телодвижением, — мы вашу пьесу рекомендовать к постановке не можем! Мы ее не запрещаем, у нас даже и права такого нет — запрещать! — но мы ее не рекомендуем! Рекомендовать ее — это было бы с нашей стороны грубой ошибкой, политической близорукостью!..

...По длинному и чистому, стерильно чистому коридору я попал на лестничную площадку, спустился вниз, отдал мордастому и очень вежливому охраннику свой разовый пропуск и вышел на улицу.

Дни стояли короткие — февраль, уже смеркалось, по-прежнему падал с неба мелкий снежок, проезжали машины с включенными фарами, дворники посыпали тротуары крупной серой солью.

Горе тебе, Карфаген!

...Я медленно шел по Китайскому проезду к площади Дзержинского. Я был слегка оглушен всем, что сегодня услышал, но мне почему-то не было ни обидно, ни грустно — скорее противно!

К чиновной хитрости, к ничтожному их цинизму я уже давно успел притерпеться. Я высидел сотни часов на сотнях прокуренных до сизости заседаниях, где говорились высокие слова и обдeldывались мелкие делишки.

Но такой воистину дикарской откровенности, такого самозабвенного выворачивания мелкой своей душонки, которое продемонстрировала Соколова, мне до сих пор не приходилось еще ни видеть, ни слышать.

Со мной — о моей пьесе, о проблемах типического и национального вопросе — говорила, в сущности, та самая знаменитая кухарка, которая, по идее Ленина, должна была научиться управлять государством.

...В раннем детстве, в первых классах школы, мы разучивали и пели на уроках пения песню с такими восхитительными строчками:

Чтобы каждая кухарка
Не коптелá б, как дикарка,
А училась непременно
Управлять страной отменно!..

Вот она и научилась! Вот она и управляет! Это же так просто — управлять страной: выслушивай мнение вышестоящих товарищей и пересказывай их нижестоящим товарищам. Нечто подобное происходит на всех этажах, на всех ступенях огромной пирамиды, называемой «партией и правительством»!

А я не стоял ни на одной из этих ступенек, даже на самой нижней. Я не существовал. Меня не было. Я не значился. Так чего же ей, Соколовой, которая так отменно научилась управлять государством, чего же ей было меня стесняться?!

Она и разоткровенничалась. И были в этой откровенности и простая бабья месть за брошенное мною на репетиции словцо «дура», и подлинная дурость, и злорадное торжество имущего власть над никакой власти не имущим. И все-таки, все-таки самого главного обстоятельства, по которому моя пьеса не могла быть поставлена, не должна, не имела права быть поставленной, — Соколова мне в тот день не сказала.

Допустим, что она и не думала об этом обстоятельстве, вернее, не умела еще выразить его в слове, но она уже чувствовала его — тем особым, обостренным чутьем животного, знающего только звериные правила борьбы за существование.

И тут я должен вернуться к вопросу, которого я мельком коснулся в первой главе, — к вопросу о чрезвычайно широкой и хитроумной системе создания всякого рода

неравенств, каковая система, по искреннему убеждению Соколовых обоего пола, и есть способ «отменного» управления государством.

...Вечерами по загородным шоссе с не предусмотренной автоинспекцией скоростью мчатся машины — черные «Волги», черные «Чайки», черные «ЗИЛы». С основного шоссе они лихо и круто сворачивают на неразличимые для неопытного глаза асфальтовые тропинки — и тогда, позванивая, поднимаются шлагбаумы, отворяются ворота, начинается суетиться охрана, преисполненная сознанием ответственности исполняемого ею государственного долга. Потом, через некоторое время, все затихает.

Отдыхает начальство, отдыхают «слуги народа», «народные избранники», плоть от плоти и кровь от крови, отдыхают на своих госдачах, отгородившись от народа заборами и охраной, под сенью табличек: «Посторонним вход воспрещен!»

Но как бывают разными запретительные знаки: от скромной таблички до милицейского кирпича и вооруженной охраны, так бывают разными и сами госдачи. О, тут существуют тончайшие оттенки: на одних полагаются картины, чешский хрусталь, столовое серебро, обслуживающий персонал, или, как его называют, «обслуга», — человек двадцать, не меньше, собственный кинозал; на других дачах перебыются и без картин, обойдутся простым стеклом и нержавеющей сталью, «обслуга» — человека два, и кино приходится смотреть в общем — разумеется, тоже закрытом для простых смертных — кинозале.

Хитроумнейшая система!

Даже сотрудники одного и того же учреждения получают пропуска разной формы и цвета. По одним — скажем, розовым и продолговатым — вы можете в обеденный перерыв посетить спецбуфет, где икра, и вобла, и американские сигареты, и весь обед стоит гроши, а по другим — допустим, зеленым и квадратным — извольте спуститься в обыкновенную столовую, где о вобле и слыхом не слышали, где лучший сорт сигарет — дубовые «Столичные» и

обед стоит столько же, сколько в любой другой городской столовой.

...Возможно, вы не знаете историю, давно уже ставшую анекдотом.

Знакомая одних наших знакомых совершенно случайно попала в загородную правительственную больницу «Кунцево».

И вот какой разговор она услышала за завтраком. Поедая бутерброд с лососиной, жеманная жена одного «народного избранника» жаловалась другой:

— Ну, я-то понимаю, почему я сюда попала! Я заехала к одной своей школьной подруге — не из наших... Она стала угощать чаем, неудобно было отказаться — выпила чаю, покушала городской колбасы — и, пожалуйста, вспышка гастрита!..

Вот ведь оно как — уже не принимают, не переваривают их желудки «городскую» колбасу!

Но добро бы дело сводилось только к сигаретам и колбасе.

Иметь розовый пропуск — это значит жить в особом мире, где свои деньги и порядки, свои книжки и газеты, вроде «Белого ТАССа», где смотрят особые заграничные фильмы с политической и сексуальной «малинкой», где почти бесплатно отдыхают в спецсанаториях и где, наконец, на государственный счет — то бишь на счет обладателей зеленых пропусков и прочих — ездят в заграничные командировки.

Вот и попробуйте теперь сравнить — куда там! — страстную мечту Акакия Акакиевича о новой шинели с мечтой современного Башмачкина, обладателя зеленого пропуска, о пропуске розовом!

Господи, да прикажи ему вышестоящий товарищ, от которого может что-то зависеть, спинку почесать — почешет, в дерьмо нырнуть — нырнет, прикажи дать по рылу «кому совсем невиноватому» — даст, за милую душу даст! Лишь бы держать на потной ладони этот розовый продолговатый выигрышный лотерейный билет, этот волшебный пропуск в иной, волшебный мир — и чтобы

на этом пропуске таким красивым, с завитушками, подчерком было написано твое собственное имя!..

А уж когда Акакий Акакиевич пропуск этот получит — попробуйте-ка его отнять! Тут уж он не только по рылу даст — тут он на что угодно пойдет: на любую подлость и преступление, на любой донос и предательство. И все-таки — случается — отнимают! Все на свете преходяще: и молодость, и здоровье, и розовые пропуска!

И приходится на старости лет, как пришлось это «деятелям антипартийной группы и примкнувшему к ним Шепилову», обзаводиться не государственными, а своими, купленными на обычные деньги «городскими» вилками, ложками и тарелками!

Страшно!

И ноют, мучительно ноют сердца Соколовых, тяжело ворочается вермишель чиновных мозгов — а нет ли такой системы неравенства, которая была бы не преходящей, а вечной, не зависела бы от звания и чинов, от того, кто сегодня на самом верху, от времени и обстоятельств и с лихвою искупала бы собственную дурость?!

Оказалось, что такое неравенство — есть!

Простейший канцеляризм, невинный «пятый пункт», ответ на вопрос анкеты о национальности, а вот поди ж ты, каким могучим смыслом и содержанием наполнила его чиновная догадливость!

Ведь вот же он, не дававшийся в руки средневековым алхимикам философский камень мудрости — неравенство прекрасное и вечное, неравенство неизменное навсегда.

Разумеется, известно оно было давно, и не Соколовы его придумали, но как-то так, до поры, за разговорами о нашем интернационализме как о великой силе международной братской солидарности они об этом неравенстве не то чтобы позабыли, а вроде упустили из виду, а уж когда спохватились...

А ведь я-то в своей пьесе «Матросская Тишина» пытался по наивности и глупости доказать, что в Советской России для представителей еврейской национальности

путь ассимиляции — не только разумный, но и самый естественный, нормальный, самый закономерный путь.

Я не случайно, а вполне обдуманно и намеренно выдал замуж за Давида не Хану, а Таню, а Хану отправил на Дальний Восток, где на ней женится некий капитан Ско-робогатенко — об этом в четвертом действии расскажет Старуха Гуревич.

Кстати, по настоянию Ефремова в программке, отпечатанной на пишущей машинке для зрителей генеральной репетиции, пьеса называлась не «Матросская Тишина», а «Моя большая земля» — по последним словам Давида в третьем действии, словам, которые для начальственных дамочек должны были прозвучать как прямое кощунство и оскорбление.

Его земля, изволите ли видеть!

Сам того не понимая, я посягнул на святыню, поку-сился на основу основ — вот чего не сказала мне Соко-лова.

Повторяю, в тот год она еще, возможно, и не могла бы мне этого сказать, это еще только носилось в воздухе, формулировки еще не были найдены, хотя необходи-мость их найти была очевидна.

Странно — казалось бы, уже избивались космополи-ты, уже был уничтожен Еврейский театр, расстреляны ведущие еврейские писатели и поэты, уже готовилось после завершения «дела врачей» распределение всех ев-реев Советского Союза на четыре группы: немногочис-ленные первые две — «евреи нужные» и «евреи полезные» и многочисленные — «евреи, подлежащие выселению в отдаленные районы страны» и «евреи, подлежащие аре-сту и уничтожению».

Все это уже было, но внезапная смерть Сталина, а по-том доклад Хрущева на Двенадцатом съезде КПСС снова на время спутали карты. Впрочем, кого-кого, а чиновни-ков сбить с толку не так-то просто. Скоро, очень скоро все возвратится на круги своя, а «шестидневная война» подведет окончательные итоги — фокус не удался, факир был пьян, как дрова, чиновники могут торжествовать: «пятый пункт», и никаких гвоздей!

Перефразируя известные слова Оруэлла из «Скотского хутора», можно сказать — все граждане Советского Союза неравны, а евреи неравнее других!

И не может быть естественной и нормальной ассимиляции в той среде, которая больше всего на свете, всеми своими помыслами, узаконениями и инструкциями — этой ассимиляции не хочет и не допустит.

Орден — пожалуйста, звание — милости просим, не возражаем (и орденам и званиям уже давно три копейки цена, а на худой конец, их можно и отобрать!), но восхитительного «пятого пункта», каиновой печати во веки веков, знака качества второго сорта, — этого мы вам не подарим, этого не уступим! А тот факт, что множество людей, воспитанных в двадцатые, тридцатые, сороковые годы, с малых лет, с самого рождения привыкли считать себя русскими и действительно всеми своими корнями, всеми помыслами связаны с русской культурой, — тем хуже для них!

Это как с возрастом — сам себя считаешь еще хоть куда, князь, да и только, а уже вежливый пионерчик, уступая тебе место в метро, говорит:

— Садитесь, дедушка!

Сидите, дедушки! Сидите, бабушки! Сидите и не рыпайтесь! Ассимиляции им захотелось!

Современная анкета уже интересуется, бабушки и дедушки, вашей национальностью. Ей отца и матери мало. Ей наплевать, что фамилия заполнявшего анкету Иванов.

Вот он пишет в биографии — русский,
Истый-чистый, хоть станешь напоказ.
А родился, между прочим, в Бобруйске,
И у бабушки фамилие — Кац.

Значит, должен ты учесть эту бабку
(Иванову, натурально, молчок!),
Но положи его в отдельную папку
И поставь на ней особый значок!..

...Я пишу обо всем этом без гнева и даже без горечи!
Я уже говорил и охотно повторю, что я просто пытаюсь разобраться в собственной жизни и понять — почему запрещение (*пардон, не рекомендация!*) пьесы «Мат-

росская Тишина» так много для меня значило и сыграло такую важную роль в моей судьбе.

Наверное — так я думаю теперь, — потому, что это была последняя иллюзия (*а с последними иллюзиями расставаться особенно трудно*), последняя надежда, последняя попытка поверить в то, что все еще как-то образуется.

Все наладится, образуется,
Так что незачем зря тревожиться,
Все безумные образуются.
Все итоги непременно подытожатся!..

Вот они и подытожились.

Сегодня я собираюсь в дорогу — в дальнюю дорогу, трудную, извечно и изначально горестную дорогу изгнания. Я уезжаю из Советского Союза, но не из России! Как бы напыщенно ни звучали эти слова — и даже пускай в разные годы многие повторяли их до меня, — но моя Россия остается со мной!

У моей России вывороченные негритянские губы, синие ногти и курчавые волосы — и от этой России меня отлучить нельзя, никакая сила не может заставить меня с нею расстаться, ибо родина для меня — это не географическое понятие, родина для меня — это и старая казачья колыбельная песня, которой убаюкивала меня моя еврейская мама, это прекрасные лица русских женщин — молодых и старых, это их руки, не ведающие усталости, — руки хирургов и подсобных работниц, это запахи — хвои, дыма, воды, снега, это бессмертные слова:

Редет облаков летучая гряда!
Звезда вечерняя, печальная звезда —
Твой луч осеребрил уснувшие долины,
И дремлющий залив,
И спящих гор вершины...

И нельзя отлучить меня от России, у которой угрюмое мальчишеское лицо и прекрасные — печальные и нежные — глаза говорят, что предки этого мальчика были выходцами из Шотландии, а сейчас он лежит — убитый и накрытый шинелькой — у подножия горы Машук, и неистовая гроза раскатывается над ним, и до самых сво-

их последних дней я буду слышать его внезапный, уже смертельный — уже отсюда — вздох.

Кто, где, когда может лишить меня этой России?!

В ней, в моей России, намешаны тысячи кровей, тысячи страстей веками терзали ее душу, она била в набаты, грешила и каялась, пускала «красного петуха» и покорно молчала — но всегда в минуты крайней крайности, когда казалось, что все уже кончено, все погибло, все катится в тартарары, спасения нет и быть не может, искала — и находила — спасение в Вере!

Меня — русского поэта — «пятым пунктом» отлучить от этой России нельзя!

Генрих Белль недавно заметил, что в наши дни наблюдается странное явление: писатели в странах с тоталитарными режимами обращаются к Вере, писатели в демократических странах — к безбожию.

Если наблюдение это верно, то надо с грустью признать, что человечество, как и прежде, упорно не желает извлекать уроков из чужого опыта.

Повторяется шепот,
Повторяем следы.
Никого еще опыт —
Не спасал от беды!

Что ж, дамы и господа, если вам так непременно хочется испытать на собственной шкуре — давайте, спешите! Восхищайтесь председателем Мао, вешайте на стенки портреты Троцкого и Гевары, подписывайте воззвания в защиту Анджелы Дэвис и всевозможных «идейных» террористов.

Слышите, дамы и господа, как звонко и весело постукивают плотничьи топорики, как деловито щелкают пули, вгоняемые в обойму, — это для вас, уважаемые, сколачиваются плахи, это вам, почтеннейшие, предназначена первая пуля! Охота испытать? Поторапливайтесь — цель близка!

Волчица-мать может торжествовать: современные Маугли научились бойко вопить — мы одной крови, ты и я!

Только, дамы и господа, это ведь закон джунглей, это звериный закон. Людям лучше бы говорить — мы одной Веры, ты и я!

...Но пришла пора вернуться в зрительный зал. Пьеса еще не кончена, еще предстоит четвертое действие.

Ох уж это четвертое действие!

Сколько я с ним бился, сколько раз правил и переписывал, но так и не сумел до конца высказать в нем все то, что я хотел в ту пору сказать...

Если бы я писал это действие сегодня, я бы уж знал — как нужно его написать. Как и о чем.

Но я умышленно (в противном случае весь этот рассказ потерял бы смысл) не переставил в нем ни одной запятой.

Вот — последняя надежда, последняя иллюзия, последняя попытка поверить и оправдать то, чему оправдания нет, — четвертое действие.

И снова погас свет, снова появился в луче прожектора Олег Николаевич Ефремов — на сей раз уже не в военном, а в парадном черном костюме, — проговорил вступительные слова:

— Середина века. Москва. Май месяц.

Точнее — девятое мая 1955 года. Вот уже в десятый раз встречаем мы День Победы — день славы и поминовения мертвых, день, когда вместе с гордостью за все то, что было сделано нами в годы Великой войны, возвращаются в наши дома старое горе и старая боль.

А май в тот год был теплым и солнечным. Толпы москвичей и приезжих бродили по дорожкам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, вновь открытой в Москве после многолетнего перерыва; уходили на целину комсомольские эшелоны, гремели оркестры на привокзальных площадях.

И все чаще и чаще в эту весну бывало так — люди встречались на улице, или в театре, или в метро и сначала, не обратив друг на друга внимания, равнодушно проходили мимо, а потом вдруг оборачивались, растерянно улыбались, и один, побледнев, но все еще не решаясь протянуть руку, бросался к другому и спрашивал, задыхнувшись:

— Это ты?! Ты вернулся?!

Москва живет вокзалами. И проводы в тот год были легкими и недолгими, а встречи начинались слезами...

Пошел занавес. Ефремов продолжал:

— Вечер. Над стадионом «Динамо» в светлом еще небе мирно гудит самолет.

Окна в комнате открыты настежь, и отчетливо слышно, как внизу, во дворе, галдят ребятишки, воинственно вопят коты и раздается веселое, нахальное треньканье велосипедных звоночков.

Между двумя книжными полками, на одной из которых в черном футляре лежит скрипка, висит портрет Давида. На портрете ему лет двадцать — хмурое лицо с напряженно сжатыми губами склонилось к скрипке, тонкие пальцы уверенно держат смычок.

В уголке дивана, скинув туфли и поджав под себя ноги, сидит Таня.

На низком круглом столике — какая-то нехитрая снедь, бутылка коньяку и две рюмки...

Ефремов — Чернышев вдруг резко повернулся спиной к зрительному залу и шагнул прямо на сцену.

Он сел на стул рядом с Таней, налил себе рюмку, выпил.

НАЧАЛОСЬ ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

Чернышев (*покачивается на стуле, поет*).

Гаснет в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза...

Таня. Не «гаснет», а «бьется».

Чернышев. Что?

Таня. Не «Гаснет в тесной печурке огонь», а «Бьется в тесной печурке огонь».

Чернышев. Художественного значения не имеет! (*Потянулся к бутылке.*) Давай еще?

Таня. С ума сошел? Я уже и так совсем пьяная.

Чернышев. Праздник же.

Таня. Хватит! (*Вскочила, убрала бутылку и рюмки.*) Людмила приедет, увидит — убьет меня.

Чернышев. А если не приедет?

Таня. Ну, не знаю. Она была на вызове, но я просила передать, что звонили из дома... В котором часу салют?

Чернышев. В десять... Татьяна, ну давай еще по маленькой.

Таня. Нет. Ты, милый мой, становишься к старости пьяницей!

Чернышев. Так ведь праздник... День Победы!

Таня (*нараспев*). Праздник, праздник, праздник! Из-за этого праздника я сегодня с утра реву... Чай будешь пить?

Чернышев. Не хочется! (*Презрительно сморщился.*) Чай!

Таня подходит к двери в соседнюю комнату, чуть приоткрывает ее.

Таня. Давид, хочешь чаю? (*После паузы, не расслышав ответа.*) Я спрашиваю — ты хочешь чаю?

Из соседней комнаты слышен голос: «Нет».

Таня (*закрывает дверь*). Как угодно!

Чернышев. Очередной разрыв дипломатических отношений?

Таня. Холодная война.

Чернышев (*понижив голос*). Слушай-ка, у него все еще продолжается эта переписка?

Таня. Кажется! (*Прошла по комнате, остановилась у открытого окна, вздохнула.*) Ох, Ваня, если бы ты только знал, до чего мне все это надоело! День за днем — консультация, суд, арбитраж. И все дела какие-то унылые, кляузные... А тут еще теперь выяснения отношений!

Чернышев. Он тебя просто ревнует.

Таня (*хмыкнула*). Было бы к кому! Ну, ничего! Скоро я, слава богу, уеду. Мне с конца месяца дают отпуск.

Чернышев. Куда поедешь?

Таня. Куда-нибудь к морю. Буду весь день ходить — до изнеможения, чтобы ничего не снилось, чтобы ни о

чем не вспоминать и не думать... Скажи, Ваня, у тебя бывает так — привяжется один какой-нибудь сон и снится чуть не каждую ночь?

Чернышев. Я вообще сны вижу редко.

Таня. А мне вот уже который раз снится все одно и то же... Как будто мы с Давидом едем куда-то в поезде... И так все, знаешь, ясно — мы в купе вдвоем, большой чемодан брошен с вещами наверх, в багажник, маленький чемодан и сумка с продуктами — в сетке... Гудит поезд, стучат колеса, звенят и подрагивают ложечки в стаканах... А потом — и все это как-то сразу, вдруг — уже не поезд, а Большой зал консерватории... И не Давид, а я почему-то стою на эстраде и рассказываю про то, как все было...

Чернышев (*хмуро*). Что — было?

Таня (*грустно улыбнулась*). Ну, про то, как у нас, на Рыбаковой балке, во дворе росла старая акация... И под этой акацией по вечерам сидели две девчонки — беленькая и черненькая — и слушали, как сердитый мальчик с вечно расцарапанными коленками играл мазурку Венявского...

Чернышев (*внимательно поглядел на Таню*). Почему ты нервничаешь?

Таня. Не знаю. Ты нервничаешь, и я стала нервничать... Ты только, пожалуйста, не делай такого невинного лица! Ты же не стал бы меня просто так, за здорово живешь, просить, чтобы я звонила Людмиле, у которой дежурство... Что-то случилось?

Чернышев (*пожал плечами*). Праздник!

Таня. Тьфу, заладил!

В коридоре раздаются быстрые шаги. Стремительно, без стука распахивается дверь, и в комнату почти вбегает Людмила — в белом халате, с докторским чемоданчиком в руке.

Людмила (*еще с порога*). В чем дело? (*Взглянула на Таню и Чернышеву, задохнулась*.) Ну неужели вы не понимаете... Неужели вы не понимаете, что мне нельзя так звонить?! Что всякий раз, когда мне говорят — звонили из дома, у меня останавливается сердце?

Т а н я. Но я же просила передать, что все в порядке, что он жив-здоров, сидит у нас...

Л ю д м и л а. Мало ли что ты просила передать! (*Плюхнулась на диван, с трудом перевела дыхание.*) А я, пока ехала, представила себе, что он опять, как тогда... шел по улице и упал... И опять — уколы, кислород, бессонные ночи, страх... (*Помолчала, потрянула головой.*) У меня дежурство, мне надо ехать, — в чем дело?

Ч е р н ы ш е в (*медленно*). Дело, дорогие мои, в том, что...

Не договорив, Чернышев вытаскивает из бокового кармана партийный билет и, отряхнув предварительно крошки со скатерти, бережно кладет его перед собою на стол.

Л ю д м и л а (*тихо*). Ваня!

Ч е р н ы ш е в. Вот, как говорится, таким путем.

Молчание.

Т а н я. Когда?

Ч е р н ы ш е в. Вчера. А вас обеих, как на грех, целые сутки не было.

Т а н я. И молчал! Слушай, но ведь не один же день...

Ч е р н ы ш е в (*вдруг почти весело засмеялся*). Нет, не один день. Совсем не один день. Исключили меня двадцатого декабря пятьдесят второго... Больше двух лет! Вот и посчитай — сколько это получается дней? И сколько дней я еще при этом думал — надо ли мне подавать на пересмотр или не надо!¹ (*Людмила всхлинула.*) Ну, Люда, Люда, Люда... Ну что вы, в самом деле, — такой сегодня день, а вы обе ревете!

¹ ... Не надо было подавать на пересмотр, Иван Кузьмич, теперь-то я могу вам сказать со всею определенностью — не надо было подавать! Если вы честный человек — а мне, автору, хочется думать, что вы, хоть и наивны и даже, может быть, глуповаты, но честны, — так вот, если вы честный человек, то уже через несколько лет вам снова придется расстаться с вашим партийным билетом, вас заставят умереть, как заставили умереть старого большевика, писателя Ивана Костерина, вас загонят в «психушку», как генерала Петра Григоренко... Впрочем, и об этом в ту пору мы еще не знали, а догадываться и думать — боялись...

Л ю д м и л а (*вытерла кулаком глаза, протянула партийный билет Чернышеву*). Спрячь! И учти — я еще ничего не знаю. Ты ничего не говорил... Кончу дежурство, приеду — и тогда ты нам все расскажешь, со всеми подробностями! (*Взглянула на часы.*) О боги! (*Подошла к телефону, сняла трубку, набрала номер.*) Это Чернышева. Ай, беда, а я-то надеялась! Ну, говорите... Так... фамилия?... А-а, я ее знаю... Что с ней?.. У нее всегда болит! Ладно! (*Повесила трубку.*) Надо ехать!

Т а н я. Подбросишь меня до Белорусского? Я к машинистке — забрать работу. Забегу заодно в гастроном — куплю чего-нибудь к вечеру.

Л ю д м и л а. Давай, только быстро.

Таня, кивнув, начинает собираться. Людмила подсаживается к Чернышеву, обнимает его за плечи.

Ч е р н ы ш е в (*тихо и ласково*). Что?

Л ю д м и л а. Знаешь, Ваня, у меня еще нет слов... Ничего нет — ни слов, ни радости... Это все, наверное, придет потом! А ты? Как ты себя чувствуешь?

Ч е р н ы ш е в. Нормально.

Л ю д м и л а. Ты оставайся здесь. Татьяна скоро вернется. Ты ведь скоро вернешься, Татьяна?

Т а н я. Скоро.

Л ю д м и л а. Ну вот... Нитроглицерин у тебя при себе?

Ч е р н ы ш е в. При себе, при себе.

Людмила и Чернышев, обнявшись, смотрят, как Таня собирается, надевает туфли, прихорашивается перед зеркалом.

Л ю д м и л а (*вздыхнула*). До чего же ты все-таки красивая, Танька!

Т а н я (*не оборачиваясь*). Была.

Л ю д м и л а. Нет, ты и сейчас красивая. Иногда ты бываешь такая красивая, что просто сердце заходится!

Т а н я (*резко обернулась*). Откуда... Это ты не сама придумала!.. Кто тебе это сказал?

Л ю д м и л а. Один человек, ты не знаешь! (*С беспокойным смехом.*) Ох, как я когда-то завидовала и восхи-

щалась тобой. Я запомнила один вечер — в студгородке на Трифоновке... Меня кто-то обидел, я сидела на подоконнике и хныкала, а ты шла по двору — красивая, нарядная, легкая, как будто с другой планеты. (*Снова засмеялась, но теперь уже легко.*) Я и представить себе не могла в тот вечер, что когда-нибудь выйду вот за него замуж, буду жить с тобой в одном доме, брошу стихи, стану врачом...

Т а н я. А я, между прочим, до сих пор помню твои стихи.

Л ю д м и л а. Какие?

Т а н я (*медленно*).

Мы пьем молоко и пьем вино,
И мы с тобою не ждем беды,
И мы не знаем, что нам суждено
Просить, как счастья, глоток воды!

Л ю д м и л а (*странно дрогнувшим голосом*). Почему именно эти?

Т а н я. Потому что я не знала других! (*Вытащила из шкафа, из-под белья, деньги, отсчитала, сунула в сумочку.*) Ну, я готова!

Л ю д м и л а (*встала*). Ваня, мы поехали! Дежурство у меня, будь оно неладно, до двенадцати, но, может, я отпущусь!

Т а н я (*поглядела на дверь в соседнюю комнату, негромко*). Вот что... Если у тебя с ним тут без меня возникнет какой-нибудь разговор... Ну, в общем, ты сам понимаешь!

Ч е р н ы ш е в. Соображу.

Т а н я. Едем! (*Бросила на себя взгляд в зеркало, поправила волосы.*) И никакая я не красивая, все сказки!

Т а н я и Л ю д м и л а уходят. Чернышев один. Во дворе отчаянно кричит девчонка: «Раз, два, три, четыре, пять — я иду искать!..» Далекий гудок паровоза. Чернышев включает висящий на стене радиорепродуктор. Марш. Это тот самый марш, который гремел в санитарном поезде, в кригеровском вагоне для тяжелораненых, на рассвете, когда диктор сообщил, что наши войска перешли границу Германии. В дверь стучат.

Ч е р н ы ш е в. Кто там?

Входит высокий широкоплечий человек с очень обветренным загорелым лицом и крупной седой головой. Если бы не резкие морщины, не хромота и не стальные зубы, он был бы даже красив — внушительной и спокойной стариковской красотой. Это Мейер Вольф. Остановившись в дверях, он с интересом и волнением оглядывает комнату.

Вольф. Здравствуйте, я звонил, но...

Чернышев. Звонок не работает.

Вольф. Возможно. Мне нужен Давид Шварц... Он дома?

Чернышев (*помедлив, громко зовет*). Давид!

Отворяется дверь, ведущая в соседнюю комнату, и на пороге появляется Давид. Ему четырнадцать лет, у него светлые рыжеватые вихры, вздернутый нос и слегка оттопыренные уши.

Давид (*хмуро*). Ну что?

Чернышев. Во-первых, здравствуй.

Давид. А мы днем виделись.

Чернышев. А во-вторых... (*Вольфу*). Вот пожалуйста — Давид Шварц!

Вольф. Так! (*Вгляделся, улыбнулся, кивнул головой*). Да, это Давид Шварц! Ошибиться трудно! Глупые люди сказали бы, что все повторяется — род уходит и род приходит... Но мы теперь знаем, что все имеет свое начало и свой конец!

Давид (*с внезапно просветленным лицом*). Мейер Миронович?!

Вольф. Догадался!

Давид. Здравствуйте, Мейер Миронович! Когда вы приехали?

Вольф. Вчера. Собственно говоря, сегодня я уже должен был ехать дальше — но очень уж мне хотелось посмотреть на тебя! (*Огляделся, придвинул кресло, сел*). Если не возражаешь, я немножко присяду.

Давид (*смутился*). Извините, конечно! (*После паузы*). Мейер Миронович, а вы мое последнее письмо получили?

Вольф. Получил. Но ответить не успел, я уже собирался в дорогу... Впрочем... (*Из кожаной папки, которая у него в руках, достал какой-то конверт, из конверта старую фотографию, протянул фотографию Давиду*). Смеш-

но, что из всех моих старых вещей у меня уцелела именно эта фотография... Вот, взгляни! Это некоторым образом ответ на твое последнее письмо! Ты просил, чтобы я рассказал тебе про твоего дедушку Абрама, — вот мы с ним вдвоем.

Д а в и д (*сдвинув брови*). Он — слева?

В о л ь ф. Да! (*Обернулся к Чернышеву.*) Извините, но я как-то сразу не сообразил... Вы, наверное, товарищ Чернышев?

Ч е р н ы ш е в (*протянул руку*). Иван Кузьмич! Про вас, Мейер Миронович, я тоже слышал. С приездом.

В о л ь ф. Спасибо. Большое спасибо.

Д а в и д (*в недоумении разглядывая фотографию*). Странно!

В о л ь ф. Что тебе странно, милый?

Д а в и д. Ну, вы не знаете... Я вам писал... Дедушку Абрама расстреляли фашисты. Он набил морду одному гестаповцу, и они его расстреляли!

В о л ь ф. Ну и что же?

Д а в и д. А здесь, на фотографии, он какой-то маленький и...

В о л ь ф (*слегка насмешливо*). А ты думал, что он был похож на Спартака или на Чапаева? Нет, нет, милый, — он был маленького роста, и, когда работал, надевал очки, и очень боялся темноты... И вообще всю свою жизнь — чего-нибудь боялся!

Д а в и д (*возмущенно*). Но он набил морду гестаповцу!

В о л ь ф (*с той же интонацией*). Ну и что же? Не повторяй ошибки глупцов — не ищи всегда прямых связей! У портных есть поговорка — если клиент заказывает к костюму две пары брюк, это еще не значит, что у него четыре ноги! (*Помедлив.*) Маленький трусоватый человек бросается с кулаками на гестаповца... Он выходит один против целой армии. Впрочем, нет, — это тоже ошибка! Он был не один! Родина его, сыновья и внуки стояли за ним! Вот в чем секрет! И этот секрет, наверное, в самую последнюю минуту свой жизни понял твой дедушка Абрам... Понял и перестал наконец бояться!

Д а в и д (*растерянно*). А я не думал... Я ведь совсем...

Ну, просто совсем про него ничего не знал! С папой — другое дело, у меня и фотографии его есть, и письма с фронта, и пластинки, на которых записано, как он играл...

В о л ь ф. Где он погиб?

Д а в и д. Он умер в госпитале, в Челябинске. Он был контужен и ранен, и все надеялись, что он останется жив, но он умер. На руках у тети Люды и дяди Вани! (*С сердитым смешком.*) Мама почему-то считает, что я не могу его помнить! А я его прекрасно помню, прекрасно!

Ч е р н ы ш е в (*покачал головой*). Ну что ты, братец, сочиняешь?

Д а в и д (*неожиданно и мгновенно взрываясь*). Я сочиняю, да?! Это мама всех вас уговорила, что я сочиняю, что я маленький, что я ничего не знаю, не помню, не понимаю! А я, между прочим, если хотите знать, все помню, все! Вы думаете, я не помню, как мама с вами советовалась... Не изменить ли мне... Ну, одним словом, не взять ли мне ее фамилию! Вы думаете, я не помню, как тетя Люда прибежала к нам сюда ночью и плакала — когда вас исключили из партии?!

В о л ь ф (*взглянув на Чернышева*). Ах, вот как! Было и это?

Ч е р н ы ш е в. Все было.

В о л ь ф. Когда?

Ч е р н ы ш е в. В пятьдесят втором. «За потерю бдительности и политическую близорукость» — так записано было в решении.

В о л ь ф (*задумчиво усмехнулся*). Близорукость?! Один профессор-глазник... Мы с ним вместе работали в шахте... Так вот, он рассказывал мне, что бывают случаи, когда ранняя близорукость переходит в позднюю дальнорукость!..

Снизу, со двора, раздается чей-то истошный крик: «Дави-и-ид!» Давид подбегает к окну, перевешивается через подоконник:

«Чего-о-о?»

Несколько секунд продолжается таинственный, главным образом при помощи жестов, разговор между Давидом и невидимым собеседником во дворе. Наконец Давид слезает с подоконника.

Д а в и д. Дядя Мейер, вы извините — вы не очень то-ропитесь?

В о л ь ф. Не очень... А тебе нужно куда-то идти?

Д а в и д. Да нет... Там Вовка Седельников... И он просит... Ну, я только сбегая вниз и тут же вернусь... Хорошо?

В о л ь ф. Хорошо, конечно.

Д а в и д. Я мигом!

Д а в и д убегает. Молчание. Снова загремел по радио торжественный марш.

В о л ь ф. День Победы сегодня.

Ч е р н ы ш е в. Да. День Победы.

В о л ь ф. Большой праздник!

Чернышев достает спрятанную Таней бутылку коньяку, две чистые рюмки.

Ч е р н ы ш е в. Хотите?

В о л ь ф (*помолчав*). А вы знаете — с удовольствием.

Ч е р н ы ш е в (*наливает коньяк в рюмки*). Ну, ладно. Выпьем. Помянем. Помолчим.

Вольф и Чернышев, не чокаясь, пьют. Молчание.

В о л ь ф (*внезапно*). Хороший мальчик.

Ч е р н ы ш е в. Трудный.

В о л ь ф. А разве бывают легкие? Главное, чтоб и ему не свела скулы оскомина!

Ч е р н ы ш е в. В каком смысле?

В о л ь ф. В Священном Писании сказано: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина...» Закон возмездия! (*Снова помолчал, размял в пальцах папиросу, зажег спичку, закурил.*) Под старость мне все чаще и чаще вспоминается детство, местечко, где я родился, и лохматые местечковые мудрецы — те самые, что с утра и до ночи вбивали этот закон в наши ребячьи головы! (*Грозным движением поднял тяжелую руку.*) «Помните всегда, ты, чернявенький, и ты, рыжий, ты, конопатый, и ты, быстроглазый, помните и не забывайте, что на вас лежат грехи отцов ваших, дедов ваших и прадедов... И сколько

бы ни молились вы и ни каялись, все равно будут дни ваши безрадостными и долгими, а ночи душными и короткими и все потому, что отцы ели кислый виноград, а у вас, детей, на зубах оскомина...» Знаете, Иван Кузьмич, я пролетел сейчас через всю страну — из Магадана в Москву... Может быть, некоторым я казался немножко сумасшедшим — но и в пути, и здесь я хожу и заглядываю в лица молодым... Мне, понимаете, хочется убедиться, что они уже есть, что они существуют — эти молодые, с добрыми глазами и добрым сердцем, которые только добрые дела, только подвиги их отцов и старших братьев принимают в наследство!

Чернышев. Видите ли, Мейер Миронович... Кстати, я ведь не очень-то в курсе — как это у вас получилось с Давидом? Как у вас началась переписка?

Вольф. Сначала — когда мне уже было можно — я написал в Тульчин, Абраму Ильичу. Но открытка вернулась обратно с пометкой «За ненахождением адреса»... Тогда я запросил через московский адресный стол — так мне посоветовали умные люди — адрес Давида Шварца. *(Улыбается.)* Конечно, я имел в виду другого Давида — но ответил мне этот...

Чернышев *(встал, прошелся по комнате, остановился)*. Вы сказали — добрые дела! *(В упор взглянул на Вольфа.)* А заблуждения? Преступления? Ошибки?! Нет, нет, погодите, дайте мне договорить! Вчера мне вернули партийный билет! И вот я шел из райкома и так же, как и вы, заглядывал в лица встречным... Когда-то я воевал на гражданской, потом учился, был секретарем партийного бюро консерватории, начальником санитарного поезда, комиссаром в госпитале... Работал в Минздраве... После пятьдесят второго мне пришлось, как говорится, переквалифицироваться в управдомы... И вот я шел из райкома и думал... *(Снова зашагал по комнате.)* Нет, Мейер Миронович, не так-то все просто!.. И они, эти молодые, они обязаны знать не только о наших подвигах... Мы сейчас много говорим о нравственности. Нравственность начинается с правды! *(Посмотрел на портрет старшего Давида.)* Вот ему когда-то на один его вопрос я ответил

трусливо и подло — разберутся! Понимаете? Не я разберусь, не мы разберемся, а они там разберутся! И я знаю — Тане нелегко с этим мальчишкой, но мне нравится... Мне, черт побери, нравится, что он хочет и пытается до всего дойти сам... Пришло, видно, такое время — время задавать вопросы и время отвечать на них!..

Возвращается Д а в и д. Он прижимает к груди проекционный фонарь и круглую жестяную коробку с диапозитивами.

Д а в и д (*отдуваясь*). Извините!..

В о л ь ф. Что это у тебя?

Д а в и д. Это?.. Вы понимаете, у нас есть кружок, астрономический... Он объединяет сразу несколько школ... Там даже из десятого класса ребята... И вот моему другу, Вовке Седельникову, и мне — нам поручили доклад: «Есть ли жизнь на Марсе?» И вот — Вовка достал проекционный фонарь и диапозитивы к нашему докладу...

В о л ь ф. Очень интересно, очень!

Д а в и д (*с надеждой*). Может, хотите поглядеть?

В о л ь ф (*помолчав, с грустной улыбкой*). А почтовые открытки ты, случайно, не собираешь?

Д а в и д (*удивленно*). Нет. А что?

В о л ь ф. Ничего, ничего... Просто ты так спросил — таким голосом и с такой интонацией, что я невольно вспомнил... Ну, не важно! (*Оглянулся на Чернышева.*) Думаю, мы с Иваном Кузьмичом с удовольствием послушаем твой доклад! Правда, Иван Кузьмич?

Ч е р н ы ш е в. Разумеется.

Д а в и д (*засуетился*). Тогда так... Тогда вы, Мейер Миронович, садитесь к дяде Ване на диван, а я... Минутку!

Вольф пересаживается к Чернышеву на диван. Давид ставит фонарь на круглый столик, принимается ввинчивать лампочку.

Ч е р н ы ш е в (*подождав*). Ну как? Будет кино или не будет кина?

Д а в и д. Сейчас, сейчас! (*Ввернув лампочку, щелкнул крышкой фонаря.*) Так! Ну, я могу начинать!

Ч е р н ы ш е в. Внимание! Внимание!

Давид включает проекционный фонарь. На противоположной дивану стене, возле двери в соседнюю комнату, появился желтый прямоугольник света, и в нем надпись: «ЗЕМЛЯ — КОЛЫБЕЛЬ РАЗУМА, НО НЕЛЬЗЯ ВЕЧНО ЖИТЬ В КОЛЫБЕЛИ».

В о л ь ф (*одобрительно*). Совсем, между прочим, неглупо сказано.

Д а в и д (*тоном лектора*). Эти слова принадлежат великому русскому ученому, отцу звездоплавания Константину Эдуардовичу Циолковскому.

Ч е р н ы ш е в. Я был в Калуге.

Надпись на стене исчезает, и вместо нее появляется изображение планеты Марс.

Д а в и д. Перед вами — планета Марс. Эти длинные тонкие полосы, которые вы видите на рисунке, итальянский астроном Скиапарелли условно назвал каналами... Уже много лет ученые всего мира спорят по поводу того, являются ли эти «каналы» естественными или это искусственные сооружения. Мы с товарищем Седельниковым предполагаем собственную гипотезу... Гипотезу «Седельникова — Шварца»... По-нашему...

Ч е р н ы ш е в. Не знаю, как по-вашему, а по-моему, они нахалы!

Д а в и д. Кто?

Ч е р н ы ш е в. Авторы новой теории, товарищи Седельников и Шварц!

Д а в и д. Ну, дядя Ваня!..

Ч е р н ы ш е в (*засмеялся*). Молчу, молчу.

Снова меняется изображение на стене. Теперь это чертеж. За спиной Давида неслышно отворяется дверь, ведущая в прихожую. На пороге — Таня с пакетами в руках, Старуха Гуревич и какой-то худенький мальчик лет десяти, с тоненькой девичьей шейкой и большими бархатными глазами. Чернышев и Вольф делают движение встать, но Таня предостерегающе прикладывает палец к губам.

Д а в и д (*увлеченно*). Сейчас вы видите чертеж-схему распределения теплового баланса. Это очень важный для нашей гипотезы вопрос... В Северном полушарии, например, весна и лето длинные, но холодные...

Старуха Гуревич. Боже мой, это где же такое? В Москве? Или на Дальнем Востоке?

Таня. На Марсе.

Старуха Гуревич. Ах, на Марсе?! (*Со смешком.*) Ну, на Марсе пожалуйста! На Марсе у меня пока еще нет родственников!

Давид (*упавшим голосом*). Ну — все! (*Выключает проекционный аппарат, обернулся к Тане.*) Мама, познакомься, пожалуйста, это товарищ Вольф Мейер Миронович...

Старуха Гуревич (*шагнула вперед*). Мейер Вольф?! (*Всплеснула руками.*) Я это предчувствовала!

Вольф (*тихо*). Здравствуйте, Роза! (*Поклонился Тане.*) Здравствуйте... Извините... Я, как говорится, без приглашения...

Таня. Я очень рада, Мейер Миронович...

Старуха Гуревич. Подождите радоваться. И подождите здороваться. Слушайте сначала, что скажу я! (*Вышла вперед, на середину комнаты, уничтожающе посмотрела на Вольфа.*) Когда вы прилетели в Москву, Мейер Вольф?

Вольф. Вчера.

Старуха Гуревич. Во Внуково?

Вольф. Во Внуково.

Старуха Гуревич. Вы меня видели?

Вольф (*засмеялся*). Ну... видел...

Старуха Гуревич. Вы мне не «нукайте»! Почему вы ко мне не подошли?

Вольф. Мне показалось...

Старуха Гуревич (*перебила*). Ему показалось! (*Вздыхнула.*) Да-а, вы умный человек, Мейер Вольф, но вы очень большой дурак!

Вольф (*с непонятной радостью*). Ну что вы, Роза?

Старуха Гуревич. Можете мне поверить. В чем, в чем, а в дураках я разбираюсь неплохо! (*Обращаясь ко всем.*) Понимаете, дети мои, вчера я ездила на аэродром во Внуково встречать одного гражданинчика из Владивостока... Я стою, мой самолет опаздывает, я волнуюсь — все хорошо! В это время прилетает другой самолет, не из

Владивостока... Я стою, мимо проходят люди, проходит вот он и смотрит на меня так, как будто очень хочет со мной познакомиться! (*Усмехнулась.*) А как-то так случилось, надо вам сказать, что с прошлой недели я перестала интересоваться мужчинами... Он на меня смотрит, а я отворачиваюсь — он мне не нужен, ко мне летит совсем другой кавалер... Так как поступает умный человек? Умный человек подходит и говорит: «Здравствуйте, Роза, я ваш старый друг Мейер Вольф, можно, я вас поцелую?»

Вольф (*улыбаясь*). Можно, я вас поцелую, Роза?

Старуха Гуревич. Нет, теперь вы меня еще об этом хорошенько попросите! (*Неожиданно всхлинула, сама обняла Вольфа, расцеловала.*) Как же вам не совестно, Мейер?! (*Снова ко всем.*) Он, видите ли, прошел мимо. Он гордый. Он граф Люксембургский... Ему показалось, что я не хочу его узнавать из-за того, что... Ну, всем понятно. (*Перевела дыхание.*) А я действительно не узнала вас, Мейер! Просто не узнала. И потом, я волновалась — я встречала внучка, который — один — летел из Владивостока! Где ты там, Мишенька? Иди сюда! Смотрите, Мейер, это мой внучек, сын Ханы... Поздоровайся, золотко, с дядей Мейером!

Мальчик. Здравствуйте!

Старуха Гуревич (*Чернышеву*). Ванечка, я, во-первых, поздравляю вас с праздником, а во-вторых, смотрите — это сын Ханы! (*Давиду.*) Познакомься, Додик... Это твой дружок. Будешь с ним дружиться... Ну!

Давид (*не показывая особенной радости*). Привет. Меня зовут Давид.

Мальчик (*робко*). Миша.

Старуха Гуревич. Внучек, а? Мишенька! К бабушке прилетел! Михаил Константинович Скоробогатенко! Как вам нравится? Я даже не знала, что есть такие фамилии!

Таня. Он очень похож на Хану, очень.

Старуха Гуревич. Глаза мамины, фамилия папина, а жить будет у бабушки с дедушкой... Будет учиться на скрипке. Или на рояле. Чтобы весь день играл, а бабушка с дедушкой слушали и радовались! (*Махнула ру-*

кой.) Ладно! Расскажите-ка нам, Мейер... Или нет! Лучше сделаем так — взрослые пойдут в соседнюю комнату, а мальчики полчаса поиграются здесь... И если они будут умными мальчиками, так через полчаса их позовут пить чай и дадут им по хорошему куску мороженого торта! (*Наклонилась, о чем-то тихо спросила у мальчика.*) Не надо?

Мальчик (*энергично замотал головой*). Нет, нет, нет!

Старуха Гуревич. Ну, гляди! Бабушку не конфуз!..

Смеркается. В доме напротив зажгли свет. Крикнула женщина весело и протяжно: «Катюша-а-а!..»

Вольф (*негромко*). И это не наваждение, вздор! Дворы есть дворы, дети есть дети! Все продолжается — и это прекрасно! (*Притянул к себе Давида за плечи.*) Мне очень понравился твой доклад... Мне очень понравилось, что у тебя такой большой мир, маленький Давид!

Старуха Гуревич. Пошли, пошли! Танечка, детка, ты не беспокойся, я помогу тебе по хозяйству... Давид... не обижай тут Мишеньку! Пошли!

Старуха Гуревич, Таня, Мейер Вольф и Чернышев уходят в соседнюю комнату. Мальчики остаются одни. Давид принимается укладывать диапозитивы в жестяную коробку, громко и фальшиво поет:

По разным странам я бродил,
И мой сурок со мною,
И весел я, и счастлив был,
И мой сурок со мною...

Таня (*из соседней комнаты*). Врешь, врешь! Немыслимо врешь, перестань!

Давид (*обиженно*). А я развиваю слух. Это что — тоже нельзя?

Таня. Можно. Развивай. Но только в те часы, когда никого нет дома!..

Молчание.

Давид. Слушай-ка... Скоробогатенко твоя фамилия?

Мальчик. Скоробогатенко.

Д а в и д. Это верно, что ты вчера прилетел из Владивостока?

М а л ь ч и к. Верно.

Д а в и д. Один?

М а л ь ч и к. Один.

Д а в и д (*со смешком*). Представляю! Всю дорогу небось дрожал!..

М а л ь ч и к (*спокойно*). Нет, я не очень боялся. Я уже летал с мамой. Но одному, конечно, страшнее.

Д а в и д. Еще бы!! А здесь ты у бабушки с дедушкой будешь жить?

М а л ь ч и к. Да. На улице Матросская Тишина! (*Неожиданно оживился.*) Ты знаешь, мы с папой никак не могли понять, что это такое — Матросская Тишина! А мама смеялась над нами и говорила, что это такая гавань, кладбище кораблей...

Д а в и д. Ну, правильно!

М а л ь ч и к. Как же правильно, когда Матросская Тишина — улица! Самая обыкновенная улица. Бабушка говорит, что ее так назвали потому, что в старые времена там была больница для моряков...

Д а в и д (*презрительно*). Бабушка говорит, дедушка говорит... Много они понимают! Есть Матросская Тишина — улица. А есть другая — гавань, где стоят каравеллы, шхуны и парусники, а в маленьких домиках на берегу живут старые моряки со всего света...

М а л ь ч и к. Где она?

Д а в и д. Так тебе и скажи! Сам поищи!

М а л ь ч и к. А ты нашел?

Д а в и д (*явно уклоняясь от ответа*). Слушай-ка, Скоробогатенко, а чего ты вообще приехал сюда? Чего ты во Владивостоке не остался?

М а л ь ч и к. Мне нельзя.

Д а в и д. Почему?

М а л ь ч и к (*гордо*). Из-за климата. У меня слабые легкие. Меня из-за них папа в этом году даже в кругосветку не взял. Обещал и не взял. Врачи не разрешили.

Д а в и д. В какую кругосветку?

М а л ь ч и к. В кругосветное плаванье. Через Индий-

ский океан, через Суэцкий канал... В общем, вокруг всего шарика!

Д а в и д (*сурово*). Знаешь, Скоробогатенко, легкие у тебя, может, и слабые, но уж зато врать — ты здоров! (*После паузы.*) У тебя кто отец?

М а л ь ч и к. Капитан дальнего плавания. Он на лайнере ходит. Он уже четыре раза в кругосветку ходил!..

Давид молчит. Отворяется дверь, ведущая в прихожую, и быстро входит Людмила.

Л ю д м и л а. Привет, лопушок. Вы чего тут без света? А где все? Там?

Давид молча кивает. Людмила проходит в соседнюю комнату, где ее появление встречается громкими возгласами и смехом.

Д а в и д (*пожевал губами*). Вот что, Скоробогатенко... А ты, между прочим, слышал, как мой папа играет?

М а л ь ч и к. Слышал. У нас пластинка есть. На одной стороне — «Грустная песенка» Калининкова, а на другой Сарасате — «Цыганский танец»...

Д а в и д. А мазурку Венявского слышал? Нет? Ничего ты, выходит, не слышал. Хочешь, поставлю?

М а л ь ч и к. А можно?

Д а в и д. Если я говорю — значит, можно! (*Размахивая руками.*) Ты мой гость, я тебя развлекать обязан! Сейчас, погоди...

Давид соскакивает с подоконника, в темноте на ощупь находит пластинку, придерживает пальцем диск, ставит пластинку и возвращается на подоконник. Мальчик садится с ним рядом. Сумерки. И как только раздаются первые такты печальной и церемонной мазурки Венявского — и здесь, и в соседней комнате наступает удивительная тишина. Звучит мазурка Венявского. В освещенном проеме двери появляется Таня. Она останавливается на пороге, как бы на границе между светом и тенью, и, прислонившись головой к дверному косяку, слушает, а затем коротко всхлипывает, как всхлипывают дети после плача. И тогда Давид подбегает к Тане, обеими руками крепко, точно оберегая, обхватывает ее руку.

Т а н я (*шепотом*). Что, милый?

В темное вечернее небо взлетают разноцветные гирлянды торжественного салюта.

Д а в и д. Салют.

Т а н я. Да. День Победы.

Д а в и д. Знаешь, мама... Ты не сердись...

Т а н я. Что, милый?

Д а в и д (*после долгой паузы*). Знаешь, мама... Ты только не будешь смеяться?

Т а н я. Нет, милый. Что?

Д а в и д (*серьезно*). Знаешь, мама... Мне почему-то кажется, что я никогда не умру! Ни-ког-да!..

Звучит музыка Венявского. Взлетают в небо и гаснут залпы торжественного салюта. Далеко гудит поезд. Женщина зовет дочку со двора:
«Катюша-а-а!..»

З а н а в е с

ПЯТАЯ ГЛАВА

Кончилось, кончилось, кончилось!

Кончилось четвертое действие, кончился спектакль, кончилась эта проклятая генеральная репетиция, эта мука мученическая, когда ни единая реплика на сцене не встречала ответа в зрительном зале.

Закрылся в последний раз занавес, зажегся свет. Солодовников встал, подошел к бутылочной и кирпичной. Кирпичная что-то сказала, и Солодовников, словно бы извиняясь, развел руками. И в это самое мгновение проходивший мимо меня Товстоногов сделал точно такой же жест — развел руками и покачал головой.

В суровом молчании, с каменными лицами покидали зрительный зал немногочисленные зрители. Только белолицый администратор снова сокрушенно поцокал языком.

Ушли, не взглянув на меня, бутылочная и кирпичная.

Солодовников сказал:

— Давайте, Александр Аркадьевич, зайдем за кулисы.

— Хорошо, — сказал я и встал.

— Это надолго? — спросила меня жена.

— Подожди меня в фойе, — сказал я, — думаю, что я скоро вернусь.

Я оказался прав.

Все дальнейшее заняло не больше двадцати минут. Мы прошли за кулисы, где Солодовников и сказал свою речь, уже описанную мною раньше: речь-скороговорку, речь-бормотание, речь, единственной целью которой было не сказать ничего.

...Василий Андреевич Жуковский — этого поэта в детстве я почитал превыше всех других — заметил однажды, что судьба, как и поэты, любит инверсии.

Да, судьба и вправду чрезвычайно любит инверсии. Надо же было такому случиться: в одной из комнат почти пустого деревянного дома, что стоит в Серебряном Бору над Москвой-рекой, в доме, где я дописываю эту книгу, живет с женою и Александр Васильевич Солодовников. Мы встречаемся за завтраком, обедом и ужином; вечерами — если идет дождь и нельзя гулять — сидим и смотрим телевизор.

Его жена иногда беседует со мной, а сам Александр Васильевич при встречах отводит в сторону глаза и как-то неопределенно дергает головой. Они живут на втором этаже, а я под ними, на первом.

И ежедневно по несколько раз в день я пишу его фамилию и имя-отчество, вспоминаю его слова, голос, повадку — того Солодовникова, каким он был пятнадцать лет тому назад; а он, сегодняшний, об этом, разумеется, и знать не знает.

Он очень постарел и словно бы высох, но по-прежнему чиновно надменен и занимает, несмотря на свой преклонный возраст, почетную и бессмысленную должность — состоит при министре культуры советником по вопросам театра. А что такое советский театр и каким ему быть надлежит — это Александр Васильевич усвоил прекрасно!

Сколько раз принимал он в правительственной ложе почетных гостей и выслушивал их замечания, сколько раз председательствовал на совещаниях, посвященных проведению очередного фестиваля или декады национального искусства!

Ах, малинка-калинка,
Калинка моя,
В саду ягода-малинка,
Малинка моя!..

...Новый, победный сорок пятый год генерал — командующий бронетанковыми частями — встречал под Веной, в доме, принадлежавшем знаменитому фокуснику.

Хозяина дома с женою и детьми попросили на время переселиться в подвал. Впрочем, на новогодний прием они были любезно приглашены. И вот после часа ночи, когда уже были сказаны все положенные тосты, когда гости уже выпили, разомлели, размякли, старый фокусник решил позабавить присутствующих своим искусством.

В никуда взлетали голуби,
Превращались карты в кубики,
Гасли свечи стеариновые,
Зажигались фонари!..

Гости ахали, восхищались, недоумевали, аплодировали. И только командующий после каждого нового фокуса становился почему-то все мрачнее и мрачнее.

Наконец не выдержал, кивком головы подозвал к себе адъютанта и шепотом спросил:

— Слушай, а кто-нибудь из наших так может?

Адъютант виновато пожал плечами.

— Вряд ли, товарищ генерал! Он же всемирно известный... Я афиши его видел — там прямо так и написано: король европейских фокусников!

Генерал вздохнул и решительно сказал:

— Ладно, вызывай армейский ансамбль песни и пляски — возьмем количеством!..

Гремит, гудит, грохочет, посвистывает и повизгивает вселенская «Калинка-малинка»! Стучат каблуками молодцы в охотнорядских костюмах, проплывают уточками девицы в расшитых бисером сарафанах — на весь мир размахнулась купеческая «Стрельня», выдаваемая за русское национальное искусство.

Графу Шереметеву с его крепостным театром или братьям Виельгорским с их домашним оркестром в са-

мом горячем сне не могло бы такое присниться — десятки, сотни тысяч крепостных актеров, музыкантов, певцов, танцоров, атлетов. Даже прославленные балетные труппы Большого и Мариинского театров, даже такие великие музыканты-исполнители, как Ойстрах, Гилельс, Рихтер, Ростропович, Коган, — все они, по существу, отбывают самую доподлинную крепостную повинность.

Мало того, что больше двух третей получаемых ими за границей гонораров забирает государство — они не вольны принимать решения, строить планы, давать или не давать согласие на выступления.

Все обдумают, решат, обо всем договорятся за них. А потом их вызовут и скажут — надо или не надо ехать туда-то и туда-то, можно или нельзя играть то-то и то-то.

У графа Шереметева, случалось, нерадивого или не в меру строптивного лицедея могли и на конюшне посечь, и в простые дворовые разжаловать.

В наши времена на конюшне уже не секут, неудобно. Но нерадивость или, что куда хуже, строптивность не должны оставаться безнаказанными — посекут не на конюшне, а на собрании, ошельмуют в печати, отменят — уже объявленные заранее — выступления и концерты, лишат права участия в заграничных гастролях. А уж это, последнее, наказание пострашнее порки на конюшне!

Не примечательно ли, что пресловутые особые магазины, где товары продаются только на сертификаты, то есть, по сути, на иностранную валюту, и прославленный танцевальный ансамбль, который большую часть года проводит в гастролях за рубежом, носят одинаковое название — «Березка»!

А вслед за ансамблями и спортивными коллективами ездят особо проверенные и стойкие стукачи — во главе с «писателями» Анатолием Софроновым и Цезарем Солодарем — и вопят неистовыми голосами:

— Шай-бу!.. Шай-бу!.. Шай-бу!..

Сражаются наши хоккеисты:

— Шай-бу!..

Танцует Плисецкая:

— Шай-бу!

Играет Леонид Коган:

— Шай-бу!

И тут я не могу удержаться, чтобы не сказать об удивительном явлении последних лет нашей жизни.

— Ратуйте, люди добрые! Могучее и стройное здание неравенства дало трещину!

И трещина эта образовалась в самом, казалось бы, надежном месте, в самом защищенном, бронированном. Незыблемейшее неравенство, восхитительный «пятый пункт» удрал-таки штуку, выкинул коленце!

Оставаясь каиновой печатью, знаком качества второго сорта, он, проклятый, оказался притом еще и лазейкой: обладатели «пятого пункта» имеют право подавать заявления и добиваться разрешения на выезд за границу.

А при одних этих словах — заграница, капстрана, инвалюта — сладостно замирают и тревожно бьются сердца всех больших и малых чиновников.

И какой же русский не любит быстрой езды — всего три с половиной часа, и ты в Париже! А в Париж, это еще в старину говорили, приедешь — угоришь!

Ах, Елисейские Поля, Пляс Пигаль, универсальные магазины «Призюник» и «Монопри»!

Мы прилетели в Париж, на аэродром Ля Бурже, пасмурным апрельским вечером.

«Мы» — это бывший, а в ту пору действительный директор киностудии «Ленфильм» Илья Николаевич Киселев и я.

Нас на две недели пригласила в Париж кинофирма «Алькам» в преддверии начала съемок совместного советско-французского фильма «Третья молодость» — о знаменитом танцовщике и балетмейстере Мариусе Пети-пета.

Я таинственную волею судеб принимал участие в этой работе в качестве кинодраматурга с советской стороны и в Париже уже бывал: здесь с моим французским соавтором Полем Андрэстта мы писали литературный сценарий.

А вот Киселев летел — не только в Париж, а вообще

за границу — в самый первый раз. Грузный, мешковатый, темнолицый — он наполовину цыган, — Илья Николаевич обливался в самолете потом, непрерывно вытирал лицо и шею большим, как полотенце, носовым платком и жалобно повторял:

— Слушай, ты уж меня там не бросай одного, ладно? Ты же знаешь — по-французски я ни бум-бум и вообще... ориентируюсь слабовато!

О том, как Киселев «ориентируется», на «Ленфильме» рассказывали бесчисленные анекдоты. Злые языки утверждали, что если машина Ильи Николаевича высаживала его не у самого подъезда студии, а где-нибудь на другой стороне улицы, то Киселев мог вполне свободно заблудиться и даже не прийти на работу. А по самой студии — в павильоны и цеха — Илья Николаевич неизменно ходил с провожатым.

...Хмурый и чем-то явно раздосадованный молодой человек — представитель фирмы «Алькам» — встретил нас на аэродроме, взял наши чемоданы, посадил в такси.

Каким-то странным, кружным путем, минуя центр, по окраинным парижским улочкам, мимо серых обшарпанных домов и пустырей, такси привезло нас к дверям тоже весьма неказистой гостиницы.

Молодой человек выгрузил наш багаж, внес его в холл, что-то негромко сказал портье и, поспешно распрощавшись с нами, ушел.

И только теперь, оглядевшись, я понял причину и его досады, и этой виноватой поспешности. Гостиница, в которую нас привезли, была третьеразрядным заведением того сомнительного пошиба, где вечно сонный портье, не глядя — глядеть на гостей здесь не положено, — дает посетителям ключи.

— Пожалуйста, медам-месье! На час? На ночь? На сутки?

По узкой винтовой лестнице мы поднялись с Киселевым в наши почти одинаковые номера — с кокетливыми ситцевыми занавесками в цветочках, с неизменной ширмой возле кровати и старинным педальным умывальником с ведрком воды и тазом под ним.

Телефонов в наших номерах, разумеется, не было.

— Ну, нет, — сказал я Киселеву, — мы здесь, Илья Николаевич, жить не будем. Это какое-то недоразумение. Сейчас я спущусь к портье и позвоню в фирму!

— Я тебя умоляю, — снова залепетал Киселев, хватая меня за руки, — ты не уходи... Я же боюсь... Я же потеряюсь...

— Не потеряетесь. Сидите в номере и ждите меня. Через пять минут я вернусь.

Но вернулся я не через пять минут, а значительно позже. Телефон у портье был испорчен, и я довольно долго плутал по горбатым переулкам и улочкам, пока не набрел на какое-то кафе, откуда я и позвонил наконец в фирму.

Глава фирмы Александр Каменка сказал мне в телефон скорбно-замогильным голосом, что это все ужасно, что он очень извиняется перед господином Киселевым и передо мною, что все они просто в отчаянии, что сегодня в Париже кончается какое-то идиотское международное авторали, на которое съехались любители из всех стран, и что завтра рано утром он сам, лично заедет за нами и перевезет нас в хороший отель, где нам уже заказаны номера.

— Еще раз, умоляю, — сказал в заключение Каменка, — передайте господину Киселеву тысячи извинений и сердечный привет! Что он делает?

— Господин Киселев, — сурово сказал я, — сидит у себя в номере и очень сердится!..

И все это оказалось неправдой!

Господин Киселев не сидел у себя в номере и не сердился. Господин Киселев стоял у подъезда гостиницы, крепко — чтобы не потеряться и не заблудиться — держась одной рукой за ручку двери, и смотрел на пустырь, что находился напротив гостиницы.

По пустырю, уставленному в живописном беспорядке огромными металлическими корзинами для мусора, стаями нахально бродили сытые коты и кошки и рылись в отбросах две старухи.

Но небо над пустырем было сиреневым, в розовых

разводах, и откуда-то доносились автомобильные гудки и музыка.

И господин Киселев даже не обернулся, когда я подошел к нему и сказал:

— Илья Николаевич, ничего не попишешь, придется нам здесь переночевать! Одну ночь! Утром переедем в другой отель!

Он не ответил. Он продолжал, чуть приоткрыв рот, смотреть на пустырь. Он тяжело дышал, и в груди у него что-то булькало и хрипело.

— Илья Николаевич! — уже слегка обеспокоенный (не случилось ли чего?), окликнул я. — Что с вами, Илья Николаевич?!

И, все так же молитвенно и неотрывно глядя на пустырь, на мусорные корзины, на котов и старух, господин Киселев тихо проговорил:

— Париж!.. Какой город, а?!

...Эту историю я вспоминаю всякий раз, когда кто-нибудь начинает при мне жаловаться на то, что из него тнут жилы с разрешением на выезд в Израиль.

А что же вы хотите, друзья мои?! А как же иначе?!

Обыкновенный рядовой советский человек имеет право один раз в три года поехать в туристскую поездку в какую-нибудь капиталистическую страну. Один раз в три года, всего на семь-девять дней гражданин из страны победившего социализма, где человек человеку друг, товарищ и брат, может мельком взглянуть на страшный мир, где человек человеку волк.

Но и на подобного рода поездку дают разрешение далеко не каждому. И всякий раз это многомесечная трепка нервов, это бессонные ночи и лихорадочное ожидание: пустят или не пустят?! И если не пустили (а сообщать причину отказа не положено) — какие мучительные часы раздумий, какая невыносимая тревога снова на долгие месяцы и на бессонные ночи охватывает свободного и счастливого гражданина Страны Советов!

За что? Почему? Значит — не верят! Значит, где-то и на кого-то я не так поглядел, не то сказал? Значит, в той таинственной комнате, которая называется «Особый от-

дел» и куда посторонним вход запрещен строжайше, числятся за мною какие-то неведомые мне грехи?!

Ай-яй-яй, как плохо, как тревожно, какая беда! Ибо всякую поездку за границу, даже туристскую, принято у нас рассматривать прежде всего как неоспоримое выражение доверия и поощрения.

И вдруг — на тебе! Эти самые, что с «пятым пунктом», эти неравнейшие среди неравных, эти граждане второго сорта хотят, чтоб им дали разрешение уехать в капиталистическую страну Израиль!

И не просто хотят — требуют! И не только требуют — уезжают! Сотни, тысячи! Что случилось?! Как могло такое произойти?! Ратуйте, люди добрые!

Неладно что-то в Датском королевстве!
И уже не по тексту Шекспира
(Я и помнить его не хочу!),
Гражданин полоумного мира,
Я одними губами кричу:
— Распалась связь времен!..

...Я шел на это свидание и совершенно искренне волновался.

С человеком, которого мне сейчас предстояло увидеть, мы не встречались ни много ни мало ровно сорок лет.

Еще одна из причудливых инверсий судьбы: все эти годы мы жили в одном городе, состояли — до моего исключения — в одной и той же писательской организации, у нас были общие друзья, мы посещали, вероятно, одни и те же вечера и просмотры в Центральном Доме литераторов, и вот поди ж ты — ни разу, ни единого раза не встретились.

А ровно сорок лет тому назад мы — мальчишки — непременно и обязательно встречались дважды в неделю на занятиях литературной бригады при газете «Пионерская правда».

...В одной из комнат редакции, где так замечательно пахло табачным дымом, типографской краской, бумагой; чернилами, дважды в неделю мы читали свои новые стихи (а тогда мы все писали стихи) и, как щенята, с веселой

злостью набрасывались друг на друга, разносили друг друга в пух и прах за любую провинность: стертую или неточную рифму, неудачный размер, неуклюжее выражение.

И был среди нас какой-то сонно-подслеповатый, нескладный и медлительный мальчик по имени Володя, который тоже, разумеется, писал стихи — кто же их не пишет в тринадцать-четырнадцать лет! Но иногда читал и свои рассказы — короткие, странные, вызывающие неизменное одобрение руководителя нашей бригады, молодого писателя Исаея Рахтанова, автора прекрасной детской книжки «Чин-Чин-Чайнамен и Бонни Сидней».

Однажды Рахтанов сказал:

— С вами хочет познакомиться поэт Эдуард Багрицкий. Следующее занятие — в пятницу — мы проведем у него дома. Я рассказывал ему про нашу бригаду, и он просил, чтобы я вас к нему привел!

...Диковинное оружие висело на диковинном стенном ковре, диковинные рыбы плавали в диковинных аквариумах, диковинный человек с серо-зелеными глазами и седым чубом, спадавшим на молодой лоб, сидел, поджав по-турецки ноги, на продавленном диване, задыхался, кашлял, курил — от астмы — вонючий табак «Астматол» и, щурясь, слушал, как мы читаем стихи.

Всего в нашей бригаде было человек пятнадцать, и стихи мы читали по кругу, каждый по два стихотворения. Багрицкий слушал очень внимательно, иногда — если строфа или строчка ему нравились — одобрительно кивал головой, но значительно чаще хмурился и смешно морщил нос.

Когда чтение кончилось, Багрицкий хлопнул ладонью по дивану и сказал, как нечто очевидное и давно решенное:

— Ладно, спасибо! В следующий раз — в пятницу — будем разбирать то, что вы сегодня читали! — Он хитро нам подмигнул: — Приготовьтесь! Будет не разбор, а разнос!..

Так неожиданно мы стали учениками Эдуарда Багрицкого.

Это было и очень почетно, и совсем не так-то легко. Эдуард Георгиевич был к нам, мальчишкам, совершенно беспощаден и не признавал никаких скидок на возраст.

Он так и говорил:

— Человек — или поэт или не поэт! И если ты не умеешь писать стихи в тринадцать лет, ты их не научишься писать и в тридцать!..

Как-то раз я принес чрезвычайно дурацкие стихи. Написаны они были в форме письма моему якобы родственнику и крупному поэту, проживающему где-то в чужой стране. В этом письме я негодовал по поводу того, что поэт не возвращается домой, и утверждал, что когда-нибудь буду сочинять стихи не хуже, чем он, а может быть, даже и лучше.

Багрицкий рассердился необыкновенно.

Он чуть не подпрыгнул на своем продавленном диване, замахал руками и закричал, кашляя и задыхаясь:

— Глупости! Чуть собачья! Ерунда на постном масле! Почему это я когда-нибудь буду писать не хуже, чем он?! Я уже и сейчас пишу в тысячу раз лучше!

— Так ведь это я не про вас, Эдуард Георгиевич, — попытался я оправдаться, — это же я про себя!

И тут Багрицкий сказал удивительные слова. И сказал их уже без крика, а серьезно и негромко:

— Ты поэт. Ты мой поэт. Всякий поэт, который находит своего читателя, — становится его поэтом. И все, что ты говоришь, ты говоришь и от моего, читателя, имени... Запомни это хорошенько!

Я запомнил, Эдуард Георгиевич, я не забыл! На одном из занятий Володя прочел свой новый рассказ.

Багрицкий одобритительно кивнул:

— По-моему, хорошо! Я, правда, в прозе не очень-то, но, по-моему, хорошо!

В следующую пятницу, едва мы только расселись, раздался стук в дверь, и в комнату Багрицкого быстро и почему-то бочком вошел невысокий человек в очках, с широким и веселым лицом.

Багрицкий сказал:

— Познакомьтесь, ребята! Это Исаак Эммануилович Бабель!

Мы восторженно замерли.

Бабель очень уютно примостился на диване рядом с Багрицким, а Эдуард Георгиевич повелительно сказал Володе:

— Прочти, что ты нам в прошлый раз читал!

Пока Володя глухо и монотонно читал свой рассказ, Багрицкий и Рахтанов смотрели на Бабеля, а Бабель слушал, полузакрыв глаза и не шевелясь.

Потом, когда занятия кончились, Бабель увел Володю к себе — они с Багрицким жили в одном доме.

С тех пор, уже отдельно от нас, Володя стал бывать у Бабеля.

Когда Багрицкий умер, наша бригада как-то сама собою распалась и мы разбрелись кто куда. В те годы многие видные поэты вели кружки молодых, и я перебивал в кружках Сельвинского, Луговского, Светлова, но так нигде толком не прижился.

А потом для меня начался театр, и стихи на долгие годы и вовсе ушли из моей жизни.

...И вот ровно сорок лет спустя мы сидим с Володей на кухне у нашего общего друга, который, собственно, и задумал снова свести нас, — пьем, едим, беседуем.

Володя, все такой же сонно-подслеповатый, но сильно погрузневший, ставший кряжистее и квадратнее, тягучим и веским голосом, от которого у меня сразу же заболела голова, внушает мне:

— Ты же русский поэт, понимаешь? Русский! Зачем же ты, особенно в последнее время — я слышал твои новые вещи, — занимаешься какой-то там еврейской темой? На кой она тебе сдалась?! Что за дурацкий комплекс неполноценности!

Уже понимая, что за этим последует, я вяло возражаю ему. Я говорю, что комплекс неполноценности тут решительно ни при чем, что сегодня, сейчас на наших глазах совершается новый Исход, уезжают навсегда тысячи людей — и среди них наши друзья и знакомые, милые на-

шему сердцу люди, — и что остаться к этому равнодушными мы просто не имеем права, что мы обязаны об этом писать.

— Пусть другие об этом пишут! — гудит Володя и тычет в меня очень толстым указательным пальцем. — А тебе об этом писать не надо!

— Почему мне именно, русскому — как ты говоришь — поэту, об этом писать не надо? — задаю я уже слегка провокационный вопрос.

Володя усмехается:

— Именно тебе не надо, понял?!

Я понял тебя, друг моего детства! Я тебя прекрасно понял!

Это все тот же заколдованный круг, сказка про белого бычка, кольцо, которое ни сомкнуть, ни разомкнуть!

Если я русский поэт, то какое мне дело до евреев, уезжающих в Израиль? А если мне все-таки до них дело, то это только потому, что я сам по происхождению еврей! А раз я еврей, то я тем более не должен интересоваться, думать и писать об уезжающих в Израиль! Пускай об этом пишут другие — со стороны еврея это бестактно!

Вот и поди вырвись из этого круга!

А Володя, уже слегка захмелев, все продолжает тягуче гудеть, как большой и злобный шмель:

— Что же, милые мои, получается? Сами во всем принимали участие: и в двадцатые годы, и в тридцать седьмом, и после — а теперь бежать?! Нет уж, вместе кашу варили, вместе давайте ее и расхлебывать! А то, понимаете, одни уезжают на свою — изволите ли видеть — историческую родину, а другие... А скажите мне: рязанскому парню, костромскому, ярославскому — им-то куда прикажете податься?!

Умри, Денис, лучше не скажешь!

Я встал и, сославшись на головную боль, ушел.

Прощай, друг моего детства! Больше нам с тобой видеться незачем! Ну разве что еще разок, снова сорок лет спустя! Впрочем, вряд ли мы с тобою проживем так долго, конечно, не проживем, так что — прощай!..

...По мокрому снегу, посыпанному крупной серой со-

лю, мы возвращались с женой домой. Мы шли из театра. Мы шли с генеральной репетиции моей пьесы «Матросская Тишина».

За генеральной репетицией обычно следует премьера, банкет.

Но на сей раз банкета не будет!

...Была — но съедена конфета,
Была — но съедена котлета,
На всем столе одна галета —
Привет участникам банкета!..

Банкета не будет. И цветов не будет, аплодисментов, вызовов на поклон, звонков от друзей с просьбой помочь достать билетик на спектакль — ничего этого не будет, потому что прежде всего не будет самого спектакля.

...Это, в конце концов, неплохо, что студийцы в учебном порядке поработали над таким чуждым для них материалом, а теперь, товарищи, надо искать свою, молодую, близкую по духу драматургию! Спасибо, товарищи! За работу, товарищи! Вперед и выше, товарищи!..

...Вы что же хотите, Александр Ар-ка-ди-е-вич, чтобы в центре Москвы, в молодом столичном театре шел спектакль, в котором рассказывается, как евреи войну выиграли?!

Нет, нет, упаси меня бог, я этого, разумеется, не хочу!

...Мы пришли домой, где нас уже у двери ждала наша собака Чапа. Это было удивительное создание. Собачий ангел — мы не знали этого точно, но догадывались, что это именно так. Обыкновенно, если нас долго не было дома, Чапа при встрече закатывала нам скандал. Она вспрыгивала на диван и произносила монолог:

— Как же вам не стыдно?! Где вы пропадали?! Это свинство! Вы же знаете, что я вас жду, а вы все не идете и не идете!..

Но в тот день Чапа нас встретила молча. Она взглянула на нас своими огромными печальными глазами и в знак утешения повилила хвостом.

Я поднял ее на руки, и она лизнула меня в нос.

...Когда Чапа умерла, наша дочь похоронила ее за своим домом, в овраге, под деревьями. Хоронить пришлось ночью, тайком — иначе могла нагрянуть санитарная инспекция и оштрафовать.

В Москве вообще похоронить трудно.

А человека даже труднее, чем собаку. Особенно если человек верующий и не хочет, чтоб его сжигали в крематории.

Похоронить в Москве трудно.

Убить — легко.

*Серебряный Бор — Москва
29 мая 1973 года*

Блошиный рынок

ПОЧТИ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ,
НО НЕ НАУЧНЫЙ РОМАН

Автор считает своим долгом предупредить читателей, что в этом романе нет ни единого слова правды.

Все персонажи — и действующие, и даже только упомянутые: Семен Таратута, Леонид Брежнев, Валя-часовщик, Михаил Моисеевич Лапидус и другие — выдуманы автором и в действительности не существуют.

Равно как и города — Одесса, Москва, Тель-Авив, Париж.

Всякое сходство с подлинными лицами и населенными пунктами является чисто случайным.

ПРОЩАЙ, ОДЕССА!

1

...В тумане расплываются огни,
А мы себе уходим в море прямо!
Поговорим за берега твои,
Любимая моя Одесса-мама!

Песня

Одесса, как известно, самый необыкновенный город на всем белом свете.

Я знаю это твердо и не советую никому спорить со мною по этому поводу. Хотя бы уже потому, что история, которую я собираюсь здесь рассказать, случилась именно в Одессе.

Вернее — в Одессе она началась, а кончилась черт знает где, если вообще кончилась, в чем я, полагаю руку на сердце, далеко не уверен.

Но началась она в Одессе, это точно. И началась она

так: во вторник, второго октября одна тысяча девятьсот семьдесят... года, ровно в три часа дня, на улице Малой Арнаутской, у входа в пивной бар «Броненосец «Потемкин», остановился Семен Таратута, огляделся по сторонам и двумя руками развернул и поднял над головой плакат — кусок обоев в цветочек, на которых с оборотной стороны красной тушью было написано: «С в о б о д у Л а п и д у с у!»

Пожилой официант с подбитым глазом выглянул из дверей бара, увидел Таратуту, улыбнулся и ласково предложил:

— Заходите, Семен Янович, «Жигулевское» есть.

— После, — сказал Таратута.

— Ну, после так после!

Официант покивал головой и скрылся.

...Через несколько минут Таратуту окружила толпа. И это неудивительно, потому что это Одесса. В Одессе, например, если вы встречаете на Дерибасовской приятеля и останавливаетесь с ним поболтать, то рядом с вами немедленно остановится еще человек десять и будут слушать, о чем вы говорите, — а вдруг вы рассказываете какие-нибудь новости, которых они еще не знают. И вообще — интересно...

...В толпе, окружившей Таратуту, среди обычных уличных зевак и вышедших на шум посетителей бара с кружками пива в руках выделялась пестрая компания длинноволосых молодых людей и девиц, «джинсовые мальчишки и девочки», как их мысленно окрестил Таратута. Впрочем, в джинсах, в настоящих джинсах, подсученных по всем правилам моды снизу, с кожаной нашлепкой на задку, в таких джинсах, за которые спекулянты дерут от семидесяти пяти до ста рублей, был только один плюгавый паренек, остальные же просто делали вид, будто они тоже в джинсах.

Сначала толпа стояла молча, читала плакат, разглядывала Таратуту. Худощавый, чуть выше среднего роста, в больших фасонистых роговых очках, с рыжеватыми курчавыми волосами, Таратута никак не походил на эталонного голливудского киногероя. Но и уродом его тоже на-

звать было бы грех. Наблюдалась в нем даже скорее некая лукавость, некое, как говорили в старину провинциальные актеры, «неглиже с отвагой», что в немалой степени способствовало его успеху у женщин. Девушки из «джинсовой» компании подтвердили это немедленно — начали поводить плечиками, зазывно улыбаться и щурить глаза.

На Таратуте был клетчатый пиджак производства Германской Демократической Республики, серые чешские брюки, польские мокасины и шелковая, в крупный цветок, японская рубашка, которую жены моряков, распродающие всевозможное шмотье, привозимое их мужьями из дальних странствий, ласково называют «гавайка».

И все это заграничное великолепие было куплено, конечно же, не в каком-нибудь государственном универсаме, а исключительно и только на барахолке.

...О знаменитая одесская барахолка, великий блошинный рынок, один из немногих чудом уцелевших и при этом даже официально узаконенных сказочных островков частной инициативы и предпринимательства! Под открытым небом, на огромном пространстве, огороженном со всех четырех сторон высоким забором, кипит, пылит, кричит, хохочет и сокрушается несметное, неисчислимое человеческое множество, оно выплескивается на прилегающие улочки и переулки, перемахивает через ограду находящегося в непосредственном соседстве с блошиным рынком еврейского кладбища, и над невозмутимыми могильными плитами раздаются приглушенно-страстные голоса:

— Семь пять, и точка!

— Сто, как отдать! А если нет, то до сзидания, мама, не горюй, ты меня не видел, я тебя не видел!

О барахолка!

Уже не однажды какой-нибудь вновь назначенный ретивый начальник из горкома партии или горисполкома пытался поставить вопрос о ее закрытии. И тогда происходило чудо — сначала где-то в отдалении начинали погромыхивать гром и посверкивать молния, ощущались таинственные подземные толчки, колебания почвы, земля расступалась, и именно на том самом месте, где стоит

Одесса, образовывалась глубокая трещина, в эту трещину бесследно и навсегда проваливался злополучный ретивый начальник, земля смыкалась вновь, а барахолка, хотя и переезжала на какое-нибудь новое место, как ни в чем не бывало продолжала жить своей неопикуемой, безобразной и ликующей жизнью.

...Помнишь, я купил тебе когда-то на этом блошином рынке пальто и замшевые туфли маме? Кажется, она их все еще носит, хотя прошло с той поры не меньше четверти века.

Я поехал тогда в Одессу впервые. В Москве и до половины пути стояла зима с метелями, снежными заносами, а Одесса встретила меня слякотью и пронзительным ветром с моря, заледеневшего только у самого берега. У меня была дурацки благонамеренная идея написать сценарий или пьесу о морях торговом флота, целыми днями я пропадал в порту, но в воскресенье я все-таки выбрался на блошинный рынок, благо находился он тогда еще в черте города.

Первое, что я услышал, когда сквозь толчею протиснулся в узкие деревянные ворота, был истошный женский крик:

— Караул, грабят!

Толстая усатая баба, закутанная поверх пальто в какое-то невероятное количество платков и шалей, тыкала пальцем в тощего мужчину, державшего на деревянной распялке мужскую рубашку, и кричала:

— Караул, грабят!

— В чем дело, мадам? — поинтересовался кто-то. — Кто вас грабит?!

— Вот он, — прокричала баба, — за эту жалкую тряпочку хочет пятнадцать рублей!.. Караул!

О барахолка, блошинный рынок, толкучка, толчея, удивительный сколок человеческого мира, где обман не позор, а напротив — дело чести, славы, доблести и геройства, где каждый стремится обжулить каждого — продавец покупателя, покупатель продавца — и где в конце концов каким-то непостижимым образом обманутыми оказываются все, даже самые хитрые и удачливые.

И может быть, если взглядеться попристальней...

Но нет, погоди, погоди!

Еще не пришла пора для авторских отступлений. История, которую я хочу рассказать, только начинается, только отправляется в путь, вот когда она полетит, помчится, поскачет стремглав, тогда время от времени будет просто необходимо остановиться, чтобы перевести дыхание, оглянуться назад, вспомнить.

А пока разумнее всего вернуться, и как можно скорее, к прерванному рассказу.

Итак, толпа, окружившая Таратуту, сперва молчала, ожидая, видимо, что будет дальше.

Но вот наконец хорошенькая и знающая, что она хорошенькая, загорелая девица из «джинсовой» компании, с черненькой челкой и зеленовато-кариими глазами, отважилась задать первый вопрос:

— А он еврей?

— Кто? — сквозь зубы надменно процедил Таратута.

— Лapidус.

— Норвежец! — усмехнулся Таратута. — Конечно, еврей.

— Он сидит? — снова спросила девица с черненькой челкой.

— Конечно, сидит!

— А где?

Таратута сделал вид, что он рассердился:

— «Где, где!» Не волнуйтесь, не в Чили! Он сидит в Одессе, где же еще?!

— Давно? — деловито и хрипло поинтересовался замызганный работяга с мотком проволоки через плечо. В свободной левой руке работяга держал банку с мутным огуречным рассолом, отпивая по временам из банки глоток и содрогаясь всем телом.

— Пять дней, — сказал Таратута.

Откуда-то из задних рядов два голоса, женский и мужской, одновременно задали один и тот же вопрос:

— А за что его посадили?

До сих пор Таратута, как уже было отмечено, отвечал

на вопросы лениво и небрежно, словно нехотя. Но, услышав последний вопрос, он оживился. Он ждал, когда ему наконец зададут именно этот вопрос. Он потряс над головой плакатом, набрал воздух в легкие и неожиданно зычным голосом закричал:

— За что он сидит! Они меня спрашивают — за что сидит Лapidус?! Он сидит за то, что он гений, вот за что!..

Где-то в толпе, разбуженный криком Таратуты, отчаянным синюшным плачем зашелся младенец. Таратута недовольно поморщился и замолчал.

Толпа терпеливо ждала, но младенец не унимался.

— Послушайте, мамаша, — сказал работяга, — уймите своего семимесячного! Дайте ему цицу! Человек же рассказывает, это же просто невежливо!..

— Он будет меня учить! — огрызнулась женщина, но на нее зашикали со всех сторон, и она, расстегнув платье, вытащила большую и плоскую грудь, похожую на кусок теста, и поднесла к ней ребенка.

Толпа, подождав еще мгновение и убедившись, что младенец занялся делом, снова обернулась к Таратуте.

— Ну?

— Вон там стояла его палатка, — уже обыкновенным голосом сказал Таратута и мотнул головой в неопределенном направлении. — Там она стояла, и там ее нет. Даже палатку они снесли!..

— А чем он торговал? — спросила неугомонная девица с черненькой челкой.

Этот вопрос тоже принадлежал к числу вопросов, заранее предусмотренных Таратутой. Поэтому он сперва одобрительно подмигнул девице с челкой, а потом скорбно усмехнулся:

— Чем он торговал?! Лapidус торговал киселем. Вы меня спросите — каким? Обыкновенным. Клюквенным. Развесным. В порошке. Рубль шестьдесят копеек за килограмм... Этот порошок разводят в кипятке, и выходит кисель, знаете?

— Знаем, знаем! — закивали в толпе.

— Но, — Таратута снова слегка повысил голос, — но, между прочим, таким кисельным порошком торговали

по всей Одессе. И на Садовой, и на Фонтане, и на Дерибасовской, всюду! Только у Лapidуса покупали, а у других не покупали! Вы спросите — почему? Вы думаете, тут была какая-нибудь махинация?! Так вот, представьте себе, никакой махинации не было! Лapidус имел удостоверение на право торговли, с печатью на бланке, которое ему выдала наша родная советская власть... — Таратута оглянулся и на всякий случай добавил: — Пусть она еще живет сто лет по крайней мере!..

— Много! — громко и четко сказал работяга, отхлебнув из банки глоток рассола, и всем телом описал в воздухе круг.

Таратута, не выпуская из рук плаката, со всего маху пнул работягу ногой и прошипел:

— Я этих слов не слышал, понял?! С меня хватит нарушения общественного порядка! Семидесятой я не интересуюсь!..

— Какой — семидесятой? — скривился работяга.

— Уголовный кодекс надо читать! — наставительно сказал Таратута. — Семидесятая статья — антисоветская агитация.

В толпе недовольно загудели. Кто-то крикнул:

— Перестаньте с частными разговорами!

Певучий южный тенорок спросил:

— А почему все-таки у Лapidуса покупали, а у других нет? С разных, что ли, баз получали?

— Получали с одной базы! — сказал Таратута и хитро прищурился. — Но только у других — когда вы разводили этот порошок водой и получали кисель, — так он был кислый, и надо было еще добавлять три-четыре больших ложки сахара, а у Лapidуса он сразу был сладкий!..

Тут уже вся толпа разом спросила:

— А почему?

— А потому, что Лapidус — я вам уже сказал — был гений! Гений и человек великой души! Он сам, за свой собственный счет покупал сахар и добавлял его в этот паршивый клюквенный порошок!..

В толпе раздалась удивленные возгласы. Плюгавый паренек в настоящих джинсах высокомерно прошепелявил:

— Сказки! Что же он, этот Лапидус, Робин Гуд, что ли?!

— Не Робин Гуд, а гений! — упрямо повторил Таратута и опять быстро оглянулся. — В другом мире, где, извиняюсь за выражение, человек человеку волк, его бы назначили министром киселя... А здесь его посадили и еще обозвали в печати жуликом.

В толпе снова заинтересованно загудели:

— В печати?

— Когда? В какой печати?

— Что значит — в какой печати?! — нарочито спокойно и даже как бы задумчиво переспросил Таратута. — В Советском Союзе существует только свободная печать. Вся остальная запрещена. Заметка о Лапидусе была напечатана в газете «Черноморец» от четвертого октября... Сейчас я вам все объясню...

Но объяснить Таратута ничего не успел.

В толпе внезапно началось какое-то бурное завихрение, кружение, образовалось нечто похожее на водяную воронку, центробежная сила отбросила часть толпы в одну сторону, часть в другую, и в пустом пространстве возникла длинноногая, тощая фигура старшины Сачкова, печально и хорошо известного всей Малой Арнаутской улице и Ильичевскому району вообще.

— Ну вот! — сказал Сачков, словно продолжая некий прерванный разговор.

Он остановился перед Таратутой и укоризненно покачал головой:

— Что я говорил, гражданин Таратута?! Это самое я и говорил — нет вам доверия, нет и быть не может!..

— Вы, товарищ начальник, не так меня поняли! — туманно ответил Таратута и, опустив плакат, собрался уже было его порвать, но Сачков неожиданно быстрым и ловким движением схватил его за руку:

— Нет уж, вы, гражданин Таратута, плакат не рвите! Плакат у нас с вами будет как бы вещественное доказательство! — Он потянул Таратуту за рукав пиджака:— Прошу следовать!..

— Привет, товарищ Сачков! — вывернулся боком из

своего окружения плюгавый паренек в настоящих джинсах. — Узнаете?

Сачков хмуро посмотрел на него, пожевал губами и хрипло выдал:

— Нет.

— Как — нет? Я же племянник начальника вашего отделения — Ершова Николая Петровича! Я бывал у вас и...

Не дав плюгавому пареньку договорить, Сачков в упор спросил:

— Ну и что? Вы меня, гражданин, отрываете, понимаете, от исполнения служебных обязанностей! В чем дело?

Паренек в настоящих джинсах смутился, пробормотал что-то невнятное, втиснулся обратно в свою компанию, но, пока все это происходило, Таратута уже успел, повернувшись к девице с черненькой челкой, сказать ей негромко, быстро и повелительно:

— Номер?

Проявив незаурядную догадливость, девица ответила так же негромко и быстро:

— Пять — пятьдесят два — семьдесят три.

— Я не запомню! — сказал Таратута и, увидев, как у девицы растерянно округлились глаза, усмехнулся: — Знаю, знаю, карандаша нет, записать не на чем...

Он подставил девице злополучный плакат:

— Губной помадой. Здесь.

Девица потрясла головой — черненькая челочка расстрепалась по лбу, — достала из сумочки помаду, крупно и коряво записала на плакате номер своего телефона, после чего плакат приобрел уже и вовсе загадочный вид: «Свободу Лapidусу! 5—52—73».

— Жди звонка! — пообещал Таратута и торжественно обратился к Сачкову: — Я готов, товарищ начальник!

Он сам взял старшину под руку. И они вдвоем, пройдя сквозь строй вновь расступившейся перед ними толпы, перешли на другую сторону улицы. Мальчики и девочки из «джинсовой» компании, глядя им вслед, прокричали по слогам громко и недружно:

— Сво-бо-ду Ла-пи-ду-су!

Долговязая старуха в очках, гид «Интуриста», объяснила гостям из мира, где человек человеку волк, сидевшим в голубом туристском автобусе, что это наша советская молодежь требует немедленного освобождения греческих патриотов.

Розовощекий «волк» в баварской шляпе с пером спросил:

— Снимать можно?

— Не стоит, — сказала дошлая старуха, — это у нас, знаете ли, повсеместное явление. Поберегите лучше пленку для памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину!.. — И, после паузы, великодушно добавила: — Ну, и еще для герцога Ришелье...

2

Начальник двенадцатого отделения милиции Ильичевского района города Одессы майор Николай Петрович Ершов был чем-то вроде белой вороны на ослепительно черном небе Министерства внутренних дел. Люди, подобные ему — люди с прошлым, «ископаемые», — не то чтобы в МВД, а в обычных-то советских учреждениях встречаются теперь все реже и реже. Одни умерли, другие — по большей части — одиноко доживают на пенсии свой бессмысленный и кромешный век.

В погожие дни они выползают на Приморский бульвар, сидя на скамейках, греются на солнце и стараются ни о чем не думать и ничего не вспоминать. Иногда они позволяют себе сыграть партию в домино или в шашки, но чаще всего просто молча сидят и, полуприкрыв постариковски птичьими веками слезящиеся глаза, смотрят на свое Черное море, которое им так часто снилось в Инте и на Магадане, на Соловках и в Потье в стремительно короткие лагерные ночи.

Если кто-нибудь заводит разговор о политике, то старики обычно помалкивают. Они давно уже усвоили — те из них, которые способны были хоть что-то усвоить, — что политика их теперь не касается, политика им не по уму. Та самая политика, которую они когда-то, шальные от

вседозволенности и крови, в простреленных шинелях и кожаных куртках делали, как им казалось, сами.

...В 1938 году молодой военный инженер Николай Ершов вернулся из Испании в Советский Союз. Возвращался он путем долгим и затейливым — через Францию, Швейцарию, Бельгию, Польшу. В Москве его встречали цветами, поцелуями, рукопожатиями, наградили орденом Красной Звезды. А в скором поезде «Москва — Одесса», когда слегка захмелевший Ершов рассказывал своим случайным спутникам о боях под Торуелем, в купе в сопровождении насмерть перепуганной проводницы вошли двое — без лиц, без глаз, без знаков отличия, — и один из них проговорил, как пролаял:

— Гражданин Ершов?!

Особое совещание приговорило Ершова к расстрелу — высшей мере социальной защиты — за шпионаж в пользу некоего иностранного государства. Расстрел заменили десятью годами лагерей особо строгого режима.

Просидел Ершов, как и положено, не десять, а почти семнадцать без малого лет, так что путь его от Мадрида до родной Одессы оказался куда как более замысловатым, чем это представлялось вначале. Если отбросить в сторону мелкие подробности и незначительные малонаселенные пункты, то путь этот выглядел так: Мадрид, Париж, Женева, Антверпен, Варшава, Москва, Белгород (под Белгородом Ершова сняли с поезда), снова Москва — Лефортовская тюрьма, потом Ярославская пересылка, Магадан, Тайшет, Караганда, опять Москва, где в прокуратуре ему выдали справку о реабилитации «ввиду отсутствия состава преступления», и, наконец, Одесса.

Многочисленная родня, главным образом не Ершова, а покойной его жены Рашели, которую он любил без памяти — но она умерла в конце сороковых годов, так и не дождавшись его, — встретила бывшего героя гражданской войны в Испании без особого ликования. Реабилитированные в ту пору возвращались тысячами — а многих из них давно уже позабыли, давно уже вычеркнули из списка живых, давно уже от них отреклись, — что уж тут ликовать?! Тем более что, как выразилась, стоя в

очереди за колбасой, старая одесситка, «с нашим правительством не соскучишься!». Глядишь, опять начнут сажать, опять мести под метелку, вот и припомнят тогда тех, кто устраивал для вернувшихся «оттуда» праздничное застолье.

Несколько месяцев Ершов проболтался по чужим и негостеприимным углам, потом горисполком дал ему маленькую однокомнатную квартиру в новом районе одесских Черемушек.

...Подобные районы есть почти в каждом большом городе Советского Союза — унылые одинаковые дома, с одинаковыми крышами, окнами и подъездами, одинаковыми лозунгами, которые вывешивают в праздничные дни, и одинаковыми матерными словами, нацарапанными карандашами и гвоздями на стенах. И стоят эти одинаковые дома на одинаковых улицах с одинаковыми названиями — Коммунистическая, Профсоюзная, улица Мира, проспект Космонавтов, проспект или площадь Ленина.

...Легко вообразить себе этакую водевильную, но при этом вполне правдоподобную историю — беспробудно пьяный командировочный вылетает из Москвы домой, но по ошибке его сажают не в тот самолет. Самолет, естественно, прилетает в какой-то совсем другой город, но бывший командировочный, все еще не успев протрезветь, садится в такси, произносит заплетающимся языком свой адрес. И шофер привозит его на Профсоюзную улицу к дому номер 116, и командировочный, цепляясь за перила, поднимается на свой четвертый этаж, отпирает дверь своей, как он предполагает, квартиры, вешает пальто на вешалку, швыряет в угол чемодан и заваливается спать. А на рассвете с ночной смены приходит женщина, у которой муж по случайному совпадению (чего не бывает в водевилях и в советской действительности!) тоже находится в командировке. Увидев, что муж вернулся, женщина ложится спать, а командировочный, проснувшись утром, тихонько, чтобы не будить жену, отправляется на работу, решив, что позавтракает он по дороге на улице Космонавтов, в кафе «Молодежное». И ко-

нечно же на обязательной улице Космонавтов имеется обязательное кафе «Молодежное», а подают в этом кафе обязательный завтрак — еле теплую черную бурду, которая называется «кофе», и очень горячие сосиски в целлофановой обертке, — для того чтобы эту сосиску съесть, надо, обжигая пальцы и произнося шепотом и вслух всякие нехорошие слова, попытаться содрать с нее целлофан.

О господи!..

Впрочем, я обещал, что не буду до поры отвлекаться. Прошу прощения!

...После того как Ершову дали квартиру, его вызвали в городской комитет КПСС, дружески, как говорится, поприветствовали, назначили агитатором (не объяснив, правда, за что он должен агитировать) и ввели в совет пенсионеров.

Осатанелые и злобные старики и старухи — из тех, что как раз не могли и не хотели ничему научиться, — занимались главным образом тем, что устраивали допросы гражданкам и гражданам, которые по недомыслию решили ехать в туристическую поездку. И не в какую-нибудь, скажем, родную социалистическую Болгарию, а в так называемую капстрану.

Допрашиваемые гражданки, как правило, судорожно мяли в руке платочек, допрашиваемые граждане просили разрешения закурить. Но курить старики не разрешали. Они заранее рассматривали допрашиваемых как возможных изменников Родины и вопросы задавали самые ехидные и каверзные. Например, разрешена ли в той стране, в которую собрался ехать допрашиваемый, коммунистическая партия, и если разрешена, то какова ее численность и кто является ее Генеральным секретарем. Или — в каком году состоялся Одиннадцатый съезд партии и кто на этом съезде делал отчетный доклад.

Ершов обычно сидел в сторонке, помалкивал, вопросов не задавал, а только про себя дивился — почему советский человек, если ему захотелось увидеть Эйфелеву башню, должен для этого непременно знать, в каком году состоялся Одиннадцатый партийный съезд?

От тоски, от раздражения, от одиночества начал Ершов попивать.

Пил он нехорошо, зло. Вечером, уже постелив постель и раздевшись, он ставил на ночной столик бутылку водки, наливал себе полный стакан, включал зачем-то радиоприемник и под громоыхание джаза сам с собой разговаривал вслух. Называлось это у него «час беседы с умным человеком».

Так бы он, скорее всего, и спился, если бы однажды не пригласил его к себе первый секретарь горкома партии Кандыба и не сказал бы хмуро, не глядя на Ершова и постукивая по столу огромными пальцами огромной, как лопата, ладони:

— Неприятности у нас, Николай Петрович! Этот... ну, Дронов, начальник двенадцатого отделения милиции, на взятках попался. Брал, сукин сын, с кого ни попадя! У него в районе артель есть «Инвалиды умственного труда» — клеют, очкарики несчастные, папки для скоросшивателей, — так он и с них драл!

— Судить будут? — спросил Ершов.

— Судить не будем, — медленно проговорил Кандыба, — шуму много поднимется. Пошлем в район, куда-нибудь подальше, чтоб с глаз долой!.. — Он посмотрел на Ершова и вдруг почти искательно улыбнулся: — А у нас к вам просьба, Николай Петрович! Мы тут с товарищами посоветовались — и из МВД, и еще кое с кем... Поработайте в двенадцатом отделении — временно, так сказать, исполняющим обязанности, а?

Какой-то остроумец заметил, что самые вечные здания — это временные бараки. Чуть переиначив его слова, можно сказать, что нет должности более постоянной, чем должность «временно исполняющего обязанности».

Вот уже три года без малого тянул Ершов ляжку начальника отделения милиции. Изредка он звонил Кандыбе, напоминал о себе и всегда выслушивал один и тот же торопливый ответ:

— Подожди, Ершов, подожди!

Обо всем этом, и особенно о прошлом Николая Петровича Ершова, знали немногие. И уже вовсе ничего, ра-

зумеется, не знал Таратута. Он видел перед собой пожилого человека — полноватого, лысоватого, с курносим носом картошкой, в нескладно сидящей форме. Колобком перекатываясь из угла в угол по своему кабинету, Ершов всплескивал короткими ручками, сердито фыркал:

— Это надо же!.. Демонстрацию устраивают!.. Свободу Лapidусу! Нашли себе героя — жулика!..

— Лapidус не жулик, — вяло возразил Таратута, — он благородный человек! Он сам за свой счет покупал сахар и...

Ершов быстро и весело, как китайский болванчик, закивал круглой головой:

— Вот, вот, вот! Покупал за свой счет сахар и добавлял его в этот кисельный порошок. Причем добавлял в соотношении пятьдесят на пятьдесят... А теперь подсчитайте! — Он остановился и стал считать, загибая толстые пальцы: — Полкило порошка стоит восемьдесят копеек! Так?! Полкило сахара — а сахар Лapidус покупал не по розничной цене, а все на той же оптовой базе — двадцать пять копеек! Так?! Разница — пятьдесят пять копеек. Вычтем двадцать пять, истраченные Лapidусом, и получим прибыль на каждый килограмм... Сколько? Ну-ка, прикиньте, если не забыли арифметику...

Таратута поглядел на Ершова и даже присвистнул от удивления:

— Тридцать копеек!

Ершов засмеялся:

— Точно. Тридцать копеек. С каждого килограмма.

Он снова засмеялся, потер ладонью голову, словно приглаживая волосы, которых не было и в помине.

— Благородный человек! Конечно, надо отдать ему справедливость — до такой комбинации додумается не каждый, но... — Он вдруг остановился перед Таратутой, протянул руку: — Паспорт.

Таратута, пожав плечами, вытащил из бокового кармана клетчатого пиджака паспорт в картонной обложке, подал его Ершову.

— «Фамилия — Таратута, — вслух прочел Ершов, — имя — Семен, отчество — Янович, год рождения — одна

тысяча девятьсот тридцать шестой... Место рождения — Варшава...» — Он сдвинул брови: — Варшава? А почему — Варшава?

— А почему — нет?! — нахально возразил Таратута. — Или человек уже не имеет права родиться в Варшаве?!

— Имеет, имеет право! — пробормотал Ершов, слегка зажмурив глаза и услышав внезапно негромкую музыку и нежный хриловатый женский голос, поющий «Вшистка мни едно», и в лицо ему ударил запах кофе, настоящего кофе, который подавали в той знаменитой «кавярне» на Маршалковской... Черт, он уже и не вспомнит теперь, как она называлась!.. Он встряхнул головой и снова уткнулся в паспорт: — Национальность — прочерк. — Он поглядел на Таратуту: — А это что значит?

— А это значит, что я не знаю своей национальности! — сказал Таратута. — Были Таратуты евреи, были Таратуты поляки...

— Понятно! — сказал Ершов, уже начиная обо всем догадываться. — В каком году вы приехали в Советский Союз?

— В тридцать восьмом.

— Где жили?

— Сначала в Москве. С родителями. А потом в Свердловске. Там я уже был один. В детском доме.

— Кто-нибудь из родителей жив?

— Нет.

— Понятно! — повторил Ершов.

Теперь ему и вправду все было понятно. И опять, прищурился глаза, он даже попытался выкопать в памяти, а не встречался ли ему среди тех тысяч и тысяч, чьи горемычные жизни на какое-то время пересекались с его собственной жизнью — на пересылках, на этапах, в лагерях, — не встречался ли ему польский коммунист по фамилии Таратута?! Впрочем, поди вспомни! Сколько их было — особенно жалких из-за плохого знания языка, особенно растерянных из-за полного непонимания, что это происходит, с лихорадочно блестящими глазами доходят!

Ершов внимательно поглядел на Таратуту.

Кого-то он ему напоминал, этот тип — в своих больших роговых очках, с рыжеватой курчавой головой, — кого-то он мучительно напоминал.

— А в Одессе вы давно?

— Девять лет.

— Где работаете?

— В Морском техникуме. Преподаю французский язык. Факультативно, два раза в неделю. И еще работаю тренером шахматной команды школьников во Дворце пионеров.

— Ишь ты! — усмехнулся Ершов. — А в милицию вас когда в последний раз приводили?

— Двадцать пятого августа, товарищ начальник, в двенадцать часов дня! — браво отрапортовал старшина Сачков.

Он стоял, как каланча, одна рука по швам, а другой он придерживал ручку двери на тот случай, если задержанный задумает совершить побег.

— За что? — спросил Ершов.

— А он, товарищ начальник, на пляже в Аркадии подписи собирал... под письмом в горсовет, чтоб разрешили купаться голыми.

— А-а-а... — насмешливо протянул Ершов. — Слышал! Это теперь, старшина, такая мода. Сперва голые люди жили на деревьях, потом — голые — спустились на землю, потом начали шкуры на себя натягивать... А теперь все назад — походят голые по земле, а там, глядишь, и на деревья залезут...

Он резко, всем телом повернулся к Таратуте:

— Ну, а вам-то все это зачем?

Таратута вздохнул:

— Скучно.

«А мне, думаете, не скучно?!» — хотел было сказать Ершов, но удержался и только коротко посоветовал:

— Купите телевизор! Где вы живете?

— В гостинице «Дружба».

Лохматые брови Ершова удивленно полезли наверх:

— Как так?

— А очень просто, — сказал Таратута, покачивая но-

гой. — Я жил на Александровской, в доме-башне. Когда полгода назад дом этот рухнул, то уцелевших жильцов горсовет, до предоставления им постоянной жилплощади, расселил по разным гостиницам... Мне досталась гостиница «Дружба».

— Та-а-а-к! — протянул Ершов.

Он сел наконец за свой стол, откинулся в неудобном скрипучем канцелярском кресле, помолчал, поглядел на Таратуту, вздохнул:

— И все-таки, хоть убедите, не понимаю я вас... Французский язык, шахматы, и вдруг — Лapidус! На кой он вам сдался? Кто он вам? Дядя?! Тетя?! Что за дурацкий повод для самоутверждения?! Ну, например, эти — как их называют — «инакомыслящие»... Я их, конечно, не одобряю, но у них есть хоть какие-то идеи, а у вас?

— А у меня тоже есть идеи! — с вызовом сказал Таратута.

— Нет у вас никаких идей!

— Нет, есть! В конце концов, могу я иметь свою точку зрения?

— Можете! — сказал Ершов и вдруг рассердился. — Вы можете иметь свою точку зрения, пожалуйста. А я могу вас за эту точку зрения посадить на пятнадцать суток! — Он слегка повысил голос. — И сдается мне, гражданин Таратута, что на сей раз я этой возможностью воспользуюсь!

Наступило молчание.

У старшины Сачкова от довольной усмешки растянуло рот до ушей.

Таратута, глядя в пол, негромко сказал:

— А я болен.

— Чем?

— Печень. Холецистит.

— Ладно! — подумав, сказал Ершов. — Завтра к часу дня придете в двадцать вторую поликлинику. На Пушкинской улице. Скажите в регистратуре, что это я вас прислал. Вас там обследуют, сделают все анализы, и если вы окажетесь здоровы... — Ершов не договорил, но по его тону нетрудно было догадаться, что если Таратута

окажется здоровым, то никакой радости ему это не принесет.

— Хорошо. — Таратута встал, спросил: — Я свободен?

— Пока — да, — зловеще сказал Ершов.

Таратута неловко, боком, поклонился и уже в дверях, которые перед ним с неохотой открыл старшина Сачков, обернулся, поглядел на Ершова:

— А как вы думаете, сколько дадут Лapidусу?

— Не знаю, — сухо сказал Ершов. Таратута снова поклонился:

— До свиданья.

— До свиданья, — сказал Ершов.

Когда Таратута ушел, Ершов хмыкнул, потрогал за чем-то толстым коротким пальцем нос, покачал головой:

— Ну и тип! На кого-то он похож, а вот...

— Зря вы его отпустили, товарищ начальник! — с нескрываемой обидой в голосе проговорил старшина Сачков. — Никакой у него печени нет, врет он все! По нему пятнадцать суток давным-давно плачут! Почистил бы, милый друг, сортиры — живо бы позабыл...

Из-за полуоткрытой двери тоненький голосок секретарши прощебетал:

— Николай Петрович, снимите трубочку, из горисполкома!..

Ершов, поморщившись, придвинул к себе телефонный аппарат, снял трубку:

— Да?!

Густой бас на другом конце провода внушительно проговорил:

— Николай Петрович, привет! Сведения оказались верными... ну, насчет французов! Нам сейчас из Москвы звонили. Они у нас будут десятого числа. В твоём распоряжении, стало быть, остается неделя. Ты как думаешь — сумеешь управиться?

— Постараюсь! — хмуро сказал Ершов и, помолчав, на всякий случай спросил: — Все?

— Все, — сказал бас. — Привет!

Ершов шмякнул на рычаг трубку, как-то брезгливо,

локтем, отпихнул в сторону телефон, поглядел на старшину Сачкова, вздохнул:

— Не было печали!

— Случилось что, товарищ начальник? — вежливо поинтересовался Сачков.

— Мэры французских городов к нам едут, будь они трижды неладны! — сказал Ершов и стукнул кулаком по столу. — Приезжают в Одессу десятого. Горисполком предлагает срочно, за одну неделю, почистить район от всяких не внушающих доверия граждан... — Он усмехнулся: — В старину, при царе-батюшке, это называлось проще и определеннее — от студентов, жидов и прочих интеллигентов...

Старшина Скачков, голубиная душа, задумчиво и серьезно проговорил:

— А вот как раз евреев, товарищ начальник, у нас в районе еще о-го-го!

Ершов коротко фыркнул, махнул рукой:

— Ладно, старшина, идите! Скажите там Вале, пусть напечатает объявление — завтра в девять утра совещание всех сотрудников!

— Слушаю-с, товарищ начальник!

Оставшись один, Ершов снова тяжело вздохнул, оттопырил губы, зажмурил глаза, потом резко раскрыл их, словно он надеялся увидеть не этот опостылевший ему и тоже как бы временный кабинет — с неизменным несгораемым шкафом, в котором не лежало ничего, кроме нескольких экземпляров самиздатовской статьи академика Сахарова «О прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», изъятой у не внушающих доверия граждан; с неизменным же, в углу, пыльным переходящим знаменем, полученным еще предшественником Ершова, взяточником Дроновым за какие-то неведомые заслуги, и с двумя вовсе неизменными Ильичами — гипсовым бюстом вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина на специальной подставке и поясным портретом вождя мирового пролетариата Леонида Ильича Брежнева в золоченой раме на стене.

Ершов тяжело поднялся, походил, разминая затек-

шие плечи и руки, по кабинету, остановился, подмигнул вождю мирового пролетариата Леониду Ильичу Брежневу, насмешливо скривил губы:

— Привет! Ну, как дела? Как доктрина? Искал небось потихоньку это слово в энциклопедии — думал, верно, что болезнь какая-то?

И едва только Ершов произнес все это мысленно, как началась чертовщина. Вернее, не чертовщина, а известный медицине феномен под названием «раздвоение личности». Как правило, раздвоение это у Ершова происходило по ночам, после двух-трех глотков водки, и начиналось обычно с того, что Ершов — приставала и язва — принимался донимать Ершова железобетонного всевозможными и притом весьма неприятными вопросами и вопросиками. Но сегодня чертовщина эта произошла на трезвую голову, среди бела дня, в служебном кабинете.

Первым, как всегда, заговорил приставала и язва:

— Что-то больно ты развоевался, товарищ Ершов! Ты на себя погляди! Швырнул ты им в харю свой партийный билет?! Нет, золотко, не швырнул! Когда тебе в милиции предложили работать — послал ты их к едрене-фене?! Нет, душа моя, не послал!..

— Так это же работа временная! — неуклюже возразил Ершов железобетонный, и Ершов — приставала и язва даже засмеялся от удовольствия:

— В лагере ты тоже сидел временно!..

Ершов железобетонный, подумав, сказал:

— Знаешь, уж лучше я буду находиться на этом месте, чем какое-нибудь жулье вроде Дронова!..

И опять засмеялся приставала и язва, закашлялся от смеха, замахал руками:

— Знаю, знаю, слышал! Тысячу раз слышал! Именно эти самые слова произносили все начальники от мала до велика, от прокурора, который требовал для тебя «вышки», до лагерного ката, который бил тебя железной палкой по ногам... И все они потом, после, выдавали себя чуть ли не за спасителей человечества: уж лучше я, чем другой! А почему — лучше? Чем ты лучше? Вот позвонили тебе

из горисполкома, и ты, будьте любезны, назначаешь на завтра совещание всех сотрудников!..

— Так надо, — веско сказал железобетонный Ершов.

Приставала, мгновение помолчав, совсем тихонько спросил:

— А то, что ты сейчас обдумываешь, — это как? Это, по-твоему, не подлость?

— Нет, — неожиданно твердо сказал железобетонный Ершов. — Это не подлость! Это для него, для дурака несчастного, может быть, единственный выход... Я таких, как он, навидался: походит-походит, поскучает-поскучает, а потом раз — и на колючую проволоку! — И когда приставала хотел спросить что-то еще, Ершов железобетонный прикрикнул на него: — И замолчи! И хватит! И точка!..

И на этом феномен раздвоения личности кончился так же внезапно, как и начался. Николай Петрович Ершов, временно исполняющий обязанности начальника двенадцатого отделения милиции Ильичевского района города-героя Одессы, приоткрыл дверь своего служебного кабинета и решительно сказал секретарше:

— Валюта, будь добра, соедини меня с полковником Захарченко из ОВИРа! Позвони по прямому!

Секретарша, очень серьезная девица с золотистыми кудряшками, набрала номер, подождала ответа, пропела:

— Николай Петрович, Захарченко!

Ершов резко и плотно закрыл дверь, подошел к столу, снял трубку:

— Здравствуйте, товарищ Захарченко! Это Ершов, из двенадцатого отделения... Товарищ Захарченко, мне, понимаете, надо бы с вами обсудить одно очень деликатное и очень-очень срочное дело! Если разрешите, я к вам приеду сейчас!..

3

Таратуте было скучно.

Он сидел уныло и одиноко на скамейке на Приморском бульваре. В одной руке он держал зажженную сига-

рету, в другой — яблоко и попеременно то отравлял организм никотином, то насыщал его витаминами.

Несмотря на сносную погоду, народу на бульваре было немного, да и то почти все одесситы.

Отгремело, кончилось летнее сумасшествие, когда в Одессу — к солнцу, к веселому морю, к дешевым овощам и фруктам — съезжаются несметными ордами москвичи и ленинградцы, жители Сибири, Урала и Средней Азии; когда позавтракать в кафе можно, только простояв часа три в распаленной очереди; когда мечтать о номере в гостинице смеют лишь самые удачливые, а прочие люди средних способностей селятся где попало — снимают углы, чуланы, балконы.

А коренные жители, ошалев от этого золотого дождя, ухитряются пустить в дело, приспособить для ночлега и жилья крылечки, лодки и даже гамаки во дворе или в саду.

Это безумие, этот громopodobный прилив, пробиваясь в конце апреля, достигает своего зенита в июле и в августе. Но уже в первых числах сентября начинается стремительный отлив — уезжают родители с детьми школьного возраста, уезжают студенты и преподаватели — уезжают на машинах, улетают на самолетах, берут с боем отходящие поезда.

И Одесса пустеет, опоминается, приходит в себя, подсчитывает доходы — до следующего лета, до нового золотого дождя.

Впрочем, старые одесситы утверждают, что в те кошмарные времена, когда помещики и капиталисты только и знали, что грабили народ и выколачивали из него прибавочную стоимость, именно октябрь месяц считался в Одессе лучшим временем года и назывался «бархатным сезоном».

Именно в октябре месяце с раннего утра и до позднего вечера в ротонде на Приморском бульваре духовой оркестр городской пожарной дружины под управлением маэстро Каца наяривал марши, вальсы и польки, и нарядные дамы, покачивая ажурными зонтиками, прогуливались по дорожкам бульвара в сопровождении усатых

кавалеров в котелках и в штиблетах; именно в октябре отчаянно рыжий авиатор Уточкин при несметном скоплении зрителей совершал над одесским ипподромом свои показательные полеты, по вечерам кавалькады карет тянулись в Аркадию, на пляжи, где дамы и господа купались при лунном свете, а потом спешили назад, в город — в игорные дома, в гостиницы, в рестораны.

Знаменитая Иза Кремер со сцены летнего театра «Тиволи» пела негромко и лукаво:

...Я служила в магазине продавщицей,
Продавщицей тубероз и орхидей.
Вот однажды к нам заходит бледнолицый,
В золотом пенсне хорошенький еврей...

А в ресторане Фанкони любимец Одессы, куплетист Яша Зингерталя — в соломенном канотье, с тросточкой, — потешал уважаемую публику скабрёзными куплетами:

Поймал — держи
И не тужи!..

А еще был цирк Чинизелли. И чемпионаты французской борьбы. И гонки под парусами. И скачки. И загородные пикники.

Но Великая Октябрьская социалистическая революция поставила все, как говорится, на свои места — лето есть лето, осень — осень.

— На то она и великая! — вслух сказал Таратута, встал и бросил в мусорную урну недоеденное яблоко и недокуренную сигарету.

...Он не помнил своих родителей. Когда арестовали сначала отца, а потом, два дня спустя, мать, маленького Семёна взяли друзья семьи, немецкие коммунисты, которых Таратута, разумеется, тоже не помнил и даже не знал, как их звали.

В первые же дни войны немецких коммунистов за «шпионаж в пользу гитлеровской Германии» отправили в лагерь, а Таратуту — в Свердловск, в детский дом.

Там он и прожил всю войну, среди других — таких же, как он, молчаливых, напуганных, немилосердно коверкавших русский язык — малышкой. Но их кое-как корми-

ли, купали, водили на прогулки, их учили — и они постепенно, делаясь спокойней и мягче, забывали свою родную речь, и Иштван становился Ваней, Кнут — Колей, Марыся — Машей.

Вообще-то им здорово повезло! Будь они постарше, они попали бы не в этот детский дом под Свердловском, а в лагерь под Карагандой, который назывался просто и хорошо: исправительно-трудовой лагерь для детей врагов народа. Потому-то заведующая детским домом, ленинградка Валентина Яковлевна, представляя своих воспитанников какой-нибудь внезапно нагрянувшей комиссии, неизменно сокращала им по году, а то и по два и время от времени, по ночам, собственноручно переправляла даты рождения в ученических удостоверениях.

Иногда, в праздники — в день Первого мая, под Новый год, — в детский дом приходили так называемые гости — чаще всего одинокие женщины или странно напряженные пожилые супружеские пары. «Бригада обслуживания», которую возглавлял Таратута, встречала «гостей» внизу, в гардеробе, помогала им раздеться, провожала наверх, в физкультурный зал, где «гости» садились на длинные и низкие деревянные скамейки, а «бригада обслуживания» угощала их жидким, чуть теплым чаем с сахарином.

Потом начиналась «художественная часть».

Выходил горбатенький воспитатель Никольский и, поклонившись «гостям», исполнял на аккордеоне марш из кинофильма «Цирк». Следом за Никольским выступал хор — пел «Катюшу» и «Полюшко-поле».

Затем девочки танцевали «Танец стрекоз», мальчики — гопака, и под конец все вместе — удалую и осточертевшую «Калинку-малинку».

Но по тому, как важно и негромко аплодировали «гости», по тому, как все так же напряженно сидели они и неловко держали в руках, в задубевших от работы и холода пальцах, граненые стаканы с жидким чаем, было ясно, что не ради марша из кинофильма «Цирк» пришли они сюда, не ради «Катюш» или «Танца стрекоз», что они ждут, чтобы началось что-то главное, — и тогда на сере-

дину зала выходила с красными пятнами на щеках Валентина Яковлевна и говорила громко, взволнованно, как-то странно ставя ударения на каждом слове:

— Дорогие товарищи! Мы очень благодарны, что вы к нам пришли. Если у кого-нибудь из вас есть ко мне вопросы, то не будем мешать детям, пойдёмте в учительскую и там поговорим!

И случилось так, что на следующее утро кое-кто из вчерашних «гостей» приходил снова. Но только теперь они не поднимались наверх, в физкультурный зал, а оставались внизу, в гардеробе, и к ним туда, вниз, Валентина Яковлевна торопливо приводила насупленного Колю или заплаканную Машу в кургузом пальтишке, с жалким узелком в руках, — и происходил нарочито короткий обмен словами благодарности и прощания, и «гости», вместе с Колей или Машей, уходили, уходили навсегда, — еще не было случая, чтобы кто-нибудь из детей вернулся назад.

Однажды вечером Валентина Яковлевна вызвала к себе Таратуту. Накануне в детском доме были «гости», а на следующий день — второго мая тысяча девятьсот сорок пятого года — с самого утра гремели по радио победные марши и торжественные залпы салютов.

И, переждав, пока отгромыхает очередной салют, Валентина Яковлевна сказала:

— Вот что, Семен, тебя приглашают жить с ними Викторovy. Ты, может быть, обратил на них вчера внимание? Мать и дочь. Они такие... — Валентина Яковлевна замялась, подыскивая слово, — ну, тонкие, что ли... Они москвички и собираются на днях возвращаться домой. Они тут были в эвакуации... У них в Москве очень хорошая квартира, на Чистых прудах... Правда, они не знают, что с нею, с этой квартирой, уцелела ли она, но они надеются... Мать зовут Аглая Николаевна, она преподаёт французский язык. А дочку зовут Адель. Ей пять лет. Это ей ты очень понравился, и она сказала, что хочет, чтобы ты был её старшим братом! Что ты, Семен, по этому поводу думаешь?

— Можно, — сказал Таратута, неподвижно глядя ку-

да-то в одну точку перед собой. И, подумав, добавил: — Только я Викторовым не буду. Я — Таратута.

В жаркий июньский день Аглая Николаевна, Адель и Семен приехали в Москву. В Москве, на Чистых прудах, их ждала радость, похожая на чудо. Квартира Викторовых — на втором этаже стоявшего во дворе флигеля — не только уцелела, но как закрыла ее Аглая Николаевна, уезжая с Аделью в эвакуацию, так она и простояла всю войну — нетронутая, невзломанная, живая и невредимая.

— Чудо, чудо, чудо! — пела Аглая Николаевна, бесшумно и стремительно перебегая из комнаты в комнату — а комнат было целых три, — открывая окна, сдирая со стекол наклеенные крест-накрест — на случай воздушного нападения — полоски бумаги, поднимая со звоном тяжелые крышки обитых медью старинных сундуков, распахивая дверцы шкафов.

— Чудо, чудо, чудо! — тоненько вторила матери Адель, заводя ключом большие, стоявшие на полу часы и весело поглядывая на Таратуту.

— Чудо, чудо, чудо! — поддавшись настроению этого общего торжества, пел и Семен — и как зачарованный смотрел на шахматный столик, украшенный перламутровой инкрустацией, с расставленными на нем фигурками из пожелтевшей кости.

Шахматы Таратута видел и раньше. Горбатенький воспитатель Никольский, за неимением партнеров, играл иногда по вечерам сам с собой, разбирая этюды и задачи, и, обратив внимание на интерес Таратуты, показал ему, как ходят фигуры. Но доска, на которой играл Никольский, была обыкновенной замызганной картонкой, расчерченной от руки на шестьдесят четыре клетки, и фигуры — деревяшки с облупленной краской, и пуговица от кальсон заменяла белую пешку, а пустой спичечный коробок — черную ладью.

А тут король и королева были действительно королем и королевой; и кони, вставшие на дыбы, рвались в атаку, в бой; и тяжелые лады, с распущенными парусами, готовы были нанести противнику беспощадный и сокрушительный удар; и пешки-пехотинцы скромно до поры

стояли, выстроившись в ряд, в ожидании, пока их пошлют в разведку или бросят в самую гущу сражения.

— Ты играешь в шахматы? — спросила Аглая Николаевна.

— Нет, — честно признался Таратута. — Как ходить — знаю.

— Учись! — негромко сказала, почти попросила Аглая Николаевна. — Андрей Александрович — мой покойный муж — очень увлекался шахматами. А я любила смотреть, как он играет. Я ложилась на диван — с книжкой — и тихонько смотрела, как он думает, переставляет фигуры, радуется и огорчается... Постарайся научиться играть. И постарайся научиться играть хорошо!

Уже через год Таратута на всемосковском турнире школьников получил второй разряд. Учился он в школе № 41 Бауманского отдела народного образования, у Покровских ворот, в Колпачном переулке. Потом в эту школу поступила и Адель. Дома мать и дочь говорили друг с другом, легко переходя с русского на французский, или, как смеялась Аглая Николаевна: «Говорим туда и обратно».

Со временем с помощью Адели научился и Таратута говорить «туда и обратно».

И в зимние вечера, если Аглая Николаевна не была слишком усталой, они устраивали коллективные чтения по-французски.

Чаще всего по очереди читали «Дневники» Ренана и хохотали до слез, когда Таратута патетически восклицал: «Граждане! Если мои сведения точны, то отечество в опасности!..»

Адель, подрастая, хорошела до невозможности, вытягивалась, становилась беспокойнее, нервнее. К увлечениям ее, всегда бурным и коротким, относились в доме почему-то без всякого интереса, а над романами Тарату-ты, тоже бурными и короткими, посмеивались. Впрочем, один из этих романов, с паспортисткой из районного отделения милиции, оставил в жизни и в паспорте Тарату-ты загадочный след — прочерк в графе «национальность». И за все годы, что прожили они вместе, ни мать,

ни дочь ни единым словом, намеком, взглядом не дали Таратуте почувствовать, что он в этом доме все-таки посторонний.

Впрочем, сам он об этом не забывал никогда. По окончании школы он устроился работать в типографии, а в свободное время пропадал на Гоголевском бульваре, в шахматном клубе, где, сыграв в нескольких турнирах, довольно легко получил звание кандидата в мастера.

Потом был Двадцатый съезд КПСС, речь Хрущева, вынос «корифея всех наук» из Мавзолея, и Таратута уже не назывался больше «сыном врагов народа», а стал «сыном незаконно репрессированных по ложному доносу польских товарищей Сильвии и Яна Таратуты».

Не бросая работу в типографии, Таратута поступил в институт иностранных языков, на вечернее отделение.

В душный июльский вечер, через день после того, как Таратута сдал последний государственный экзамен, а Адель перешла на третий курс полиграфического института, Аглая Николаевна умерла. Умерла она так же бесшумно и стремительно, как жила: прикорнула с книжкой в уголке дивана, уснула и не проснулась.

Похоронили ее на Ваганьковском кладбище, в могиле мужа.

Адель и Таратута не устраивали поминок, они даже и не знали, как это делается. После похорон они просто вдвоем вернулись домой и долго, до самых сумерек, сидели друг против друга у открытого окна, молчали и курили. Может быть, им это казалось, но какая-то удивительная тишина стояла в тот вечер — и в доме, и во дворе, и даже на улице. Когда старинные часы, которые так тщательно каждый понедельник заводила Адель, пробили одиннадцать, Адель вздохнула и сказала:

— А я выхожу замуж.

— За кого? — тупо спросил Таратута, чувствуя, как у него что-то обрывается внутри и появляется противная тошнота в коленках.

— За одного человека! — сказала Адель, и глаза ее в темноте сверкнули неожиданно по-кошачьи. — Он ино-

странец. Нам обещали дать разрешение, мы поженимся, и я с ним уеду. А ты оставайся. Ты же здесь прописан.

— Я тоже уеду, — сухо сказал Таратута. — У нас еще не было комиссии по распределению, но мне уже сказали, что на меня есть заявка из Одессы.

— Ну, тогда квартиру придется сдать, — сказала Адель и, наклонившись, положила руку на руку Таратуте. — Тебе, наверное, хотелось бы что-нибудь иметь на память о маме? Возьми «Декабриста Лунина», хочешь?..

В давние двадцатые — тридцатые годы профессор истории Андрей Александрович Викторов начал собирать коллекцию миниатюр. Коллекция была небольшая, но собиралась с большим пониманием и любовью, подделок или дешевки Андрей Александрович не брал, и когда Аглая Николаевна уезжала с Аделью в эвакуацию, единственное, что взяли они из дому, — это коллекцию миниатюр. И ее же первым делом вновь развесили они на стене в первый день, в первый час по возвращении в Москву. Когда покупка нового зимнего пальто, или болезнь, или поездка в Крым наносили непоправимый урон семейному бюджету, в доме Викторových неизменно появлялся худой длинноносый старик, с одышкой, с шаркающей походкой, с очень внимательными беспощадными глазами.

Адель и Семен ненавидели его до глубины души.

— Ну-с! — говорил длинноносый, вытаскивая из бокового кармана большую лупу в черепаховой оправе, и принимался тщательно изучать миниатюры, хотя и до этого видел их уже не один раз.

Аглая Николаевна — наверное, специально для Адели и Семена — делала вид, что расстается с экземплярами коллекции без жалости, легко, и только в том случае, если длинноносый тыкал желтым пальцем с обкусанным ногтем в миниатюру, на которой был изображен молодой человек с высоким крутым лбом под спутанными волосами, с открытым лицом, в белой рубашке с отложным воротником а-ля Байрон, Аглая Николаевна говорила коротко и решительно:

— Нет! «Декабрист Лунин» не продается!

Никаких доказательств, что молодой человек на миниатюре был действительно декабристом Луниным, Аглая Николаевна не приводила, очень сердилась, когда кто-нибудь пытался с нею по этому поводу спорить, и требовала в таких случаях доказательства от обратного:

— А докажите, что это не декабрист Лунин!..

Несколько раз, уже из Одессы, Таратута писал Адели по адресу, который она оставила ему на прощание. Но письма возвращались обратно, с пометкой «Адресат был»...

Обогнув памятник герцогу Ришелье, вокруг которого, как всегда, толпились иностранные туристы — и худенький, изящный герцог стоял, как Зевс-громовержец, озаряемый вспышками блицев, — Таратута пошел по Пушкинской улице вниз, к вокзалу.

Ему смертельно не хотелось возвращаться в опостылевшую гостиницу, в безликий, пахнувший хлоркой, опостылевший гостиничный номер, и он, перебрав в уме всех своих немногочисленных одесских знакомых, решил навестить Алешу Тучкова.

Во-первых, Алеша был хром, передвигался при помощи двух костылей и почти наверняка сидел дома, а во-вторых, с Алешей можно было ни о чем не говорить, а просто сгонять несколько партий в шахматы.

Проходя мимо подъезда двадцать второй поликлиники, в которую ему завтра к часу дня предстояло явиться, Таратута усмехнулся. Ему неожиданно вспомнились слова этого толстенького, неуклюжего майора: «А зачем вам все это нужно?..»

Таратута и сам не знал, зачем ему все это было нужно.

Жизнь его в Одессе складывалась поначалу обыкновенно и благополучно, такая нормальная жизнь советского учителя — с уроками, профсоюзными собраниями, вечерами отдыха, с кружками по изучению марксизма-ленинизма и техники подводного плавания, с мелкими несерьезными склоками по мелким и несерьезным поводам.

И даже романы — с преподавательницей физкультуры и с актриской из театра оперетты — были тоже мелкими

и несерьезными и не принесли Таратуте ни огорчений, ни радости. Неприятности у Таратуты начались после шестидневной израильской войны тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года.

Война эта как бы разделила друзей и знакомых Таратуты на два лагеря: на тех, кто скрепя сердце придерживался лжи официальной пропаганды — и для Таратуты эти друзья и знакомые перестали существовать навсегда, — и на тех, в ком эта война вызвала прилив «израильского патриотизма», ликования, обильных пиршеств, за которыми последовали личные и коллективные заявления в ОВИР (Отдел виз и регистрации) с требованием разрешения выехать на свою «историческую родину».

Поддавшись общему настроению — и особенно уговорам Беллы и Лени Капланов, художников Одесской киностудии, — подал заявление на выезд и Таратута.

Месяца через три ему в разрешении выехать было отказано, и, несмотря на страстные уговоры Капланов «продолжать борьбу», Таратута махнул рукой и постарался обо всем этом позабыть.

Но не забыли, конечно, об этом где-то там, где-то в тех таинственных кабинетах, на дверях которых висят таблички с надписью «Посторонним вход воспрещен», где в суровых шкафах и сейфах хранятся личные дела всех, от мала до велика, граждан страны победившего социализма. И в папках этих, помимо сведений общего, анкетного порядка, имеются еще особые галочки, закорючки, значки, означающие нечто такое, что вспомнится, что должно непременно вспомниться тогда, когда наступит надлежащая минута.

Таратута как-то не очень обратил внимание на то, что из руководителя курса он стал разовым преподавателем, что вместо двенадцати часов занятий в неделю ему оставили всего четыре, с соответствующим понижением жалованья, а во Дворце пионеров вел он теперь не группу разрядников, а возился с малышами-начинающими.

Несколько его знакомых, в том числе и Капланы, после всевозможных мытарств все-таки добились разрешения уехать в Израиль — и потянулись, как деревен-

ские свадьбы, вечера-проводы, на которых пили, плакали, произносили невнятные тосты, клялись не забывать друг друга, и под конец кто-нибудь, из числа провожающих, непременно произносил на плохом иврите фразу, которая звучала загадочно, обещающе и прекрасно:

— В будущем году в Иерусалиме!

Из Иерусалима Капланы прислали Таратуте открытку с изображением Стены плача.

В открытке Леня сообщал, что у них, слава богу, все хорошо, но он надеется, что будет лучше.

Таратута пересек привокзальную площадь и пошел прямо по мостовой, мимо палаток колхозного рынка, который упрямые одесситы называли по старинке Привозом.

Уже начинались сумерки, палатки были закрыты, торговые ряды пусты, и только у запертых деревянных ворот стоял корявый дед-мухомор и держал на вытянутом черном пальце соломенную корзинку, в которой на самом дне лежало несколько копченых рыбешек.

— Эй, дед, почем акулы? — привычно спросил Таратута и, не дожидаясь ответа, зашагал дальше.

Жил Алеша Тучков за линией железной дороги, в старом слободском районе, где кривые и запутанные переулки сходились и пересекали друг друга под самыми немислимыми углами, где одноэтажные дома были обнесены прочными глухими заборами, а за ними, за этими заборами, гремели цепями и отчаянным лаем заходились по ночам сторожевые псы.

Таратута отчетливо помнил, что, пройдя палатку «Пиво — воды», следовало обогнуть огромную лужу, не просыхавшую даже в самую жаркую пору, а уже после лужи повернуть направо не то в первый, не то во второй переулок. На всякий случай Таратута свернул в первый и внезапно услышал за собой шаги.

Он оглянулся — два молодых человека, возникшие как бы из ниоткуда, из пыли, из сумерек, следовали на некотором отдалении за ним.

Они были чем-то странно друг на друга похожи, эти молодые люди, похожи, как два эстрадных танцора, как два безымянных гангстера из многосерийного гангстер-

ского фильма, в черных и словно нарочито узких костюмах, в черных галстуках-бабочках и черных, надвинутых на самые брови шляпах. Они шли молча, не торопясь, и когда Таратута слегка ускорил шаги, они тоже пошли чуть быстрее, но по-прежнему молча, бесстрастно, немумолимо.

Таратута, уже не разбирая дороги, снова свернул в какой-то проулок. Где-то на железнодорожных путях протяжно и тоскливо проревел маневровый паровоз, а когда он умолк, Таратута снова услышал за собою шаги и, чувствуя постыдный липкий страх, рванулся бежать, но тут впереди от стоявшей у обочины черной «Волги» отделился какой-то человек и сказал напевно и негромко:

— А я вам говорю, что никому теперь нельзя верить! Можете себе представить: купил у Ваню Шенгеля швейцарские часы «Мозер»! Это фирма, я вас спрашиваю?!

Таратута, опешив, остановился. Человек, стоявший перед ним, был великаном с детским лицом, с детскими бровями кустиком над прозрачно-синими глазами, с великаньей детской ямочкой на великанье-детской щеке. Но больше всего поразило Таратуту, что одет был этот великан точно так же, как и те двое, что преследовали его, — в черный костюм, с черным галстуком-бабочкой на белой накрахмаленной рубашке.

— Так вот, эти самые знаменитые часы «Мозер» останавливаются по три раза в день! — Великан дружелюбно улыбнулся Таратуте: — Или вы мне скажете — который сейчас точно час?

Таратута вытащил руку из кармана, и в это мгновение сзади его чем-то быстро и сильно ударили по голове, и сначала ему показалось, что он слышит собственный крик, но это ему, разумеется, только показалось, потому что он упал, словно провалился в небытие, и ничего уже больше не чувствовал, не видел, не слышал.

4

Он очнулся, или, вернее, его разбудили громкие голоса, смех, громыханье посуды, бренчанье гитары — где-то рядом, за стеной, по соседству, происходило пиршест-

во, а сам Таратута лежал на узкой и неудобной кушетке в очень маленькой полутемной комнате, вся обстановка которой, собственно, и состояла из этой кушетки, нескольких стульев и письменного стола, заваленного бумагами.

Настольная лампа под зеленым абажуром была накрыта сверху вафельным полотенцем, и такое же вафельное полотенце — но только влажное — лежало на голове Таратуты, на том самом месте, что повыше виска, где пришелся удар.

Рубашка-«гавайка» была расстегнута на груди, польские мокасины стояли внизу под кушеткой, а демократически-клетчатый пиджак аккуратно висел на спинке стула.

Таратута чуть приподнялся на локте, удивляясь тому, что не чувствует боли — только какую-то странную успокоительную усталость.

За стеной повелительный женский голос, перебивая общий шум, крикнул:

— Умер-шмумер, кому это интересно?! Ша об абортах — Ваню будет петь!

Гитара зазвенела громче, а потом необыкновенно чистый и глубокий баритон, выговаривая старые русские слова с неожиданными грузинскими придыханиями и цоканьем, запел:

В том саду, где мы с вами встретились,
Ваш любимый куст хризантем расцвел.
И в душе моей расцвела тогда
Жажда нежная чистой любви...

На редкость слаженный, с тончайшими подголосками хор подхватил:

Отцвели уж давно
Хризантемы в саду...

Потом, после короткой паузы, баритон одиноко закончил:

Но любовь все живет
В моем сердце больно!

Повелительный женский голос всхлипнул:

— Ах, Ваню!..

Раздались аплодисменты и одобрительные возгласы.

Тихонько скрипнула дверь, и Таратута, дернувшись и на этот раз почувствовав боль, увидел, что в освещенном проеме двери стоит тот самый великан.

— Очнулись, Семен Янович? Вот и хорошо! Как чувствуете?

— Где я? — задал Таратута вполне естественный в его положении и вместе с тем звучащий почему-то пошло вопрос.

— Вы в ресторане Фанкони, Семен Янович, — ответил великан-младенец и опустился на стул, стоявший возле кушетки. — Теперь он называется ресторан «Волна». Вы лично лежите в кабинете администратора, он его нам любезно уступил, когда мы с вами сюда приехали... Я надеюсь, Семен Янович, я хочу надеяться от всей глубины сердца, что вы забудете это кошмарное недоразумение! Вы понимаете, есть в Одессе один человек... Нет, вообще-то их много, но в данном случае речь идет об одном, который имеет скверную привычку, чтобы не отдавать долги... Ну, и наш друг из Ташкента обратился к нам, чтобы сделать этому человеку небольшое внушение... Вы, я думаю, понимаете, Семен Янович, что я сам подобными делами не занимаюсь, на это у нас есть мальчики — Валерик, Толик, другие... Но сегодня особенный день, мы все торопились сюда, к Фанкони, на юбилей месье Раевского, так мальчики попросили, чтобы я их подвез...

— А кто вы такой? — строго спросил Таратута. — И почему вы знаете мое имя?

— Видите ли, Семен Янович, ошибки в жизни случаются с каждым! — сказал великан-младенец и деликатно кашлянул в кулак. — Нам было совершенно точно указано время и место, но когда вы подошли, так я сразу почувствовал, что здесь что-то не так... Но было поздно! Потом, уже в машине, мы, извините, посмотрели ваши документы, и я так расстроился, что едва не поехал на красный свет... Человек играет в шахматы, — вы ведь не представляете, Семен Янович, какое я имею уважение к этой игре... У меня в мастерской висит портрет Фимы Геллера с его собственноручной подписью... Так вот —

человек играет в шахматы, а его бьют по голове! Это же кому-нибудь рассказать, так не поверят!

— Чем, кстати, меня ударили? — все так же строго спросил Таратута и потрогал пальцем ушибленное место.

Великан весело улыбнулся — на щеке появилась детская ямочка — и пожал плечами:

— Об чем будем говорить?! Мешочек с песком, Семен Янович, всего ничего. Мальчишкам же было поручено просто сделать, чтобы человек знал, что о нем помнят.

Великан встал, поправил галстук-бабочку, проговорил сдержанно и скромно:

— А теперь, Семен Янович, разрешите представиться — по паспорту я Валерий Исаевич Шиндель, очень приятно. Но вы же, хоть вы и не коренной одессит, вы же знаете Одессу. В Одессе не могут без кличек. Так вот, друзья и знакомые — и даже незнакомые, — они меня называют Валя-часовщик.

— Валя-часовщик?!

Таратута от удивления даже сел.

Валя-часовщик!

Валя-часовщик в Одессе был личностью почти легендарной, кем-то вроде современного Мишки Япончика. Многие вообще сомневались, существует ли он на самом деле, этот некоронованный король блошиного рынка, подпольный миллионер, глава всех комбинаторов и махеров, человек, за которым уже добрый десяток лет безуспешно гонялись работники Отдела борьбы с хищением социалистической собственности (ОБХСС), человек, о котором рассказывали десятки самых невероятных историй, рассказывали со злобою и со смехом, с огорчением и тайной радостью.

Увидев, какое впечатление произвело на Таратуту его имя, Валя-часовщик улыбнулся:

— Слышали обо мне?

— Да, я о вас слышал! — медленно проговорил Таратута.

— Одесса! — вздохнул Валя-часовщик. — Человек сидит в своей мастерской, в подворотне на улице Карла Маркса, бывшей Екатерининской, чинит часы, выпол-

няет и даже перевыполняет план — так к нему каждый день ходят всякие типы, в форме и не в форме, и морочат голову, что вчера я будто бы был в Тбилиси, а позавчера во Львове, а третьего дня в Риге, и где мои бриллианты, и где трикотаж, нейлон, и так далее и тому подобное...

Ну, они как приходят, так и уходят, но вы же понимаете, Семен Янович, что мне обидно...

Грузинский баритон из-за неплотно прикрытой двери громко позвал:

— Валя, где вы пропали? Мы вас ждем!

— Сейчас мы идем! — ответил Валя-часовщик, бережно снял со спинки стула клетчатый пиджак, церемонно протянул его Таратуте: — Я вас прошу, Семен Янович... Сегодня, я это уже говорил, очень знаменательный день. Восемьдесят лет месье Раевскому, можете себе представить?! Сейчас вы его увидите, так вы ахнете! Это не человек, а живой музей! Он всех нас учил, когда мы еще были слепыми!

В небольшом банкетном зале за парадно накрытым столом сидело человек двадцать гостей — пришедших, приехавших, прилетевших в Одессу специально, чтобы отпраздновать юбилей своего старейшины, своего, как выражаются дипломаты, дуайена, Антона Ильича Раевского, старого комбинатора, всего лишь несколько лет тому назад удалившегося на покой. Здесь, за этим парадным столом, подтверждая, так сказать, воочию мудрость национальной политики, сидели жулики из многих республик — из Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Латвии и, разумеется, одесситы — русские и евреи.

И все мужчины, все как один, были в строгих черных костюмах, с черными бантиками, и перед каждым стояла на столе персональная бутылка армянского марочного коньяка, а перед женщинами — они были в явном меньшинстве — бутылка кахетинского или муската и букет цветов. Валя-часовщик усадил Таратуту на почетное место — по правую руку от юбиляра, месье Раевского, сухонького старичка в пенсне, с каким-то нежным цыплячьим пухом на голове и с маленькими; очень выхоленными и очень подвижными руками. Месье Раевский,

единственный из всех присутствующих, пил не коньяк, а минеральную воду.

Два молодых человека на другом конце стола, увидев Таратуту, поспешно потупили глаза и сделали вид, что они поглощены едой.

— Узнали, Семен Янович? — улыбнулся Валя-часовщик. — Валерик и Толик. Вы не держите на них зла, Семен Янович! Произошло кошмарное недоразумение! А вообще-то они очень хорошие мальчишки из очень хорошей семьи — у них папа заведующий еврейским кладбищем.

— Ясно! — сказал Таратута. — Папа заведует кладбищем, а сыновья поставляют ему клиентов.

Валя-часовщик хохотнул, потрепал Таратуту по плечу и с неожиданной для своих великаньих размеров легкостью поднялся, подошел к пожилому грузину, который сидел, чуть отодвинувшись от стола, и держал на коленях гитару. Валя-часовщик, наклонившись, что-то зашептал ему на ухо, и пожилой грузин улыбнулся, медленно повернул голову, весело и внимательно поглядел на Таратуту.

— Хорошо! — громко сказал он и бережно отложил в сторону гитару.

Валя-часовщик вернулся на свое место, сел, спросил:

— Семен Янович, вы какой коньяк уважаете больше — армянский или французский?

— У меня что-то с печенкой...

— Друзья мои! — Пожилой грузин встал, плеснул себе в бокал, на самое донышко, несколько капель коньяку, поднял бокал и проговорил уверенно и небрежно: — Друзья мои! Будем считать, что небольшой художественный перерыв закончен, и я позволю себе вернуться к исполнению своих прямых обязанностей... Мы уже пили за здоровье нашего юбиляра, нашего дорогого Антона Ильича Раевского, и мы еще будем за него пить, но сейчас я хочу поднять тост за прекрасного человека, которого знают пока не все, но те, которые знают, уже горячо любят! — Он снова весело посмотрел на Таратуту, которому Валя-часовщик поспешно пододвинул бокал с коньяком. — И для того чтобы, друзья мои, этот тост был вам

более понятен, я расскажу одну короткую притчу... Вот летит птица... Она летит, смотрит по сторонам и видит — стоит Казбек... Могучая гора со снеговыми вершинами, с глубокими ущельями... Стоит Казбек, и где-то внизу проплывают облака, а на вершинах — снег, тишина, вечный покой... А птица летит и летит... Она долго летит и видит — Эльбрус! Тоже могучая гора, и тоже облака проплывают где-то внизу, а наверху — снег, лед, тишина... А птица летит и летит... И вот она пролетает мимо Тбилиси, мимо «Белого духана», и заглядывает в окно, и видит, что сидят вместе, за одним столиком, два человека, назовем их Коля Дондуа и Бенья Шапиро, а они сидят, и едят шашлык, и пьют кахетинское... И что же думает птица?! А вот что она думает — гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится! Так думает птица, и она правильно думает! Давайте же выпьем за нашего нового знакомого, который когда-нибудь, я в этом уверен, станет нашим старым знакомым, — за Семена Яновича Таратуту!

И все, кроме месье Раевского — он только похлопал в ладоши, — поднялись со своих мест и выпили за здоровье Таратуты, и даже мальчики — Валерик и Толик — покивали ему с другого конца стола и сделали руками жест, означавший, что — как уже заметил Валя-часовщик — ошибки в жизни случаются с каждым и что они просят не держать на них зла. А коньяк был и вправду замечательный, редчайшего букета армянский коньяк, и Таратута, выпив, почувствовал, как теплеет у него в груди и как странное чувство успокоительной усталости сменяется успокоительной беззаботностью и легкостью.

А Валя-часовщик налил ему еще, и Таратута, неожиданно для самого себя, спросил:

— Скажите мне, Валя... Это ничего, что я вас так называю?

— А как же вам еще меня называть?! — удивился Валя-часовщик.

— Хорошо. Скажите мне, Валя, объясните мне — а почему, собственно, вы так со мною возитесь? Вы же могли просто уехать...

— Семен Янович, что вы говорите?! — с искренней

обиidou в голосе перебил его Валя-часовщик и даже всплеснул руками. — Мы же не какие-нибудь бандиты, чтобы оставить человека лежать на улице в бесчувственном состоянии. Тем более что, по сводке погоды, к вечеру ожидается дождь! Нет, мы взяли вас в машину, чтобы отвезти домой. Но когда мы посмотрели ваши документы и увидели, что, во-первых, вы шахматист, а я вам уже сказал, какое уважение я имею к этой игре... и что, во-вторых, вы живете в гостинице, так мы решили привезти вас лучше сюда. Ну, а уже здесь Ваню — тот, который сейчас говорил тост, — он узнал вас... Он видел, как вас сегодня забирали в милицию за то, что вы требовали освободить Михаила Моисеевича Лапидуса...

— И вы решили, что я из ваших?

Валя-часовщик искоса, слегка прищурясь, посмотрел на Таратуту, медленно покачал головой, и лицо его на какую-то долю секунды изменилось до неузнаваемости — оно вдруг стало умным и немножко печальным.

— Нет, Семен Янович, — негромко сказал Валя-часовщик, — вы не из наших! И не дай вам бог стать когда-нибудь нашим! И поверьте, что я это говорю вполне серьезно.

— А почему?

— А потому, Семен Янович, что ни один человек из тех, что сидят сейчас за этим столом, не знает, что будет с ним завтра, и не может спать спокойно. А здесь — и вы опять-таки можете мне поверить — сидят люди, у которых есть деньги... Они, конечно, не Онасисы или Ханты, но они могли бы многое себе позволить. И не имеют этой возможности. Поганая «Волга», на которой я езжу, так она тоже официально мне не принадлежит. Один уважаемый доктор наук дал мне будто бы доверенность, что я имею право пользоваться его машиной. Но ОБХСС к этому доктору наук не ходит, оно ходит ко мне. А уважаемый доктор наук содрал с меня за эту старую рухлядь вдвое больше, чем стоит новая «Волга». Но я не могу иметь свою машину, потому что я сижу в подворотне на Карла Маркса, бывшей Екатерининской, и чиню часы... И все, Семен Янович, в этом роде! Круговорот азота в

природе! Да, кстати, а каким образом вы знакомы с Лapidусом?

— А я с ним не знаком! — сказал Таратута, снова и намного внимательнее, чем в первый раз, разглядывая сидящих за столом. — Мне просто рассказали о нем, и я... — Не договорив, он задержался взглядом на курносой девчонке в форме стюардессы, спросил: — А вон та стюардесса, она из ваших?

Валя-часовщик улыбнулся:

— Катюша? Из наших. У нас, Семен Янович, налажен воздушный мост Одесса — Тбилиси. Вы же понимаете, далеко не все можно посылать по почте... Катюша — это наш лучший связной.

Он наклонился к Таратуте, тихо спросил:

— Интересуетесь, Семен Янович? Вы скажите, это можно устроить.

Таратута смущенно поежился, снял очки, подышал на стекла, протер их платком, надел:

— Но она же девчонка, Валя! Ей же лет семнадцать, не больше.

— Восемнадцать, для точности! — заметил Валя-часовщик. — Но это не имеет значения! В женщине, Семен Янович, значение имеет не возраст, а вес. Если больше, чем тридцать пять килограммов, — то все в порядке. Меньше, чем тридцать пять, — можно получить неприятности... — И, окончательно развеселившись, Валя-часовщик громко окликнул: — Катенька, деточка! Скажи дяде Вале, какой у тебя будет живой вес?

— Сорок четыре, дядя Валя! А что?

Валя-часовщик снова засмеялся и игриво толкнул Таратуту плечом:

— Вот видите, Семен Янович! Но только, между прочим, я имею к вам лучшее предложение. Я даже удивляюсь на самого себя, как я об этом сразу не подумал. У меня есть две хорошие знакомые — Лида и Тоня. Вы смотрели, Семен Янович, кино «Королева Шантеклера»? Так вот, эта самая королева — она может, как говорится, бегать Лидочке и Тоне за пивом... У вас в гостинице, Семен Янович, я надеюсь, отдельный номер?

— Отдельный.

— Ну вот! — удовлетворенно кивнул Валя-часовщик. — Когда наш небольшой товарищеский ужин закончится, вы идите домой и ждите... Я отвезу месье Раевского, потом я заеду за Лидочкой и Тонечкой. А потом мы приедем к вам.

— Друзья мои! — Это опять с бокалом в руках поднялся пожилой грузин-тамада и, когда все сидевшие за столом замолкли, проговорил прочувствованно, торжественно и негромко: — Дорогие мои друзья! Я хотел бы, я очень хотел бы, чтобы сейчас, в эту минуту, в эту долю мгновения, остановились бы все часы на свете, как они почему-то останавливаются у нашего друга Вали-часовщика...

Он усмехнулся, а Валя-часовщик, взглянув на свои часы и удостоверившись, что они и вправду снова остановились, погрозил тамаде пальцем.

— Но, — чуть громче сказал тамада, — только глупые люди думают, что часы и время — это одно и то же. Нет, друзья мои, мы-то с вами знаем — часы могут остановиться, а время не останавливается, оно идет и идет... Но некоторые часы иногда показывают точное время. И я вижу, как мои скромные часы «Полет» нашего, отечественного производства — и поэтому я им, разумеется, верю — показывают, что сейчас восемь часов тридцать минут. А наш дорогой юбиляр, наш горячо любимый и уважаемый Антон Ильич Раевский — мы все об этом помним — имеет привычку, чтобы не позже чем в десять часов ложиться спать! Я уверен, что еще не раз мы будем сидеть за этим или за каким-нибудь другим столом, и поднимать тосты за здоровье Антона Ильича, и желать ему долгих и счастливых лет, и все-таки... Я представляю себе, как я возвращаюсь к себе в Тбилиси и меня встречает моя доченька, моя красавица Натэллочка, и первое, что она меня спрашивает: «Папа, — спрашивает она, — а какую историю рассказывал тебе месье Раевский?» И неужели я ее огорчу? Неужели я ей отвечу, что наш дорогой Антон Ильич Раевский не рассказал нам на этот раз никакой истории?! Быть этого не может! — Он повернулся к Раевскому: — Дорогой Антон Ильич! Я не сомневаюсь, что выражу общую просьбу — расскажите нам, по-

жалуйста, какую-нибудь историю, какой-нибудь поучительный случай из вашей благородной и замечательной жизни! Просим!

И все в один голос поддержали тамаду:

— Просим!

Пышнотелая блондинка, сидевшая рядом с тамадой, повелительно крикнула:

— Ша! Антон Ильич, миленький, расскажите что-нибудь из царского времени!

— Просим!

Антон Ильич Раевский жеманно, по-актерски поулыбался — ну чего, дескать, пристали, — но тут же, не дожидаясь повторных просьб, встал, повел из стороны в сторону остреньким носиком, словно к чему-то принюхался, напевно произнес:

— Медам и месье!

Кстати, некоторых читателей может, вероятно, удивить эта форма обращения: «Медам и месье».

Дело в том, что в начале прошлого века одним из генерал-губернаторов Новороссийского края, в состав которого в ту пору входила Одесса, был француз — герцог Ришелье. Герцог этот — «дюк» Ришелье — приложил немало стараний для благоустройства Одессы, именно с тех лет начинается современная история этого города, и поэтому всякий уважающий себя одессит — от торговки семечками с Пересыпи до зубного техника на Садовой — совершенно твердо убежден, что в его жилах течет капелька благородной французской крови.

— Медам и месье! — сказал Антон Ильич Раевский. — Я вам расскажу...

**РАССКАЗ АНТОНА ИЛЬИЧА РАЕВСКОГО
О ТОМ, КАК В 1910 ГОДУ ПРИЕЗЖАЛ НА ГАСТРОЛИ
В ОДЕССУ ВЕЛИКИЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ТРАГИК
ТОММАЗО САЛЬВИНИ**

— Видите ли, медам и месье, этот замечательный день, который я запомнил на всю мою жизнь, начался довольно-таки паршиво! Был я тогда человек молодой, горячий, хватался за все... Ну, и среди прочих дел занимался

немножко антрепризой. Конечно, на то, чтобы привозить в Одессу крупные имена — Яшу Зингерталя или Шаляпина, — на это я еще не имел подходящего капитала, но как раз осенью тысяча девятьсот десятого года мне удалось выписать из Петербурга Сашу Потемкина. Такой, знаете, русский богатырь, красавец. Играл сам на гармошке и пел куплеты. Женщины по нему сходили с ума! Так вот, у этого Саши Потемкина по дороге из Петербурга в Одессу разболелись зубы, а когда он приехал, так у него начался флюс. Вот такая раздутая щека, говорить не может, только стонет, матерится и хлещет водку! А у меня снят зал в Аркадии, у меня висят афиши, у меня продаются билеты... Что делать, я вас спрашиваю?! Я беру этого Сашу Потемкина, сажаю его на извозчика и везу на Екатерининскую. Там живет моя знакомая женщина, зубной врач, Ревекка Захаровна Гордон. Красавица, между прочим, брюнетка! Она приглашает нас в кабинет вне очереди, предлагает Саше Потемкину сесть в кресло и открыть по возможности рот, наклоняется к нему и... Ну, вы, я думаю, догадываетесь, что делает такой Саша Потемкин, когда к нему наклоняется интересная женщина с пышным бюстом. Сначала Ревекка дала ему по морде, потом она дала по морде мне, потом мы у нее просили прощения, и она нас простила. В общем, я оставил их вдвоем, а сам поехал домой. Я приезжаю домой, меня встречает жена и говорит: у тебя, говорит, был какой-то очень важный господин и оставил тебе свою визитную карточку. Она подает мне карточку, так уже по одной этой карточке я понимаю, что тут что-то особенное — бристольский картон с золотым обрезом. И крупными буквами напечатано: «Теофинос Кастаки, негоциант». А сбоку от руки приписано: «Жду вас в гостинице «Лондонская», в номере три, прошу явиться не мешкая. Т. К.». Так прямо и написано, черным по белому: «прошу явиться». Ну, я меняю сорочку, еще раз бреюсь, опрыскиваюсь одеколоном и еду. В гостинице «Лондонская», внизу, меня спрашивают, как моя фамилия, я называю, меня провожают к дверям третьего номера, я стучу и слышу приятный голос: «Войдите!» Я вхожу и

вижу — на диване полулежит пожилой, но еще довольно интересный господин с черными усами, в шелковом красном халате с золотыми драконами — я потом купил себе точно такой же, — рядом с ним сидит роскошная дамочка, которая ему годится если не во внучки, то в дочки, во всяком случае. И на дамочке кисейный пеньюар, — откровенно говоря, его могло и не быть, такой он был прозрачный... Но я на дамочку не смотрю, а смотрю на господина Кастаки — я сразу понял, что это и есть Кастаки, — и представляюсь скромно, но с достоинством:

— Раевский!

— Садитесь, господин Раевский! — говорит Кастаки и показывает мне рукой на кресло.

Я сажусь, подтягиваю брюки, жду.

— Видите ли, господин Раевский, — говорит Кастаки, — вы, надо полагать, читали в газетах сообщение о том, что в Одессу на гастроли приезжает мой друг, великий итальянский трагик Томмазо Сальвини.

— Разумеется, — говорю я, и говорю неправду, потому что я так замучился с этим Сашкой Потемкиным, что уже, наверное, целый месяц не читал никаких газет.

— Мой гениальный друг синьор Томмазо Сальвини приедет в Одессу ровно через неделю, — продолжает Кастаки. — Он будет играть в цирке знаменитую пьесу английского драматурга Шекспира «Юлий Цезарь». Из римской жизни.

Я киваю головой на всякий случай, но ничего не говорю, жду.

— Так вот, господин Раевский, нам нужны римляне! Нам нужна толпа, нам нужны сенаторы — ну, одним словом, римляне! И побольше!

Я глотаю слюну и спрашиваю:

— Сколько?

— Тысяча человек по крайней мере.

— Молодые или постарше?

— Молодые, — говорит Кастаки, смотрит на дамочку в пеньюаре и грустно улыбается. — Из молодых в крайнем случае можно сделать старых. Наоборот, к сожалению, получается много хуже.

— Когда вам нужна, господин Кастаки, эта тысяча человек? — спрашиваю я.

— Завтра.

— Хорошо! — говорю я и встаю.

Кастаки и дамочка в пеньюаре начинают смеяться. Они смеются, а я стою, жду.

— Неужели, — говорит Кастаки, — вы действительно уверены, господин Раевский, что за один день вы сумеете набрать тысячу человек статистов?

Я наклоняю голову.

— Да, — говорю, — я уверен.

— Садитесь, — говорит Кастаки и снова показывает мне рукою на кресло.

Я сажусь.

— Вы нам нравитесь, господин Раевский! — говорит Кастаки, спускает ноги с дивана и наливает из большого фарфорового кофейника две чашки кофе — себе и своей дамочке. Мне он, между прочим, кофе не наливает, заметьте. Но дело, конечно, не в кофе, а дело в том, что он говорит. А говорит он следующее:

— Когда мы с Таточкой приехали в Одессу — а приехали мы два дня назад, — мы просили знакомых, чтоб нам порекомендовали молодого, энергичного человека. Нам порекомендовали вас, господин Раевский. И теперь я вижу, что порекомендовали не зря. Но меня удивляет, господин Раевский, что вы не спрашиваете — какие условия. Или вас условия не интересуют?

Я говорю:

— Интересуют.

Кастаки со своей Таточкой снова начинают смеяться. Они смеются долго, а я сижу и молчу, как таракан. Наконец, отсмеявшись, Кастаки вытаскивает из кармана халата платок с монограммой, вытирает глаза, оглушительно сморкается и говорит:

— Условия, господин Раевский, такие — каждый римлянин за участие в спектакле получает рубль. Вы получаете за репетицию десять рублей, а за спектакль — двадцать. С вами расплачиваюсь я, а со статистами расплачиваетесь вы. Если завтра, как вы обещаете, будет тысяча человек — они должны явиться к цирку в десять часов

утра, — тогда, господин Раевский, я выписываю вам чек, вы получаете в банке деньги и сами, лично, во время всех гастролей моего гениального друга Томмазо Сальвини рассчитываетесь со статистами. Вас устраивают такие условия, господин Раевский?

Я вышел из «Лондонской», друзья мои, я не вышел — я вылетел как на крыльях. У меня дрожали ноги, и лицо было мокрое, как будто я купался. Причем лицо у меня горело, а ноги были холодные. Я сел в пролетку и приказал извозчику:

— В университет!

Но по дороге я еще заехал в цирк, выяснил кое-какие подробности, а уже оттуда — в университет. Я остановил извозчика, — если пошли такие дела, то кто считает копейки, — а сам подошел к швейцару, приподнял шляпу и спрашиваю:

— Господин швейцар, вы не могли бы мне сказать, в какой аудитории читает сегодня лекцию господин профессор Квачевский?

Между прочим, об этом профессоре Квачевском я не имел ни малейшего понятия — кто он, и что он, и какие лекции он читает. Просто я слышал — об этом говорила вся Одесса, — что когда его хотели уволить из университета, студенты устроили целый трам-тарарам, чтобы его оставили. Ну, и я рассудил: если студенты не хотят, чтобы профессора увольняли, то на лекции его должно быть больше всего народу. И я оказался прав. Профессор Квачевский читал лекцию не где-нибудь, а в актовом зале. И читал он — это же надо, друзья мои, чтоб было такое совпадение, — теорию римского права! И народу было видимо-невидимо, яблоку упасть было негде! Ну-с, господин профессор Квачевский заканчивает свою лекцию, ему бурно аплодируют, тут выскакиваю я, поднимаюсь на кафедру, кажется, слегка даже отталкиваю в сторону господина профессора и кричу, у меня ни до, ни после — никогда не было такого голоса, как в этот день.

— Господа студенты! — крикнул я. — Через неделю в Одессе начинаются гастроли величайшего трагика синьора Томмазо Сальвини! Кто хочет увидеть спектакли с его участием — поднимите руки!

Ну, разумеется, все хотят, все поднимают руки.

— Замечательно! — говорю я. — Но, между прочим, билетов в кассе уже нет! А те, которые были, так самые паршивенькие стоили не меньше чем пять рублей! Вы бы сидели, за эти сумасшедшие деньги, на самой верхотуре, и великий трагик казался бы вам величиной с муху. Положение, господа студенты, прямо-таки безвыходное!

Я делаю паузу, а в зале начинается шум.

— Тихо! — снова кричу я, и зал замолкает. — Есть люди, у которых при безвыходном положении опускаются руки. А есть люди, которые стучатся во все двери, и одна из этих дверей обязательно оказывается открытой. Вы имеете, господа студенты, такую возможность — видеть синьора Томмазо Сальвини не с какой-нибудь там галерки за пять рублей, а совсем рядом, ближе, чем видите сейчас меня. И не просто видеть. Вы будете играть вместе с ним в одном спектакле из римской жизни. И это вам обойдется сущие пустяки. Полтинник за участие в репетициях и один рубль — за спектакль! Так что, господа студенты, кто имеет на это желание — прошу опять поднять руки!

И все хотят, все поднимают руки, все кричат:

— Прекрасно!

— Спасибо!

— А кому платить деньги?

— Деньги будете платить мне! — говорю я. — Но, прежде всего, завтра, в десять часов утра вы должны явиться к зданию цирка. Вам ясно, господа студенты?

И тут я чувствую, что кто-то дергает меня за рукав пиджака. Я оборачиваюсь и вижу, что это господин профессор Квачевский.

— Скажите, — негромко говорит господин профессор, — а я тоже могу принять участие?

— Можете! — говорю я. — И даже, господин профессор, поскольку вы такой знаменитый, то вы можете принимать участие и в репетициях, и в спектаклях совершенно бесплатно!

Ну-с, на следующее утро, ровно в десять часов утра, у цирка была толпа приблизительно в три тысячи чело-

век. Тысяча пришла — это были те, которых я пригласил, а еще две тысячи явилось, чтобы выяснить, что происходит и для чего пришла эта первая тысяча.

В пятнадцать минут одиннадцатого подъехал на извозчике господин Кастаки со своей Таточкой, увидел эту толпу, сделал удивленное лицо, приподнял котелок и помахал мне рукой. Я подошел.

— Да, месье Раевский, — говорит Кастаки, — теперь я вижу, что с вами действительно можно иметь дело!

Он достает из кармана бумажник, вытаскивает уже подписанный чек, протягивает его мне.

— Возьмите, месье Раевский! Но только — вы, я надеюсь, понимаете — деньги есть деньги. Деньги любят счет. Вы должны составить ведомость с именами всех участников, и вы будете брать с них расписки!

Конечно, я составил ведомость, и, конечно, я брал расписки. В этих расписках значилось: такой-то за участие в репетиции — пятьдесят копеек. Или: такой-то за участие в спектакле — один рубль. Заплатил или получил — это уже никого не касалось, это уже было мое сугубо личное дело!

Если говорить откровенно, то, как играл великий трагик синьор Томмазо Сальвини, я не видел. Уверяют, что он играл замечательно. Очень может быть. Даже наверное. Во всяком случае, когда он закончил гастроли и уехал, так я купил дом. Двухэтажный дом на улице Бабе-ля — там теперь помещается ОВИР... Между прочим, в тысяча девятьсот семнадцатом году этот дом выиграл у меня в карты Миша Лапидус. Он был тогда еще совсем мальчик, но имел руки — так это что-то особенное. Вы понимали, что он и передергивает, и делает накладки, — но заметить вы этого не могли. Он хотел перестраивать дом, но не успел — началось то, что мы с вами каждый год отмечаем седьмого ноября. И Мишу Лапидуса едва не расстреляли как буржуя и домовладельца. А синьору Томмазо Сальвини в городе, где он родился, говорят, поставили памятник. К сожалению, мне не довелось побывать в Италии, а то бы я непременно положил к подножию этого памятника букет цветов!..

— Ай, золотая голова! — вздохнул Валя-часовщик, с обожанием поглядел на месье Раевского, выпил залпом бокал коньяка, пожевал лимон и повторил: — Золотая голова! — Он обернулся к Таратуте: — Что я вам говорил, Семен Янович? Это же не человек — это живой исторический музей!

5

Таратута медленно, заложив руки за спину, подошел к дверям гостиницы «Дружба», остановился. Бюро погоды, как ни странно, предсказало верно — накрапывал дождь, мелкий, нудный, осенний.

Таратута взглянул на часы — без четверти десять. «Ну и денек!» — подумал Таратута.

Он не знал, да и откуда было ему знать, что этот день был только первым, еще робким звонком колокольчика, собирающего действующих лиц на подмости, только предвестником событий, и что сами события — неправдоподобные и стремительные — еще впереди.

Напротив гостиницы «Дружба», через дорогу, у закрытой кассы кинотеатра «Космос» безнадежно и терпеливо мокла недлинная очередь. Шел приключенческий фильм «Неуловимые мстители», действие которого происходило в Одессе, и билеты нужно было заказывать за две недели вперед.

Но все равно каждый вечер, к последнему, десятичасовому, сеансу, собирались у входа в кинотеатр и становились в очередь странные люди — то ли надеялись на слепую удачу, то ли на внезапную повальную эпидемию гриппа, то ли вообще ни на что не надеялись, кроме как на возможность убить время.

И, глядя на эти унылые, сгорбленные спины, на поднятые воротники, на нахлобученные чуть не до бровей кепки и шляпы, Таратута почувствовал тревожное раздражение: раздражение, которое было как бы и соблазном вмешаться, что-то сделать, созорничать.

«Ну, тихо, тихо-тихо!» — попытался Таратута сам себя урезонить.

Но соблазн был сильнее всяких увещаний.

И Таратута, вздохнув, засунул руки в карманы, решительно пересек улицу, прошел вдоль очереди к закрытой кассе, остановился и очень громко сказал:

— Граждане одесситы!

И все глаза мгновенно уставились на него.

— Граждане одесситы! Вы, как я понимаю, ждете чуда! Но чудес не бывает. Это совершенно точно доказано наукой и товарищем Верченко Леонтием Кузьмичом!

Он сделал паузу в ожидании, что кто-нибудь спросит его, кто такой товарищ Верченко, но очередь, состоявшая главным образом из пенсионеров и мальчишек, испуганно молчала.

— Граждане одесситы! — еще громче сказал Таратута. — Я предлагаю вам не ждать милостей от природы! Я предлагаю взять этот вонючий кинотеатр штурмом. Это же не какой-нибудь Зимний дворец, а всего-навсего бывшая китайская прачечная!

Он выпятил вперед подбородок и с командирскими раскатами в голосе отчеканил:

— Участники штурма — два шага вперед! — Очередь быстро начала таять.

Пожилой одессит с профессорской бородкой, просеменя мимо, похлопал Таратуту по плечу зонтиком и сказал негромко, не разжимая губ:

— Играетесь с огнем, молодой человек!

Протопала компания лохматых юнцов, стараясь всем своим видом показать, что ничего-то они не боятся, но что просто им надоело ждать.

— Эх вы, — сказал им вслед Таратута. — А еще туда же — будем как Ленин, будем как Ленин! Вы на доктора Семашко и то не потянете!

Таратута усмехнулся, махнул рукой, повернулся по военному, на каблуках, пересек улицу в обратном направлении и, уже останавливаясь, толкнул дверь и вошел в полутемный холл гостиницы «Дружба».

Здесь было все как всегда — какие-то люди дремали в креслах, зажав в ногах, как всадники шенкеля, портфели и чемоданы, телефон на стойке дежурного администратора звонил надсадно и непрерывно, сам администратор отсутствовал, а на дверях лифта висела табличка с надпи-

сю, отпечатанной типографским способом: «Лифт не работает».

Таратута с досадой чертыхнулся. Он-то знал, что лифт работает. Заместитель директора гостиницы «Дружба», тот самый, упомянутый Таратутой Леонтий Кузьмич Верченко, выдвигенец из биндюжников, как-то в припадке пьяной откровенности объяснил Таратуте, в чем тут секрет.

Несколько месяцев тому назад администрация гостиницы «Дружба» и администрация гостиницы «Красная» подписали договор о социалистическом соревновании и вступили в борьбу за переходящее знамя Одесского горисполкома и Управления коммунального хозяйства.

Среди всевозможных обязательств, взятых на себя по этому договору соревнователями, имелось и обязательство экономить электроэнергию. И вот именно на этом пункте, не надеясь переплюнуть гостиницу «Красная» по другим показателям, и решила сосредоточить все свое внимание и силы администрация гостиницы «Дружба». Прежде всего было принято решение — с семи часов вечера до восьми часов утра останавливать лифт.

Товарищ Верченко на собрании сотрудников обосновал это решение так:

— Этот чертов лифт, он знает сколько киловатт энергии жрет? Он жрет, сукин сын, все равно как бригада биндюжников после трехсменной погрузки-выгрузки!

Кто-то из зала робко напомнил Леонтию Кузьмичу, что в договоре имеется также обязательство улучшить обслуживание проживающих в гостинице постояльцев и обеспечить их всеми мыслимыми удобствами.

— Верно, правильно! — согласился Верченко и хитро прищурился. — А наш постоялец — он кто?! Мы на всяких там курортников-шмурортников ставки делать не будем. Наш постоялец — это человек рабочий, командировочный! Он приезжает в Одессу накоротке. Ему, соколу, за один день надо, может быть, в сто учреждений слетать. А учреждения до которого часа работают? До шести. Кладем еще полчаса на то, чтобы выпить и закусить. Получается, что не позже чем без четверти семь наш постоя-

лец спокойненько может вернуться в гостиницу на заслуженный отдых. А лифт работает до семи. Все в порядке, все учтено! А которые желают не отдыхать, а прожигать жизнь — по ресторанам, по дамочкам, по театрам, — те могут и на своих двоих, они у них не отсохнут!..

...Ноги у Таратуты, когда он добрался по полутемной лестнице до своего четвертого этажа, действительно не отсохли. Но чертыхаться он уже не мог, а только похрипывал.

На столике дежурной по этажу Лидии Феликсовны горела свеча.

Это была новейшая идея товарища Верченко. После того как на какой-то оптовой базе ему удалось за гроши купить партию елочных свечей, он издал приказ, запрещающий дежурным по этажам пользоваться настольными лампами. В пылу борьбы за переходящее знамя с гостиницей «Красная» Верченко замахнулся было и на свет в номерах постояльцев, но в последнюю минуту испугался жалоб и ограничился тем, что запретил освещать коридоры больше чем одной люстрой.

— У нас тут не музей, — сказал Леонтий Кузьмич на очередном собрании. — Разглядывать нечего, стенки и стенки. А которым темно, могут, как на железной дороге, с фонариками ходить!

Дежурная по этажу Лидия Феликсовна сидела за своим столиком и что-то писала в толстой канцелярской книге, страницы которой были разделены на две половины: «Прибыл» и «Выбыл».

В зыбком свете свечи, с пером в руке, с седыми букольками, Лидия Феликсовна была похожа на Несторалетописца, как его изображают в школьных учебниках, но только забывшего приклеить бороду.

В тощей груди Лидии Феликсовны — женщины немолодой и самостоятельной — жила одна-единственная страсть. И называлась эта страсть — ненависть.

Лидия Феликсовна ненавидела всех — директора гостиницы, его заместителя, старшего администратора, дежурных администраторов, швейцара, сменщиц по этажу. Но пуще всего ненавидела Лидия Феликсовна постояль-

цев гостиницы. Некоторое исключение она делала только для иностранных туристов. Но исключение это было чисто теоретическим. А практически — ну какие же в гостинице «Дружба» иностранные туристы?! Разве что в горячую летнюю пору поселят горемык туристов из Болгарии, Румынии, Польши — так ведь чем у них поживишься, они сами норовят спереть, что плохо лежит.

Впрочем, были в жизни Лидии Феликсовны три дня и три ночи, о которых она вспоминала с благоговением и сладкой тоской.

Несколько лет тому назад в Одессу по приглашению Черноморского пароходства приехал из Финляндии представитель фирмы, изготавливающей какие-то особые пластики, господин Паулу Виремайнен. Выглядел этот представитель и вправду необыкновенно представителью — высокий, седовласый, улыбчивый, вежливый.

Поселили его в гостинице «Черноморская» (бывшая «Лондонская»), принимали по-царски — возили на экскурсии в катакомбы, водили в Оперный театр, кормили, поили.

И не рассчитали — кормили чересчур уж обильно, поили слишком щедро, позабыв, что господин Паулу Виремайнен прибыл из страны, где объявлен сухой закон и крепкие спиртные напитки продаются по карточкам и притом в весьма ограниченном количестве.

Уже на третий вечер гость пропал. Приставленный к нему ответственный сотрудник Черноморского пароходства обыскал и облазил всю гостиницу, прочесал Приморский бульвар и Дерибасовскую, позвонил в полном отчаянии куда следует — и на подмогу ему были присланы двое молодых людей с бесстрастными лицами и пронзительными глазами.

Господина Паулу Виремайнена удалось обнаружить в полночь в каком-то замызганном привокзальном шалмане.

Он сидел за столиком в полном одиночестве, приканчивал, как сообщил официант, вторые пол-литра и, подперев по-бабьи щеку ладонью, нежным и жалобным голосом пел бесконечную песню.

— Ты что же это, сукин сын? — сказал один из бесстрастных официанту. — Нарушаешь постановление?! На человеко-единицу разрешается двести граммов от силы, а ты ему целый литр скормил?!

— Так они же будут нерусские! — сказал официант. — На них постановление недействительно, они валютою платят...

Бесстрастные отобрали у официанта финские кроны, составили протокол и погрузили господина Виремяйнена в оперативную машину. По дороге в гостиницу знатный гость допел наконец свою печальную песню и полез целоваться к шоферу. Шофер шепотом матерился и отплеывался, но терпел.

И с той полночи господина Паулу Виремяйнена в трезвом виде уже не видел больше никто.

На следующий день состояние печальной задумчивости перешло в буйство. Знатный гость для начала переломал в номере мебель, потом, завернувшись в сорванную с окна занавеску, принялся шататься по коридорам гостиницы и пытался в этом одеянии пройти в ресторан.

В ресторан его не пустили, отвели под уздцы в номер и заперли. Тогда он забаррикадировал двери номера шкафом, распахнул окно и в совершенно голом виде — а дело, надо сказать, было зимой — уселся на подоконник и, ежесекундно рискуя свалиться, стал размахивать руками и что-то кричать.

Под окном, разумеется, собралась толпа.

Администратор гостиницы после безуспешной попытки ворваться в номер вызвал пожарную команду.

В итоге всех этих сокрушительных событий господин Виремяйнен, снятый с окна пожарниками, улегся спать на полу, а некое учреждение в Одессе позвонило в некое учреждение в Москве и со слезами в голосе спросило: что делать?

Некое учреждение в Москве пообещало связаться с Министерством иностранных дел, но посоветовало, пока суд да дело, перевести господина Виремяйнена из гостиницы «Черноморская», находящейся в ведении «Интури-

ста», в какую-нибудь гостиницу попроще, поплоще, местного значения, с глаз подальше.

Вот так и попал знатный гость из Финляндии в гостиницу «Дружба», на четвертый этаж, в номер четыреста восемнадцать. Вот так и начались те самые три дня и три ночи, о которых с такою сладкой тоскою вспоминала Лидия Феликсовна.

Водворенный в гостиницу «Дружба», господин Виремяйнен в ускоренном темпе повторил две первые степени опьянения — печальную задумчивость, буйство, а затем не мешкая погрузился в третью степень — молчаливую плаксивость. В редкие часы, когда Виремяйнен не спал, он сидел на кровати в одних боксерских трусах и, закрыв руками лицо, всхлипывал и что-то негромко бормотал. Он переставал плакать только в то мгновение, когда с умильной улыбкой на устах входила в номер Лидия Феликсовна. На черном, «под Палех» лакированном подносе, на котором были изображены Спасская башня Кремля и колокольня Ивана Великого, Лидия Феликсовна приносила дорогому гостю очередной графинчик водки и закуску — бутерброды с кильками и маринованные огурчики.

Некое учреждение, узнав от товарища Верченко о наступлении у господина Виремяйнена третьей степени опьянения, распорядилось — поить буржуйскую морду по требованию и даже без требования, но ни под каким видом из номера не выпускать.

Товарищ Верченко, в свою очередь, бросил на выполнение этого ответственного задания Лидию Феликсовну.

Три дня и три ночи не уходила Лидия Феликсовна из гостиницы и не покидала своего поста на четвертом этаже. Она собственноручно чистила кильки и аккуратно укладывала их на ломтик хлеба, дотошно отбирала огурчики, настаивала водку на заветной анисовой травке и добавляла в графин для запаха несколько капель духов «Сирень».

Но и господин Виремяйнен, хотя и пьяный до изумления, тоже, надо отдать ему справедливость, не оставал-

ся в долгу. Ни единого раза не покидала Лидия Феликсовна номера четыреста восемнадцать с пустыми руками. Господин Виремайнен дарил ей все, что попадалось ему на глаза, — пижаму, махровое полотенце, крем для бритья, шариковую ручку, почти полный флакон одеколona «Кельнише Вассер», фотографии — свою, своей семьи, водопада Иматры и президента Республики Финляндии господина Кекконена.

Три дня и три ночи жила Лидия Феликсовна как в волшебном сне.

Сплетник швейцар утверждает, что слышал сам, как, шествуя по коридору с подносом в руках, она даже напевала — игриво и немзыкально — старую песню, переделанную ею на собственный лад:

Осенний сон, осенний сон,
Как много дум наводит он!..

Но на четвертые сутки этот волшебный сон был нарушен — откровенно, грубо и навсегда.

Все те же бесстрастные молодые люди с пронзительными глазами приехали в гостиницу, прошли в сопровождении товарища Верченко в четыреста восемнадцатый номер, кое-как, небрежно, наспех собрали господина Виремайнена и, преодолев его слабое сопротивление, увезли на аэродром.

Лидия Феликсовна выбежала за ними на улицу и долго стояла, прижав руки к груди, глядя вслед скрывшейся за поворотом, за снегом оперативной машине.

Сплетник швейцар окликнул ее:

— Лидия Феликсовна, простудитесь!

Она обернулась и тихо сказала:

— А мне теперь безразлично!..

Все еще отдуваясь и тяжело переводя дыхание, Таратута молча протянул руку, но Лидия Феликсовна в ответ не отдала ему ключ от номера, а проговорила язвительно и высокомерно:

— Между прочим, гражданин Таратута, вы здесь живете не первый день и должны были бы знать, что посторонним лицам выдавать ключи от номера не разрешается.

— Это кто же здесь посторонний? — обрета от удив-

ления дар речи, спросил Таратута. — Это я — посторонний?!

— Я не имею в виду вас. Но приехали какие-то четверо, и один из них — такой довольно интересный мужчина — сказал, что вы разрешили им взять ваш ключ.

— И вы им его отдали?

— Да.

— Но вы же знаете, Лидия Феликсовна, что посторонним лицам выдавать ключи от номера не разрешается! — усмехнулся Таратута, возвращая разговор на исходную позицию.

— Так ведь это вы распорядились! — покрываясь красными пятнами, воскликнула Лидия Феликсовна.

— А кто я такой? — немедленно возразил Таратута. — Я рядовой постоялец. Какое право я имею распоряжаться?

— Вот именно! — ощутив наконец твердую почву под ногами, сказала Лидия Феликсовна. — Именно это я и говорю! Вы не имеете права распоряжаться, чтобы отдали ваш ключ от номера, когда вы прекрасно знаете, что выдавать посторонним лицам ключи от номера не разрешается!

— Но ведь выдал-то ключ не я, а вы.

— Но вы распорядились.

— А кто я такой?!

Разговор опять явно забуксовал, как застрявшая в грязи машина: ни вперед — ни назад.

Таратута посмотрел на Лидию Феликсовну. Лидия Феликсовна посмотрела на Таратуту и вдруг, что-то вспомнив, сказала совсем другим тоном и почему-то понизив голос:

— Да, и еще... После того как уже приехали эти четверо, к вам заходил еще один гражданин и просил — срочно, он сказал — передать письмо... Он даже потребовал, чтоб я расписалась в получении!

Таратута в недоумении оттопырил губы:

— Что за письмо? Что за срочность?

Лидия Феликсовна достала из ящика стола довольно большой конверт с сургучной печатью, протянула его Таратуте.

На конверте затейливым, с завитушками, канцелярским почерком был написан адрес: «Гр-ну Таратуте С. Я. Гостиница «Дружба», номер четыреста восемнадцать. Очень срочно!»

Слова «очень срочно» были дважды подчеркнуты.

Таратута кивком головы поблагодарил Лидию Феликсовну, поправил сползшие набок очки и, не распечатывая конверта, направился в свой номер.

Еще издали, несмотря на то что коридор был погружен в полумрак, Таратута увидел Валю-часовщика.

Валя стоял у дверей номера — без пиджака, без бантика, в рубашке с расстегнутым воротником и закатанными рукавами. Он стоял, по-наполеоновски скрестив могучие руки, и улыбался.

Когда Таратута подошел ближе, Валя-часовщик перестал улыбаться и проговорил громоподобным шепотом:

— Семен Янович, дорогой мой, сегодня такой день, что одни сплошные недоразумения!

— А в чем дело? — спросил Таратута.

— Я вам, помните, говорил про Лидочку и Тонечку?

— Вы их не нашли?

— Нет, я их нашел. С Лидочкой у меня любовь. Вы можете смеяться, Семен Янович, но Лидочка — это женщина моей мечты. С другой стороны, если подходить к данному вопросу объективно, то она не такая красивая, как Тонечка. И я надеялся, Семен Янович, что вы от Тонечки получите полный максимум удовольствия...

— Так что же случилось?

Валя-часовщик печально покачал головой:

— Что случилось? В этой жизни всегда что-нибудь случается! Я посадил девушек в машину, мы едем к вам, у нас хорошее настроение. И вдруг мы видим — у витрины магазина «Мясо» стоит пожилой человек и плачет. Лидочка его узнала первая. Она мне сказала: «Смотрите, Валя... — Мы с ней на «вы», между прочим. — Смотрите, Валя, — сказала Лидочка, — это же Эдуард Аршакович Казарян!» Я останавливаю машину, выхожу и вижу — действительно, это Казарян, которого мы напрасно ждали на юбилее месье Раевского. Он стоит и плачет. А я

должен вам сказать, Семен Янович, что это очень страшно, когда плачут пожилые люди!.. Оказывается, у него был сегодня обыск. Явились эти бандиты из ОБХСС, перевернули всю квартиру вверх дном, кое-что забрали, кое-что опечатали и взяли с Казаряна подписку о невыезде. А он одинокий, как собака, ему даже пожаловаться некому... Так я вас спрашиваю, Семен Янович: если человеку, который стоит у витрины магазина «Мясо» и плачет, доставить немножко радости — это хорошо, это гуманно? Ну, и мы пригласили его с собой... И мы...

Внезапно оборвав свой монолог на полуслове, Валя-часовщик уставился на конверт с сургучной печатью, которым рассеянно, как веером, обмахивался Таратута.

— Ой, я знаю этот конверт! — шепотом пропел Валя-часовщик. — Ой, я очень хорошо знаком с этим конвертом. Когда вы его получили, Семен Янович?

— Только что. Я еще даже не успел его распечатать.

— Распечатайте! — сказал Валя-часовщик. — Немедленно распечатайте. Вы же видите, там дописано: «Очень срочно!»

Таратута, пожав плечами, содрал сургуч, открыл конверт и достал почтовую открытку.

— Так я и думал! — выдохнул Валя-часовщик. — Что в открытке?

Таратута медленно прочел:

— «Министерство внутренних дел УССР. Одесский отдел виз и регистрации, улица Бабея, пять. Таратуте С. Я. Просьба явиться в среду, третьего октября, в десять часов утра к товарищу Захарченко, имея при себе паспорт и военный билет. Ваша явка обязательна».

— Среда — это завтра! А товарищ Захарченко Василий Иванович — это начальник ОВИРа! — сказал Валя-часовщик и торжественно поднял руку. — Семен Янович, дорогой, вас сам бог послал — и я это почувствовал сразу! — Он обнял Таратуту за плечи: — Идемте!

— Куда? — отстранился Таратута. — В номер?

Валя-часовщик усмехнулся:

— Нет, зачем же в номер? В номере сейчас лично вам делать нечего. Но вы не беспокойтесь, Семен Янович, я

о вас подумал — я налил вам ванну... Вы можете полежать и отдохнуть от всех этих кошмарных переживаний! Тем более что завтра вам, очевидно, кое-что предстоит!

— Черт возьми! — пробормотал Таратута и перечитал во второй раз загадочную открытку. — Не понимаю... Для чего я им так срочно понадобился?

— Завтра в десять утра вы все узнаете! — снова шепотом пропел Валя-часовщик. — А до завтра осталось уже всего ничего... И не надо мучиться над вопросами, на которые все равно отвечаем не мы! Идемте, Семен Янович!

В маленькой ванной комнате, дверь из которой выходила прямо в прихожую, Валя-часовщик, подсучив еще выше рукав рубашки, наклонился над ванной, попробовал локтем воду, сказал деловито и озабоченно:

— Если вам покажется, Семен Янович, что прохладно, так можно подбавить горяченькой!..

Но Таратута не ответил.

Слегка приоткрыв рот и сдвинув брови, он смотрел на едва заметный синий шестизначный номер, вытатуированный на могучей руке Вали-часовщика и выползавший из-под засученной рубашки.

— Что это, Валя?

— Где?

— Вот, — сказал Таратута и ткнул пальцем в номер.

— Э-э! — небрежно сказал Валя-часовщик. — Ерунда! Мои родители, они были великие умники. В июне сорок первого года они отправили меня погостить к бабушке в Вильнюс. Ну, так четыре года я прожил в гетто, бабушка умерла, а я... Одним словом, ничего интересного, Семен Янович! Можете мне поверить! — Он снова наклонился и попробовал локтем воду: — Я думаю, что все-таки нужно немножко подбавить горяченькой!..

6

Больше всего на свете Таратуте в это мерзкое, дождливое утро хотелось спать.

Всю дорогу от гостиницы «Дружба» до улицы Бабея он мучительно боролся с зевотой и с желанием плюнуть

на все, вернуться в номер, упросить коридорную сменить белье и упасть, как в обморок, в сон.

В сущности, он почти всю ночь пролежал в ванне в холодной воде — вопреки совету Вали-часовщика, он не стал подливать горячей, чтобы не уснуть и не захлебнуться, — стараясь не слышать и слыша, как звенят за стеной стаканы, гудят мужские голоса и заливаются русалочьим смехом девицы.

По временам Валя-часовщик просовывал в полуоткрытую дверь ванной комнаты кудлатую голову и спрашивал бесстыдно и бодро, как сержант-сверхсрочник:

— Ну как, Семен Янович, отдыхаем?!

Таратута в ответ бормотал что-то невнятное, и Валя-часовщик, хохотнув, скрывался.

Уже под утро Таратута все-таки ненадолго задремал.

Ему даже приснился сон — необъятная лужа у палатки «Пиво — воды» и длинная, бесконечно длинная улица, круто уходящая в гору. Он бежал по этой улице быстро, молча, а за ним, преследуя его, бежали не Валерик и Толик, а двигалась целая армия с броневиками, танками, дальнобойными орудиями, и во главе этой армии, впереди, ехал на трехколесном велосипеде Валя-часовщик в черном пиджаке, с черным бантиком-бабочкой и весело улыбался.

— Семен Янович!

Таратута через силу продрал глаза и увидел, что в дверях ванной стоит Валя-часовщик в черном пиджаке и с черным бантиком-бабочкой.

Он словно бы перешел из сна в явь и сделал это настолько естественно, что Таратута даже не очень удивился.

— Дорогой Семен Янович! — сказал Валя-часовщик и церемонно поклонился. — Позвольте мне от имени Лидочки и Тонечки, от имени Эдуарда Аршаковича Казаряна и от себя лично выразить вам наши извинения и глубокую, сердечную благодарность!

— Служу Советскому Союзу! — сказал Таратута и лязгнул зубами от холода. — Готов выполнить любое задание партии и правительства!

Но Валя-часовщик, утомленный любовными утехами, юмора не оценил. Он просто снова поклонился и притворил за собой дверь.

Еле волоча ноги, Таратута доплелся до улицы Бабеля. Дом номер пять найти было нетрудно.

У ворот этого дома группами, оживленно переговариваясь и жестикулируя, стояли евреи — молодые и старые, интеллигенты и оборванцы, женского, мужского и среднего пола.

Некоторые, особенно молодые, носили бороды, пейсы и традиционные бархатные шапочки — кипы.

Увидев Таратуту, они все на мгновение замолчали, проводили его глазами, когда он вошел во двор, и кто-то в спину ему сказал:

— Отказник из профессоров, чтоб я так жил!

Молоденький, очень важный милиционер-казак у входа в ОВИР внимательно прочитал открытку, которую показал ему Таратута, подумал, потом зачем-то козырнул и сказал:

— Вам, гражданин, на второй этаж.

Едва только Таратута поднялся на второй этаж и вошел в зал, битком набитый людьми, как громкий металлический голос, усиленный двумя висевшими на стене динамиками, сказал:

— Таратуту Семена Яновича, если он здесь, просят пройти в комнату номер двенадцать!

В зале немедленно начался галдеж:

— Таратута?! А кто такой Таратута?!

— Послушайте, вы не видели Таратуту?!

— Где Таратута?!

Из общего шума выделился звонкий женский голос:

— В конце концов, это хамство! Таратута Семен Янович, где вы?

Не отвечая, Таратута, ожесточенно орудуя локтями, начал продираться сквозь толпу к дверям, обитым черной клеенкой, на которых сияла золотая цифра «двенадцать».

Он был уже почти у цели, когда дорогу ему преградил маленький встрепанный человечек в лыжной куртке, украшенной каким-то совершенно невероятным количест-

вом «молний». Уперев Таратуте в грудь длинный указательный палец, человек-«молния» строго спросил:

— Одну минуточку, это вы — Таратута?

— Я, — признался Таратута.

— Вы что же, не слышите, что вас вызывают?

— Слышу.

— Так почему же вы не идете?

— Я иду.

— Ну так идите!

— А вы перестаньте тыкать мне в грудь пальцем! — обозлившись, гаркнул Таратута.

Человек-«молния» обиделся:

— Ах, так это, оказывается, я виноват? Люди — и, между прочим, постарше вас — занимают очередь чуть не со вчерашнего вечера. Они приходят, они сидят, они ждут — но их не вызывают! Вызывают вас, а вы не идете! Так кто же виноват, хотелось бы мне знать?!

Таратута двумя руками взял человечка-«молнию» за плечи, молча, как шахматную фигуру, переставил его с одной паркетной клетки на другую, усмехнулся:

— Слон бьет на же семь!

Потом он шагнул вперед, толкнул заветную дверь и громко сказал:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, Семен Янович!

Если бы в системе Министерства внутренних дел проводились конкурсы красоты на звание «мистер ОВИР», то подполковник Василий Иванович Захарченко, начальник Одесского ОВИРа, не имел бы соперников.

— Красавчик! — звали его за глаза подчиненные.

— Вася-Василек! — говорила ему любящая жена Марина, боевой друг и товарищ. — Тебе бы в кино, Василек, сыматься! Против тебя никакой Радж Капур не потянет!

Имя этого индийского киноактера упоминалось не случайно. Был Василий Иванович черняв, белозуб, с глазами бессмысленными и прекрасными. Но, в отличие от щедедушного Раджа Капура, Василий Иванович унаследовал от своих сибирских дедов и прадедов, прасолов ка-

зачьего корня, могучую статью, грудь колесом, широкие плечи борцовского разворота. Картинная эта внешность в сочетании с характером, исполнительным и покладистым, и была одной из причин, если не главной, быстрого продвижения Василия Ивановича по служебной лестнице вверх.

«Глуп, но надежен», — написал на его личном деле начальник Четвертого управления МВД УССР генерал-лейтенант Ильин.

И написал он это, между прочим, явно несправедливо.

Василий Иванович Захарченко был отнюдь не глуп. Просто ему по занимаемой должности никакого ума не требовалось. А не требовалось, так и не надо.

Ну в самом деле, какая еще такая необходима сообразительность, чтобы, ознакомившись с решением, присланным из Киева (или из Москвы), сообщить очередному безумцу, собравшемуся ехать куда-то к чертовой бабушке, на край света, о том, что ему, безумцу, в его просьбе отказано?

В тех куда как более редких случаях, когда из Киева (или из Москвы) приходил положительный ответ, сообщать о нем Василий Иванович предоставлял своим младшим сотрудникам — инструкторам.

— Сказать «да» — это всякий дурак может! — объяснял Василий Иванович любящей жене Марине. — А вот сказать «нет» — это, милая моя, дело тонкое!

Говоря «нет», Василий Иванович, как правило, улыбался. И вовсе не от высокомерия или злорадства, совсем наоборот. Ему совершенно искренне было жаль этих чудаков, рвущихся из прекрасного мира, где все так хорошо, разумно и справедливо, в неведомый страшный мир хаоса и насилия, — и сообщение об отказе воспринимал он как спасение очередной заблудшей души. И улыбался.

Одному почтенному еврейчику, заслуженному артисту, маэстро, который на своей родной скрипочке пиликал даже по радио, Василий Иванович, видя, как тот переживает отказ, сказал дружелюбно и участливо:

— Ну что вы убиваетесь? На кой вам этот Израиль?! Чем вам у нас плохо?

Но маэстро Скрипочкина от этого вполне дружеского вопроса почему-то всего перекосило, он зыркнул на Василия Ивановича бешеными глазами и сказал, заикаясь:

— Вот именно поэтому!

Василий Иванович не понял, что он имел в виду, но с тех пор решил в откровенные разговоры с психами не вступать и придерживаться раз и навсегда установленного порядка:

— Мы внимательно рассмотрели ваше ходатайство, и я уполномочен вам сообщить, что вам отказано. Следующее заявление можно подавать через год со дня отказа. До свиданья!

Иногда какой-нибудь не в меру ретивый еврейчик спрашивал:

— А могу я обжаловать это решение?

Василий Иванович улыбался еще шире и дружелюбнее:

— Можете. Вы можете послать вашу жалобу в Президиум Верховного Совета, но там — должен вас предупредить откровенно — читать ее не будут, перешлют нам. Так что сами понимаете!..

Но сегодня Василий Иванович Захарченко нервничал.

И надо же было этому Ершову из 12-го отделения явиться к нему вчера со своими дурацкими идеями, и надо же было, чтобы азартная кровь прадедов ударила Захарченко в голову в самую неподходящую минуту.

Выслушав Ершова, Василий Иванович позвонил в часы Киев, из Киева его, как водится, переадресовали в Москву, а Москва, к полному изумлению Захарченко и Ершова, сообщила причудливо-суконным языком, возвышенно-канцелярским слогом о том, что в данное время как раз изучается проект общего решения вышеупомянутой и нижепоименованной проблемы, что конкретный вопрос, поднятый товарищами из Одессы, идеально вписывается в этот проект и что их звонок как нельзя бо-

лее кстати, — так сказать, инициатива снизу, поддерживающая инициативу сверху.

Василий Иванович с пылающими ушами поинтересовался: а как ему следует поступить, если возникнут трудности?

Москва, похмыкав, ответила, что дело это новое, экспериментальное, что на первых порах товарищам на местах предоставляются самые широкие полномочия, — разумеется, в разумных пределах.

— Ты чего это, Василек, ворочаешься? — проворчала глубокой ночью любящая жена Марина, боевой друг и товарищ. — Это надо же — из-за евреев не спать! Все несчастья от них, честное слово!

— Ну, не скажи, Марина, не скажи! — возразил Василий Иванович. — Всяко бывает! Есть такие, знаешь, русские, что даже хуже евреев!

И вот теперь подполковник Василий Иванович Захарченко сидел за письменным столом в своем служебном кабинете, бесцельно перекладывая то справа налево, то слева направо какие-то бумаги, хмурил соболиные брови и все не решался открыто поглядеть на этого Таратуту Семена Яновича, из-за которого он провел сегодня бессонную ночь.

Наконец он поджал губы, расправил богатырские плечи и без надобности громко сказал:

— Так вот, Семен Янович... Мы пересылали ваше дело в Москву, там с ним ознакомились и приняли положительное решение — вы можете ехать!

— Ехать? — спросил Таратута сдавленным голосом, поскольку новость эта застигла его в самом начале сладчайшего зевка. — Куда ехать?

— Как это, Семен Янович, куда? В Израиль! — твердо сказал Захарченко, впервые поглядел на Таратуту и удивился. «Где-то я встречал этого подлеца! — мельком подумал он. — Не вспомню сейчас, где и при каких обстоятельствах, но личность определенно знакомая! Ох, Ершов, Ершов! Ох, подведешь ты меня, Ершов, под кузькину мать!..»

А Таратута, как всегда, когда ему бывало необходимо

выиграть время, снял очки и принялся их тщательно протирать. Он делал это так долго и нудно, что Захарченко на всякий случай повторил:

— В Израиль, Семен Янович!

— А зачем? — ухмыльнулся Таратута, все еще продолжая протирать очи. — Для чего мне туда ехать?

— На вашу историческую родину, Семен Янович! — сказал Захарченко. — Для воссоединения семьи.

— Здрасьте! — нагло сказал Таратута, надел очки, уселся поудобнее и вытянул ноги. — Во-первых, я далеко не уверен в том, что Израиль моя историческая родина. Может быть, моя историческая родина — это Огненная Земля или мыс Доброй Надежды. Ву компрене? А во-вторых, никаких родственников у меня в Израиле нет.

— Нет? — улыбнулся по привычке Захарченко и сразу же почувствовал себя увереннее и спокойнее. — Так-таки и нет?

— Нет.

— Любопытно!

Захарченко открыл лежавшую перед ним на столе папку-скоросшиватель, перелистал какие-то бумажонки, снова улыбнулся:

— А вот, между прочим, у меня тут имеется заявление от гражданина Таратуты Семена Яновича. Датированное двадцатым ноября тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года. И в этом заявлении гражданин Таратута Семен Янович просит, чтоб ему разрешили выехать на его историческую родину в Израиль для воссоединения семьи.

— Но...

— Минуточку! — строго сказал Захарченко. — И тут же, приложенный к заявлению, имеется вызов — он, правда, устарел, но это мелочь, — вызов Семену Яновичу Таратуте от его двоюродного брата Симона Сокольского, проживающего в Израиле, в городе Тель-Авиве, улица Алленби, двенадцать... — Улыбаясь все шире и слаще, он уже без боязни, в упор поглядел на Таратуту: — Как же прикажете все это понимать, Семен Янович? Мне бы не хотелось понимать так, что вы имели намерение нас обмануть!

Таратута подтянул ноги и сказал:

— Ну зачем же — обмануть?! Все это значительно сложнее...

— Правильно! — сказал Захарченко. — Вернее, было сложно, стало просто. Придется мне повторить то, с чего я начал, — ваш вопрос в Москве решен положительно, и вы можете ехать.

— Я не могу ехать, — тихо и растерянно сказал Таратута.

— Можете не можете, а должны! — усмехнулся Захарченко. — Виза, которую вы получите в Москве, действительна пять дней, по восьмое октября. Если вы не уедете седьмого или, в крайнем случае, восьмого утром — вы будете задержаны как лицо без подданства, нелегально находящееся на территории Советского Союза, со всеми вытекающими отсюда последствиями!

Он победоносно тряхнул головой и не без ехидства сказал:

— Вы спросили меня, Семен Янович, «Бу компрене?». Мы-то, как видите, компрене! А вы?

Наступило молчание.

Таратута, опустив голову, с преувеличенным вниманием разглядывал носки своих заляпанных грязью польских туфель, а Захарченко, скосив на Таратуту глаза, по-прежнему безуспешно пытался припомнить, кого ему напоминает этот очкарик.

Оба они — и Захарченко и Таратута — были сейчас похожи на боксеров в ту короткую минуту отдыха после схватки, когда спасительный гонг развел их по разным углам, и они сидят, расслабившись, жадно глотая воздух, и благодатные руки массажистов разминают им плечи и спину, и влажная губка смачивает им опаленные лица, и что-то нашептывает им секундант, что-то очень важное, но что уже не имеет теперь ни малейшего значения.

Если продолжить это сравнение, то первый раунд сегодняшней схватки совершенно очевидно остался за Василием Ивановичем Захарченко. Но он понимал, что это только начало, что его противник еще не показал все, на

что он способен, еще не выложил на стол все свои козыри, не пустил в ход главное оружие.

И, словно почувствовав эти опасения Василия Ивановича, Таратута оторвался от созерцания своих ботинок, вздохнул и сказал:

— Я не поеду. Не хочу... В конце концов, вы не имеете никакого права насильно заставить меня уехать.

— Смотря куда! — сказал Захарченко и значительно поглядел на Таратуту.

— Это что же — угроза?

Захарченко усмехнулся:

— Нет, Семен Янович, это не угроза. Это просто, так сказать, железный факт! Вы же не маленький, вы же, слава богу, прекрасно все понимаете сами! — И тут, чтобы не дать противнику прийти в себя, Василий Иванович заговорил быстро, решительно и деловито: — Значит, сегодня вечером вам нужно будет выехать в Москву. С самолетом связываться не советую — можно застрять, а у вас каждая минута на счету. Сегодня у нас третья, среда, в Москве вы четвертого — и это уже четверг, и у вас, в сущности, остается неполных два дня на все оформление: получение документов в ОВИРе, получение виз в голландском и в австрийском посольствах, билет на самолет до Вены, сдача багажа... Хотя вы человек одинокий, вещей у вас небось не так-то уж много, чемодана два-три...

— Чемодан у меня один! — резко перебил Таратута. — Не в этом дело. Я не хочу ехать. И, кстати, если бы я даже и хотел, я не могу ехать.

— Почему?

Таратута развел руками и с обезоруживающей улыбкой сказал негромко и четко:

— У меня нет денег.

— Что?!

— Нет денег!

Василий Иванович растерялся. Именно этого наипростейшего обстоятельства он не предвидел и не учитывал, готовясь к сегодняшней операции, которой они с Ершовым, развеселившись после звонка в Москву, дали кодовое название «Баба с воза».

— Нет денег? — тупо переспросил он. — Совсем нет?

— Ну, совсем не совсем, — кротко сказал Таратута, — но того, что есть, хватит только на билет до Вены. Вот, пожалуйста... — Он вытащил из кармана бумажник, пересчитал имевшуюся в нем наличность, печально усмехнулся. — Двадцать четыре рубля... Ну и еще рубля на два мелочи. Это наличные. И на сберегательной книжке — сто сорок. И все! А за одну визу, насколько мне известно, надо заплатить четыреста. За выход из гражданства — пятьсот. Это уже девятьсот. Теперь — налог на образование... Или он отменен?

— Не отменен, но имеется указание, чтоб временно не взыскивать, — с убитым видом пробормотал Василий Иванович.

— Ладно, — охотно согласился Таратута, — налог на образование не считаем. Но мне все равно, даже и без налога, недостает — и это по крайней мере тысяча рублей. Как же я могу уехать?

Таратута спрятал бумажник в карман и, еще удержавшись, чтобы не подмигнуть Василию Ивановичу, встал, как бы давая понять, что разговаривать им больше решительно не о чем.

— Подождите, Семен Янович, подождите, не торопитесь! — почти испуганно сказал Захарченко.

— Пожалуйста, — сказал Таратута и сел.

Снова наступило молчание. Только теперь уже Таратута искоса разглядывал Василия Ивановича, а Захарченко, понимая, что второй раунд был проигран им начисто, в пух и прах, лихорадочно соображал, как ему выпутаться из этого глупейшего положения.

Ничего не придумав, он на всякий случай спросил:

— Неужели вам не у кого одолжить?

— У кого, например? — со смешком поинтересовался Таратута.

— Ну, я не знаю... Все у кого-нибудь одалживают. Люди имеют родственников, знакомых.

Таратута печально покачал головой.

— Вот, вот! А у меня, представьте себе, как раз никого — ни знакомых, ни тем более родственников. И, кста-

ти, не кажется ли вам, что все это очень странно: у людей есть родственники и знакомые, есть желание уехать и есть даже деньги, чтобы за это желание заплатить, но им разрешения не дают. А я без денег и никуда уезжать не хочу, и меня прямо-таки выталкивают! Да еще так внезапно! Почему? Зачем? В чем тут секрет?

— Никакого тут секрета нет! — сердито сказал Захарченко. — Заявления на выезд рассматриваются в порядке очереди. Ваше заявление давнее; подошла очередь, рассмотрели, решили — пожалуйста, можете ехать.

— Так ведь мне уже один раз отказали!

— Тогда отказали, теперь разрешили! — еще сердитее сказал Захарченко. — Между прочим, а на что вы тогда рассчитывали, если вы такой бедный? Деньги-то все равно надо было платить.

— Тогда у меня были друзья, которые могли мне помочь. А теперь — одни знакомые. Да и то, знаете, такие, у которых больше чем на пять рублей до полочки не разживешься. Они сами только и глядят, у кого бы стрельнуть.

— Ну а по пятерке-то они дадут? — деловито поинтересовался Захарченко.

— По пятерке, может быть, дадут.

— Тогда так. — Захарченко задумчиво двумя пальцами оттянул нижнюю губу, посмотрел на Таратуту: — Есть такая поговорка: не имей сто рублей, а имей сто друзей! У каждого друга займешь по три рубля, будет триста рублей! — Он деланно засмеялся. — Так вот, Семен Янович, что я хотел бы вам посоветовать...

— Есть и другая поговорка, — резко перебил Таратута, — советы нужны Ротшильду! Ему, Ротшильду, нужен хороший совет, и ничего больше. А нам нужны деньги и еще многое другое! Вы что же думаете, что я буду, высунув язык, бегать, как заяц, по всему городу и одалживать копейки, чтобы ехать в какой-то Израиль за тридевять земель, куда-то... — И вдруг Таратута запнулся.

И вдруг он вспомнил: летние сумерки, могучая старая липа, залезавшая ветвями в открытое окно, и вальс «Дунайские волны», который играл самодеятельный студен-

ческий оркестр в беседке на Чистых прудах. Они — Аглая Николаевна, Адель и Семен — уже несколько вечеров подряд читали вслух, по кругу, колониальный роман Клода Фарера, действие которого происходило в Алжире. И, дочитав последние строчки, Аглая Николаевна отложила в сторону книжку, закурила, помолчала и сказала каким-то внезапно тоненьким, девчоночьим голосом:

— Дальние страны! Дальняя дорога! А я вот никогда, кроме Свердловска, нигде не была... Даже в Болгарии... Теперь все почему-то ездят в Болгарию! Вы непременно, дети мои, непременно должны отправиться когда-нибудь в дальнюю дорогу, в дальние страны! Пообещайте мне, пожалуйста!

И Адель с Семеном дружно ответили:

— Обещаем!

И еще — уже в Одессе — был другой вечер, когда они сидели вдвоем, Таратута и Леня Каплан, в пассажирском порту, на пирсе, а далеко в море — по линии горизонта, как по линейке, плыл белый пароход.

— Синее море, белый пароход! — пропел Леня первую строку из старой, времен гражданской войны, частушки и невесело засмеялся. — Ты знаешь, Семен, мы, одесские Капланы, не семья, а династия. Нас было когда-то так много, что все скрывали день своего рождения. Кого-нибудь не позвать — обидеть, а позвать всех — для этого нужно было снимать по крайней мере Оперный театр. И только однажды на моей памяти вся династия собралась вместе. Это было как раз здесь, на пристани. Мне было тогда лет пять, но я этот день очень хорошо помню. Два моих дядьки — Роман и Лазарь, братья отца, — уезжали в Палестину, в Израиль. А мы их пришли провожать. Прабабушку принесли в кресле, представляешь?! Мой отец и еще один его брат, Натан, так, прямо в кресле, и несли ее по всему городу сюда, на пристань. И вот мы стояли здесь, а Роман и Лазарь — на борту парохода. Мы стояли молча — больше ста человек, наверное. И никто не плакал. А когда стали убирать сходни, Роман — он был старший — крикнул: «Приезжайте! Мы будем ждать!» И с той самой поры Израиль для меня — это страна, куда уплывает из моего детства

белый пароход по синему морю и где меня ждет мой дядька Роман! — Леня снова невесело засмеялся, взъерошил пятерней седые волосы: — Между прочим, его убили в сорок шестом году... И Таратуга, чувствуя где-то под ложечкой знакомый озорной холодок, сказал, глядя в упор на Василия Ивановича Захарченко:

— Вот что мне сейчас пришло в голову: а может быть, вы мне одолжите эти деньги?

— Я?! — шепотом от удивления спросил Захарченко.

— Ну, не вы непосредственно, а организация, ведомство, министерство, которое вы представляете. Если вам зачем-то нужно, чтоб я уехал, — вы и платите!

Эти нахальные слова Таратуги произвели на Василия Ивановича Захарченко неожиданно странное действие. Как и вчера, когда они звонили с Ершовым в Москву, удалая кровь казацких предков ударила ему в голову, он весь как-то набычился, тяжело задышал, уперся кулаками в крышку стола и, с ненавистью глядя на Таратугу, глухо спросил:

— Так сколько, вы говорите, у вас есть?

— Чего? Денег? Денег у меня ровно, как в аптеке, сто шестьдесят четыре рубля сорок копеек.

Василий Иванович сузил глаза, что-то быстро прикинул в уме, грохнул кулаком по столу и решительно — понимая, что катится в пропасть, но не давая самому себе времени, чтоб одуматься, — проговорил:

— Ладно! Давайте так — выкладывайте триста рублей, остальное доложим мы! По рукам?

— А откуда ж я возьму триста рублей? — ухмыльнулся Таратуга.

— Сто шестьдесят у вас есть?

— Сто шестьдесят есть. И еще даже — четыре рубля сорок копеек.

— Ну, копейничать мы не будем, — великодушно махнул рукой Захарченко. — Советская власть, как... кое-кто, извините за выражение, из-за копейки не удавится! Сто шестьдесят у вас есть, сто сорок достаньте и — полный вперед!

Таратуга вздохнул и пожал плечами:

— А откуда же я достану сто сорок?

— Одолжите. Соберите. Это уж надо быть... я просто не знаю кем, чтоб не суметь в Одессе достать сто сорок рублей. Ну, ладно, ну, пожалуйста, доложите девяносто, чтоб у вас было ровно двести пятьдесят. Это как раз на самолет до Вены и на обмен валюты... Договорились?

— Опять двадцать пять за рыбу деньги! — еще нахальнее, чем прежде, сказал Таратута и даже позволил себе язвительную улыбку. — Я уже сказал вам — никаких денег я доставать не намерен. Хотите — доплачивайте за меня, не хотите — не доплачивайте.

— Хорошо, — после паузы, тихо, все еще тяжело дыша, сказал Василий Иванович. — Хорошо! — не своим голосом закричал он в припадке сумасшедшего, отчаянного восторга, с которым бросаются голой грудью на колючую проволоку, с которым прадеды его, прасолы, обжулив хмельного бедолагу, рвали черными пальцами рубаху на потной груди, бросали шапку оземь и топтали ее сапогами. Это второе «хорошо» Захарченко прокричал так громко, что за дверью, в приемном зале, откуда все время доносился глухой и ровный, как из предбанника, гул, наступила мгновенная тишина. — Хорошо! — в третий раз, азартно блестя бессмысленно-прекрасными глазами, сказал Василий Иванович. — Идите собирайтесь. Поезд в Москву отходит в двадцать два пятнадцать. Билеты вам доставят прямо в гостиницу. Завтра, по приезде в Москву, вам следует... Впрочем, я скажу инструктору — он вместе с билетом передаст вам памятную записочку — что, где, когда... Вот и все, до свиданья, идите! — Он сторбился, обмяк, опустил сразу погасшие глаза и почти попросил: — Идите! Идите, чтоб я вас больше не видел.

Таратута встал, потоптался на месте, оглядел кабинет Василия Ивановича и, вспомнив рассказ месье Раевского, спросил:

— Между прочим, вы не знаете — а что здесь, в вашем помещении, было до революции?

Не поднимая глаз, Василий Иванович Захарченко ответил сторбно и глухо:

— Здесь был всегда сумасшедший дом!

Итак, он уезжает.

И это не придремалось, не причудилось, не пригрезилось. Дальняя дорога, как Валя-часовщик, перешла из сна в явь, и вот она лежала на столе в конверте — дальняя дорога, шестерочка пиковая, билет на скорый поезд «Одесса — Москва», отправление третьего октября, в двадцать два пятнадцать, пятый купейный вагон, место одиннадцатое, нижнее.

И вещи, уже готовые тронуться в путь, стояли рядом на незастеленной постели — чемодан, перехваченный ремнем, вещевой мешок и авоська, нейлоновые ручки которой Таратута благовидно обмотал и стянул носовым платком.

«Без авоськи — ни шагу! — подумал он. — Еще ни один советский человек, сколько бы чемоданов он с собою ни вез, не сумел обойтись без авоськи!»

Билет на поезд вместе с памятной запиской, составленной инструктором ОВИРа, принесли ему в гостиницу уже в полдень.

На то, чтобы уложить вещи, понадобился час, — он, кстати, большую часть этого времени потратил на то, чтобы хоть как-то замести следы вчерашней вальпургиевой ночи и разыскать под креслами и диваном раскатившиеся с опрокинутой доски шахматные фигурки. Одну белую пешку он так и не нашел. Жаль пешку! Прощай, пешка!

«Пешки — не орешки», как любил говорить доктор Тарраш!» — вспомнил он дурацкое присловие, которое услышал впервые в Московском шахматном клубе от длинноносого и длинноногого мастера, обучавшего их, мальчишек-перворазрядников, теории пешечных окончаний.

Тогда ему, Таратуте, довелось получить от мастера поощрительный щелчок по лбу за то, что он сумел решить знаменитый этюд Рети, где белый король в одиночку героически борется на два фланга с черным слоном и проходной пешкой. Прощай, пешка!

В памятной записке среди прочих ценных указаний и

советов был и такой: «Не заходите без особой надобности на работу, в железнодорожный техникум. Кто надо, поставлен в известность, — говорилось в записке, — а лишние разговоры ни к чему!»

Вот и хорошо! Вот и превосходно! И нечего ему туда заходить, и нечего ему там делать, в этом железнодорожном техникуме! Прощай, железнодорожный техникум!

Да, ну а все-таки, а что ему делать в эти последние оставшиеся до поезда девять часов? Куда их девать? Как ими распорядиться?

Все, что с Таратутой случилось вчера и сегодня, случилось так внезапно, так оглушительно неправдоподобно, что он еще не успел понять, не успел разобраться, радоваться ему или печалиться, негодовать или покорно плыть по течению.

Там, в кабинете Захарченко, в ОВИРе, он словно бы смотрел на все со стороны, словно бы играл в старую детскую игру — «Барыня прислала сто рублей, что хотите, то купите, «да» и «нет» не говорите, черного и белого не покупайте!».

Выиграл он или проиграл? Или, что больше всего похоже на истину, ничья повторением ходов? Должно быть, ничья. Ничья хотя бы уже потому, что пусть они — всегда безликие и безымянные (даже если и были у них имена и лица), — пусть они добились своего и вроде бы выиграли, но, во-первых, он заставил их самих заплатить за выигрыш, а во-вторых, если уж говорить совсем откровенно, то он-то ничего, в сущности, не терял.

Его случай был особым случаем. Он уже прожил три жизни — в Свердловске, в Москве, в Одессе.

И это не было этапами, ступеньками, главами одного и того же существования, нет, это были именно три отдельные жизни, не имевшие почти никакого касательства одна к другой. И только вторая — московская — жизнь оставила по себе пронзительную и светлую память, а Свердловск и Одесса просто-напросто были и прошли.

Он усмехнулся. Еще не начиная прощаться, он уже простился с Одессой.

В дверь постучали.

— Да? — сказал Таратута.

Вошла Лидия Феликсовна.

Она молча кивнула Таратуте и, надменно поджав тонкие сухие губы, принялась проверять инвентарные номера — круглые металлические бляхи, прибитые к спинке дивана, к ручкам кресел, к ножке стола и к абажуру настольной лампы.

Эти инвентарные номера были почему-то предметом особой заботы Лидии Феликсовны, словно она подозревала постояльцев, что они только о том и думают, как бы им подменить гарнитур «Дружба народов» Рижского мебельного комбината на гарнитур «За мир и дружбу» Харьковского комбината или вовсе на какую-нибудь неизвестную рухлядь.

Обычно Лидия Феликсовна приносила с собой толстую канцелярскую книгу и дотошно сверяла номера на инвентарных бляхах с номерами, записанными в книге. Но сегодня она ограничилась беглым осмотром. Так же наспех, небрежно и халтурно, проверила она одеяло, простыню, пододеяльник и наволочку, которые были проштемпелеваны с четырех сторон огромными черными, навеки несмываемыми печатями.

— Кодекс кодексом, — говорил Леонтий Кузьмич Верченко, намекая на «Моральный кодекс строителей коммунизма», — но с клеймом — оно, знаешь, надежнее! Не сопрут и на барахолку не стащут!

Закончив осмотр номера, Лидия Феликсовна направилась в ванную.

— Не крал, не крал, честное слово! — закричал ей вслед Таратута. — Полотенца не крал, зеркало над умывальником не свинтил, туалетной бумаги целый рулон оставил!

— Вы напрасно острите, — снова появляясь в комнате, сказала Лидия Феликсовна. — Вы сдаете номер, а я обязана его принять. И между прочим, недостает одного стакана.

— Подумаешь, стакан! — сказал Таратута. — Я выйду сейчас и куплю.

Лидия Феликсовна иронически подняла брови:

— Как это у вас все просто — выйду, куплю... Вы вот выйдете, а тут как раз ревизия! Обнаружат недостачу, кто виноват? Лидия Феликсовна виновата! Нет уж, гражданин Таратута, я должна составить акт.

— Составляйте, — вздохнув, сказал Таратута.

Лидия Феликсовна подумала, зябко поежилась и неожиданно махнула рукой:

— А-а, ладно, бог с ним — со стаканом!

Она присела на валик дивана, снизу вверх, слегка наклонив голову, поглядела на Таратуту:

— Значит — уезжаете?

— Уезжаю, — сказал Таратута.

— А где вы будете жить?

— Пока не думал, — улыбнулся Таратута. — Все это, знаете, так внезапно... Ну, буду, наверное, где-нибудь жить... Но ведь хочется и мир поглядеть.

— Это верно! — кивнула Лидия Феликсовна и, помолчав, добавила: — Может быть, даже и в Финляндии будете?

— Вполне возможно, — сказал Таратута. — А у вас там знакомые есть? Родственники? Хотите что-нибудь передать?

— Нет, нет, нет, — испуганно затрясла головой Лидия Феликсовна. — Что вы?! Откуда?! Я никого не знаю... Я только знаю, что там есть водопады. И господин Кекконен.

Она поспешно встала, протянула дощечкой руку:

— Ну, до свиданья! Счастливого вам путь!

— Мы еще увидимся — мой поезд вечером, — сказал Таратута и, наклонившись, поцеловал Лидии Феликсовне руку.

Она хотела ее отдернуть, но не отдернула, прикрыла на мгновение глаза, тихо сказала:

— Спасибо!

Потом она вдруг спохватилась:

— Ой, совсем из головы вон... Вас непременно просил зайти к нему Леонтий Кузьмич!

Кабинет Леонтия Кузьмича Верченко, заместителя

директора гостиницы «Дружба», помещался на втором этаже, рядом с буфетом.

Когда Таратута вошел, Леонтий Кузьмич стоял в мрачном и глубоком раздумье, держась одной рукой за дверцу несгораемого шкафа. Одет он был, как всегда, причудливо и небрежно — без пиджака, в клетчатой рубашке, расстегнутой на могучей груди, в допотопных диагональных галифе, заправленных в толстые, деревенской вязки, шерстяные носки.

Увидев Таратуту, Леонтий Кузьмич просиял:

— А я, понимаешь, стою и думаю — рано еще или пора... Ну, а уж коли ты пришел, то, как говорится, сам бог велел!

Он открыл тяжелую дверцу, достал из несгораемого шкафа бутылку «Столичной», тарелку с солеными огурцами и кислой капустой, перенес все это добро на стол и сказал:

— И не вздумай отказываться. Без посошка на дорожку я тебя все едино не отпущу!

Он сел, выдвинул рывком ящик письменного стола, достал две пластмассовые стопочки — голубую и красную, себе налил в голубую, а Таратуте, как гостю, придвинул красную.

— Ну, будь!

И только теперь Таратута заметил, что Леонтий Кузьмич не то успел уже изрядно поддать с утра, не то еще не протрезвел с вечера.

— Давай, Семен!

Выпили. Покряхтели. Деликатно закусили огурчиком и кислой капустой. Верченко поискал глазами, обо что бы ему вытереть мокрые пальцы, не нашел ничего подходящего и вытер их об усы.

— Хитер! — сказал он и одобрительно подморгнул Таратуте. — Хорошо, мне из ОВИРа позвонили, а то я бы и не знал.

— Я и сам не знал, — сказал Таратута.

— Хитер, хитер! — продолжал тягуче Леонтий Кузьмич и вдруг, наклонившись, сказал свистящим заговорщицким шепотом: — А я ведь тоже, между прочим, кое-

где был, веришь — нет?! В Кон-стан-ти-но-по-ле! — произнес он по слогам и засмеялся. — Нас всей бригадой в каботажное плавание брали. На «Михаиле Лермонтове». Ну, приходим в Константинополь, а нам — увольнительную на берег, на шесть часов... Веришь — нет?! А в Константинополе этом знаешь чего пьют?! Они, черти маринованные, денатурат пьют. И не скрывают. Так прямо на бутылке и нарисовано — череп и две кости! Ну, мы, как на берег сошли, взяли по бутылке на личность, выпили тут же, на пирсе, и закосели... Хотим добавить, а денег не хватает. Ну, мы обиделись и на корабль вернулись, часа не прошло. Нас помполит хвалил потом за это и другим в пример ставил. А что, Семен, в Израиле пьют?

— Понятия не имею, — сказал Таратута. — Я далеко не уверен, что там вообще пьют.

— Ну как это может быть? — удивился Леонтий Кузьмич и даже слегка пригорюнился. — Ну зачем ты, Семен, такие глупости говоришь?!

— Жарко там очень. Я вот читал, что...

— Ты за прошлое читал! — перебил Леонтий Кузьмич и снова повеселел. — Ну, раньше они возможно что и не пили. А уж теперь, когда наши туда понаехали... И это, знаешь, не важно — евреи, не евреи... Важно, что советские! А жара, я тебе скажу, так это хорошо даже. Жара — она только крепости добавляет! Ты мне пиши оттуда, Семен. Ну, что пьют и как пьют — это, может быть, цензура не пропустит, а ты напиши: извини, мол, Леонтий, ошибался. И я пойму! Напишешь?

— Напишу, — пообещал Таратута.

— Леонтий Кузьмич! — В дверях, ведущих из кабинета прямо в буфет, появилась растрепанная пожилая буфетчица (похожая сразу на всех трех ведьм из пьесы «Макбет» английского драматурга Шекспира, как сказал бы месье Раевский) и прокричала с рыданьями в голосе: — Леонтий Кузьмич, сил моих больше нет, тут вас требуют!

— А что случилось?

— А ничего не случилось! Муха тут одному, видите ли, в кофий попала...

Леонтий Кузьмич нахмурился:

— Муха? Ну и что? Ну а я при чем?

— А он велит, чтоб жалобную книгу принести. А я ему говорю, что книга у вас.

Буфетчица всхлипнула.

— Ну, тихо, тихо, Тамара! — сказал Верченко, тяжело поднялся, провел по лицу растопыренными пальцами, словно сдирая с себя хмель. — Извини, Семен! Попрошаться — и то не дадут. Аристократы, мать их растак! Он мухою, понимаешь, брезгует, ему за двенадцать копеек бабочек подавай!

А дождик, ливший всю ночь и все утро, к полудню, как ни странно, прошел. И в разрывах облаков появилась подсвеченная золотом голубизна, и Одесса в одно мгновение посветлела, похорошела.

Таратута медленно шел, заложив по привычке руки за спину, насвистывал, глазел по сторонам. Ему было почему-то грустно, хотя он и не хотел себе в этом признаться. Вернее, запретил.

За все годы, что прожил он в Одессе, он так и не сумел полюбить этот город.

Разумеется, он проникался по временам прелестью его прозрачных вечеров, морскими томительными закатами и шуршаньем каштанов; его восхищала забавная одесская речь — певуче-ленивая, с лукавыми, всегда вопросительными интонациями, речь настолько своеобразная и соблазнительная, что он и сам охотно ей подражал; его восхищала непоколебимая уверенность одесситов в том, что все у них самое лучшее — лучший Оперный театр, лучшая глазная больница, лучший Приморский бульвар, лучшая главная улица и, уж конечно, лучшие женщины, вору и музыканты.

И он готов был даже с ними согласиться, но все-таки полюбить Одессу не мог. Ему было неуютно в этом городе, скучно, одиноко.

Впрочем, ему, наверное, всегда будет одиноко, всюду, где нет Адели. Но об этом он и вовсе запретил себе думать. Раз и навсегда.

Он внезапно остановился и постарался вспомнить, хорошо ли он уложил единственное свое сокровище — «Декабриста Лунина». Кажется, хорошо. В картонную коробочку, набитую ватой, а сама миниатюра завернута в папиросную бумагу в несколько слоев, можно не волноваться.

На Приморском бульваре, радуясь неожиданно просветлевшему дню, сидели на скамейках чинные молчаливые старики.

Это были не бездельники пенсионеры — часы пенсионеров и домино наступали позже, — это были деловые люди, знаменитые продавцы «слова».

Необычайный этот промысел, единственный и неповторимый, родился в Одессе в первые послевоенные годы и дожил до наших дней, то затухая, то разгораясь снова до жара и яркости адского пламени.

«Слова» делились на множество групп, видов и подвидов: «слова» женские, мужские и детские, «слова» продовольственные, «слова» особые.

В этом последнем подвиде больше всего ценились такие «слова», как «телевизоры», «холодильник», «бритвенные лезвия», «ковры» и «пылесос».

Сам процесс покупки-продажи «слова» происходил так:

— У кого есть мужское «слово»? — спрашивал покупатель.

— У меня есть мужское «слово»! — отвечал продавец.

— На когда?

— На сегодня.

— Почему?

Продавец пожимал плечами:

— Смотря какое «слово» вам нужно.

Покупатель, оглянувшись, чтоб убедиться, что никто не подслушивает, ронял сквозь зубы негромко:

— Обувь. Есть?

— Есть. Только «слово» «обувь» стоит сегодня полтора рубля.

— Почему так дорого?

— Потому что очень хорошее «слово». Зимнее. Им-

портное. Уверяю вас, вы будете гулять с вашей дамочкой или бежать за трамваем — и вы будете вспоминать меня, такое я вам продам «слово»!

— Ну, ладно.

Покупатель платил полтора рубля и получал в обмен бумажку, на которой бисерным почерком было написано: «В три часа дня в специализированном магазине «Обувь», у вокзала, будут в продаже чешские зимние ботинки от сорокового до сорок четвертого размера. Заведующую мужской секцией зовут, на всякий случай, Нина Петровна».

Откуда продавцы «слова» получали эти сведения, не знал никто, но в достоверности их можно было не сомневаться. Человек недобросовестный, уличенный во вранье, изгонялся беспощадно и навсегда из великого ордена продавцов «слова». Даже малейшая неточность и та каралась лишением права торговать на шесть месяцев.

Поравнявшись со стариками, Таратута поднял руку в торжественном салюте:

— Братский привет народам Африки, Азии и Латинской Америки, борющимся за свою независимость и свободу!

Старики добродушно закудахтали, и один, с седой эспаньолкой, сказал:

— Молодой человек, есть особое «слово» — пальчики оближешь!

Таратута остановился:

— Телевизор?

— Нет.

— Холодильник?

— Послушайте, молодой человек, вы же не знаменитая парижская гадалка мадам Ленорман и не бюро прогнозов! Заплатите два рубля, и вам не нужно будет ломать себе голову!

Таратута подумал и сказал:

— Прошу учесть, что лично я вообще уезжаю и мне ничего не нужно. Но я готов внести два рубля на поддержку справедливой борьбы за свободу и независимость!

Он вытащил из кармана кошелек, отсчитал мелочью

два рубля и получил от старика с эспаньолкой сложенную фантиком бумажку.

Таратута развернул ее, прочел, засмеялся.

— Нравится?

— Очень! — Он поклонился. — Спасибо и до свиданья.

— До свиданья! — хором ответили старики. — Желаем счастья!

Прощайте, продавцы «слова»! Прощай, Приморский бульвар, и прославленная лестница, ведущая от бульвара в порт, и Воронцовский дворец! Прощайте и не вспоминайте лихом!

У будки телефона-автомата он слегка замедлил шаги, раздумывая, кому позвонить, попрощаться. Он даже приготовил двухкопеечную монету, но, перебрав в уме всех своих одесских знакомых, с удивлением понял, что звонить-то ему некому. Каретниковы были на работе, Майзель в командировке, а у Алеши Тучкова телефона нет.

«Лучше просто к нему заехать», — подумал он и тут же решительно прогнал эту мысль.

Этого делать нельзя, это опасно. Вот уже пять лет пытался Алеша получить инвалидную коляску, вел по этому поводу бесконечную переписку с Министерством здравоохранения, собирая сотнями справки, характеристики, ходатайства; ему наконец обещали, что к весне он будет внесен в список тех, кто действительно в таковой коляске нуждается, а там, глядишь, через год-полтора он ее и впрямь получит; и как бы не повредил ему, как бы все это не порушил прощальный визит Таратуты.

Нет, не надо заезжать к Алеше Тучкову! Прощай, Алеша Тучков!

Опыт всех трех его прошлых жизней — в Свердловске, в Москве, в Одессе — научил Таратуту нехитрому правилу: если случается с тобою что-то неожиданное и непонятное, если вмешиваются в твою судьбу силы неведомые, грозные и есть подозрения, что называются эти силы именем коротким и черным, которое, как имя черта, не принято произносить к ночи, — замкнись и не впутывай в твои дела других (друзей особенно), не звони,

если не звонят они сами, не навещай, не тревожь, чтоб не говорили потом, чтоб не жаловались, что ты их подвел.

Прощай, Алеша Тучков!

Но в будку телефона-автомата Таратута все-таки зашел, опустил монетку в отверстие, снял трубку, набрал номер и, услышав щебечущее «алло», сказал:

— Маргоша, привет! Это Семен.

— Ой, Любочка, милая, здравствуй! — пропела Маргоша, Маргарита Николаевна, товарищ Озерская, артистка Одесского театра оперетты. — Здравствуй, Любаня! Ты где же это пропадаешь?!

— Все ясно! — сказал Таратута. — Господин супруг и повелитель дома. Жаль. А я уезжаю и думал, что мы с тобой где-нибудь встретимся и пообедаем вместе!

— Не могу, Любочка, не могу никак. Сережа прихватывает, а у меня еще спектакль сегодня, и я...

— Ладно, ладно! — сказал Таратута. — Ну что ж, могу оказать тебе на прощанье небольшую дружескую услугу. В пять часов вечера в универмаг на Пушкинской, в отдел кожгалантереи, поступят в продажу польские чемоданы и сумки. Прощай, Маргоша!

Маргоша охнула, а Таратута повесил трубку, выбрался из будки телефона-автомата, повздыхал, покрутил головой и побрел по улице Карла Маркса по направлению к Дерибасовской.

«Я сижу в своей подворотне на улице Карла Маркса...» — припомнились ему слова Вали-часовщика, и тут же, словно по заказу, он увидел и эту самую подворотню, и вывеску «Часовая мастерская, ремонт и починка». Но на дверях мастерской висел огромных размеров, похожий на гирю замок, к которому шнурком от ботинок была привязана записка: «Ушел на базу».

Снизу зеленой тенью для ресниц кто-то успел приписать: «Ну и х... с тобой!»

«Так я, стало быть, и не узнаю, какая разница между починкой и ремонтом», — подумал, усмехаясь, Таратута и поглядел на часы.

Было четырнадцать часов пятнадцать минут. До отъезда еще оставалось восемь часов.

Ровно через восемь часов он будет стоять у окна вагона, и услышит негромкий свисток, и увидит, как внезапно откатнется назад перрон...

8

Он стоял в вагоне, у окна.

Раздался негромкий свисток, и Таратута увидел, как откатнулся и поплыл назад перрон, и столб с электрическими часами, и уныло сгорбившийся носильщик с тележкой, а Валя-часовщик и Толик с Валериком пошли рядом с вагоном, все убыстряя и убыстряя шаги, и что-то кричали ему, размахивая руками и улыбаясь.

Когда Таратута приехал на вокзал, они уже ждали его на платформе, у пятого вагона. Впереди, в излюбленной наполеоновской позе, скрестив на груди руки, стоял Валя-часовщик, а сзади, нагруженные какими-то свертками, переминались с ноги на ногу Валерик и Толик.

— А мы уже начали волноваться! — сказал Валя-часовщик. — Я хотел подвезти вас к поезду! Звоню в гостиницу, мне говорят — он уехал! Мы мчимся сюда — вас нет... Где вы пропадали, Семен Янович?

— Искал такси, — сказал Таратута и с удивлением поглядел на Валю-часовщика. — А как вы вообще узнали, что я уезжаю?

— Семен Янович, дорогой...

Валя-часовщик криво улыбнулся, и лицо его на какую-то долю секунды — как вчера на банкете в ресторане «Волна» — стало серьезным и даже немножко печальным.

— Если бы я не знал обо всем, что случается в этом городе, за час до того, как это случается, я бы уже давно не гулял на воле и не имел бы счастья с вами познакомиться! — Он тряхнул головой и, переменяв тон, деловито спросил: — Это все ваши вещи?

— Да.

— Хорошо. Тогда так...

Он обернулся и поманил пальцем Валерика с Толиком.

— Мальчики отнесут вещи в вагон, все положат, все устроят, а мы с вами немножко прогуляемся. О'кей, мальчики?

— О'кей! — в один голос ответили Валерик и Толик.

Они поклонились Таратуте, взяли у него из рук чемодан, вещевой мешок и авоську, но почему-то не полезли в вагон, а направились легкой трусцой куда-то в конец состава.

— Эй, куда они? — дернулся Таратута. — Вот же пятый вагон.

— Семен Янович, не волнуйтесь! — сказал Валя-часовщик. — Вы едете в мягком. Я прямо удивляюсь на этих деятелей из ОВИРа! Такого человека они сажают в жесткий вагон, крохоборы! Но все в порядке — мы уже договорились с проводником!

— Да?

Таратута озабоченно сдвинул брови:

— А сколько нужно доплатить?

— Ничего не нужно доплачивать! — весело сказал Валя-часовщик, и на щеке его заиграла детская ямочка. — Проводник — свой человек. Вы будете с ним ехать, как с родной тетей! Идемте!

Он взял Таратуту под руку, они пошли следом за Валериком и Толиком в конец состава, к мягкому вагону, мимо почти странно пустого поезда, мимо немногочисленных провожающих и уезжающих, стоящих на ступеньках и на площадках вагонов.

Стрелка на круглых электрических часах перепрыгнула с десятой минуты на одиннадцатую.

— Семен Янович, хочу вас просить сделать мне небольшое одолжение! — сказал, понизив голос, Валя-часовщик. Он вытащил из кармана пиджака почтовый конверт без марки, протянул его Таратуте: — Возьмите. Это письмецо нужно передать... Там, на конверте, все написано — и телефон, и адрес. Но лучше не звонить, а просто зайти. Вернее, обязательно нужно зайти. Есть в Москве такой художник — Лев Андреевич Ушаков. Говорят, что он очень известный художник, но это не имеет значения. Он приезжал в прошлом году в Одессу. Нас с ним

познакомили; прямо скажу, что любви у нас не получилось, но он меня просил, чтоб я ему кое-что достал, я, конечно, достал, но это тоже не имеет значения. Вы просто передадите ему письмецо, он живет в центре, у площади Маяковского, много времени у вас не отнимет. Теперь скажите мне, Семен Янович, откровенно: куда вы полетите из Вены? В Рим или в Тель-Авив?

Таратуга поглядел на Валю-часовщика, хмыкнул, покачал головой, проговорил медленно и задумчиво:

— Куда я полечу из Вены? В Рим или в Тель-Авив? Еще вчера я думал, хорошо бы съездить в Ленинград, и понимал, что это далеко и сложно. Мне всегда казалось, что мир кончается где-то у пограничной станции Брест, а остальные части света пририсованы просто так, для красоты... Одним словом, Валя, если я действительно окажусь в Вене, то из Вены я полечу в Тель-Авив.

Валя-часовщик кивнул:

— Я почему-то был совершенно уверен, что вы ответите именно так. Но очень важно, Семен Янович, очень-очень важно, чтоб вы не забыли сказать об этом Ушакову! А-а, вот и мальчики!

Валерик и Толик стояли у мягкого вагона вместе с каким-то бородатым молодым человеком в железнодорожной форме. Оказалось, что это и есть тот самый проводник, с которым Таратуге предстояло ехать до Москвы, как с родной тетей.

— Все в порядке? — спросил Валя-часовщик.

— Все в порядке! — ответили Валерик и Толик. — Третье купе, любое место.

Стрелка часов прыгнула с двенадцатой минуты на тринадцатую.

— Прошу, — сказал проводник.

— Ну, Семен Янович! — сказал Валя-часовщик, коротко обнял Таратугу и подтолкнул его к ступенькам вагона. — Счастливый путь! Помните, как сказал вчера Ваню, — гора с горою не сходится, а человек с человеком сходится. Может быть, мы еще встретимся! Счастливый путь!

— Счастливым путь, Семен Янович! — крикнули негромко Валерик и Толик.

Он стоял у окна, а они шли рядом с вагоном, все убыстряя и убыстряя шаги, и что-то кричали ему, размахивая руками и улыбаясь. А потом они отстали, перрон кончился, и в последнем пучке света возникла и уплыла назад надпись: «Одесса».

Прощай, Одесса!

Таратута вздохнул, вошел в купе, снял пальто, огляделся.

Вещи его — чемодан и мешок — мальчишки подняли наверх, авоську оставили внизу, а на столике в живописном беспорядке, как игрушки под елкой, лежали два блока американских сигарет «Мальборо», бутылка английского джина, коробка чешских конфет и польский дорожный несессер из свиной кожи.

— Сумасшедшие психи! — вслух сказал Таратута и сел.

Он внезапно почувствовал, что смертельно устал, голоден, оглушен, что он все еще не в состоянии понять, — что же это с ним произошло и чем все это кончится.

Ему захотелось курить, но открывать «Мальборо» он не стал, а вытащил смятую пачку болгарской «Шипки», встряхнул ее, вытянул зубами сигарету.

И тотчас же, словно из-под земли, появился в открытых дверях купе проводник и протянул Таратуте зажженную спичку.

— Спасибо, — сказал Таратута, прикурил и решил, что он больше ничему удивляться не будет.

— Чаек согреть? — спросил проводник.

— Попозже, — сказал Таратута. — Я, знаете, съел бы чего-нибудь...

— А ресторан рядом, — сказал проводник, — вы ступайте, пока народу немного, поужинайте. А я вам тем временем постельку постелю и чаек поставлю. Ступайте.

В вагоне-ресторане было и вправду почти пусто. Только за крайним, у входа, столиком сидела компания пожилых и каких-то на редкость, как на подбор, некрасивых мужчин. Мужчины пили пиво и молча наблюдали за тем,

как одна из официанток, взобравшись на стойку, снимала с верхней полки буфета картонные коробки и передавала их буфетчице, румяной толстухе в вышитой украинской кофте. Вторая официантка — кривая на один глаз, но с модной прической, называемой в просторечии «вшивый домик», — стояла рядом и зевала.

Таратута сел у окна, включил настольную лампу, постучал ножом по краю бокала.

Кривая официантка обернулась, подошла, укоризненно проговорила:

— Только сели, а уже стучите! Вам пива?

— Нет, — сказал Таратута. — Я хочу есть.

Он раскрыл меню.

— Что вычеркнуто, того нет, — предупредила официантка.

— Так у вас тут почти все вычеркнуто.

— Что вычеркнуто, того нет, — тупо и привычно повторила официантка.

— А что же есть?

— Холодное, горячее?

— Горячее.

— Гуляш, — сказала официантка и вздохнула.

— А еще?

Официантка, сдерживая зевоту, ничего не ответила.

— Ну ладно, давайте гуляш.

— Один гуляш, — сказала в пространство официантка. — Что будем пить? Коньячок? Водочку?

— Какой у вас коньячок?

— Молдавский. Пять звездочек.

— Ого! — сказал Таратута. — Ну хорошо, принесите сто пятьдесят.

— Коньячку сто пятьдесят, — бросила на ходу официантка буфетчице и полплелась на кухню.

Таратута покачал головой, раздвинул от нечего делать шелковую в сборку занавеску на окне, поглядел в запотевшее стекло.

За окном была темень, редкие огоньки.

Дальняя дорога — шестерочка пиковая — вечер, поезд, огоньки. Все как в песне. И, как в песне, у Таратуты вдруг непонятной тревогой заныло сердце.

Она была сочинена в России, эта песня, и только в России, с невыслымиыми ее расстояниями, могут люди оценить и понять слова:

Вечер, поезд, огоньки,
Дальняя дорога.
Сердце ноет от тоски,
А в груди тревога...

Ну в самом деле, ну что такое для европейцев дальняя дорога, когда, к примеру, от Парижа до Осло («на край света», как говорят парижане) всего-то пути ночь до Копенгагена, там пересадка, еще несколько часов — и Осло.

А суток пять или шесть не угодно ли? И это еще хорошо — бывает, что и подольше; бывает, что и по месяцу, если не по два!

И отправляются в такую дорогу не с одним, как европейцы, немудрящим чемоданчиком или сумкой, а с мешками и корзинками, с баулами и сундуками, с неизменным и обязательным чайником, чтоб выбежать на остановках за кипятком, с ножами, и ложками, и солью в тряпице; и даже ночью, извините за выражение, посудой, если берутся с собою в дорогу малые дети или такие старики, что вот-вот, не ровен час, отдадут богу душу.

И каких только разговоров, каких только былей и небылиц не слушаешься в этой дороге! Неторопливо течет беседа, и кажется, что нет ей ни конца, ни начала, ни смысла.

Свесится с верхней полки чужой человек, послушает — и не поймет ничего.

— А Ленька-то тыр-пыр, а все равно своя рубашка ближе к телу, верно я говорю?

Но ответят не сразу. Ответят после паузы. А в паузе этой и чайку попьют, и по нужде сходят, и подумают, и пробежит поезд еще с десяток километров; и когда чужой человек уже и про вопрос-то забудет, тогда только наконец последует ответ:

— Оно, конечно, верно, но ведь и ей — Вологда Вологдой, а интерес иметь надо!..

Вот и пойми!

И куда бы ты ни ехал, как бы ни ехал — в теплушке или международном спальном вагоне, где красное дерево, бархат и зеркала, — в какую-то минуту, самую внезапную, непременно настигнет тебя тоска.

«Тоска вагонная, железная» — это тоже недаром сочинено в России.

В ранние сумерки или на рассвете ты выглянешь в окно — твой поезд притормозил на каком-то разъезде, — и ты увидишь домик, маленький, неказистый, с покатою крышей и цветастыми занавесками.

А на крыльце стоит молодая женщина, простоволодая, в ситцевом платье и в мужских сапогах на босу ногу. Одной рукой она держится за перила крыльца, а в другой руке у нее свернутый флажок — не разберешь, какого цвета.

И ты подумаешь о том, что никогда в жизни не узнаешь, как зовут ее, кто она, о чем думает. Никогда, никогда не повторится это мгновение — и все это вроде бы вздор и не стоит памяти, — но у тебя почему-то зайдет сердце от мысли о необратимости времени и о том, какое великое множество людей, живущих в одни с тобой годы, на одной и той же земле, никогда не слышали и не услышат о тебе, не узнают твоего имени, они пройдут, и уйдут, и не обратят внимания на то, что ты тоже существовал.

— Вот так встреча на Эльбе! — пропел над головой Таратуты тоненький голос.

Он поднял глаза и, хоть и дал себе слово ничему больше не удивляться, все-таки удивился.

Перед ним в кружевном, не первой свежести фартуке стояла та самая вчерашняя чернявенькая девица с черной челкой и зелеными глазами, та, из «джинсовой» компании, из прошлой жизни.

— Батюшки! — сказал Таратута. — Действительно — встреча!

— А я вчера весь вечер ждала, думала, что вы позвоните.

— Не мог, — коротко, не вдаваясь в подробности, от-

ветил Таратута. — Между прочим, я ведь забыл спросить, как вас зовут?

— Алла.

— Прекрасно! Рад видеть вас, Аллочка!

— Я тоже. Вы ужинать будете?

— Да. Но я уже заказал.

— Кому? Лизке? Гуляш?

— Да.

— Вот падла! — искренне возмутилась Алла. — Этот гуляш ни один человек в здравом уме и твердой памяти есть не может. Мы его специально для алкашей держим, которым все равно, было бы во что вилкой тыкать.

Она наморщила лоб, подумала и, неожиданно переходя на «ты», спросила:

— Ты как к омлету с ветчиной относишься?

— Вполне положительно, — сказал Таратута.

Она улыбнулась, кивнула — черная челка взметнулась вверх и снова упала на глаза, — сказала:

— Не скучай! Через пять минут я вернусь!

Вернулась она хоть и не через пять минут, но все-таки довольно быстро, принесла омлет, коньяк, хлеб и от себя добавила порцию маринованной селедки и бутылку боржоми.

— Я быстро, да? — спросила она с наивным хвастовством. — Знаешь, когда сезон, никто быстрее меня не обслуживает. Лизка только с первой сменой рассчитывается, а у меня уже вторая ест. Я тебе селедочки еще принесла, ничего? Конечно, селедка под коньяк не очень-то, лучше бы водочка...

— Хорошо, хорошо, — сказал Таратута. — Все в порядке. У нас без предрассудков, у нас не только коньяк, шампанское селедкой закусывают...

— Ну и ладушки! — засмеялась Алла и приказала: — Ешь, не буду тебе мешать.

— Ой нет, погоди! — попросил Таратута. — Посиди со мной, а? Или не полагается?

— Вообще-то, конечно, не полагается...

Засунув руки в кармашки фартука, она покачалась на каблуках, прищурилась, негромко сказала:

— Ладно. А если кто спросит, скажи, что ты мой двоюродный брат.

Она присела на краешек стула, помолчала, стряхнула со скатерти какие-то невидимые, скорее всего, воображаемые крошки, быстро взглянула на Таратуту и тут же снова опустила глаза.

— Ты слышал? Между прочим, твой Лapidус пришел сегодня домой!

— Это точно?

— Совершенно точно.

— Интересно! — сказал Таратута, хотя вовсе это было ему не интересно, потому что и сам Лapidус, и вся его история стали уже тоже вчерашним, прошлым, не имеющим смысла, но он все-таки повторил: — Очень интересно, — и поднял бокал с коньяком. — Ну, если так, то со свиданьем, Аллочка, и за благополучное возвращение Лapidуса!

— Чин-чин! — пропела Алла.

Таратута отхлебнул большой глоток, с шумом выдохнул воздух. У него закружилась голова, и он подумал: «Это, наверное, с голода. Я ведь, оказывается, ничего не ел со вчерашнего вечера».

Он отхлебнул еще глоток, посмотрел на Аллу, и ему показалось, что зеленые ее глаза побежали ему навстречу. Он слегка наклонился вперед и накрыл ладонью ее руку.

— Ужасно я рад, Аллочка, что мы все-таки встретились. Ты мне сразу понравилась! Ты красивая, умная...

«Господи, что я несу?!» — подумал он, но уже был не в силах остановиться.

— У тебя глаза умные... Слушай, а как ты здесь оказалась?

— Где — здесь? — не поняла Алла.

— Ну, в ресторане. Я думал, ты учишься или... Неужели не могла найти себе места получше?

— Получше? — Алла насмешливо покачала головой. — Ах, миленький, много ты понимаешь! Да ты знаешь, за то, чтобы получить это место, люди по тысяче рублей платят. И еще спасибо говорят, в ножки кланяются.

— Почему?

Алла пожалала плечами:

— Заработки хорошие.

Таратута снял очки, повертел в пальцах и, забыв протереть их, снова надел.

— Чаевые?

Алла скорчила презрительную гримаску:

— Чаевые! Скажешь тоже... Чаевые, миленький, — это пшено, печки-лавочки, детишкам на молочишко. Вот ты, например, пьешь коньяк.

— Пью, — сказал Таратута и с внезапной догадкой поглядел на Аллу. — А вы чаем его разбавляете?

Алла засмеялась:

— Мы подобными глупостями не занимаемся.

Она оглянулась на буфетчицу, тряхнула челкой, негромко и серьезно сказала:

— Бутылка этого коньяка в магазине стоит восемь рублей. А у нас почти шестнадцать, вдвое. И это не мы набавляем, ты не думай. Это официальная государственная наценка. С тебя в любом ресторане возьмут столько же. Получаем мы этот коньяк на особой базе Министерства путей сообщения. По счету получаем, по накладной — такое-то количество бутылок. Отправляемся в рейс — получаем, возвращаемся — за пустые, которые выпили, рассчитываемся, а которые не выпили, обратно сдаем. Ты сечешь?

— Секу, — пробормотал Таратута, — секу, но не понимаю — на чем вы тут зарабатываете?

Алла усмехнулась:

— А тут даже чокнутый — и тот зарабатывает! — Она еще больше понизила голос: — На каждую бутылку, которую мы получаем с базы, ставится печать, штамп: Министерство путей сообщения, база номер такая-то, вагон-ресторан номер такой-то. Все в ажуре! Но только у буфетчицы нашей, у Марьи Григорьевны, есть точно такой же штамп. Сечешь? Перед рейсом мы в складчину покупаем в магазине по нормальной цене тридцать — сорок бутылок, ставим на них штамп и пускаем в продажу. Которые с базы бутылки — те в ящике, под буфетом или на кухне.

Ну, конечно, несколько штук мы — для отчетности — продаем... Но в основном торгуем нашими. В сезон за один сдвоенный рейс мы, бывает, столько продадим, что пустыми назад едем: ничегошеньки не остается — ни коньяка, ни вина, ни водки...

— Хитро, — пробормотал Таратута.

— А ты говоришь — чаевые! — с воодушевлением сказала Алла. — И это, миленький, один всего лишь пример, а их... Такие есть номера — закачаешься. Объяснять только долго!

Гремя сапогами, вошли в ресторан двое военных, два майора. У обоих были совершенно остекленевшие, бутылочного цвета глаза и нарочито четкие движения.

За столик они не сели, а прошагали прямо к буфетной стойке, заказали по чайному стакану водки и по бутерброду с вареной колбасой; без удовольствия, словно выполняя ответственное задание, выпили, заели колбасой, расплатились и направились к выходу.

Уже в дверях один из них — тот, что был помоложе, — обернулся, поднял руку с оттопыренным указательным пальцем и громко сказал:

— Прошу учесть, что римский Ко-зи-лей был разрушен! Ясно?!

— Ясно, — ответила Алла и пообещала: — Учтем!

Майоры ушли.

— Пьянь несчастная! — сказала Алла.

Таратута допил коньяк и со вздохом сожаления поставил пустую рюмку на стол, поставил очень аккуратно, но она почему-то упала и едва не разбилась.

Таратута засмеялся, облизнул языком пересохшие губы. У него кружилась голова, перед глазами плыли какие-то веселые радужные пятна, и в одном из этих пятен то появлялось, то исчезало Аллино лицо. Иногда целиком, иногда по частям — нос, ухо, глаза, челка.

«Я на ней женюсь, — решил Таратута. — Женюсь и возьму с собою в Израиль. Мы будем жить счастливо и умрем в один день. Сейчас я ей все это скажу, но сначала нужно еще выпить!»

— Нужно еще выпить! — сказал он вслух.

— А тебе не хватит? — спросила Алла.

— Ха-ха! — сказал Таратута.

Алла поднялась, забрала пустую рюмку и ушла.

Таратуте захотелось петь. Но сколько он ни старался, он не мог припомнить ни одной подходящей к случаю песни. Он покрутил головой и с испугом обнаружил, что куда-то пропала компания очень некрасивых мужчин. Только что сидели, пили пиво — и вдруг пропали.

— Где они? — спросил Таратута, хватая за руку проходившую мимо кривую официантку Лизку.

Но Лизка, вместо того чтобы ответить по-человечески, вырвала руку и крикнула визгливо и непонятно:

— Какой с него калым?! Он уже и так левым винтом пошел!

Таратута обиделся, и голова у него перестала кружиться. Алла вернулась, поставила на стол графинчик с коньяком и рюмку, озабоченно спросила:

— Ты как?

— Превосходно! — сказал Таратута. — А что за калым?

— Выкуп, — объяснила Алла.

— Почему? — спросил Таратута.

— Ну, это если ты хочешь, — не сразу ответила Алла. Она покосилась на Таратуту, закурила, выпустила колечком дым, повторила:

— Если ты хочешь... Надо заказать шампанское и какой-нибудь закуски. Для всех — для буфетчицы, повара, Лизки... Посидим, погуляем, и тогда они отпустят меня к тебе. Но это, конечно, необязательно! — добавила она, вдруг как-то заторопившись и глотая слова. — Это они так предлагают, а ты уж сам... Это, как говорится, тебе решать. И ты не думай, что я...

Таратута тупо поморгал глазами и спросил:

— А шампанское дорогое?

Алла усмехнулась:

— Ну, вот об этом уж ты как раз не волнуйся. Твой счет оплачен. Заранее и даже с верхом. Мне Валерий Исаевич перед отходом пятьдесят рублей дал. Сказал, если ты загуляешь, так чтобы все было тип-топ.

— Валерий Исаевич?! Какой Валерий Исаевич?

— Что значит — какой? — развела руками Алла. — Ну, он же провожал тебя, я из окна видела. Ну, Валя-часовщик!

Они повесили на дверях, снаружи, с двух сторон таблички с надписью «Ресторан закрыт». И постелили свежую накрахмаленную скатерть. И погасили верхний свет, оставив гореть только уютную настольную лампу. Алла сидела рядом с Таратутой, напротив буфетчица и повар Игнатий Игнатьевич — очень худой человек неопределенного возраста, беззубый, но в таких же, как у Таратуты, фасонистых роговых очках.

А кривая Лизка, приплясывая, принесла ведро, из которого торчали серебряные головки бутылок шампанского, игриво подмигнула Таратуте здоровым глазом и снова умчалась на кухню — за закуской.

Повар Игнатий Игнатьевич очень длинными белыми пальцами вытащил из ведерка бутылку шампанского и, сдирая с горлышка серебряную обертку, вежливо спросил у Таратуты:

— В Москву едете?

— В Москву, — сказал Таратура и икнул.

— Ничего, бывает! — благодушно заметила буфетчица, и было не очень понятно, к чему относятся ее слова — к тому ли, что Таратура едет в Москву, или к тому, что он икает.

— Ты смотри только не усни! — шепнула Алла.

Она прижималась к Таратуте плечом, и от нее пахло луком и польскими духами «Быть может».

Повар Игнатий Игнатьевич ловко, не пролив ни единой капли, открыл шампанское и первому, как хозяину стола, налил бокал Таратуте.

Прибежала Лизка с закуской — селедкой на тарелочках и винегретом в суповой кастрюле, — захлопала в ладоши, закричала:

— За молодых, за молодых!

А поезд сошел с рельсов и шпарил теперь прямо по полю, по мокрой ночной траве, через речку — по узкому

деревянному мостику, прорезал наискосок березовую рощу и закружился на одном месте.

— Не засыпай! — сказала Алла.

— Я не за-сы-паю! — сказал, засыпая, Таратута.

Он проснулся минут через пять, как ему показалось, но когда он с трудом разлепил глаза, то обнаружил, что лежит в своем купе, а за окном совершенно светло, солнечно.

Из радиодинамика доносилось какое-то шипение и потрескивание, как будто на гигантской кухне на гигантской сковороде жарили гигантскую яичницу.

Потом шипение и потрескивание прекратились, и отвратительно бодрый голос сказал:

— Граждане пассажиры! Наш скорый поезд номер тридцать второй прибывает в столицу нашей Родины, орденоносный город-герой Москву.

В радиодинамике что-то щелкнуло — и сводный хор молодых и девиц, счастливо избежавших тягот военной службы и ужасов честного труда, грянул во всю дурацкую мочь:

Москва моя, страна моя,
Ты самая любимая!

*Бад-Хайльбрун,
Мюнхен, Париж
1976—1977*

Еще раз о черте

(Начало романа)

Это не художественное произведение. Описывать природу, бороться со словом «который» и деепричастными оборотами — на все эти забавы у меня нет ни времени, ни желания. В моем распоряжении семь дней, и за эти семь дней я должен, я обязан рассказать, изложить, записать всю эту историю — так, как я ее помню.

Полчаса тому назад мне позвонила Лидия Алексеевна из парткома и сладким голосом, с придыханиями сообщила:

— Николай Андреевич, могу вас порадовать, вы в списке — собирайтесь!..

«В списке» — это значит, что я благополучно прошел сто тысяч проверок и через десять дней еду с писательской группой в туристскую поездку в Швецию.

Сегодня одиннадцатое августа (это надо же, такое совпадение!), вылетаем мы в Стокгольм двадцатого, девятнадцатого числа — день пропаций — с утра мы должны явиться в «Интурист», нам выдадут наши иностранные паспорта, объяснят, как полагается вести себя за границей, в капиталистической стране — не плевать, не сорить, вставать, когда разговариваешь с дамой (особенно — пожилой), и — самое главное — ничем не восхищаться, помнить о достоинстве советского человека и не набрасываться на всякое шмотье.

Потом нам обменяют наши родные рубли на шведские кроны — десять рублей на личность, по официальному курсу это получится что-то около шестидесяти крон. Потом некоторым из нас (не всем!) нужно будет еще явиться в партком Союза писателей, где с каждым в отдельности будет особый разговор, потом придется поехать в ГУМ, купить для отвода глаз сувениры — мат-

решки, значки, почтовые марки и прочую муру. А двадцатого, в десять часов утра, серебристый лайнер «Ил-18» сделает «ту-ту», взмахнет своими серебристыми крыльями и возьмет курс на столицу королевства Швеции город Стокгольм. Учитывая разницу во времени — в десять часов утра двадцатого августа 197... года я, Николай Андреевич Зимин, буду в Москве, и я же, Николай Андреевич Зимин, двадцатого августа 197... года в десять часов утра буду в Стокгольме. Так сказать, сосуществование во времени и в пространстве — любимейший сюжетец для всех научных фантастов, от мистера Айзека Азимова до Алешки Крахта. Для Алешки особенно, поскольку он постоянно прячется от алиментов и долгов.

Ну вот, а в двенадцать часов утра двадцатого августа 197... года (это уже по шведскому времени) я, все тот же Николай Зимин, буду сидеть на ихнем шведском стуле, в ихнем шведском полицейском управлении и объяснять дуракам чиновникам (чиновники везде дураки), что я прошу в ихнем шведском царстве-государстве политического убежища. Именно — в первый же день, сразу же по прилете, чтобы испортить этим сукиным детям, этим благополучным мерзавцам, дорогим моим спутникам по туристской поездке, предвкушаемые ими радости. Кстати, хотя я буду просить права политического убежища, но отнюдь не по политическим мотивам. С советской властью отношения у меня вполне нормальные, даже можно сказать — хорошие, и остаться на Западе собираюсь я по причинам сугубо личным. Те, у кого хватит терпения дочитать эту историю до конца, — поймут.

Итак, приступаю, как говорили в старину, со страхом и слезами. Люди рассудительные могут, разумеется, задать очевидный вопрос — а почему я, собираясь остаться на Западе, не отложу своего писания до той поры, когда времени у меня будет хоть залейся. Вопрос резонный, но, во-первых — кто может поручиться заранее, что все произойдет успешно, а во-вторых (если все произойдет успешно), то сохранится ли во мне сегодняшнее отчаяние, достанет ли у меня решимости и духа рассказать эту

историю так, как она произошла на самом деле, не щадя себя и не поливая дерьмо розовым сиропом?

Рукопись эту я отпечатаю в двух экземплярах — один куда-нибудь спрячу под Москвой (я знаю одно такое место), а второй экземпляр попытаюсь взять с собой — туристов, как правило, шмонают по-настоящему, когда они возвращаются.

Итак — телефон я отключил, Яшеньку запер в ванной, на входных дверях повесил записку «Просьба не беспокоить» и предупредил лифтершу — сегодня (еще одно совпадение!) дежурит Катя, — чтоб никого ко мне не пускала.

Поехали!..

1

В тот день я возвращался домой в замечательно-прекрасном настроении, потому что я достал бычков в томате. Зашел в рыбный отдел нашего знаменитого магазина «Комсомолец», чтобы купить Яшеньке какой-нибудь дрызг, и увидел бычки в томате. Сперва я их даже не узнал в лицо — такая это теперь редкость. Я взял целых пять банок. Ну, а уж после этого ноги, как говорится, сами понесли меня в соседнюю дверь — в винный отдел, где мне опять-таки повезло — очередь была сравнительно небольшой — три часа дня, — те, которым необходимо было опохмелиться, уже опохмелились, а добавлять или начинать по новой еще рано. Я приобрел пол-литра «Московской» и еще взял бутылку вина — на тот случай, если Наталье захочется выпить.

Этот день — одиннадцатое августа 197... года — вообще проходил с самого начала под знаком мелких удач. Встал я довольно поздно, позвонил Наталье — ее маман с французским прононсом сообщила, что Наташи нет дома, но что она просила мне сказать, что непременно (удивительно прекрасно выговаривала она это слово — «нэ-пре-мне-нноо!») заедет ко мне часа в три-четыре. Я спросил, закончила ли Наталья работу, и маман ответила чинно и горделиво: «Предполагаю, что да. Она стучала на машинке всю ночь».

После этого я принял душ, побрился и поехал в Дом литераторов пообедать и узнать новости. Обед был, как всегда, вполне смрадный, а новости незаслуживающие. От стола к столу ходила с красными пятнами на щеках Тамара Лисицкая, присаживалась на минутку и свистящим шепотом сообщала, что на очередном секретариате будут песочить величайшего поэта всех времен и народов Ваську Полонского (бывшего Тамаркиного мужа) за какие-то якобы крамольные стихи, которые Васька читал на творческом вечере. Но это была, так сказать, дежурная новость, обязательная и почти ежедневная, как сводка погоды. Всякий раз, когда Васька печатал в «Правде» или каком-нибудь подобном печатном органе прочувствованно-трубные вирши, все его бывшие и настоящие жены немедленно принимались распускать слухи о грозящих Ваське неприятностях и неизбежной скорой опале. Сам же Васька на это время отбывал в творческую командировку — иногда в Сибирь, а иногда и подальше, в Австралию или Южную Америку.

После обеда я зашел в бильярдную, сыграл три партии с Сенечкой Кауфманом и выиграл у него в последнем шаре. Маркер Иван Николаевич был на седьмом небе от счастья. За последние годы Сенечка не проигрывал почти никому. Он приходил в бильярдную к самому открытию и торчал там весь день, даже обедать не ходил, а питался бутербродами с вареной колбасой, которые приносил из дома. Играл он партию по десяточке, и ежедневный выигрыш его доходил до пятидесяти рублей, из которых он давал Ивану Николаевичу пятерку. Но маркер Иван Николаевич был человеком справедливым и азартным, жучков, вроде Сенечки, ненавидел до глубины души и готов был охотно пожертвовать пятеркой, лишь бы увидеть Сенечкино поражение.

Я играю средне, слабее Сенечки очков на пятнадцать, но в тот день — один к одному — прорезалась у меня какая-то совершенно невероятная кладка.

В последней партии, когда на столе оставалось два шара — свой и туз-единах, — Сенечка развел шары по коротким бортам и, тряхнув лысой головой (он все еще

никак не может позабыть того далекого времени, когда у него были волосы), ласково предложил:

— Разошлись?

Отыгрыш, разумный отыгрыш был и впрямь только один — бить своего клопшоссом и менять шары местами. Иван Николаевич подмигнул мне и одобрительно кивнул. Ничья с Сенечкой тоже была кое-что.

Но я, ощутив прилив какого-то сладкого бешенства (бывают у меня такие приливы), возненавидев не только самого Сенечку, но даже бутерброд с вареной колбасой, который он держал в оттопыренной левой руке, небрежно сказал:

— Ну, зачем же, Сенечка?! Туза — дулетом — к себе, в левый угол!..

Иван Николаевич неодобрительно хмыкнул. Я чуть приподнял кий, ударил своего под низ коротким щелчком, и туз, через весь стол, прокатился и послушно упал в левую лузу.

...Сенечка расставался с десяткой, как с родным, горячо любимым братом. Он еще долго канючил, уговаривал меня сыграть «разгонную», но я только высокомерно усмехнулся и сообщил, что у меня есть железное правило — никогда, ни при каких обстоятельствах не играть в один день больше трех партий.

— А завтра придешь? — хищно спросил Сенечка и скривил и без того кривоватый нос.

— Возможно, — туманно ответил я и улыбнулся в ответ на благодарный взгляд Ивана Николаевича.

На Сенечкину десятку я позволил себе роскошь, взял такси на площади Восстания и доехал до метро «Аэропорт». У входа в метро уже слонялись (с утра пораньше!) два закадычных друга, два заклятых врага, два половых психопата из нашего писательского кооперативного дома — Седых и Карельский, клеили проходящих баб, искали подругу на вечерок.

— Привет! — сказал я. — Как дела на половом фронте? Наступление продолжается?

— Иди, иди, служивый, не проедайся! — раскатывая «р-р», как горячую горошину, добродушно сказал Ка-

рельский. — Твоя Софи Лорен уже ждет тебя в садике. И, между прочим, из авоськи у нее торчит ананас!

— Везет же людям! — вздохнул Седых.

Я ускорил было шаги, но вспомнил, что Яшенька у меня уже сутки как не кормлен, и можно себе представить, какой погром учинил он в квартире. Мне, конечно, давно следовало бы выгнать этого негодяя к чертовой матери. Даже среди моих ближайших друзей и знакомых не было второй такой сволочи, как этот кот. Но мне принес и подарил его Павлик, подобрал где-то на улице и принес. И тут уж, стало быть, ничего я поделывать не мог. Приходилось терпеть.

Я помню, когда мы еще жили вместе и Павлику было лет пять, он постоянно тащил в дом со двора всех, как говорила Лена, униженных и оскорбленных. Но у товарища Хаймовича, у мистера-месс-синьора Хаймовича, у Наумчика Хаймовича оказалась, видите ли, такая тонкая душевная организация, он пребывал постоянно в таком невероятном творческом напряжении, рифмуя «кровь-любовь» и «вечер-встречи», что Лена с Павликом ходили по дому на цыпочках, оберегая его душевный покой — и поэтому, когда Павлик в какой-то подворотне нашел тщедушного, замурзанного котенка, он принес его мне. За несколько месяцев этот заморыш, как царевич Гвидон, превратился в огромного, наглого и злобного кота, который по любому поводу и без повода орал благим матом и крушил все, что попадалось ему на пути.

В первый год после того, как Лена ушла от меня к месье Хаймовичу (переселилась со второго этажа на третий), я некоторое время носился с идеей поменять квартиру. В нашем районе полно кооперативных домов — писателей, киношников, циркачей. Но наш дом считается лучшим, наверное, потому, что во дворе у нас садик, и потому еще, что строился наш дом первым — и строился основательно, без халтуры, на совесть. Охотников на мою двухкомнатную квартиру можно было найти сколько угодно, только свистни. Но потом я подумал — какого черта?! Почему это, собственно, я должен куда-то переезжать? Пускай болит голова у Хаймовичей. В конце

концов, не я бросил Лену, а она ушла от меня. К тому же Павлик, возвращаясь из школы, нет-нет да и забежит ко мне поболтать, проведать Яшеньку, обменяться последними спортивными новостями. А бывает, что он заходит и вечером, особенно если по телевидению — футбол. Тогда мы садимся рядом на диван, пьем чай, дружно болеем за тбилисское «Динамо» и ругаем «Спартак». Я обнимаю Павлика за худые, мальчишески острые плечи и стараюсь не думать о том, что через какой-нибудь час он встанет, потянется, улыбнется и скажет: «Ничего игрушка была! Ну, я пошел, папа, привет!»

У него Ленины глаза — огромные, черные, умеющие как-то мгновенно озаряться радостью или выразить такое откровенное, такое неподдельное огорчение, что за все те годы, которые мы прожили вместе (а прожили мы ни много ни мало почти девять лет), я, по-моему, не сказал ей ни одного грубого слова. Ну, если даже и говорил, то, во всяком случае, тут же раскаивался.

И, может быть, именно поэтому я с такой страстью, с таким остервенением матерился и выкрикивал самые дикие непристойности в то утро, когда Лена сказала, что она от меня уходит.

Мы завтракали на кухне, Павлика Лена проводила в школу, а я поднялся почти мертвый — накануне в Доме литераторов мы обмывали очередную (если не ошибаюсь — пятую) Государственную премию классика узбекской литературы Файзуллы Яшенова. Файзулла — седой узкоглазый сморчок — велик во всех жанрах, и посему за банкетным столом сидели поэты, прозаики, драматурги — ненасытная шатия литературных поденщиков, буйные головушки, сочинявшие за Файзуллу все, что угодно, лишь бы платили деньги. Я представлял на этом сборище кино — на студии «Узбекфильм» ставилась двухсерийная эпопея по сценарию Яшенова «Дорога к счастью» — о том, как под мудрым водительством и так далее расцвела Голодная степь. Сценарий писал, разумеется, я, но благоразумно отказался ставить свое имя рядом с именем Файзуллы. Так для меня выгоднее во всех отношениях — и утверждается сценарий значительно быстрее и легче, и

денег больше. Если подписываем вдвоем, то деньги пополам, если подписывает один классик — почти весь гонорар идет мне.

Надо отдать Файзулле должное — банкет он закатил на славу, не поспешил, и, когда утром я попытался сползти с постели, меня шатануло так, что я едва не присел на копчик.

В голове у меня прыгали какие-то синие черти, а язык, сухой и шершавый, во рту не помещался.

Я сидел за кухонным столом с полузакрытыми глазами и пил чашку за чашкой черной кофе.

Лена, в ситцевом халатике, сидела напротив и рассеянно брякала чайной ложечкой по блюдцу.

— Умоляю тебя, — сказал я, — перестань стучать ложкой.

— Коля, — сказала Лена странным, каким-то как бы не своим голосом, — мне нужно с тобой поговорить.

Я попытался усмехнуться.

— Другого времени ты найти не могла?

— Другого времени не будет! — резко сказала Лена и снова брякнула ложечкой по краю блюдца. — Я не собираюсь читать тебе мораль или упрекать за что-то. Каждый человек живет так, как он умеет. И хочет. Ты сделала все, решительно все, чтобы я перестала тебя любить. И не только любить — уважать. И вместе нам быть больше ни к чему.

— Я просил тебя, кажется, — сказал я, — не стучать ложкой.

— Извини... Тем более — а мне кажется, что ты давно уже об этом догадался, — я полюбила другого человека...

— Хаймовича? — спросил я.

— Да, Хаймовича, — сказала Лена с вызовом, — а что?!

— Ничего, ничего, — сказал я, глядя на всю эту сцену словно со стороны, и, помолчав, совершенно искренне рассмеялся. — Я просто не понимаю, как можно любить человека по фамилии Хаймович! Хаймович — это же из анекдота! Идут по улице два китайца, и один говорит другому: «Послушайте, Хаймович...»

— Ну знаешь, — перебила Лена, — лучше любить человека из анекдота, чем человека из...

Она внезапно замолчала и закусила губу. У нее есть такая детская привычка (и у Павлика тоже) — закусывать нижнюю губу.

Я подождал продолжения, поднял глаза на Лену и увидел, что она плачет. Но это меня не тронуло ничуть, скорее даже наоборот.

— Что же ты не договариваешь, сука?! — тихо, очень тихо спросил я, и знакомое сладкое бешенство окатило меня всего, как холодная вода, даже голова перестала болеть. — Что же ты замолчала, б... подзаборная, дерьмо собачье?! Лучше жить с человеком из анекдота, чем с человеком из... откуда, сука? Из бардака? Из КГБ?! Откуда?

Лена, грохнув табуреткой, вскочила и выбежала из кухни.

— Учти, дерьмо, что Павлика я тебе не отдам! — уже не сдерживаясь больше (в смысле громкости), крикнул я ей вдогонку.

Я кричал после этого еще, наверное, около часа. Кричал, даже не интересуясь тем, слышит Лена меня или не слышит, кричал от бессилия, злости и чувства вины, кричал, чтобы выкричаться. Потом, сорвав голос, исчерпав все бранные и оскорбительные слова и все их хитроумные сочетания, я встал, открыл холодильник, достал бутылку «Выборовой» и налил себе полный чайный стакан. Мне все равно необходимо было опохмелиться.

Самое нелепое, что это я, я, и никто другой, привел Хаймовича к нам в дом. Пожалел падлу! В автомобильной катастрофе у него погибли жена и дочь, ровесница Павлика, сам чудом остался жив и ходил, прихрамывая, опираясь на палку и изображая на своей мерзкой интеллигентной харе всю вековую скорбь всех неистребимых колен Израилевых. Вот я и зазвал его как-то — посидеть, поболтать, попить чайку или чего-нибудь посушественнее. Я просто подумал, что и Лене, и Павлику будет не так одиноко в те месяцы, когда я объезжаю свои среднеазиатские вотчины, тем более что Хаймович оказался довольно занятным рассказчиком, а стихи читал и

вовсе хорошо. Чужие, разумеется, не свои. Свои стихи читать Хаймович стеснялся, и, по-моему, правильно делал. Впрочем, тут я не судья, я стихов не люблю и не понимаю, и меня всегда смешит, когда какой-нибудь старый пердила, пузатый и лысый, на вопрос, чем он занимается, отвечает — я поэт. Все равно как если бы он публично признался в том, что занимается онанизмом.

В то же утро, после объяснения с Леной, я допил «Выборову», побросал вещички в чемодан и улетел в Алма-Ату.

Никаких определенных дел у меня там не было, но, во-первых, я знал, что стоит мне только появиться на киностудии, как непременно набежит какой-нибудь казахский классик, задумавший осчастливить человечество народной драмой на сюжет — у богатого бая было три сына, а у бедного кузнеца красавица дочь... А во-вторых, я просто люблю этот город, Алма-Ату. Особенно хорош он по вечерам, когда прохладный ветер с гор выдувает из города горячий и пыльный дневной степной ветер, когда стихает уличный шум и вдруг становится слышно, как негромко вечно бормочут арыки, как на окраинах, там, где еще сохранились дувалы, начинают на всю ночь, до утра, перебрехиваться собаки, а небо опускается низко-низко, и с Алма-Аты слезает вся ее европейски советская подмалевка, и хочется назвать ее снова городом Верным, маленьким русским фортом Верным на далекой азиатской окраине, где скрещиваются караванные пути в сказочные края — Китай, Персию, Индию.

Вернулся я в Москву месяца через два, загоревший, пополневший, обожравшийся шашлыком и пивом, опившийся крепчайшим казахским самогоном.

Лифтерша Катя, скорбно поджав губы, поздоровалась со мной кивком головы и протянула мне почтовый конверт, в котором лежали ключи.

Дома был образцовый порядок — все прибрано, все чисто, хотя — из-за закрытых окон, должно быть — и в комнатах, и на кухне стоял тот тухловатый, нежилой дух, каким обычно встречают постояльцев гостиничные номера. Даже не капала вода в ванной — очевидно, в мое от-

сутствие приходил слесарь и починил неисправный кран. И молчал телефон.

Я первым делом открыл окна, пустил воду из всех кранов, зажег повсюду свет, включил телевизор на полную мощность и, не переодевшись, не умывшись с дороги, принялся названивать киношным знакомым, чтоб немедленно приходили, приносили что выпить, приводили баб.

Так началась моя холостая жизнь.

Это уже потом, много позже, Павлик приволок мне Яшеньку и как-то сама собой из всех баб, согревавших на недолгое время мою одинокую постель, выделилась, высветилась, осталась Наташа. Но о ней потом, о ней мне придется говорить еще подробно и долго.

...Итак, я купил рыбный дрызг для Яшеньки, пять банок бычков в томате, бутылку водки и бутылку вина и направился, испытывая некоторую томность от мелких удач этого дня, домой.

Опять пошел дождь. Кстати, обстоятельство это следует запомнить, так как в дальнейших событиях непрерывные дожди этого лета будут иметь некоторое значение.

Как-то, выходя из дома, я спросил лифтершу — не Катю, другую, — что за погода, и она, вздохнув, ответила:

— Ну какая может быть, Николай Андреевич, погода?! Какая может быть погода, когда вон даже и по радио говорили, что цельный день, с утра и до вечера, одни сплошные кратковременные дожди!..

...Наташи в садике не было. Я решил, что она, верно, спряталась от дождя, и зашел в парадное.

Лифтерша Катя сидела за своим столиком у телефона и что-то, как всегда, шила. Лена называла ее Мисс Диор. Катя и вправду обшивала всех модниц из нашего и соседних домов. Объяснялось это чрезвычайно просто — как правило, новые туалеты покупались по случаю — в комиссионных магазинах, или у знакомых, или у знакомых знакомых, покупались по суровому завету садовода Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы» — и поэтому Катя постоянно что-нибудь сужала, или расширяла, или удлиняла, или укорачивала.

— Добрый день, Николай Андреевич, — сказала Катя. Она воткнула иголку во что-то воздушно-пестрое, вытащила из кармана стеганой кацавейки (она почему-то все время мерзла) мои ключи, а из-под стула — толстую, туго набитую парусиновую авоську, из которой и впрямь — не соврал Карельский — торчал зеленый хвост ананаса.

— Наталья Николаевна забегала и просила вам передать.

— А где она сама?

— А я не знаю. Она очень торопилась куда-то, сказала, что будет вам попозже звонить.

Я поднялся на лифте на свой второй этаж (в конце концов, я же плачу, черт возьми, за лифт) и, еще открывая дверь, услышал пронзительный телефонный звонок.

Я рванул дверь, отшвырнул ногой бросившегося на меня из какого-то угла Яшеньку и, роняя авоськи, схватил телефонную трубку.

— Коля, — раздался задыхающийся Наташин голос. — Это я.

— Где ты?

— Я звоню тебе из автомата...

— Ну, так приходи.

— Нет, я уже далеко. Я тебя ждала...

— Я в магазин забегал.

— Слушай, — помедлив, спросила Наташа, — тебе Катя отдала?

— Да.

— Все?

— Что ты имеешь в виду? Ананас?

Наташа фыркнула.

— Господи, ну при чем тут ананас?! Я имею в виду... В общем, проверь, я подожду.

Я достал из парусиновой авоськи ананас и два завернутых в газетную бумагу пакета — потолще и потоньше.

— Все в порядке, — сказал я в телефон, — спасибо и... А почему все-таки ты меня не дождалась?

— Я не могла, — сказала Наташа и почему-то повторила: — Я говорю из автомата... Ты понимаешь, я сидела в садике, ждала тебя, и тут вдруг какой-то тип...

— Какой еще тип? — спросил я, сразу же сатанея. — Он что — приставал к тебе, что ли?

— Нет, нет, нет! — быстро сказала Наташа и понизила голос. — Наоборот. Он как-то подчеркнуто делал вид, что он меня не замечает. Очень подчеркнуто. И вообще он мне сильно не понравился.

— А какой он из себя?

— В том-то и дело, что никакой. Без примет.

— Ну, и что же?

— Я не знаю.

— А почему он тебе не понравился?

— Не знаю!

— А в чем он был?

— По-моему, в чем-то сером. Некто в сером. В сером костюме. В серой шляпе. Очень весь какой-то из себя чистенький... Черт, мне уже стучат... Я позвоню тебе еще раз, попозже...

И вдруг Наташа вскрикнула:

— Ой, Коля!.. Слушай, я вспомнила — у него, у этого типа, был в руке букетик цветов... Ну, сейчас, сейчас... Я позвоню!..

Я медленно, прищурившись и оттопырив губы, положил на рычаг телефонную трубку. Потом я услышал за своей спиной какое-то урчание и, обернувшись, увидел, что эта сволочь — Яшенька — уже выскреб из продуктовой авоськи свой рыбный дрызг и жрет его, разбросав по всей комнате.

Матерясь, я загнал этого сукина сына в ванную комнату, откуда он немедленно принялся истошно вопить и царапать когтями дверь. Чтобы не слышать всего этого безобразия, я включил радио. Теперь — вопи, скотина, пока не сдохнешь. Потом я отнес на кухню и поставил в холодильник пять банок бычков в томате. Кстати, попутно мне открылась тайна появления сей роскоши в нашем задрипанном «Комсомольце» — на наклейках внизу стоял штамп: «Срок хранения 1 августа 197... года». Стало быть, за полтора месяца до того, как эти банки начнут коробиться, вспучиваться и смердеть, их срочно перебрали из валютных «Березок» и партийно-правитель-

ственных распределителей в открытую продажу. Ну, что ж, и на том спасибо — могли и до последнего дня дотянуть.

Я зажег газ, поставил на огонь чайник и вернулся в комнату — в большую комнату, служившую мне одновременно и кабинетом, и гостиной, и столовой, и носившую название большой в отличие от второй, малой, где была спальня.

...Тем, кто (надеюсь!) будет читать эту рукопись, может показаться, что я все время отвлекаюсь и рассказываю о мелочах, не имеющих существенного значения, — но, поверьте мне, поверьте, что именно мелочи, вернее, то, что представляется нам — по недомыслию, по небрежности — мелочами, — из них-то в итоге и образуется наша судьба, они-то, мелочи, и складываются, как цветные камушки, в картинку — и картинка эта, вынь ты из нее потом хоть один камушек, станет вдруг не только неполной, а, может статься, и вовсе лишеной смысла.

...Толстый пакет из Наташиной авоськи я не стал разворачивать. Там, я знал, было четыре экземпляра сценария «Огни над морем» о нефтяниках Каспия, авторы М. Ахмедов и Н. Зимин. В последний год к республикам Средней Азии, которые мне уже слегка осточертели, я присоединил и начал осваивать республики Закавказья.

Сценарий «Огни над морем» был, что называется, обречен на успех. Товарищ Мамед Ахмедов являлся не только одним из секретарей азербайджанского Союза писателей, членом ЦК и депутатом Верховного Совета, но и еще (самое главное!) заместителем министра культуры. Так что сценарий был обречен на успех, а фильм — если будет фильм — на провал. Впрочем, сценарии подобного рода, как правило, принимаются, оплачиваются, а затем под каким-нибудь благовидным предлогом сплавляются в архив. Директора киностудий (хотя и назначаются на эту должность чаще всего, за очень редким исключением, всякие номенклатурные идиоты) деньги считать умеют. А тут расчет самый простой — лучше заплатить десять тысяч за сценарий и не портить отношений с товарищем Ахмедовым, чем выбрасывать сотни тысяч на постановку никому не нужного фильма.

...Толстый пакет я положил на письменный стол — завтра или послезавтра я отвезу его в Управление по производству художественных фильмов и постараюсь забыть, как страшный сон.

Покончив с делами государственной важности, я развернул наконец второй пакет. Там была отпечатанная в одном экземпляре (второй экземпляр должен был оставаться у Наташи) повесть не повесть, а так, нечто, некое сочинение, которое называлось «Именем Российской Федерации». Автор Н. Хомич. От фамилии этой, разумеется, разило псевдонимом за сто шагов. Перелистал человек подшивку старых газет, наткнулся на имя прославленного футбольного вратаря и, посмеиваясь, подписал этим именем свое сочинение. А сама история, рассказанная товарищем Н. Хомичем, была довольно-таки гнусная и довольно-таки обыкновенная. В большом промышленном городе (что-нибудь вроде Куйбышева) идет судебный процесс — слушается дело о хищениях на мебельной фабрике. Местные власти при поддержке и даже науськивании столичной прессы придают процессу для всеобщей острастки показательный характер: большинству обвиняемых вlepили от семи до двенадцати лет, а директора фабрики и главного бухгалтера приговорили к высшей мере социальной защиты — расстрелу.

Вот и вся история. Вернее, та ее часть, что происходила у всех на глазах, наяву, на свету, на сцене, а Н. Хомич рассказывает — и весьма картинно, как кажется мне, рассказывает — обо всем, что творилось в тени, за кулисами. И выясняются такие подробности, такие действующие лица вытаскиваются на подмостки, что тут уж, как говорится, без пол-литра или без Агаты Кристи не разберешься. В замаске оказываются все — от обкома партии и горисполкома до прокуратуры и управления милиции. Все начальнички, большие и малые, все беззаветные слуги народа имели в этом деле свой профит, свою долю — всем по сниженным ценам, а то и вовсе бесплатно изготовлялась мебель для квартир и загородных дач, выписывалось — под видом образцов — заграничное кухонное оборудование и ставились финские

бани. Рассказывает этот Н. Хомич и о том, как один из следователей — из молодых, видно, да ранних — после неприятного разговора в прокуратуре попал случайно под машину и умер, бедняга, не приходя в сознание, в обкомовской больнице.

Описывается и такая подробность (вот они, мелочи-то, вот они!), как директора фабрики и главного бухгалтера заверяют — не прямо, а при помощи намеков и пауз, — что если будут они себя вести на суде достойно и сдержанно, вину признают, никаких имен не назовут, то отделаются они незначительным, может быть, даже условным сроком.

Потому-то так страшно, по-звериному закричал директор фабрики в зале суда, услышав слово «расстрел», и его тут же, чуть не волоком, утащила охрана, а главный бухгалтер упал в обморок.

Вот такое сочиненьице, не читая, перелистывал я — за Наташей можно не проверять, ошибок она не делает, — когда в прихожей раздался звонок.

«Наталья!» — подумал я, но все-таки на всякий случай открыл верхний ящик письменного стола и сунул туда рукопись Хомича. Потом я приглушил радио — немедленно стало слышно, как вопит и бесчинствует Яшенька — и пошел открывать дверь.

Уже снимая цепочку, я спросил:

— Наташка?

После короткой паузы незнакомый, слегка пришепывающий тенорок сказал:

— Извините, Николай Андреевич, к вам можно?

Я открыл дверь.

Передо мной стоял человек чуть выше среднего роста, с каким-то на удивление невыразительным, стертым, как у провинциального актера лицом, в сером костюме, в белой рубашке с галстуком, в серой шляпе; в левой руке он держал букетик цветов, а правую протянул мне навстречу и, улыбаясь, представился:

— Чекмарев!..

Я ничего не ответил — просто молча, выжидательно посмотрел на него.

— Надеюсь, Николай Андреевич, я не помешал? — спросил Чекмарев и снова как-то доверительно, как-то так, словно он не сомневался в том, что мы понимаем, должны понимать друг друга с полуслова, широко улыбнулся. Я еще, помню, подумал, что он, наверное, очень любит улыбаться — уж больно у него были красивые, белые и ровные зубы.

— А в чем, собственно, дело? — сказал я, пытаюсь хоть как-то, хоть для порядка проявить строптивость. — Я как раз сел работать и...

— Ну, ничего, ничего! — добродушно сказал Чекмарев. — Я вас долго не задержу.

И, решив, видимо, что с предварительными церемониями покончено, он уверенно прошел мимо меня — а вернее бы даже сказать — сквозь меня — в переднюю, снял шляпу, аккуратно приладил ее на крючок вешалки, причесал перед зеркалом волосы, поправил галстук, обернулся.

— Вазочка у вас, Николай Андреевич, какая-нибудь не найдется?

— Вазочка? — тупо спросил я. — Какая еще вазочка? Для чего?

— Для гвоздик, — сказал Чекмарев, — а то ж они завянут без воды, жалко.

Я усмехнулся.

— А вы гвоздики эти — вы их мне принесли, что ли?

Чекмарев, прежде чем ответить, не спеша, внимательно и цепко оглядел большую комнату, покачал почему-то головой, сел на диван — на то самое место, где я сижу обычно с Павликом, когда мы смотрим телевизор, вытащил из кармана пачку «Беломора», закурил — и только тогда ответил:

— Ну, не специально — вам. Просто — купил. Я люблю цветы. Без цветов и дом — не дом... Вы поставьте их в вазочку какую-нибудь, я подожду...

Чувствуя себя полнейшим кретином, я снял с книжной полки медный кувшин — мы его купили когда-то вместе с Леной в Тбилиси, взял цветы — в омерзительно мокрой, расползающейся газетной бумаге — и отправился на кухню.

Чайник, о котором я, разумеется, позабыл — выкипел и едва не распаялся.

Я погасил газ, отвернул кран над мойкой, подставил кувшин и долго стоял, бессмысленно глядя на текущую воду.

Мне было страшно.

...Сейчас, когда я обо всем этом пишу, мне, вероятно, еще страшнее — страшнее хотя бы уже потому, что сегодня я знаю, чем это кончилось, каких трагических последствий были предвестниками этот визит, эти цветочки... Вот уж воистину цветочки!

Но тогда, конечно же, ничего этого знать я не мог и не сумел бы даже объяснить, почему мне было страшно. Ну, в самом деле — ну, явился какой-то тип, нахал, принес гвоздики... Скорее всего, нормальный псих, графоман (мало ли их шляется по нашему дому?!), который пришел предлагать соавторство или жаждет рассказать историю своей жизни: «Если бы кто-нибудь мою жизнь описал, какой бы роман получился!»

Но мне, повторяю, было страшно. То ли передались мне Наташина тревога, задыхающийся ее голос в телефонной трубке, то ли где-то в глубине души я все-таки смутно догадывался — кто этот человек, откуда он, из какого давнего, забытого, забитого наглухо прошлого явился он, чтобы предъявить права на мою жизнь.

Когда я вернулся в большую комнату, Чекмарев стоял у окна, курил, задумчиво и рассеянно хмурился.

— Дождь, — бесцветно сказал он, — все дождь и дождь. Так и не начнется лето никак. — Он помолчал. — Мне, знаете, кого жалко? — снова заговорил он, глядя не на меня, а в окно. — Тех чудаков, которые дачи построили — выбросили люди деньги на ветер!.. Вы, кстати, Николай Андреевич, прогноза погоды на ближайшие дни не слышали?

— Нет, — сказал я.

Я поставил кувшин с гвоздиками на круглый столик у телефона и этаким нарочито деловым тоном, от которого мне самому стало противно, спросил:

— Ну, так я слушаю вас, товарищ Чекмарев, чем, как говорится, обязан?

Чекмарев наконец обернулся.

Пока я возился на кухне, он зачем-то снял галстук, расстегнул ворот рубашки, и я, помню, подивился тому, что у него такая загорелая шея — белое лицо и до черноты загорелая шея.

— Чем обязаны?! — весело засмеялся Чекмарев. — Да ничем вы мне, Николай Андреевич, дорогой вы мой, не обязаны. Просто один человек просил меня при случае зайти и передать вам привет, что я и делаю.

— А кто? — небрежно спросил я.

Но Чекмарев, улыбаясь, ухитрился ответить еще небрежнее:

— Юрий Леонидович.

У меня перехватило дыхание, но, пытаясь оттянуть время — неизвестно, зачем мне это было нужно, — я сдвинул брови и всем своим видом неуклюже изобразил мучительную работу памяти:

— Юрий Леонидович?!

И тут произошло нечто совершенно несусветное, безобразное, невероятное — невероятное настолько, что я и до сих пор не берусь утверждать, было ли это на самом деле или только примерещилось мне, причудилось.

Чекмарев усмехнулся, не спеша, вразвалочку подошел ко мне, прищурился и отчетливо, негромко сказал:

— Ну, хватит! Хватит горбатого-то лепить!

Мне показалось, что он хочет меня ударить, я поднял руку, и тогда он действительно резко, коротко, без замаха ударил меня, ткнул кулаком в солнечное сплетение.

Повторяю, что не берусь утверждать, было ли все это на самом деле, сказал ли Чекмарев эти слова, ударил ли меня. Может быть, гнусный страх, липкое ожидание того, что это может случиться, что Чекмарев может так поступить, повергли меня внезапно в беспмятное наваждение, в провал.

Но боль, между прочим, была, это уж точно. Боль была — и даже такая сильная, что я и впрямь потерял на несколько секунд сознание.

...Когда я очнулся, я лежал на диване, а Чекмарев сидел рядом, держал меня за руку — считал пульс и говорил озабоченно и сочувственно:

— Экий вы, право, нервный, Николай Андреевич! Такой здоровый мужчина, а нервы — ни к черту! Пьете много, не бережете себя — нельзя так!..

Он опустил мою руку, встал и принялся совершенно по-хозяйски, как будто не он, а я был у него в гостях, хлопотать — принес из спальни подушку и подсунул мне ее под голову, принес из кухни стакан чая и поинтересовался:

— Вам послаще?

Я лежал, полузакрыв глаза, глядя и не глядя, как уверенно и ловко распоряжается он в моей квартире. Он положил мне в чай три куска сахара, что-то еще сказал, но я не слышал.

Юрий Леонидович!

А я-то верил, а я надеялся, что тогда, на вокзале в Куйбышеве, у мягкого вагона скорого поезда «Куйбышев — Москва», мы виделись с ним в последний раз, в самый наипоследний раз и что никогда, никогда больше не появится он в моей жизни. Он пришел меня проводить, принес мне на дорогу бутылку армянского коньяка «пять звездочек». Был октябрьский вечер — холодно, ветрено, — а он стоял в черном пижонском пальто с чуть приподнятым воротником, с непокрытой головой — и при свете вокзального фонаря седые его волосы казались серебряным шлемом, словно стихиям — дождю, ветру — прикасаться к его особе было не разрешено и не положено. Он и вправду был так барственно хорош, что проходившие мимо женщины невольно оглядывались на него. Мы познакомились в гостинице «Интурист». Я приехал в Куйбышев по заданию газеты «Советская Россия», где я в ту пору иногда подрабатывал, подхалтуривал, приехал освещать в центральной печати показательный процесс — дело о хищении на мебельной фабрике.

Поезд мой из Москвы пришел рано утром, номер в гостинице был мне забронирован заранее, я привел себя в порядок и спустился вниз, в ресторан — позавтракать.

Вот тут-то и подошел Юрий Леонидович. Он подошел к моему столику, представился, сел и сказал — просто, без всяких вступлений:

— Видите ли, Николай Андреевич, мы бы хотели, чтобы ваша работа здесь протекала, так сказать, в самом тесном контакте с нами.

— С вами? — спросил я слегка настороженно и недружелюбно, так как принял его за этакого пожилого и преуспевающего члена коллегии адвокатов. — С кем — с вами?

Юрий Леонидович улыбнулся, быстро достал из кармана хорошо сшитого пиджака кожаную книжечку-удостоверение, раскрыл ее — и, делая вид, что не заметил, как у меня несколько дернулась голова, повторил:

— С нами, Николай Андреевич! Дело это запутанное и сложное, сам черт ногу сломит! А вы человек творческий, с эмоциями... Нет, нет, вы, упаси бог, не подумайте, что мы собирались вам диктовать — как и о чем писать... Просто, как я уже сказал, поработаем в тесном контакте, вы нам поможете, мы вам поможем.

Он спрятал удостоверение и слегка наклонился через столик ко мне:

— Здесь, в гостинице, нам встречаться больше не стоит. Будете ежедневно, в семь часов вечера, приезжать по следующему адресу. Нет, нет, вы не записывайте, адрес простой, запомнить легко...

И вот в течение двух недель, пока длился процесс, я приезжал каждый вечер на мерзкую нежилую квартиру, обставленную уродливо пышной мебелью, этаким ампиром «времен культа личности».

Юрий Леонидович встречал меня неизменно одним и тем же вопросом:

— Ну-с, каковы впечатления?

Я коротко докладывал о своих впечатлениях или, точнее сказать, о том, какую информацию собираюсь отправить в «Советскую Россию». Юрий Леонидович слушал, кивал головой, изредка делал какое-нибудь замечание, и затем, в остальные полтора-два часа, к разговору о процессе мы больше не возвращались, а беседовали на

самые разные, чаще всего — художественные, материи — о литературе, о театре, о кино. Юрий Леонидович был большим любителем кино. Особенно восхищался он фильмом «Летят журавли» и жалел только, что на роль героини взяли не Ларионову, а Самойлову.

Как-то раз, прощаясь, я спросил его:

— Скажите, а где у вас в Куйбышеве можно хорошо поужинать? А то меня от этой гостиничной кухни уже мутит...

— У нас в Куйбышеве? — повторил Юрий Леонидович и засмеялся. — Я ведь здесь, Николай Андреевич, такой же гость, как и вы. Откомандирован временно из Москвы — навести порядок!..

...Я никак не ждал, что он придет меня провожать. Когда я уже стоял в тамбуре, а поезд тряхнуло и медленно поплыла платформа назад, он коротко и вполне серьезно сказал, ткнув пальцем в перчатке на зажатую у меня в руке бутылку коньяка:

— Напейтесь.

Что я, между прочим, и сделал.

Было это примерно за год до того, как я познакомился с Леной. Сначала я вспоминал о Юрии Леонидовиче довольно часто, раза два мы даже встречались на каких-то просмотрах в Доме кино, здоровались издали, обменивались ничего не стоящими улыбками. Я старался не думать о нем, не знать — мало ли живет людей в Москве — и вообще на белом свете, — знакомых мне в лицо и по имени, судьбы которых никогда, ни при каких обстоятельствах не могут, не должны, не обязаны пересечься с моей судьбой.

Да, было, случилось однажды — сел играть в карты с чертом и вроде бы даже не проиграл, остался при своих, но больше не сяду. Хватит, позабавились.

...Зазвонил телефон.

Я приподнялся, но Чекмарев строго махнул рукой.

— Лежите, лежите.

Он снял телефонную трубку.

— Вас слушают. — И через секунду опять улыбнулся, показал все свои белые и ровные зубы. — Нет, нет, вы не

ошиблись... Что? Вы понимаете, дело в том, что Николай Андреевич не очень хорошо себя чувствует... Что, что? Нет, я не доктор, я... Что? Минутку!

Чекмарев отвел в сторону телефонную трубку, накрыл ладонью микрофон и поглядел на меня.

— Это Наталья Николаевна. Она говорит, что сейчас придет.

— Не надо, — быстро сказал я. — Попросите ее, чтобы...

Но из отставленной трубки уже раздались короткие и частые гудки, а из ванной комнаты донесся истошный вопль Яшеньки.

Чекмарев прислушался и спросил:

— Кошка?

— Кот. В ванной.

— Я его выпущу, — решительно сказал Чекмарев. — Зачем животное мучить?!

...Яшенька выпрыгнул, вылетел, выскочил в гостиную, как призовой бык на арену, остановился перед Чекмаревым, сузил глаза и вдруг — и уж это, поверьте, мне не померещилось, — вдруг у него поднялась дыбом шерсть, он жалко мяукнул, поджал хвост и, пятясь задом, уполз и забился под диван.

— Какой-то он у вас психованный, — со смешком сказал Чекмарев.

И тут внезапно мне совершенно мучительно захотелось выпить, до такой степени захотелось, что в какую-то долю секунды все сущее перестало как бы иметь значение — и воспоминание о Юрии Леонидовиче и куйбышевском кошмаре, и рукопись Хомича, спрятанная в ящике письменного стола, и Наташа, и этот Чекмарев, — все это сперва отодвинулось куда-то на второй план, скукожилось, потускнело, а потом и вовсе перестало быть сущим и осталось только желание выпить — только оно одно, это желание, и было действительным, а все прочее — пыль, мираж, несносная чушь.

Люди пьющие меня поймут, а людям непьющим объяснить это состояние будет довольно трудно (если вообще возможно), пусть поверят на слово, что состояние это

совсем особенное, не сравнимое ни с чем, и тем, кто этой муки не знает, — я желаю от всей души так и не узнать ее никогда.

Я рывком сел, спустил ноги на пол и сказал:

— Вот что, у меня есть идея... — Я взглянул на Чекмарева. — Как вас зовут?

— А мы с вами почти тезки, — сказал Чекмарев. — Только наоборот. Вы Николай Андреевич, а я Андрей Николаевич... Выражаясь по-научному — зеркальное отражение.

— Bravo! — воскликнул я в совершеннейшем восторге. Ай да Чекмарев! Зеркальное отражение, ишь ты! — В таком случае, — сказал я, — у нас с вами есть вполне законное основание выпить!..

— Выпить?

Чекмарев посмотрел на часы, подумал — словно что-то прикидывал в уме, и кивнул.

— Можно.

— Bravo! — повторил я и окончательно развеселился. Собственно, развеселился не я. Меня уже не было. «Я» — все то, что называется человеческим «я» — состояло из единственного желания напиток. «Я» — это и было желание напиток, окосеть, загудеть, уйти в отключку. Только это, и ничего больше.

— Будем пить на кухне.

...Я открыл банку бычков в томате — гулять так гулять! — вытащил из холодильника бутылку водки, поставил вино, хлеб, масло, сыр и два стакана — терпеть не могу пить из рюмок. Чекмарев повертел свой стакан в пальцах, посмотрел его на свет, встал, подошел к мойке, ополоснул стакан и, вернувшись за стол, сказал:

— Мне только чуть-чуть.

— Как прикажете, — с готовностью сказал я и налил ему треть стакана. — Еще?

— Хватит.

— Закрасить?

— Нет, нет.

Себе я закрасил. Слава богу, хватило ума купить для Наташи не сухое, а венгерский вермут.

— Ну, будем живы-здоровы.

Мы выпили по первой, покряхтели, закусили, и я тут же налил по второй. Должен заметить — это опять-таки для непьющих, пьющие знают, — что сочетание водки, обыкновенной водки-«сучка» с вермутом — эта штука, как сказал бы покойный корифей всех наук, посильнее «Фауста» Гёте. Забирает сразу и основательно.

— Хорошо она под дождик идет! — рассудительно сказал Чекмарев, и эти его слова были, пожалуй, последним, что я успел услышать, воспринять и оценить по достоинству. Все, что происходило потом — было для меня попеременным, хотя и нерегулярным, чередованием вспышек света и тени. Словно бы я сидел перед телевизором — и на пустом экране появлялись вдруг, неожиданно и непредсказуемо, то изображение и звук, то одно изображение или один звук, а то опять наплывали пустота, небытие, провал.

Помню, что во время одной из таких вспышек света я увидел Наташу. Мы сидели уже не на кухне, а в большой комнате, и Наташа с Чекмаревым о чем-то говорили в повышенном тоне, как будто ссорились. А я, как всегда, подивился тому, что Наташа такая красивая (когда я ее не вижу, я забываю об этом). Она и вправду немножко похожа на Софи Лорен — высокая, крупная, с медной, вечно растрепанной головой. Лена перед ней фитюлька, девочка, хотя и старше Наташи лет на десять.

Чекмарев, как я успел заметить, пока держался свет, тоже, на удивление, успел здорово закосеть.

Он хохотал в ответ на сердитые Наташины слова, пытался ее облапить, приглашал танцевать, несколько раз выматерился.

— Попрошу вас вести себя прилично! — очень строго сказал я и опять выключился, провалился в спасительную дымную пустоту.

Следующая вспышка света — Наташи уже нет, я полулежу в кресле, в руке у меня пустой стакан, а Чекмарев стоит у телефона и говорит кому-то, совершенно, между прочим, трезвым голосом:

— Не сердись, пожалуйста... Что значит — обещал, я

же не развлекаюсь... Да, да... Ну, ничего, я подогрею, не беспокойся, целую тебя!..

Он положил трубку, обернулся, увидел, что я на него смотрю, и подмигнул мне.

— Женщины!..

— Надо выпить! — сказал я.

Чекмарев развел руками.

— Все!

— То есть как это все?!

Я встал. Меня слегка качнуло, но я удержался и сердито повторил:

— Что значит — все?! Сейчас будет еще.

После этого свет и тьма стали менять друг друга с какой-то воистину лихорадочной быстротой.

Вот — я у себя дома, а вот я уже стою во дворе, на улице, запрокинув голову, и на лицо мне капает крупные капли дождя, и я слизываю их языком. Дождь кислый, и мне очень нравится, что он кислый, вроде огуречного рассола. Я даже начал слегка трезветь. Ну, не то чтобы трезветь, но из состояния отключения я вернулся назад — в состояние беззаботности и восторга.

Магазины были уже давно закрыты, а брать такси и объезжать рестораны — на это у меня не было сил, тем более что в огромном нашем районе ресторанов раз-два, и обчелся. Водку, стало быть, надо у кого-нибудь одолжить.

Я направился во второй подъезд (я живу в третьем) к Деду.

...Удивительно, как самые опытные люди (а я считаю себя в этом вопросе достаточно опытным) совершают в подобных случаях одну и ту же типическую ошибку. Типическая ошибка в типических обстоятельствах! Ну, в самом деле — какой же сильно пьющий человек, сильно и регулярно пьющий человек, в десятом часу вечера, в сумеречную пору, когда все нормальные возможности добыть пополнение запасов спиртного исключены, какой же, повторяю, нормальный пьющий человек согласится расстаться с пол-литрой, если она у него еще имеется?! Да ни за что на свете!

А я пошел к Деду. А Дед — человек пьющий, в самом прямом, в самом классическом смысле и значении этого слова. Настоящее имя Деда — Александр Анисимович Фиолетов, но решительно все, включая его собственную жену, называют его Дедом. Личность Деда уникальная. У него мировая слава, он один из создателей советской школы математической лингвистики (между прочим, Лена — его ученица), великий мудрец, остроумец и сквернослов.

...Он открыл мне дверь, и я сразу же, по одному его виду понял, что здесь мне разжиться пол-литрой не светит.

Дед был в клетчатой ковбойке, вылезавшей из бархатных штанов, в войлочных тапочках, рыжевато-седая кудлатая борода торчком, нос и лысина — лилового цвета.

— Николя! — радостно закричал Дед, обнял меня, трижды обмусолил и потащил за руку к себе в кабинет. — Антре!..

В кабинете Деда на диване, в креслах, на подоконнике и прямо на полу сидели его ученики — разных возрастов и в разной степени опьянения — и с обожанием смотрели на Деда.

— Мой друг Николай Зимин, — представил меня Дед и сунул мне в руку стопку водки. — Образцовый представитель, мать его за ногу, всеобщей интеллектуальной энтропии!

Чернявая девица, вильнув бедрами (совершенно непонятно, как она ухитрилась это сделать, сидя на полу), крикнула:

— Ко мне, ко мне!

— Видишь ли, Николя, — сказал Дед, — у нас тут интереснейший спор... Но ты погоди, ты сперва выпей!

Я выпил и, к полному своему удивлению, ничего не почувствовал. Водка была теплая и после той убойной смеси, которую я пил дома, показалась мне чуть ли не водицей.

— Ну-с, — сказал Дед и ткнул толстым пальцем в пожилого очкарика, который сидел на подоконнике, — так

вы утверждаете, Маняша, что я антисемит, из-за того, что я обозвал Иосика Иоффе жидовской мордой?

— Точно, — подтвердил очкарик.

— Я обозвал Иосика Иоффе жидовской мордой, — закричал Дед, — и выдвинул его работу на Государственную премию. А вы в вашем богоугодном заведении жидов не ругаете, потому что у вас их нет, вы их всех повыгоняли! Слушайте сюда! — еще пуше заорал Дед. — Однажды нарком Луначарский приехал к режиссеру Мейерхольду на репетицию «Ревизора». После сцены в гостинице Луначарский погрозил Мейерхольду пальцем и сказал: «Товарищ режиссер, а ведь вы мистик! У вас там в этой сцене висит на стуле пальто — ведь это же совершеннейший черт!» Мейерхольд ответил: «Товарищ нарком, я повесил на спинку стула пальто, обыкновеннейшее пальто, а вы увидели черта. Так кто же, спрашивается, из нас мистик?!»

Тут все присутствующие разом захохотали и загалдели, а я потянул Деда за рукав и сказал:

— Александр Анисимович, у меня к вам просьба — вы не могли бы одолжить мне до завтра пол-литра?

Дед сперва не понял, а когда понял, то даже слегка обиделся:

— Николя, друг мой, извини, но... Пить — пей, пожалуйста, но на вынос — ни капли!..

...После Деда я направился к Косте Карельскому. Не потому, что возлагал на него какие-либо надежды, а просто потому, что жил Карельский на одной лестничной площадке с Дедом.

Мне долго никто не открывал на звонок, потом наконец я услышал шлепанье босых ног по паркету, приглушенный, исполненный досады голос:

— В чем дело? Кто там?

— Извини, Костя, — сказал я. — Это я, Зимин. Слушай, ты бы не мог меня выручить — мне нужна бутылка водки!

— Зимин, дорогуша, ты меня с кем-то спутал. Я не алкаш, я бабник! Проваливай!..

...И снова я стоял во дворе под дождем, трезвея и

злясь. Редкие окна в доме были освещены — несмотря на поганое лето, большинство жильцов все-таки разъехались на дачи, в Дома творчества, на курорты. Но во всех шести парадных нашего дома свет горел — и верхний, и на столиках у дежурных вахтерш — в нашем доме лифтеры дежурят круглосуточно — тут не какие-нибудь работяги живут, тут живут, так их растак, мастера слова, инженеры человеческих душ, чистый народ.

Дом обычно сравнивают с кораблем. Мне кажется, что точнее не корабль, а ковчег. Корабль — это нечто временное, отчужденное и отстраненное, он плывет — как в школьных учебниках арифметики — из пункта А в пункт Б. А ковчег — это пристанище, в ковчеге живут, плодятся и размножаются, спасаются от стихий. Всякой твари по паре — семь пар чистых, семь нечистых.

Наш дом — ковчег, населенный дурачьем, которое думает, что спасается от стихий. Наш дом — ковчег, социалистический по форме и национальный по содержанию. Священный принцип священного соцреализма, только наоборот.

...Мимо меня, кивнув, прошли три типчика, неизменная троица — Недоброво (он такой же Недоброво, как я Гогенцоллерн), драматург, и Левин с Горбачевым, критики. По вечерам они всегда, даже в дождь, выходят пройтись, погулять перед сном, подышать свежим воздухом. Когда месье Хаймович не на даче, а в городе, он гуляет вместе с ними.

Они, компания эта, не просто литераторы, вроде меня и других, они жрецы и художники, гиганты мысли, любители диссидентской «малинки», крамолы, всякой всячины, которая с запашком.

Я матюкнулся им вслед шепотом — гуляйте, голубчики, гуляйте. Гуляйте — пока! Я про вас знаю много больше, чем вы подозреваете, я такое про вас, падлы, знаю, что, захоти я только сказать об этом кому следует...

Водка, которую я выпил у Деда, начала меня все-таки понемногу забирать, и мир закружился снова — погромывивая и покачиваясь из стороны в сторону.

Я сжал кулаки, и вдруг меня пронзило:

«Господи, а не спятил ли я с ума?! Ведь рукопись-то Хомича лежит в ящике моего письменного стола! А в квартире у меня — один! — сидит Чекмарев, мой друг Чекмарев, мое зеркальное отражение, тень, подобие...»

Я взглянул на часы — было без четверти десять. Но так как я, естественно, не смотрел на часы, когда отправлялся в поход за водкой, то и сообразить, сколько же времени пребывает он там в одиночестве, мой друг Чекмарев, я не мог. Будем надеяться, что не слишком долго.

Я круто повернулся и чуть не сбил с ног какого-то хрена с авоськой.

— Николай Андреевич, что с вами? Что случилось?

Оказалось, что хрен с авоськой — это Гоц. Матвей Ильич Гоц — старый большевик, старый чекист, участник гражданской войны в Испании, переводчик на Нюрнбергском процессе, чудом уцелевшее ископаемое — ему и сидеть-то пришлось всего ничего — взяли его только в пятьдесят первом году, а в пятьдесят шестом уже выпустили и даже пристроили на работу — редактором в издательство «Советский писатель».

— Ох, извините, Матвей Ильич, добрый вечер, — поспешно сказал я, но от Гоца так легко не отделаешься. Старый хрен обожает сплетни и новости. Он живет вдвоем с внуком Женичкой, приятелем Павлика. Дочь Гоца смылась куда-то на Дальний Восток со своим новым не то мужем, не то просто хахалем, а сына подбросила дедушке, благо работка у него — не бей лежачего! — редактировать переиздания и выступать с пламенными речами на открытых партийных собраниях — на закрытых слово ему давали редко и неохотно. Зато он, правда, отыгрывался на заседаниях бюро секции переводчиков в Союзе писателей — там уж от него спасения не было.

— Что случилось, Николай Андреевич? — повторил Гоц и придержал меня за руку. — У вас очень взволнованное лицо!..

Я усмехнулся.

— Случилось, Матвей Ильич, то, что у меня сидит гость и нечего выпить...

— Великолепно, — сказал Гоц и, как-то по-птичьи

наклонив голову к плечу, поинтересовался: — Скажите, а бутылка водки — кажется, она называется «Столичная» — вас могла бы устроить?

Я прямо опешил:

— Откуда у вас водка, Матвей Ильич?

— Пойдемте, — сказал Гоц.

Мы живем с ним в одном подъезде, и, когда мы вошли, Катя подняла голову — она опять шила, — хотела мне что-то сказать, но передумала, вздохнула и снова уткнулась в свое шитье.

Мы поднялись на лифте на шестой этаж — и по дороге Гоц объяснил:

— Понимаете, ко мне зашел старый приятель и принес бутылку водки. Он сам теперь не пьет, у него язва, но он думал, что я пью. Мы с ним очень смеялись!..

Я представил себе эту картинку — действительно, жутко было, видать, смешно.

Гоц повесил авоську — в ней были две бутылки кефира и плавленые сырки — на ручку двери и принялся шарить по карманам — искать ключи.

— Женичка смотрит телевизор, — сказал Гоц, — и мне не хочется его беспокоить.

Ключи, разумеется, очень долго не находились, а когда нашлись, Гоц никак не мог попасть ключом в замочную скважину.

— Скажите, Николай Андреевич, вы читали сегодняшние газеты?! — спросил он после очередной безуспешной попытки, поглядел на меня и трагически поднял брови. — Мир сошел с ума! Уверяю вас! Карильо — генеральный секретарь испанской компартии — называет диктатуру пролетариата «отжившей доктриной»... Я же его знал, этого Карильо! Он был настоящим коммунистом. Некоторые упрекали его в жестокости, но ведь он был жесток к врагам... А теперь — и он и другие, — да как они не хотят понять, что предают завоевания Октября!

Он прямо так и сказал «завоевания Октября»! Меня замутило, и захотелось опять и как можно скорее уйти в отключение. Водка забирала, мир кружился все быстрее и быстрее, все сильнее громыал и покачивался. Гоц от-

крыл наконец дверь, сделал ладошкой приглашающий жест.

— Прошу!

Впрочем, дальше передней он меня не пустил. Он с таинственным видом приложил палец к губам, скрылся и тут же, через мгновение, вернулся — с бутылкой «Столичной».

— Пожалуйста, — сказал он, — а то я все думал, все искал — куда мне ее деть!

— Вы счастливый человек, Матвей Ильич! — сказал я прочувствованно. — Вы нашли то, что искали!

...Я не спустился, я скатился по лестнице вниз (какие-то сукины дети держали лифт на четвертом этаже, а ждать я не мог), рванул дверь своей квартиры — я ее не запираю — и громко позвал:

— Андрей, ты где?

...Да, я забыл сказать, что мы с ним в одну из минут просветления перешли на «ты».

— Эй, Андрей!

Никто не отозвался, только из-под дивана — он как забился под диван, так и сидел там — мяукнул Яшенька.

Чекмарев ушел. Ушло мое зеркальное отражение, ушла моя тень, и теперь, как в сказке, я стал человеком без тени, голым человеком на голой земле, и мне даже некому было крикнуть: «Тень, знай свое место!»

Чекмарева не было. И рукописи Хомича, сочинения под названием «Именем Российской Федерации», не было тоже.

2

Рукописи Хомича не было.

Я стоял с бутылкой «Столичной» и бессмысленно смотрел на пустой ящик письменного стола. Мир как-то сразу, вдруг перестал вертеться, как будто его кто-то придержал рукой.

На всякий случай я выдвинул и остальные ящики, набитые всяческой дребеденью — старыми письмами и счетами, никому не нужными вырезками из газет и журналов. Сколько раз я давал себе слово — произвести

генеральную уборку, великую чистку, — но все руки не доходили.

Потом я проверил, не завалилась ли рукопись за ящики письменного стола. Нет, не завалилась.

Потом я, и весьма тщательно, снизу доверху, обшарил книжные полки, заглянул в спальню, на кухню, в ванную комнату, под диван. И все эти действия я проделывал совершенно механически, не думая или, вернее, думая о том, что ищу я напрасно, и сознавая всю бессмысленность поисков.

Вариант номер один — пока я, как дурак, как самый последний сачок, бегал за водкой, — Чекмарев произвел — не для чего-нибудь, а просто по привычке — беглый досмотр, обнаружил рукопись с привлекательным названием «Именем Российской Федерации», перелистал ее, заинтересовался и забрал. И, стало быть, дело плохо!

Вариант номер два — Наташа, увидев, что я надрался до безобразия и ровно ничего не соображаю, прихватила рукопись от греха подальше с собой. В таком случае все еще поправимо.

К сожалению — и это я тоже понимал! — вариант номер один был куда как более вероятным. Мне даже стало казаться, что я с самого начала ждал, что должно случиться что-нибудь этакое. С первого того мгновения ждал, когда открыл дверь и увидел Чекмарева с цветочками.

Но мне — по слабодушию и проистекавшей из этого слабодушия всегдашней бессмысленной надежде на то, что все как-нибудь образуется — не хотелось расставаться окончательно с вариантом номер два.

Я снял телефонную трубку и набрал Наташин номер.

Подошла маман и на мой вопрос — дома ли Наташа — удивленно ответила:

— Николай Андреевич, голубчик, но ведь она поехала к вам. И уже давно...

— Да, да, — быстро сказал я. — Она была у меня, заезжала, а потом... Я думал, что она уже дома. Анна Сергеевна, будьте добры, как только Наташа вернется, попро-

сите ее сразу же, обязательно сразу же мне позвонить! Хорошо?

Маман произнесла свое восхитительное:

— Нэпрем-э-нноо!

Я уже хотел положить трубку, но, неожиданно понизив голос, маман сказала:

— Николай Андреевич, извините... Я даже рада, что Наташи нет дома — я давно хотела с вами поговорить...

— Да? — сказал я.

— Поймите, Николай Андреевич, я никогда, никогда не вмешивалась в Наташины дела... Тем более — в личные... Наташа взрослый человек, она была замужем — она вам, вероятно, обо всем рассказывала, — и дело в том, что... — Маман замялась, подыскивая слова, покашляла. — Мне кажется... ну, у меня создалось такое впечатление, что она относится к вам как-то по-особенному... Конечно, у нее были увлечения и всякое такое... Но я же вижу, я же все-таки мать, Николай Андреевич, я вижу, что с вами — это совсем другое... Поверьте, она очень страдала, когда ее муженек, этот мерзавец, бросил ее, выгнал, в буквальном смысле этого слова, на улицу... И мне страшно подумать...

Господи, сейчас, именно сейчас, в данную минуту мне как раз только этого недоставало — объяснений с Наташиной маман.

— Анна Сергеевна, — сказал я, — я все понимаю, понимаю вашу тревогу, но это не телефонный разговор. Обещаю — в ближайшие дни я специально выберу время, когда Наташа на работе, — заеду к вам, и мы обо всем поговорим.

— Непременно! — пропела маман. — Вы обещаете?

— Непременно! — пропел я в ответ, но так красиво не получилось. — И, пожалуйста, не забудьте сказать Наташе, что я жду ее звонка. Это очень важно!..

...Итак — до поры — вариант номер два отпал не окончательно.

Я встал, пошире открыл окно — эта сволочь Чекмарев накурил так, что в комнате было не продохнуть.

Дождь, подхваченный ветром, полоснул меня по лицу.

Я убрал со стола пустые бутылки и отнес их на кухню, вымыл стаканы (дурные примеры заразительны), вытряхнул из пепельницы окурки.

Недолгая борьба между желанием напиться и здравым смыслом кончилась, как это ни странно, победой последнего, и я поставил (хотя и со вздохом сожаления) бутылку «Столичной» в холодильник.

Мне нужно было подумать.

Я улегся на диван, подтянул к себе телефон и принялся размышлять.

Совершенно очевидно, что визит Чекмарева, явление Чекмарева народу, никакой прямой связи с сочинением Хомича иметь не могло хотя бы уже потому, что мы условились с Наташей печатать «Именем Российской Федерации» в двух экземплярах, один — ей, один — мне, а черновик уничтожить. И закончила работу Наташа только прошлой ночью — и никому, решительно никому об этом сочинении не могло быть известно... И, значит, тут, как говорится, имеет место быть чистая случайность, несчастное стечение обстоятельств. Я вполне умышленно оставлял в своих рассуждениях благополучный вариант номер два в стороне. Если Хомича взяла Наташа, то вообще все в порядке, беспокоиться не о чем и можно было бы даже выпить. А если — не Наташа? Если рукопись взял Чекмарев, то надо, как пишут в примечаниях к шахматным партиям, считать дальше. Посчитаем. Прежде всего — что такое Чекмарев? Скорее всего, невеликая птица — что-нибудь вроде нового уполномоченного ГБ по нашему району. И, может быть, даже не по всему району, а только по нашему художественному заповеднику, благо больше половины обитателей этого чертова заповедника — иудеи и всякая прочая диссидентская мразь, — есть на что положить глаз.

Дальше — зачем Чекмарев приходил ко мне? Ну, это совсем понятно и просто: приходил познакомиться. Как это делается в точности, я не знаю, но полагаю, что, получив назначение в наш район (или заповедник), Чекмарев несколько недель (а может быть, и месяцев) просидел где-то там, в какой-то таинственной архивной ком-

нате («Посторонним вход запрещен») — знакомился, листал тысячи папок с личными делами вверенных отныне его попечению граждан, отмечал, на кого следует обратить особенное внимание, с кем завести знакомство, на кого положиться. И был такой день, такая минута, когда Чекмарев развязал завязки на папке с личным делом — «Зимин Николай Андреевич», год рождения — 1935, место рождения — Москва, член Союза писателей СССР и Союза советских кинематографистов...». Нет, наверное, на обложке папки не написано ничего, кроме имени, отчества и фамилии, а все остальное скрывается там, внутри, под картонным или ледериновым переплетом, вся моя жизнь с самого рождения и до сегодняшнего дня, и кто были мои родители, чем занимались и где похоронены, и где я учился, и какие бабы — до Лены и после — делили со мной мое одиночество, и какие мои сценарии увидели свет, и какие статьи и где напечатаны, и, конечно же, не забыты мои корреспонденции из Куйбышева, уж это-то никак не забыто. И еще много всякого-прочего добра имеется в этой папочке — все мои привязанности и пристрастия, все пороки и слабости — все описано, учтено, отмерено, взвешено. И не просто описано — снабжено примечаниями, характеристиками, справками, может, даже и медицинскими справками, и тогда непременно, непременно упомянут тот случай, когда я устроил тарарам из-за того, что не хотел, боялся внутривенной инъекции, боялся боли. Я орал так, что сбежались не только врачи и сестры, но даже кое-кто из пациентов. Я-то об этом забыл, а они — там, — они не забыли, они помнят.

И все это, все это и многое еще другое прочел, изучил, усвоил мой друг Чекмарев, прежде чем отправился ко мне — знакомиться.

О том, какое впечатление осталось у него после первого нашего свидания, думать мне не хотелось. Впрочем, плевать я хотел на впечатление товарища Чекмарева, меня его впечатления интересуют как прошлогодний снег, меня интересует — кому передаст Чекмарев сочинение Хомича (если рукопись все-таки взял Чекмарев), —

кому и когда. Юрию Леонидовичу? Да, скорее всего, Юрию Леонидовичу.

Досчитав до этого места, я встал и пошел в уборную. Мир не кружился, голова не кружилась, только во всем теле было ощущение свинцовой, утомительной тяжести.

Я рванул «молнию» на своих американских (комиссионка на Беговой улице) джинсах, пописал и понял, что мне необходимо принять душ.

...Я стоял, полузакрыв глаза, под горячей водой, и мне было холодно. На животе, на груди, на плечах, как в стакане с минеральной водой, вспыхивали и лопались пузырьки озноба. И в этом ознобе была какая-то странная, тревожная приятность. Я пустил холодную воду, и мне стало жарко.

Я растерся досуха, до боли, махровой простыней, надел итальянский купальный халат (комиссионка на Комсомольском проспекте), вернулся в большую комнату и снова лег на диван.

Итак — сочинение Хомича попало к Юрию Леонидовичу.

Хорошо, будем считать дальше. Если ладья бьет на б7, то я играю слон — с3 шах...

Сочинение Хомича «Именем Российской Федерации», изъятое (это еще великий Ленин придумал вместо грубого «украсть» — архиинтеллигентнейшее «изъять») у гражданина Зимина Николая Андреевича оперативным сотрудником Чекмаревым Андреем Николаевичем, лежит на столе у Юрия Леонидовича. Возможно — это происходит уже сейчас, возможно — произойдет завтра. Юрий Леонидович читает сочинение Хомича, и, надо полагать, ему не слишком придется ломать себе голову над вопросом — кто автор. Здесь все просто, все ходы очевидны и единственны. А вот дальше — начинается каша, возможностей начинается такое великое количество, что считать их становится все труднее и труднее. И все страшнее. Помню, что я пытался применить способ подстановки — я это он. Я прочел и понял. Что теперь?

Можно, конечно, принять меры пресечения немедленно, а можно и подождать. И подождать, последить,

пожалуй, разумнее, чем рубить с плеча. Я (Юрий Леонидович) довольно хорошо знаю его (меня), знаю, что он (я) ни с какими подписантами-диссидентами не связан, до сих пор, во всяком случае, связан не был — и стоит не спеша (а куда мне, Юрию Леонидовичу — спешить?!) поинтересоваться — с чего это вдруг, какая такая неожиданная радость, какое помутнение (перепил, что ли?!) заставили его (меня) сесть и написать подобное сочиненьице?!

И тут я отвлекся, тут я прекратил игру в подстановку и задумался — а зачем я и впрямь, ради какого рожна сочинил это «Именем Российской Федерации»? Зачем мне все это было нужно? Для чего?

За год примерно до того, как началась эта бредовня, в душевой Дома творчества писателей в Малеевке я совершенно ненамеренно подслушал один разговор.

Вставал я — это знали и подсмеивались — очень поздно и к завтраку, как правило, являлся самым последним, когда большинство мастеров художественного слова уже бултыхались в пруду, или кончали первую «пульку», или даже (весьма немногие) сидели и работали. А в то утро я почему-то проснулся в несусветную рань — часов в восемь, — отправился в душ (душевые кабинки помещаются внизу, в подвале) и там, в душе, под негромкое журчание воды услышал любопытнейший разговор. Кабинки расположены в ряд, перегородки между ними тонкие, и все звуки, которые доносятся от соседей, доносятся с какой-то особой, как во всякой бане, невразумительной гулкостью. Разговаривали два голоса, женский и мужской. Женский был от меня справа, мужской — слева. Они были, мерзавцы, так увлечены своей гнусной беседой, что даже не обратили внимания на то, что кто-то вклинился между ними. А если бы, впрочем, и обратили, то все равно не подумали бы, что это могу быть я.

А разговор шел обо мне.

Женский голос (сперва я не понял — чей) спросил:

— А как же все-таки это с ним получилось, как он дошел до жизни такой?

Мужской голос, отдуваясь, ответил:

— Пьянство, бабы, абсолютный цинизм.

Мужской голос — насморочный баритон — я узнал сразу, принадлежал он бывшему моему соученику по Литинституту и нынешнему соседу по дому — Недоброво, драматургу Недоброво.

— Вы не поверите, — продолжал он, — когда мы учились в институте, с самого первого курса и до последнего, он считался у нас чуть ли не звездой! Все им восхищались, все ему завидовали, все пророчили ослепительное будущее. За его дипломные рассказы сам Константин Георгиевич поставил ему пятерку и устроил их в «Юность».

— Я помню, помню эти рассказы, — прокурлыкал женский голос.

И тут одновременно я понял и то, что разговор идет обо мне, и то, что женский голос принадлежит критикессе Жанне Хазиной, старой пробляди, известной под кличкой Баба Сися. За свою долгую сволочную жизнь — ей сейчас хорошо за семьдесят! — Баба Сися ухитрилась переспать чуть ли не со всеми первыми секретарями Союза советских писателей и их заместителями. Никто никогда не мог понять, как ей удавалось снять с них штаны — внешне Баба Сися страшнее войны, — может быть, не последнюю роль в ее победах на сексуальном фронте играло то обстоятельство, что в благодарность за любовь Баба Сися всякий раз, неизменно дарила советскому читателю очередной толстенный том с обязательным названием «В творческой лаборатории такого-то». А какому же писателю — а уж секретарю Союза писателей особенно — не хочется дать возможность своим читателям и почитателям приоткрыть, как говорится, завесу над тайной, заглянуть в святая святых, проникнуть, хоть ненадолго, в ту самую лабораторию, где творятся шедевры.

— Я помню эти рассказы, — сказала Баба Сися, — я даже где-то, в какой-то обзорной статье называла их... Но, и это я тоже помню, мне уже тогда показалось, что подлинного биения жизни в них нет!

Она все помнила, старая вонючка, она все понимала про биение жизни, еще бы!

— Ну, знаете ли, Жанна Михайловна, слишком уж

мы щедро употребляем это слово — талант. Талант — редкость, дар, обязательство. Был бы у Зимина талант, он бы сам, сам не позволил бы себе его затоптать! Был не талант, а всего лишь способности! — сказал Недоброво каким-то надсадным голосом, он, видно, мыл себе в это мгновение задницу и прочие места общего пользования. — Были, да и те сплыли!..

— Вот именно! — сказала Баба Сися и захихикала, и я представил, как на сером цементном полу трясутся ее серые телеса.

В тот же вечер я сел писать «Именем Российской Федерации». Нет, разумеется, не гнусный разговор Недоброво с Бабой Сисей заставил меня приняться за работу, разговор этот был всего лишь неожиданной, случайной точкой в длинной строке собственных моих размышлений. Все, что произошло со мной в прошлом, все, что происходило в настоящем — все это было — так мне казалось тогда и так мне кажется и по сей день, — куда сложнее, чем просто, как изволил выразиться Недоброво, «бабы, пьянство, цинизм».

И, когда я сел писать, я сразу же позабыл и эти его слова, и самого Недоброво с Бабой Сисей, я не для них писал, не им я что-то объяснял и доказывал, и другие — не их — голоса разговаривали со мной, другие глаза на меня смотрели — глаза Лены, Наташи, Павлика. Павлика прежде всего. А иногда, как ни странно, даже Хаймовича.

Когда-то, еще в пору наших общих вечеров, я рассказал по пьяному делу Лене и Хаймовичу эту куйбышевскую историю. Рассказал как бы с чужих слов, посмеиваясь и ерничая, все время умышленно и подчеркнуто отделяя себя от рассказчика-очевидца — и очень удивился, когда увидел, что Лена вытирает слезы.

— Написать бы такое! — вздохнул Хаймович и долго заталкивал в пепельницу погасшую сигарету.

Вот я и написал, тля! Я, а не ты!

...Я взглянул на часы — половина двенадцатого. Почему не позвонила Наташа? Если она поехала домой, то

уже давно должна была доехать, и маман не могла не сказать ей, что я просил позвонить.

Если она поехала домой. А если не домой — то куда? Звонить ей самому мне не хотелось, чтоб не нарваться опять на маман.

От нечего делать (а что мне было делать) я решил посчитать вариант номер два — «Именем Российской Федерации» взяла Наташа. Но тут же выяснилось, что весь второй вариант на этом, собственно, и кончается. Экземпляр взяла Наташа. И точка. И считать больше нечего.

Яшенька выбрался наконец из-под дивана и принялся слоняться по квартире, неодобрительно к чему-то приносиваясь и пофыркивая.

Я хотел включить радио — послушать последние известия — и не включил. Хотел перебраться с дивана на кровать — и не перебрался.

Я уснул, и снилась мне всякая похабная чертовщина, вроде сцен из фильмов Феллини.

...Я проснулся в десять часов утра. Наташа, стало быть, так и не позвонила, а звонить ей было уже поздно, с девяти она на работе.

За окном все так же нудно шел дождь.

Яшенька, негодяй, спал на столе, свесив вниз голову и передние лапы.

Что же все-таки случилось с Наташей? Очень уж обидеться она не могла, в подобном состоянии, в каком я был вчера вечером, она меня уже видела. И даже, увы, не раз. Что-то, значит, случилось. Что?

В голове у меня была полная муть, но единственное, что я понимал, и понимал вполне отчетливо, — если я буду сидеть дома в компании с Яшенькой и продолжать задавать самому себе бессмысленные вопросы, то в конце концов на белый свет неизбежно в качестве ответа появится бутылка «Столичной».

Но, как выражаются лекторы-международники, на данный исторический момент подобный ответ меня не устраивал.

Я решил встать, побриться, отвезти в Гнездниковский, в Кинокомитет, бессмертное творение «Огни над

морем» — и оттуда зайти на работу к Наташе, тем более что от Гнездниковского до улицы Качалова — подать рукой.

А на улице Качалова находился тот самый, хорошо известный не только москвичам букинистический магазин иностранной книги, где Наташа работала товароведом.

...У меня (об этом я сказал уже в самом начале) очень мало времени, в обрез, но я тем не менее стараюсь не пропустить ни одной имеющей хоть сколь-нибудь существенное значение подробности. Впрочем — но эта мысль пришла мне в голову сейчас, — может быть, в то утро пол-литра «Столичной» было бы не таким уж плохим решением проблемы — что делать. Но не мог же я тогда знать — чем все это кончится, не мог знать, что ждут меня впереди не просто неприятности (к неприятностям я, как все советские люди, всегда готов), а такое, что и слова-то не подберешь достойного, такое, перед чем давний куйбышевский кошмар покажется мне чуть ли не сказкой для детей дошкольного возраста. А если бы знал? Это я спрашиваю себя сегодня, сейчас — спрашиваю и ответа не нахожу, нет ответа.

...Итак, я встал (встать было труднее всего) и отправился в ванную — приводить себя в христианский вид.

Я поглядел в маленькое зеркальце над умывальником на свое отражение, и то, что я увидел, показалось мне не таким уж безобразным, как следовало ожидать. Морда, разумеется, была опухшей и мятой, но не до той крайней степени, когда нельзя явиться на люди.

Я ополоснул лицо водой — холодной, потом горячей, потом снова холодной. После этого я намылил физиономию жидким венгерским мылом, сменил лезвие в жилеттовском станочке и приступил к бритью. И пока я брился, откуда-то, из темных глубин легкомыслия явилась ко мне спасительная догадка, что Хомича взяла Наташа. Мысль эта, догадка не только явилась, но даже на время утвердилась. Ход рассуждений был приблизительно следующим — потому-то Наташа и не позвонила, что «Именем Российской Федерации» у нее, и ей хотелось

меня наказать, заставить попсиховать, посуетиться. А иначе бы она обязательно позвонила, непременно-но-о!

Это рассуждение показалось мне настолько очевидным (вот оно — утро вечера мудренее), что я подмигнул своему отражению в зеркале и принялся насвистывать — популярный мотивчик из американского боевика.

И тут внезапно я услышал шаги, неспешные, негромкие, отчетливые шаги. Я замер.

Кто-то чужой — неизвестный, неожиданный — ходил по моей квартире, и у меня мгновенно пересохло во рту.

Я стоял в каком-то странном оцепенении, и жидкое мыло капало с лезвия на пол и в раковину умывальника.

Шаги приближались.

— Кто там? — нашел я в себе наконец мужество спросить омерзительно хриплым голосом.

Дверь в ванную отворилась.

— Ты здесь, папа?

Павлик! Ну, что же я за кретин — ну, конечно же, это был Павлик — я ведь сам дал ему второй ключ от квартиры, чтобы он мог в любое время приходить, играть с Яшенькой, заниматься, смотреть телевизор.

— Фу! — с шумом выдохнул я воздух и засмеялся. — А ты меня напугал. Я был уверен, что ты на даче... Здравствуй, мой дорогой, здравствуй, мой милый!

— Здравствуй, папа!

Он подошел ко мне сзади, ткнулся плечом в спину, и в зеркале рядом с моим гнусным рылом появилось его чистое прелестное лицо с большими темными (Лениными) глазами и с (моим) прямым, слегка вздернутым на самом кончике носом.

— А что с Яшенькой? — спросил Павлик. — Он очень почему-то печальный.

— Не знаю, — сказал я.

— Очень печальный, — повторил Павлик.

Он был поверх майки в синей брезентовой курточке (я не видел раньше у него этой курточки), в дрянных бумажных штанах, которые называются «индийскими джинсами» (надо будет в комиссионке на Беговой заказать ему настоящие!), в стоптанных мокрых сандалиях.

— Вот что, голубчик, — сказал я, снова принимаясь за бритье, — там, в большой комнате, на диване лежит авоська, а в авоське ананас. Ты пойди-ка, займись, а я добреюсь и присоединюсь, хорошо?

— Я не могу, папа, — сказал Павлик, — я очень спешу. Рязанцеву зачем-то нужно было на десять минут в город, он меня подвез, и он же отвезет меня обратно...

У товарища Рязанцева, цитатчика, стукача, железобетонного философа, и у месье Хаймовича рядом, забор в забор, дачи на Красной Пахре. Дед Фиолетов заметил, что на данном примере можно наглядно убедиться в том, что грани между трудом умственным и физическим действительно стираются.

— Видишь ли, папа, — сказал Павлик и присел на край ванны, — я хотел тебе сказать... Ты понимаешь — мы решили уехать...

— Дождя испугались? — весело спросил я.

— Нет, не дождя, — сказал Павлик и вдруг усмехнулся. Он так необычно усмехнулся, так по-взрослому, что у меня от предчувствия какой-то новой напасти захолоуло сердце, но я промолчал. Я молчал и продолжал бриться. Я очень тщательно брился, очень сосредоточенно. — Видишь ли, папа, — снова заговорил Павлик, сперва медленно, а потом заторопился, зашпешил, путаясь и глотая слова, словно боялся, что если не скажет всего разом, то, быть может, не сумеет сказать вовсе, — мы решили уехать совсем... Дядя Наум получил вызов — из Израиля... Уже давно — месяца два-три тому назад... Вызов на всех — и на меня, и на маму... Мы просто никому не говорили об этом раньше... Потому что... Ну, ты сам понимаешь... Мы уже подали документы в ОВИР...

Я молчал. Я молчал и продолжал бриться. Слегка закинув голову, я выбривал себе подбородок — стремясь достичь некой совершенной гладкости и чистоты. У меня только дрожали ноги, но я не обращал на это внимания и брился.

— А вчера как раз, папа, пришло письмо из ОВИРа... Они требуют, ну, они просят, чтоб ты написал, что ты не возражаешь против того, чтобы я уехал!

Кажется, я что-то крикнул и изо всей силы запустил бритвой в зеркало. Звук был очень отвратительным и громким, бритва отлетела и упала на пол, но и зеркало, как ни странно, не разбилось, и бритва осталась цела.

— Папа! Ты что? — спросил Павлик.

Я закрыл глаза. Это лучший способ сдержать бешенство — на несколько мгновений закрыть глаза. Я постоял с закрытыми глазами, а потом уже почти спокойным голосом сказал:

— Значит, в Израиль. На историческую родину месье Хаймовича... Павлик, милый, послушай, ты же взрослый мальчик, ты же должен понимать, что все это чушь собачья! Ты-то здесь при чем? Ты же русский!

— Наполовину, — сказал Павлик, — мама — болгарка.

— Ну и что?! — сказал я. — Болгары, как тебе, надеюсь, известно, такие же славяне... При чем здесь Израиль? Что ты там будешь делать?

— Учиться.

— На ихнем языке? Читать справа налево? Носить магендавид и говорить — шолом?

— Там есть русские школы.

— Нету там никаких русских школ, это тебе наврали! Павлик, милый, я понимаю, что тебе просто интересно. Я тоже когда-то мечтал — много ездить, видеть дальние страны... Помнишь, мы вместе читали: «На далекой Амазонке не бывал я никогда...» А мы побываем, обещаю тебе, мы обязательно побываем, теперь это все не так уж сложно... Ты только представь себе — поедем по всему белу свету и таких чудес, таких волшебностей наглядимся... А месье Хаймович, если уж так ему приспичило, может катиться в свой Израиль! На здоровье! Надеюсь, что никто его удерживать не будет, пусть катится!

— А мама? — тихо спросил Павлик.

Я неуклюже пожал плечами.

— Что мама?! Мама должна решить...

— Мама решила, — сказал Павлик и опять усмехнулся этой своей новой, взрослой и какой-то печальной усмешкой. — Между прочим, это именно она решила. Дядя Наум как раз сомневался, а мама решила. Кстати,

она просила сказать, что тебе вовсе не обязательно давать свое согласие, она понимает, что у тебя могут быть неприятности... И все такое... Она сказала, что достаточно, если ты напишешь что-нибудь вроде... Ну, что — так как мы вместе не живем — то тебя эта история просто не касается! Что-нибудь вроде этого!..

— Ах, так?!

Мысленно я прокричал: «Мерзавка, гадина, дрянь!..» Но вслух я сказал:

— Дело в том, Павлик, что меня это касается. И даже очень. Хотя бы уже потому, что ты мой сын, я тебя люблю, и мне совершенно не безразлично — где ты будешь жить, с кем и кто и какие идеи будет вбивать тебе в голову...

Мне пришлось снова на мгновение закрыть глаза, а когда я их открыл, Павлик уже стоял в дверях.

— Твоя фамилия — Зимин, — сказал я, не оборачиваясь и глядя на него в зеркало. — Ты Павел Николаевич Зимин, русский, запомни! И сколько бы ты ни навешал на себя этих поганых магендавидов, никакие сионские мудрецы никогда не признают тебя своим... О Хаймовиче я не говорю, мне на него плевать, но если мама этого понять не хочет, то я понимать обязан... И я напишу письмо в ОВИР... Да, да, обязательно напишу! Я напишу, что я не только возражаю против твоего отъезда, но что буду бороться из последних сил... И передай маме и Хаймовичу — я знаю, что у них — у этих Хаймовичей, — у них есть дружки везде и всюду! Но на этот раз никакие дружки ему не помогут, никакие дружки, никто! Так вот и передай!

Павлик медленно кивнул:

— Хорошо, я передам.

Он помолчал, вздохнул и сказал нараспев:

— А я-то еще с мамой спорил...

И он ушел. А я не побежал за ним, не попытался его задержать. Я и по сей день не могу понять — как я мог в то утро позволить ему уйти, почему не бросился за ним следом, не задержал, не попытался объяснить и уговорить. Но снова — это уже теперь, — снова я спрашиваю

себя — ну, а если бы побежал, задержал бы, уговорил — случилось бы все то, что случилось потом, или нет? Могло ли это хоть что-нибудь изменить! И вообще, доступно ли человеку предвидеть хитроумные забавы случая, может ли он отвечать — за камень, упавший с крыши, за выигрыш по лотерейному билету, за подсолнечное масло, которое Аннушка пролила на трамвайные рельсы на Патриарших прудах?! Мы ходили с Наташею как-то на эти Патриаршие пруды — посмотреть на место, описанное Булгаковым в «Мастере и Маргарите».

Все было, разумеется, непохоже. Замурзанный дед-краевед, который сидел на скамеечке и сам с собою резался в шашки, объяснил нам, что трамвайная линия на Патриарших прудах снята еще в конце двадцатых годов, и поинтересовался — не иностранцы ли мы.

— А то все ходят сюда — эти — разноцветные! — сказал он. — Все ходят и тоже почему-то трамваем интересуются. И сымают! А чего тут сымать, скажите на милость? Вон пивной ларек был — так и его снесли... Чего же тут сымать?..

...Из окна большой комнаты я увидел, как Павлик садится в машину Рязанцева. У товарища Рязанцева не какие-нибудь засратые «Жигули», вроде как у меня, — а шикарная светло-серая «Волга». Цитаты — дело доходное. Шпарь себе на четыре, пять страниц высказывания основоположников, нагоняй листаж! Вот он и нацитировал, паразит, настучал, нажил!..

Когда машина отъехала, я прокричал ей вслед в закрытое окно большой джентльменский набор проклятий. Я проклял Хаймовича, Лену, государство Израиль, Голду Мейер, Моше Даяна и всех тех арабских лидеров — ленивых и трусливых, — имена которых мне удалось вспомнить.

...В Гнездниковский я явился, разумеется, поздно — начальник Управления по производству художественных фильмов, старинный мой приятель Сергей Сергеевич Соловьев уже отправился со своими холуями в просмотровый зал. Ответственные работники фильмы, как известно, не смотрят, а просматривают.

Я отдал четыре экземпляра «Огней над морем» секретарше Соловьева Лидочке — вот уже года два, как эта Лидочка — рыженькая, с подлыми голубыми глазками и носиком-уточкой — начинала, стоило мне только появиться, жарко дышать и выпячивать цыплячью грудь.

Придется все-таки пригласить ее как-нибудь к себе домой на чашечку кофе. Неохота, конечно, но, как говорится, искусство требует жертв.

Когда-то в тбилисской бане банщик-армянин открыл мне великую тайну:

— На каждого мужчину, уважаемый товарищ, отпущено природой два ведра! — шепотом сказал он, разминая мне плечи. — Так что все эти спермокрины, все эти панты-шманты и женьшени, все это — сплошное, извините за выражение, шарлатанство! Два ведра, уважаемый, и ни капельки больше!

Лена, помню, очень смеялась, когда я рассказал ей об этом разговоре.

...Из Гнездииковского проходными дворами я вышел на Пушкинский бульвар и пошел вниз, к Никитским воротам, к памятнику Пушкина.

Моросил по-прежнему дождь, и я похвалил себя за то, что не взял машину — пришлось бы весь день возиться с «дворниками» — щетками для ветрового стекла, — снимать их и надевать. Занятие вполне бессмысленное, но в стране победившего социализма «дворники» на машине нельзя оставлять без присмотра ни на минуту — сопрут тут же.

Народу на бульваре было немного — дождь. Несколько мухоморов-пенсионеров, накрыв газетами головы, забивали на деньги «козла». Детская группа — синие сморчки в белых панамках — разучивала песню про дедушку Ленина.

На меня опять — и опять неожиданно — навалилась усталость, тупая и тяжелая, как мешки с песком, побежали по телу пузырьки озноба, а глаза начало резать, словно их залило теплой мыльной водой.

Все, что случилось со мной, начиная со вчерашнего вечера — и визит Чекмарева, и непотребное пьянство, и

пропавшая рукопись Хомича, и приход Павлика с идиотским сообщением, — все это было, как любила говорить Лена, — «немножко множко».

Я уже почти подошел к Никитским воротам, к памятнику Тимирязеву. Оставалось всего несколько метров, а потом я сверну направо — на улицу Качалова, пройду еще один квартал, миную аптеку и сразу же, за аптекой, будет книжный букинистический магазин, и Наташа — и все, наконец, прояснится, образуется, встанет на свои места.

Я попытался вспомнить — а что я, в сущности, знаю про Наташу? Оказалось, что не так-то уж много. Случай и на сей раз (на сей раз даже особенно!) позабылся, похихикал в кулак — с Наташей меня познакомил Хаймович. Вернее, не познакомил, а просто я у него как-то спросил, не знает ли он хорошую и не слишком дорогую машинистку — и он дал мне Наташин телефон. Было это еще в ту пору, когда Лена с Павликом не переехали со второго этажа на третий, и встречи с Наташей поначалу складывались сугубо по-деловому — я отдавал ей черновик какого-нибудь очередного эпохального произведения, через несколько дней она приносила мне четыре необыкновенно чисто напечатанных машинописных экземпляра, я с нею расплачивался (брала она и вправду недорого), и мы расставались — до следующей эпохалки. Впрочем, на то, что она не только красивая баба, но еще и с чертовщинкой, на это я обратил внимание сразу.

Но лишь потом, после моего возвращения из Алматы в холостое и пустое жилье, после вереницы баб (артисток и секретарш в основном), пытавшихся прибрать меня к рукам, появилась — уже в новом качестве, — появилась в моем доме и осталась, начала оставаться на ночь, на неделю, на несколько дней — Наташа.

Ну-с, так что же все-таки я про нее знал?

Очень немного. Я знал, что ее отец, Коноплянников, довольно видный в свое время экономист, был причастен к знаменитому ленинградскому «Делу Вознесенского», подмели его одним из самых последних, в пятидесятом, что ли, году, и не то расстреляли, не то он помер в

тюрье. Наташе было тогда полтора года. Спасибо, партия родная, за наше счастливое детство!..

После Двадцатого съезда и разоблачений «культы личности» товарищ Коноплянников был посмертно полностью реабилитирован, и Наташа, окончив среднюю школу, с блеском и треском поступила в Московский университет, на отделение искусствоведения — откуда ее с тем же самым блеском и треском поперли с третьего курса. За что — этого я никогда понять толком не мог, а Наташа в подробности не вдавалась.

В те же дни вместе с университетом она рассталась и со своим муженьком, о котором Наташа и вовсе ничего не говорила, и только со слов ее маман, Анны Сергеевны, я знал, что он был мерзавцем и комсомольским деятелем.

Потом она, Наташа, помыкалась и послонялась, окончила какие-то годовичные торговые курсы и устроилась на работу — товароведом на приемке — в букинистический магазин иностранной книги...

И тут я буквально (пользуясь старинным выражением) остановился как вкопанный и (опять же на старинный манер) стукнул себя кулаком по лбу.

— Минутку, минутку, минутку! — сказал я себе. — Думайте, Николая, думайте! Думайте хорошенько и внимательно!..

А ведь работка эта — товаровед на приемке иностранных книг — особая, не простая работка. И особенность ее заключается в том, что без «допуска» на такую работу не поступишь. А «допуск» оформляется — где? Думайте, Николая, друг мой, думайте! А, впрочем, чего же тут думать? «Допуск» — и это всем известно — оформляется в особом отделе, а что такое особый отдел — это тоже, слава богу, хорошо всем известно.

Я вспомнил, как Наташа как-то вскользь сказала, что у нее имеется «индекс» — список запрещенных книг и авторов. Список этот, разумеется, строго секретный. И не принять подобную книгу мало — товаровед обязан еще по возможности записать имя и адрес того дурака, который пытался всучить ему подобную книжку. И, ста-

ло быть, дорогой мой друг, Николай Андреевич, и стало быть — а не купились ли вы, почтеннейший, как самый наипоследний пижон и фраер?! И так ли уж случаен, как думалось мне вначале, был визит Чекмарева — ни днем раньше, ни днем позже — а именно в тот самый день, в тот самый час, когда эта курва принесла мне сочинение Хомича?!

Картинка вырисовывалась довольно убедительная и последовательная, вроде как на тех загадочных журнальных рисунках из отдела «В часы досуга» — где птичка? А вот она, птичка, вот она, голубушка!

Я по-прежнему неподвижно стоял у дверей магазина, и мне опять было одновременно жарко и холодно, и очень сильно — до боли — резало глаза.

А я-то ночью считал только два варианта. Оказалось, что есть и третий. Хотя, если разобраться, этот внезапно возникший третий вариант был всего лишь дополнением и уточнением варианта номер один.

...Я толкнул ногой дверь и вошел в магазин.

К Наташе — она сидела за невысокой деревянной перегородкой, отъединявшей отдел приемки от собственно магазина — тянулась, как всегда, довольно длинная очередь — нечесаные и прыщеватые молодые люди и старички и старушки — из «бывших». Очередь как очередь на первый взгляд. Но все было не так-то просто — это я опять-таки знал из рассказов Наташи. Молодые люди, студенты, сдавали, как правило, книги, принадлежавшие их соученикам-иностранцам (имелась тайная инструкция, о которой было тем не менее широко известно) — принимать иностранные книги только от граждан с советским паспортом. Смысл инструкции был понятен — с какого-нибудь там француза или американца взятки гладки, ну не приняли книги и не приняли, а своего можно и поприжать — откуда у вас, к примеру, «Скотный двор» Оуэлла?¹ Кто дал, кто читал кроме вас?! И так далее!.. А старички и старушки — «из бывших» занимались и вовсе удивительным промыслом, переводами «по-чер-

¹ Д. Оуэлл «Скотный двор».

ному». Халтурно, с листа — за неделю, не больше, они переводили какой-нибудь детектив или похабщину, отпечатавали перевод в пяти-шести экземплярах и за каждый экземпляр драли с любителей (а на детективы или на похабщину любители найдутся всегда!) по десять-пятнадцать рублей.

Некоторые переводчики-профессионалы (я знаю кое-кого и в нашем доме!) в минуту жизни трудную тоже не брезговали этим вполне доходным занятием.

...Я пододвинул плечом длинноволосого очкарика и, перегнувшись через деревянный барьер, негромко сказал:

— Здравствуйте, Наталья Николаевна!

Наташа — она внимательно перелистывала какую-то толстую книгу — ответила сухо, не глядя:

— Извините, я занята.

— Но...

— Я занята, подождите до перерыва!¹

1977

*А их увозили — пока — корабли,
А их волокли поезда...
И даже придумать они не могли,
Что это «пока» навсегда,
И даже представить себе не могли,
Что в майскую ночь наугад
Они, прогулявшись по рю Риволи,
Потом не свернут на Арбат...*

А. Галич

¹ Здесь рукопись обрывается.



Выступления

«Здравствуйте, дорогие друзья!»

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО РАДИО

«КАРАГАНДА, ИЛИ ПЕСНЯ ПРО ГЕНЕРАЛЬСКУЮ ДОЧЬ»

Здравствуйте, дорогие мои друзья! У меня возникла такая нехитрая мысль: спеть вам несколько старых песен; вернее, это будет цикл передач — старые песни, но с рассказом о том, как они возникли, как бы с авторскими комментариями к истории написания этих песен. Вот сегодня мы и устроим такую первую передачу, о первой песне с историей ее возникновения.

В начале шестидесятых годов я неожиданно совершенно для самого себя был включен в группу писателей, кинодеятелей, музыкантов из Москвы, отправляющихся на декаду, так называемую русскую декаду искусства и литературы в Казахской ССР. Мы приехали в Алма-Ату, где нас встречали девушки с цветами и со знаменитыми алмаатинскими яблоками, председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме, и потом был прием с большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок, а потом нас бригадами разослали в разные города республики.

И вот я попал в город Караганду и в этом городе Караганде встретил очень странных людей. Это были люди, которые в пятьдесят пятом, пятьдесят шестом годах вышли из лагерей, и многим из них уже некуда было ехать, не было близких, не было родных у них на земле, и они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины, причем женщины, которые сидели не в обычном лагере, а в очень страшном лагере, который назывался «лагерем для детей врагов народа». Они попали туда совсем детьми, подростками и провели там большую часть своей жизни. Две такие официантки, которые обслуживали наш отдельный зальчик для членов делега-

ции, были оттуда, из этого лагеря. Очень красивые были девушки... была такая мода в тридцатые годы, когда военспецы женились, и вообще всякие ответственные работники женились на иностранках, так что многие из них были полукровками. Все они, и обе эти девушки были из Ленинграда, но когда мы с ними знакомились, они спрашивали: «А вы откуда, из России?» Мы говорили: «А вы-то где?» — «А мы здесь, мы в Азии». — «Не хотите туда ехать?» — «Нет, — говорили, — не хотим, чего нам там делать? Кого мы там не видали?»

Вот так возникла песня, которая называется «Караганда, или Песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь, такова жизнь.

Итак, «Караганда, или Песня про генеральскую дочь».

Постелилась я, и в печь уголек...
Накрошила огурцов и мяса,
А он явился, ноги вынул и лег —
У мадам у его — месяца.

А он и рад тому, сучок, он и рад,
Скушал водочки и в сон наповал!..
А там — в России — где-то есть Ленинград,
А в Ленинграде том — Обводный канал.

А тама мамынька жила с папонькой,
Называли меня «лапонькой».
Не считали меня лишнею,
Да им дали обоим высшую!
Ой, Караганда, ты, Караганда!
Ты угольком даешь на-гора года!
Дала двадцать лет, дала тридцать лет,
А что с чужим живу, так своего-то нет!
Кара-ган-да...

А он, сучок, из гулевых шоферов,
Он барыга, и калымщик, и жмот,
Он на торговой дает, будь здоров, —
Где за рупь, а где какую прижмет!

Подвозил он меня раз в «Гастроном»,
Даже слова не сказал, как полез,
Я бы в крик, да на стекле ветровом
Он картиночку приклеил, подлец!

А на картиночке — площадь с садиком,
А перед ней камень с «Медным всадником»,
А тридцать лет назад я с мамой в том саду...
Ой, не хочу про то, а то я выть пойду!
Ой, Караганда ты, Караганда!

Ты мать и мачеха, для кого когда,
А для меня так навсегда нежна,
Что я самой себе стала не нужна!
Кара-ган-да!

Он проснулся, закурил «Беломор»,
Взял пинжак, где у него кошелек,
И прошлепал босиком в коридор,
А вернулся — обратно залег.

Он сопит, а я сижу у огня,
Режу мелко на водку лучок,
А ведь все-тки он жалеет меня,
Все-тки ходит, все-тки дышит, сучок!

А и спи, проспись ты, мое золотце,
А слезы — что ж, от слез хлеб не солится,
А что мадам его крутит мордюю,
Так мне плевать на то, я не гордая...
Ой, Караганда ты, Караганда,

Если тут горда, так и на кой годна!
Хлеб насущный наш, дай нам, Боже, днесь,
А что в России есть, так то не хуже здесь!
Кара-ган-да!

Что-то сон нейдет, был, да вышел весь,
А завтра делать дел — прорву адскую!
Завтра с базы нам сельдь должны завезть,
Говорили, что ленинградскую.

Я себе возьму и кой-кому раздам,
Надо ж к празднику подзаправиться!
А пяток сельдей я пошлю мадам,
Пусть покушает, позабавится!

Пусть покушает она, дура жалкая,
Пусть не думает она, что я жадная,
Это, знать, с лучка глазам колется,
Голова на низ чтой-то клонится...
Ой, Караганда ты, Караганда,

Ты угольком даешь на-гора года,
А на картиночке — площадь с садиком,
А перед ней камень...
Ка-ра-ган-да!..

У микрофона Галич...

5 октября 1974 г.

ПЕСНЯ «ОШИБКА»

Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, мои знакомые и незнакомые сограждане. Сегодня я хочу продолжить тот цикл передач, который я условно назвал «Песни с комментариями». В прошлый раз я показал вам песню «Караганада, или Песня про генеральскую дочь». Сегодня хочу рассказать вам историю возникновения и замысла песни, которая, кстати, когда меня исключали из Союза советских писателей, фигурировала в качестве одного из самых жестоких, одного из самых тяжких преступлений на моей совести. А дело было так.

В шестьдесят втором году я с группой кинематографистов вылетал на пленум Союза кинематографистов Грузии. Неизвестно, почему послали меня туда, я к Грузии, в общем, не имел никакого отношения, но так попался под руку, меня и послали. И вот в самолете, когда мы уже вылетели, я открыл последний номер газеты и прочел о том, что Никита Сергеевич Хрущев устроил для своего дорогого гостя, великого революционера, представителя Острова свободы, Фиделя Кастро... правительственную охоту с егерями, с доезжачими, с кабанями, которых загоняли эти егеря, и они, уже обессиленные, стояли на подгибающихся ногах, а высокое начальство стреляло в них в упор, с большой водкой, икрой и так далее.

Маленькая деталь: охота эта была устроена на месте братских могил под Нарвою, где в тысяча девятьсот сорок третьем году, ко дню рождения Геня всех времен и народов товарища Сталина было устроено контрнаступление, кончившееся неудачей, потому что оно подготовлено не было, оно было такое парадное контрнаступление

ние. И вот на этих местах лежали тысячи тысяч наших с вами братьев, наших друзей. И на этих местах, вот там, где они лежали, на месте этих братских могил гуляла правительственная непристойная охота.

Я помню, что когда я прочел это сообщение, меня буквально залило жаром, потому что я знал историю этого знаменитого контрнаступления, и вот... эта трагичная, отвратительная история. И тут же в самолете я начал писать эту песню и, когда мы приехали в Тбилиси, я не пошел на какую-то там очередную торжественную встречу, а, запершись у себя в номере гостиницы, написал ее целиком. Потом я попросил достать мне гитару и положил ее на музыку. И вот так возникла песня под названием «Ошибка», которую я хочу сегодня вам показать.

Когда меня исключали из Союза писателей, то очень много... было разговоров на тему этой песни, и главным образом дезертиры, люди типа Люсечевского, которого, как известно, собирались в пятьдесят шестом году выгнать из Союза писателей за его плодотворную деятельность в качестве доносчика в сталинские времена. Он страшно возмущался этой песней, он говорил, что я оболгал великий подвиг советского народа — как же это пехота полегла «зазря»? Она не зазря полегла, она полегла, защищая родину, — так утверждал Люсечевский, но мы-то знаем из истории, что полегла она, не защищая родину, полегла она в честь липовой, якобы необходимой победы ко дню рождения Сталина.

Итак, я вам спою песню под названием «Ошибка».

Мы похоронены где-то под Нарвой,
Под Нарвой, под Нарвой,
Мы похоронены где-то под Нарвой,
Мы были — и нет.
Так и лежим, как шагали, попарно,
Попарно, попарно,
Так и лежим, как шагали попарно,
И общий привет!

И не тревожит ни враг, ни побудка,
Побудка, побудка,
И не тревожит ни враг, ни побудка
Померзших ребят.

Только однажды мы слышим, как будто,
Как будто, как будто,
Только однажды мы слышим, как будто
Вновь трубы трубят.

Что ж, подымайтесь, такие-сякие,
Такие-сякие,
Что ж, подымайтесь, такие-сякие,
Ведь кровь — не вода!
Если зовет своих мертвых Россия,
Россия, Россия,
Если зовет своих мертвых Россия,
Так значит — беда!

Вот мы и встали в крестах да в нашивках,
В нашивках, в нашивках,
Вот мы и встали в крестах да в нашивках,
В снежном дыму.
Смотрим и видим, что вышла ошибка,
Ошибка, ошибка,
Смотрим и видим, что вышла ошибка,
И мы — ни к чему!

Где полегла в сорок третьем пехота,
Пехота, пехота,
Где полегла в сорок третьем пехота,
Без толку, зазря,
Там по пороше гуляет охота,
Охота, охота,
Там по пороше гуляет охота,
Трубят егеря!

Там по пороше гуляет охота,
Трубят егеря...

У микрофона Галич...

12 октября 1974 г.

О 21-м АВГУСТА 1968 ГОДА

Здравствуйтесь, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об истории еще одной песни, которая была написана 23 августа 1968 года в Дубне. 21 августа в номер гостиницы, в котором мы жили тогда в Дубне, где работали с режиссером Донским над фильмом (сценарий

о Федоре Ивановиче Шаляпине), постучали мои друзья, и у них были ужасные лица, испуганные, трагические, несчастные. Они сказали, что они слышали по радио о том, что началось вторжение советских войск, войск стран Варшавского договора, в Чехословакию. Мы пытались наладить наш приемник, здесь в номере гостиницы, но что-то ничего не получалось, мы ничего не слышали. Тогда мы ушли в лес. В лесу мы крутили этот приемник нещадно, бегали по всем волнам и слышали сообщения только на английском, немецком языках, но русской передачи ни одной поймать не могли. Но мы с грехом пополам — слышно было очень плохо — разобрали и поняли, что действительно все это произошло.

И на следующий день я написал эту песню. Я подарил ее своим друзьям, они ее увезли в Москву, и в Москве в тот же вечер, на кухне одного из московских домов — и в Москве есть такая традиция: все обычно собираются на кухне, и гости, и хозяева — хозяин дома прочел эти стихи; и присутствующий Павел Литвинов усмехнулся и сказал: «Актуальные стихи, актуальная песня». Это было за день до того, как он с друзьями вышел на Красную площадь протестовать против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Так эта песня удивительным образом, — и я очень горжусь этой своей странной догадкой, потому что я, естественно, ничего не знал о предстоящей демонстрации, — связалась в моем сознании, да и для слушателей этой песни, вот с этим событием двадцать пятого августа шестьдесят восьмого года.

Песня называется «Петербургский романс». У нее есть эпиграф:

Жалеть о нем не должно,
...он сам виновник всех своих
злосчастных бед,
Терпя, чего терпеть без подлости —
не можно...

Карамзин

А теперь сама песня:

...Быть бы мне поспокойней,
Не казаться, а быть!..
Здесь мосты, словно кони —
По ночам на дыбы!

Здесь всегда по квадрату
На рассвете полки —
От Синода к Сенату,
Как четыре строки!

Здесь, над винною стойкой,
Над пожаром зари
Наколдовано столько,
Набормотано столько,
Наколдовано столько,
Набормотано столько,
Что пойдя — повтори!

Все земные печали —
Были в этом краю...
Вот и платим молчаньем
За причастность свою!

Мальчишки были безусые,
Прапоры и корнеты,
Мальчишки были безумны,
К чему им мои советы?!

Лечиться бы им, лечиться,
На кислые ездить воды —
Они ж по ночам:
«Отчизна!
Тираны! Заря свободы!»

Полковник я, а не прапор,
Я в битвах сражался стойко,
И весь их щенячий табор
Мне мнился игрой, и только.

И я восклицал: «Тираны!»,
И я прославлял свободу,
Под пламенные тирады
Мы пили вино, как воду.

И в то роковое утро,
(Отнюдь не угрозой чести!)
Казалось, куда как мудро
Себя объявить в отъезде.

Зачем же потом случилось,
Что меркнет копейкой ржавой
Всей силы моей лучинность
Пред солнечной ихней славой?!

...Болят к непогоде раны,
Уныло проходят годы...
Но я же кричал: «Тираны!»
И славил зарю свободы!

Повторяется шепот,
Повторяем следы.
Никого еще опыт
Не спасал от беды!

О, доколе, доколе,
И не здесь, а везде
Будут Клодтовы кони
Подчиняться узде?!

И все так же, не проще,
Век наш пробует нас —
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!

Где стоят по квадрату
В ожиданье полки —
От Синода к Сенату,
Как четыре строки?!

22 августа 1968 г.

Я довольно часто пел эту песню, пел ее во многих компаниях, но, пожалуй, никогда я так не волновался и никогда я не был так рад спеть эту песню, как в тот день, когда мне позвонил вернувшийся из ссылки Павлик Литвинов и позвал к себе домой. И вот они сидели все рядом: Павлик, Наташа Горбаневская, участники той памятной демонстрации на Красной площади, и, прямо глядя им в лицо, видя их глаза, я спел эту песню. И я... так же вот, как я всегда помню и никогда не забуду этих страшных лиц моих друзей, когда они прибежали с сообщением ко мне в Дубне в номер гостиницы, так же я ни-

когда не забуду лиц Павлика и Наташи — я почему-то на них двоих больше, чем на других смотрел — вот в тот день, когда Павлик вернулся домой, в Москву, и я был приглашен к нему в дом, и они меня просили спеть им несколько песен.

У микрофона Галич...

23 ноября 1974 г.

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА

Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Скоро, очень скоро, тридцать первого числа, в десять часов, в двадцать два часа по средневропейскому времени я подниму бокал за ваше здоровье, за ваше счастье, за то, чтоб вы тоже помнили меня так, как помню вас я, не забывая ни на один день, ни на один час!

В эти дни у меня свой особенный, личный юбилей. Дело в том, что в эту рождественскую пору, три года тому назад, я был исключен из Союза советских писателей. Исключение это происходило во время праздничного предновогоднего базара в Доме литераторов, а на втором этаже, в знаменитом Дубовом зале или, как его еще по старинке называют, — в Дубовой ложе, происходило заседание секретариата, на котором я был исключен. Так начался мой путь в изгнание.

Здесь уже, в аудитории друзей, мне задали вопрос о том, как все это было, и я рассказал им. Я хотел бы, чтоб вы послушали этот мой рассказ.

Это было очень интересно. Меня вызвали неожиданно, было это в общем довольно любопытно, потому что это было все обставлено, как в детективных романах. Меня вызвали неожиданно в Союз писателей, к такому секретарю, «освобожденному»... некоему Стрехнину, в прошлом особисту, работнику Особого отдела, армейского. И он стал со мной беседовать, причем я совершенно ничего не понимал, зачем он меня потревожил. Он так и говорил:

— Извините, Александр Аркадьевич, что вот потревожили вас в рабочее время. У нас вообще это не принято, мы писателей не трогаем, понимаете, но тут вот какое-то недоразумение в вашем персональном деле. Вы знаете, мы не знаем, над чем вы сейчас работаете. Нам бы хотелось просто узнать, что вы делаете.

Ну, я ему сказал, что вот я, мне было предложено, и я пишу сейчас сценарий о войне. Вернее, о самом последнем дне войны. Он сказал:

— Это очень интересно, вы знаете, это очень...

Я ведь, знаете, болею за военную тему, так что — вы не возражаете? — я приглашу еще одного секретаря, Медникова. Он тоже очень интересуется военной темой. Я говорю:

— Нет, почему же, чего же я должен возражать, пожалуйста.

Значит, вошел Медников. Но Медников, это... вы знаете, вероятно, это знаменитое выражение Шолома Алейхема по поводу зимних и летних дураков. Зимний дурак должен войти и снять шубу, галоши, шапку и размотать шарф, и только тогда видно, что он дурак; а летний, он так входит, что сразу видно, так нечего ему снимать, все натурально. Так вот, Медников — он вот такой летний дурак. Он как вошел в дверь, так и сказал:

— Ну как, установили, его это книжка или нет?

Стрехнин так поморщился, сказал:

— Ну, Анатолий Михайлович, мы еще к этому вопросу перейдем. Мы сейчас выясняем с Александром Аркадьевичем, над чем он работает.

Я, уже понявши, в чем дело, говорю:

— Ну, что вас интересует, что это моя книжка? Да моя книжка.

— Да, — он говорит, — да, вот, понимаете, книжка. Как же это так получилось?

Я говорю:

— Так вы же меня не издаете.

Он говорит:

— Да-да. Тогда вы знаете, я вынужден попросить еще одного секретаря зайти сюда, такого Виктора Николаевича Ильина.

...Пришел Виктор Николаевич Ильин, — это генерал КГБ, генерал-лейтенант Комитета государственной безопасности, который ведает писателями... Он сказал:

— Знаете, Александр Аркадьевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся, — он сказал это сразу, входя, хотя мы еще с ним разговора и не начинали, — и давайте, вот у нас послезавтра будет секретариат расширенный, мы на нем обсудим ваше персональное дело, так что давайте, вот приходите. Только зачем вы курите, ведь у вас же плохое здоровье, я слышал, у вас сердце болит.

Я говорю:

— Да.

— Ну не надо же курить, зачем? Неужели вы не можете взять себя в руки, перестать курить. Прямо как маленький вы какой-то, странный человек. Значит, вот, послезавтра приходите на секретариат.

Ну, так все уже было относительно ясно. Я пришел на секретариат, где происходило такое побоище, которое длилось часа три, где все выступали — это так положено, это воровской закон — все должны быть в замаске и все должны выступить обязательно, все по кругу. Но там были... там тоже происходили всякие смешные неожиданности.

Скажем, такой знаменитый стукач Люсечевский, которого в пятьдесят шестом году собирались выгнать из Союза, когда была раскрыта его плодотворная деятельность в сталинские годы в качестве провокатора и доносчика. Ну, потом его не выгнали, сохранили, он сделался директором издательства «Советский писатель» и членом секретариата. Так вот Люсечевский, он пришел позже, с середины, примерно, уже всего этого самого аутодафе, а в первой части, как раз когда Стрехнин докладывал мое дело, он сказал такие фразы:

— Вот в шестьдесят восьмом году Галичу было не рекомендовано (это чтоб не говорить, что запрещено) выступать публично. И он, как бы издевательски это наше предложение выполнил, но он же выступал по домам, по квартирам. Все равно там стояли магнитофоны, люди записывали его песни, они расходились, так что пропаган-

да, антисоветская пропаганда продолжалась. И он все равно, это же неважно, выступал он в большом зале или маленьком, он же все это делал.

Люсечевский на эту часть доклада опоздал, он пришел значительно позже, и он начал свое выступление, а рядом с ним сидел Грибачев. Вообще компания была удивительно прекрасная. Вот, Люсечевский опоздал, и он начал свою речь с пафосной ноты, он сказал:

— Вы знаете, до чего же измельчали идейные противники. Ну, я бы уважал Галича, если бы он вышел открыто, на публику, спел бы свои песни...

Его толкают в бок — Грибачев. Он говорит:

— Коля, чего ты меня толкаешь, в чем дело?

...В общем, была небольшая заминка, потом как-то ее залакировали, и потом было четыре человека, которые проголосовали против моего исключения. Это были: Валентин Петрович Катаев, Агния Барто — поэтесса, такой писатель-прозаик Рекемчук Александр и драматург Алексей Арбузов, — они проголосовали против моего исключения, за строгий выговор. Хотя Арбузов вел себя необыкновенно подло (а нас с ним связывают долгие годы совместной работы), он говорил о том, что меня, конечно, надо исключить, но вот эти долгие годы, они не дают ему права и возможности поднять руку за мое исключение. Вот. Они проголосовали против. Тогда им сказали, что нет, подождите, останьтесь. Мы будем переголосовывать. Мы вам сейчас кое-что расскажем, чего вы не знаете. Ну, они насторожились, они, ясно, уже решили — сейчас им расскажут детективный рассказ, как я, где-нибудь туда, в какое-нибудь дупло прятал какие-нибудь секретные документы, получал за это валюту и меха, но... но им сказали одно-единственное, так сказать, им открыли. Им сказали:

— Видите, вы, очевидно, не в курсе, — сказали им, — там просили, чтоб решение было единогласным.

Вот все, что им открыли, дополнительные сведения, которые они получили. Ну, раз там просили, то, как говорят в Советском Союзе», просьбу начальства надо уважить. Просьбу уважили, проголосовали, и уже все были за мое исключение. Вот как это происходило.

После тоже, так сказать, уже почти фарсово шло... Я был болен, лежал. Это было через несколько месяцев... Мне позвонили из Союза кинематографистов и сказали, что меня вызывают на секретариат. Я сказал, что я не могу прийти. Говорят:

— Ну как же ты не можешь? Такой важный вопрос обсуждается. Мы не можем без тебя.

Я говорю:

— Нет, ничего не могу сделать.

— Значит, тогда нам придется отложить.

Я говорю:

— Откладывайте, если можете откладывать.

Но через два дня они позвонили и сказали, что не могли ждать больше, к сожалению, и вот просят передать, что я исключен из Союза кинематографистов тоже.

Вот, дорогие мои друзья, так все это и происходило. С тех пор прошло три года. И мне очень странно, оглядываясь назад, вспоминать эти дни. Я написал о них песню, стихотворение, которое, кстати, ужасно возмущает Виктора Николаевича Ильина. Он уже, как я знаю, показывал его некоторым заходившим к нему в кабинет, — доставал эти стихи из сейфа и, потрясая ими в воздухе, говорил:

— Вот видите, Галич так ничего и не захотел понять.

От беды моей пустяковой,
(Хоть не прошен и не в чести),
Мальчик с дудочкой тростниковой,
Постарайся меня спасти!

Сатаня от мелких каверз,
Пересудов и глупых ссор,
О тебе я не помнил, каюсь,
И не звал тебя до сих пор.

И как все горожане, грешен,
Не искал я твой детский след,
Не умел замечать скворешен
И не помнил, как пахнет свет.

...Свет ложился на подоконник,
Затевал на полу возню,
Он — охальник и беззаконник —
Забирался под простыню.

Разливался, пропахший светом,
Голос дудочки в тишине...
Только я позабыл об этом
Навсегда, как казалось мне.

В жизни глупой и бестолковой,
Постоянно сбиваясь с ног,
Пенье дудочки тростниковой
Я сквозь шум различить не смог.

Но однажды, в Дубовой ложе,
Я, поставленный на правез,
Вдруг увидел такие рожи —
Пострашней балаганьих рож!

И не волки, не львы, не лисы,
Не кикимора и сова, —
Были лица — почти как лица,
И почти как слова — слова.

Все обличье чиновной дряни
Новомодного образца
Изрыгало потоки брани
Без начала и без конца.

За квадратным столом по кругу,
В ореоле моей вины,
Все твердили они друг другу,
Как друг другу они верны.

И тогда, как свеча в потемки,
Вдруг из давних приплыл годов
Звук пленительный и негромкий
Тростниковых твоих ладов.

И отвесив, я думал, дерзкий,
А на деле — смешной поклон,
Я под наигрыш этот детский
Улыбнулся и вышел вон.

В жизни прошлой и в жизни новой,
Навсегда, до конца пути,
Мальчик с дудочкой тростниковой,
Постарайся меня спасти!

Вот, дорогие мои друзья, повторяю, что желаю вам счастливого Нового года. Повторяю, что помню вас! Не забываю вас никогда. Помните обо мне тоже. До свидания.

У микрофона Галич...

28 декабря 1974 г.

ПАМЯТИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА, ПО СЛУЧАЮ 15-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ЕГО СМЕРТИ

Ведущий: Ровно год назад могилу Пастернака посетил поэт Александр Аркадьевич Галич. Предоставляем ему слово...

Галич: ...В этот майский памятный день мне довелось в последний раз (потому что вскоре я навсегда покинул Советский Союз) быть на его могиле в этот день. Я приехал заранее с тем, чтобы встать как можно раньше. Я уже не был тогда членом Союза советских писателей, естественно, поэтому не поселился в писательском городке, а снял комнату в Рабочем поселке, на другой стороне станции.

И вот утром, рано утром, я пришел на могилу Бориса Леонидовича. Там уже было довольно много народу. Несмотря на то что день был рабочий, будничный, все равно люди ехали, приходили со всех сторон. Некоторые приезжали на машинах, но большинство выходило из электрички на платформе станции Переделкино, шло мимо золотых куполов Патриаршего подворья и входило «в нагой трепещущий ольшанник, в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник».

Судя по этим стихам, Борис Леонидович думал, что смерть его придет осенью. А смерть его была весенняя смерть. Смерть — возрождение. Смерть — начало новой вечной, бессмертной жизни.

Когда я пришел на могилу (как я уже сказал, там было довольно много народу), за оградой кладбища, расположившись на траве, на мокрой траве, сидела компания весьма подозрительных людей, вот тех же самых, которые когда-то провожали гроб Пастернака в день похорон. Тех же самых кагэбистов, переодетых в штатское. Они сидели прямо на траве, делали вид, что с наслаждением и увлечением едят бутерброды и с не меньшим вниманием, с не меньшим увлечением прислушивались к тому, что говорится у этой могилы под тремя соснами, на этой горке, с которой открывается переделкинский луг и далеко, далеко, если приглядеться, видна дача, дом, где жил Борис Леонидович.

Читались стихи на могиле. Много читали стихов. Читали пастернаковские стихи, читали свои собственные никому не известные молодые люди и известные. Читал стихи и я. Не мог себе отказать. А потом, вечером, по приглашению сыновей Бориса Леонидовича, несколько человек, мы пришли в дом Пастернака. Были сумерки, золотые майские сумерки, света еще не зажигали. Мы стояли в этих комнатах, в которых все еще царил дух Бориса Леонидовича, все еще казалось, что вот он где-то сейчас ходит, думает, бормочет свои стихи...

Я стоял в комнате, которая изображена на фотографии, которую мне подарил Корней Иванович Чуковский. Я написал стихотворение «Памяти Пастернака» — песню памяти Пастернака, и первый, кому я прочел ее, был Корней Иванович Чуковский. Он сказал: «Ну вот, теперь я вам подарю одну фотографию, она пока еще почти никому не известна». И он принес мне фотографию. На этой фотографии изображен улыбающийся Борис Леонидович с бокалом вина в руке, и к нему склонился Корней Иванович Чуковский и чокается с ним этим бокалом. А Борис Леонидович — у него очень веселая и даже какая-то хитрая улыбка на губах. Я спросил: «Что это за фотография, Корней Иванович?» Он мне сказал: «Это примечательная фотография. Эта фотография снята в тот день, когда было сообщено о том, что Борис Леонидович получил Нобелевскую премию. И вот я пришел его поздравить, а он смеется, потому что я ему, который всю жизнь свою ходил в каком-то таком странном парусиновом рабочем костюме, я ему рассказывал о том, что ему теперь придется шить фрак, потому что Нобелевскую премию надо получать во фраке, когда представляешься королю».

И вот в эту фотографию, в эту сцену, через десять минут войдет Федин и скажет, что у него на даче сидит Поликарпов и что они просят Бориса Леонидовича туда прийти. И Поликарпов сообщит ему, что советское правительство предлагает ему отказаться от Нобелевской премии. Но это случится через десять минут. А на этой фотографии, в это мгновение Борис Леонидович еще

счастлив, смеется, и на столе стоят фрукты, которые привезла вдова Табидзе. Ей очень много помогал Пастернак, поддерживал ее все годы после гибели ее мужа. Она прилетела из Тбилиси, привезла фрукты, весенние фрукты и цветы, чтобы поздравить Бориса Леонидовича.

И вы знаете, всякий раз, когда я смотрю на фотографию, я вспоминаю другое, тоже связанное с именем великого поэта. Все, кто помнит воспоминания друзей, знакомых Пушкина, помнят, вероятно, что в один из последних дней его жизни, после уже дуэли, была такая минута, было такое мгновенье, когда доктор Арнд сказал: «Ему лучше. Он, вероятно, выживет». Я помню, что я в детстве, да, собственно, и сейчас — я закрываю книгу воспоминаний на этом месте. Я говорю себе: «Слава богу, ему лучше. Слава богу, есть надежда, что он будет жить. А может быть, так и произойдет, может быть, случится чудо».

И когда я смотрю на эту фотографию, у меня тоже всегда ощущение — а может быть, случится чудо, может, не войдет сюда через десять минут функционер, бывший когда-то писателем — Федин, и не скажет, что приехал Поликарпов и что Борису Леонидовичу надо отказаться от Нобелевской премии.

Впрочем, это не имеет значения. Пастернак будет жить вечно. Нобелевская премия за ним, она заслужена. Успех, великий успех великой книги «Доктор Живаго» бессмертен. Я не много раз встречался в жизни с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Но однажды он пришел в переделкинский Дом писателей (я тогда жил там, я еще был членом Союза писателей), пришел звонить по телефону (у него на даче телефон не работал). Был дождь, вечер, я пошел его проводить. И по дороге (я уже не помню даже, по какому поводу) Борис Леонидович сказал мне: «Вы знаете, поэты или умирают при жизни, или не умирают никогда». Я хорошо запомнил эти слова. Борис Леонидович не умрет никогда.

Обзор культурной жизни

28 мая 1975 г.

НОВЫЙ ИНДЕКС ЗАПРЕЩЕННЫХ КНИГ

*Мартин:*¹ Передо мной лежит приказ начальника Главлита от 30 октября 1974 года. Содержание этого приказа — об изъятии из библиотек и из книготорговой сети книг Галича, Максимова, Синявского, Табачникова, Эткинда. Сейчас здесь в студии передо мной сидит Александр Аркадьевич Галич. Десять раз упомянуто имя Галича в этом приказе, речь идет о шести-семи его произведениях общим тиражом в Советском Союзе 34 775 экземпляров. Как вы оцениваете практику составления индекса запрещенных книг?

Галич: Ну, вы знаете, практика эта всегда, мне кажется, и в Средние века была порочной практикой, а в наши-то дни она не только порочна, она вдобавок совершенно бессмысленна. Дело в том, что сейчас, насколько я понимаю из этого приказа, борьба идет даже не столько с произведениями, сколько с авторами, непосредственно с их, так сказать, физическим во плоти авторством. И это бессмысленно, потому что пьесы пошли, они ставились во многих театрах Советского Союза, фильмы существуют, они шли на экранах всех кинотеатров огромной нашей страны...

Мартин: Вы хотите сказать, что пьесы, упомянутые здесь, например, комедия-хроника в двух частях «Будни и праздники» или «Вас вызывает Таймыр» — комедия в трех действиях, или же «На плоту» — кинофильм, который назывался «Верные друзья». Все эти вещи были проверены, апробированы, шли в Советском Союзе...

Галич: Все они были апробированы, в том-то и дело! Ну, вы сами знаете практику прохождения у нас пьес или киносценариев, которые и проверяют, и просматривают, и утверждают десятки инстанций, прежде чем они доходят до своего сценического воплощения, до своего кинематографического воплощения. Так что, естественно, все они были апробированы, все они были утверждены, некоторые из них даже были награждены. Так, скажем, фильм «Верные друзья» получил первую премию в Кар-

¹ Псевдоним Виктора Федосеева, сотрудника РС.

ловых Варах, премию «Хрустальный глобус». Так, например, «Походный марш» был специально рекомендован театрам к постановке в дни сорокалетия советского комсомола и т. д. и т. п.

Но не об этом речь, речь идет о том, что пытаются уничтожить имена авторов, а не их произведения, потому что, когда речь заходит о копейке, то советские органы и советские организации умеют очень хорошо их считать, и в прокате фильмы будут существовать, но они будут существовать без авторского имени, как, впрочем, уже делалось еще тогда, когда я жил в Советском Союзе, показывали по телевидению эти фильмы, просто вырезая шапку, то есть тот титр, где упоминается имя автора.

Мартин: Но это нечто уже похожее на пиратство, в общем-то они показывают фильмы, созданные вами, или участие в которых вы принимали своим сценарием, и совершенно вымарывают ваше имя. Это, мне кажется, немножко похоже на, как бы поласковее назвать, грабеж, но в общем похоже на нечто не очень учтливое.

Галич: Ну, разумеется. Вы знаете, это вопрос о том, как защищаются авторские права в Советском Союзе. Но, понимаете, все равно ведь нельзя вымарать из памяти людей произведения. Можно даже попытаться затоптать и уничтожить имя автора, но вот, скажем, такую статью, как Синявского и Голумштока, их знаменитую статью о Пикассо... Целые поколения искусствоведов, работников музеев, людей, занимающихся искусством, просто воспитывались на этой статье. Она была в качестве учебного пособия распространена по всем университетам, по всем вузам, по всем техникумам. Ее изучали, ее сдавали. Как же, ее же не вытравишь из памяти!.. Ее не вытравишь из домашних библиотек, как не вытравишь из домашних библиотек сочинения Максимова, которые тоже находятся в этом индексе изъятия.

Я не говорю уже о том, что в общем все-таки последние годы, последние десять лет моей жизни больше всего я занимался сочинением стихов-песен, которые разошлись не в количестве там сорока тысяч экземпляров, а в значительно большем, и которых уже никаким приказом

Романова тоже не уничтожишь... В индексе запрещенных книг, который выходил в Средние века, запрещалась книга, то есть, скажем, накладывался запрет на произведение, и другое произведение этого автора могло спокойно существовать, то есть, наоборот, шла борьба как бы с произведениями враждебными. Здесь же в данном случае идет борьба с именами людей, которые должны забыть читатели, слушатели, зрители.

Правда человека

6 июля 1975 г.

РАССКАЗ О ПАРИЖЕ

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я говорю с вами из Парижа. Вот сейчас, сию минуту, из города Парижа, из города, о котором сложено столько стихов, столько песен, как, вероятно, ни об одном другом городе в мире, из города, названного Хемингуэем «Праздник, который всегда с тобой». И должен сказать, что это ощущение праздничности — оно действительно наступает в ту секунду, когда ты прибываешь в Париж, прилетаешь в Париж. Вот это ощущение необычности, радости, какой-то необыкновенной приподнятости и одновременно с этим необыкновенной удобности твоего существования.

Я бывал в Париже довольно много раз. Когда-то в первый раз я попал туда в качестве туриста, советского туриста с группой советских кинематографистов, потом мне довелось бывать здесь трижды. В Париже я бывал, уже когда мы работали над совместным советско-французским фильмом «Третья молодость», который был посвящен жизни и творчеству замечательного французского танцовщика, ставшего великим русским балетмейстером, Мариуса Петипа. И вот когда оформляли мои дела на выезд в Париж, мне приходилось ждать так долго, так несусветно долго, и приезжал я в Париж всякий раз с таким невероятным опозданием, что путал, сбивал планы всех участников парижского бюро, связанных с этой работой.

Помню, как-то совершенно изведясь, я набрался мужества и позвонил в ЦК человеку, кажется, его фамилия была Козлов, который ведал оформлением моих документов на выезд в Париж, и помню, как товарищ Козлов сказал мне отечески, но строго: «Товарищ Галич, вы ведь не куда-нибудь едете, а в Париж, так что вы уж потерпите». И я терпел. Кстати, фильм этот, «Третья молодость», еще довольно часто показывается на экранах телевизоров, особенно, когда приезжают какие-нибудь высокие гости из Франции, только с маленькой деталью, что фамилия автора сценария, моя фамилия, и заодно фамилия моего французского соавтора Поля Андрэста, из титров вырезаются, так что фильм идет как бы безымянный, впрочем, не совсем безымянный, поскольку фамилия, скажем, ассистента режиссера или там второго, третьего оператора известны, неизвестно только, кто написал сценарий, кто был автором этого фильма. Ну вот, а теперь я приезжаю в Париж уже довольно часто, за этот год я бывал несколько раз в Париже, — просто сажусь в поезд вечером в Германии и утром просыпаюсь в Париже. Перед сном я отдаю свой паспорт проводнику, и когда утром он приносит в купе кофе, он заодно отдает мне и мой паспорт.

В первый же день по приезде в Париж я, естественно, помчался в госпиталь, который находится в Булонском лесу, в котором сейчас поправляется уже Виктор Платонович Некрасов — наш замечательный писатель, благороднейший, мужественный человек, автор одной из лучших книг о войне «В окопах Сталинграда», автор замечательных «Путевых дневников», автор многих великолепных произведений, доведенный почти до отчаяния издевательствами, которые чинили над ним власти держащие, обысками, допросами, бесконечным издевательством, бесконечными запрещениями того или другого произведения, он в середине прошлого года принял решение выехать во Францию. Ему это разрешение было дано.

Мы с ним продружили почти уже сорок лет, с юности, мы познакомились тогда, когда мы сдавали вместе на ак-

терское отделение, в студию Станиславского. Потом мы с ним довольно часто встречались, хотя он жил в Киеве, а я в Москве. И так получилось, что из Москвы он летел в Цюрих, и в этот день я находился в Цюрихе, у меня был свободный день, и я его встретил на аэродроме. Первый человек, так сказать, которого он увидел на чужой земле, был я, его старый друг.

Виктор Платонович был тяжело болен. Он лежал сорок дней в госпитале, и были минуты, когда очень мы тревожились, все его друзья. Но сейчас он уже поправился. Вчера, а я приехал в Париж позавчера, вчера его уже должны были выписать, то есть выписали, это я знаю, и сейчас он будет отдыхать в пригороде Парижа, набираться сил. Он прекрасен, как всегда. Максимов, с которым мы его вместе навещали, позавчера сказал о нем, пожалуй, очень точно, что Виктор Некрасов похож на начинающего, только начинающего стареть мушкетера. Он очень похудел и еще как бы посмуглел, хотя он всегда был очень смуглым. У него веселые, живые глаза. Он полон энергии, полон планов на будущее. Сейчас в четвертом номере «Континента» печатается его прекрасное произведение «Записки зеваки», и он хочет работать дальше, будет работать дальше.

Потом мы, оставив наконец Некрасова, которого мы, вероятно, немножко даже измучили своими разговорами и беседами на разные темы... отправились к нему домой, а живет Владимир Емельянович Максимов у самой Триумфальной арки на рю Лористон; это очень тихая и прелестная улочка, которая выходит прямо к Триумфальной арке. Мы прошлись немного по этому прекрасному сиреневому, фиолетовому удивительному Парижу.

На следующий день я встречался с Марией Васильев-ной и Андреем Донатовичем Синявскими. У Синявского сейчас кончились лекции — он преподает в Сорбонне, как известно... — но сейчас лекции кончились, сейчас началась пора летних каникул, и он начал записывать для радио «Свобода» цикл своих регулярных передач. Я хочу просто поздравить и порадовать вас, дорогие ра-

диослушатели, что с сентября регулярно, каждую неделю будет передаваться... очередная беседа Андрея Донатовича Синявского, беседа свободная, он будет разговаривать обо всем: и о своих впечатлениях, и о размышлениях, и о литературе, о жизни.

И опять потом вместе с Синявским бродили по Парижу, любовались Парижем, вдыхали этот необыкновенный парижский воздух, который даже табуны машин, заполнивших улицы Парижа, не могут испортить, потому что воздух этот прекрасен. Я вспоминал, как мы любили говорить в Москве, повторяя известные строчки из стихотворения Маяковского «Прощание с Парижем»:

Подступай к глазам разлуки жига,
Сердце мне сентиментальностью расквась,
Я хотел бы жить и умереть в Париже,
Если б не было такой земли Москва.

И помню, мы тогда еще остряли, что точку в этом стихотворении надо было ставить раньше, так, примерно:

Подступай к глазам разлуки жига,
Сердце мне сентиментальностью расквась,
Я хотел бы жить и умереть в Париже. (Точка.)

Точку мы тогда в Москве ставили здесь. А вот сегодня, когда я живу в Париже, я думаю — нет, все-таки прав был Маяковский:

Я хотел бы жить и умереть в Париже,
Если б не было такой земли Москва.

Так я думаю сегодня.
У микрофона Галич...

19 июля 1975 г.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЬЕСЫ

Здравствуйте, дорогие мои знакомые и незнакомые друзья! Снова мы встречаемся с вами в эфире.

Сегодня я хочу рассказать вам историю одной моей пьесы. Именно не песни, а пьесы, потому что мне кажется, что история эта в своем роде примечательна. Это было в середине сороковых годов, в году сорок седьмом,

вероятно. После трех запрещенных моих пьес, а три пьесы, первые, которые я написал, были сказками... я написал пьесу под названием «Походный марш, или За час до рассвета».

Это была попытка такой романтической трагедии. Пьеса была написана в стихах и в прозе, как ни странно, довольно легко прошла Главрепертком, который в ту пору заменял цензуру. Единственное замечание было — нельзя ли сделать в конце так, чтоб было не очень понятно, погибают герои или не погибают. Чтоб люди думали, может быть, они остались живы.

Это очень типичное замечание тех лет, потому что считалось, что для советского человека смерть — это нечто совершенно не характерное, и рассказывают, что, некий Смирнов, бывший одним из председателей Ленинградского горсовета, принимая у себя мэров французских городов, на вопрос одного из них — «какова смертность в Ленинграде», ответил просто и ясно: «А в Ленинграде у нас смертности нету». Правда, он сам опроверг это утверждение недели две спустя, разбившись в пьяном виде на машине.

Ну вот, меня попросили изменить конец, я немножко его переделал, и действительно было не очень понятно, погибают мои герои или не погибают, и пьесу принял к постановке Московский камерный театр — Александр Яковлевич Таиров.

А в ту пору, по мудрому решению Комитета по делам искусства, который тогда занимался всеми вопросами культуры вместо Министерства культуры, был установлен новый институт. Институт так называемых политкомиссаров при театре. Помимо директора и художественного руководителя театра, были назначены во все театры политкомиссары — литературные генералы, иногда драматурги, иногда даже недраматурги, члены партии, разумеется, большинство из них связанные с НКВД, МГБ, КГБ, и они осуществляли роль таких политкомиссаров, как в войсковых соединениях; они осуществляли контроль за идеологической направленностью репертуара, за

вопросами политпросвещения, политучебы, за всеми, так сказать, политическими аспектами жизни театра.

Таким политкомиссаром в Камерный театр был назначен драматург, крупный партийный и общественный деятель, крупный работник Комитета государственной безопасности — Всеволод Витальевич Вишневский, автор знаменитой пьесы «Оптимистическая трагедия», которая, кстати, была поставлена в Камерном театре. Главную роль комиссара играла Алиса Коонен. И должен сказать, что спектакль, несмотря на всю ходульность драматургии, был удивительным, замечательным спектаклем, и многие режиссеры, ставившие впоследствии «Оптимистическую трагедию», даже такие крупные, выдающиеся режиссеры, самостоятельные, с творческой индивидуальностью, такие, как Георгий Александрович Товстоногов, в общем-то, все повторяли находки Александра Яковлевича Таирова в этом спектакле.

Всеволод Витальевич необыкновенно горячо приветствовал меня, говорил мне не раз о том, как он счастлив, что в театр приходят новые молодые силы, как ему нравится моя пьеса.

В один недобрый день раздался телефонный звонок, и секретарша Александра Яковлевича Таирова попросила меня срочно прийти, Александр Яковлевич Таиров просит меня явиться к нему. Я пришел. Александр Яковлевич сидел какой-то грустный, нахохлившийся, сказал:

— Знаете, Саша, нам звонили из Комитета по делам искусства и приказали прекратить репетицию без объяснения причин. В общем, я (он как-то прятал от меня глаза) сказал, что я не очень понимаю, в чем там дело, ведь так они восторженно поначалу отнеслись к пьесе, и я просил Юрия Сергеевича Калашникова (тогдашний начальник Театрального управления при Комитете искусства) на ближайшем заседании Комитета, там будет обсуждаться вопрос о летних гастролях театров, я просил вторым вопросом поставить обсуждение вашей пьесы, и Соломон Михайлович Михозэлс, и Юрий Александрович Завадский, — они обещали поддержать пьесу, и может

быть, что-нибудь нам удастся сделать, хотя бы добиться разрешения постановки ее в одном нашем театре.

И вот мы сидим на этом совещании в Комитете по делам искусства в Управлении театров, проводит его Юрий Сергеевич Калашников, молодой, ему тогда было лет тридцать пять, голубоглазый, высокий, немножко похожий на портреты Бенкендорфа, и, кажется, он знал за собой это сходство. А совещание длится долго. Совещание длится невыносимо долго, потому что было такое правило: каждый выступающий начинал с того, что он сначала благодарил партию и правительство и лично товарища Сталина за огромную заботу, проявляемую в развитии советского театрального искусства. Затем следовали слова благодарности данному Управлению театров, данному председателю Комитета по делам искусства и все за эту же заботу, внимание, — и только после этого долгого, длинного обязательного вступления люди переходили к конкретным разговорам о том, кто куда едет, какие спектакли везет.

Часам к двенадцати было законечно с первым вопросом, Юрий Сергеевич Калашников поднялся, потянулся и сказал:

— Ну, вот, хорошо сегодня поработали. У нас, правда, есть еще второй вопрос, но я думаю, что время позднее, мы этот вопрос как-нибудь обсудим в другой раз.

Мы вышли в коридор, и с двух сторон Соломон Михайлович Михоэлс и Александр Яковлевич Таиров, два выдающихся деятеля театра, стали мне нашептывать: «Саша, это очень хорошо, что сегодня мы не обсуждали вашу пьесу. Видели, Юрий Сергеевич Калашников, он сегодня в раздраженном состоянии. Вы знаете, было бы плохо, если бы сегодня как раз... Понимаете, все уже устали и стали бы обсуждать вашу пьесу, это было бы очень нехорошо. Так что все к лучшему, все к лучшему. Мы добьемся, чтобы кто-нибудь поставил ее все-таки на обсуждение».

В этот момент мимо нас проходил Юрий Сергеевич Калашников, он сказал: «Хорошо поработали, правда? До свидания». «До свидания», — сказали Таиров и Михо-

элс и улыбнулись. И улыбка эта пронзила меня на всю жизнь. Я запомнил ее, эту улыбку, эту искательную, жалкую, смущенную улыбку, — это улыбались Михоэлс и Таиров — Юрию Сергеевичу Калашникову, имя которого уже давным-давно позабыто.

Так закончились репетиции. Так рухнула моя пьеса.

Через десять лет она попала на глаза новому начальству — заместителю министра культуры Пахомову, имя которого тоже давным-давно позабыто, и она ему почему-то понравилась, эта пьеса — «Походный марш, или За час до рассвета». Она была немедленно напечатана в журнале «Театр», издана отдельной книжкой и поставлена многими театрами Советского Союза и даже за рубежом. И опять, казалось, можно было бы поставить на этой истории точку. Ан нет!

Лет десять спустя меня встретил на лестнице моего дома мой приятель-драматург, который жил в том же подъезде, и сказал: «Слушай, ты видел книгу о Таирове, только что вышла?»...

И вот я листаю эту книжку. В письме Всеволоду Витальевичу Вишневскому Таиров пишет следующее:

«Дорогой Всеволод!

Нам очень трудно (Я цитирую по памяти, так что я могу быть неточен. Я цитирую основной смысл.) вести вместе нашу репертуарную политику. Зачем же, после того, как ты сам говорил о том, что пьеса Галича необыкновенно талантлива, что ты рад его приходу в театр, зачем же там («там» было напечатано вразрядку, что подразумевало некое очень высокое совещание), на том совещании ты обозвал его бездарным мальчишкой, который подсовывает в театр макулатуру».

Так открылось то, что было решительно мне непонятно в сорок седьмом году.

Я рассказал вам эту историю не только потому, что она чрезвычайно характерна для нашей литературной и театральной жизни. Я рассказал вам эту историю еще и потому, что в ней есть зерно надежды. Все тайное, рано или поздно, станет явным. Имена подлецов, как бы тща-

тельно ни прятали они концы в воду, станут известны людям. Непременно станут известны!

У микрофона Галич...

9 августа 1975 г.

НЕКТО С ПУСТЫМ ЛИЦОМ

Здравствуйте, дорогие друзья! В передачах, посвященных путешествию в Америку, я вам рассказывал о том, как трудно протекал наш полет из Европы в Соединенные Штаты, о том, как нас болтало над океаном, как мы все боялись, и вот я помню, для того, чтобы немножко отвлечься от этого страха, я пытался сочинить песню о полете в Америку. Но дальше первой строфы дело не пошло, а первая строфа была такая:

Это будет рассказ, как летают в Америку,
Без особых хлопот с получением виз.
Но сперва мы приедем к Покровскому скверу
И оттуда пешком по Колпачному вниз.

Я вспомнил путь, которые многие из нас прошли, по которому многие еще сегодня ходят «по Колпачному вниз», туда, к зданию, к двухэтажному зданию ОВИРа, где решается судьба.

Я получил повестку после двух безуспешных попыток добиться разрешения временно поехать в гости в Норвегию, а потом поехать в гости в Америку... с предложением прийти в ОВИР к двенадцати часам дня в кабинет такой-то. И все собравшиеся у меня мудрецы, все уже умудренные опытом хождения в ОВИР за получением визы, стали рассматривать эту повестку, чуть ли не нюхать ее, и все удивлялись, почему мне именно назначено в двенадцать часов, потому что такого правила обычно в повестках не существует. Пишут — в такой-то день явиться, в такой-то кабинет.

Я доехал до Покровского сквера и спустился по Колпачному вниз к зданию ОВИРа, показал свою повестку милиционеру. Он сказал мне: «Идите наверх». Я гордо пошел наверх, видя, как остальные там сидели у дверей кабинета начальника ОВИРа полковника Золоту-

хина, который вызывает людей, чтобы сообщить им об отказе.

Я поднялся наверх, меня встретила известная всем красавица овировская Маргарита Николаевна Кошелева.

Она взяла у меня повестку и сказала: «Спустимся вниз». Тут у меня упало сердце, «спустимся вниз» — это плохо. Она привела меня и посадила у кабинета Золотухина, что было совсем уже плохо. Я сидел в очереди, какие-то люди обращались ко мне и говорили: «Какая у вас очередь?» Я говорил: «У меня никакой очереди». Ну, начался немедленно немножко одесский бедлам, то есть: «Как это — никакой очереди?!» В это время по радио раздался голос, строгий голос: «Старшина, ко мне!» И старшина прошел в кабинет Золотухина. Потом он вышел и снова вошел в зал, гремя ключами, и отпер дверь какого-то кабинета. Потом по радио раздался голос: «Гражданин Галич, пожалуйста!» И я, вызывая ненависть всех окружающих, прошел в кабинет Золотухина. Там находился он сам, Маргарита Николаевна Кошелева и еще какой-то человек с такой стертой внешностью, что сегодня я описать его бы затруднился, не смог. Золотухин сказал, что мне отказано, мне не дано разрешения на выезд. Я сказал:

— Спасибо.

И задал тоже довольно обычный вопрос:

— Кому я могу на вас пожаловаться?

Он обычно, с обычной улыбкой ответил мне:

— На нас жаловаться бесполезно, но можете писать в Президиум Верховного Совета.

Я сказал:

— Спасибо.

И тут он задержал меня, сказал:

— Так вам ведь, вероятно, интересно узнать, по каким мотивам вам отказано?

Я сказал:

— Да, мне было бы интересно узнать.

Золотухин указал на этого безликого человека, сидевшего рядом с ним за столом, и сказал:

— Вот товарищ специально приехал с тем, чтобы поговорить с вами и объяснить вам.

Я сказал:

— Слушаю вас.

Но товарищ сказал:

— Нет, вы знаете, тут мы будем мешать товарищу Золотухину, давайте пройдем в другую комнату.

И мы вышли из кабинета Золотухина и прошли в ту, заранее отпертую комнату, которую открывали у меня на глазах. Туда же пришла Кошелева. Мы сели втроем. Мы мирно закурили, и человек со стертым лицом сказал мне:

— Вот вы хотите выехать за границу с советским паспортом. Ну как же мы можем позволить выехать за границу с советским паспортом, когда вы здесь, у нас в стране, занимаетесь враждебной пропагандой, а вы хотите, чтобы мы вас отправили за границу как представителя Советского Союза.

Я сказал:

— Понимаете, теперь мне все понятно. Благодарю вас.

Помолчав, он сказал:

— Но у вас есть еще другой выход.

Я спросил:

— Какой?

Он сказал:

— Вы можете подать заявление на выезд в Израиль, и я думаю, что мы вам дадим разрешение.

Я сказал:

— Собственно говоря, вы мне предлагаете выход из гражданства?

Он сказал:

— Я вам ничего не предлагаю, я просто говорю о том, что есть такая возможность.

Потом мы... распрощались.

Я не помню лица этого человека, но разговор этот я запомнил, пожалуй, навсегда, до конца своих дней. И после этого свидания я написал песню, которая называется «Песня об Отчем Доме»:

Ты не часто мне снишься, мой Отчий Дом,
Золотой мой, недолгий век.
Но все то, что случится со мной потом, —
Все отсюда берет разбег!

Здесь однажды очнулся я, сын земной,
И в глазах моих свет возник.
Здесь мой первый гром говорил со мной,
И я понял его язык.

Как же странно мне было, мой Отчий Дом,
Когда Некто с пустым лицом
Мне сказал, усмехнувшись, что в доме том
Я не сыном был, а жильцом.

Угловым жильцом, что копит деньгу —
Расплатиться за хлеб и кров.
Он копит деньгу, и всегда в долгу,
И не вырвется из долгов!

— А в сыновней верности в мире сем
Клялись многие и не раз! —
Так сказал мне Некто с пустым лицом
И прищурил свинцовый глаз.

И добавил:
— А впрочем, слукавь, солги, —
Может, вымолишь тишь да гладь!..
Но уж если я должен платить долги,
То зачем же при этом лгать?!

И пускай я гроши наскребу с трудом,
И пускай велика цена —
Кредитор мой суровый, мой Отчий Дом,
Я с тобой расплачусь сполна!

Но когда под грохот чужих подков
Грянет свет роковой зари —
Я уйду, свободный от всех долгов,
И назад меня не зови.

Не зови вызволять тебя из огня,
Не зови разделить беду.
Не зови меня!
Не зови меня...
Не зови —
Я и так приду!

У микрофона Галич...

23 августа 1975 г.

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОДЕССЕ

Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои слушатели, вернее, те из вас, кому удастся меня услышать.

Кто из вас бывал в Одессе? Вы знаете, всю мою юность я мечтал попасть в этот город. Мой первый литературный учитель, поэт Эдуард Григорьевич Багрицкий, — одессит. Одесситами были Бабель, Олеша, кумиры нашей молодости Ильф и Петров. Из Одессы были Катаев, Вера Инбер. Многие и многие писатели и поэты вышли из этого удивительного города. Это город юго-запада, «вольный город Черноморск», как мы его знаем по произведениям Ильфа и Петрова, особенный, неповторимый, удивительный город.

Должен вам сказать откровенно, что, когда я попал в него впервые, — это было в конце сороковых годов, — мне Одесса, как говорят у нас, «не показалась»... То есть она мне не открылась, я ее не увидел, она не захотела мне открыть себя. Она была сумрачной и хмурой, — дело происходило, правда, поздней осенью, — и вот этого знаменитого одесского, галльского духа, одесской веселости, оптимизма, я как-то в первый раз не почувствовал.

Но зато потом, когда я много раз бывал в Одессе и по работе, и просто так приезжал, я постепенно стал проникаться удивительным, неповторимым духом этого города, который действительно открывается далеко не каждому, и далеко не сразу, а делает это постепенно, малопомалу, когда сам того захочет.

Один мой друг, которому я хотел бы здесь, сейчас сказать слово благодарности за его внимание ко мне в последние, очень трудные годы моей жизни, за его неизменную поддержку, за то, что он не только посещал меня, но выслушивал все то, что я пишу, — а человек он нелицеприятный и суровый, — замечательный поэт, замечательный переводчик, одессит. Он мне рассказывал очень забавную историю о своем последнем посещении Одессы, это уже после того, как меня выгнали из всех союзов, и я был лишен, так сказать, «гражданского лица».

И вот мой друг поехал в Одессу, ему нужно было за-

чем-то на кладбище, а потом с кладбища он зашел на барахолку, которая находится рядом с кладбищем.

Одесская барахолка — это совсем особенное, тоже неповторимое зрелище. Но мой друг не пошел на барахолку, он стоял у ворот и ждал каких-то своих знакомых. А тут у ворот молодые люди продавали магнитофонные пленки с самыми разными записями: Армстронга, Эллы Фитцджеральд, Битлов, Роллинг Стоунов и советских бардов: Высоцкого, Окуджавы. И мой друг тронул одного из продавцов за плечо и спросил:

— Слушай, а Галич у тебя есть?

На что продавец ему ничего не ответил. Друг удивился и, снова положив руку на плечо продавцу, сказал:

— Вот, черт возьми, до чего довели частный сектор! Уже на вопросы даже не отвечает!

Тогда этот молодой человек, скривив рот, негромко сказал:

— Нужна мне еще сто девяностая статья! Мне хватает сто пятьдесят четвертой.

Сто пятьдесят четвертая статья по Уголовному кодексу Украины — это статья за спекуляцию. Так вот на спекуляцию он шел, а антисоветскую агитацию он иметь не хотел. И вот в связи с этим коротким рассказом об Одессе мне хочется вам спеть песню, которая называется «Воспоминание об Одессе».

У песни есть эпиграф:

...Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?!
О, Мандельштам.

Итак, песня «Воспоминание об Одессе».

Научили пилить на скрипочке,
Что ж — пили!
Опер Сема кричит:
— Спасибочки! —
Словно:
— Пли!

Опер Сема гуляет с дамою,
Весел, пьян.
Что мы скажем про даму данную?
Не фонтан!

Синий бантик на рыжем хвостике —
Высший шик!
Впрочем, я при Давиде Ойстрахе —
Тоже — пшик.

Но — под Ойстраха — непростительно
Пить портвейн.
Так что в мире все относительно,
Прав Эйнштейн!

Все накручено в нашей участи —
Радость, боль.
Ля-диез, это ж тоже, в сущности,
Си-бемоль!

Сколько выдано-перевыдано,
Через край!
Сколько видано-перевидано,
Ад и рай!

Так давайте ж, Любовь Давыдовна,
Начинайте, Любовь Давыдовна,
Ваше соло, Любовь Давыдовна,
Раз — цвай — драй!

Над шалманом тоска и запахи,
Сгинь, душа!
Хорошо хоть, не как на Западе,
В полночь — ша!

В полночь можно хватить по маленькой,
Боже ж мой!
Снять штиблеты, напялить валенки
И — домой!

...Я иду домой. Я очень устал и хочу
Спать. Говорят, когда людям по ночам
Снится, что они летают — это значит,
Что они растут. Мне много лет, но
Едва ли не каждую ночь мне снится, что
Я летаю.

...Мои стрекозиные крылья
Под ветром трепещут едва.
И сосен зеленые клинья
Шумят подо мной, как трава.

А дальше —
Таласса, Таласса!
Вселенной волшебная статья!
Я мальчик из третьего класса,
Но как я умею летать!

Смотрите —
Лечу, словно в сказке,
Лечу сквозь предутренний дым,
Над лодками в пестрой оснастке,
Над городом вечно седым,
Над пылью автобусных станций —
И в край приснопамятный тот,
Где снова ахейские старцы
Лады снаряжают в поход.

Чужое и глупое горе
Велит им на Троию грести.

А мне —
За Эгейское море,
А мне еще дальше расти!

Я вырасту смелым и сильным,
И мир, как подарок, приму.
И девочка
С бантиком синим
Прижмется к плечу моему.

И снова в разрушенной Трое
— Елена! —

Труба возвестит.

И снова...

...На углу Садовой какие-то трое остановили
меня. Они сбили с меня шапку, засмеялись
и спросили: «Ты еще не в Израиле, старый
хрен?!» — «Ну что вы, что вы! Я дома. Я —
пока — дома. Я еще летаю во сне. Я еще
расту!...»

У микрофона Галич...

13 сентября 1975 г.

РАЗГОВОР С МАТЕРЬЮ

Здравствуйтесь, дорогие радиослушатели! Здравствуйтесь.
Обычно я, когда веду свои передачи, думаю о вас — зна-
комых и незнакомых, о тех, кто слушает меня, кому уда-

ется меня слышать, и обращаюсь я ко всем вам, иногда даже не очень представляя себе, как вы выглядите, сколько вам лет, кто вы — мужчина или женщина, чем вы занимаетесь.

Сегодня я обращаюсь к одному-единственному слушателю в Советском Союзе. Я не знаю, удастся ли этому слушателю поймать мою передачу, но, может быть, кому-нибудь удастся ее услышать, и он тогда расскажет этому слушателю о моей передаче. А этот слушатель — простите уж вы меня — это моя мама. Я с нею сегодня говорю. Ей сегодня — не сегодня — скоро, на днях исполнится восемьдесят лет. Это очень большой срок, очень большая жизнь, горестная, трудная, — жизнь, в которой она потеряла мужа, моего отца, которого она так нежно, так горячо любила. Всю свою жизнь она любила его, а потом она потеряла меня, своего старшего сына.

Я помню ее на аэродроме: все плакали, когда прощались, — она не плакала. Кто-то ее спросил:

— Почему же вы не плачете?

Она сказала:

— У меня сегодня слишком большое горе — я не могу плакать — слишком великое горе у меня сегодня.

Мама! Родная моя! Я с тобой говорю, я к тебе обращаюсь, и вот здесь, по радио, через весь мир, через все границы, через все рубежи, я обращаюсь к тебе и хочу тебе сказать, что я люблю тебя, мама. Мы с тобой были особенно близки последние годы моей жизни там, в Советском Союзе, последние, самые трудные годы моей жизни, мы были с тобой так близки. Пожалуй, ты единственный человек, который знал обо мне все, потому что со своей печалью, со своими бедами, со всей своей радостью я приходил только к тебе, дорогая моя.

Мы, — я говорю об этом, потому что я имею право это сказать, — мы порою бываем очень невнимательны к нашим матерям; мы думаем, что мама — это то, что есть всегда, и то, что мы сказать ей о своей любви еще успеем. А вот видишь — я не успел, мне приходится говорить с тобой за сотни километров, — чтобы сказать тебе о том, как я тебя люблю.

И еще я вспоминаю, когда-то очень давно, пятьдесят с лишним лет тому назад, помнишь, мы жили в Севастополе, мы жили в таком смешном доме, деревянном; во дворе у нас росла пыльная акация, рядом стояла мечеть, и муэдзин по вечерам произносил свою молитву. И вот тогда уезжали многие мои родичи, уезжали навсегда из России. И я помню, как мой отец, — это, пожалуй, одно из первых моих воспоминаний, — я помню, как мой отец пришел и сказал:

— Знаешь, давай и мы уедем.

И ты сказала:

— Нет, это наша родина. Мы отсюда не уедем. Мы попробуем здесь жить, как нам ни будет трудно.

И пятьдесят лет спустя я пришел к тебе и сказал:

— Мама, мне очень трудно, я хочу с тобой поговорить.

И ты мне ответила:

— Я знаю, о чем.

— Но ты помнишь твой разговор с отцом пятьдесят лет тому назад?

Ты сказала:

— Конечно, помню. Времена меняются, меняются обстоятельства; мы — должны были остаться, ты — должен уехать.

Мама моя дорогая, милая моя, хорошая моя. Ты сильный человек, я знаю. Иногда мне удастся дозвониться тебе по телефону. К сожалению, это случается не часто, и поэтому я пользуюсь этой благословенной возможностью сказать тебе сейчас по радио эти слова моей любви, поздравить тебя с твоим восьмидесятилетием, поздравить тебя с твоим великим мужеством, добротой, суровой добротой — ты умела быть строгой и умела быть доброй.

Мама моя родная! Я поздравляю тебя, я люблю тебя, здравствуй, мама, здравствуй...

И знаешь, в заключение все-таки, для того, чтоб я не зря взял гитару, я спою тебе песню, которую ты любила, которая тебе нравилась. И хотя она уже звучала по радио, но сегодня я еще раз повторю ее специально для тебя. С днем рождения, мама! Здравствуй!

Говорят, что где-то есть острова,
Где растет на берегу трын-трава.
Ты пей, как чай ее,
Без спешки-скорости.
Пройдет отчаянье,
Минуют хворости.
Вот какие есть на свете острова!

Говорят, что где-то есть острова,
Где не тратят понапрасну слова,
Где виноградные
На стенках лозаньки,
И даже в праздники не клеют лозунги.
Вот какие есть на свете острова!

Говорят, что где-то есть острова,
Где четыре — как закон — дважды два.
Кто бы ни указывал
Иное — гражданам,
Четыре — дважды два для всех и каждого.
Вот какие есть на свете острова!..

Говорят, что где-то есть острова,
Где неправда не бывает права,
Где совесть — надобность,
А не солдатчина,
Где правда нажита,
А не назначена!..

Вот какие я придумал острова!..

У микрофона Галич...

5 октября 1975 г.

БЕСЕДА, У КОТОРОЙ НЕТ НАЗВАНИЯ, НЕМНОГО ГРУСТНАЯ

Здравствуйте, дорогие мои друзья! Здравствуйте, дорогие мои слушатели в Советском Союзе!

Я уже говорил вам, что всякий раз очень волнуюсь, когда я сажусь перед микрофоном, понимаю, что сейчас я буду разговаривать с вами, понимаю, что кому-то из вас удастся меня услышать и рассказать, может быть, другим о моей передаче, о моем разговоре с вами. Я всегда стараюсь разговаривать с вами так, как говорили мы когда-

то, когда мы встречались лично, не, выражаясь торжественно, через «эфир».

На днях мне довелось принимать участие в устроенном баварским союзом писателей вечере, посвященном «литературе в изгнании». И странное у меня было чувство — вот мы сидели за одним столом — писатели из Венгрии, из Болгарии, из Чехословакии, из Польши, из Югославии. И не сговариваясь, мы все говорили о том, как трудно нам, несмотря на условия жизни здесь, на Западе, несмотря на то, что приняли нас здесь хорошо, внимательно к нам относятся, заботятся о нас. Но все-таки трудно. Особенно трудно, когда идешь по улице, вдруг слышишь чужую незнакомую речь. Дело не в том, что ты ее не понимаешь, а дело в том, что она для тебя, для твоей работы, для твоей жизни ничего решительно не значит. Но самое удивительное, что, тоскуя по родной речи, иногда вздрагиваешь, услышав ее. Так вот, недавно я уезжал в Париж и на вокзале я проходил мимо трех стоящих у киоска людей и вдруг услышал, как один говорит другому: «Слушай, там, знаешь, мировые сосиски дают, просто мировые сосиски, такое пиво и сосиски!» Я хотя и улыбнулся внутренне, но почему-то ускорил шаг, потому что встречаться мне с этими людьми не очень хотелось.

Очень скоро, на днях, мне исполняется пятьдесят шесть лет. Я надеюсь, что кто-то из вас поздравит меня, чокнется со мной, так сказать, мысленно.

Милые вы мои! Вот вас мне очень не хватает здесь, вас, моих слушателей, моих друзей. Тех, с которыми я привык за эти годы делить и радость, и горе. Радости, правда, в нашей жизни было маловато, а горя предостаточно. Впрочем, как вы знаете сами, случилась необыкновенная радость в этом месяце, в октябре — Андрей Дмитриевич Сахаров получил Нобелевскую премию мира. И кстати, я думаю, что у нас в стране было много Нобелевских премий. Были Нобелевские премии по литературе, были Нобелевские премии по науке, но, пожалуй, на долгие десятилетия, никому, как говорят у нас в просторечии, «не светит» у нас в стране Нобелевская

премия мира. Это единственный, уникальный и неповторимый случай.

А так — мне сегодня немножко грустно, потому что, когда тебе исполняется пятьдесят шесть, ты понимаешь, что уже поехал, по выражению Шолома Алейхема, — с ярмарки и хочешь проверить, с пустыми руками ты уезжаешь или нет.

Я вам в заключение нашего краткого разговора спою одну песню. Написал я ее когда-то, года два тому назад, еще живя в Москве, на улице Черняховского. Написал я ее почти как упражнение, потому что даже в словаре поэтических терминов сказано, что эта поэтическая стопа — пэон четвертый — встречается в русской поэзии чрезвычайно редко, она была сочинена специально, ею пользовался поэт Иннокентий Анненский... И вот все эти дни я почему-то вспоминаю эту песню. И мне хочется в заключение нашего разговора вам ее спеть.

Вьюга листья на крыльцо намела,
Глупый ворон прилетел под окно
И выкаркивает мне номера
Телефонов, что умолкли давно.

Словно сдвинулись во мгле полюса,
Словно сшиблись над огнем топоры —
Оживают в тишине голоса
Телефонов довоенной поры.

И внезапно обретая черты,
Шепелявит озорной шепоток:
— Пять-тринадцать-сорок три, это ты?
Ровно в восемь приходи на каток!

Пляшут галочки следы на снегу,
Ветер ставнею стучит на бегу.
Ровно в восемь я прийти не могу...
Да и в девять я прийти не могу!

Ты напрасно в телефон не дыши,
На заброшенном катке ни души,
И давно уже свои «бегаши»
Я старьевщику отдал за гроши.

И совсем я говорю не с тобой,
А с надменной телефонной судьбой.
Я приказываю:

— Дайте отбой!
Умоляю:
— Поскорее, отбой!

Но печально из ночной темноты,
Как надежда,
И упрек,
И итог:
— Пять-тринадцать-сорок три, это ты? Ровно
в восемь приходи на каток!

До свиданья, дорогие мои друзья! До новых встреч!
У микрофона Галич...

21 октября 1975 г.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА «ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»

(ВСТРЕЧА У МИКРОФОНА АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА И ВИКТОРА НЕКРАСОВА)

Галич: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!

Сегодня у нас в студии впервые находится замечательный писатель, замечательный человек, один из лучших людей, которые встречались мне на моем жизненном пути — Виктор...

Некрасов: А ты уверен в этом?

Галич: Я почти что уверен в этом. Хотя, может быть, ты меня еще и разочаруешь. Но пока еще нет. Пока нет, хотя дружим мы, знакомы вот с этим человеком, с Виктором Платоновичем Некрасовым, ни много ни мало, страшно сказать, почти сорок лет. То есть не почти сорок лет, а сорок лет.

Некрасов: Сорок.

Галич: Сорок! И виделись мы с ним за эти сорок лет немало раз. Встречались — пили водку, разговаривали. Обсуждали всякие жизненные проблемы и литературные проблемы. Но было у нас с ним пять особенно примечательных встреч. Вот первая встреча была тогда, когда мы

познакомились, а было это в тридцать пятом году, когда открылась в Москве студия Константина Сергеевича Станиславского, последняя студия великого мастера, основателя Художественного театра, великого актера, режиссера, педагога, — и вот в эту студию мы с Виктором Платоновичем, который приехал в Москву из Киева, сдавали экзамены, хотели поступать на актерское отделение, — вот тогда-то мы с ним и познакомились.

Некрасов: Познакомились, только получилось так, что Сашу Галича приняли, а Вику Некрасова не приняли. Почему — это вопрос другой, но, во всяком случае, — встретились.

Галич: ... Но должен сказать, что... Вике Некрасову тогда очень повезло, потому что мы, например, проходили через огромное количество туров, и хоть нас тренировали, дрессировали и принимали у нас экзамены разные люди, а Вику Некрасова принимал и экзаменовал лично Константин Сергеевич Станиславский.

Некрасов: Это было чуть-чуть позже... Первый раз я не попал, второй раз приезжал, и, как я уверен, после этого экзамена Константин Сергеевич понял, что жить дальше не имеет смысла, и через месяц, так сказать, ушел в лучший из миров.

Но вспомним с тобой наши первые встречи.

Первая наша встреча была, я еще помню, ты тогда уже гитару в руках держал.

Галич: Да, было!

Некрасов: И тогда ты уже пел «Хочу, хочу в Бразилию, далекую страну...». Была такая песня... мы были молody...

Галич: А это было на слова Маршака. Была такая песня:

Из Ливерпульской гавани
Всегда по вечерам
Суда уходят в плаванье
К далеким берегам.

Плывут они в Бразилию,
Бразилию, Бразилию,
И я хочу в Бразилию,
К далеким берегам...

Некрасов: Ты еще в Бразилии не был?

Галич: А ты?

Некрасов: Нет! Поедем вместе!

Галич: Поедем!

Некрасов: Так, — это первая юношеская прекрасная, веселая встреча.

Галич: Да, это была такая наша первая встреча, удивительная встреча нашей юности, когда мы начинали, мечтали о светлом и прекрасном будущем... А потом мы действительно надолго расстались и встретились после войны. После войны я написал свою первую пьесу, которую принял у меня к постановке Камерный театр, руководителем которого был тогда Александр Яковлевич Таиров, а литературным руководителем — Всеволод Витальевич Вишневский. И вот Всеволод Витальевич Вишневский вызвал меня в Союз писателей поговорить со мною о моей пьесе «Походный марш». Я пришел в Союз писателей, на улицу Воровского, поднялся в приемную секретариата, где сидели секретари Союза писателей, и, к своему полному удивлению, увидел в этой приемной Вику Некрасова, Виктора Платоновича Некрасова. Мы с ним обнялись, расцеловались. Это было после войны, первый год после войны. Я спросил его: «Что ты тут делаешь?» Вот что он мне ответил:

Некрасов: Жду, когда меня примут.

Галич: Я сказал: «Зачем тебе это нужно? Кто тебя должен принимать?» Он сказал: «Меня должен принимать Фадеев». Я говорю: «А зачем? Для чего тебе Фадеев понадобился?»

Некрасов: Почему-то нам всем писателям нужно иногда встречаться с руководителями Союза писателей. Для чего это — не совсем ясно! Но почему-то надо перед тем, как ты с ними встречаешься, довольно долго сидеть в

приемной. И вот мы сидели с Сашей... Кто из нас первый прошел? Я уже не помню.

Галич: По-моему, ты.

Некрасов: Я прошел?

Галич: Да! Но Виктор Платонович просто забыл, что я его спросил — «А для чего тебе Фадеев». Он сказал: «Да понимаешь, я тут написал повесть, сам не знаю, что из этого получилось. Вот меня Фадеев — я послал ее, Фадеев прочел и вот хочет со мной побеседовать. Наверное, будут меня ругать». А повесть эта была ни больше ни меньше как роман Виктора Платоновича Некрасова «В окопах Сталинграда».

Некрасов: По непонятным мне причинам Фадеев не очень благосклонно отнесся к этой повести. Это уже потом мне рассказывал Всеволод Витальевич Вишневецкий, который был редактором журнала «Знамя» и опубликовал, и нужно сказать, без всяких поправок и изменений, повесть. Но дальше, когда случилось совершенно неожиданное для меня одно событие, она (повесть) получила Сталинскую премию, Всеволод Витальевич вызвал меня, закрыл все двери, по-моему, даже выключил телефон и сказал: «Виктор Платонович, вы знаете, какая странная вещь произошла (а сам он был тоже членом Комитета по Сталинским премиям). Ведь вчера, ночью, на последнем заседании Комитета Фадеев вашу повесть вычеркнул, а сегодня она появилась. За одну ночь только один человек мог бы вставить повесть в список. Вот этот человек и вставил».

Галич: Да, мы догадываемся, кто был этим человеком, который мог вставить тебя в список вопреки...

Некрасов: Это загадочная совершенно история, так как этот человек, Иосиф Виссарионович, со своими странностями, о которых мы говорить не будем, многие знают, — одна из них, что он, как ты знаешь, — семнадцать раз ходил на «Дни Турбиных»; к этим странностям, по-моему, и относится, что вот он, по рассказам, вставил

мою повесть, в которой, в общем, скажем, так уж много он не упоминался...

Галич: Вот, это была наша вторая встреча в секретариате Союза писателей, примечательная встреча, я имею в виду. Потом мы встречались много раз — встречались в Киеве, в Москве, в Ялте, где мы жили вместе в Доме творчества Союза писателей, вместе гуляли, вместе ходили в кино, вместе бывали в гостях, в основном как раз у друзей Виктора Платоновича, которых у него в Ялте великое множество. А потом была следующая примечательная встреча, которая началась с телефонного звонка.

Мне позвонил Володя Войнович по телефону, сказал... очень торопливым, задышающимся голосом... что он говорит из автомата... что они сейчас с Марленом Хуциевым встречали Виктора Некрасова, который приехал из Киева в Москву, машину задержали, задержали Некрасова, он сейчас находится в таком-то отделении милиции...

Некрасов: В семьдесят седьмом...

Галич: В семьдесят седьмом, где-то на Грузинах.

Некрасов: Где-то недалеко от «Пекина».

Галич: Где-то недалеко от «Пекина», и чтобы я срочно позвонил всем знакомым иностранным корреспондентам, дал им этот адрес с тем, чтобы они ехали туда, потому что, значит, Вику надо выручать. Я позвонил несколькими знакомым, дозвонился до одного нашего друга из «Рейтер», из агентства «Рейтер», который сказал, что он сейчас немедленно туда поедет.

Мне снова позвонил Володя Войнович, спросил, дозвонился ли я кому-нибудь. Я сказал, что дозвонился, что уже едут люди туда, а он сказал: «А ты сиди на телефоне, так сказать, будь дежурным, мы тебе будем сообщать, как разворачиваются события».

Я сидел на телефоне, нервничал, в этот момент вдруг распахнулась дверь — а у меня это бывало часто, мы просто не запирали двери в нашей московской квартире, — появился с букетом цветов Виктор Платонович Некрасов и сказал...

Некрасов: ... жрать хочу!

Галич: «жрать хочу», сказал он. Вот. А теперь, как все было на самом деле, ибо я, так сказать, при сем не присутствовал...

Некрасов: Ну, чтоб не затягивать весь этот рассказ — я приехал, меня встретили... Володя Войнович и Марлен Хуциев, меня устраивали в гостиницу «Пекин», и пока там разговаривали с администрацией, милиция заинтересовалась нашим присутствием и сказала, что надо выяснить кое-какие дела в семьдесят седьмом отделении милиции, куда нас и привезли.

Володе Войновичу и Хуциеву сказали — будьте здоровы и уходите, а товарищ Некрасов пускай остается. Друзья не ушли, мы просидели там, вероятно, часа полтора, сидела милиция и ходили какие-то мальчишки в штатском, поглядывая на нас. На все мои вопросы вообще — что вы хотите от меня — мне говорили, что сейчас выяснится, сейчас выяснится, а вы можете уходить, чего вы здесь сидите, уходите. Они говорят: «Мы сидеть будем». И тут Володя выскочил и позвонил по телефону тебе, потом появилась — сквозь решетку мы увидали — проезжает туда и обратно машина с дипломатическим, иностранным номером. И вот тут-то мальчик в штатском засуетился, милиционеры куда-то ушли, потом вышли и вежливо сказали Марлену: «Произошло недоразумение, ваша машина... есть подозрение, что она девочку переехала или задела, поэтому вы все свободны». Когда я спросил: «Минуточку, вы же их всех, которые переехали машиной, отпускали, а задерживали меня?» «Простите, товарищ Некрасов, произошло недоразумение, так сказать, мы... та-та-та-та-та-та-та-та...» Тут я помчался, значит.

Галич: Ко мне.

Некрасов: К Саше. И мы там пропустили свои сто грамм по поводу моего освобождения из узилища...

Галич: ... освобождения из узилища... Да, а после этого, следующая наша примечательная встреча была уже здесь, за границей, на Западе.

Я был в этот день в Цюрихе, и в этот день у меня не было выступлений вечером, и в этот день в Цюрих из Москвы...

Некрасов: Из Киева...

Галич: Из Киева. Да, из Киева, прямым рейсом прилетел на Запад Виктор Платонович Некрасов. Из Парижа встречать его приехала Мария Васильевна Синявская... мы с ней вместе стояли и ждали, пока выйдут из самолета пассажиры и появится Виктор Платонович Некрасов.

Некрасов: ...Когда я вылез из самолета и сквозь стеклянную дверь цюрихского аэродрома вдруг увидел сверхродное лицо Саши Галича и полуродное, но приятное лицо Маши Синявской, мне как-то стало, — я не знаю, как это сказать, — тепло, радостно, суетливо, растерянно... А потом начались объятия и...

Галич: Да, потом начались объятия, поцелуи, а потом мы с Виктором Платоновичем Некрасовым, — я прошу извинить меня, блюстители нравственности, — пошли в туалет, и в туалете меня Виктор Платонович Некрасов спросил: «Кому как, а в общем жить можно?» Я говорю: «Можно, Вика, можно!»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН — К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ»

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося русского писателя, классика, Салтыкова Михаила Евграфовича, литературный псевдоним которого Салтыков-Щедрин.

Жизнь Салтыкова-Щедрина представляет собой удивительное сочетание личных неудач, личных поисков, личных смятений и внешне как будто бы благополучного продвижения по чиновной лестнице.

Михаил Евграфович после окончания лицея был определен чиновником в канцелярию Военного министер-

ства. Затем было время, когда Салтыков-Щедрин возглавлял Казенную палату в Пензе, Туле, Рязани и так далее; и вместе с тем, пожалуй, нет ни одного писателя в истории русской литературы, так жестоко, так зло, так беспощадно высмеявшего все порядки казенного существования русского чиновничества, русского общества, русских высших и низших классов.

У Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина действительно удивительная судьба. Его называют классиком, именем его клянутся и распинаются всевозможные литературоведы, но на моей памяти запрещение целого ряда произведений Салтыкова-Щедрина уже в наше советское время. Я помню довольно хороший спектакль, я бы даже сказал — прекрасный спектакль, поставленный Театром сатиры, под названием «История города Глупова» по роману, знаменитому роману Салтыкова-Щедрина, который был запрещен со скандалом, ибо власти имущие, власть предрержащие немедленно усмотрели в этом спектакле — а спектакль был точно построен по роману Щедрина и не отходил от него ни на йоту ни в каких деталях и ни в каких репликах, — так вот власть имущие усмотрели в этом романе клевету на советскую действительность, потому что, надо сказать, что история чиновничества России... не только не прекратилась с прекращением существования царской власти, а наоборот, усилилась, развивалась, доходила до того гиперболического совершенства, которое и описывал в своих произведениях Салтыков-Щедрин. Спектакль был запрещен.

Известно также, что большинство произведений Салтыкова-Щедрина не слишком рекомендовано даже для классного чтения, за исключением сказок, которые, как известно, одобрительно похваливал Владимир Ильич Ленин. Я уже как-то рассказывал, что в шестьдесят восьмом году мне довелось жить в Дубне, работать там. Я заболел, попал в больницу и, естественно, ко всем своим друзьям приставал с просьбой приносить мне что-нибудь читать. Вот однажды пришел мой приятель-физик и с довольно таинственным видом сунул мне под одеяло книжку, завернутую в белую бумагу. Я был уверен, что

это какой-нибудь очередной том самиздата, и спросил его, что это. Он сказал:

— Это Салтыков-Щедрин, «Современная история».

— Да ты что, с ума сошел, что ты мне принес?

Он говорит:

— Сейчас в Дубне все этим романом зачитываются. Ты только начни, открой на первой странице, и ты увидишь, что это действительно самая современная история, недаром она так названа автором.

Я открыл и с первой же реплики покатился со смеху, потому что там реплика была, если мне не изменяет память, такая: «На днях заходил ко мне Глумов, затворил дверь и с таинственным видом сказал: — «Надо повременить». Я зашелся от смеха и с восхищением и восторгом прочел этот роман, в котором, действительно, такое количество догадок, такое количество прозрений, такое количество совершенно поразительных совпадений с тем, что происходило вокруг нас в то время в Советском Союзе, что я понял, почему этот роман пользуется таким сумасшедшим успехом среди физиков в Дубне и почему он ходит по рукам наравне с самиздатом.

Доля сатирика — это всегда горькая доля. Сатирик — не юморист. Сатирик — не тот человек, который развлекает читателя, взявшего книгу перед сном почитать что-нибудь эдакое веселенькое. Сатирик всегда тревожит. Сатирик всегда будоражит человеческие сердца и умы, будоражит совесть, и читать сатирика перед сном не рекомендуется. Читать Михаила Евграфовича Щедрина «скуки ради» перед сном — не советую никому. Он пробудит такую горестную совесть, он заставит вас так задуматься о том, что вы делаете и как вы миритесь с тем миром, в котором вы живете, как вы миритесь с тем злом, с той ложью, в которой вам приходится существовать, что действительно, пожалуй, Салтыкова-Щедрина надо читать на трезвую голову и понимая, что ты берешься читать. Ибо в русской литературе (хотя и говорят, что Чехов где-то продолжил Салтыкова-Щедрина, Горький в каких-то линиях своего творчества продолжил Салтыкова-Щедрина, но это, пожалуй, уже литературоведческие

натяжки) Салтыков-Щедрин стоит особняком, как совсем необыкновенная, удивительная фигура русской литературы, как, пожалуй, один из первых ее писателей, заставивших людей обратиться и взглянуть... обратиться к себе и взглянуть на мир, который окружает их.

Я уж не говорю о таком выдающемся романе, единственном, который нашел свое воплощение в других искусствах, в искусстве кино, как «Иудушка Головлев», где создан актером Гардиным действительно необыкновенный образ, равный образам Тартюфа, Сганареля, образам, величайшим образам мировой литературы. Но Салтыков-Щедрин велик и сегодня, ибо то, о чем он писал, то, что он пытался сказать и показать людям, живо, не только живо, как я уже сказал, а усилилось во сто крат сегодня. И когда с трибуны партийного съезда, как вы помните, был выброшен лозунг «Нам нужны Гоголи и Щедрины», то немедленно народная молва, народная мудрость, воплотила это в такой иронической частушке:

Говорят, что нам нужны
Посмирнее Щедрины
И такие Гоголи,
Чтобы нас не трогали.

Нет, нам не нужны «посмирнее Щедрины». Нам сегодня очень нужен Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, ибо он был нашим учителем, ибо он первым, пожалуй, забил в набат, предупреждая человечество о той страшной язве, которую несет за собою разветвленное чиновно-бюрократическое общество.

27 января 1976 г.

ИЗ ЦИКЛА «БЛАГОДАРЕНИЕ»

О поэзии

У американцев есть замечательный праздник. Называется он День Благодарения. Вообще, мне кажется, что чувство благодарности — это одно из самых прекрасных чувств человеческой души. И вот цикл передач, который

я сегодня начинаю, мне бы хотелось назвать «Благодарением». И поговорить мне с вами захотелось о поэзии, — довольно банальная и обычная тема. Тем более что у нас на радиостанции «Свобода» довольно часто на тему о поэзии, на тему о том, нужно ли передавать поэзию в эфир, нужна ли поэзия советским слушателям, возникают довольно частые споры. Ну мне-то лично кажется, что нет другой такой страны, где так любили бы поэзию, как в России. Мне даже не хочется на эту тему спорить. Пожалуй, одно из немногих сбывшихся пророчеств Владимира Владимировича Маяковского — это строчки о том, что в Советском Союзе потребление стихов выше доверенной нормы.

Однажды в одной московской компании я задал провокационный вопрос. Я сказал: «Ну вот, друзья мои, мы говорим с вами о поэзии, о стихах, часто обсуждаем их, часто говорим — это стихи, а это не стихи. И обычно как-то понимаем друг друга с полуслова. А вот как сделать так, чтобы человек, не привыкший употреблять поэзию, не знающий, что это такое, не привыкший ее слушать, читать, как бы объяснить ему разницу между поэзией и непоэзией, между одной строфой, написанной в рифму, и другой строфой, тоже написанной в рифму, но где одна строфа — поэзия, а другая — нет».

В качестве примера темы для этого спора я привел два четверостишия:

Вот иду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня.
Тяжело мне, замирают ноги.
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Это стихи одного из величайших поэтов девятнадцатого века Федора Ивановича Тютчева. Повторяю эту строфу, чтобы вы еще раз ее прослушали, прочувствовали:

Вот иду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня.
Тяжело мне, замирают ноги,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

А вот стихотворение, написанное совершенно точно таким же размером, в том же ритме, с теми же правильными рифмами, и если бы не кощунствовать, то просто одну строфу можно было бы поставить следом за другой:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой,
Выходила на берег Катюша,
На высокий на берег крутой.

Ну как же объяснить человеку, который, как я уже сказал, не привык... серьезно относиться к поэзии, не умеет ни чувствовать ее, ни воспринимать ее как особого рода волшебство, как вот ему объяснить, что первая строфа — это великие стихи, а вторая строфа, написанная тем же размером, в рифму, и которая, может быть, даже еще более понятна. Ну что, мол, там...

Тяжело мне, замирают ноги.
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Что это такое? А тут все ясно, просто:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой,
Выходила на берег Катюша,
На высокий на берег крутой.

Прекрасно. Все хорошо, все в рифму. Стихи, правда? Ан нет, не стихи. И когда я задал этот провокационный вопрос, то разгорелся жаркий, долгий, типично московский спор до зари о том, что же это такое — стихи, и как попытаться сформулировать для человека, который бы задал вам такой вопрос: «Что это такое, что это за вещь за такая?» Ну, применялась старинная классическая формула: «Стихи — это лучшие слова в лучшем порядке», вспоминали Пушкина — «словам тесно — мыслям просторно», перефразировали Чехова с его краткостью, помните — «Жена есть жена». Ну, так говорили: «Стихи есть стихи». Но все-таки, если говорить откровенно, до конца, так мы ни до чего и не дошли. Я подумал потом уже, возвращаясь домой, что для меня стихи — естественно, мое определение не претендует ни на какую научность и

даже наукообразность, — но для меня стихи — это слова, сказанные так, что они вызывают благодарность у человека, который их услышал впервые и уже не забудет потом никогда. Вот такими словами для меня является строчка из изумительного стихотворения русского поэта Осипа Эмилевича Мандельштама из его стихотворения:

Умывался ночью на дворе —
Твердь сияла грубыми звездами.
Лунный луч, как соль на топоре,
Стынет кадка с полными краями.
На замок закрыты ворота,
И земля по совести сурова, —
Чище правды свежего холста
Вряд ли где отыщется основа.

Стихи изумительные, но вот эта строчка «лунный луч, как соль на топоре», — вы вслушайтесь. Помнится, тогда еще, в юности, она пронзила меня таинственностью, чудом увиденного, чудом сказанного, чудом сочетания этих, казалось бы, несочетаемых слов. Я вспомнил, когда-то в конце двадцатых годов моего дедушку как бывшего нэпмана сослали, но довольно милостиво сослали, в небольшой городок Данилов. Это примерно сто с лишним километров от Москвы. Вот летом приехали мы туда к нему жить. Я помню, как хозяина нашего дома пасечника Егора Жильцова вызвали в сельсовет. Пришел он из сельсовета хмурый, с лицом неугодливым, прошел по двору, вытащил зачем-то торчащий в корневище топор, поиграл им, перебросил с руки на руку и потом почему-то ударил им по кадке с дождевой водой. Потом ночью мне примерещился этот залитый соленой водою топор, когда лунный луч побежал из окна по полу и край комода перегородил его, и луч стал как будто топоричем. Но вообще, поверьте мне, нет, вообще не это бытовое воспоминание так пронзило меня в этих строчках.

Эти строчки есть образец великой поэзии, той поэзии, за которую всегда испытываешь необыкновенное чувство благодарности к человеку, сказавшему эти слова:

«Лунный луч, как соль на топоре...»

Вот недавно поэт, хм... поэт Евгений Долматовский написал стихи про Париж:

Иду, короткой трубочкой сипя,
Ничем не отличимый от француза.
И только повторяю про себя:
«Я — гражданин Советского Союза».

Ну право, какое ж чувство благодарности можно испытать к человеку, написавшему подобное.

И закончить это свое любительское рассуждение о поэзии и этот свой первый «День Благодарения» мне бы хотелось маленьким стихотворением, которое так и называется: «Благодарение».

Облетают листья в ноябре.
Треснет ветка, оборвется жила.
Но твержу, как прежде на заре:
«Лунный луч, как соль на топоре».
Эк меня навек приворожило!

Что земля сурова и проста,
Что теплы кровавые рогожи,
И о тайне чайного листа,
И о правде свежего холста
Я, быть может, догадался б тоже.

Но когда проснешься на заре,
Вспомнится — и сразу нет покоя:
«Лунный луч, как соль на топоре».
Это ж надо, Господи, такое!

У микрофона Галич...

2 мая 1976 г.

ИЗ ЦИКЛА «БЛАГОДАРЕНИЕ»

Однажды в поезде, во время своих бесчисленных поездок, в ночном поезде я задал себе вопрос: а как нам, людям, живущим в невольном, в добровольном, а иногда не совсем добровольном изгнании, как нам относиться к той стране, где мы родились? И я подумал: с благодарностью. С благодарностью, потому что власть и Россия —

это не одно и то же. Советская Россия — это просто бессмысленное сочетание слов. Мы родились в России, которая дала нам прекраснейший язык, которая подарила нам великолепные, удивительные мелодии, которая дала нам великих мудрецов, писателей, страстотерпцев. Мы должны быть благодарны своей стране, своей родине за воздух, за ее прекрасную природу, за ее прекрасный человеческий облик, удивительный человеческий облик... Мы, те, которые крестились уже в сознательном возрасте, не можем не быть благодарны России и за этот святой день. Мы помним ее, мы стремимся к ней, мы любим ее, и мы благодарны ей. И это власть заставила нас уйти в изгнание, а не Россия, не родина, не та страна, которая живет у нас в сердце.

Сегодня я хочу рассказать вам о совсем удивительном благодарении — благодарении за горе. Может ли быть такое? Да вот, очевидно, может быть и такое. Часто приходится слышать, что советская интеллигенция в тридцатые годы растерялась, уступила свои позиции, не протестовала... А мне довелось быть свидетелем одного такого массового протеста русской интеллигенции. Я живой тому свидетель, и об этом мне хочется вам сегодня рассказать.

Было это в феврале тысяча девятьсот тридцать шестого года, страшного года, когда уже начался массовый сталинский террор и когда, казалось бы, протестовать было решительно трудно. В феврале тысяча девятьсот тридцать шестого года вышло постановление партии и правительства о том, что закрывается Московский художественный театр Второй. Это был театр, в основу которого была положена первая студия МХАТа, студия, которой руководил такой великий мастер, как Евгений Багратионович Вахтангов, такие педагоги, как Сахновский, Марджанов и другие; студия, создавшая необыкновенно талантливый и чрезвычайно любимый именно московской интеллигенцией театр — МХАТ Второй. В этой студии расцвел гений (я не побоюсь сказать этого слова) такого актера, который, кстати, потом остался во время од-

ной из гастрольных поездок за рубеж, — такого актера, как Михаил Александрович Чехов. В этом театре была удивительная, прославленная плеяда актеров — Гиацинтова, Берсенев и многие, многие другие... Чебан, Азарин... Нет, всех не перечислишь, это было просто необыкновенное созвездие талантов, и театр этот, пожалуй, даже спорил с любовью москвичей к Малому театру, МХАТу Первому, потому что репертуар его был несколько своеобразен; театр выбирал именно сложные постановки, сложные пьесы для воплощения и был, пожалуй, как я уже сказал, действительно одним из самых любимых у московской интеллигенции театров.

И вот вышло это постановление партии и правительства. Причем постановление было сформулировано таким образом — это, пожалуй, черта всех постановлений партии и правительства, — что никто решительно не мог понять, почему и за что закрывают этот театр, почему его решили расформировать...

Утром было опубликовано постановление, а вечером шел спектакль... По странной иронии судьбы — бывает же в жизни такое — шел в этот вечер уже заранее объявленный спектакль, последний спектакль МХАТа Второго, пьеса французского драматурга Дювала под названием «Мольба о жизни».

И вот мне, мальчишке-студийцу (я был первогодником-студийцем студии МХАТа, последней студии Константина Сергеевича Станиславского), удалось вместе с несколькими друзьями при помощи наших друзей в студии при Втором МХАТе пробиться в зал на этот последний спектакль.

Я точно помню, совершенно точно помню какую-то абсолютно странную, необыкновенную атмосферу зрительного зала. Вероятно, актерам было очень трудно играть, потому что все реплики, обычно вызывающие в зале смех, смеха не вызывали. И сидели люди в удивительной тишине, которая иногда прерывалась чьим-нибудь громким всхлипыванием. И в антрактах тоже не болтали как обычно, не смеялись, не разглядывали туалеты друг

друга, не толпились у буфета. Ходили молча, как на похоронах...

Взрывом плача были встречены иронические слова одного из главных персонажей пьесы (исполнял эту роль Берсенев), который там по поводу каких-то банковских дел говорит: «Но ведь могли бы они нам дать жить!» Зал ответил громким всхлипом — все как будто задохнулись в этот момент... А потом упал занавес. И тут уже началось нечто совершенно невообразимое. Многотысячная публика (а в зал набилось много, значительно больше зрителей, чем зал обычно вмещал, — люди сидели на полу, на ступеньках, толкались в проходах) стоя рукоплескала актерам. Занавес дали всего один раз. Я думаю, что это было по просьбе актеров, которые просто неловко себя чувствовали, им неловко было стоять на сцене и вместе с залом в голос плакать. Поэтому, несмотря на долгие, очень долгие аплодисменты (я не вру, но пожалуй, продолжались они едва ли не тридцать минут — время для театрального зала и для театра необыкновенное), пока не вышел какой-то человек, некто в сером (кажется, как мне потом сказал учившийся в школе-студии МХАТа и впоследствии перешедший в театр Вахтангова, руководитель театра на Таганке, Юрий Петрович Любимов, мы с ним учились тогда в параллельных классах, что это был администратор театра), вышел на сцену и заунывным, но громким голосом прочитал отрывок из постановления партии и правительства о закрытии театра МХАТа Второго. И после этого опять наступила удивительная тишина, и люди молча, очень тихо, стали выходить из зала.

Удивительно, что не всех присутствовавших в этот день в этом театральном зале потом похватили и отправили в лагеря, ибо подобных демонстраций протеста наши руководители партии и правительства не терпят.

Этой публики, наполнившей зал, этого плача и аплодисментов, этого протеста я не забуду никогда. И это была Россия, московская Россия, московская интеллигенция. И это она в феврале тридцать шестого года выра-

жала свой протест. И благодарность за этот день, благодарность судьбе за то, что мне довелось быть в этот день в зале театра, никогда не оставит меня.

У микрофона Галич...

25 мая 1976 г.

ПРОЩАЛЬНЫЙ УЖИН

Началось все неожиданным утренним звонком тридцать уже с лишком лет тому назад. Мне позвонил мой приятель и каким-то странным, слегка насмешливым голосом сказал: «Слушай, у меня есть свободный билет. Ты не хотел бы пойти сегодня вечером в Дом кино, на концерт Александра Вертинского?» Я тоже чуть-чуть хмыкнул, сказал — на чей концерт? Он ответил: «На Вертинского. Ты же знаешь, он приехал, он в Москве». Я действительно слышал, что Вертинский приехал в Москву, и мне даже говорили, что где-то в очень узком кругу, для актеров Художественного театра, он пел, но что он будет выступать публично и то, что я смогу его услышать, казалось мне совершенно невероятным. И вот я пошел на концерт Вертинского. Он должен был выступать в Доме кино, в старом Доме кино, который помещался у площади Восстания, там, где теперь Театр киноактера.

Сама обстановка в фойе и в зале была довольно странная. Люди ходили немножко с недоверчивыми улыбками, переглядывались, говорили: «Ну-ну, неужели же это правда?»

Я хотел бы, чтобы это представили те из вас, которые родились в годы войны или после войны и которые не знают, почему так мы странно отнеслись к сообщению о том, что приехал Вертинский.

Долгие годы Александр Вертинский был не то чтобы под запретом, а был человеком из какой-то другой, фантастической жизни. Он эмигрировал в двадцатые годы, и иногда до нас случайно доходили какие-то его пластинки, стертые-престертые.

Мы слушали их, едва разбирая слова... И то, что вот он, легендарный Вертинский, о котором нам рассказывали наши матери, — то, что он сегодня, сейчас выступит и мы его увидим, казалось нам совершенно невероятным. Уже здесь, в кулуарах, рассказывали такую шутку-анекдот, полуанекдот, может быть, это было и правдой, что граф Алексей Николаевич Толстой, пролетарский писатель, устроил в честь приезда Александра Николаевича Вертинского прием. Гостей почему-то долго томили в гостиной, не звали к столу, что-то не было готово у хозяек, и тут один из гостей, поглядевший на собравшееся общество: граф Алексей Николаевич Толстой, граф Игнатъев, митрополит Николай Крутицкий, Александр Николаевич Вертинский, — спросил: «Кого еще ждем?» Грубый голос остроумца Смирнова-Сокольского ответил: «Государя!»

И вот мы пришли в зал. Сцена была пуста, открыт занавес, стоял рояль, а потом на сцену, без всякого предупреждения, вышел высокий человек в сизом фраке, с каким-то чрезвычайно невыразительным, стертым лицом, с лицом, на котором как бы не было вовсе глаз, с такими белесовато-седыми волосами. За ним просеменил маленький аккомпаниатор, сел к роялю. Человек вышел вперед и без всякого объявления, внятно, хотя и не громко, сказал: «В степи молдаванской». Пианист сыграл вступление, и этот человек со стертым, невыразительным лицом произнес первые строчки:

Тихо тянутся сонные дроги
И вздыхая бредут под откос...

И мы увидели великого мастера с удивительно прекрасным лицом, сияющими лукавыми глазами, с такой выразительной пластикой рук и движений, которая дается годами большой работы и которая дарится людям большим их талантом. Можно по-разному оценивать творчество Александра Николаевича Вертинского, но то, что он оставил заметный след в жизни не одного, а нескольких поколений русских людей и в Советском Союзе, и за

рубежом, — это вне всякого сомнения. Песни его, казалось бы, никак не соприкасающиеся с жизнью, такие, как «Я знаю, Джим», «Лиловый негр вам подает мантио», «Прощальный ужин», — казалось бы, что они там, в Советском Союзе? Что значили для нас эти песни, какое отношение имели к нашей жизни? Я помню стихи Смелякова: «Гражданин Вертинский вертится спокойно, девочки танцуют английский фокстрот; я не понимаю, что это такое, как это такое за душу берет...»

Но он врал, Ярослав Смеляков. Он-то понимал, почему это брало за душу, почему в этой лирической, салонной пронзительности было для нас такое новое ощущение свободы.

Потом, после этого концерта, года два или три спустя, мне довелось познакомиться с Александром Николаевичем Вертинским. Мы даже жили с ним рядом в соседних номерах, в гостинице «Европейская», в Ленинграде месяца полтора. Я работал тогда на киностудии «Ленфильм», делал сценарий, а у Вертинского были концерты. Он выступал в саду «Аквариум». И вот по вечерам, после концерта, он входил со своим стаканом чая. Он неизменно носил свой стакан чая с лимоном, садился и говорил мне: «Ну, давайте. Читайте стихи». Я читал ему Мандельштама, Пастернака, Заболоцкого, Сельвинского, Ахматову, Хармса. Читал совсем ему уже не известные даже по именам Бориса Корнилова и Павла Васильева, читал все то, что он, долгие годы оторванный от России, не мог знать. Он был не только исполнителем, не только замечательным мастером, он был поразительным слушателем. Сам — актер, певец, поэт, он умел слушать, особенно умел слушать стихи. И вкус у него на стихи был безошибочный. Он мог сфальшивить сам, мог иногда поставить неудачную строчку, мог даже неудачно (если ему было удобней) изменить строчку поэта, на стихи которого писал песню, — но чувствовал он стихи безошибочно. И когда я прочел ему в первый раз стихотворение Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до

слез», он заплакал, а потом сказал мне: «Запишите мне, пожалуйста. Запишите мне».

У меня с ним был еще один забавный вечер. Мы решили не сидеть в номере, а пойти поужинать в «Европейскую». Летом ресторан работает на крыше, и туда ходят с удовольствием ленинградцы. Я не знаю, как сейчас, но в мое время, — я уже говорю, в мое время, как говорят старики, — так вот в мое время это было довольно любимым местом ленинградцев. И вот мы пошли с Александром Николаевичем поужинать. Мы сидели вдвоем за столиком, и вдруг к нам подбежала какая-то необыкновенно восторженная, сильно в годах уже дама, сказала: «Боже мой, Александр Николаевич Вертинский!» Он встал, я, естественно, встал следом за ним (он был человеком чрезвычайно воспитанным и галантным) и сказал: «Ради бога, прошу вас, садитесь к нам». Она сказала: «Нет, нет, там у нас большая компания, просто я увидела вас. Я была, конечно, на вашем концерте, но я не рискнула зайти к вам за кулисы, а здесь я воспользовалась таким радостным случаем и просто хотела сказать вам, как мы счастливы, что вы вернулись на родину».

Александр Николаевич повторил: «Прошу вас, посидите с нами, хотя бы несколько минут». Она сказала: «Нет, нет, я очень тороплюсь. Я просто хочу, чтоб вы знали, каким счастьем было для нас, когда мы получали пластинки с вашими песнями, с вашими или песнями Лещенко...» Вдруг я увидел, как лицо Александра Николаевича окаменело. Он сказал: «Простите, я не понял вторую фамилию, которую вы только что назвали». Дама повторила: «Лещенко».

«Простите, но я не знаю такого. Среди моих друзей в эмиграции были Бунин, Шаляпин, Рахманинов, Дягилев, Стравинский. У меня не было такого ни знакомого, ни друга по фамилии Лещенко».

Дама отошла. Александр Николаевич был человеком с юмором, но иногда он его терял, когда его творчество воспринималось, как творчество ресторанное — под во-

дочку, под селедочку, под расстегайчик, под пьяные слезы и тоску по родине. Он считал, что делает дело куда как более важное, и думаю, что он был прав.

Песни с комментариями

12 февраля 1977

(Текст взят из «Недели» № 43, 1989)

ВАЛЬС, ПОСВЯЩЕННЫЙ УСТАВУ КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Вот опять наступило и минуло 22 июня — памятный день для людей старшего поколения. День, когда началась для Советского Союза Вторая мировая война.

Удивительно устроена человеческая память. Я почти не помню дней мая 45 года, хотя я был в это время уже в Москве, это были радостные дни победы, но они как-то смешались у меня в сознании, в моей памяти — праздник, радость, поцелуи на улицах. А вот день, вернее, утро 22 июня 1941 года, хотя это было уже так давно, я помню отчетливо, помню, как будто это произошло только вчера, помню даже запах кофе. Мы встали поздно, сидели, пили кофе, и в это время по радио раздался голос Молотова, сообщавший о том, что началась война...

Война! У Слуцкого есть такие стихи:

А война была четыре года —
Долгая была война.

Да, долгая была война! Со многими людьми довелось мне встретиться за эти четыре года — с самыми разными, с самыми удивительными. И вот что уже после не раз приходилось вспоминать и о чем приходилось размышлять — вы, наверное, не раз слышали такое уже ставшее почти банальным классическое выражение: «я бы пошел с ним в разведку» или «я бы не пошел с ним в разведку». И как много мужественных людей, которых я знал на войне и с которыми, казалось бы, можно было пойти в разведку не задумываясь, — как много этих прекрасных, мужественных людей оказались жалкими трусами в гражданской жизни.

И когда их друзей на профсоюзных, на партийных собраниях топтали ногами, исключали из партии, выгоняли с работы, шельмовали, эти самые, ходившие с ними в разведку, трусливо и жалко молчали. Да, есть люди, с которыми можно идти в разведку, но нельзя ходить на профсоюзное собрание. К сожалению — это так.

Но были и другие, были действительно люди героической жизни вроде генерала Петра Григорьевича Григоренко, человека, проявившего мужество и в военное время, и в гражданской жизни. И самое смешное — и самое грустное, но и самое отвратительное, что их — этих людей — топтали, осуждали, разоблачали те, которые всю войну отсиживались на разных теплых местах — дезертиры вроде Кочетова или Аркадия Васильева, которые исключали из союза, исключали из партии фронтовиков.

Вот какие мысли приходят в голову в дни этого очередного памятного юбилея — двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года. Об этом я написал когда-то песню, которая называется «Вальс, посвященный уставу караульной службы».

Первая строчка этой песни, кстати, дала название моему первому сборнику стихов и песен, вышедшему на Западе.

Поколение обреченных!
Как недавно и, ох, как давно,
Мы смешили смешливых девчонок,
На протырку ходили в кино.

Но задул сорок первого ветер —
Вот и стали мы взрослыми вдруг.
И вколачивал шукура-ефрейтор
В нас премудрость науки наук.

О, суконная прелесть устава —
И во сне позабыть не моги,
Что любое движенье направо
Начинается с левой ноги.

А потом в разноцветных нашивках
Принесли мы гвардейскую статью
И женились на разных паршивках,
Чтобы все поскорей наверстать.

И по площади Красной, шалея,
Мы шагали — со славой на «ты», —
Улыбался нам Он с мавзолея,
И охрана бросала цветы.

Ах, как шаг мы печатали браво,
Как легко мы прощали долги!..
Позабыв, что движенье направо
Начинается с левой ноги.

Что же вы присмирели, задиры?!
Не такой нам мечтался удел.
Как пошли нас судить дезертиры,
Только пух, так сказать, полетел.

Отвечай, солдат, как есть на духу!
Отвечай, солдат, как есть на духу!
Отвечай, солдат, как есть на духу!
Ты, кончай, солдат, нести чепуху:

Что от Волги, мол, дошел до Белграда,
Не искал, мол, ни чинов, ни разживу...
Так чего же ты не помер, как надо?
Как положено тебе по ранжиру?!

Еле слышно отвечает солдат,
Еле слышно отвечает солдат,
Еле слышно отвечает солдат —
Ну, не вышло помереть, виноват.
Виноват, что не загнулся от пули,
Пуля-дура не в того угодила,
Это вроде как с наградами в ПУРе,
Вот и пули на меня не хватило!

Все морочишь нас, солдат, стариной?!
Все морочишь нас, солдат, стариной!
Все морочишь нас, солдат, стариной —
Бьешь на жалость, гражданин строевой!
Ни деньжат, мол, ни квартирки отдельной,
Ничего, мол, нет такого в заводе,
И один ты, значит, вроде идейный,
А другие, значит, вроде Володи!

Ох, люрует прокурор-дезертир!
Ох, люует прокурор-дезертир!
Ох, люует прокурор-дезертир! —
Припечатает годкам к десяти!

Ах, друзья ж вы мои, дуралеи, —
Снова в грязь непроезжих дорог!
Заключенные параллели
Преподали нам славный урок:

Не делить с подонками хлеба,
Перед лестью не падать ниц,
И не верить ни в чистое небо,
Ни в улыбку сиятельных лиц.

Пусть опять нас тетешкает слава,
Пусть друзьями назвались враги, —
Помним мы, что движенье направо
Начинается с левой ноги!

У микрофона Галич...

27 июня 1977 г.

ПОЕЗДКА В СТРАСБУРГ

Я только что вернулся из Страсбурга, куда я был приглашен для того, чтобы выступить на собрании молодых христианских демократов, посвященном борьбе за права человека.

Страсбург иногда называют сердцем Европы. Действительно, этот город расположен так, что он как бы находится в самом центре Европы, и поэтому... не случайно именно там заседает Европейский парламент, и в рамках этого Европейского парламента в доме молодежи и состоялось это собрание молодых христианских демократов Европы, Латинской Америки, причем не только из таких стран, как Аргентина, Боливия, Чили, но также из таких, звучащих для нас чрезвычайно экзотически, стран, как Парагвай и Венесуэла. Были представители острова Мальта, Кипра и многие, многие другие молодые люди, члены Христианской демократической партии, заинтересованные в борьбе за права человека.

Я приехал в Страсбург под вечер, узнал, что этот вечер у участников семинара свободный, и поэтому, естественно, решил воспользоваться этой свободой и отправился осматривать знаменитый Страсбургский собор. Здание это действительно прекрасное, величественное, и

мне к тому же еще повезло. Именно сейчас, в июне-июле, в этом соборе устраиваются вечера, которые называются по-английски «light and sound», то есть вечера света и звука.

Вы входите внутрь — необыкновенное, величественное здание, прекрасное здание, — вы садитесь на отполированную скамеечку и... слушаете необыкновенное представление, стереофоническое представление, где вы почти не находите источника звука. Это сделано так технически совершенно, что вы не находите и источника света. Звучат речь, музыка, вопли толпы, пение и... множество веков проходит перед вами. Потому что собор этот — один из древнейших в Европе.

Строительство его было начато ни много ни мало, как в двенадцатом веке. А потом в музыке, в многоголосом хоре, неожиданно возникает «Марсельеза».

Дело в том, что Роже де Лилль был офицером того полка, который стоял в дни Великой французской революции в Страсбурге, и именно в Страсбурге была создана эта песня, этот гимн.

Но вот что дальше рассказывает вам «голос собора».

Он рассказывает вам о том, как именно в эти дни мэр Страсбурга, первый революционный мэр Страсбурга, якобинец, первым своим декретом, первым своим революционным актом счел необходимым уничтожить, разрушить собор. И он в этом деле почти преуспел. Были уже разбиты бесценные витражи, были уже уничтожены десятки статуй, стоявших в соборе, и уже революционно одушевленные граждане собирались приступить к ломке самого собора, как неожиданно одному хитроумцу пришла в голову необыкновенно счастливая мысль. Он пришел к энтузиасту революции, мэру города Страсбурга и сказал ему: «Послушайте, наш собор — один из самых величественных в Европе, и это одно из самых высоких зданий — вот что важно. Так вот, давайте-ка мы сошьем огромный колпак, красный колпак санкюлота и водрузим его на макушку собора, на шпиль собора, с тем, чтобы все вокруг на много десятков километров видели, что

Страсбург — это город революции». И вот эта хитроумная мысль спасла собор!

И я подумал, что в истории этой есть много поучительного и примечательного.

Так вот, кстати, в дни Великой французской революции была уничтожены статуи, украшавшие собор Парижской Богоматери, обезглавлены, потому что невежественные члены Конвента приняли их за изображения французских королей, а это были цари иудейские, предтечи Девы Марии.

Так же на глазах уже нашего поколения, моего поколения, взлетел на воздух храм Христа Спасителя, и были уничтожены замечательные фрески, написанные Нестеровым.

И вот, когда на следующий день я выступал перед участниками семинара, я сказал о том, что, пожалуй, в нашей борьбе за человеческие права мы должны думать еще и о борьбе за сохранение всего того прекрасного, что создано человечеством, потому что начинается насилие и унижение человеческих прав с того, что сначала разрушаются, сначала оскверняются творения рук человеческих, а затем уже начинают уничтожать самого человека. С защиты этих духовных ценностей и начинается, по существу, борьба за права человека, потому что это — наше достояние, это наша человеческая гордость, это создано руками, гением, духом человека,

И недаром насилие, всякое насилие, начинает именно с этого — уничтожая, разрушая наследие, доставшееся ему от его дедов и прадедов.

Я был очень рад, что многие, выступавшие потом, после меня, поддержали мою мысль.

В заключение мне бы хотелось спеть вам одну небольшую песню, она войдет в сборник моих стихов и песен под названием «Когда я вернусь», который, вероятно, выйдет в сентябре или октябре этого года. Песня называется «Слушая Баха», посвящается она Мстиславу Ростроповичу, и выражена в ней, в сущности, вот та самая мысль, о которой я вам только что говорил.

На стене прозвенела гитара,
Зацвели на обоях цветы.
Одиночество Божьего дара —
Как прекрасно
И горестно ты!

Есть ли в мире волшебней, чем это
(Всей доуке земной вопреки) —
Одиночество звука и цвета,
И паденья последней строки?

Отправляется небыль в дорогу
И становится былью потом.
Кто же смеет указывать Богу
И заведовать Божьим путем?!

Но к словам, ограненным строкою,
Но к холсту, превращенному в дым, —
Так легко прикоснуться рукою,
И соблазн этот так нестерпим!

И не знают вельможные каты,
Что не всякая близость близка,
И что в храм ре-минорной токкаты
Недействительны их пропуска!

У микрофона Галич...

19 июля 1977 г.

Комментарии

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ (СТР. 241)

Повесть впервые опубликована в 1974 г. в издательстве «Посев» вместе с пьесой «Матросская Тишина». Сам автор так объяснял соединение в одном произведении двух своих работ: «Я ведь хотел «Матросскую Тишину» напечатать, а пьесы идут плохо. В таком оформленном виде пьеса пошла» (Е. Романов. Возвращение. «Посев», № 2, 1978).

Пьеса «Матросская Тишина» задумана в конце войны и положена в стол. «Я вернулся к пьесе «Матросская Тишина» после XX съезда партии», — писал А. Галич в «Генеральной репетиции». Пьесой заинтересовался О. Ефремов, руководивший в ту пору студией МХАТ (будущим «Современником»). Спектакль был подготовлен и доведен до генеральной репетиции, после чего запрещен. Примерно в то же время шла работа над пьесой в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, а также в Алма-Атинском театре драмы, однако оба спектакля были запрещены к показу.

Пьеса впервые поставлена выпускным курсом Школы-студии МХАТ под руководством О. Табакова в 1989 г. Впоследствии спектакль был поставлен на сцене Театра-студии О. Табакова. Одновременно пьеса игралась в Украинском театре в Одессе (реж. Б. Зайденберг). После этого «Матросская Тишина» широко прошла по сценам советских театров.

В 1989 г. пьеса была поставлена в лондонском «Амадеус-центре» английским Молодежным театром.

«Матросская Тишина» неоднократно публиковалась в постсоветских изданиях.

Сюжет «Генеральной репетиции» основывается на рассказе Галича о попытке поставить «Матросскую Тишину» в театре-студии МХАТа. Повесть закончена в мае 1973 г. в Доме отдыха Большого театра в Серебряном Бору. Перед отъездом в эмиграцию отец подарил рукопись мне.

В России «Генеральная репетиция» впервые напечатана в журнале «Театральная жизнь» в 1988 г.

Текст публикуется по единственному прижизненному изданию — книге издательства «Посев» 1974 г.

БЛОШИНЫЙ РЫНОК (СТР. 410)

Роман написан в эмиграции. Первая часть опубликована в журнале «Время и мы» (№ 24—25. 1977—1978 гг.). Судьба второй части неизвестна.

Текст романа передан мне Виктором Перельманом.

ЕЩЕ РАЗ О ЧЕРТЕ (СТР. 511)

Роман написан в эмиграции. «Начал писать большую прозаическую вещь, но она перебилась другой работой, — говорил Галич в одном из интервью. — Тоже прозаической, которая будет называться, как одна моя песня, «Еще раз о черте». Пишу ее с большим увлечением и к Новому году надеюсь закончить».

Сохранился лишь неоконченный вариант, хотя сам Галич говорил родным, что закончил это произведение. Судьба окончания романа, к сожалению, неизвестна.

Первая часть «Еще раз о черте» передана мне Т. Максимовой.

Впервые опубликовано в журнале «Пенаты» (СПб., 1997).

А. Архангельская-Галич

СОДЕРЖАНИЕ

А. Зверев. «...Это время в нас ввинчено штопором»..... 5

ПЬЕСЫ

ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР.

Комедия-шутка в трех действиях. 29

Пути, которые мы выбираем (Первое дело).

Драматическая повесть в четырех действиях... 101

АВГУСТ. *Рассказ для театра в двух частях.*..... 164

ПРОЗА

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ.

История в четырех действиях и пяти главах... 241

БЛОШИНЫЙ РЫНОК. *Почти фантастический,*

но не научный роман...... 410

ЕЩЕ РАЗ О ЧЕРТЕ. *(Начало романа)*..... 511

ВЫСТУПЛЕНИЯ

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!»

(Выступления по радио)..... 565

Комментарии... 634

Литературно-художественное издание
Галич Александр Аркадьевич
МАТРОССКАЯ ТИШИНА

Ответственный редактор *Н. Холодова*
Редактор *Н. Крылова*
Художественный редактор *А. Степнов*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *В. Фирстов*
Корректор *Т. Павлова*

В оформлении переплета использована работа
художника *Л. Гервица* «Ленинградское кафе», 1981 г.

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

*По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.*

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д.1. Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16,
многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34.
www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

*Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве
в сети магазинов «Новый книжный»:*
Центральный магазин — Москва, Сухареvская пл., 12
(м. «Сухареvская», ТЦ «Садовая галерея»). Тел. 937-85-81.
Информация о других магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34
и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо»:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83.
В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.
В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8432) 70-40-45/46.
В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9.
Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49; e-mail: sale@eksmo.com.ua

Подписано в печать 24.06.2005.
Формат 84x108 ¹/₃₂. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Бумага тип. Усл. печ. л. 33,6. Уч.-изд. л. 30,2.
Тираж 5 000 экз. Заказ № 3513

Отпечатано во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

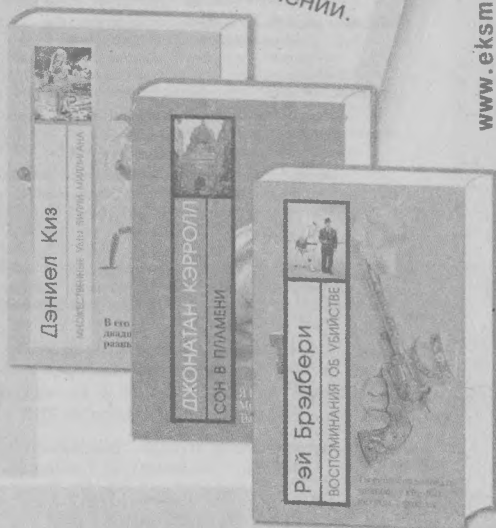


Серия «ИГРА В КЛАССИКУ»



Баллард
Брэдбери
Бэнкс
Ирвинг
Кинг
Краули
Кэрролл
Норфолк
Остер
Прист
Томас
Уитмор
Эмис
Мураками

Ведущие авторы мировой
современной прозы.
Лучшие литературные
произведения
XX – XXI веков.
Самые модные жанровые
направления.
Интеллектуальная проза
в прекрасном переводе и
стильном оформлении.



www.eksmo.ru

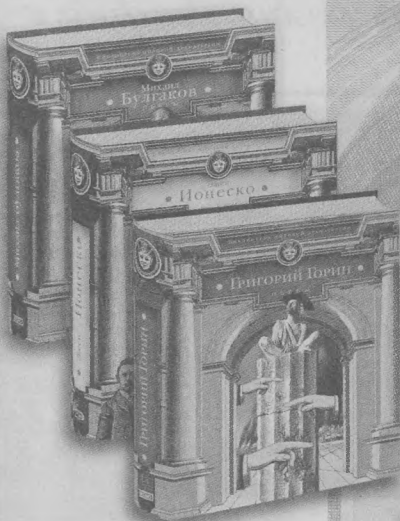
КНИГИ ДЛЯ СОСТОЯВШИХСЯ ЛЮДЕЙ!

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЭКСМО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

СЕРИЯ «БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ДРАМАТУРГИИ»



В серии «Библиотека мировой драматургии» представлены произведения выдающихся мастеров жанра. Как каждая отдельно взятая книга, так и вся серия в целом может стать жемчужиной вашей домашней библиотеки.



www.eksmo.ru

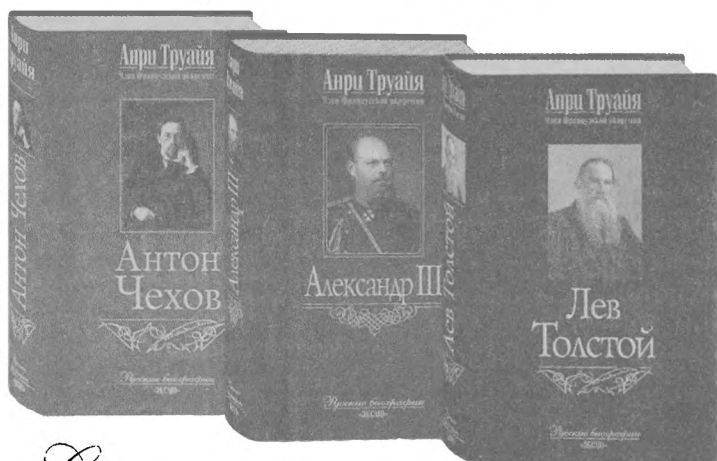
Уильям Шекспир
Лопе де Вега
Эдмон Ростан
Жан-Батист Мольер
Антон Чехов
Александр Островский
Михаил Булгаков
Григорий Горин
Александр Вампилов
Людмила Петрушевская

ШЕДЕВРЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗОЛОТОЙ ФОНД МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ!!

Анри Труайя

Член Французской академии литературы

в серии
«Русские биографии»



Собрание исследований известного французского писателя и биографа Анри Труайя представляет собой уникальную коллекцию книг о самых ярких и неоднозначных личностях русской политики, литературы и искусства.

Достоверные и важные факты!

Также в серии:

«Грозные царицы», «Марина Цветаева», «Федор Достоевский»,
«Николай Гоголь», «Балерина из Санкт-Петербурга», «Александр II»,
«Павел Первый», «Екатерина Великая»

www.eksmo.ru

